О ЯЗЫКЕ

http://unism.pjwb.org
http://unism.pjwb.net
http://unism.narod.ru

Представленные здесь этюды далеки от фундаментального исследования, это лишь попытка прояснить для себя какие-то моменты, которые кто-то сочтет простыми и самоочевидными. Но возможно, что такой способ упорядочить общеизвестное может показаться удобным кому-то еще. Поскольку же отдельные замечания характеризуют подход унизма к вопросам языкознания, знакомство с этими набросками может быть полезно для понимания иерархического подхода вообще, и в частности, для иллюстрации унистических идей о становлении сознания и развитии разума.

О транслитерации греческого алфавита латиницей

Несмотря на то, что компьютерные системы практически полностью уже перешли на уникод, и можно вставить в текст фрагменты на любых языках, проблема транслитерации все еще остается актуальной. Далеко не всегда удобно разглядывать символы малознакомых письменностей, не понимая толком, на что это похоже в произношении. Ссылаться на такие отрывки — рискованное дело; текст оказывается перегруженным и громоздким, а его основная идея вытесняется на второй план: внимание приковано к начертанию цитат. Международная фонетическая транскрипция тут не поможет — она совершенно неудобочитаема; это набор экзотических знаков, приобретающих реальное наполнение только в системе конкретного языка.

Транслитерация незаменима при создании персональных файловых архивов. Гораздо легче ориентироваться в них, если каталог составлен в привычной для данного человека системе письма; систематизация имеющегося становится намного эффективней. К тому же следует учесть, что не всякие программы воспринимают уникод в именах файлов, а возникающая время от времени необходимость переноса файлов из одной файловой системы в другую побуждает ограничиться в именах кодами ASCII, без учета регистра. При этом, разумеется, следует исключить те символы, которые в операционных системах используются специальным образом.

По идее, текст на любом языке можно отобразить при помощи какой угодно системы знаков. Здесь нет никаких принципиальных ограничений. Любая система письменности может быть приспособлена для нужд любого языка, и каких-либо предпочтительных систем не существует. Задача транслитерации гораздо уже: не требуется сохранять функциональную и смысловую нагрузку знаковой системы, достаточно лишь приблизительного, схематичного, чисто внешнего воспроизведения. Но решать эту задачу можно по-разному.

Например, можно пойти по пути абстрактного сопоставления одних символов другим. Так, поскольку в греческом алфавите 24 базовых символа, а в латинице их 26, можно однозначно сопоставить греческие буквы латинским — и еще две буквы останутся в запасе. Однако такая транслитерация страдает чрезмерной абстрактностью (например, греческая ω по звучанию имеет мало общего с часто используемой для ее обозначения буквой *w*, а в верхнем регистре даже внешнее сходство исчезает начисто; обозначение же буквы ψ буквами *q* или *j* — чистая условность).

Вообще использование транслитерации по сходству написания (когда греческая χ передается буквой *x*, а вместо η пишут *h*) не кажется достаточно убедительным. Слова выглядят слишком экзотически, восприятие на них спотыкается. Все-таки гласные должны оставаться гласными, а согласные — согласными.

Противоположная крайность — передача только звучания, без учета особенностей написания слов. Иногда бывает полезно представлять себе, как текст выглядит в оригинале; при

фонетической транслитерации это проблематично, поскольку один и тот же звук в греческой письменности может быть представлен разными буквами и буквосочетаниями. Но даже без оглядки на возможность обратной транслитерации фонетическая запись порождает свои проблемы. Так, греческая буква δ отвечает звуку, записываемому в английском языке как *th*; но точно так же там записывается и звук, обозначаемый греческой буквой θ. Если, например, дифтонг αυ записывать в одних случаях как *av*, а в других *af*, — восстановление исходного вида слов для несведущего в греческом читателя затруднено (то ли это αβ, то ли αφ…). В греческом языке звучание нередко меняется на стыке согласных, и все это при транслитерации придется учитывать. То есть без каких-то языковых познаний не обойтись. А тогда и огород городить незачем.

В научных текстах часто передают η и ω как *ē* и *ō* соответственно, и это было бы вполне приемлемо, если бы эти символы легко было набрать на обычных клавиатурах, не зная кодов. Отыскивать же их при необходимости в дебрях Уникода — дело не самое простое, а для имен файлов такие символы вообще малопригодны.

Так или иначе, приходится принять возможность представления греческих букв буквенными сочетаниями. В этом плане уже есть определенные традиции — поскольку заимствованные из греческого языка слова давно употребляются в западноевропейских языках. Естественно передавать греческую букву ξ латинской буквой *x*, с сохранением звучания. Буква ψ обычно записывается как *ps* — тут никаких проблем. Сочетание *th* можно закрепить, в соответствии с традицией, за буквой θ; при этом мы условно записываем греческую δ как *d* — имея в виду, что в произношении это все же нечто иное. Точно так же, с определенной долей условности, можно передать греческую χ латинской буквой *h* — вместо «фонетической» записи *kh*; традиционно буква *h* используется в латинице для отображения «густого придыхания» — но в современном греческом языке придыханий давно нет, да и в древнегреческом особой буквы для этого не существовало, и обозначались придыхания диакритическими знаками.[1] Допустимо представлять греческую букву φ обычным сочетанием *ph* : это намекает на привычные для большинства европейцев греческие заимствования; но в большинстве случаев использование буквосочетания вместо единичной буквы *f* вовсе не обязательно, это стилистическое излишество.

Передавая изолированную букву υ традиционным в литературе способом, посредством романской буквы *y*, целесообразно также сохранить традиционное представление этой буквы в сочетаниях с гласными буквой *u* (αυ переходит в *au*, ευ переходит в *eu*, ου переходит в *ou*). Такие сочетания привычнее, они давно устоялись, вошли в собственную орфографию европейских языков.

Остается подобрать подходящие комбинации символов для η и ω. Исторически, эти гласные были долгими (что и отражено в нотации *ē* и *ō*). Можно попытаться представить их простым повторением гласной (например, *ii* для η и *oo* для ω). Тем самым мы сохраняем связь с звучанием (η читается в новогреческом языке как *i*, а ω как *o*). Однако тогда неизбежны трудности с обратной транслитерацией, когда рядом оказываются два звука [o] или [i]. Например, в словах *nootropia* (νοοτροπία) и *proodos* (πρόοδος) двойное романское {*o*} соответствует двум греческим {ο} — в отличие от *prooooros* (πρόωρος) или *prooi* (πρωί). Да и три подряд буквы *o* в *prooooros* смотрятся как-то странно. Не менее громоздко выглядит и написание *poiiisii* вместо греческого ποίηση.

Конечно, можно было бы задействовать одну из свободных латинских букв (*c, j, q, w*) в сочетании с *i*/*e* или *o* (например, *iw* для η и *ow* для ω). Но это может вызвать неуместные фонетические иллюзии, попытки прочесть, как написано… В качестве модификатора лучше выбрать нейтральный символ, не имеющий собственного звучания. И такая возможность есть, поскольку в греческой письменности не используется знак - (дефис), а следовательно, введение его в текст не приведет ни к каким двусмысленностям. Естественным образом, *o-* понимается как ω (в полном соответствии с обычным в литературе *ō*). Несколько сложнее с η, которое в современном греческом языке читается как *i* ; можно было бы на этом основании передавать в

[1] В арабском языке, наоборот, есть особые буквы для обозначения разных придыханий — зато слабые гласные на письме не обозначаются, а при необходимости лишь добавляются диакритические знаки (огласовки).

транслитерации η как *i-* . С другой стороны, можно сохранить связь с традиционным *ē* и обозначить η через *e-* . Оба варианта имеют свои плюсы и минусы — и оба одинаково приемлемы. Для определенности выберем второй; это позволяет единообразно записывать слова ново- и древнегреческого языка. Собственно дефис при необходимости легко вставить как --.

С учетом всего сказанного возникает простая и удобная транслитерация, сохраняющая связь с реальным звучанием слов. Для тех, кто знаком с правилами чтения буквенных сочетаний в греческом языке, такая запись практически идентична исходной греческой; для остальных она дает лишь намек на произношение, вполне достаточный для практических нужд. Такая транслитерация может быть сделана чисто механически — например, автоматическая замена греческих имен файлов на латиницу и наоборот.

α	*a*	αυ	*au*	ι	*i*			ρ	*r*
β	*b*			κ	*k*			σ	*s*
γ	*g*			λ	*l*			τ	*t*
δ	*d*			μ	*m*			υ	*y*
ε	*e*	ευ	*eu*	ν	*n*			φ	*f*
ζ	*z*			ξ	*x*			χ	*h*
η	*e-*			ο	*o*	ου	*ou*	ψ	*ps*
θ	*th*			π	*p*			ω	*o-*

В латинице мы можем опустить знаки ударения, которые пока обязательны в греческой письменности — но смысловой нагрузки практически не несут. Скорее всего, традиция помечать ударения отпадет со временем, как ушли знаки облегченного ударения и придыханий.

Тем не менее, наша система транслитерации, в принципе, позволяет ввести диакритику. Так, облегченное ударение можно показать знаком ~ после буквы; учитывая, что над ε и ο облегченного ударения не бывает, можно смело писать *e~* и *o~* вместо $\tilde{\eta}$ и $\tilde{\omega}$ соответственно, например: *Aristo'tele-s, Pla'to-n, Plo-ti~nos*. Густое и легкое придыхания естественно обозначить знаками ` и ' перед гласной или дифтонгом. Если острое и тупое ударение обозначать (в соответствии с правилами современной лингвистики), соответственно, прямым и обратным апострофом после буквы, — путаницы с обозначением придыханий не возникает (они бывают только в начале слова). Например: *strati-go`s le'gei*. Знак ^ естественно использовать для обозначения облегченного ударения в древнегреческом языке; поскольку нести такое ударение могут лишь долгие гласные или дифтонги, знак долготы (дефис) в ряде случаев можно опустить: *mni^ma, timo^*. Трема (¨) естественно вводится точкой перед отделяемой в произношении гласной: *pra.u's* (двоеточие недопустимо в именах файлов).

С учетом всего, можно смело писать: *Mi^nin 'a'eide thea' Pi-li-ia'deo- 'Ahili^os*… Однако транслитерация, конечно же, для подобных экзерсисов не предназначена: никто не собирается переводить греков на латиницу. В конце концов, начертание букв очень даже немаловажно. Язык, ведь, это не просто набор ярлыков — это еще и особый ассоциативный строй, и традиции каллиграфии… А транслитерация вообще не предполагает какого бы то ни было знакомства с языком: это простая операция, доступная самому примитивному компьютеру.

Идея фонологии

Можно по-разному подходить к фонологии и неоднозначно к ней относиться. Есть много фонологических школ. Изучают способы порождения звуков, фонологические группы, связи фонетики с функциональностью… Однако нет сердцу отрады: никак не отпускает ощущение фрагментарности, зыбкости оснований. Не видно основополагающей идеи, из которой частные

исследования вытекали бы как единичные представители всеобщего, как разные обращения одной иерархии. Разброд в методах преподавания добавляет сумятицы и сомнений. Насаждение «международных» (американских) стандартов — еще хуже.

Две крайности: эмпиризм и логицизм. Одни пытаются как можно подробнее зафиксировать наблюдаемые в разных языках звуковые элементы, уловить малейшие нюансы произношения. Другие — предполагают наличие формальной структуры, из которой последовательностью типовых преобразований можно получить все возможные на практике фонологические явления.

Обеим позициям не хватает главного — связи с языком. Забывают, что звук важен здесь не сам по себе, а как способ коммуникации, он лишь *представляет* нечто, к звучанию непосредственного отношения не имеющее. В каких-то ситуациях звук вообще оказывается ненужным, поскольку современное общение опирается на визуальные формы; начало этому процессу положено возникновением письменности, часто понимаемой как фиксации речи в неречевых формах. Следующий шаг — освобождение языка от речевой оболочки, абстрагирование от возможных способов озвучки. Так появляются разного рода специализированные (формализованные) языки — математика, химические формулы, индексация, мультимедийные презентации… Разумеется, полностью избавиться от родства с речью язык не может — по крайней мере, пока физиология людей не станет принципиально другой. Однако сама возможность вытеснения звука из сферы общения указывает на его вторичность по отношению к содержательной стороне общения — обмену деятельностями.

С точки зрения иерархического подхода, не существует единственно правильного представления для звукового строя какого-либо единичного языка — и тем более, абсолютной фонологической формулы, пригодной для всех языков вообще. Однако в каждом конкретном исследовании обязательно возникает некоторая иерархическая структура, в которой все фонологические явления упорядочены вполне определенным образом, разнесены по уровням общности.

В фонетике и фонологии важно помнить, что язык — не застывшая абстракция, он существует лишь посредством многочисленных диалектов, местных форм, индивидуальных языковых предпочтений. Общеизвестно, что носители одного языка зачастую говорят совершенно по-разному, вплоть до практической невозможности живого общения. Язык северной Франции отличается от языка Прованса — а парижский диалект вообще особняком; баварский немецкий не похож на язык прибалтийских немцев, а диалекты китайского языка настолько различны фонологически, что в некоторых случаях их единство устанавливается лишь в письменности. Тем более рискованно загонять в единую схему варианты одного и того же языка, разнесенные по историческому времени. Мы, например, не знаем в точности, как говорили жители центральной Франции тысячу лет назад, — однако это однозначно отличалось от современного французского, и восстановить старофранцузские говоры можно лишь в общих чертах, с большой долей условности и модернизации. Для изучения фонологии древнейших (доисторических) языков требуется скрупулезная реконструкция, и всегда есть риск проекции современных реалий в далекое прошлое.

Русский язык не исключение. Он представлен огромным разнообразием диалектов, стилей, исторических форм. Говорить о фонологии русского языка вообще — занятие абстрактное. На самом деле, нет даже четкой границы между русским языком и его лингвистическими соседями (украинским, белорусским) — они плавно переходят друг в друга, образуя специфические языковые смешения. Это общее явление для многоязычных сред.

Разумеется, средства массовой информации подталкивают национальные языки к унификации, к общепонятному усредненному произношению. Но не всегда: например, языковая политика в Канаде (в отличие от Франции) приветствует диалектное разнообразие. С другой стороны, возможность общения вне фонетического фона, предоставляемая Интернетом, поддерживает тенденцию обособления индивидуальных языковых форм.

Богатейшую палитру фонологических смешений порождает глобальная миграция. В устах выходца с Кавказа или из Средней Азии русский язык приобретает своеобразное звучание — и эти «искажения» постепенно обретают права языкового гражданства, следуя за изменениями

национального состава населения. Точно так же, во Франции, арабский язык оказывает мощное фонологическое и лексическое давление на французские диалекты, а язык выходцев из Сенегала или Юго-Восточной Азии обладает своеобразием, заметным даже иностранцу.

Взаимопроникновение культур в конечном итоге влияет и на фонологию. Например, широкое заимствование лексики из английского языка приводит к изменению произношения ряда ранее существовавших в русском языке слов, к иной организации речи, лучше приспособленной к «иностранному» звучанию. Когда-то русский язык испытал подобное влияние со стороны немецкого и французского языков, а на заре своего становления — со стороны греческого языка. В эпоху петровских реформ возникло разделение московского и питерского диалектов, при сохранении характерных волжских и северных говоров. Позже, в ходе естественной и принудительной миграции, родились южные, уральские и сибирские диалекты. Разновидности единого языка различны фонологически, лексически и отчасти грамматически.

Следовательно, исследование звукового строя любого языка всегда ограничено рамками определенной исторической эпохи, географическими и классовыми предпочтениями. То, что выглядит безусловно значимым в одном контексте, а других языковых условиях может проявляться как тенденция, отклонение от среднестатистической нормы.

Даже в рамках вполне определенной формы бытования языка возможны разные уровни исследования. Эмпирическое перечисление имеющихся фонем по-прежнему сохраняет свое значение. Изучение логических классов фонем и переходов между ними также безусловно необходимо. Но важно также показать, как все это связано со строением языка и содержанием речи, с речевой ситуацией. Так, одна и та же фраза может быть произнесена с совершенно разными интонациями, ее фонетическое наполнение меняется в зависимости от контекста. Редукция или, наоборот, подчеркивание каких-то звуков отражают характер деятельности, уровень общения, настроение говорящего, его отношение к собеседнику и т. п. Например, во французской поэзии слогообразующими становятся даже те элементы, которые в обыденной речи не произносятся никогда, — достаточно формального присутствия гласной между двумя согласными. Наоборот, немецкой поэзии свойственно выпадение гласных. Ни то, ни другое невозможно в китайской поэзии — там действуют другие законы. В текстах русских песен гласные обычно усиливаются, подчеркиваются; в итальянских или греческих песнях, наоборот, широко применяется редукция гласных, характерная для разговорной речи. Турецкая и персидская поэзия на этом фоне выглядят фонологически нейтральными.

Различие в интонировании служит в живом языке для передачи разного рода личностных оценок; нарочитое искажение звучания (при сохранении лексико-грамматической структуры) может нести смысловую нагрузку, меняя значение сказанного. Иногда фонемы намеренно переставляются — это придает словам дополнительные коннотации. Во французском языке, например, циклическая перестановка слогов (verlan) стала массовым явлением, причем слова-перевертыши зачастую на слух кажутся совершенно другими, непохожими на оригинал (ср. homme/mec, arabe/beur). В русском языке в эмфатических целях широко используется «украинизация» звучания или заведомая архаика. Частично восстанавливают утраченные вспомогательные слова или морфемы — или искусственно вводят новые. Слово обрастает вариантами произнесения (например, обычное «туда» превращается в «тудэ» или «тудэма», в «туды» или «тудыть»; при этом звук [у] зачастую редуцируется, так что бывает сложно отличить «туды» от «тады»).

Фонологический конструктивизм иногда принимает официозные формы: базовые системы фонем не выделяются в речи, а предписываются ей. Это позволяет по-новому взглянуть на внутренние взаимосвязи, углубляет понимание реального звукового строя — и открывает путь к освоению новых звуковых систем. Так, в геометрии отказ от знаменитого постулата Евклида о параллельных привел к разного рода неевклидовым геометриям, а замена углерода на кремний в полимерах открывает индустрию силиконов. Однако современная наука пока даже не ставит вопрос о приемлемости и устойчивости инноваций — просто потому, что мы не понимаем, что, собственно, должно быть приемлемым или устойчивым. Пока зоология фонем существует отдельно от языковой практики, все комбинации одинаково допустимы — и равно бессмысленны.

Интуитивно, фонология обязана прояснить вопрос о соотношении непрерывности и дискретности в языке. Если начинать с готовых фонологических систем, об их происхождении невозможно вообще ничего сказать. Точно так же, как «элементарная теория музыки» никак не объясняет существования музыкальных структур (звукорядов, ладов, аккордов и т. д.). Чтобы стать наукой, фонология должна найти фундаментальный закон, в силу которого сплошное поле речевых случайностей распадается на относительно небольшое количество отчетливо различимых единиц — фонем. Тогда мы сможем не только сказать, какие фонологические системы исторически возможны, но и предсказать их характерные особенности — и объяснить какие-то нефонетические черты реально существующих языков. В частности, можно задуматься и о логике развития искусственных языков.

В самом общем виде, возникающие в языке структуры имеют зонное строение: любая дискретность существует лишь как поле возможных вариаций. В иерархической модели зонные структуры выстраиваются по уровням восприятия, и зоны одного уровня могут перекрывать несколько зон другого. Вне этой многоуровневости мы не сможем понять многочисленные случаи чередования фонем или их трансформации в зависимости от языкового (и не только языкового) контекста. Более того, само определение контекста оказывается подвешенным в пустоте. На каком основании различаем мы уровни, стороны и задачи языка?

Учебники говорят: фонема есть то, что нельзя заменить, не меняя значения слова, фразы, морфемы — или еще чего-то. Это чисто абстрактное сопоставление разных аспектов языковой реальности, не вызванное никакой внутренней необходимостью. Как захотели — так и определим. Нет за этим никакой идеи — чистый произвол.

Оставляя пока в стороне тот факт, что речь вовсе не обязана опираться на слово как основную единицу, вспомним хотя бы о существовании омонимии. Поскольку же восприятие носит зонный характер, разные варианты звука вполне могут сливаться в один — и возникают псевдо-омонимы, индивидуальные способы отождествления лингвистически различного. Конечно, *grand-mère* звучит иначе, чем *grammaire*, и *l'écume* отличается от *légumes*. Но в контексте присутствие или отсутствие носового оттенка никак не мешает понять, о чем идет речь. Есть факт: иностранцы говорят с акцентом — а их все-таки понимают. Пусть даже посмеиваются (или издеваются) над «варварским» произношением.

Из психологии: восприятие — в отличие от ощущения — опирается на предположения о том, что именно требуется воспринимать. Это один из видов (уровней) *установки*. Даже очень кривое произношение не вредит общению тех, кто думает одинаково. И наоборот, у собеседников могут быть разные идеи о целях общения — и тогда даже «нормализованное» произношение не спасет. На таких ослышках испокон веков играет художественная литература, оговорки «по Фрейду» — старинная идиома; можно привести сотни примеров из восприятия своих или иностранных песен («шумелка-мышь», «скрипка-лиса», «сто балерин»), имен («рубин гранат кагор»), названий книг («граната и браслет») или рекламных объявлений («девушки недорого в красивой местности»). В детстве слушал патриотическую песню «Куба, любовь моя» и представлял марширующих в строю бородатых женщин: в русском (московском) произношении [о] звучит как [а] — и песня оказывается про *barbudas*… Потом в Париже продавщица с сожалением объясняла мне, что у них в магазине сейчас нет электрифицированных приспособлений для полива растений (*arrosoir*), — тогда как я собирался купить всего лишь электробритву (*un rasoir électrique*). Что уж говорить о мучениях испанцев, для которых французские *voir* и *boire* звучат совершенно одинаково, — или о китайских проблемах с различением звонких и глухих согласных в европейских языках…

Тем не менее, миллионы людей осваивают иностранные языки, а миллиарды умеют в своем родном языке не путать божий дар с яичницей. Почему? Да потому что фонологическая система существует не сама по себе, а в коллективе с прочими компонентами языка, и все друг другу помогают. Но сложился этот коллектив не случайно. У него вполне конкретная задача: обслуживать совместную деятельность. То есть, сначала мы что-то делаем вместе — и только потом учимся это словесно (или еще как-нибудь) обозначать. Если же нам предлагают тупо писать диктант, никакой осмысленной цели за этим не стоит, — и *mère de Jean* ничем, по сути, не отличается от *merde de gens*.

В этой связи можно сомневаться в пользе абстрактных фонетических упражнений, которыми начинаются все университетские курсы языков (а потом и лингафонные курсы для широкой публики, и компьютерные тренажеры). Говорить можно только осмысленными фразами — а никак не отдельными словами, и даже не словосочетаниями, и уж тем более не фонемами. Воспринимаются не звуки и знаки — а обозначаемое ими содержание. Первые словофразы младенца — сущий кошмар с точки зрения фонетики. Но они уже принадлежат определенному языку, их строение (в том числе фонологическое) не случайно. Гастарбайтер на стройке понимает мат прораба — хотя двух слов по-русски связать не в состоянии. В дальнейшем (и это факт чрезвычайной важности!) мат становится частью родного языка «понаехавших», проникает в их лингвистическую плоть и кровь. Русские баре начала XIX века говорили по-французски, духовно оставаясь русскими: иностранная речь с детства была частью их быта, и воспринималась как своеобразное расширение языка, вроде блатной фени. Дико российский акцент — это не от безграмотности, а наоборот, от глубокого погружения. Аналогично местные наречия Европы препарировали благородную латынь. Если не озабочиваться перспективами карьерного роста, изучение иностранных языков есть прежде всего расширение возможностей общения на родном языке: у полиглота языки не сосуществуют в параллельных мирах, а сливаются в целостную картину мира, способного по-разному говорить об одном и том же. Соответственно, и фонология такого синтеза не сводится к сумме частных фонологий: активные языки притираются друг к другу, каждый из них в какой-то мере меняется. Парадоксальный вывод: хороший лингвист не должен быть полиглотом. Это вредит объективности исследования.

Казалось бы, современные методики языковых школ, изначально отрабатывающие материал в привязке к типовым деятельностям (activities), — шаг в правильном направлении. Ничего подобного! На деле это вульгаризация идеи: вместо реальной заинтересованности в результате — абстрактное (условное) помещение студента в чуждый ему контекст. Конечно, каждый подсознательно умеет вытащить из пошлости рациональное зерно, и чему-то неизбежно учится. Но забывает на другой день после сдачи экзамена — если нет разговорной практики. Открытым текстом: чтобы освоиться в иностранном языке, надо просто жить в нем, регулярно использовать для чего-нибудь полезного. Как там будет с грамматикой, лексикой или фонологией — дело десятое. Пусть будет всего понемножку, ровно столько, чтобы хватило для решения поставленных жизнью задач.

И вот тогда, из повседневных тем, — для дела, для общения живого, — придут системы правильных фонем: оформятся — и растворяться снова.

Письменность без иллюзий

После распада СССР некоторые новоиспеченные нации вдруг озаботились проблемами письменности огосударствленного языка. Глупое стремление демонстративно отказаться от любых знаков советского прошлого проявилось, в частности, в попытках замены доставшейся им в наследство от СССР системы письма на что-нибудь совсем другое. Но вместо того, чтобы честно признаться в истинных мотивах, изобретатели новой письменности стыдливо прикрываются фразами о «естественности» выбранной ими замены, о ее соответствии духу языка… Так, например, узбекский и азербайджанский языки перешли на латиницу — чем она «естественнее» для этих языков? Только тем, что она принята в Турции, под крылышко которой новотюрки очень хотели бы пристроиться. И тем, что она принята в Европе и США, которые могут расщедриться на энную сумму, если их как следует умаслить. Попытки внедрения латиницы предпринимаются также в Казахстане; в некоторых национальных округах России тоже муссируются вопросы начертательных реформ. В частности, возникают голоса в пользу возвращения к «истинно исламскому» арабскому алфавиту — но они пока не получили государственной поддержки: желание быть ближе к Америке возобладало над приверженностью гласу аллаха. Будь арабский мир столь же богат — еще неизвестно, куда склонилась бы чаша весов. Кто знает? — возможно, со временем естественной для всех языков будет считаться китайская письменность…

Процессы реорганизации графики идут во многих языках. Во что все это выльется — никто не угадает. А пока было бы неплохо определиться с тем, что такое вообще есть письменность, какое место она занимает в жизни языка.

Традиционно связывают зарождение письменности с рисунком, с изображением конкретных предметов. В какой-то мере это справедливо — поскольку само начертание знаков письменности (графем) предполагает способность графики, придания некоторому материалу внешней для него структуры, порождения формы, выражающей другие формы. Исторически наскальные рисунки предшествуют древнейшим известным надписям. Однако вовсе не обязательно, чтобы графемы вели свое происхождение от изображений. Помимо изобразительной графики были и другие разновидности. Например, графика орнаментальная — ритмическое повторение отдельных элементов, не обязательно изобразительного характера. Про орнаментальное использование письменности и каллиграфию все знают. Можно предположить, что собственно изобразительная графика возникла как раз из орнамента — или чего-то другого: было бы странно, если способности живо передавать на рисунке окружающий мир не предшествовали какие-то ранние формы графики, на которых древние художники оттачивали свое умение. Однако эти ранние формы, даже если их остатки дошли до нас, очень трудно выделить из позднейших наслоений — их можно только гипотетически реконструировать. К реликтам древнейших форм графики можно отнести такие современные явления как макияж, украшение новогодней елки, граффити.

Орнаментальная графика весьма разнообразна. Она проявляется практически в любой области деятельности, поскольку люди пытаются привнести в нее эстетический элемент и логически упорядочить. В этом плане она сродни языку, который по своей сути универсален, призван охватить все стороны человеческой жизни. Подчеркивание базовых элементов, организация их в серии — также сродни типизирующей природе языка. Напротив, рисунок и живопись, даже в самых абстрактных формах, сугубо индивидуальны, их задача противоположна — отойти от обыденности, найти в ней необыкновенное. Напрашивается мысль, что развитие письменности шло своим, особенным путем, независимо от изобразительного искусства — хотя взаимовлияние этих ветвей неизбежно, как переплетались с древнейших времен пути музыки и поэзии.

В дошедших до нас древних образцах письменности для представления языковых форм использовались пиктограммы, стилизованные изображения реальных предметов. Однако уже в то время эти картинки потеряли собственно изобразительный характер, они использовались в качестве абстрактных элементов особого орнамента — текста. Не исключено, что возможность такого абстрагирования была подготовлена какими-то более ранними системами письма неизобразительного характера. В качестве иллюстрации вспомним о зарубках и узелках «на память» — и об узелковой письменности у американских коренных народов. Вообще, достаточно оставить характерный след на чем-то, чтобы потом это ассоциировалось с определенной деятельностью — здесь зачатки письма как знаковой системы. В конце концов, именно по оставленным нашими предками материальным следам восстанавливают образы древних культур, как бы читая старинные письмена.

Тут мы подходим к сути вопроса. Обычно, когда говорят о функциях письменности, прежде всего называют представление и фиксацию в ней каких-то языковых форм. Но сам-то язык для чего? Он связан с человеческой деятельностью, он ее обслуживает и ее отображает. Письменная речь в этом плане ничем не отличается от непосредственного общения, это лишь его «отсроченный» вариант, возможность коммуникации не здесь и сейчас, а через пространство и время. Но такое опосредованное общение вовсе не обязано принимать те же формы, что и общение непосредственное. Возможны знаковые системы, с речью никак не связанные, дополняющие, а не копирующие ее. Например, химические и математические формулы можно пытаться пересказать на обычном языке — но это лишь приблизительный перевод, в котором теряется внутренняя логика формального языка. Все равно что пытаться пересказать содержание стихотворения.

По своему происхождению, язык есть универсальный способ обмена деятельностями, способ соединения усилий разных людей для достижения общей цели. Всякая фраза — как бы

незаконченная деятельность, которую другой может подхватить и продолжить. Соответственно, роль письменности состоит в фиксации таких незаконченных деятельностей, с намеком на возможные способы продолжения. Вполне возможно, что письменность гораздо старше, чем мы сейчас предполагаем, и письменная речь родилась не после устной, а развивалась параллельно с ней. Однако первобытные формы письменности синкретично вплетены в материальную культуру, и вычленить их из нее на нынешнем уровне научной методологии пока не представляется возможным. Как определить, царапина на каменном топоре случайна — или это артефакт? А может быть, ее сделали намеренно, как зарубку на память? Только когда эти «зарубки» стали делать не ради самих деятельностей, а по поводу высказываний о них, — стало возможно заметить их абстрактно-знаковую природу и идентифицировать как письменность.

Коль скоро письменность призвана фиксировать не языковые явления, а деятельности, не обязательно напрямую связанные с речью, она не обязана копировать строение языка — и тем более, внешнюю форму его, звуковой строй. Более того, она как раз должна служить освобождению языка от звуковой оболочки, переходу на более высокий уровень общности, к большей универсальности. А значит, говорить о «естественности» той или иной письменности для какого-то языка — это логическая ошибка, противоречие в определении. Всякий язык допускает любую систему записи, а любая письменность одинаково пригодна для любого языка. Выбор того или иного варианта связан с конкретными историческими условиями, он определяется чисто практическими соображениями. Например, для киргизского и казахского языков параллельно существуют представления на базе арабского письма, кириллицы и латиницы, и одно ничем не хуже (и не лучше) другого. Письменность может эволюционировать вместе с развитием языка — но может и направлять это развитие. Поэтому попытки применения различных систем письма к одному и тому же языку бывают полезны и поучительны. Особенно если не ограничиваться транслитерацией.

Большинство европейцев настолько приучены к фонематической парадигме, что задача создания новой письменности для них состоит в выделении основных фонологических единиц и сопоставлению их с элементами некоторой знаковой системы. Например, есть проекты перевода русского языка на латиницу, и авторы их первым делом провозглашают «фонетический принцип»: одна буква соответствует одной фонеме. В результате буквы обрастают диакритическими знаками, выражающими понимание фонологии русского языка авторами проекта; в лучшем случае соглашаются представлять фонемы сочетаниями букв… А интересно как раз поискать принципиально новые представления языковой реальности, что позволит осознать саму эту реальность как-то иначе. Возможности тут неисчерпаемы даже в рамках фонологии.

В качестве примера, допустим, что нам нужно перевести россиян на арабский алфавит.

Примитивный подход — приближенная (условная) транслитерация. Подобрать арабские соответствия для символов кириллицы — и дело сделано… Это наверняка возможно, поскольку арабская письменность дает простор для практически неограниченного расширения знаковой системы — за счет изменения количества и расположения точек. Остается определить правила употребления альтернативных написаний, диакритических знаков и лигатур, чтобы получить практически приемлемый вариант письменности.

Продвинутые почитатели фонетического принципа могут обратиться к науке и сопоставлять арабские графемы не символам кириллицы, а научно выделенным фонетическим единицам. Правда, придется определиться, какую из имеющихся теорий принять за основу: московскую школу, ленинградскую школу — или еще кого-то? В конце концов, и арабы (или персы) как-то воспринимают русскую речь — и транскрибируют на своем языке.

Но можно пойти по другому пути. Заметим, что традиционная арабская письменность не является в полной мере фонетической, написание слов не всегда отражает их звучание. Одна и та же последовательность символов может соответствовать фонетически разным словам. Например, запись جلست может читаться как [джаласту], [джаласта], [джаласти], [джаласат] — *я сидел, ты сидел, ты сидела, она сидела*; явление в какой-то мере обратное тому, как во французском языке из шести личных форм глагола в imparfait четыре произносятся одинаково, различаясь только на письме. Для сопоставления письменного представления с произношением

требуется рассматривать его в контексте фразы в целом, или даже целого текста, — при этом, конечно, нужно в какой-то мере уметь говорить по-арабски.

Различие кириллицы и арабского письма можно сравнить с разными способами кодирования изображений в компьютерах. Есть кодировки, буквально передающие картинку, точка за точкой (форматы BMP, TIFF). Но есть «сжимающие» форматы, которые допускают какую-то степень неточности при восстановлении исходного образа (JPEG). Однако, для человеческого глаза, точное и «восстановленное» изображения практически неразличимы, и лишь в каких-то специальных ситуациях сказывается эффект сжатия. Но и в арабском языке бывают случаи, когда необходимо дополнить текст огласовками, указывающими, как именно следует его читать.

Возможна ли подобная неполная запись русского текста? Безусловно! Люди часто используют разного рода сокращения; иногда эти сокращения бывают понятны только писавшему: откуда мне знать, что кого-то жена послала на рынок, и запись *3 л. ж ср* на бумажке в его кармане означает «три лимона, желтых, средней величины»? В контексте некоторого набора общих деятельностей даже такие сокращения бывает можно расшифровать. Если в слове добавлена, пропущена или изменена буква, если буквы поменялись местами — мы без труда восстанавливаем правильный вид; иногда мы даже не замечаем опечатки. Наконец, есть обычные сокращения, которые понятны каждому носителю языка (напр., и т. д.) — это аналоги арабских лигатур.

Таким образом, функционально осмысленное использование арабского алфавита в русском языке предполагает некоторый стандартный способ сокращенной записи текстов. Попробуем сформулировать некоторые его принципы.

Как известно, в арабском алфавите имеются символы только трех гласных букв: (ا) для звука [a], (ي) для звука [i], (و) для звука [u] — причем символ (و) также служит для обозначения звука [w]. Известно также, что, в зависимости от контекста, читаются буквы по-разному: (ا) может читаться открыто или закрыто, иногда как [э], (ي) как [ы] или закрытое [э], (و) может звучать как закрытое [o].

В русском языке традиционно выделяют пять базовых звуков, которые могут появляться в открытом ([A], [O], [E], [U], [I]) и закрытом ([a], [o], [e], [u], [i]) вариантах. Открытые гласные передаются на письме буквами *а*, *о*, *э*, *у*, *ы*; закрытые возникают при чтении *я*, *ё*, *е*, *ю*, *и*. Ленинградская фонологическая школа не признает отождествления [I] с [i] (не считает их вариантами одной фонемы — аллофонами); об этом будет отдельный разговор — а пока мы, для определенности, все-таки отождествим. Замена одной гласной на другую в ударном слоге меняет значение слова (*демо*: *дама дома*, *дума дыма*). Однако в безударном слоге возможны отождествления [O] с [A], [e] с [i]. Отметим также, что русское [v] зачастую звучит как [w], а в индивидуальном произношении может даже превращаться в [u].

Таким образом, у русских гласных есть тенденция объединяться в фонетические группы (кластеры), которых ленинградская школа не признает, а московская считает особыми «суперфонемами». Для гласных получается три кластера: {A, a, O, o}, {E, e, I, i}, {U, u, w, v}. Можно положить, что для русского языка арабские буквы (ا), (ي), (و) указывают не на конкретный звук, а на фонологический кластер. В большинстве случаев такого указания достаточно для восстановления полной формы слова (*ложа*, *лыжа*, *лужа*). Разумеется, мы не сможем различить слова *дама* и *дома* в изолированном написании; однако в контексте определение правильной форма не представляет труда. В кириллице можно было бы условиться обозначать первый кластер символом (@), второй — символом (*), третий — символом (#). Так@я зам*на практ*чески не вли@ет на удобочит@емость.

Итак, первое правило для перехода от кириллицы к арабице — замена ударных гласных ссылками на соответствующий фонологический кластер. Второе правило — не требуется никак обозначать гласные в безударных слогах, их всстнвлень цлком опрдляетс кнтекстм.

Когда две гласные идут подряд, в реальном произношении это может соответствовать различным фонетическим явлениям (удлинение, дифтонги, модификация). Дифтонги с [й] (краткое [i]) в арабском языке обозначаются буквой (ي) — собственно [i]. Можно сохранить это правило и для русского языка. Фактически, мы вводим согласную (й), которая обозначается так

же, как гласная [i] (т. е. входит в ее кластер). Это совершенно аналогично тому, как гласная [y] и согласная [w] обозначаются одной графемой (و); точно так же, как *й*, буква *у* может выступать в роли полугласной *ў* и образовывать дифтонги и трифтонги с соседними гласными. Отличить, имеется в виду ударная гласная или дифтонг с предыдущей или последующей безударной гласной, помогает контекст. В русском языке, в отличие от арабского, дифтонги *ай, эй, уй* могут находиться образовываться с ударной (долгой) гласной. На письме это приводит к невозможным в арабском тексте последовательностям (ايـ), (بيـ), (وي). Чтобы обойти эту трудность, можно заметить, что в ударном дифтонге [ай] возникает легкое придыхание между [а] и [й], то есть дифтонг как бы распадается на последовательность [аи]. В арабском языке есть особый согласный звук, обозначаемый знаком (ح). Можно уподобить его возникающему в русских дифтонгах придыханию. Дифтонг [ай] в ударном положении мы как бы рассматриваем как редуцированное *айи*; в соответствии с правилом опущения безударных гласных на письме, в нашей «модифицированной» кириллице это превращается в @~ : *слч@~н~ р*~с, стр@~н~ д*вшк, см*~н~ д*л*.

В последних двух примерах буква (ح) использована также как разделитель рядом стоящих безударных гласных: *-ная → -на~я → -н~*. Тем самым вводится единое сокращение *-н~* = (نح) для окончаний *-ная, -ное, -ные, -нее, -ную* и т. д.; конкретный вариант выбирается в зависимости от контекста (ср.: *стр@~н** — *стройный*). Аналогично буква (ح) вставляется между гласной и следующей за ней закрытой (йотированной) гласной в середине слова: *пр@м* (*прём*) отличается на письме от *пр~@м* (*приём*) — аналогично, *в*~ть* (*веять*) ≠ *в*ть* (*вить, выть*).

Когда сразу после гласной идет открытая гласная, характер их разделения в какой-то мере соответствует арабской хамзе, и записывать это можно по тем же правилам. В кириллице мы используем для этого знак (’): *т’@тр* (*театр*), *н’@н* (*неон*), *кр’#л* (*караул*). Особенность русского языка — стечение безударных гласных. Чтобы это отобразить на письме, обычно используется вспомогательная подставка (ٕ), которая в данной случае обозначает любую открытую гласную или нейотированное [i]. Это соответствует записи вроде *пр’@брзв@н~* (*преобразование*), или *п,@з~* (*поэзия*). Нижнее положение хамзы — написание под (ٕ) — говорит о том, что за ней следует звук [i] или [E], а не звуки [A], [O] или [U]. Так же записывается и начало слова с открытой гласной или с нейотированной [i]: *’@кн@* (*окно*), *,@т@ж* (*этаж*), *’@гл* (*угол*), *’@*в@* (*айва*), *,@гл@* (*игла*), *’@фрик* (*Африка*). В принципе, можно также использовать начало с (ء) для написания некоторых иностранных слов (например, *араб → ^р@б, история → ^ст@р~*).

Закрытые гласные (кроме [i]) в русском языке в начале слова употребляются лишь в форме дифтонгов ([ia], [ie], [io], [iu]). Соответственно, слова на письме будут начинаться с (ٖ) = (*). В ударном первом слоге основная гласная обозначается, в безударном нет: **с’#л* (*есаул*), **@кр* (*якорь*). Чтобы избежать соединения двух (ي) подряд, условимся обозначать такие дифтонги одной буквой (ي): вместо ***хть* будем писать **хть*. Русский союз *и* можно передать отдельно стоящей буквой (ي) в изолированном начертании — или (в духе арабского языка) использовать хамзу под алифом: *,@*.

Теперь займемся согласными. Традиционно считается, что в русском языке согласные имеют два основных аллофона — твердую и мягкую форму. Перед открытыми гласными согласные принимают твердую форму, перед закрытыми — мягкую. В некоторых случаях согласные смягчаются и без последующей гласной: *сидеть, пальма* — здесь требуется введение специального знака для обозначения мягкости. Для большинства других языков разделение фонем по этому признаку не характерно. Вариативность произношения согласных в русском допускает весь спектр мягкости практически в любой позиции, на понимании речи это обычно не отражается. Мы легко понимаем иностранцев, говорящих по-русски, даже если они произносят согласные в соответствии с нормами своего языка. Следовательно, согласные русского языка образуют кластеры подобно гласным, и достаточно одной буквы для обозначения любой фонемы из кластера. В частности, не требуется специально обозначать мягкость согласных, поскольку в контексте неоднозначность изолированного слова (*пальцы* и *пяльцы* записываются одинаково: *п@лц*) обычно устраняется (напр.: *л@ж на см*ртнм л@ж — лёжа на смертном ложе*).

В арабском языке имеются пары графем (د) — (ض), (ز) — (ظ), (ق) — (ك), (س) — (ص), (ت) — (ط); в каждой такой паре второй звук можно считать более жесткой модификацией первого. В принципе, можно было бы использовать это различие для различения на письме русских фонем [д′] — [д], [з′] — [з], [к′] — [к], [с′] — [с], [т′] — [т]. Однако как раз для этих звуков различие по твердости—мягкости в русском языке малосущественно даже для носителя языка, и степень их мягкости сильно варьируется в реальном произношении.

Часть арабских согласных не имеет аналогов в русском языке — соответствующие буквы алфавита использоваться не будут (кроме, может быть, отображения иностранных слов). Некоторые русские согласные не вписываются в классический арабский алфавит — и требуется либо его расширение (с учетом опыта других языков) либо условное отождествление с какими-то из собственно арабских букв, безотносительно к близости произношения. Например, в русском языке нет звука, обозначаемого буквой (ث); однако вспомним, что похожий испанский звук часто передается в русском написании буквой (ц) — *Ибица, каденция,* — поэтому можно смело использовать букву (ث) для обозначения русского звука [ц], который отсутствует в арабском языке. Точно так же, арабскую букву (ج) можно использовать для обозначения русского [ж] — но так же обозначать и [дж], поскольку это элементы одного кластера.

Исходя из этого, набор арабских графем для записи русских согласных мог бы выглядеть следующим образом:

б	ب	ب	ٻ	ٻ	*п*	پ	پ	پ	پ
в	و	و			*ф*	ف	ف	ف	ف
г	گ	گ	گ	گ	*к*	ك	ك	ک	ک
д	د	د			*т*	ت	ت	ټ	ټ
ж (*дж*)	ج	چ	ڃ	ڃ	*ш* (*щ*)	ش	ش	ۺ	ۺ
з	ز	ز			*с*	س	س	�س	ۺ
л	ل	ل	ڵ	ڵ	*р*	ر	ر		
м	م	م	۾	۾	*н*	ن	ن	ڼ	ڼ
х	خ	خ	ځ	ځ	*ц*	ث	ث	ټ	ټ
ч	چ	چ	ڃ	ڃ	^	ع	ع	ع	ع

Заливкой отмечены буквы, не входящие в собственно арабский алфавит.

Напоследок пара штрихов. Удвоение согласных естественно обозначать арабским знаком «ташдид». Для стандартных окончаний или приставок возможно использование специальных букв и лигатур. Например, арабскую графему (ة) удобно приспособить для обозначения окончания на мягкую согласную *-ь*. В этом случае запись *кр@ль кр@л* больше напоминает исходное *король карал* — хотя неоднозначность полностью не устраняется, и непонятно, то ли он карал, то ли крал — а может быть, что и кирял… Но достаточно расширить контекст — и все становится на свои места: *кр@ль кр@л прст#пнкв — кр@ль кр@л д*нг ,@з кзн**.

В этой заметке сокращенная запись как правило снабжалась полной «расшифровкой». Однако если система сокращений становится стандартом и входит в привычку, сокращенная версия ничуть не труднее для понимания — а в некоторых случаях даже удобнее. В развернутом контексте даже не слишком искушенный читатель все поймет правильно.

Сухой остаток: существует система записи русских текстов в арабской графике, отвечающая звуковому строю русского языка. Существует транслитерация этой записи в кириллицу, сохраняющая особенности арабской графики. Такую транслитерацию можно рассматривать как стандартную систему сокращений, отражающую иерархическую организацию русских фонем внутри непрерывного звукового поля, с образованием кластеров разного уровня. Любую систему письма можно приспособить для нужд любого языка — однако при этом следует учитывать внутреннюю логику и того, и другого.

О природе языка

Деятельность людей протекает в едином мире, но воспринимают его люди двояким образом — то, на что их деятельность направлена, называется природой, а то, что они в результате производят, — культурой. Соответственно, и к исследованию языка можно подойти с двух сторон, рассматривая его либо как естественное образование, либо как культурное явление. Оба подхода одинаково правильны, а в лингвистических работах они зачастую переплетаются, хотя один аспект может временно преобладать над другим. Тем не менее путать научное исследование с культурологическим не следует — они существенно различны по характеру и содержанию. Так, занимаясь вопросом о происхождении языка, наука обратится к аналогичным природным явлениям, выстроит их в линию объективного развития; исследователь культуры, напротив, поставит во главу угла проблемы интерпретации и поиск новых путей. Точно так же функции языка могут либо выводиться из его внутреннего устройства — либо вытекать из способов практического употребления, из приложений. Здесь я займусь преимущественно онтологией языка, ссылаясь на культурные аспекты исключительно в качестве иллюстрации.

Поскольку язык неразрывно связан с культурой и не существует вне нее, кое-кто склонен считать, что в языке вообще нет ничего природного, что это сугубо искусственное образование. При взгляде на тысячи придуманных в современную эпоху языков легко поверить, что всякий язык — чье-то изобретение либо условное соглашение, даже если мы не можем докопаться до него в глубинах истории. Можно сослаться на многочисленные примеры императивного изменения каких-то элементов языка — а по аналогии считать, что и все остальное было когда-то сознательно введено в обращение. В конце концов, должен же был кто-то сказать это первым!

Однако подобные рассуждения выглядят не слишком убедительно, поскольку всегда можно спросить: «А почему?» С чего это вдруг кому-то в голову приходит сделать так, а не иначе? Допустим на мгновение, что решение следует порывам вдохновения, — но откуда берется само это вдохновение, и как оно выбирает, что подсказать? И почему массы вдруг с энтузиазмом подхватывают чью-то прихоть, чтобы донести ее, из поколения в поколение, до наших дней? Откуда берутся идеи? Тут адепты креационизма только чешут в затылке и ссылаются на независимое ни от чего существование идей самих по себе, либо призывают к ответственности неведомое высшее существо, бога. Но как только все свелось к слепой вере — ни о каком познании истоков языка не может быть и речи. Примите с восторгом — и не надо ничего объяснять.

Популярная разновидность этого подхода — телеология. Почему наши пальцы устроены именно так? Очевидно, для того, чтобы удобно было ими стучать по клавиатуре! Почему люди изобрели колесо? Да потому что это очень практично, если надо перевозить что-то тяжелое. Почему так популярен английский язык? Ясное дело, это же величайший язык всех времен и народов…

А если без шуток — можем мы предложить что-нибудь получше? Да, можем — но это будет не так тривиально, — или, быть может, не столь запутано.

Основной способ бытия разумных существ — это сознательная деятельность. Субъект берет какую-то часть природы (объект) и преобразует это в культурное явление (продукт). Схематически можно это выразить так:

$$\boldsymbol{O \to S \to P}$$

В действительности такие акты производства повторяются неоднократно, воспроизводятся разными людьми — и это часть всеобщего процесса воспроизводства мира в целом. Деятельность одних обычно становится импульсом к деятельности других, так что возникают сложные цепочки трансформаций:

$$\boldsymbol{\ldots \to O \to S \to P = O' \to S' \to P' \to \ldots}$$

Отождествление продукта деятельности с объектом другой деятельности (звено $\boldsymbol{P = O'}$) напрямую связано с процессом идеализации, образования идей. Когда подобное превращение продукта в объект становится в культуре обычным делом, субъект $\boldsymbol{S}$, порождая продукт $\boldsymbol{P}$, уже

предполагает его последующую интерпретацию как O' — то есть, у него появляется *идея* продукта P в качестве O'. В итоге мотивом деятельности становится не собственно производство, а порождение идей. Точно так же S', начиная в деятельности с объекта O', уже имеет идею P'. Так продукты человеческой деятельности становятся ее *представителями*. А значит, обмениваясь своими продуктами, люди могут обмениваться и деятельностями.

Конечно, тут можно долго уточнять и делать оговорки, но я все это опускаю, чтобы перейти непосредственно к языку. В любом случае, раз уж у нас появились идеи — как объективно развивающиеся культурные явления — есть повод поговорить о способах их выражения.

Всякий процесс циклического воспроизводства вроде

$$\dots \to O \to S \to O \to S \to O \to \dots$$

можно трактовать как единство двух взаимодополняющих актов — материального производства

$$\dots \to O \to S \to O \to \dots$$

и общения (коммуникации)

$$\dots \to S \to O \to S \to \dots$$

В первом варианте — акцент на изменениях в материальной культуре, вызываемых сознательной деятельностью. Во второй записи — мы больше интересуемся переносом идей от одного субъекта к другому, а значит и развитием субъекта. С другой стороны, материальные вещи, передаваемые людьми друг другу в процессе общения, не только представляют (и направляют) какие-то деятельности, но также и становятся *выражением межсубъектных отношений*. Скажем, если я дарю Вам розу, — это не только для того, чтобы Вы могли любоваться ею и наслаждаться ее ароматом, — это еще и знак моего хорошего к Вам расположения. Материальные вещи тем самым способны представлять идеальные (культурные явления).

Исходно вещи соединяются с идеями синкретически, в качестве одного из аспектов какой-либо деятельности. При этом любая вещь может, в принципе, представлять любую идею. Со временем такие ассоциации становятся устойчивыми, закрепляются в культуре. Теперь уже с определенными идеями связан определенный круг вещей, в соответствии с организацией культуры в целом — и прежде всего со способом производства. Спорадический обмен идеями становится регулярным и социально регулируемым. На этом уровне люди начинают производить вещи (сигналы) специально *предназначенные* для обслуживания общения, а совсем не для непосредственного употребления; однако одна и та же идея все еще выражена множеством альтернативных способов, каждый из которых никак не предпочтительнее другого. Но уже здесь материальные вещи начинают терять свою потребительную ценность и превращаться в средство общения. Это первые предвестники языка.

В такой картине язык вовсе не обязательно связан с речепорождением. Устное общение — лишь одна из возможностей. Язык жестов, цветовой код, символика запахов — все это одинаково годится для обмена сообщениями (как в экономике капитал может быть выражен в долларах, мерных слитках или баррелях). Однако физическая природа некоторых переносчиков сообщений больше подходит для массовых актов общения, делает их повсеместно распространенными. Язык в собственном смысле как раз и должен обеспечивать общение *универсальным образом*. А поскольку субъект прежде всего определяется как универсальная связь вещей, понятна исключительная роль языка в культуре: он становится элементом культуры, представляющим субъектность как таковую, — а следовательно, любое культурное явление должно быть так или иначе представимо (и представлено) в языке.

Разумеется, абсолютно предпочтительных материальных носителей языка быть не может. Универсальность речи или письменности относительна. Возможно, в процессе освоения разумом все новых областей материального мира потребуются какие-то иные виды языка. Понятно, что звук не пригоден для общения вне атмосферы, а письменность бесполезна там, где нельзя положиться на глаза. И надо всегда помнить, что язык, представляя иерархию идей, не может быть тождествен своему материальному носителю. Поэтому язык вообще, универсальное средство общения, в действительности развивается как совокупность отдельных языков, каждый из которых воплощает некоторую особенную культуру, особый образ жизни.

Отсюда очевидно следует, что перевод с одного языка на другой возможен лишь в той мере, в какой соответствующие культуры проникают друг в друга, разделяя один и тот же круг идей. Назвать можно что угодно — однако это что-то сначала должно существовать, быть представлено в культуре как вполне узнаваемая целостность, — и только тогда название станет общепризнанным элементом языка. Всякое языкотворчество следует за развитием иерархии сознательной деятельности. Можно изобретать сколь угодно формальные языки — но, с одной стороны, это упражнение невозможно без уже сложившихся культурных предпосылок, заставляющих изобретателя выбирать вполне определенные формы, а с другой — оно останется всего лишь мимолетной забавой до тех пор, пока человечество не будет готово принять и приспособить творение для общих нужд.

Многообразие национальных языков некоторым образом подобно сосуществованию множества разных валют, которые можно обменивать одну на другую — иногда с какими-то потерями. Экономическое развитие в международном масштабе приводит к постепенной унификации способов производства, что вызывает соответствующие культурные подвижки. Этот объективный процесс ведет к сближению национальных языков — ценой потери каких-то элементов этнического своеобразия. С другой стороны, национальные языки историчны — так что иной раз исторические и культурные формы одного и того же языка оказываются взаимно непереводимыми.

Хорошо известно, что даже люди, говорящие на одном и том же языке, далеко не всегда понимают друг друга. С другой стороны, языковой барьер не может помешать сколь угодно глубокой интимности. Взаимопонимание лишь очень отдаленно связано с языком — тут работают другие факторы. В общих чертах: чтобы понимать друг друга, мы должны что-то делать вместе; чтобы общаться — надо действовать сообща. Совместная деятельность представляет собой тот контекст, в котором субъективный мир одного человека становится доступным другому, и может стать частью духовного мира партнера. И лишь потом для уже сложившейся общности находится имя.

Эти соображения могут стать ключом к пониманию ранней истории языка. Какие-то жесты и вокализация сопутствуют всякой активности. Когда люди начинают что-то делать вместе, такие побочные явления могут быть синхронизированы ритмом общей деятельности, облегчая координацию усилий. Следы этой древней фазы можно усмотреть в племенных танцах, в рабочих песнях, и даже в искусстве дирижера. Социальное закрепление определенных звуков за какими-то деятельностями способно вызвать соответствующую деятельность в ответ на звуковой сигнал.

Важно понимать, что сами по себе звуковые сигналы не могут перерасти в речь. Известно, что животные используют разнообразные звуки для передачи важной информации другим членам биоценоза (включая неродственные виды); некоторые исследователи видели в этом предпосылку языкового общения. Однако возможность использовать такие рефлекторные зовы в первобытных языках была сугубо вторичным явлением, возникающим на основе уже сформировавшегося речевого поведения. С этим, в частности, связано и то, что люди способны использовать в качестве знаков не только формы своего языка, но также имитации голосов и поведения самых разных животных.[2]

Главное назначение слова — обмен деятельностями. В совместном трудовом процессе возможность перераспределения отдельных задач между разными исполнителями крайне важна. Практически никогда человек не изготовляет нечто с нуля до готового продукта. Обычно деятельность неоднократно передается от одного исполнителя другому подобно эстафетной палочке. Характерное звучание вполне может указать правильное время для перехвата неоконченной деятельности, приобретая тем самым значение ожидаемого действия. Так иерархия социально определенных действий сопоставляется с иерархией звучаний, речью.

[2] Есть основания полагать, что формирование речи и письменности связано прежде всего с универсальной способностью подражания. Звуки и знаки первобытный человек не выводил из себя, а копировал с натуры. В частности, этим объясняется легкость взаимопроникновения и смешения доисторических языков, а также изначальное наличие общих черт. Для предков человека представители другого племени были всего лишь одной из форм окружающей жизни — и характерные для них звуки и жесты заимствовались по тем же законам.

Несмотря на вся свою гибкость, язык как знаковая система не может одинаково хорошо передавать все без исключения идеи — поэтому любое общение представляет собой комбинацию вербальных и невербальных компонент. На самом деле — люди в основном общаются по многочисленным скрытым каналам, а слова лишь указывают на иерархию в целом, представляют ее в культуре. Ничто не мешает нам избрать какой-либо иной способ представления. В основе всех эти частных языковых форм будет лежать все тот же механизм обмена деятельностями. Вместо того, чтобы *показать* (или продемонстрировать) что-либо, мы только указываем на это, *обозначаем* его. Здесь опять прямая аналогия с экономикой. Рынок акций манипулирует не с какими-то наличными ценностями, а только с их абстрактными заменителями, порождая иллюзию экономического роста без необходимости реального производства; эта инфляционная направленность неизбежно приводит к экономическим кризисам. Точно так же словесные спекуляции могут производить впечатление глубокой мудрости при полном отсутствии сколько-нибудь значимых идей — и это путь к идейному кризису. Но так же, как банкнота — не просто кусок бумаги, а представитель определенного общественного отношения, — слова не значат ничего сами по себе, вне определенного культурного контекста. И развитие языка невозможно без развития экономики.

Как только сознание выходит за рамки наиболее примитивных форм, оно уже не может расти дальше вне языка. Универсальные схемы деятельности, воплощенные в строении языка, становятся для субъекта главным инструментом строительства и переустройства самого себя — отсюда иллюзия первобытного разума, представляющая язык основой разумности как таковой, так что любые формы культуры якобы выводимы из языка. Но объективная универсальность языка отнюдь не запрещает сознанию развиваться и как-то иначе. В частности, в большинстве культур значительную часть культурного пространства занимают многочисленные языкоподобные (рефлексивные) формы деятельности. Со временем эти формы насыщаются языком, в свою очередь оказывая влияние на его развитие. Хотя языковедческие исследования очень важны для понимания природы сознания, они становятся осмысленными только в привязке к строению вполне определенной культуры. Само существование какой-либо языковой конструкции указывает на присутствие в культуре соответствующих способов деятельности — однако далеко не всегда можно явно указать, какие именно стороны культуры получили такое выражение.

Поскольку восприятие языка зависит от культурных условий, не следует поспешно судить о чьих-то высказываниях и с порога отвергать вроде бы явную чепуху. Это относится и к форме, и к содержанию. Опечатки, странности в произношении, хромая грамматика или неадекватность лексики — все это не должно отвлекать нас от выражаемой в такой манере идеи. Чисто житейская иллюстрация: если Ваш собеседник сморозил очевидную глупость, это не всегда значит, что он дурак; возможно, кое-чего не хватает именно у Вас. Еще пример из области музыки: чтобы воспринять чью-то музыку, слушатель должен, как минимум, иметь сходные представления о звуковысотности. Если композитор использует очень уж необычные звуковые системы, может показаться, что он просто не умеет соблюсти правила звуковедения и гармонии. Только после освоения соответствующей музыкальной культуры человек способен оценить мастерство автора — даже если подобные произведения не в его вкусе. Чтобы понять друг друга, мы должны прежде всего *принять* друг друга такими, как мы есть, не пытаясь подогнать партнера под привычные стандарты. Такое принятие возможно только на базе совместной деятельности, предполагающей общность интересов и объективную потребность друг в друге. Если вы нужны мне, а я нужен вам, — у нас гораздо больше шансов найти общий язык.

Участие в совместной деятельности оправдывает усилия каждого участника общей необходимостью — придает им *смысл*. Это похоже на поведение квантовых систем, когда всевозможные цепочки микроскопических событий становятся осмысленными лишь в контексте макроскопического измерения. Когда люди общаются в рамках единой деятельности, они становятся участниками, компонентами и представителями субъекта более высокого уровня. Теперь именно этот коллективный субъект осуществляет деятельность; по отношению к нему общение его участников есть внутренний процесс, его мышление. Поведение коллективного субъекта относительно независимо от действий отдельных людей; оно выполняет особую

культурную функцию. Образование таких групповых деятелей — лишь иное выражение процесса формирования некоторой идеи, и здесь особенно велика роль универсального средства общения, языка.

Хотя общение людей, на первый взгляд, приводит к потере части индивидуальности, к делегированию субъектности группе в целом, в объединяющей власти языка есть и положительная сторона — значительный рост эффективности каждого участника, рост их универсальности. Для каждого участника разумно устроенного коллектива, возможность в чем-то положиться на группу в целом — освобождение от несущественных и обременительных занятий, не утрата самостоятельности — а избавление от ограничений.

Общество в целом как коллективный субъект, иерархия индивидов и групп, невозможно без всеохватывающей системы общения, единого языка. Языковые барьеры ограничивают универсальность людей — и потому несовместимы с развитием разума. Поэтому человечество, по мере становления подлинного единства, неизбежно будет вырабатывать и общий язык. Если же людям придется иметь дело с разумными существами совершенно иной природы, придется совместно создавать более универсальное средство общения.

В развитии сознания вербальные и невербальные формы общения всегда дополняли друг друга. Значительная часть человеческой культуры усваивается без слов. Например, не нужно знать, как называется топор, чтобы научиться им владеть. Достаточно наблюдательности и подражания. Танцы, музыка и живопись во многом передаются из поколения в поколение через пример и упражнение. В межличностных отношениях слова чаще используются, чтобы скрыть личные мотивы, а не обнаружить их.

На ранних стадиях развития языка вербализация была важна, чтобы сформировать основу человеческого интеллекта, развить способность абстрактной мысли. Сейчас наблюдается обратная тенденция к реабилитации невербального общения. Однако в истории обратного пути нет, и возрождение невысказанности не имеет ничего общего с приобщением к древней мудрости. Наши далекие предки были отнюдь не мудрее нас; скорее, наоборот, гораздо примитивнее. И вместо того, чтобы жить чужой мудростью, неплохо бы вырастить свою. Ранние формы невербального общения были синкретичны, они могли существовать только в очень узких культурных рамках. Невербалика будущего — это синтез, вбирающий в себя весь вербальный опыт, обобщающий его и раздвигающий его границы. Универсальность языка не потеряется на более высоких уровнях общения — само их возникновение связано с *редукцией* вербализации, и потому всегда ее предполагает. В каком-то смысле мы переходим от простой записи речи к системе идеограмм, выражающих абстракции более высокого уровня, с учетом как вербальных, так и невербальных компонент. Присутствие в таких высокоуровневых знаковых системах принципиально невербализуемых элементов безусловно необходимо; возможность универсального представления невербальных аспектов человеческой деятельности отличает эти системы от обычной иероглифики, хотя ее опыт, несомненно, будет весьма полезен.

Редукция вербализации затрагивает как непосредственное общение, так и письменную речь. Языковое сообщение может быть эффективно «сжато» путем перехода к массовому использованию универсальных символических систем. В рамках нынешней физиологии человека вербальная коммуникация свертывается в последовательности идеомоторных актов, которые вполне способны доставить сообщение адресату столь же надежно, как и прямая вербализация — а иногда и еще надежнее. Скорее всего, человечество вряд ли остановится на обычной физиологии и выработает новые навыки общения с использованием как органических, так и неорганических компонент.

Что же касается письменной речи — она всецело зависит от доступных технологий. Цифровые библиотеки наших дней так же отличаются от собраний бумаг, как типографская книга от античного пергамента или глиняной таблички. Само слово «письменность» уже плохо соотносится с распределенными мультимедийными комплексами, служащими для хранения информации в наши дни. Однако главное останется все равно: язык позволяет общаться через пространство и время. И, возможно, мои диковатые мысли здесь и теперь — отзовутся в ком-нибудь далеко-далеко, через много лет после моей смерти.

Формальные языки *vs.* интерлингвистика

Попытки создания искусственных языков известны с глубокой древности. Жрецы Шумера и Древнего Египта уже умели прятать «сакральное» знание за придуманными знаками и словами. Употребление эвфемизмов вместо табуированных слов практикуется с доисторических времен. Профессиональный жаргон — возникает вместе с самими профессиями. Но, пожалуй, первым собственно искусственным языком, получившим массовое применение, стали геометрические чертежи, математические формулы и формулы логики; почти столь же долгая история у химической символики.

Сейчас формальных языков многие тысячи. Например, в компьютерных сетях различные устройства используют особые протоколы — специализированные языки для очень узкой предметной области. Не прекращаются также эксперименты по созданию универсальных искусственных языков, которые могли бы если не потеснить, то, по крайней мере, дополнить естественные языки. Здесь счет также пошел на тысячи, однако реально успешный проект лишь один — эсперанто. В какой-то мере искусственным языком является новая латынь — она создана на базе средневековой международной латыни и продолжает ее традиции, однако для соответствия современным реалиям потребовалось такое количество нововведений, что язык, по сути дела, стал совершенно другим. Это как если бы мы в русском языке заменили четверть слов китайскими, хотя бы и в русифицированном варианте, — полученный таким образом языковой продукт будет звучать как-то не очень по-русски…

В наши дни каждый, кому не лень, может за пару вечеров состряпать свой собственный язык и что-нибудь на нем изобразить. В большинстве случаев он вряд ли найдет себе собеседника. Цели тут могут быть самые различные — от легкого развлечения до претензий на мировое господство. Где-то в глубине души большинство авторов лелеют надежду подняться над языковой сумятице современности и открыть людям возможность неограниченного общения. Сделать предложение, от которого человечество не сможет отказаться.

Если в жаргоне модификация языка идет по пути обособления некоторой социальной группы от других — в интерлингвистике задача ставится прямо противоположная: объединить народы на базе общего языка. Использование для этого какого-либо из уже существующих национальных языков представляется не совсем этичным; мертвые языки (санскрит, латынь и древнегреческий) кажутся слишком сложными для освоения… Конечно, по большому счету, аргументы неубедительны. Тот же эсперанто сконструирован исключительно из европейских элементов — и при желании можно обнаружить в нем еврошовинизм. С другой стороны, почему бы не пойти по стопам Ататюрка и не модифицировать ту же латынь, значительно упростив грамматику и почистив лексику от архаизмов? Язык-то неплох сам по себе — гибкий, выразительный… Тысячи людей говорят на нем до сих пор, и компьютеры под него заточены. Языкотворчество в таком случае становится осмысленным лишь как способ осознания каких-то реально существующих языковых явлений, выражения глубинной организации человеческой деятельности и ее представленности в языке. Если существует нечто в жизни людей, что не находит адекватного воплощения в знакомых языковых формах — а хочется совершенства…

В этом плане эсперанто многих не устраивает. Язык придуман под утопическую идею всеобщего братства; предполагается, что говорят люди только ради удовольствия пообщаться с ближними и непременно хотят достичь духовной близости и взаимопонимания. Достаточно общего языка, чтобы ощутить друг к другу симпатию. Эсперантисты, с их мифической страной Esperantujo и периодическими лесными посиделками, — предшественники хиппи. Эсперантист эсперантисту — товарищ и брат, и просто немыслимо, чтобы один эсперантист посылал другого на костер.

Момент глубоко личного размышления или эгоцентричной экспрессии в эсперанто изначально исключается. Отсюда ограничение чисто внешними, поверхностными проявлениями человеческого бытия — и речепорождения. Поскольку не предполагается наслаждения от самого процесса — эстетика принесена в жертву абстрактной простоте. Язык передает информацию — и больше ничего. Сам творец эсперанто, Людвик Заменхоф, сознавал эту врожденную ущербность и оговаривал возможность модификации норм языка в поэзии (умалчивая о

художественной прозе или просто экспрессивной речи). Выразительные средства языка довольно скудны; впрочем, существуют естественные языки, которые в этом плане гораздо беднее. В целом язык лишен изящества, он выглядит несколько топорным, — но это старая беда российского менталитета.

Если бы Заменхоф жил в эпоху компьютеров и Интернета, он, вероятно, предпочел бы ограничить алфавит символами ASCII — но в его время еще писали от руки, и приделать к букве лишнюю закорючку было несложно (ср. изобретенные примерно тогда же алфавиты для литовцев и латышей). Сейчас для локализации эсперанто требуется особая кодовая страница и раскладка клавиатуры.

Отсутствие собственно лингвистических идей лишает эсперанто внутренней логики. Язык крайне эклектичен. Лексика набрана произвольно из разных наречий. Рыхлая грамматика, с произвольным смешением черт нескольких европейских языков без учета внутренней гармонии каждого из них. Непоследовательность в словообразовании: даже там, где можно было бы обойтись собственными средствами, используется заимствованная лексика. Весь расчет на быстрый старт, на привычность для среднего образованного европейца. Однако после начального рывка становится трудней: отсутствие общего принципа не дает развиться языковому чутью. Не говоря уже о развитии идиоматики.

Интересно сравнить изобретение эсперанто с реформой Ататюрка. Создатель нового турецкого языка с самого начала стремился освободить его от внутренней нелогичности и эклектики, от многочисленных наслоений древних восточных культур. Взяв за основу собственно тюркское ядро, он решительно обогатил язык европейской лексикой. В результате получилось нечто по-настоящему живое, красивое, объединяющее миллионы тюрков в современную и самобытную нацию. Внедрение нового языка не было абстрактным актом, оно было напрямую связано с изменением образа жизни народа. А какой образ жизни стоит за эсперанто?

Как ни крути, сочинение формальных языков (протоколов) гораздо перспективнее. Язык с самого начала предназначен для обслуживания определенной деятельности — это направляет его развитие и придает ему внутреннюю логику и самодостаточность. Поскольку любая деятельность так или иначе связана с другими деятельностями, есть смысл позаботиться о гибкости и выразительности. Наконец, лексика языка не произвольна, она вырастает из практических потребностей, из логики предметной области.

Однако судьба многих формальных языков столь же печальна, как и участь искусственных инструментов международного общения, — практически полное забвение. Развитие технологий подчинено требованиям рынка, а на рынке побеждает не тот, у кого товар лучше, а тот, у кого глотка крепче и место побойчей. Конкуренция — огромная разрушительная сила. Она в зародыше уничтожает перспективные идеи, если их развитие способно ограничить чьи-то возможности по выкачиванию из обывателя неумеренных барышей. Пробиться новое может только при удачном стечении обстоятельств, когда одной из конкурирующих сторон требуется во что бы то ни стало уесть другую. Так Linux вырос на гребне крестового похода ряда производителей компьютеров и программного обеспечения против фирмы Microsoft. И благодаря этому выжила идея свободного распространения программ с открытым кодом (в том числе и под Windows). С другой стороны, на развитии HTML и JavaScript конкуренция во многом сказалась негативно: многие элементы вводились не потому, что это удобно, а для того, чтобы не было как у Microsoft — чтобы врагу было труднее. Разнобой в понимании одного и того же фирмами-конкурентами еще долго будет портить жизнь программистам…

В условиях рыночной экономики конструирование искусственных языков может стать своего рода отдушиной, возможностью помечтать, как было бы хорошо, если бы… Однако, по всей видимости, традиционное языкотворчество себя исчерпало. Развитие естественных и формальных языков идет в направлении все большей виртуализации, ориентировке не на живое общение, а на создание средств опосредованного взаимодействия людей. Говорящий не видит перед собой конкретного собеседника, он вещает в киберпространство, откуда потом кто-то, возможно, когда-нибудь извлечет сказанное и приспособит к делу. Такой способ общения снимает часть требований к языку — и предъявляет свои. Так, отпадает нужда в дискурсивности,

в последовательном изложении идей. Традиционные языки оперировали последовательностями знаков; сейчас возможны многомерные структуры, многопотоковость, параллельность. Это не значит, что нужда в логике и правильности высказываний отпадает, — просто логика становится иной, более гибкой, отвечающей реальной организации процессов производства и культурных явлений.

Уже привычный нам гипертекст постепенно теряет дискретность. Когда-нибудь из любой точки текста (не обязательно на экране — мониторы уступят место пространственному отображению) можно будет вырастить специфическую иерархию идей и отношений между ними, потом свернуть ее и развернуть из другой точки, по-новому. Обычная, звучащая речь просто не в состоянии достичь подобной выразительности. Каков будет материальный носитель нового языка — не нам судить. Кто доживет — увидит.

История с «и»

Философ мыслит — лоб скрипит, и лысина линяет, —
А суть всего совсем не там, где он предполагает.
Мерайли

Человеку разумному не свойственно делать свои дела просто так, без задней мысли: ему обязательно надо задуматься над тем, как он это делает, насколько это хорошо и правильно, и стоит ли продолжать в том же духе… Знакомство с устройством родного или иностранного языка не сводится поэтому к освоению набора штампов (грамматика + идиомы) — хочется еще и для души: чтобы одно к другому прилепилось по любви, а не приказом лингвистического фельдфебеля. Но как усмотреть всеобщую гармонию за хаотическим нагромождением казусов, в которое со временем превращается каждый (естественный или искусственный) язык? Как обычно, есть два противоположных (и взаимодополняющих) подхода: во-первых, можно обратиться к истории, проследить происхождение языковых конструкций — и тем самым избавиться от навязчивого призрака случайности; во-вторых, следует исходить из факта наличного бытия уже сложившейся лингвистической целостности — и оправдать практический выбор и отсев иных возможностей особенностями быта и совместной деятельности. И то, и другое простому смертному доступно лишь в очень ограниченной степени. Приходится выкручиваться кто как умеет, подбирать персональную коллекцию исторических анекдотов и теоретических обобщений. Да, народная этимология может быть смешной, нелепой, наивной… Однако без нее высоколобая академическая наука шагу ступить не может — хотя и строит из себя дядю, всячески открещиваясь от неудобного родства. Вот и давайте попробуем на время отрешиться от строгой научности — и прислушаться к собственным ощущениям.

Традиционно в русском языке выделяют десять гласных звуков, которые можно условно обозначить как [а], [ьа], [о], [ьо], [у], [ьу], [э], [ьэ], [ы], [ьы] = [и]. В общем случае закрытые гласные образуются при перекрывании задней частью языка потока воздуха во время произнесения соответствующей открытой гласной. Поскольку мышцы у человека работают не сами по себе, а в координации с другими мышцами, закрытое произнесение гласных неизбежно влечет за собой изменения в положении прочих артикуляционных органов, и прежде всего губ. Поэтому закрытый звук несколько отличается от соответствующего открытого по общей окраске.

Мудрые фонологи могут возразить, что на самом деле фонем всего пять (или шесть?), а все остальное — варианты произнесения, аллофоны. Мы пока не будем влезать в их междоусобные споры — просто понаблюдаем…

Мы знаем: открытые гласные употребляются после твердых согласных, закрытые — после мягких. С другой стороны, можно считать и наоборот: согласные склонны смягчаться перед закрытыми гласными. Например, [бьа] = [(бь)а] = [б(ьа)]. В кириллической азбуке принят второй вариант и для обозначения закрытых гласных введены специальные буквы: [б(ьа)] → (бя) и т. д. Тут, правда, возникают сложности…

Например, согласные иногда смягчаются и без последующей гласной — перед другой согласной или в конце слова: *пальто*, *больна*, *огонь*, *смерть*. Пришлось ввести для обозначения этого специальную букву. Если хорошенько прислушаться, можно заметить, что соответствует она некоему закрытому гласному звуку, который частенько возникает в произношении на месте безударных [и], [ьэ] или [ьа] (безударные [ьу] и [ьо] после согласных в русском языке встречаются реже — но, похоже, превращаются в беглой речи в тот же самый нейтральный закрытый звук). То есть, [па(льй)то], [бо(льй)на], [ого(ньй)], [с(мьэ)р(тьй)]. Иногда эта редуцированная буква приобретает вполне живой вид: *палетот*, *болен*, *огненный*, *смертельный*. Выходит, что согласные смягчаются тогда, и только тогда, когда за ними следует закрытая гласная — да здравствует единообразие!

С другой стороны, открытые звуки [а], [о], [у], [э] в русском языке могут употребляться самостоятельно, в начале слога; соответствующие закрытые гласные [ьа], [ьо], [ьу], [ьэ] такого себе позволить не могут — в начальной позиции они появляются только в составе дифтонга: [йьа], [йьо], [йьу], [йьэ]. В данном случае [й] играет роль согласной — и смягчается согласно общему правилу перед закрытой гласной. Поскольку сочетания [й] с открытой гласной типа [йа] или [йо] встречаются только в попытках произнести иностранные слова на иностранный же манер, на письме экономят буквы и употребляют *я*, *ё*, *ю* и *е* для обозначения [йьа], [йьо], [йьу] и [йьэ] соответственно.

В отношении пары [ы]—[и] все с точностью до наоборот: [ы] в начале слова — большая редкость (разве что в названии буквы «ы», да в производном от него термине «ыкание»); с другой стороны, [и] предпочитает открывать слово самостоятельно: *иго истории*; вариант *йи* встречается преимущественно в кириллической транскрипции иностранных слов. Тем не менее, если предыдущий слог заканчивается дифтонгом или мягкой согласной, [и] в начале слога йотируется подобно остальным закрытым гласным: *Гавайи* = [гав(айи)] = [гава(йи)] (и тогда естественно: *на Гавайях*), *кельи* = [(кьэ)(льй)и] = [(кьэ)(ль)(йи)]; ср.: *портупеи*. Странно это. Где истина? Можно, конечно, сослаться на прихоти развития, объявить это случайным стечением обстоятельств… Но скребут кошки на душе: что-то неладно в этой истории с игом.

Но что такое гласная в начале слога? По сути своей, гласные суть непрерывное звучание, а согласные — перерывы в нем. Если одна гласная следует непосредственно за другой, в голосе возникает плавный переход одного качества в другое — дифтонг или трифтонг. До появления согласной звучание не прерывается — поэтому дифтонги и трифтонги воспринимаются как одна гласная (пусть даже сложно устроенная) и образуют только один слог.

Стало быть, разделение гласных в произношении есть не что иное, как вставка между ними особого звука, который не слышен сам по себе, но влияет на качество последующей гласной — или наоборот, подвергается ее воздействию. Не бывает [арбуз] — на самом деле это [ъарбуз]; не бывает [яблоко] — на самом деле это [ъйьаблоко]. В первом случае [ъ] — это просто твердый приступ; во втором — два лица [й] (гласная и согласная) встречаются вместе, и получается что-то вроде [(ъьй)(йьа)] (ср. греческое Γιάννης — *Янис*). Можно получить представление о об этом, если утрированно произнести *йяблоко* — точно так же можно эмфатически сказать *мьясо* вместо *мясо*.

Идея не нова. Во многих языках фонемный характер пауз явно обозначается на письме, и звучание этой пустоты варьируется от нуля до очень громкого шепота или даже рычания. Из физики известно, что никакое движение не может начаться мгновенно, всегда есть некий переходный процесс. В речи такой переходный процесс при возобновлении звучания после остановки есть особый звук. Считать его фонемой или нет, обозначать на письме или нет — это уже несущественные детали. Так, в греческом языке еще недавно проставление знаков легкого и густого придыхания было обязательным — потом решили, что это излишество. Во французском языке есть буква *h*, которая никогда не читается, но в одних случаях отделяет слово от предшествующего (*h aspiré*) — а в других нет (*h muet*). Так и русское [ъ] в мягком варианте разделяет слова в произношении, а твердом нет. Тут не просто аналогия: во французском языке *h aspiré* появляется именно перед закрытыми гласными. В турецком языке буква *ğ* используется для обозначения мягкого придыхания в середине слова (ср., например, *maalesef* и *mağara*) тогда как в начале слова встречается только буква *y*. В арабском языке наблюдается целый букет

гортанных фонем, обозначаемых разными буквами. Изобретатели украинской письменности пошли своим, самостийным путем: различие украинских *и* и *ї* ([ьы] — [йьы])[3] вполне аналогично паре *а* и *я*, а для придыхательного (нейотированного) [и] в начале слога есть специальная буква *і* (ср. такое же использование буквы *і* в русской дореволюционной орфографии); конечно, без редуцированного *й* тоже не обойтись.

Оставаясь внутри русского языка, мы все-таки можем попытаться восстановить скрытые придыхания из общепринятых сокращений — и есть надежда, что будет легче разобраться с хитрыми языковыми явлениями.

Например, поведение *и* в начале слова (или слога). Можно догадаться, что в древности славяне мало чем отличались в этом плане от своих иноязычных соседей и после каждой паузы им требовалось собраться с духом — отсюда разные виды придыханий. Придыхательное *и* было столь же обычным явлением, как *я* или *е*, — так что заимствования из греческих источников никого особо не напрягали. Потом славянские языки разошлись (не без влияния с запада и с востока) — и стало по-разному: у чехов греческий *Георгий* превратился в *Jiří* (или женское *Jiřina*), а русские переделали его в *Юрия* или *Егора* — а *Ирину* малость укоротили, вместо слышимого придыхания оставляя «прикрытый» начальный слог [ьы]. Точно так же прочие начинания с *и* утратили связь с первоисточниками, и теперь только ученые этимологи видят родство русских *и* и *из* с греческими και и εκ (εξ) — от которых нам осталось воспоминание в виде особого произношения, казалось бы, исконно русских слов. Русское *игра* точно так же восходит к грекам (или чему-то, предшествующему). Можно вспомнить также и том, что *известь* и *асбест* — разные варианты одного греческого слова. Однако было бы неправильно считать экзотическое поведение начального *и* только лишь заграничной диковинкой. Есть единая русская ментальность — и она заставляет собственные артефакты звучать совершенно так же: например, междометие *ишь* — от словоформы *виждь* (→ *вишь*). Не удивительно, что и относительно поздние (западноевропейские) заимствования следовали давно проторенным путем: *история*, *идол*, *идиот*.

Сюда же примыкают метаморфозы гласных на стыке слов. Люди не говорят отдельными словами. В живой речи вместо них — синтагмы, склеивающие несколько слов в целые фразы или куски фраз (например: *шквал огня* произносится слитно, как [шквалагня]). После каждой синтагмы можно, в принципе, остановиться и не продолжать. Частенько люди так и делают, и разговорный язык изобилует незаконченными фразами. В конце концов, само определение понятия «слово» довольно расплывчато, и не всегда можно с уверенностью сказать, что является словом, а что нет. Например, артикль — это отдельное слово или нет? В немецком языке артикль пишется отдельно, а в арабском, болгарском или молдавском — приклеивается к существительному; французский артикль присоединяется к слову, начинающемуся с гласной (написание через апостроф). Иногда артикли пишутся через черточку. Точно так же, предлоги, союзы и местоимения могут употребляться самостоятельно — а могут присоединяться к существительному, фактически превращаясь в морфемы (например, в турецком языке: *bir kardeş ile — kardeşimla — kardeşimlaydı*). То, что русские приставки происходят от соответствующих предлогов, — общеизвестно. Иногда роль слова начинают играть целые фразы (вроде арабских [бисмилля] или [иншалла]). В ряде письменностей пробелов между словами вообще нет, и знаки препинания практически отсутствуют. Однако считать базовой единицей языка синтагму трудно из-за ее принципиальной неустойчивости, зависимости от интонации (ср., например: *подлость не криминал* — но: *подлость — не криминал*; или пресловутое: *казнить нельзя помиловать*).

Впрочем, это лишь лирическое отступление. А наблюдение обнаруживает, что в русской речи, если слово оканчивается на согласную, а следующее начинается с открытой гласной, — возникает связывание, как будто слова написаны без пробела: *шквал эмоций* читается как [шквалэмоций], а *ноль эмоций* — как [нолемоций]. Если второй слово начинается с закрытой гласной, связывания нет: *пол ежа — роль ежа*. Однако своенравная гласная *и* — и тут ведет себя не как все. Она связывается с предыдущей согласной, но после твердой согласной произносится как [ы]: *он шел и плакал*, *пульс истории* — но: *боль и печаль*, *соль истории*. После

[3] Точно так же возникает пара *е* — *є* ([ьэ] — [йьэ]); русское «оборотное э» украинцы не жалуют.

приставок даже написание меняется: *предыстория*; ср. также: *поигрывать — подыгрывать*. Точно так же, если предыдущее слово оканчивается на гласную: *девочка Ира* — это совсем не то, что *девочка Яна*, — а *на заре истории*, скорее, сродни *на склоне эпохи*, а не *по воле естества*. В гордом одиночестве остается *мальчик Йилдыз* — за это его наградили буквой *й*.

В скобках заметим, что стремление к унификации заставляет сегодняшних русских понемногу избавляться от редукции гласных, и корявое написание *предистория* приобретает права гражданства (был также вариант: *предъистория*); сейчас только отпетые пуристы (и компьютерные словари) пишут *подынтегральные выражения*, а чтобы не писать по старым правилам неэстетичное *суперынтеллект* — мы вводим разделитель, дефис: *супер-интеллект*. Фразы типа: *как играть*? — реально сдвигаются в произношении к тому же нейотированному закрытому варианту: [ъь] становится средним между [ы] и [и] — закрытое звучание без смягчения предшествующей согласной. По большому счету, надо делать поправки на функциональное различие диалектов; эту обширную тему пока оставим в стороне.

Как уже говорилось, поток речи представляется в виде чередования гласных и согласных, когда заканчивается одно — начинается другое. Если на конце слова оказывается согласная, пауза после слова играет роль гласной — она, ведь, приходит на смену согласной. Таким образом, можно считать, что все слова в русском языке кончаются на гласную, и записывать это как [мьодъ] или [сталъ]. Как и [й], звук [ъ] полифункционален, он может выступать и в роли гласной, и в роли согласной.

Остается только заметить, что [й] представляет собой мягкий/закрытый вариант [ъ], а [ь] можно трактовать, как еще более укороченное [й]. Когда родственные звуки сталкиваются в речи, они как бы сливаются в один звук того же качества (в русском языке, как правило, по первому звуком последовательности) — пусть даже он будет неоднородным, меняясь от начала к концу: *дома артистов*, *сон ночи*. Динамическое удлинение фонемы под воздействием звукового окружения (или интонации: например, как в примере с утрированным *мьясом*) связано со скольжением от одного качества к другому: например, от твердости к мягкости, от открытости к закрытости — или наоборот; в связи с этим ленинградцы говорят, например, о «неустойчивости» звука [ы] — хотя по факту мы имеем дело с языковой универсалией.

Во многих языках внутреннее движение слога — факт принципиальной важности. Даже если забыть пока про тоны китайского языка (и соседствующих с ним), можно вспомнить о различии качества кратких и долгих гласных, о дифтонгах и трифтонгах, об ассимиляции с последующим или предыдущим звуком, о модификаторах (вроде греческих μ и ν перед π и τ), о рядах умляута… Для русского языка такого рода динамика не столь существенна: как правило, речь идет лишь об оттенках интонирования.

С учетом всего вышесказанного, можно заниматься анализом конкретных ситуаций:

сон ангела → [сонъангела] → *сонангела* (как редуцированное *сон*(*ы*)*ангела*)
конь Анны → [ко(ньй)(ъа)нны] → [кон(ьйъ)анны] → *конянны*
вагон яблок → [вагонъйьаблок] → [ваго(нъ)(йьа)блок]
тень ястреба → [теньйъйьастреба] → [те(ньй)(йьа)стреба]

Связывание или его отсутствие возникает совершенно естественно. Точно так же, для слов, начинающихся с *и* получаем:

дом идиота → [дом(ъъь)ыдиота] → [домыдиота]
роль идиота → [рол(ьйъь)ыдиота] → [ролидиота]
он едет → [о(нъ)(йьэ)дет]
однако: *он идет* → [он(ъь)ыдет]

Таким образом, за процессами речевого связывания можно увидеть единую логику, особенность звукового строя русского языка.

Может показаться, что у звукового кластера [ы/и/й/ь/ъ] все же есть особая роль в языке — по сравнению с другими фонемами. На самом же деле такие приключения свойственны всем, хотя в большинстве случаев не настолько бросаются в глаза. Когда мы говорим, что в русском языке закрытые звуки не встречаются в начале слога без йотирования, — это не совсем так. Например, в слове *веер* после произнесения первого слога речевой аппарат уже находится в

положении для произнесения закрытой гласной — и необходимость вставки дополнительных звуков отпадает: [(вьэ)(ьэ)(ръ)]. Ср. также: *уже это* и *уж это*; или: *на нуле эмоций*. После звука [н] звук [э] звучит не так открыто: *он, это... — это он*. Нормативное произношение [тэст] на практике почти не встречается: говорят [тест] без заметного смягчения *т* перед *е* (но есть и тенденция использовать стандартный, мягкий вариант). Фактически, есть кластер [э/ьэ/й/ь/ъ] — и в ряде случаев он удобнее для анализа фонологических явлений. Возможна аналогичная кластеризация вокруг звука [а] (например: *не земля, а черт знает что*). Есть, конечно, и кластер [у/ьу/о/ў/ъ/в].

Поскольку сонанты во многом подобны гласным, мы можем ожидать формирования сонантных кластеров. В слове *полна* звук [а] в первом примере открыт — а в слове *вольна* произносится закрыто. Существует закрытая форма [н] — и открытая, более носовая; назализация выступает тут как аналог йотизации (ср.: *панда — пани*). В русском языке обычно не выделяю в особый класс носовые гласные; однако носовой оттенок у гласных — дело обычное, и это ничем не отличается от дифтонгов с [й]. Часто [н] и [м] выступают тут как варианты одного звука. Можно считать, что звонкие согласные получаются из глухих действием «оператора» [н/м], — подобно ранее упомянутой практике греческого языка. Это предполагает редукцию [н/м] в нечто вроде [ъ] или [ь] — и снова мы приходим к кластеру фонем как особому фонологическому органу.

Возможно, аналогичные закономерности есть не только в фонологии. Надо только присмотреться повнимательнее. И тогда язык предстанет не хаотическим нагромождением исторических случайностей, а целостным образованием, живым организмом. Такая, вот, история.

Уровни постижения

Расхожее мнение: есть носители языка — и они знают его лучше любого иностранца. Все, что нам остается, — по возможности приближаться к недосягаемому идеалу… Для тех, кому не повезло с местом рождения и с капиталом родителей, чиновники придумали набор уровней освоения языка и систему фильтрации по языковому признаку. Хочешь чего-то? — изволь заплатить за сертификат.

Казалось бы, здоровая мысль: измерять знания кругом деятельностей, в которых человек может участвовать. Современные языковые курсы сплошь выстроены по американскому образцу: есть набор типовых тем, и окончание очередного цикла, теоретически, дает больше уверенности в уже отработанных ситуациях. Однако в итоге изучение языка сводится к натаскиванию, к заучиванию возможно большего количества поведенческих шаблонов — эдакий гипертрофированный разговорник. Но разве богатство языка сводится к разговорникам, пусть даже очень большим?

Тут возникает демагогический вопрос: для чего? Зачем учат люди иностранные языки?

Стереотипный ответ: чтобы общаться.

А зачем общаться?

— Ну… чтобы чем-то вместе заниматься, например…

Но чтобы чем-то заниматься, далеко не всегда требуется впадать в словеса. Иногда даже совсем наоборот.

— Новые друзья, новые впечатления…

Туристу хватает нескольких слов, а друзьями не становятся по языковому признаку.

— Приобщение к национальной культуре…

Это уже зависит от собственной культуры — и никакой язык не слижет огрехи воспитания и образования. К тому же, как правило, наиболее существенное в культуре каждого народа заметнее издалека: излишнее погружение только вредит.

— В конце концов, есть деловые контакты, работа за рубежом…

Но языковой ценз — вопрос чисто финансовый. У кого денег уже много, тому не надо

полиглотствовать; у кого не хватает — все равно не разбогатеет. Разве что примазаться иногда, в качестве прислуги… Прагматичному студенту не обязательно вгрызаться в предмет — достаточно освоить технологию сдачи экзаменов.

И остается, по сути, лишь одно: изучение иностранного языка чем-то важно само по себе, безотносительно к способам применения. Чем?

Когда-то изучение древнегреческого и латыни входило в программу классического образования. Традиция эта сохранялась несколько столетий после того, как латынь умерла в роли языка международного общения. А древнегреческий вообще таковым никогда не был. И тем не менее считалось, что изучение мертвых языков придает мышлению систематичность и последовательность, позволяет точнее выражать мысли и чувства. Другое дело, что выражать их стало со временем совершенно без надобности, — и классическое образование приказало долго жить. Но что изучение языков на мозги влияет — это определенно. Разумеется, речь идет именно об изучении, а не о стремлении нахвататься побыстрей и спихнуть куда-нибудь сразу после получения сертификата.

Но что это, собственно, такое — учить языки? Зазубривать слова, правила, речевые клише? Не похоже. Упражняет память, но не ум. Таким способом можно научиться правильно говорить на любые темы, и даже иногда понимать своих собеседников. Добавить немного жаргона — и можно уже смотреть фильмы. Чем это отличается от уровня большинства носителей языка? Отличается…

Во-первых, носители языка редко говорят правильно. У них в основном жаргон, а литературную речь они если и вспоминают, то лишь по очень казенной надобности. Чтобы с неносителями говорить. Речь носителей языка не признает норм и правил, она устроена по совсем другому принципу. Основное в ней — культурный контекст и языковое чутье. Говорят так, как принято среди «своих», — и научиться этому можно только став одним из них. Тут никакой преподаватель не поможет, это в компетенции политиков. Иностранцы — потому и иностранцы, что в эту страну их не пускают. Разве только временно и с серьезным поражением в правах. Отнюдь не с распростертыми объятьями. Потому и язык у них — иностранный. Сколько ни учись. Вот когда откроют границы, и появится возможность свободно селиться в любой языковой среде, и дадут право учиться и работать, и стать таким же, как все вокруг, — тогда и обучения никакого не потребуется, практические навыки появятся сами собой. Но это из области сказок…

Пока же мир разделен границами, суевериями, сословно-экономическими барьерами, — иностранный язык так и останется иностранным, мало отличаясь, по сути, от мертвых языков.

Отсюда второе отличие от носителей языка — нет совместного развития. Язык — не застывшее образование, он все время в движении. Для тех, кто в нем живет, эти изменения естественны, они почти незаметны. Для иностранца — каждый раз открытие. Оказывается, что так уже не говорят, а говорят совсем даже не так… Но что еще важнее, иностранец не может влиять на развитие языка сам, его языкотворчество всегда вне культурной среды и обыкновенно воспринимается как ошибка, даже если оно не противоречит духу языка; оно не идет из самой жизни и почти всегда оказывается неуместным, несвоевременным.

Ну ладно, не будем рваться в носители. В конце концов, так ли уж это замечательно? Да, конечно, понимать тонкие оттенки смыслов мы не в состоянии. Но, ведь, и среди носителей их понимают единицы — стоит чуть-чуть выйти за рамки данной местности или субкультуры. В этом смысле, в устах иностранца язык становится более универсальным, и где-то даже более полноценным. Хотя и без особого блеска, без игры — без юмора, в конце концов. Зато открываются практически неограниченные возможности обогащения элементами другого языка, другой культуры. И общение приобретает новизну, становится неожиданным — насыщенным и интересным. Когда иностранцу не хватает слов — он начинает искать обходные пути, иногда по-новому поворачивая старое и привычное, устраняя шаблонность и предвзятость.

Получается, что уровень знания языка определяется не набором усвоенных формул, а наоборот, способностью их расширить и переосмыслить в другом культурном контексте. Было бы что-то за душой — остальное приложится. А когда сказать нечего — какое уж тут языковое богатство!

В этом плане носители языка отнюдь не находятся в преимущественном положении перед иностранцами. Если, конечно, не придерживаться теории, что есть одна избранная нация, а все остальные — убогие выродки. Изучение языка перестает быть пассивным процессом усвоения уже существующего, оно неотделимо от творчества, от деятельности — надо не только найти новую форму для того, что когда-то было сказано на других языках, но и сказать нечто новое, на другом языке невыразимое. Человек, выучивший ноты и умеющий нажимать бегло клавиши фортепиано в заданной последовательности, не обязательно будет музыкантом. Даже если ему придется зарабатывать на жизнь музицированием. Можно в совершенстве овладеть техникой версификации — но не стать поэтом. Точно так же, богатый словарный запас и глубокое знакомство с тонкостями словоупотребления не дают еще права заявить о знании языка. Вот когда человек может высказать нечто значимое для всех людей — и, может быть, даже не только людей, — он действительно умеет говорить.

Разумеется, какое-то знакомство с языковыми формами необходимо. Но одних только форм еще недостаточно для содержательной речи. Надо еще и приложить их к определенному материалу — то есть, как минимум, этот материал должен быть в наличии — или хотя бы возникать в процессе освоения языка. Знакомство с речью другого народа есть в первую очередь знакомство с определенным образом мысли. Конечно, порожден этот образ мысли какими-то незнакомыми явлениями культуры — но при изучении языка мы *снимаем* (в гегелевском смысле) его историю и воспринимаем его как данность, как объект. И, следовательно, превращаем его в *схему* деятельности, применимую в ситуациях весьма далеких от исходного культурного контекста. Недаром древнегреческий и латынь широко использовались для изобретения научных терминов — формальность мертвых языков сродни абстрактной теории.

Здесь мы возвращаемся, на новом уровне, к официальной градации уровней знания языка. Но теперь мы понимаем, что степень овладения им определяется не набором типовых деятельностей, а иерархией схем деятельности — от простейших (поведенческие шаблоны) до самых универсальных (отношение духа как такового к природе как таковой). Трудно? А кто говорил, что стать в полной мере человеком разумным — это легко? Но надо пытаться. И для этого, в частности, постигать пути незнакомых языков.

О предках и тенях

Человеку свойственно упрощать, сводить многообразие мира к чему-то одному, — полагая, что сплошь и рядом наблюдаемые различия к делу не относятся. Жить в таком простом мире, правда, становится все сложнее — но чего не стерпишь ради красоты! Великий принцип индуктивного обобщения гласит: если похоже — значит, одно и то же. А если непохоже — значит, мы чего-то не заметили.

Похож один человек на другого, как две капли воды, — стало быть, двойняшки. Звезды, вот, тоже все какие-то одинаковые — только на разных стадиях развития. Электроны мы с самого начала объявляем неразличимыми, и приходится усреднять формулы по перестановкам. А уж перед законом — тут вообще все равны, и нищий всегда может отсудить свою долю у миллионера, только ленится…

Во многих случаях абстрактная наука помогла достичь вполне осязаемых успехов. Конечно, пришлось где-то красотой пожертвовать — пойти на уступки грубой эмпирии; но вот, болтаем же мы по мобильнику, читаем всякий вздор на общедоступных сайтах, грызем в изобилии синтетику, и ее же носим, летаем самолетами разных компаний, а скоро и в космос турист валом попрет. Как тут не увлечься и не испытать силу абстракции где-то еще? Например, в науках о языке.

Нет, всякие формальные языки и системы порождения пока оставим в стороне. Началось-то все с простого наблюдения, что одни языки в чем-то похожи на другие, и можно, стало быть, их по каким-то признакам классифицировать. После достаточно настойчивых уговоров, все языки согласились поделиться на небольшое количество языковых семей. Сейчас их усиленно уговаривают снять последние украшения и предстать перед публикой в совершенно одинаковой

наготе… То есть, в идеале, существует один-единственный язык, а все остальное получилось из него методом варварского извращения. Вроде как мы полагаем, что есть русский, французский или японский язык — а отдельные представители этих наций лишь коверкают эталон, каждый на свой лад.

И вот, десятки ученых мужей (а иногда и жен) изощряются в попытках реконструкции мифически абстрактного праязыка. Сколько на этом диссертаций защищено! — никакого арифмометра не хватит. Пишут умные книги и глупые статьи — но авторитет признают все, и расходятся разве что в несущественных деталях (см. абзац #1). Вырисовывается монументально стройная конструкция. Еще чуть-чуть — и можно будет всем миром переучиваться на родной, подлинно естественный для всех язык, и не заморачиваться больше искусственными языками международного общения. Фонология, грамматика, лексика праязыка исследуются с неизменным энтузиазмом. И все это наилогичнейшим образом увязывается с поисками единого предка для всего современного человечества, эдакого адамопитека.

На этом месте у существа нерелигиозного начинают в душе пошевеливаться сомнения… А не прикрывают ли все эти разговоры о Большом взрыве, первочеловеках и едином древнем языке примитивную поповщину, сказки о сотворении мира и его населения кем-то заоблачным? Чисто теоретически, не исключена возможность, что все мы — подопытные блохи, и некто в параллельной Вселенной защищает диссертацию на тему технологии полового размножения у продвинутых приматов искусственного объекта номер такой-то. А мы тут стараемся науки ради… Но чтобы вообще все сотворить — это уж дудки! Тогда всемогущему творцу придется начинать с себя — и акт творения выпадает из теории как неуместное излишество.

Если все-таки говорить о сходстве, не похоже ли возведение всех языков к некоторому праязыку на попытку вывести все многообразие жизни их одной-единственной органической молекулы? Ну, физики уже давно докатились до первочастицы. Математики тоже двести лет мечтают о сведении всей математики к чему-то одному. Стало быть, остальные — чтобы не отстать от старших товарищей?

Если сжечь энное количество водорода, образуется сколько-то воды. Но вода может образоваться и при соединении щелочи с кислотой, и как продукт разложения органических веществ… Точно так же, электрон может быть выбит из атома фотоном, другим электроном или ионом, а то и просто испускаться в ходе спонтанной перестройки электронных оболочек с переходом в более низкое энергетическое состояние. Число 3 можно получить как (2 + 1), но можно и как (5 – 2), или корень кубический из 27. В конце концов, перекусить можно и парой пирожных, и куском ветчины… Кому что больше нравится.

Вот и думается: а почему, собственно, одинаковости в разных языках следует выводить из одной единственной первопричины, отметать все культурно-языковые процессы кроме простого наследования? Если несколько человек додумались до одного и того же — почему, собственно, кто-то должен быть первым, а остальные плагиаторами? Даже если между ними столетия. Пути развития бесконечно разнообразны, и найденное одними в одном контексте вполне может быть переоткрыто другими по-другому. Конечно, буржуазная психология толкает нас на то, чтобы разыскать изобретателя колеса и осчастливить его многочисленных потомков неожиданными дивидендами. Но меркантильность — сродни религии: сведение всего к деньгам есть признак скудости духа, убогой недоразвитости. Стоит ли господам-лингвистам усиленно подчеркивать слабость своего воображения?

Всякая иерархия проявляется во всевозможных иерархических структурах — но не сводится к ним. Любое упорядочение возникает лишь локально — в каком-то месте, в ограниченных временных рамках, в определенном отношении. Когда мы говорим об эволюции фонологического строя русского языка, мы обязаны ограничиться узким историческим периодом, в рамках которого русский язык существовал и эволюционировал как таковой; мы не имеем права сопоставлять его с древними славянскими диалектами, и даже межкультурное сравнение в пределах одной эпохи требует осторожности. Точно так же, мы можем проследить генетическое родство различных языков — но лишь до определенного предела, не для всех элементов и допуская влияние других факторов. Реконструкция единого праязыка — чистой воды артефакт, безосновательная абстракция.

Понятно, что языковые явления не возникают на пустом месте — просто потому, что пустого места в мире нет. Все, конечно же, из чего-то произошло — но вовсе не обязательно из чего-то одного. А в развитии языков взаимоотношения разных народов имеют первостепенную значимость, ибо язык есть прежде всего общественное выражение общественного сознания, которое как раз и формируется в рефлексии, во взаимопроникновении культур. Как в биологии новые виды зачастую образуются путем скрещивания, так и новые явления в языке могут быть следствием сплавления разных языковых пластов. Сходство появляется не только по причине родства — но и в силу взаимной культурной обусловленности. Точно так же в традиционной семье два человека из разных семей вдруг становятся самыми близкими родственниками, и роднее никого нет.

В развитии языков всегда переплетаются эти два механизма: наследование и взаимовлияние, дивергенция и конвергенция. Даже в современном мире, когда конвергентные процессы подавлены за счет культивирования языковой обособленности ради экономического размежевания, взаимопроникновение языков заметно на временах порядка нескольких десятилетий; в прошлом этот эффект был гораздо сильнее, и на протяжении тысячелетий могли возникать практически любые гибриды. Материальной основой этого служит повторяемость определенных способов действия, обусловленная как единством биологии человека, так и объективными закономерностями в развитии культур.

Кстати насчет объективных закономерностей. Одна из наиболее общих черт исторического развития — движение от синкретизма к аналитичности, и потом к синтезу. Грубо говоря, не бывает так, чтобы нечто возникло сразу, в готовом виде, со всеми возможными формами и проявлениями. Сначала оно проявляется как тенденция в рамках чего-то другого, потом общественно закрепляется как обособленная деятельность, а затем эта обособленность снимается во взаимодействии с другими деятельностями. Первые образцы — всегда примитивны, функционально неопределенны; потом приходит очередь рафинированных форм. Например, язык современной музыки сложился далеко не сразу — он усложнялся и обогащался постепенно на протяжении многих столетий. Однако лишь недавно, после двух с половиной тысяч лет увлечения абстрактной комбинаторикой, появилась теория Л. Авдеева, показывающая, как из примитивного сопоставления звуков разной высоты развились сложные звуковысотные шкалы, и как одни и те же законы могли по-разному проявляться в культуре разных народов. Тем самым, с одной стороны, показано внутреннее единство музыки (и, следовательно, возможность взаимного влияния) — но при этом не исключается расхождение в путях развития музыки у разных народов, культурное своеобразие.

Точно так же, первобытные языки не могли отличаться богатством и определенностью выразительных средств. Это сейчас мы выстраиваем фонологические системы, синтаксические схемы и уровни семантики. А тогда достаточно было очертить самые общие границы, а детали приходили потом, в практической деятельности. В частности, границы между фонемами долгое время оставались весьма зыбкими — так что само существование фонем как чего-то определенного и устойчивого было пока невозможно. Когда традиционная реконструкция праиндоевропейской фонетики предлагает поверить в различение древними людьми нескольких десятков фонем — это просто смешно. Посмотрите на речевое развитие младенца. Даже в условиях сильнейшего давления развитой фонологии родительского языка первые словофразы совершенно неустойчивы в фонетическом отношении, и лишь воображение родителей находит в них обрывки слов. Точно так же, сколько-нибудь развитый синтаксис появляется у ребенка далеко не сразу — а у первобытных людей путь к нему занял тысячи и тысячи лет, и потом еще долго вырисовывались какие-то устойчивые формы; понятно, что заимствование в таких условиях могло происходить практически беспрепятственно. В современных языках следы этих процессов перемешивания остались в виде различия основ одного и того же слова при образовании различных синтаксических форм («есть» — «буду», «идти» — «шел»). Но что далеко ходить? В русском языке полно свежих примеров заимствованного словообразования: «мумуизм», «антиобщественный», «хамизация», «продраинг», «пофиксить»… Пусть иногда это воспринимается как нечто нарочитое — со временем юмористический тон выветривается, и остается заурядное словоупотребление. Например, питерский диалект русского языка сложился

под влиянием иностранцев — однако именно его нормы часто вытесняют традиционное московское произношение в жизни и в словарях.

Язык иерархичен, и разные его стороны могут развиваться по-разному. Одно наследуется и преобразуется, другое заимствуется, третье изобретается с нуля… Старые формы приобретают иногда совсем другую окраску, диалекты становятся нормой, а стандарты превращаются в стилизацию. Да, это идет вразрез с нашим стремлением к простоте и единообразию. Но, может быть, за этим стоит иная, куда более совершенная простота, которую нам еще только предстоит найти?

Универсальный язык

О том, что в будущем человечество будет говорить на едином языке, писали многие. Возможно, это лишь благое пожелание — а может быть, вовсе и не благое. Но допустим, что мечтатели правы, и людям будущего суждено в личном общении обходиться без переводчика. Тогда возникает закономерный вопрос: что собой представляет этот всеобщий язык и откуда он возьмется?

Понятно, что общечеловеческий язык должен быть универсален. Его задача — обслуживать как культуру человечества в целом, так и любые субкультуры. Следовательно, язык должен быть достаточно выразителен, чтобы передать самые тонкие оттенки отношения человека к миру и человека к человеку. Включая различные исторические пласты.

Допустим также, что все это будет происходить в рамках примерно такой же физиологии человека, и звук останется преимущественным способом живого общения. Это, конечно, очень сильное предположение: есть основания полагать, что непосредственно речевой компонент из обихода разумных существ неизбежно уйдет. Тем не менее, какие-то элементы общего языка, возможно, успеют сложиться раньше.

Далее, формы естественного языка тесно связаны с определенной ментальностью, и содержание любой субкультуры существенно зависит от имеющихся языковых форм. Попытка пересказать это по-другому неизбежно приведет к различиям по существу. Универсальный язык, поэтому, должен подбирать выразительные средства индивидуально под каждую предметную область — то есть, его собственный запас выразительных средств обязан, как минимум, включать инструментарий любого из ныне существующих языков.

Уже на этом этапе закрадываются серьезные сомнения в осуществимости подобного проекта. Как можно объединить тысячи и тысячи языков в чем-то одном? Уж очень они все разные…

Ну, хорошо, пусть наши сомнения говорят только о слабости нашего воображения, а на самом деле объединение возможно. Как?

В истории известны случаи, когда тот или иной национальный язык становился также языком международного общения. Экономически сильная нация диктует миру правила игры — и пишет эти правила на своем языке. Разумеется, потом этот язык обрастает разного рода приспособлениями, размывающими его национальную определенность. Но общий характер и принципы организации сохраняются. Например, у некоторых есть желание заставить весь мир говорить по-английски, и желательно с американским акцентом. Да, все начинают говорить по-английски. Вместо освоения многообразных культур — подчинение какой-то одной. Такое засилье одного языка в ущерб другим неизбежно приводит к центробежным тенденциям и культивированию сугубо национальных черт даже там, где это вовсе ни к чему. А многие языки просто умирают, не выдержав конкуренции. Это рынок: проигравший должен уйти. Закон джунглей.

Весьма вероятно, что развитие пойдет именно этим путем, и языковое многообразие постепенно сведется к нескольким крупнейшим наречиям, употребительным внутри противостоящих друг другу культур, наряду с одним избранным языком международного общения. Если на этой почве суждено сложиться единому языку, универсальность его будет в значительной мере подпорчена.

В качестве альтернативы — интерлингвистика. Дескать, давайте создадим новый, искусственный язык, не ущемляя ничьих национальных интересов, и будем понемногу раскручивать его на почве международных отношений. Но что это меняет? В сущности, ничего. Только теперь язык-начальник не принадлежит конкретной нации, а дает выжимку менталитета некоторой группы наций, выбор которой неизбежно отразит экономические доминанты современности. Практически все проекты интерязыков исходят из европейской культуры, безусловно принимая ее мировое господство. Использовать в качестве основы единого языка китайский пока никто не предполагает. А чем он хуже?

Поскольку я пишу на русском языке, я уже привязан к европеоидам, и обсуждать возможности интеграции с китайским языком, суахили, бенгали, малайским или кечуа пока не буду. Однако важность вклада этих, и любых других языков (а стало быть, и выраженной в них ментальности) в общечеловеческую культуру я всячески подчеркиваю. Нет у меня еврошовинизма, перерастающего в евроглобализм, тем более в его американском варианте. Поэтому приводимые в дальнейшем примеры следует понимать расширительно, имея в виду возможность подключения любых других элементов. Это лишь одно из возможных обращений иерархии.

Итак, поставлена задача: объединить естественным путем все естественные (и некоторые искусственные) языки в нечто целостное, универсальный язык общения — не международного, а общения как такового, в любой форме, от галактической философии до случайного секса.

Раз мы ищем пути естественного слияния языков, какие-то прототипы этого должны обнаруживаться в реальных языковых процессах современности. Откуда-нибудь надо расти. Значит, начинаем разглядывать межъязыковые отношения и усматривать в них тенденции.

А тенденция к взаимопроникновению языков, безусловно, существует. Возможности тут самые разные, но для определенности возьмем лексико-грамматическую структуру. О заимствовании иностранных слов даже неудобно говорить — настолько это обыденное явление. Основная масса таких заимствований — названия предметов или явлений. Попадая в среду другого языка, слова иногда подолгу остаются чужаками — но частенько и приспосабливаются к его грамматике, у разной степенью успешности маскируются под своих. Например, слово *пальто* так и осталось в русском языке несклоняемым — а, вот, *жилет* комфортно вписался в новую обстановку. Аналогично, в немецком языке некоторые импортные словечки образуют множественное число по импортным же правилам, с добавлением окончания *-s,* — но многие заимствованные имена онемечились и принимают родное немецкое *-en.* Причем со временем заимствования склонны все более врастать в грамматическую структуру языка: в английском языке, например, можно образовывать множественное число латинских слов, как в латыни, — но можно и прибавлением *-s*, на английский манер. А в разговорном русском языке даже пальто теряет изрядную долю своей нормативной ригидности.

Кстати, о «ригидности». Здесь мы наблюдаем, как русское окончание, приспособленное к латинской основе, превращает ее во вполне русское слово, способное к гнездованию: *ригидный, ригиднее, ригидность, обригидиться* и т. д. Таким способом обычно переселяются в русский язык прилагательные и глаголы.

Теперь давайте представим, что лексическое заимствование стало универсальным: можно взять любую основу из любого языка, немного обработать ее в соответствии со своими языковыми привычками — и свободно употреблять наряду с исконно русскими словами. Неважно, есть в языке слова с аналогичным значением, или пока нет — пусть будет много синонимов, и богаче выбор. Например: английский глагол *wish* можно взять в качестве альтернативы русскому *желать* и образовывать формы в свое удовольствие: *wish-ить* (→ я *wish-у,* он *wish-ит* и т. д.), когда-то *wish-ил, wish-ение, пере-wish-ить, wish-а, … wish-енный* — или, пожалуйста: *wish-невый.*

Наоборот, русские основы можно использовать в английском языке. Например, по поводу желаний получим английские слова (дополнительно к уже имеющимся): *to жел, жел-s, жел-ed, жел-ing* и т. д.

Когда Заменхоф придумывал язык эсперанто, он надергал из разных языков базовый набор корней, от которых по очень простым правилам образуются многие тысячи слов. Выбор при этом

определялся исключительно предпочтениями изобретателя — плюс принцип разнообразия, чтобы никого не обидеть и от каждого что-нибудь да позаимствовать. Картина получилась пестрая и неубедительная. Почему, собственно, слово *domo* взято из русского языка, а слово *knabo* из немецкого? Никакой особой логики за этим не стоит, и знакомство с разными языками никак не в помощь при изучении эсперанто.

Но зачем обязательно требовать однозначности и бороться с синонимией? Почему бы не использовать эсперанто как схему, грамматическую основу, на которую каждый вправе навесить сколько угодно разнообразия? Вот тогда действительно будет никому не обидно… Пожалуйста, используйте как синонимы: *дом-о* (→ *дом-oj*, *дом-a*, *дом-e* и т. д.), *home-o* или *heim-o*, *maison-o*, *ev-o*, *σπιτι-o*, … Разумеется, ничто не мешает приобретать лексические варианты из неевропейских языков, пусть даже в очень адаптированном произношении.

Впрочем, как показывает опыт, интенсивное проникновение в язык слов из-за бугра приводит к фонетическим сдвигам. На практике люди пытаются воспроизвести иностранное звучание — и обогащают свой язык новыми фонемами, ранее ему не свойственными, но возможными на периферии фонетического строя. Так, в русском языке краткое [ў] встречается лишь виртуально, в особом фонетическом окружении. Однако мы обычно произносим английские имена в исходном варианте: *Wilson* пишется как *Уилсон* — но произносится как [ўилсон], и лишь некоторые пытаются произносить это, как написано (а в старые времена еще была немецкая традиция, и писали: *Вильсон*). Можно предположить, что универсализация фонетического строя в ходе лексического заимствования — это объективный процесс в рамках формирования единого языка. Органы речи в основном одинаковы у всех людей, и все они существуют в едином фонетическом поле, а национальные языки лишь по-разному образуют в нем иерархические кластеры (фонемы). Универсализация в данном случае означает выделение каких-то наиболее общих кластеров, в которые попадают звуки самых разных языков; различия в произношении на смысл не влияют. Тем самым оказывается возможным обобщенное воспроизведение самых разных фонематических систем в рамках единого языка.

Однако лексическим заимствованием дело не ограничивается. Слова имеют привычку кочевать из одного языка в другой вместе со своей родной морфологией — а массовое заимствование из какого-то одного языка делает эту морфологию привычной, вплоть до полной натурализации. И оказывается, что даже исконно русские слова охотно принимают иностранные приставки, суффиксы и окончания: *антиобщественный*, *коекакер*, *извратизм*, *носибельный*… Что уж говорить о бывших иностранцах!

Так постепенно может сложиться некоторый банк общих элементов морфологии — еще один кирпичик в здании универсального языка. Традициям придется потесниться — и к любой основе можно будет пристроить любые технологии словообразования. Например, в русском языке пока далеко не все основы принимают флексии *-инг* или *-ация*; но почему бы не расширить область применимости? И получить, скажем, такие производные от глагола *хотеть*, как *хотинг* (→ *хотингую ~ I am khotting*) или *хотация*, *хотибельный*, *инхотибельный*… Почему бы не освоить и турецкую морфологию? — *хотымыз*, *хотмаз* (= *инхотибельный*), *хотыйор* (= *хотингует*), *хоттык*, *хотаджак* и т. д. Аналогично с желаниями: *желинг*, *желеджек*, *желмиш* — а из французского приходит *мон желé* (= *мой желанный*)! Как-то сразу интереснее жить. Столько возможностей открывается.

Во всяком серьезном деле надо начинать с себя. На пути к универсализации каждый язык в первую голову освобождается от внутренней зажатости, от слепого следования языковой традиции. Почему морфологические схемы оказываются применимы к одним словам и неприменимы к другим? Дискриминация. Начнем заимствовать свое же родное: *пожелать один раз = желнуть*; *процесс интенсивного желания = желка* (а в гипертрофированных формах и *желища*); *тот, которого желали в прошлом = желатый*; *тот, кого дожелали до упора = отжеленный*… Богатство выражения распухает самым бесстыдным образом.

Эксперименты такого рода известны у некоторых поэтов. Однако редко, робко, несистемно, зачастую вырождаясь в игру слов (*они желают — они же гавкают*). А надо — на полном серьезе, как головой в прорубь. Мы поправляем «неправильности» в речи детей — вместо того, чтобы учиться у них свободе употребления собственного языка.

Самая трудная часть пути — части речи и синтаксис. Здесь язык будет изо всех сил держаться за свои собственные грамматические категории. Ну и пусть держится. Но не мешает селиться на его территории всяческим пришельцам. Есть языки, близкие по своему внутреннему устройству, — с ними процесс интеграции несколько проще. Например, одни славянские языки могут грамматически смешиваться с другими — и в живой речи это часто происходит в пограничных областях. Но уже такая простая вещь, как введение в грамматическую систему русского языка артиклей, — вызывает сопротивление ревнителей чистоты родной речи. А кому что родное — это, ведь, вилами на воде писано… На самом деле в русском языке аналоги артиклей есть, и особенно широко употребляются они в разговорной речи. Сегодня даже мат стал вполне литературным явлением — так чего же мы боимся с прочим просторечием?

Если присмотреться к живому использованию национальных языков, можно обнаружить, что грамматические различия между ними вовсе не так велики, как это рисует официальная норма. И в русском языке можно указать явления, аналогичные оборотам любого другого языка. Развитие соответствующих сторон может происходить совершенно естественно, а дальше играет лексическое или морфологическое заимствование, обогащая собственные грамматические структуры конструкциями не очень привычными.

Таким образом, возникновение универсального всеобщего языка исторически возможно, и это нормальный процесс развития в условиях интенсивного перемешивания разных культур. Не требуется ничего вводить с потолка — достаточно лишь дать языку свободу выбора, а дорогу он себе проложит сам.

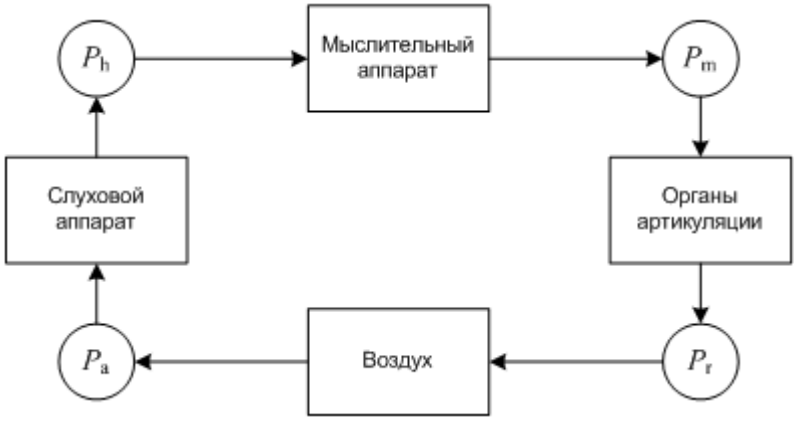
Однако в условиях капиталистической конкуренции одни нации противостоят другим прежде всего экономически, и национальный язык используется в интересах конкурентной борьбы. Это мешает созданию единого языкового поля, в котором могли бы сформироваться элементы универсального языка. Не дают языкам развиваться сразу во всех направлениях. Но взаимовлияние есть, и взаимопроникновение объективно идет. Что-то появляется в качестве особого жаргона, среди представителей узкой профессиональной или социальной группы. Потом оно превращается в диалект. А там, глядишь, начинает понемногу пробираться в нормы. Разумеется, стихийное развитие — это очень медленно. Как только люди осознают объективную необходимость — дело начинает стремительно набирать обороты. Так выпьем же за трезвое отношение к собственному языковому богатству — и чтобы все друг друга уважали!

Фонологические пространства и фонодинамика

Философия учит нас, что пространство и время — две стороны всякого движения (включая как материальные процессы, так и саморазвитие духа). Соответственно, в основе любой науки лежат более или менее явные пространственно-временные представления: предмет науки соотносится с совокупностью («пространством») всего, что ведению этой науки подлежит, — а любые суждения по поводу этой совокупности сводятся к последовательности возможных преобразований. Логическая парадигма «сходство — порядок» естественно перетекает в логику параллельной и последовательной обработки одних структур другими. Как пространство, так и время может быть либо дискретным, либо непрерывным, или каким-то гибридом того и другого. Фонология традиционно исходит их конечного числа надежно различимых речевых единиц (фонем) — тем не менее допуская существование непрерывного поля возможных аллофонов.

К сожалению, большинство исследователей в области фонологии никак не могут отрешиться от физиологии речепорождения. Даже когда фонемы выделяются с учетом обобщенных семантических признаков, их все равно пытаются втиснуть в классификацию МФА или иную эмпирическую схему артикуляционно-акустического характера (например, Chomsky & Halle). Никто не спорит, что представление человека о звуках его языка зависит от того, каким образом он эти звуки произносит. Однако зависимость эта вовсе не обязана быть прямой и очевидной, на уровне простого изоморфизма. Попытки связать фонологическую определенность с определенностью артикуляционной или акустической смешивают совершенно разные уровни иерархии.

H. M. Hubey в своей книге *Mathematical and Computational Linguistics* (LINCOM Europa, 1999) приводит простую схему, иллюстрирующую различие этих уровней:



Когда мы слышим (обычно в смеси с шумами) некоторую акустическую фонему P_a, наш слуховой аппарат преобразует ее во внутреннее представление, отождествляя с одной из предполагаемых стандартных фонем P_h (перцептивная установка), и именно это (а не набор акустических характеристик) есть то, что мы на самом деле слышим, и с чем в дальнейшем оперирует наш мыслительный аппарат при анализе речи и формировании ответа. Когда мы хотим что-то сказать, наш мыслительный аппарат формирует последовательность «мысленных фонем» P_m и отправляет ее в органы артикуляции, которые отзываются на это какой-то физиологической работой, набором движений, представляющим собой артикуляционную фонему P_r. Работа артикуляционных органов обычно порождает колебания воздуха, передаваемые по каналам связи с какими-то искажениями и добавлением шума, и поступающие на слуховой аппарат собеседника очередной акустической фонемой P_a.

В этой картине, несмотря на всю ее упрощенность, уже заметно отличие мысленных фонем (элементов высказывания) от артикуляционных фонем (элементов речи). Они различны хотя бы уже по своему носителю: в первом случае это нервные импульсы, во втором — движения мышц. Точно так же, различны по своему носителю акустические и перцептивные фонемы.

К сожалению, Hubey не стал продолжать эту мысль; для простоты, он постулирует изоморфизм между всеми типами фонем и в дальнейшем оперирует только акустико-артикуляционными признаками, не учитывая собственно языковых функций.

Однако на практике изоморфизма нет. Одна и та же мысленная фонема может быть по-разному артикулирована, в зависимости от речевой ситуации. Более того, одна мысленная фонема может соответствовать набору артикуляционных фонем; например, мы мыслим слог (или даже фразу) целиком — а реализовано это как сложное речевое действие. И наоборот, последовательность мысленных фонем часто редуцируется в произношении в нечто совсем синкретическое. Точно так же, одна акустическая фонема может быть интерпретирована как последовательность перцептивных фонем, а разные акустические фонемы вовсе не обязательно слышатся по-разному.

Как удается человеку при этом достаточно адекватно воспринимать речь собеседника и отвечать сколько-нибудь понятным для собеседника образом? Вопрос это непростой, он связан с историей происхождения и функциями языка. Но проиллюстрировать идею может музыкальный пример. Если ударить по клавише *соль* фортепиано, стоящая рядом гитара отзовется тихим звуком той же высоты. Это известное в физике явление резонанса. Вместо извлечения звука на фортепиано можно просто громко крикнуть — и гитара отзовется, если в спектре крика есть частоты, близкие к тем, на которые настроены струны гитары. Точно так же в совместной деятельности людей они настраиваются друг на друга, и это позволяет им понимать чужую речь, несмотря на сильные акустические искажения, — а иногда люди понимают друг друга вообще без слов.

Человеческий мозг только обслуживает деятельность и общение; он всего лишь комок живых клеток. Однако совместная деятельность людей заставляет клетки мозга вести себя в каком-то смысле похоже, и они работают в едином ритме — как будто связаны напрямую. Здесь еще одна аналогия со звучащей струной: звук струны, с точки зрения физики, есть стоячая волна, в которой разные части струны колеблются синхронно, и, как только такая волна образовалась, уже не требуется дополнительных взаимодействий, чтобы синхронность поддерживать. Когда такие коллективные эффекты возникают во взаимодействии многих людей, это называется «идея». Мозг человека участвует в этом процессе общественной синхронизации, приобретая наборы состояний, физиологически представляющие идеи. Он не может мыслить сам по себе, и тем более порождать новые идеи, — но способен быстро откликаться на их формирование, приобретая подходящие для этого наборы состояний. Законы работы человеческого мозга — это уже не только физиология, они привнесены извне способом включения человека в общество. Поэтому допустимо говорить о мысленных фонемах P_{m} как о внутренних представлениях простейших идей — и вот здесь-то и возникает самый настоящий изоморфизм, вопреки существенной нелинейности нервной деятельности (а отчасти и благодаря ей). И мы в состоянии понять собеседника, говорящего с сильным акцентом, путающего флексии и подставляющего одни слова вместо других, — если, конечно, мы на это психологически настроены.

Следовательно, изучения артикуляции и акустического состава фонем недостаточно для описания собственно языковых явлений. Можно научить машину имитировать человеческую речь (например, читать вслух книги или отвечать на телефонные звонки) — но это не научит ее говорить. В фонологии мы должны исходить из смысла речи, а не из ее реализации. Поэтому собственно фонемы — это не то, что производят органы артикуляции, а то, из чего состоят слоги, слова, синтагмы — как идеи, а не как состояния организма, их представляющие. У тел самих по себе нет длины, ширины и высоты — хотя тела и существуют пространственным образом. Только человек, наблюдатель, называет те или иные измерения длиной, шириной или высотой. Физическое пространство вовсе не состоит из точек, с прикрепленными к ним значениями координат, — это человек выделяет в пространстве минимальные элементы и привязывает их к определенной системе отсчета. Точно так же и фонологическое пространство не возникает из артикуляции — оно связано с говорением как деятельностью, со структурой и смыслом сказанного. Описывать фонемы при помощи артикуляционных признаков — это все равно, что указывать время положением и размером тени гномона — да, между ними есть связь, но для каждых часов своя.

Последний пример дает намек на то, как устанавливается связь между артикуляцией и фонемами. Чтобы определять время, гномон (и любые другие приборы) *калибруют* — то есть, привязывают его показания к некоторому общепринятому эталону. Точно так же артикуляционный аппарат человека калибруется в раннем детстве, когда родители тысячи раз повторяют бессвязный лепет младенца с принятой в их родном языке артикуляцией, создавая тем самым у него перцептивные установки, базовые наборы фонем.

После стольких предварительных замечаний переходить к сути дела, вроде бы, уже и не требуется — все и так очевидно. Тем не менее, вернемся к фонологическим пространствам.

В фонологии принято представлять фонемы точками в некотором пространстве. Традиционно берут за основу несколько артикуляционных или акустических параметров и строят пространство (чаще всего решетку) с соответствующим числом измерений. Поскольку многомерные пространства рисовать трудно, иллюстрируют теорию трехмерными картинками. Основные достижения на этом пути связаны с описанием гласных — и это понятно, поскольку гласные представляют собой звучания, возникающие при относительно постоянном положении речевых органов, тогда как согласные предполагают быстрое изменение их состояния. Однако различие это оказывается довольно условным, если учесть, что, например, в дифтонгах и трифтонгах присутствует движение от одной гласной к другой, есть ряд полугласных (представляющих собой как бы оборванные, недоделанные гласные), а многие согласные вполне допускают удлинение и задержки — их можно даже петь. Тем не менее, до сих пор предпочитают помещать гласные и согласные в отдельных пространствах (или в разных фонетических таблицах).

Пространственное представление звуков языка, основанное на их фонетических свойствах, оказывается чисто структурным, разновидностью классификации. Это даже не таксономия — поскольку никакого генетического родства изначально не предполагается. Выделяемые этой «вульгарной» фонологией пространственные «измерения» не ортогональны: поскольку артикуляционные органы движутся согласованным образом, их состояния не могут комбинироваться произвольно. Точно так же, акустические параметры одной и той же фонемы зависят от ее речевого окружения, от высоты и тембра голоса, от акцента или эмфатических вариаций. Максимум возможного — выделить в таких пространствах несколько кластеров и назвать их фонемами. Все. Наука кончается. Это статическая картина, и никаких выводов на ее основании сделать нельзя.

В этом плане гораздо перспективнее подход H. M. Hubey, который тоже конструирует фонологическое пространство априорно, исходя из ряда акустических и артикуляционных соображений, — но в предположении, что фонемы соответствуют не каким-то определенным параметрам, а представляют собой некие «усредненные» характеристики движения («some kind of a weighted average of the rates of changes»). Если учесть, что в каждом языке способ такого «усреднения» определен культурными факторами — мы приходим к вышеупомянутому изоморфизму «мысленных» фонем объективно существующим в обществе идеям (коллективным эффектам в совместной деятельности людей). В предложенном Hubey представлении гласные и согласные расположены в едином («фазовом») пространстве, вместе с любыми переходными формами. Сочетания и последовательности звуков представляются траекториями в этом пространстве. Исходя из требования связности и гладкости «фазовых» траекторий, можно объяснить многие фонологические явления, наблюдаемые в языке. Тем не менее, Hubey вынужден допустить существование еще одного, собственно языкового уровня, который ограничивает возможные вариации траекторий (например, не допуская смешивания в произношении существенно различных слов).

Тут мы вплотную подходим к вопросу о том, что же это такое — фонема? Что именно следует рассматривать в фонологии: акустические, артикуляционные, мысленные фонемы? Но ведь можно детализировать любую схему, добавить промежуточные звенья на любом этапе. Например, известно, что мысли не напрямую выражаются в речи, они сначала порождают «внутреннюю» речь, а та уже развертывается во внешнюю. То есть, между «мысленными» (абстрактно языковыми) фонемами P_{m} и артикуляционными фонемами P_{r} есть промежуточный уровень фонем внутренней речи P_{i} . Получается, что у фонологии вообще нет определенного предмета, что она растворяется в частных аспектах других наук.

Если исходить из сугубо функционального описания речи последовательностью блоков-преобразователей, парадокс неустраним. Только иерархическое понимание фонемы как единства всех возможных иерархических структур и систем позволяет избавиться от неопределенности и произвола. То есть, фонема как реально существующее языковое явление может *проявляться* как мысленная, артикуляционная или акустическая — ни одно из этих представлений не может дать исчерпывающего описания. С другой стороны, фонема не существует иначе как через свои конкретные проявления, она *должна* так или иначе проявляться. Поэтому допустимо в каждом конкретном исследовании выделить один из возможных аспектов и строить формальные теории, рассматривая все остальное как поправки и ограничения — но ни в коем случае не забывая о существовании других представлений. Фонология становится иерархической — и на каком-то из ее уровней она как раз и занимается синтезом, осознанием единства частных картин.

Фонологические пространства характеризуют возможные в языке структуры, каждое такое пространство дает вид фонологической иерархии с какой-то одной стороны (обращение иерархии). Точно так же, выделение различных иерархических систем (наподобие предложенных Hubey) дает рассмотрение того же самого в разных аспектах. В реальной речи все эти аспекты переплетаются, образую особую иерархию, речевую ситуацию. Нельзя сказать, что одно из фонологических пространств чем-то предпочтительнее других — каждое из них имеет смысл только применительно к определенному уровню речевой ситуации. Тем не менее, по чисто формальным признакам, можно выделить несколько «типовых» подходов, различные пространственные парадигмы.

Факторные пространства дают представление о распределении фонем по ряду априорно выбранных признаков. Фонемы возникают как кластеры в таком пространстве (нечеткие множества точек пространства). Путем нелинейного преобразования исходного пространства иногда можно добиться более выраженного разделения кластеров. Линейные преобразования (комбинации сдвигов, масштабирования, вращения и отражений) не меняют формы кластеров; билинейные (изменение перспективы) и полилинейные преобразования могут изменить внешний вид кластеров, но характер кластеризации при этом остается тем же самым. Только существенно нелинейное преобразование способно «растащить» точки пространства по разным кластерам, сделать структуру более дискретной. Разумеется, нелинейные преобразования могут и ослабить кластеризацию, «размыть» структуру. При фиксированном наборе исходных («сырых») факторов (определенный аспект описания), возникает иерархия фонологических структур, которые можно получить всевозможными нелинейными преобразованиями. В частности, возникает упорядочение по количеству фонем: фонемы более высокого уровня возникают как комбинации фонем более низкого уровня (гиперфонемы). Нельзя представлять себе гиперфонемы как подмножества некоторого базового набора фонем — иногда такое приближение возможно, однако могут быть и гиперфонемы, несводимые к элементам предыдущего уровня.

Конфигурационные пространства знакомы всем по школьному курсу геометрии и физики. Обычное трехмерное пространство, в котором мы проводим нашу повседневную жизнь, — пример конфигурационного пространства. Но конфигурационные пространства могут оказаться весьма экзотическими, далекими от интуитивных представлений (например, спинорные пространства, гильбертовы пространства, пространства распределений и другие). Общее в них то, что каждая точка такого пространства понимается как мгновенное состояние некоторой системы, ее «местонахождение» в данный момент времени.

В фонологии возможны конфигурационные пространства разного уровня. Например, можно произносимый (или представленный во внутренней речи) звук считать точкой некоторого конфигурационного пространства. Тогда речь представляется последовательностью точек этого пространства — траекторией. Последовательность эта не случайна, она возникает в силу определенного закона движения, связывающего изменения состояния системы с действующими на нее внешними силами (смысл высказывания) и параметрами самой системы (характеристики фонем). Подобные теории можно было бы назвать *фонодинамикой*. Однако пока таких примеров нет, поиск фонодинамического описания — это, скорее, программа на будущее.

Другой класс конфигурационных пространств отображает не единичные высказывания, а глобальные характеристики фонологической системы некоторого языка в конкретный исторический период. Динамика в конфигурационном пространстве такого типа описывает, например, эволюцию фонологической системы или взаимовлияние разных языков.

Фазовые пространства объединяют в одном пространстве характеристики разного уровня. Они обладают чертами конфигурационных пространств, поскольку состояние системы в данный момент характеризуется точкой фазового пространства. Однако они обладают также чертами факторных пространств, поскольку каждая точка задана произвольным набором параметров, относящихся к различным аспектам описания системы. Например, состояние движения в фонодинамике описывается импульсом («количеством движения»), связанным со скоростью изменения, направленностью изменения и некоторой мерой инертности системы. Импульсы можно определить по известной траектории движения, поэтому они представляют лишь другой аспект движения, дают дополнительное описание. Однако можно построить фазовое пространство, откладывая по одной оси положение в конфигурационном пространстве, а по другой — импульс. Точки такого фазового пространства дают одновременное описание того, где система находится в данный момент и как она движется. Появляется возможность увидеть глобальные закономерности, особенности фазовых траекторий, лишь неявно присутствующие в фонодинамическом описании.

Фазовые пространства как бы сопоставляют несколько конфигурационных пространств, вскрывают их взаимосвязь. Иногда (как в приведенном примере) динамика в фазовом пространстве однозначно связана с фонодинамикой, и по движению в фазовом пространстве

можно восстановить траекторию в конфигурационном пространстве. Однако во многих случаях измерения фазового пространства не принадлежат одной динамической модели и фазовые траектории не соответствуют никаким фонодинамическим законам. Это существенно иной уровень описания.

Иерархические пространства могут соединять в себе пространства любых уровней. Например, точка конфигурационного пространства может иметь внутренние степени свободы, которые представлены точками факторного пространства. Можно рассматривать фазовое пространство как факторное — и описывать изменения в характере фазового движения при переходе от одной кластеризации к другой (на этом пути возникла общая теория относительности). Разумеется, есть и другие возможности.

Таким образом, фонологии есть еще, куда развиваться. Она пока находится на самых ранних этапах своего развития, и предстоит долгий и тернистый путь освоения фонодинамики. Важно при этом не забывать, что речь идет не о простых акустических явлениях, и не о физиологических процессах, — в основе всего культурные условия, развитие человеческого общества. Только так можно выбраться из замкнутого круга феноменологии и перейти на качественно иной уровень понимания самих себя — стать разумнее.

Строение внутренней речи

Представление о внутренней речи как промежуточном звене между мыслью и ее внешним выражением утвердилось трудами Л. Выготского — но и сейчас, почти сто лет спустя, внутренняя речь остается для психологов и лингвистов скорее экзотическим казусом, чем достойным направлением серьезного исследования. Все признают, что, вроде бы, имеется нечто вроде, — но никто не знает толком, что это такое. В результате появляются абсурдные дефиниции: «Внутренняя речь — беззвучная речь, скрытая вербализация, возникающая, например, в процессе мышления. Является производной формой внешней (звуковой) речи, специально приспособленной к выполнению мыслительных операций в уме». Это безусловная чушь. Мышление — это отнюдь не рассуждение про себя [4] (и вообще, оно отнюдь не всегда дискурсивно), а внешняя (социальная) речь вовсе не обязательно предшествует внутренней речи, и даже наоборот, оказывается невозможна без нее. В англоязычной литературе читаем: «It is inner, soundless speech». А Выготский как раз подчеркивал, что внутренняя речь *не* есть «речь минус звук», что это самостоятельная форма деятельности, хотя и тесно связанная как с речью, так и с мышлением.

Попытки как-то подступиться к изучению внутренней речи наталкиваются на заскорузлую метафизичность собственной мысли исследователей. Не принято в науке говорить о вещах изменчивых и неоднозначных — вот и воображают себе для простоты, что имеется готовенькая способность публично выражаться, плюс вполне сформировавшееся мышление, — и остается только придумать нечто среднее, столь же простое и определенное. Даже когда задумываются все же о необходимости становления речи в ходе раннего развития ребенка, такая нестационарность считается чем-то временным, преходящим, и про внутреннюю речь уверенно заявляют: «This is the final stage of speech development. This is the type of speech used by older children and adults». То есть, как только мы сменили слюнявчики на галстуки и научились ходить в туалет, а не под себя, — развиваться нам уже некуда, мы достигли совершенства…

Но у мышления, равно как и у речи, нет последней инстанции. Кто полагает, что уже стал разумным, — не станет им никогда. Разум — это, ведь, и есть, прежде всего, способность сознательно и целенаправленно изменять себя самого. И в частности, развивать свое мышление, и свою речь. А различные формы внутренней речи как раз и призваны обслуживать их взаимоотражение (рефлексию), основной механизм развития.

[4] Здесь сказываются пережитки узколобого кантианства в европейской философии: «Мыслить — значит говорить с самим собой, слышать самого себя». То, что у Канта было образным выражением и постановкой проблемы, — у его «последователей» превратилось в буквальщину и догму.

— Как? — возопит эрудированный психолог, — разве есть еще и разные виды внутренней речи?

Представьте себе, есть. Более того, их бесконечное количество. Ибо между любыми двумя уровнями любой иерархии можно обнаружить промежуточный уровень, и каждом определенном аспекте иерархия развертывается по-своему, порождая разные иерархические структуры и системы (обращения иерархии).

Как можно такое изучать? Можно. Мы, ведь, изучаем физическую природу или животный мир — а они не менее иерархичны. Просто каждое конкретное исследование выделяет одно из возможных обращений (то, которое требуется нам для каких-то практических нужд), сосредотачивается на одном-двух уровнях и описывает строение такой замороженной иерархии, всегда с риском нарваться на неожиданности где-нибудь на грани применимости подобного приближения. Вот и сейчас, давайте оставим пока в стороне вопрос о возможности конечным образом выразить бесконечное и выберем для дальнейшего разговора что-нибудь попроще.

Сначала все же хотелось бы понять, из чего выбирать. Тут тоже бесконечность — куда же без нее! Для определенности начнем с того, что любая деятельность предполагает некоторый объект (что имеем), требует действующего субъекта (пусть даже иногда очень абстрактного) и порождает некоторый продукт (иногда то, что мы хотим, иногда наоборот). Собственно, любая речь — про это. Но речь как деятельность и состоит из этого. Как в любой иерархии, на первый план вылезает то одно, то другое… В зависимости от ситуации. По отношению к говорящему, объектная сторона — относится к восприятию речи; на другом полюсе — продуктивная сторона, говорение; наконец, субъектность связана со смыслом сказанного, с мотивацией. Соответственно, три функции (или три уровня) любого высказывания: коммуникация (сообщение), кооперация (приобщение), идеация (общение). В зависимости от преобладания того или иного компонента, получаются различные типы языкового поведения.

И всех этих ужасов нам сейчас важно вытащить, что есть как минимум три разновидности внутренней речи, получающихся путем свертывания соответствующих внешних компонент. Во-первых, это внутреннее представление слышимого — не в смысле динамики нейронных сетей, а чтобы понимать, кто говорит, о чем и зачем. По-своему представляются внешние («объективные») характеристики речи (тембр, высота голоса, интонация, темп речи и т. д.). Есть свое представление для структуры речи (от фонем до целостных речений и контекстов). Имеется набор технологий для оценки говорящего. Наконец, есть иерархия значений и смыслов, интерпретация сказанного. По каждому из этих направлений возможны разные уровни свернутости — от формального отображения до глубочайшей рефлексии. Никто не может сказать, где кончается внутренняя речь и начинается собственно мышление. Нет такой границы. Как указывал тот же Выготский, человеческое мышление (в отличие от просто интеллекта) вообще невозможно вне речевых форм и развивается оно вместе с развитием внутренней речи.

Второй тип (аспект) внутренней речи задан последовательностью перехода от мысли к слову. Разумеется, о «последовательности» тут можно говорить лишь условно, в логическом, а не в хронологическом смысле. Но, так или иначе, с возникновением намерения что-то сказать начинается долгий и трудный путь облечения этого «что-то» в набор лексикографических символов какого-нибудь языка. И здесь тоже различные направления и различные уровни удаленности от мысли и приближенности к мышечному акту устной речи или письма.

Наконец, то, что Выготский в первую очередь понимал под внутренней речью, — общение с самим собой, объяснение своих намерений самому себе. На низшем уровне это простая корректировка собственной речи, внутренняя «шлифовка» перед тем, как представить вниманию публики. Например, мы хотим добиться большей убедительности или экспрессии — и проигрываем ситуацию будущего общения про себя. Тут уже проявляется важное свойство внутренней речи: она относится к общению в целом, затрагивает все его компоненты, иногда выходящие далеко за рамки собственно речи. Если внешняя речь может быть механической, формальной — для внутренней речи это невозможно. Даже когда мы хотим обмануть самих себя.[5]

[5] Одурманивание сознания наркотиками, водкой и молитвами — способ заглушить собственную совесть.

Уже это краткое перечисление показывает, что говорить о строении внутренней речи по типу формально-лингвистического исследования — дело безнадежное. Морфология, синтаксис, семантика — все это переплетено и встроено в неязыковые образования (отношения, намерения, смыслы). Однако это не означает отсутствие какой-либо организации вообще. В конце концов, нашу обыденную речь тоже далеко не всегда можно расчленить на нормативные элементы. Одно дело — язык, другое — живое слово. Они, безусловно, взаимосвязаны — но неоднозначно. Речь далеко не всегда руководствуется правилами языка, а язык не всегда адекватно представим в речи. Попробуйте, например, внятно произнести химическую формулу сложной органической молекулы — иначе как в сокращениях, не получится. Хотя теоретически можно словами описать расположение атомов и характер их связи — проще все же нарисовать. Точно так же, глупо декламировать математические формулы или компьютерные протоколы — все это элементы письменного языка, не предназначенные для чтения вслух. И наоборот, изображение, например, характера общения чисто языковыми средствами возможно лишь в очень ограниченной мере. У Джеймса Олдриджа в романе «Последний изгнанник» есть характерный эпизод, когда египетский президент выступает на митинге в Александрии, народ в восторге, а американский репортер теребит переводчицу, чтобы понять, в чем дело:

— Что он сказал? Ради бога, переведите! — взмолился Джек.
— Это невозможно, — ответила сирийка, — все дело в том, *как* он говорит…

Различие между языком и речью выражается и в том, что изучают их разные науки, — лингвистика и психолингвистика. Лингвиста интересует язык как культурное явление, безотносительно к возможным ситуациям его употребления. Речь его интересует лишь в той мере, в которой она сводится к стандартному набору шаблонов. Психолингвист занимается именно привязкой речи к конкретной речевой ситуации, речевой деятельностью. Разумеется, всякое противопоставление относительно, и одно отражается в другом. Но язык как объективно существующий общественный продукт и речь как деятельность, этот продукт рождающая и воспроизводящая — явно различные понятия.

Но — стоп! Еще чуть-чуть — и можно договориться до полной автономии внутреннего мира человека от человеческой культуры. Или до примитивного механицизма, выводящего человеческое сознание из физиологии нервной системы и просто из физиологии. А суть любой субъективности в том, организм человека в культурном контексте ведет себя не так, как он вел бы себя в условиях дикой природы; в частности, мозг человека поставлен в жесткие рамки и вынужден запускать одни процессы и подавлять другие в соответствии с требованиями извне, в связи с необходимостью жить в обществе. Разумеется, мозг работает по природным законам, которых никакое общество не отменяет. Однако общество фильтрует возможные проявления этой природной активности мозга, оставляя лишь, то, что воспроизводит коллективные состояния общественного субъекта. При этом каждый общественно значимый акт допускает огромное количество разных физиологических реализаций (и в частности, процессов в мозгу), которые с точки зрения внешнего наблюдателя делают одно и то же.

Точно так же и речь, при всем ее разнообразии, реализует определенные *языковые* акты, обслуживающие взаимодействие людей в совместной деятельности и представляющие, следовательно, общественную необходимость. И уже одно это обстоятельство подразумевает, что речь (как публичная, так и внутренняя) не полностью произвольна, что она неизбежно оказывается как-то организованной в соответствии с организацией языка. Однако характер организации зависит от уровня речи, от ее функции, от ее места в общении. Иначе говоря, разные типы (внутренней) речи по-разному устроены, и не следует искать каких-то черт, свойственных (внутренней) речи вообще.

Я не случайно всячески подчеркиваю параллелизм внутренней и внешней (публичной) речи. По сути дела, это разные проявления одного и того же. Внутренней бывает не только речь. Начинается все как раз с интериоризации действий, произвольных движений. Как говорил Э. В. Ильенков: «Руки и ноги — вот первый орган *психической* деятельности». Действительно, отделение формы вещи от нее самой, воспроизведение ее в другом материале (мышечном усилии) — это первичная абстракция, *условный* образ действительности, зачаток *представления*.

Потом, на гораздо более высоком уровне, тем же путем возникает искусство; по сути, внешние явления (включая внутренний мир человека, рассматриваемый со стороны) в искусстве точно так же воспроизводится в другом материале — только материал здесь отделен от человеческого тела, он может быть совершенно произвольным. Но это тема для особого разговора. Сейчас нам важно осознать, что любое внешнее действие (как физическое, так и интеллектуальное) может быть свернуто, редуцировано, доведено до автоматизма — и его внутреннее строение оказывается тем самым перенесено внутрь субъекта, представлено некоторым классом внутренних (психических) процессов. Например, пока мы учимся танцевать, мы обращаем внимание на ноги, на руки, на положения корпуса, на связь движений… Потом — мы просто танцуем, и вся эта механика уходит на второй план. Однако при необходимости свернутые действия могут быть развернуты заново — допустим, если требуется приспособить то же действие к новым обстоятельствам, и добавить какие-то элементы. Свертывание и развертывание речи — частный случай такого перетекания внешнего во внутреннее и обратно в человеческой деятельности. Между внутренней и публичной речью нет непроходимой границы, это родственные явления, уровни одной иерархии. Стало быть, о строении внутренней речи можно судить по соответствующим явлениям речи публичной, а отношение речи к языку в точности воспроизводится во взаимосвязи внутренней речи и мышления.

Ну что же, давайте перейдем к отдельным примерам. Самый «внешний» уровень внутренней речи — проговаривание про себя. При этом артикуляционные органы работают почти как в публичной речи — только поток воздуха через них ослаблен до такой степени, что реальное звучание практически исчезает. Каждому знакомо такое внутреннее говорение — мы прибегаем к нему всякий раз, когда требуется что-то заучить наизусть, или, например, когда занимаемся иностранным языком. Это минимально свернутая речь, и психологи обычно не выделяют ее в особый уровень речи и специально ею не интересуются — а зря!

На самом деле говорение про себя не так тривиально, как кажется на первый взгляд. Здесь есть главный признак внутренней речи — совпадение говорящего и слушающего, речь «для себя». Но в этом, очень развернутом виде внутренняя речь высвечивает еще одну важную сторону — в качестве слушателя мы, как правило, представляем себе другого, становимся его внутренним *представителем*. Это не просто мышечная работа, это репетиция общения, или его переживание. Мы как бы разыгрываем внутри себя некоторую сцену, ставим небольшой спектакль, выступая сразу во всех ролях. И воспринимаем это субъективно как эпизод реальной жизни — играя также и роль зрительного зала в этом своеобразном театре одного зрителя. Но мы также занимаемся и режиссурой — и потому обращаем внимание на такие детали, которые ускользают от восприятия в реальном общении, и устраиваем один прогон за другим, пока не добьемся соответствия замыслу. Естественно назвать этот уровень внутренней речи *драматическим* — имея в виду драму в самом общем смысле этого слова, как род искусства.

По своему строению драматическая речь отличается от обычной публичной речи. Она гораздо более развернута, подробна, правильна — в жизни мы так не говорим. Артикуляция в драматической речи не редуцируется, произношение несколько утрировано. Даже если мы репетируем про себя предстоящую речь — в живом выступлении звучать она будет совсем не так. Говоря на публику, мы следим за реакцией публики и не всегда можем проконтролировать себя; напротив, в драматической речи торжествует рефлексивность, каждая мелочь доступна сознательному контролю. Тут важно все: фразировка, лексика, интонация, темп, жестикуляция, отчасти пространственное положение персонажей и их перемещения…

С лингвистической точки зрения, драматическая речь наиболее приближена к нормативному языку. Даже альтернативная лексика подбирается, исходя из поставленной задачи, в рамках темы — и потому лишь формально экспрессивна. До превращения драматической речи в объективированную, письменную речь — один шаг. В каком-то смысле письменная речь и является одной из форм драматической речи, с переходом от артикуляции к письму, заменой одного мышечного движения другим. Поскольку драматическая речь включает свернутую жестикуляцию, такой переход может происходить вполне естественно.

Становится очевидно, что возникновение драматической речи следует отнести к поздним этапам развития, предполагающим достаточно развитую рефлективность, самосознание. Для

первобытного человека или маленького ребенка такая речь слишком сложна. Зато в работе ученого или философа она встречается на каждом шагу — не говоря уже о поэзии, которая, по сути дела, представляет собой опредмеченную внутреннюю речь.

Психологическую роль драматической речи невозможно переоценить. Она становится одним из основных механизмов свертывания внешней деятельности, формирования внутреннего мира человека. Она крайне важна для адаптации поведения к конкретной ситуации, а также для выработки отношения к себе, для самооценки. Связь драматической речи с произвольным запоминанием уже упоминалась — скорее всего, у человека она как-то связана также со сновидениями.

Поскольку внутренняя речь не предполагает реального собеседника, она далеко не всегда понятна. Если кто-то становится свидетелем разыгрываемого человеком для себя спектакля, логика его развития скрыта от посторонних, и происходящее может показаться странным, несмотря на всю свою формальную правильность. Когда беседующий с собой человек случайно начинает говорить вслух — его легко принять за сумасшедшего. С переходом к письменной речи драматическая речь вводится в (объективный или субъективный) контекст предшествующего общения — и таким образом становится доступна другим людям. Тем не менее, мы далеко не всегда можем уследить за мыслью автора, и приходится порой знакомиться с его биографией, чтобы полнее оценить его труды.

Но пойдем дальше.

Еще один уровень внутренней речи возникает при свертывании артикуляции, превращении ее в мысленный образ. Параллельно свертываются и прочие мышечные движения, участвующие в публичной речи. Вместо внутреннего театра — сценарий, формальная канва живого действия, схема. Будем поэтому называть такую внутреннюю речь *схематической*.

Но сценарий — предполагает сценическую (или экранную) реализацию. Как и на любом другом уровне, эта разновидность внутренней речи объединяет языковые и неязыковые элементы. Только различие между ними становится не столь определенным, и одно можно порой принять за другое. Возможно это благодаря тому, что отдельные сегменты схематической речи представляют собой комплексы разнородных элементов, так или иначе относящихся к речевой ситуации — и не всегда эти комплексы субъективно представлены собственно языковыми компонентами.

Схематическая речь иерархична. В ней выделяются крупные блоки, «сцены» (представляющие ситуацию общения в целом). Эти блоки построены их более мелких единиц, «реплик»; «реплики» состоят из одной или нескольких «фраз», которые, в свою очередь, раскладываются на «слова».[6] Кавычки тут не просто так — они подчеркивают существенное отличие речевых форм от сходных с ними языковых. Внутреннее «слово» — далеко не всегда соотносимо со словами в традиционно-лингвистическом смысле. Во-первых, оно объединяет языковые и неязыковые явления (интонацию, жест, намерения, позиции). Во-вторых, собственно языковая нагрузка «слова» внутренней речи может относиться не только к лексике, но и к морфологии, к синтаксису — и даже к орфографии («аффтар жжет!») или пунктуации («?!»). Этим иногда пользуются в искусстве, чтобы передать образ, напрямую в слове невыразимый. Например, как в миниатюре Мерайли:

Пульс

.
?
??
???
!
!!
! ! !
. . .

[6] В принципе, возможно разложение «слов» на составные элементы, поскольку любая «фраза» может быть преобразована в «слово» и наоборот. Но здесь особый разговор, и относится это не только к внутренней речи.

Еще один пример — научные понятия или философские категории, которые далеко не всегда могут быть выражены просто словом или словосочетанием — но вполне представимы «словами» внутренней речи. В общем случае, «слово» внутренней речи может включает и некоторое представление об артикуляции (не обязательно языковой; сюда включаются также интонация, мимика, жесты — вообще, свернутое мышечное движение) плюс речевой смысл (нагрузка «слова» в контексте некоторого сценария); кроме того каждое «слово», поскольку оно употребляется в разных контекстах, предполагает некоторое поле ассоциаций, вызывает определенный (иерархически организованный) образ. Переход от артикуляционной схемы к реальной артикуляции — не просто перевод артикуляционных компонент внутренних «слов» в мышечные движения, требуется особая деятельность по развертыванию артикуляционных схем в последовательность фонем, и одно и то же внутреннее «слово» может быть представлено в публичной речи по-разному. Точно так же, передача смыслов внутренней речи требует особой деятельности по подбору лексики, и результат для каждого внутреннего «слова» зависит от его позиции внутри «фразы».

Тут самое время перейти к «фразам». Конечно же, это не просто предложения, и даже не речевые синтагмы (хотя какие-то соответствия с артикуляционными членениями безусловно есть). Традиционно, фраза — это минимальное законченное действие, после которого, в принципе, можно остановиться — или заговорить о чем-то другом. В отличие от фраз публичной речи, внутренние «фразы» не столь существенно привязаны к артикуляции, они не предполагают пауз. Собственно пауз в схематической речи вообще нет — поскольку схема («высказывание») дана сразу вся, в своей единовременности, и фразы в ней отнюдь не сменяют друг друга — они могут располагаться в любом порядке. Однако «фразы» в «высказывании» связаны смысловыми нитями, и как только выбрана одна — остальные выстраиваются в определенную иерархическую структуру, которая задает одну из возможных реализаций схемы в публичной речи.

Связь схематической речи с внешней синтагматикой требует, следовательно, особых внутренних «слов», представляющих членение публичной речи, — аналогично представляются и прочие речевые функции. Язык в общих чертах есть знаковая система — в схематической речи функции элементов языка отделяются от значений и сами становятся «словами». Формы обычного языка передаются комплексами внутренних «слов», и наоборот, формы внутренней речи могут быть сколько-нибудь адекватно переданы лишь развернутым текстом на соответствующем языке.

Парадоксальным образом, именно схематическая речь оказывается ближе всего к речи звучащей (с учетом присутствия в ней как языковых, так и неязыковых элементов). Из всех видов внутренней речи схематическая речь наиболее коммуникативна — она, по сути, дает набор шаблонов общения, приспособленный к реальной ситуации. Каждое «высказывание» схематической речи готово к развертыванию в публичную речь — и начинается это развертывание в ответ на сигнал извне, который нарушает неустойчивое равновесие внутренних схем, превращая их в последовательности элементов, преобразующиеся в мышечные движения в соответствии с артикуляционными установками.[7]

Развертывание иерархии приводит к тому, что один из ее элементов становится вершиной, представляет иерархию в целом. При этом глубина развертывания может быть разной, в зависимости от развития живого общения (от его темпа, глубины и т. д.). В частности, этим объясняется столь типичная для реальной речи обрывочность, разговор полуфразами. Озвучивается только вершина иерархии, все остальные уровни лишь предполагаются — но собеседники легко восстанавливают их, исходя из контекста совместной деятельности. При необходимости (когда общение наталкивается на препятствия и взаимопонимание затруднено) развертывание может продолжаться вплоть до построения формально правильных предложений используемого языка. Чтобы объясниться с конкретным человеком, мы используем опыт всего человечества.

[7] Можно сравнить это со спонтанным нарушением симметрии в физике: симметрия уравнений движения позволяет описывать разные наборы частиц — выбор какой-то одной возможности связан с нарушенной внешним образом симметрией физического «вакуума» (то есть, с заданием определенных внешних условий, в которых развертывается движение системы).

Схематическая речь начинает формироваться в очень раннем возрасте, начиная с первых актов общения. Можно сказать, что публичная и схематическая речь возникают вместе, это две стороны одного и того же. Публичная речь ребенка во многом схематична. Схематическая речь поначалу основана на артикуляции, это минимально свернутое мышечное движение. По мере того, как деятельность ребенка усложняется (и соответственно расширяется круг общения), схематическая речь все дальше становится от публичной, перестает опираться на звучание. В схематической речи происходит первичной обобщение индивидуального опыта; в какой-то мере она заменяет ребенку мышление (Л. Выготский выделял особый уровень мыслительной способности человека — мышление комплексами; его прекрасно обслуживает схематическая речь). У взрослого человека схематическая речь может развиваться уже без участия публичной речи, она точно так же возникает при свертывании драматической (внутренней) речи.

Поскольку схематическая речь во многом связана с историей индивидуального развития, она очень индивидуальна. У каждого есть свой внутренний «словарь» (точнее сказать, «разговорник», набор речевых шаблонов), который вовсе не обязан быть похожим на схемы кого-то еще. Способы развертывания внутренних иерархий («внутренний синтаксис») также зависят от психологической организации каждого, от строения его пространства мотивов. Однако, поскольку речь развивается только в общении, только в совместной деятельности в рамках определенной культуры, схематическая речь разных людей неизбежно приобретает и общие черты, которые условно можно описывать как формы своеобразного языка. Разумеется, это не язык в собственном смысле слова — он обслуживает только общение человека с самим собой и не может существовать вне индивидуальных «расширений». Изучение формального строения схематической речи подобно сравнительному изучению живых языков, выделяющему их общие, универсальные свойства под видом «реставрации» какого-то «праязыка».

Например, можно усмотреть, что схематическая речь строится из базовых элементов (внутренних «слов», лексикограмм) в соответствии с несколькими простыми правилами. Здесь никто не обязан выстраивать разнородные элементы в «правильные» последовательности, а если что-то все же выстроилось — не нужно подчеркивать в последовательности те или иные глобальные структуры при помощи специальных связок. Такие структуры возникают спонтанно, в силу особенностей ассоциативных полей лексикограмм — аналогично появлению вторичной и третичной структуры молекул ДНК. «Фразы» схематической речи (речевые обороты, шаблоны более высокого уровня) образуются путем непосредственного соединения лексикограмм; при этом каждая лексикограмма сохраняет относительную самостоятельность. Разные способы развертывания речевых оборотов по-разному выстраивают входящие в них лексикограммы, и в зависимости от места в таких иерархических структурах одна и та же лексикограмма может выполнять различные функции. То, что в одном обращении было выражением действия («глаголом»), в другом становится именем или эпитетом, а то и вовсе превращается в связку, в модификатор, показатель отношения.

Тут профессиональный лингвист начинает чесать в затылке и повторять на чистейшей внутренней мове: «Где-то я все это уже видел…» И он действительно это видел — в популярных описаниях грамматики китайского языка, не вдающихся в теоретические тонкости. Одну и ту же совокупность иероглифов можно расположить по-разному — и получить разные (но вполне осмысленные) фразы. Один и тот же иероглиф выполняет различные функции в разных контекстах, и даже произношение его может зависеть от позиции (в современном китайском языке это, в основном, замена основного тона на нейтральный).

Сходство не случайно. Развитие языка подобно развитию способности речи у ребенка, и каждый народ по-своему проходит стадию языкового детства. У европейских народов языковая рефлексия развилась сравнительно поздно — и ей осталось фиксировать лишь поздние этапы, переход от внутренней речи к мышлению. Китайцы раньше пришли к осознанию собственной разумности — и в языке осталась игра комплексами, схематичность внутренней речи. Ранняя рефлективность культуры ознаменовала собой рывок вперед и дала народам Китая значительное интеллектуальное превосходство над соседними племенами. Но со временем язык стал тормозом дальнейшего развития абстрактного и прикладного мышления, и потребовались немалые творческие усилия, чтобы он смог в конечном итоге обслуживать реалии сегодняшнего дня.

Продолжая исследование структуры схематического уровня внутренней речи, мы обнаруживаем все ее характерные особенности, описанные Л. Выготским:

1. *Редукция грамматики*. Различные словоформы сводятся к одной, упрощаются предложения, исчезают предлоги, связки и иные служебные слова.

2. *Редукция фонетики*. Качество отдельных фонем уже не имеет значения, важны лишь общие интонации. Во внутренней речи остается лишь идея звучания, а не звучание как таковое.

3. *Опора на смысл*. Значения слов расплываются, одно слово легко заменяется другим, имеющим иное, а иногда и противоположное значение.

4. *Агглютинация*. Слова соединяются непосредственно, перетекают одно в другое, склеиваются.

5. *Переливы смыслов*. Несколько смыслов каждой фразы, их взаимовлияние и перетекание одного в другой.

6. *Идиоматичность*. Множество неологизмов и нестандартность конструкций приводят к возникновению особого диалекта языка, в котором даже обычные слова становятся идиомами.

Как и любые другие формы внутренней речи, схематическая речь не предполагает понятности посторонним, она существует сугубо для личного пользования. Однако в отличие, скажем, от драматической речи, развернуто воспроизводящей коммуникативную ситуацию, схематическая речь допускает неожиданные ходы, мгновенную перестройку всех структур, вплоть до замены одного сценария другим — это прямое следствие симультанности схемы, одновременного существования всех ее элементов. В реальном общении направления развертывания схем ограничиваются речевой ситуацией — и публичная речь остается связной. Однако если партнер по каким-то причинам задержится с репликой, собственное развитие сценария может привести к совершенно неожиданным для собеседников поворотам — которые обычно объясняют странностями психологии.

Выготский писал о «предикативности» внутренней речи, о необязательности ссылок на субъекта, поскольку тот подразумевается в каждой конкретной ситуации. Но он же приводил примеры предикативности в повседневном общении — при наличии общего для собеседников контекста. Поэтому логичнее считать предикативность присущей речи вообще (в отличие от языка), а не только внутренней речи. На уровне схем — предикативности как таковой нет, поскольку все стороны речевой ситуации так или иначе представлены во внутреннем сценарии. Возникает предикативность в результате развертывания схемы, ее преобразования во внешнюю речь — начинается это развертывание с наиболее значимых элементов, а уже знакомые по предыдущему общению детали для речевого акта обычно не важны.

Характерная особенность схематической речи — функциональная подвижность. Любая схема может использоваться по-разному в разных контекстах, схемы могут сливаться в образования более высокого уровня или расщепляться на подуровни. В схематической речи эти процессы определяются внешними условиями — но сама возможность сколь угодно сложных преобразований становится необходимой предпосылкой собственно человеческого мышления. Однако на пути к нему мы овладеваем еще одним видом внутренней речи — образной речью.

Практическая совместная деятельность людей приводит к тому, что индивидуальные наборы речевых схем постепенно выстраиваются в сложные иерархии, устойчиво воспроизводящие те или иные элементы повседневной жизни — образы реальности. В основе этого процесса лежит повторяемость производственных операций, а значит и воспроизводство речевых ситуаций вместе с их индивидуальными сценариями. Образ есть обобщенное представление, общее для многих людей, общественно существующее. В этом плане образ близок к значениям языковых конструкций, к понятиям. Но реализуется образ сугубо индивидуально, комплексами личных речевых установок каждого человека — и этим он отличается от понятия. Для того, чтобы превратиться в собственно понятие, образ должен образовать устойчивые (культурно детерминированные) связи с другими универсальными

представлениями и обрести существование, не зависящее от возможных частных проявлений, стать *абстрактным*; все вместе такие взаимосвязанные абстрактные представления образуют *понятийную систему*. Выготский называл обобщенные образы, не включенные в какую-либо понятийную систему, предпонятиями.[8] Разумеется, говорить о «включении» тут следует с осторожностью, памятуя, что понятийная система формируется вместе со всеми «включенными» в нее понятиями, она развивается вместе с ними, и формально включить какую-то идею в понятийную систему нельзя — надо вырастить их единство в практической деятельности.

Предпонятия относительно независимы друг от друга, каждый образ становится самодостаточной целостностью. Подобно лексикограммам схематической речи, образы могут выстраиваться в образные ряды, аналоги речевых фраз. Однако связывание образов в образные ряды уже не вполне произвольно, оно отражает строение и взаимосвязи реальных деятельностей, организацию культуры в целом. Это придает образной речи «синтаксичность», делает ее строение подобным строению языка. Однако образы все еще слишком неопределенны, чтобы связываться устойчивым образом, — образная речь поэтому напоминает грезу, плавное перетекание одного образа в другой по прихоти обстоятельств, по внешне случайным признакам. Как и на других уровнях внутренней речи, образ объединяет разнородные компоненты, и ассоциация образов может происходить по любому из них, хотя и в рамках объективной возможности. Человек никогда не может сказать, почему один образ сменяет другой, — это его «настроение», не более.

Как и всякая внутренняя речь, образная речь — это «разговор» с самим собой. Но культурная обусловленность образов делает их ряды относительно независимыми от воли человека, поток образной речи льется как бы сам по себе. Отсюда представления о данности образов «свыше», о «внутренних голосах», об индивидуальном «гении» человека. Отсюда же попытки субъективного идеализма объявить представления человека полностью независимыми от реальности, а затем и отменить всякую реальность вообще. Оказывается, идеализм — это просто недоразвитость мышления, сведение его к внутренней речи.

По сравнению со схематической речью, образная речь еще более редуцирована и непонятна случайному наблюдателю. Выразить содержание потока образов в публичной речи практически невозможно, оно лишь частично воплощается в произведениях искусства (отсюда великое значение искусства в воспитании человека разумного). Этот уровень внутренней речи ближе к мышлению, чем к речи публичной. Зачастую трудно определить, то ли это образ мысли, то ли мышление в образах. Тем не менее, возникая из элементов схематической речи, образная речь может делать какие-то сценарии более предпочтительными, играя на уровне схематической речи роль «речевой ситуации наоборот», роль внутреннего импульса, заставляющего сценарии развертываться определенным образом. Так образная речь влияет на речевое поведение человека.

Исследование глубинных пластов внутренней речи возможно только по тем отпечаткам, которые они накладывают на деятельность человека. Мы не можем наблюдать образную речь непосредственно, любая попытка развернуть ее в публичную деятельность неизбежно оказывается опосредованной речевыми схемами. Но в экспериментальной ситуации можно ограничить набор используемых сценариев и отделить речевые автоматизмы от внутренних импульсов. Распределение откликов на стандартные воздействия дает тогда информацию о строении образной речи. Это совершенно аналогично тому, как мы изучаем квантовые системы по распределениям наблюдаемых величин в продуктах реакций (например, по спектрам излучения или поглощения).

Как и во всякой иерархии, уровни внутренней речи не изолированы друг от друга, они взаимосвязаны, и зачастую трудно сказать, где кончается один и начинается другой — одно переходит в другое. Выделение драматической, схематической и образной речи — лишь один из возможных подходов; в каких-то отношениях внутренняя речь может обнаруживать совсем

[8] Не следует смешивать таким образом определенные предпонятия с тем, что называет предпонятиями Пиаже, с представлениями о конкретных объектах. В каком-то смысле предпонятия Выготского соотносимы с пониманием предпонятий в психоанализе как «антиципации переживания» — если, конечно, избавиться от мифа об их врожденности.

другую последовательность уровней. Она многомерна — и здесь я обозначил лишь два измерения, из бесконечности возможных. Тем не менее, остается сам факт существования внутренней речи как особой человеческой деятельности, опосредующей переход от живого общения к мышлению. Речь невозможна вне языка — однако она предполагает неязыковые компоненты и развивается по своим собственным законам. Точно так же и мысль лишь отчасти выражается в формах языка, и нельзя пренебрегать ее недискурсивными компонентами. Мышление возникает вместе с языком, вырастает из него и врастает в него. Но любые преобразования в культуре, в производственной деятельности и образе жизни людей, прежде всего меняют их образ мысли — и лишь потом эти изменения закрепляются в языке. Механизмом такого перетекания одного в другое и является внутренняя речь.

Неправильные правила

В школе нас учат грамматике. Разумеется, для того, чтобы говорить на каком-то языке (тем более, своем родном), особой науки не требуется. Прежде чем поступить в школу, надо в какой-то мере владеть языком — иначе как бы мы понимали преподавателя? Точно так же, знание иностранного языка никак не связано с присвоением традиционных представлений о его структурах; более того, изучение теории зачастую мешает учиться говорить. Язык усваивается только в совместной деятельности и общении по поводу этой деятельности. Совершенно естественным образом университетские курсы иностранных языков начинают с тем, касающихся самого процесса обучения — это на данном этапе единственная совместная деятельность преподавателя и студентов. Но ограниченность рамками аудитории впоследствии становится тормозом, препятствием в изучении живого языка, и выпускники языковых вузов, как правило, не владеют по-настоящему ни одним языком, пока не пройдут школу реального общения и работы в соответствующей языковой среде. Диплом нужен лишь в качестве пропуска в эту самую среду, когда других способов проникнуть туда нет.

Однако задача школы (в том числе высшей) не в том, чтобы чему-то научить. Школа готовит не специалистов, она делает (по крайней мере, призвана делать) из разношерстного физиологического и психологического материала полноценных членов общества, способных не только участвовать в общей деятельности, но и осознавать свое место в ней и объективную необходимость тех или иных культурных форм.

Изучение грамматики вырабатывает сознательное отношение к речи. Умение не просто сказать что-либо — а еще и объяснить, почему следовало высказаться именно так. Объяснить не кому-то там — а самому себе. Иными словами, грамматика — это метод воспитания самосознания. И здесь как раз важно, что иллюстративный материал уже в наличии, что не надо предварительно осваивать нечто неведомое. Подобно тому, как философия не занимается научными изысканиями, а осмысливает уже наличествующие достижения науки, школьная грамматика не изучает язык, а показывает, как выделить в нем всеобщее и универсальное, как превратить частные явления в выражение сути.

Потом оказывается, что грамотность еще и обогащает речь — поскольку мы можем сознательно выбирать, когда следует говорить грамотно, а когда разумнее от нормы отступить, добиваясь большей выразительности. Но это вторичный эффект, главное — развитие самой способности смотреть на себя со стороны.

К сожалению, современная школа, призывая к осознанности речевого (и любого другого) поведения, не учит при этом сознательному отношению к формам своего осознания. В результате осмысленное выстраивание системы понятий превращается в унылую зубрежку, в заучивание сотен абстрактных терминов и правил. Это особенно пагубно сказывается на изучении иностранных языков, поскольку пресечение любых грамматических вольностей, запрет активного освоения языковых структур, не дает развиться языковому чутью, естественному восприятию живой речи.

Исторически изучение грамматики служило прежде всего усвоению мертвых языков, и сама грамматика становилась при этом мертвой, застывшей, догматической. Казалось, что там,

в прошлом менять? Все установлено раз и навсегда. Сегодня мы уже понимаем, что нельзя верить на слово нашим предкам и подходить к историческим фактам критически не только можно, но и нужно. Но до школы эта новость еще не дошла.

Грамматику родного языка в школах преподают не так давно — однако она успела стать основой школьного образования во многих странах Европы, да и в других частях света. Исходно главное целью была всеобщая грамотность, обучение чтению и письму — задача эта оставалась актуальной еще в начале XX века, а в каких-то странах она актуальна и по сей день. Отсюда ходячий предрассудок в преподавании, когда законы письменной речи выдаются за законы речи вообще. Язык устраняется из повседневной деятельности и служит лишь для фиксации культурных регулярностей — а следовательно, перестает быть инструментом человеческого мышления и творчества. В современных курсах иностранных языков, предназначенных исключительно для подготовки к квалификационным экзаменам, предпринимаются попытки преодолеть абстрактность преподавания, привязать лингвистический материал к конкретным деятельностям — натаскать ученика на типовые задачи. Однако грамматические сведения при этом подаются вполне традиционно, в духе академических стандартов, как вечная и непреложная истина. Доходит до смешного: уровень освоения, скажем, французской грамматики определяется по количеству пройденных глагольных форм. Но само понятие глагольной форм во французском языке весьма расплывчато и трудно сказать, что является грамматической формой, а что нет. Например, времена вроде futur prochain или passé immédiat во французском языке — это отдельные времена или речевые обороты? Если это самостоятельные грамматические формы, то почему бы не считать таковыми ходовые конструкции с глаголами *faire* и *laisser*, модальные конструкции или даже выражения вроде *en train de* + inf (аналог английской группы времен continuous). Если нет — любые составные времена (passé composé, futur antérieur и др.) под вопросом. Опять же, считать conditionnel présent и futur dans le passé разными временами — или это одно и то же? Грамматические формы их полностью совпадают — но частичное совпадение форм во французском языке не редкость, так почему бы не допустить полного?

Аналогичные проблемы и в русском языке. Например, по действующим правилам русское *буду писать* считается формой будущего времени; но совершенно такие же конструкции *был в употреблении* или *был употреблен* — это уже предикативные обороты (соответствующая грамматическая форма — *употреблялся*). На каком основании? Да просто так, по привычке…

Изучающему иностранный (или даже родной) язык трудно осознать, что грамматические категории — не обязательно связаны с синтаксисом или морфологией. Грамматика выделяет классы типовых ситуаций, речевых намерений, стандартных коммуникативных позиций. В современной лингвистике их называют функциональными полями (и грамматика при этом становится функциональной грамматикой). Например, поле количественных отношений, поле временных отношений и т. д. Внутри каждого поля возможно различение более детальных структур (например выражение единичности, множественности или совокупности в рамках поля количественных отношений, или выражение актуальных и абсолютных временных отношений в рамках временного поля). Одна и та же грамматическая категория может быть выражена различными средствами. Например, во французском языке есть как минимум четыре признанных академической традицией способа построения вопроса — а сколько иных речевых и литературных приемов! Разумеется, это характерно не только для французского языка. В русском языке во фразе: *А Вы кто будете*? — форма будущего времени не выражает грамматической категории будущего — тогда как формально настоящее время во фразе: *Ну, и что же нам предстоит*? — явно относит речевой план к будущему. Каждый может привести десятки других примеров.

Традиционно грамматику объявляют состоящей из двух разделов — морфологии (или, на модный манер, морфемики) и синтаксиса. Морфология изучает способы словообразования, синтаксис занимается описанием словосочетаний и строением предложений. За бортом оказывается сама суть грамматики — выделение языковых классов, грамматических категорий (каждая из которых, как мы знаем, может выражаться в языке многими способами). Таково печальное наследие философского позитивизма («критической» и «аналитической» философии), провозглашающего тождество формы и содержания; для позитивиста язык — то же самое, что и

способ его записи, и наука о языке сводится к анализу текстов. Но к чему тогда отнести само различение частей речи — к морфологии или к синтаксису? Различие утверждения, требования или вопроса — синтаксис или морфология? Нет уж, пусть грамматика занимается своим делом, изучением грамматических категорий — и в частности описанием способов их представления синтаксическими, морфологическими, лексическим и иными средствами конкретного языка.

Традиционное языкознание классифицирует языки по тому, насколько в образовании различных грамматических форм участвует морфология. В синтетических языках грамматические функции передаются в основном путем видоизменения слов; аналитические языки преимущественно используют словосочетания. Однако само различие морфологии и синтаксиса на практике оказывается под вопросом. Так, греческие глагольные формы с θα или να в точности повторяют другие глагольные времена — но считаются в грамматике особыми временами (аналитически образованными). В принципе, можно было бы трактовать эти частицы не как отдельные слова, а как приставки, которые пишутся отдельно лишь в силу традиции; тогда получается, что при образовании соответствующих времен слова меняют форму, и мы однозначно оказываемся в сфере морфологии. Тем более, что в греческом языке одно из времен образуется как раз при помощи приставки (с одновременным изменением окончания или даже основы): έπεσα, ήξελα и т. д. Мы знаем также, что есть системы письменности (например, арабская или китайская), в которых слова формально не отделяются друг от друга, и отличие служебных (а иногда и значимых) слов от морфем весьма условно.

Морфология (морфемика) находится в сложных отношениях со словообразованием. Казалось бы, уж тут все прозрачно: если речь идет о конструировании слов из других слов или их частей (словообразовательных элементов) — это словообразование, а если рассматриваются разные формы одного и того же слова — это морфология. Но возьмем, к примеру, турецкий язык. Традиционно выделяется особый залог возможности на *-malı*/*-meli* как грамматическая форма. Типичный морфологический прием, присоединение к основе суффикса. Но с другой стороны — есть стандартный способ образования прилагательных от существительных: *kar → karlı, süre → süreli, ölüm → ölümlü* и т. д. И есть обычный способ образования существительных от глаголов: *dolmak → dolma, gelmek → gelme, konuşturmak → konuşturma* и т. д. Если теперь образовать прилагательные от таких отглагольных существительных, получаем тот же залог возможности: *dolmalı, gelmeli, konuşturmalı*… Ну, и где тут морфология? Чистой воды словообразование.

Хитрость в том, что турецкий язык отличается развитой предикативностью. Предложение может не содержать глагола — и он даже не подразумевается, как в предикативных предложениях русского языка. Роль глагола играет имя (существительное, прилагательное, имя действия) или причастие. Само различие частей речи становится в языке относительным — часть речи, по сути дела, перестает быть грамматической категорией — есть лексические основы и показатели функций; считать их особыми словами или морфемами — совершенно безразлично (и это отражается в орфографии, когда одни и те же элементы допускается писать либо слитно с предшествующим словом, либо отдельно). Похожая картина наблюдается и в китайском языке, в котором части речи выделяются по европейской привычке, но для собственного строя языка это различение несущественно.

Примеры подобной относительности можно найти и в русском языке. Например, в художественной литературе форма существительного иногда выражает действие: *Удар! Еще удар!* В безличных предложениях, наоборот, форма глагола выражает состояние или свойство: *Морозит*. Различие словообразования и морфологии в русском языке также весьма условно: *есть → съедобный, познавать → познаваемый, ощущать → ощутимый,* — это словообразование или выражение грамматических модусов?

Полное растворение синтаксиса в морфологии и словообразовании наблюдается в так называемых полисинтетических языках; с развитием инкорпорации сами понятия морфологии и синтаксиса теряют смысл. Здесь наблюдается существенно иерархическое строение речи, когда компоненты единого языкового комплекса относятся к разным уровням. Ничего сверхъестественного в этом нет, если вспомнить, что и в европейских языках наблюдается подобная иерархизация: например, вложенные *noun groups* в английском языке (*the guy nobody knows who saw yesterday*), или субстантивация фраз во французском (*le savoir-faire, je-m'en-foutisme*).

Грамматика никак не вмещается в рамки дуэта «морфология — синтаксис». Например, важность лексического представления иллюстрируется многочисленными примерами из разных языков, когда смена грамматической функции приводит к изменению основы слова — то есть, фактически меняется не форма слова, а слово целиком! Таковы регулярные замены основы глагола в персидском языке, сложные правила образования множественного числа в арабском языке. Таковы русские чередования: *есть — будет*, *иду — шел*. Исторически возникновение таких чередований связано, скорее всего, со слиянием древних племен, с сопутствующим перемешиванием лексики разных языков. В любом случае, происходит своего рода грамматический синтез, рождение грамматической категории из ранее независимых понятий.

В довершение всего оказывается, что способы передачи в языке грамматических функций еще и эволюционируют! Так, то, что сейчас в русском языке считают формой прошедшего времени (*был*, *пошел*, *писал*) раньше было причастием прошедшего времени и употреблялось в составных временах: *аз есмь пошел* — вполне аналогично французскому passé composé. В современном французском языке на глазах упрощается система времен, часть из них вытесняется даже из письменной речи. В персидском языке становятся официально признанными составные времена разговорной речи. Китайский язык все дальше уходит от изолирующего типа, причем изменения касаются как синтаксиса, так и морфологии. И так далее, и так далее…

Конечно, в школьной грамматике излишняя глубина просто неуместна. Здесь важно получить общее представление, поймать идею, а не вдаваться в научные изыскания по специальным вопросам. Но о какой разумности грамматических знаний может идти речь, если эти знания сводятся к пустой констатации или произвольному постулированию эмпирических правил? Заучивание таблицы умножения не имеет никакого отношения к математике. Запихнуть в память классификацию биологических видов — не значит хоть краешком прикоснуться к биологии. Знать названия созвездий — это еще не астрономия. Никто не спорит, что формальные знания могут быть для чего-то полезны и жизненно необходимы. Но это всего лишь тренировка интеллекта, расширение эрудиции — до разума тут еще далеко.

Воспитание осмысленного подхода к грамматике возможно лишь в условиях творчества, воссоздания грамматического строя изучаемого языка каждым по-своему для себя. Если я умею десятком способов выразить грамматическую идею будущего времени — мне совершенно необязательно знать, как эти способы названы тем или иным теоретиком. За названиями надо видеть суть дела.

Сейчас лингвисты признают, что при изучении китайского языка следует отказаться от многих понятий, традиционных в индоевропейском языкознании. К сожалению, они пока не осознали, что и в изучении европейских языков традиционные категории далеко не всегда применимы. Тем более неправильно навязывать эти весьма условные схемы новым поколениям, с самого начала загоняя их мысль в ту же избитую колею, не ведущую никуда. Пусть каждый сам придумывает себе грамматику — быть может, она окажется точнее и ближе к реальности, чем любые академические реконструкции.

Мне возражают: не всем же становиться лингвистами, и есть те, кому заниматься этим совсем не интересно. А заниматься зубрежкой — интересно всем? Быть может, интерес к изучению языков у многих напрочь отбивается именно тупостью формального преподавания. Даже если кому-то не пригодятся выработанные в школе представления о строении языка — они лягут в основу способности разумного мышления как таковой. Не все будут лингвистами. Но хотелось бы, чтобы людьми становились все.

Точнее сказать…

Когда наука вызревала в самостоятельное общественное явление, избавляясь от остатков натурфилософии, во главе «освободительного движения» стояли естествознание и математика, которые и прибрали впоследствии область научности к своим владениям, объявив формальное знание эталоном научности как таковой. Наука обязана быть «строгой», она должна давать единственно верный ответ на любой вопрос, и ответы эти в конечном итоге выстраиваются в

единую теорию всего сущего, способную удовлетворить человеческое любопытство раз и навсегда. Не столь продвинутые в деле раскладывания по полочкам, гуманитарные науки чувствуют себя бедными родственниками, неполноценными подобиями или, в лучшем случае, полуфабрикатами; вот и стараются они всячески утвердить свою научность, рабски подражая «старшим товарищам» — нагромождая формальности по делу и без дела, копируя термины и схемы, перенимая закостеневшие стандарты — бравируя нарочитым наукообразием. Время от времени кто-то пытается объявить гуманитарное знание самоценным и не менее значимым, чем «точная» наука, — и даже, может быть, высшей формой знания… Но подобные бунтарские выходки серьезные дяди воспринимают как пустое ребячество, детскую болезнь, от которой когда-то придется вылечиться — или умереть.

Фонология уже почти готова вылечиться — или умереть?

Атрибуты естественнонаучности налицо: изощренные экспериментальные методики дают сколь угодно количественные результаты, эмпирические закономерности подвергаются формальной обработке и превращаются в абстрактные схемы, аналитические и трансформационные модели, статистические и динамические теории — конечно же, в русле последней математической моды. Наконец, успехи компьютерного распознавания и синтеза речи со всей очевидностью подтверждают правильность выбранного направления. Практика — она, как известно, всему голова.

Достижения современной фонологии исходят из фундаментального представления о различии внутреннего и внешнего, о преобразованиях одного в другое в процессе восприятия и порождения речи. Да, конечно, язык есть существенно социальное образование, и для его возникновения необходимы как минимум два субъекта. Но сами эти субъекты — обладают вполне определенной физиологией, а физиология — наука точная, это не какие-нибудь там разглагольствования о душе или самосущих идеях. В конечном итоге речь — это работа артикуляторных органов, управляемая сигналами из совершенно реальных мозговых структур; языковые способности можно увязать со строением соответствующих корковых центров, а образ мира — не более чем паттерн активации в нейронных сетях. Единство физиологии проявляется в единстве фонологических явлений у самых разных людей, в том числе и у представителей разных языковых культур. Таким образом, фонологическое знание должно привести нас к единой теории речевого акта, на основе которой появятся частные модели, учитывающие специфику конкретной языковой среды. В пределах этой среды поведение людей достаточно однородно и может быть качественно и количественно описано, а затем и воспроизведено в правильно поставленном эксперименте или в компьютерных технологиях.

С такой высоконаучной точки зрения любые индивидуальные особенности трактуются либо как случайные отклонения от стандарта, либо как нейропсихическая патология. В первом случае требуется дополнительное обучение, во втором — придется лечить.

Простой пример: опечатки и описки. Допустим, для меня типична ненамеренная перестановка букв внутри слова; чаще всего две соседние буквы меняются местами — но иногда слово превращается в полную мешанину. Тем не менее, в контексте такие опечатки не вызывают особых проблем и понимаются читателем на интуитивном уровне; их сложно заметить в типичной ситуации, когда воспринимается преимущественно содержание текста, а не его оформление. Сегодня тексты готовят при помощи продвинутых компьютерных средств — и неправильности автоматически вылавливаются на стадии набора; однако приходится время от времени возвращаться к уже напечатанному, чтобы исправить плоды физиологического творчества. А если проверка правописания по каким-либо причинам отключена (или слово с переставленными буквами присутствует в машинном словаре) — извольте получить полный комплект девиантности.

Допустим, что опечатки связаны исключительно с недостаточным навыком работы с клавиатурой. Для коррекции есть методики обучения машинописи, вбивающие в пальцы рефлекторную правильность и гарантирующие чуть ли не стопроцентно точный набор. Конечно, при условии, что я пользуюсь стандартной клавиатурой и достаточно сведущ в орфографии используемых языков. Но в итоге опять возникает вопрос: а почему сходные отклонения возникают при работе с разными клавиатурами, с разными языками, и самое главное — почему

такие же перестановки возникают на письме, когда, казалось бы, невозможно нажать не ту клавишу? Более того, иногда перестановки возникают и в речи, и тут уже искажается звучание слова, а не только его графический эквивалент.

Научный ответ — подозрение в нарушении каких-то мозговых функций, отвечающих за выстраивание фонологического комплекса для передачи языкового намерения. Какая-то из многоразличных разновидностей афазии. В более тяжелой форме — это уже невроз, и обо мне многое могли бы поведать господа-психоаналитики. А нормальный человек — говорит и пишет нормально, в законопослушном соответствии с правилами трансформации, установленными высокой фонологической наукой.

Ладно, пусть. Будем последовательны в своем маленьком сумасшествии и зададимся вопросом: а что если перестановки букв говорят о наличии каких-то особых способов перехода от «языкового намерения» к его внешнему выражению? От потребности что-то сказать до реального высказывания — долгий путь. На каком-то этапе внутренняя речь превращается во внутреннюю фонацию, которая, по науке, должна в норме порождать внешнее звучание (или его графический аналог). Но допустим, что этап внутренней фонации все больше редуцируется, и вместо последовательности фонем есть предположительно более глубокая структура, содержащая все фонемы «в снятом виде», единовременно, как возможность, а не как действительность. Существованию подобной структуры способствует и двойственная природа языковых форм, когда каждое слово (и любая иная структурная единица) есть одновременно и фонологический, и морфологический комплекс, и одно не всегда прямолинейно связано с другим, учитывая неизбежную нефонологичность сколько-нибудь развитой письменности. А стало быть, порождение внешней (устной или письменной) речи возможно «через голову» внутренней фонации, прямо от синкретичных фонологических комплексов к их внешнему (фонологическому или буквенному) представлению. В этом случае совершенно естественно, что порядок знаков не имеет значения, важен состав набор и его место в контексте. И тогда мои орфоэпические ненормальности магически превращаются в совершенно нормальное выражение определенного стиля мышления, характеризующегося высокой степенью обобщенности. Соответственно, они не вызывают раздражения у читателя, обладающего сходным уровнем обобщенности восприятия. И относиться ко мне надо не со снисходительным терпением, а с интересом и уважением — ибо, изучая подобные опечатки у разных индивидуумов, наука могла бы немало узнать о внутреннем представлении языковых структур.

Вот тут мы еще раз поспорим со строгой наукой и зададимся подозрением: а что если само стремление выявить какие-то универсальные внутренние структуры в корне порочно, и не отражает реально происходящего в речевом поведении? Или, по крайней мере, отражает неполно, в ограниченной области явлений. Типичные для меня модели «трансформации» могут быть абсолютно нетипичными для кого-то еще. И наоборот, чьи-то языковые привычки для меня совершенно неприемлемы — и кажутся по меньшей мере странными. Почему не допустить вариативность внутренних представлений одного и того же языкового образования у разных носителей языка, у разных социальных групп? Если я вижу розу — и стоящий рядом милиционер тоже видит эту же самую розу, — из этого вовсе не следует, что в наших мозгах возбуждаются те же нейроны в той же последовательности. При той же температуре и давлении воздуха допустимы самые разные комбинации положений и скоростей составляющих его молекул. Понятие «одно и то же» предполагает бесчисленность вариантов и форм. Какого цвета снег? Только очень примитивные люди скажут: белый. Ибо цвет снега зависит от очень и очень многих обстоятельств — вплоть до того, задался я вопросом о его цвете или нет.

Разумеется, наука может выйти из положения, рассматривая классы структур, а не единичные структуры. Да, придется попотеть, переосмысливая правила трансформации в терминах классов. Но наука с этим, конечно же, справится. Однако, если по-честному, сама необходимость подобных упражнений обнажает реальную суть научной строгости, которая, оказывается, существенно связана с ограниченностью наших представлений — и чем точнее наука, тем менее она верна. Всеобщие теории неприложимы вообще ни к чему. Мощь подлинной науки — в умении приспособить любую абстракцию к данной предметной области, пожертвовать «строгостью» ради научной достоверности и практической пользы.

Возвращаясь к вариативности фонологических процессов, заметим, что даже у одного и того же носителя языка внутренние механизмы речевого слуха и речепорождения могут сильно зависеть от текущей деятельности — и, следовательно, от структуры мотивации. Например, если я занимаюсь каллиграфией — или рисую поздравительную открытку — вероятность опечаток сводится к нулю (в пределах моей естественной грамотности). Здесь стадия сериализации фонологических комплексов никак не может быть пропущена. Аналогично, в устной речи, оговорки практически исключены в декламации стихов и в пении (опять же, учитывая степень владения тем или иным языком). Напротив, в условиях общения по поводу чего-то хорошо знакомого собеседникам редуцируется вообще все, что угодно, — и внешняя речь членов группы как бы становится внутренней речью группы как коллективного субъекта. Тем самым оказывается возможным наблюдение скрытых речевых процессов в их овнешненной форме, которая, конечно, неизбежно отличается от соответствующих индивидуальных вариантов, однако (как и любое общественное явление) представляет нечто общее им всем.

Любая наука, по сути дела, отражает регулярности в совместной деятельности людей. И это совершенно не зависит от степени «точности» или «строгости». Одно и то же знание может быть выражено в бесконечности различных форм. Отсюда сложная организация самой науки и ее эволюция по мере овладения все новыми способами бытия. Конечно, приятно на какое-то время почувствовать себя всеведущим и всемогущим — и мы строим очередную теорию всего. Но когда теория, наконец, достигает совершенства — новые находки заставляют пересмотреть фундаментальность казалось бы незыблемых принципов и начать поиски чего-то более общего, что тоже неминуемо превратится в банальную частность десяток поколений спустя. И это правильно. Возможно, лично мне оно не дает глубокого удовлетворения, — но так устроен мир. А для того и существует наука, чтобы устройство этого мира познать. Не так ли?

Платон и Коперник. Что познается в сравнении?

Человек не может познать себя, думая о себе. Как бы ни пытались любители интроспекции замазать этот простой факт, заверяя философски невинного обывателя в непосредственной данности нам наших ощущений и мыслей, — любая попытка мыслить *нечто* сразу же отделяет это нечто от того, кто мыслит, делает внешним по отношению к нему. Мысль о чем-то — совсем не то же самое, что мысль об этой мысли. Ощущение ощущения — дело совершенно невозможное, ибо ощущение по сути своей нерефлексивно, и о наличии у нас такой способности мы судим косвенным образом, по опыту ощущения внешних вещей. Таким образом, всякий акт познания направлен на освоение окружающего нас мира — и только став частью этого мира мы можем сделать объектом познания себя.

Лингвистика не исключение. Первые шаги языкознания связаны с изучением чужих языков, с описанием того, как говорят (или говорили) другие. Поначалу, конечно же, речь шла о языках ближайших соседей — как правило, близкородственных, о диалектах. Различия преимущественно лексического порядка не требовали осознания языковых форм — а усвоение живого языка происходило сугубо практически. Так дети в многоязыковой среде не осознают этой многоязычности — они осваивают несколько языков сразу, и им кажется, что все это разные стороны одного языка. Однако столкновение с качественно иными наречиями побуждает человека обратить внимание на строение чужого языка и в процессе обучения стихийно вырастают представления о языковых формах вообще. Пока речь идет о понимании живой речи, такие представления могут бытовать в неявном виде, как типовые практические приемы. Но около четырех тысяч лет назад у народов Междуречья возникает потребность в изучении мертвого шумерского языка, который долгое время служил языком международного общения и языком официальных документов. И тут возникает необходимость как-то зафиксировать лингвистические знания, поскольку народа, который мог бы передать их в устной традиции, уже нет. Древняя шумерская клинопись обогащается особыми знаками для обозначения морфем, порядок записи приводится в соответствие с порядком чтения… Но для древних языковые различия все еще не вырастали в различие языков — разные языки оставались фрагментами

единого, синкретического языкового опыта. В результате шумерский язык все больше приобретал черты аккадского и его диалектов — а тем самым знания о строении мертвого языка оказались также и знаниями о строении языков живых.

Аналогичные процессы происходили и в других частях света, в другой языковой среде. По письменным источникам мы в основном знакомы с уже достаточно выраженным сознанием собственной языковой способности; древнейшие «теории» языка начинают с фиксации самого различия вещей и их словесных обозначений — и каждая новая лингвистическая школа, по сути дела, воспроизводит этот ранний этап, вводя дополнительные уровни такого различения. Языкознание начинает развиваться рефлексивно, в пределах одного языка; для античного исследователя, начиная с Аристотеля, строение языка есть нечто, внутренне присущее этому языку, и сопоставление с другими языками просто неуместно. Однако последующие века принесли великое переселение народов, эпоху арабской и тюркской экспансии, эпоху великих географических открытий… Единая средневековая культура распадается на десятки национальных культур, каждая со своим собственным набором местных диалектов. Волей-неволей пришлось интересоваться и особенностями иностранных языков, и языковыми представлениями других народов. Так возникает сравнительное языкознание, компаративистика. Возникает на уже упрочившимся фундаменте лингвистической интроспекции, как стойкая тенденция всех мерить по себе, знания о своем языке переносить на другие.

И тут вдруг обнаруживаются поразительные закономерности: оказывается, многие слова одного языка можно формально преобразовать в слова другого со сходным значением по достаточно регулярным правилам, применяя стандартную подстановку фонем. Точно так же, наблюдаются глобальные соответствия в морфологии и словообразовании разных языков, в их синтаксической основе.

Поначалу такие соответствия воспринимались как анекдотические казусы, и до сих пор в популярной литературе любят подпустить при случае пару-тройку примеров позвончее. Постепенно количество перешло в качество — и появились наукообразные теории далеко не популярного свойства, и затрещали копья в литературно-академической полемике, правила становились все сложнее и запутанней, обрастали правильными исключениями — чтобы в конечном счете свести все многообразие живых языков к одному мертвому, который, якобы, и был тем идеальным первоначалом, из которого выросли все современные и не очень современные варианты. Идея эта вскоре стала чем-то само собой разумеющимся, эдаким общим местом, — и многие солидные лексиконы на полном серьезе снабжают многие статьи указаниями на «индоевропейские» прототипы соответствующих слов. Что уж говорить о специальных этимологических словарях! Выглядит — со стороны — все очень солидно, прочно, незыблемо…

Но в науке никакие авторитеты не вечны. Всегда найдется ненормальный, который (в силу недостаточной образованности или слабости рассудка) не способен воспринимать то, что другим ясно как божий день. И начинает такой недоумок задавать странные вопросы — или того хуже, придумывать на них ответы. Сначала его и слушать никто не хочет; потом начинают сильно ругать и тыкать носом в его же невежество; потом оказывается, что неправильное мнение уже на слуху, и публика от него не шарахается. И даже настолько не шарахается, что начинает считать правильным. Ну, где тогда прежние красивые солидности? Вот так и происходят научные революции.

Разумеется, без практической надобности и таракан не чихнет. За любыми идейными переворотами стоит неуклонное развитие производительных сил, и вытекающие из них производственные отношения, и настраивающиеся над ними отношения непроизводственные, и определенные этим структуры рефлективной деятельности… Но мы пока вдаваться в основы не будем — а просто зададим пару глупых вопросов современной компаративистике.

Впрочем, надо еще исхитриться их задать. Перекапывать компостные кучи специальной литературы — дело бесперспективное. Никакой жизни не хватит. Сколько-нибудь добросовестных обзоров состояния дел — почти нет. Очень кстати, появилась превосходная книга Освальда Семереньи *Введение в сравнительное языкознание* (М.: Прогресс, 1980). Дебри компаративистики изображены простым и понятным языком, и можно одним взглядом охватить

то целое, которое другие искусно прячут за утрированным наукообразием. Отсюда и будем плясать.

Итак, есть общепринятое мнение, что по крайней мере языки индоевропейской семьи ведут происхождение от некоего общего праязыка, на котором говорил некий первобытный народ — и по мере распада единого племени на множество народностей из первобытного языка возникли разные наречия, впоследствии превратившиеся в различные древние языки, из которых потом произошли языки современные. Аналогично «реконструируется» гипотетическая алтайская семья, которую тюрки склонны объединять с угро-финской. Предпринимаются попытки повязать индоевропейцев с алтайцами, а также их вместе с палеоазиатами и другими народностями (так называемая «ностратическая» макросемья и ее расширения).

Считается, что идею индоевропейского языка в XVIII веке выразил во всей ее откровенности англичанин William Johns. Поначалу он пытался объявить одной народностью арабов, персов и древних греков на основании сходства в способах стихосложения — однако потом, после назначения в 1783 году на хорошую должность в Калькутте, увлекся индийскими наречиями — и поведал европейцам о санскрите, который «более совершенен, чем греческий язык, более богат, чем латинский, и более изыскан, чем каждый из них, и в то же время он носит столь близкое сходство с этими двумя языками, как в корнях глаголов, так и в грамматических формах, что оно вряд ли может быть случайностью; это сходство так велико, что ни один филолог, который занялся бы исследованием этих языков, не смог бы не поверить тому, что они произошли из общего источника, которого уже не существует». С тех пор компаративисты неуклонно следуют по стопам великого предшественника, искренне полагая, что без знания санскрита лингвист останется ущербным недоучкой, о невежестве которого можно лишь искренне сожалеть.

Но у людей не слишком образованных то и дело возникают сомнения. Логически, вывод о наличии единого предка у разных языков из их сходства (пусть даже весьма обширного) никак не следует. Тем более, считать, что санскрит стоит ближе к этому «первоязыку», чем другие языки, — оснований никаких. Наконец, с самим санскритом ситуация далеко не так прозрачна, как это нам хотят преподнести. Любители «новой хронологии», например, считают санскрит изобретением мистера Джонса и полагают, что большинство «классических» текстов (начиная с «Бхагавадгиты») — грандиозная мистификация. Это, конечно, крайность — поскольку европейцы начали знакомиться с санскритом гораздо раньше, с середины XVI века. За двести лет до Джонса итальянец Сассетти отмечал сходство санскрита с европейскими языками. В XVII веке появляются подробные описания грамматики санскрита и его письменности, составлены первые словари. Наконец, в XVIII веке Джонсу предшествовали описания Керду и Ханксследена. Все это, правда, оставалось в рукописях, а первая печатная грамматика санскрита появилась (независимо от сведений Джонса) лишь в 1790 году.

Расцвет санскритологии и индоевропейских изысканий в конце XVIII — начале XIX века не случаен. Набирала обороты промышленная революция, капитализм утверждал свое мировое господство, проникал во все сферы жизни, во все культурные слои. Торжество класса-победителя выражалось, в частности, в универсализме классической немецкой философии, а становление и культурное обособление современной науки создавало впечатление строительства грандиозной системы знания, единым образом упорядочивающей человеческие представления о мире. Активная колонизация Азии, Африки и Америки, подчинение их европейскому капиталу, вызвали к жизни идейные течения, оправдывающие колониальный грабеж «естественным» превосходством европейской культуры — и в культуре покоренных народов прежде всего выделялись черты, позволяющие такое сравнение осуществить. Внимание обращали на сходство, а не на различия, — и европейцы объявлялись завершителями дела, начатого в доисторической древности, выразителями всеобщих идей и носителями общечеловеческих ценностей.

Публикация переводов классической литературы Востока, знакомство с предметами материальной культуры, — все это вызывало волну стилизаций и подражаний, ориентализм стал модой в искусстве и ходячей темой светских салонов. Появление подробной грамматики Уилкинса (1808) сделало изучение санскрита доступным широкому кругу любителей, и многие

ученые, философы, общественные деятели щеголяли своим знакомством с модной новинкой. Хотя основные документы поначалу оставались в руках англичан, вытеснивших другие страны из их бывших восточных владений, в идейном плане главными проводниками индоевропейской филологии были немцы. Авторитет Гете, Шлегеля, братьев Гумбольдт, — а впоследствии увлечение Шопенгауэром и позитивизмом Венского кружка, — так мир проникался теорией общих индоевропейских предков. У немцев, к тому же, был непосредственно в руках еще один козырь — четвертый (наряду с латынью, древнегреческим и санскритом) столп европейского компаративизма — готский язык. Немцы активно собирали первоисточники — в частности, незадолго до первой мировой войны они предприняли ряд экспедиций вглубь Азии и вывезли в Германию несколько ящиков древних текстов, в том числе на санскрите. Санскрит стал явлением мировой культуры — а его роль в современной компаративистике огромна, хотя и трудно с достоверностью сказать, какова именно.

Как ни странно, о происхождении и природе санскрита сегодня известно столь же мало, как и во времена Джонса. Индология вообще сталкивается с громадными трудностями идеологического характера — здесь переплетаются самые противоречивые мнения и интересы. Местные исследователи находятся под влиянием различных религиозных течений и горят желанием подчеркнуть исторические приоритеты — поэтому они склонны относить предположения и факты к более ранней исторической эпохе, чем это можно было бы допустить по археологическим свидетельствам. А поскольку объективных данных пока не так много, сохраняется свобода интерпретаций, опора на позднейшие комментарии, откровенно зависящие от «партийной принадлежности» их авторов.

Не лучше обстоит дело и с европейскими изысканиями. Изначальная установка на поиск сходства и родства в значительной мере повлияла на отбор материалов и их интерпретацию. Европейские колонизаторы опирались на верхушку местного духовенства — и стремились «научно» доказать необходимость сословного расслоения и превосходство европейцев. В самой Европе, после спада волны революций, усиливались мистические тенденции в идеологии, — на основе искусственно подобранных восточных (а иногда и заново сочиненных, но изобилующих ссылками на якобы древних «мудрецов» и якобы «тайные» учения) текстов возникли многочисленные религиозные секты, часть которых распространила свое влияние и на Восток. Эти новые религии создали массовую литературу, как бы трактующую вопросы традиционных верований, — и отличить подлинник от подделки бывает очень нелегко, поскольку основную массу сведений приходится черпать не из объективно датированных источников, а из комментариев. Многие европейцы приезжают в Индию под влиянием этой псевдокультуры, они ищут подтверждения культовых ожиданий, а не исторической достоверности.

По современным представлениям, санскрит пришел на смену языку вед (западная ветвь арийских диалектов), через промежуточную форму эпического санскрита (восточного происхождения). В качестве точки отсчета принимается сочинение Панини (*Аштадхьяи*, или *Восьмикнижие*). Предполагается, что Панини дал сводку некоего еще живого языка, который позже ушел из разговорного обихода в литературу, потом превратился в язык светской и религиозной элиты, а к XII веку практически вышел из обихода, подобно умиранию латыни и древнегреческого языка в Европе. То, что называют санскритом теперь, — это некий восстановленный вариант, возвращенный из небытия стараниями колониальных властей в союзе с верхушкой духовенства.

Лично я так и не смог обнаружить в литературе не то, что сколько-нибудь вразумительный источниковедческий анализ сочинения Панини; даже простого списка доступных источников — и того нет. Не исключая, что такие данные все же существуют и лишь глубоко зарыты где-то в узкоспециальных публикациях, я склонен полагать, что трактат известен сугубо по современным пересказам; делать из такого материала далеко идущие выводы было бы нелепо. Тем более абсурдны столь часто встречающиеся утверждения, что исходный текст Восьмикнижия дошел до нас в девственной чистоте, не претерпев ни малейших изменений. Попытки модернизации и упрощения грамматики санскрита исторически известны (Чандрагомин, Джайнендра, Шакатаяна и др.). Скорее всего, подлинный текст Панини (если он действительно существовал) подвергался в дальнейшем многочисленным «доработкам» в рамках «грамматической» школы

(не исключается также вмешательство современных интерпретаторов), и нам еще предстоит кропотливый критический анализ, серьезная работа по разделению различных временных пластов. Даже имя автора может, в принципе, быть понято как нарицательное; существование исторического персонажа Панини пока принимается с изрядной долей условности, подобно тому, как имя Гомера условно приписывается эпическим текстам, формировавшимся на протяжении нескольких веков.

Ссылки на то, что древние списки каких-либо текстов утрачены в силу нестойкости материала или религиозной традиции опираться исключительно на звучание, отвергающей любые попытки записи как покушение на святость, вряд ли можно признать основательными. В конце концов, какие-то письмена до нас все же дошли — начиная с III века до н. э. (плюс нерасшифрованные тексты намного более ранней эпохи). Не исключено, что многие памятники древнеиндийской культуры были записаны и многократно переписывались — это вовсе не противоречит традиции устной передачи от учителя ученику. Более того, есть предположения, что презрение к письменности превратилось в культ уже в послеклассическую эпоху; возможно, подлинники многих классических произведений были намеренно уничтожены.

В любом случае, как при письменной, так и при устной передаче возможны (и неизбежны) искажения, случайные и намеренные модификации. Никакие чудеса мнемотехники и никакой контроль начальства — не спасут. Объективно, передача из уст в уста менее надежна. За тысячу лет сохранить произношение мертвого языка — задача утопическая. По свидетельствам современников, в жреческих школах преобладала тупая зубрежка, ученики не понимали того, что они заучивают — к изучению собственно языка допускались лишь избранные. В таких условиях вероятность ошибок весьма велика. А учитывая, что в устной традиции действовало правило «учитель всегда прав», с дополнением, что все узнанное со стороны — это не знание, любые оговорки (или намеренные модификации) немедленно тиражировались в учениках, многократно усиливая разрушительный эффект.

Предположительно, Восьмикнижие датируется V веком до н. э. Индийские лингвисты, как обычно, склонны относить его к более далекому прошлому, а с точки зрения религии, время создания вообще к делу не относится, ибо божественного происхождения тексты вечны и неизменны, они всегда были и будут всегда. За отсутствием других свидетельств, датировка основана в основном на анализе текста трактата (лексика, стиль, упоминание тех или иных реалий) — и здесь пестрота мнений вполне может отражать историчность самого текста, наслоение разных эпох. Например, спорят о комментариях Яски к ведическим текстам — и по архаике стиля большинство исследователей считает Яску предшественником Панини; однако некоторые обращают внимание на фрагменты, вроде бы свидетельствующие о знакомстве Яски с системой Панини, — и тогда следует датировать комментарии временем сразу после создания Восьмикнижия. Однако почему не допустить, что Яска был одним из многих авторов трактата, приписываемого Панини? Противоречие снимается само собой, поскольку Яска мог жить до формирования известного нам текста Восьмикнижия — но при этом знать какие-то его элементы (которые от Яски там и появились). С другой стороны, архаический стиль Яски мог быть связан с архаичностью самого предмета исследования — и для достоверной датировки его комментариев нужны более веские основания.

Кстати о древностях. Любители санскрита не преминут подчеркнуть стилистические особенности трактата Панини — при этом с восторгом вспоминают о нотации Бэкуса-Наура в теории и практике компьютерных языков. Дескать, Панини предвосхитил. А предвосхищать-то было, по факту, совершенно нечего. Формы Бэкуса-Наура — частный случай рекурсивного определения, которое в математике встречается с самых первых ее шагов. Да что там в математике! Любая родословная — это рекурсивное определение рода. А уж выписывать родословные наши предки любили и предавались этому занятию со всей серьезностью на протяжении многих тысячелетий. Любой эпос кишит генеалогическими перечнями, на этом же стоит мифологическая космогония. Так что Панини было, с кого делать жизнь. И то, что в XXI веке превозносят как супермодерн, — на самом деле как раз свидетельство глубокой архаики.

Говорят, Панини дал сводку так называемого «классического» санскрита. Однако по сути дела «классичность» и определяется соответствием правилам Панини. Вовсе не факт, что трактат

Панини когда-либо описывал устройство хотя бы одного живого языка. В самом трактате подчеркивается отличие от языка Вед — но и этот язык был, скорее всего, не единым и неделимым, а представлял собой компиляцию многих диалектов, которые в общем контексте притирались друг к другу и подвергались взаимной ассимиляции. С другой стороны, уже первые комментаторы Панини (как, например, Патанджали во II в. до н. э.) сетуют на недостаточную чистоту санскрита, его насыщенность элементами этнических языков («пракрит»). Получается, что не было классического санскрита до Панини, и не стало сразу же после. Каков логический вывод?

Все становится на свои места, если считать, что первичны как раз эти ненавистные жрецам «пракриты», что они были до Панини и остались после, а трактат Панини — не описание некоего богоданного языка, а всего лишь сумма накопленных языковедческих знаний, формулировка лингвистической системы, обобщающей языковую практику того времени. Да, это не похоже на современный научный текст, — а как могло быть иначе? Архаическое мышление опирается на наглядность, абстрактные категории — изобретение ушлых потомков. Совершенно естественно, что общие законы строения языка в донаучную эпоху подаются как пример идеального языка, строго следующего предписанным правилам. Разве в Европе было иначе? Пожалуйста, классический пример — *Утопия* Томаса Мора, изложение представлений о принципах правильного общественного устройства в форме живой картины никогда не существовавшего государства. А за две тысячи лет до того (как раз во времена Панини) грек Платон описывал точно так же придуманную Атлантиду — и наивные чудаки до сих пор ищут ее следы… Похоже, что санскрит — своего рода лингвистическая Атлантида, следы которой при некоторой предрасположенности можно обнаружить в древних текстах на самых разных языках.

Тут, впрочем, следует сделать поправку на классовые реалии древней (а отчасти и современной) Индии. Религиозная и светская верхушка древнеиндийского общества ухватилась за новый «идеальный» язык как выражение классового превосходства, свидетельство собственной «избранности». Санскрит искусственно противопоставляется народной речи, пракритам — его задача нести идею вечного господства «высших» каст. Начинается вековая борьба за внедрение искусственного языка в церемониальную сферу, в обиход «благородных» сословий. Разумеется, затея с самого начала обречена на провал — господа по жизни все-таки говорили на языке своего народа, и «портили» классический санскрит вкраплениями «низменной», живой речи. И все же в течение долгого времени культура пропитывалась духом санскрита, а народные таланты проявляли себя и в рафинированной литературе для избранных. Наречия новой Индии безусловно вобрали в себя опыт санскрита — хотя за несколько столетий до прихода европейцев об этом мертвом языке мало кто помнил.

Есть другие подобные примеры? Да сколько угодно. Латынь как официальный язык церкви живет в католической Европе до сих пор. В средние века знание латыни было обязательным для феодальной верхушки — в качестве знака отличия от смердов, говоривших на «вульгарных» наречиях. И точно так же феодалам эта наука давалась с трудом, они в большинстве случаев предпочитали народный язык. Заодно можно вспомнить и об офранцуженной русской знати XIX века, перемежавшей российский мат с французскими идиомами. Византийская церковь, по ходу экспансии вглубь славянских земель, совершенно прямолинейно использовала опыт западных коллег. Конечно, у славян не было за плечами столетий знакомства с римской культурой, да и греческую культуру они, как правило, принимали исключительно в виде знаков денежного достоинства. Поэтому единый язык для церемониальной сферы славянам просто придумали на основе компиляции черт реальных диалектов — чем не санскрит? Возможно, что это внутреннее, логическое сходство питает современные попытки породнить древних славян и индусов, хотя бы на уровне языка. Крупный идеологический проект под названием «церковнославянский язык» продержался почти полторы тысячи лет, и лишь в начале XIX века светская литература от него отказалась, хотя отдельные рудименты кое-где сохранились и по сей день.

Еще примеры? Сколько угодно. Когда норманны установили свое господство в землях англосаксов, северофранцузский диалект стал отличительным знаком принадлежности к правящим кругам. Подобно санскриту, этот язык растворился в массиве народного говора — но и сам этот говор решительно преобразился под воздействием офранцуженной «культурной»

речи. Вспомним также о роли фарси в сфере влияния средневековой Персии, о роли литературного арабского языка как общего знаменателя для многочисленных национальных версий. Аналогичные явления известны в странах восточной и южной Африки. Таковы и судьбы китайского языка в средневековой Японии. Разумеется, когда в качестве «главного» выбирается язык экономически и политически господствующего этноса — это история лингвистически банальная, — не так интересно, как создание искусственного языка на основе чистой теории. Но по сути, по формам своего бытования и направлениям развития, естественные языковые «доминанты» мало чем отличаются от своих искусственных коллег. Отсюда, в частности, и упорное стремление видеть в санскрите остатки реального, живого языка. И отсюда же нежные чувства к санскриту у нынешних компаративистов, «реконструирующих» индоевропейскую древность, совершенно в духе Панини, или Кирилла с Мефодием.

Вот и давайте, после долгих блужданий за Гималаями, вернемся к книге О. Семереньи.

Совершенно честно, ничего не скрывая и не приукрашивая, Семереньи показывает, из чего складывалась теория «великого объединения» в лингвистике — и эта история нам до боли знакома по столь популярным теперь откровениям физиков. Кто знает, возможно, эти параллели продолжатся и дальше, и развязка их ждет одна. Нам же пока важен лишь факт борьбы идей, в которой любые на первый взгляд привлекательные теории эволюции языков из единого корня в свете новых данных оказываются недостаточно обоснованными, и уж никак не универсальными. О чем это может говорить? Компаративисты предпочитают верить, что все дело лишь в недостаточности наших знаний, и со временем все, в конце концов, устаканится. Но вполне может оказаться, что ненадежность имеющихся объяснений имеет куда более фундаментальные причины, и неплохо бы поискать иных направлений развития. Была, например, в физике теория, согласно которой Солнце и планеты вращались вокруг Земли по круговым орбитам — и очень все выглядело стройно да логично. И на опыте, в общем-то, подтверждалось — только почему-то орбиты после каждого уточнения измерений вылезали за рамки допустимого, и приходилось вечно изобретать все новые трюки, чтобы расчеты с наблюдениями свести. А потом появился странный человек Коперник… Вроде бы, поп — а пошел против церкви и закрутил Землю вокруг Солнца, вместе с остальными планетами. И оказалось это куда естественней, и наука из этого курьезного перевертыша, из, казалось бы, чисто математического фокуса, выросла преграндиознейшая…

Однако лингвистическая наука, похоже, в коперниканские времена пока не торопится, ей вполне уютно под крылышками Платона с Панини. И действительно, на с. 23 Семереньи формулирует основную задачу сравнительного языкознания (изучение древних, доисторических связей разных языков):

> Сначала путем сравнительного изучения восстанавливается, реконструируется гипотетический язык-основа; когда же язык-основа, насколько это возможно, реконструирован, возникает следующая задача — показать, каким образом отдельные языки развились из праязыка в процессе длившейся столетия или даже тысячелетия эволюции.

И тут же открытым текстом о своем античном родстве:

> Сходство этой двоякой задачи с любимой идеей Платона очевидно. В своем трактате «Государство», в хорошо известном параграфе о разделенной линии (509 d-), Платон стремится показать, как исследователь истины, «продвигаясь к ничем не обусловленному, приходит к истинным началам всего и, лишь постигнув их, … вновь нисходит». Так и для компаративиста отдельные языки — это «подставки, как бы ступени и опоры для движения вверх», с помощью которых он поднимается к началу всего, а затем, познав это начало, он уже способен понять и объяснить специфику отдельных языков.

Другими словами: сначала восходим от явлений к чистой идее, а потом показываем, как она выражает себя в реальных вещах. Сам по себе такой подход не содержит никакой крамолы. Все зависит от того, как мы понимаем абстрактные идеи. Если, следуя Платону, придавать им самостоятельное существование (как лингвисты считают реконструированный «праязык» реально существовавшим предком нынешних языков) — это идеализм. Если же полагать, что наши абстракции лишь выражают какие-то общие закономерности реального мира, что мы

вырабатываем их в живом опыте, а затем восхождение от абстрактного к конкретному одевает категориальный скелет плотью человеческой деятельности — это марксизм. И приведенную Семереньи цитату из Платона вполне можно было бы считать выражением логического метода Маркса.

Сразу закрадывается подозрение: что-то тут не так. Не похож Платон на Маркса, как ни крути. Идем по указанному адресу в книгу *Государство* и на отметке 509 d читаем:

> Для сравнения возьми линию, разделенную на два неравных отрезка. Каждый такой отрезок, то есть область зримого и область умопостигаемого, раздели опять таким же путем, причем область зримого ты разделишь по признаку большей или меньшей отчетливости. Тогда один из получившихся там отрезков будет содержать образы. Я называю так прежде всего тени, затем отражения в воде и в плотных, гладких и глянцевитых предметах — одним словом, все подобное этому. В другой раздел, сходный с этим, ты поместишь находящиеся вокруг нас живые существа, все виды растений, а также все то, что изготовляется. И разве не согласишься ты признать такое разделение в отношении подлинности и неподлинности: как то, что мы мним, относится к тому, что мы действительно знаем, так подобное относится к уподобляемому. Рассмотри в свою очередь и разделение области умопостигаемого — по какому признаку надо будет ее делить. Один раздел умопостигаемого душа вынуждена искать на основании предпосылок, пользуясь образами из получившихся у нас тогда отрезков и устремляясь поэтому не к началу, а к завершению. Между тем другой раздел душа отыскивает, восходя от предпосылки к началу, такой предпосылки не имеющему. Без образов, какие были в первом случае, но при помощи самих идей пролагает она себе путь.

К сравнительному языкознанию это имеет весьма отдаленное отношение. Мы видим типично платоновское противопоставление мира вещей миру человеческих идей — а сами эти идеи делятся на представления о вещах (вырастающие из восприятия и требующие практических приложений) и абстрактные «начала», никаких предпосылок не имеющие (вот откуда у кантианства ноги растут!) и никакой практической пользы не предполагающие. Далее следует длинное рассуждение о том, что мыслить возможно лишь абстрактные идеи, и что любые жизненные вещи годятся разве только для иллюстрации, а истинный философ думает «диалектически» (511b-c):

> Свои предположения он не выдает за нечто изначальное, напротив, они для него только предположения, как таковые, то есть некие подступы и устремления к началу всего, которое уже не предположительно. Достигнув его и придерживаясь всего, с чем оно связано, он приходит затем к заключению, вовсе не пользуясь ничем чувственным, но лишь самими идеями в их взаимном отношении, и его выводы относятся только к ним.

По-видимому, именно это место и цитирует Семереньи — хотя сходство уж очень отдаленное, вроде как у русского *птица* со средне-ирландским *ethait* (через индоевропейское **pet*-).[9] У Платона — все по-платоновски, никакого тебе материализма. Чувственные вещи — лишь намек на самостоятельно существующие абстракции, своего рода иллюстрации, помогающие постигать идеи в их первозданной чистоте. Несомненно, Семереньи прекрасно знал древнегреческий и наверняка читал Платона в оригинале. И имел в виду именно это — но советский переводчик никак такое пропустить не мог и стыдливо причесал разгул платонизма под Маркса.[10] Вовсе не случайно Семереньи «промахнулся» со ссылкой на несколько страниц и начал именно с рассуждений о разделенной линии — тем самым все исследование вводится в определенный идейный контекст, чтобы не дай бог не попутали с кем, не приняли за другое.

[9] Обычная детская забава: превратить муху в слона. В слове заменяется только одна буква — так, чтобы получить новое слово. В начале цепочки стоит «муха», в конце оказывается «слон». По логике компаративистов следовало бы заключить, что «муха» и «слон» восходят к одному общему названию…

[10] Кстати, в немецком оригинале Семереньи говорит не просто о «хорошо известном», а о «незабвенном» куске из Платона: Im “Staat” hat er, in jenem unvergeßlichen Anschnitt über die geteilte Linie (509 d-), zu zeigen versucht, wie der Erforscher der Wahrheit “bis zum Voraussetzungslosen vordringend an den wirklichen Anfang des Ganzen gelange, und wenn er ihn erfaßt hat … wieder herabsteige”. So sind auch dem Sprachvergleicher die Einzelsprachen die “Unterlagen, gleichsam Stufen und Aufgangsstützpunkte”, mit deren Hilfe er zu dem Anfang aller hinaufsteigt, um dann im Besitze dieses Anfangs die Eigenart der Einzelsprachen verstehen und erklären zu können.

Платоновский метод выпирает из компаративистики на каждом шагу. Усмотрев в природе малейшую закономерность, платоник тут же объявляет ее особым «существом», не менее реальным, чем все наблюдаемое, — и дальше начинает выводить жизнь из этой «не предположительной» (у Семереньи: «ничем не обусловленной») абстракции. Для древнего грека, пропитанного первобытно-анимистической мифологией, подобное обожествление отвлеченных понятий было обычным способом «оживления» формул, перевода продуктов абстрактного мышления в план чувственных представлений. Злой гений Платона отождествил метафору с истиной — и с тех пор наивные исследователи уверовали в собственные «реконструкции». Следующий шаг — отказаться от приставки *ре-*, объявить мир плодом фантазии. На это, впрочем, мало кто решается; солипсизм протаскивают в науку «через задний проход», стыдливо прикрываясь фразами о невозможности видеть глубже чувственного опыта, о богоданности математических теорий, чудесным образом открывающих нам недоступные в опыте истины. В физике целое направление развилось из попыток реально сконструировать демона Максвелла; другой пример — вера в реальное существование сингулярностей в решениях (весьма приближенных) уравнений для движения гравитирующих тел (черные дыры). В биологии такова вера в генетическую обусловленность чего угодно. В экономике — вера в самостоятельное существование стоимости (а значит, и капитала) безотносительно к способу производства и распределения. В точности такова и вера в реальное существование праязыка в сравнительном языкознании.

Заметим: всюду — вера. Идеализм не просто дорога к поповщине — это и есть поповщина, переряженная в одежды свободного мышления, стремления к истине… Идеализм спекулирует на трудностях познания, выдавая каждую неудачу за беспомощность разума, — а любое достижение приписывают скрытому или откровенному выходу за рамки разумности. Предполагается, что массы, некритически принимая такую связь, привыкнут считать практическую эффективность науки подтверждением божественной сути всего и вся.[11] Миф о древнем индоевропейском языке — наукообразная переформулировка старой еврейской сказки о вавилонской башне, а через это протаскивается религиозное представление об первом акте творения, подразумевая, что мы всем обязаны отцу небесному — а стало быть и тем, кто ныне представляет его на грешной земле. Но, — не говоря уже о том, что сама идея безусловного почитания родителей не выдерживает никакой разумной критики (дети мерзавца, выходит, обязаны его любить — и становиться мерзавцами), и что вообще семья как таковая есть явление исторически преходящее, — представление о божественном творении есть лишь вывернутое наизнанку осознание творческой природы человека, его способности пересоздать мир по своему образу и подобию — в соответствии со своими насущными и высшими потребностями. А вот этого сильные мира сего как раз допустить и не хотят. Им важно продержаться на шее у народа как можно дольше, и они ради этого готовы на все. Оболванивание масс — извечный инструмент классового насилия, убивающий само желание что-либо в мире менять; а значит, религия и лженаука хорошо оплачиваются, и будут подавлять любую духовную оппозицию точно так же, как восстания рабов подавляют силой оружия.

Я далек от мысли, что все до одного господа-лингвисты сознательно лижут зады мировому капиталу. По большей части они просто так воспитаны, им с детства внушили определенный образ мысли — а других образцов для подражания не было. И я допускаю, что их научные изыскания продиктованы сугубо творческими мотивами, что они честно пытаются разобраться в сложном переплетении языковых судеб — но делают они это неизбежно в рамках господствующих на данный момент классово-обусловленных представлений. И требуется кто-то масштаба Коперника, чтобы поставить всю эту махровую платонщину с ушей на ноги. Но это дело какого-нибудь будущего. А пока — лишь мои фантазии по поводу, да мечты о том, как оно могло бы быть.

[11] Недаром сенсационные сообщения в прессе начинаются с бессмысленной фразы: «Ученые доказали, что…» Нет ученых вообще, есть конкретные люди, делающие конкретные заявления — компетентно или не очень. К тому же, наука не может ничего доказать — только в практике утверждается истина. Но кому-то очень хочется, чтобы практика не очень торопилась возражать и переосмыслять, и чтобы все покорно принимали на веру якобы научные глупости, опошляющие саму способность человека свободно мыслить.

По счастью, в этом я не одинок. В частности, книга Семереньи может служить прекрасным примером критического отношения к утопическим теориям — таков, например, основательный анализ ларингальной гипотезы. Формальное возведение наблюдаемых фонологических явлений к некоторым усредненным звучаниям, рассматриваемым в качестве реальных сущностей, оказывается несостоятельной, несмотря на множество якобы фактических подтверждений и интересных следствий. Такая же судьба регулярно постигала и остальные объединительные теории. Остается сделать еще один шаг и подвергнуть сомнению саму идею индоевропейского праязыка.

Начиналось все с фонологии. И до сих пор «реконструкция» фонологической системы индоевропейского языка считается эталоном научности и блестящим подтверждением исходного принципа, возводящего все языки к единому предку. Однако человеку, не верящему в платоновские тени, многое в этом деле кажется по меньшей мере странным. Мы знаем, что первобытные технологии довольно примитивны, по сравнению с возможностями современной индустрии (хотя ограниченность возможностей заставляла людей находить порой удивительные по элегантности решения возникающих проблем). Быт и нравы отдаленных эпох не отличаются особой духовностью, как бы ни пытались мистики всех времен апеллировать к высшей мудрости предков (большей часть вымышленной или пересаженной в исторический антураж из современности). Явно прослеживается общая линия — от грубости к тонким различиям, от простоты к сложности, от смутных очертаний к детальной картине. Один из основных показателей здесь — уровень развития мышечных движений. Рука первобытного человека и современная кисть — очень разные инструменты. За многие тысячелетия человек овладел огромным количеством ремесел и научился проделывать манипуляции, совершенно невероятные для наших далеких предков. Особенно это заметно в искусстве (танец, музыка, поэзия): то, что раньше считалось верхом технического совершенства, становится со временем элементарным навыком, обязательным для мало-мальски грамотного танцора, музыканта или поэта.[12] На этом фоне как-то не верится, что первобытный язык мог обладать весьма развитой системой хорошо оформленных фонем — а более поздние, производные от него языки вдруг смазывают различия, размывают исходно высокую организацию. Следовало бы ожидать как раз противоположного: сначала небольшое количество слабо дифференцированных звучаний — потом все большая дифференциация, по-разному происходящая в разных языках. Как в музыке: от первобытных неустойчивых интонаций — к различным вариантам пентатоники, потом диатоники… Складывающийся в XVI–XVII веках 12-ступенный звукоряд поначалу проявлялся как некоторое единство, родство многочисленных тональных и модальных систем. Было бы логично предположить, что точно так же и так называемый «индоевропейский язык» — вовсе не то, что когда-то существовало в действительности и дало начало многочисленным языковым ветвям; наоборот, это то, что абстрактно объединяет эти ветви, составляет их формальную основу — и дает перспективу дальнейшего развития! В каком-то смысле «индоевропейский язык» — это модель языка будущего, в котором сольются все земные диалекты. Недаром замечать сходство начали именно тогда, когда появились практические основания для формирования всепланетной, общечеловеческой культуры — а обнаружение родственных черт у индоевропейских и азиатских языков напрямую связано с активным взаимодействием и взаимопроникновением европейской и азиатской культур.

В методологическом плане — это переворот в компаративистике, сравнимый с тем, что произошло во времена Коперника… Подход в корне меняется — многое становится гораздо проще, поскольку уже не надо искусственных «реконструкций» (аналогичных введению все новых эпициклов в астрономии Птолемея) и попыток обнаружить следы существования

[12] Сейчас наблюдается обратный процесс редукции мышечных движений до минимума — достаточно уметь пользоваться клавиатурой и мышью, а то и просто возить пальцем по экрану. В качестве компенсации — всевозможные экстремальные развлечения, требующие исключительных навыков координации. Возможно, скоро производственная необходимость что-то делать руками вообще отпадет, и мы будем дистанционно управлять техникой через импланты в мозгу. Однако это никак не меняет общее принцип: сложное из простого. Современный человек не сводится к органическому телу, его органами становятся произведенные им вещи. И управлять всем этим хозяйством ничуть не проще, чем несколькими десятками килограммов мяса.

«индоевропейской» культуры… Вместо неизвестно откуда взявшегося единого праязыка (вот он, акт божественного творения!) — множество локальных наречий; вместо искусственно придуманных всеобщих правил — законы взаимодействия реальных языков. Вместо того, чтобы изощряться в формальных манипуляциях, надо искать всеобщие законы развития речевой деятельности и языка в целом. И тогда условные правила для преобразования форм одного языка в формы другого станут либо выражением действительного сходства их исторических судеб — либо проявлениями общности более глубокого порядка, указанием на единство законов фонодинамики, направлений развития земных культур или разума как такового. При этом естественно, без божественного вмешательства и витающих вне мира абстракций, объясняются также и различия языков — что практически важнее, а в научном плане трудней.

Отсюда важное методологическое требование: делать выводы относительно происхождения тех или иных языковых явлений следует лишь на основании исторического материала о развитии соответствующих культур, а не выводить историю из структуры самих языков. Объективные законы исторического развития позволяют восстановить какие-то промежуточные звенья — аналогично тому, как орбиты планет определяются по нескольким наблюдениям исходя из проверенных на опыте динамических принципов. Такова позиция материализма. Для идеалиста — формальные различия существенны сами по себе, и потребности в их объяснении просто не возникает. Например, буржуазная идеология объявляет рыночные отношения и классовые различия вечными и неизменными. А с материалистических позиций — любая форма исторична, и надо понять ее истоки и предвидеть ее будущее. Структурное сходство может появиться по самым разным причинам. Какая из них ответственна за ход событий в каждом конкретном случае — надо серьезно разбираться. Только таким способом мы сможем углубить наше понимание языковых процессов — а вовсе не путем постулирования самостоятельного бытия общих форм, не в качестве внутреннего единства — а наряду с реальными языками и подобно им.[13] Постулировать независимое существование теоретической абстракции — все равно что из наличия многочисленных изотопов свинца выводить необходимость некоего прасвинца, от которого все эти изотопы произошли…

Первобытному человеку непросто давалось освоение абстрактного мышления, ему зачастую проще было сделать, чем сказать. Общие идеи принимали обличье живых существ, чтобы вписаться в узкий круг понятий, привычных и доступных нашим предкам. От этого стремления уподобить мир себе человечество не избавилось до сих пор, и еще долго не избавится. Отсюда и платонические иллюзии, выдающие логику предмета за живую историю. Представление о расщеплении целого как универсальном способе порождения чего угодно возникло не случайно. Оно отражает сложный и долгий процесс становления классового общества, когда углубляющееся размежевание социальных групп воспринималось как норма бытия, когда разнородные группы племен дробились на противостоящие друг другу этносы, а сильные подчиняли себе и порабощали слабых. И, конечно же, считали себя вправе так поступать, ибо вели родословную напрямую от исконных праотцов всех людей. У Платона эта людоедская идеология получила недвусмысленное и законченное выражение.[14] Например, одно из знаменитейших рассуждений Платона живописует историю половой любви как расщепление некогда единого существа на три разных, частичных, несовершенных… С тех пор эти обломки целого вынуждены искать друг друга и воссоединяться хотя бы на время, испытывая при этом блаженный экстаз. Чем это не современная индоевропеистика?

Когда рабовладельческий строй окончательно утвердился в качестве главенствующей экономической формации, мысли о расщеплении целого отступили на задний план, ибо куда важнее было внушить себе и другим, что есть вечная и неизменная система в природе и в человеке, и все, что мы можем, — это открывать ее в себе и для себя. Вершиной античного систематизаторства стала философия Аристотеля. Казалось бы, вполне безобидное занятие —

[13] Мысль не нова. В начале XX века полусумасшедший академик Н. Я. Марр осмеливался критиковать господствующий в лингвистике идеализм примерно с этих же позиций — но официальные авторитеты обзывали его недоучкой и дилетантом, неспособным оценить успехи индоевропеистики и прелесть платоновских идей… Прошло почти сто лет — а воз и ныне там.

[14] А в XX веке платоническим отношениям к другим нациям отличалась гитлеровская Германия.

навести порядок в головах, собрать старый хлам и аккуратно разложить по полочкам с ярлыками. Превратить наивные догадки в ясные правила. Однако поскольку пересматривать обретенные таким образом истины уже не предполагалось, они удивительным образом превратились в сторожевых псов классовой иерархии. Платоновские идеи теперь не просто бродячие общие места — они приобрели статус вечного идеала, стали *категориями*.[15] Так, например, Аристотель полагал, что язык как таковой изменяться не может, поскольку он выражает вечные и неизменные сущности. Бросающиеся в глаза диалектизмы и архаизмы гомеровского эпоса — всего лишь поэтическая вольность, нарочитое искажение истинной первоосновы всего. Та же идея просвечивает и в современной трактовке санскрита как идеального языка, опошленного невежественными пракритянами. Та же мысль в индоевропеистике: совершенство первоязыка погублено варварскими диалектами, и превзойти говоривших на древнем языке богов нам не дано… А если нет никакой первородной идеи, если все разнообразие современной культуры — не более чем продукт низменного труда подлых людишек, — это ниспровержение основ, бунт, посягательство на. И должно пресекаться по всей строгости.

Единый индоевропейский язык важен не сам по себе. Изыскания компаративистов имеют целью доказать единство происхождения всех раз и народов, возвести человека разумного к единому предку, что поставило бы нынешние теории расового превосходства на строго «научное» основание. Подобно тому, как христианнейшие археологи пытаются документально обосновать библейские сказки, уничтожая все свидетельства несостоятельности мифонауки. Палеоархеологи всего мира дружно пытаются определить, откуда есть пошло современное человечество. О местонахождении нашей общей прародины идут жаркие споры. А если таковой прародины вовсе и не было? Были самые разные биологические виды, за миллионы лет эволюции доведенные до человекообразного существования сразу во многих уголках земного шара. Генетика не так строга, как ее малюют, и различия генофонда — далеки от резких и непреодолимых границ. Всегда есть переходные формы, а не замечаем мы их лишь потому, что они неустойчивы и быстро исчезают, тогда как сильно дивергентные виды бросаются в глаза. Очень может оказаться, что неустойчивых форм намного больше, чем устойчивых, что они представляют собой тот субстрат, из которого время от времени выделяется нечто завершенное, к дальнейшему развитию малопригодное и потому существующее в почти неизменном виде многие тысячелетия, пока изменения в условиях обитания не погубят очередную тупиковую ветвь. Генеральная линия развития, ствол «эволюционного древа» — это океан мимолетностей. Добыча палеонтологов и археологов — относительно устойчивые образования, достаточно далеко проэволюционировавшие в сторону от генеральной линии. Впрочем, и генеральная линия может быть не одна, и боковые ветви оказывают на нее влияние, пускают новые побеги, иногда вполне сравнимые с исходным руслом эволюции. Развитие не идет по прямой, это сложный, поливариантный процесс.

Здесь опять попахивает коперниканской революцией… Получается, что для науки различия куда важнее сходства — а сходство нас интересует лишь потому, что на его фоне становятся заметными различия. Именно различия языков несут информацию о развитии древнейшего человечества, а отнюдь не искусственно сконструированные глобальные системы. Здесь мы найдем живую картину *синтеза* современных языков из древнейших диалектов, а не *выведения* их из абстрактного целого. Исходно этимология была призвана описать именно такой, синтетический путь, указывая влияния различных источников на современные формы слов. Лишь с утверждением лингвистического платонизма живую речь стали возводить к пустой абстракции — а это уже не имеет ничего общего ни с историей, ни с научным методом как таковым.

Я не утверждаю, что у современного человека не было единого предка, а у современных языков — древнего предшественника. В принципе, в каких-то условиях возможно и такое. Но тогда придется объяснить, что это за условия и каким образом они возникли на Земле. И лишь поняв это, мы сможем сказать, насколько вероятно повторение такого пути в других местах, до

[15] Буквальный смысл слова: «то, что может быть выражено». Здесь одновременно и невозможность, и недопустимость выходящего за рамки, не укладывающегося в предписанные свыше каноны бытия.

которых человечество, возможно, уже скоро доберется. Уповать на прихоть потустороннего создателя мы не имеем права.

Историку (поскольку наука история отличается от простого бытописания) важно понять не то, как одно соотносится с другим, а почему это соответствие возникло и насколько оно существенно для логики развития. Если даже допустить, что эволюция праязыка происходила по придуманным компаративистами правилам — то почему она происходила именно так? Сами по себе правила ничего не объясняют, это чистой воды эмпирия — которую, кстати, так презирал Платон в вышеупомянутом рассуждении о разделенной линии, не замечая, что презирает он самого себя. Непоследовательность и внутренняя противоречивость — неизбежные спутники философского идеализма. Только допуская естественное разнообразие бытия, можно заниматься строительством абстрактных теорий, выделяющих из этого разнообразия отдельные практически важные ситуации.

Известны исторически достоверные случаи «разделения» древнего языка на несколько новых. Например, латынь породила романскую группу языков, древнескандинавский язык примерно до VII века не делился на диалекты (норвежский, датский, шведский); более спорно происхождение славянских языков из одного источника. Однако это ни в коей мере не доказывает, что других механизмов развития нет. Вопрос стоит иначе: при каких условиях распадается некогда единый язык. То, что для этого требуются определенные экономические и общественно-политические предпосылки, — понятно само собой. Но каков *механизм* языкового размежевания? Как только мы начинаем об этом задумываться, сразу же возникает подозрение, что исходное единство несколько преувеличено — и речь идет не о развале целостности, а об усилении уже существующих диалектных различий. Например, румынский язык не возник из чистой латыни — сказалось влияние (бесписьменных) дакских языков, о которых мы почти ничего не знаем. Точно так же, английский язык — вовсе не ветвь германской группы, а синтез германских племенных диалектов с древнейшими местными языками (от кельтов — до неандертальцев, или даже питекантропов).

Да, размежевание языков теоретически возможно — и не раз происходило на протяжении человеческой истории. Однако дифференциация и интеграция — две стороны одного процесса, они не следуют друг за другом, а происходят вместе, одновременно. Распад старого — это и рождение нового; разделение одного — объединяет другое. Говорить о лингвистическом «большом взрыве», породившем языковую вселенную, — дело совершенно безнадежное. Когда-нибудь и физики перестанут придумывать фантастические сценарии развития Вселенной на основании гипотетической возможности формально свести все взаимодействия к одному. Возможно, так называемая стандартная модель, во всей ее эклектичности, — это просто реальность, которую надо принять, как она есть, и добавлять к ней все новые кирпичики по мере освоения новых пространственно-временных и энергетических диапазонов. И даже реальное существование каких-то уровней мира, по видимости соответствующих принципам «великого объединения», не дает ни малейшего основания утверждать, что в других аспектах мир будет развиваться именно так.

Последователи Платона больше двух тысяч лет пытаются подогнать мир под очередную идею. Но мир больше и разнообразнее любых идей — и в этом залог появления все новых идей и развития старых, источник бесконечного обновления и перерождения. Как бы много мы ни сделали, всегда останется, чем заняться дальше. Человек — ничтожно малая часть мира, но нет в мире ничего, что человек не смог бы в конце концов осознать и понять, а потом переустроить в соответствии с человеческими представлениями и требованиями. Именно в этом состоит универсальность разума — а вовсе не в его тождественности миру, и уж тем более не в предшествовании и порождении из ничего.

Коперниканская революция состояла не просто в замене одной математической модели другой — в формальном плане все такие модели эквивалентны. Нет, речь идет об отказе от первобытного антропоцентризма ради последовательного представления о целостном мире, существующем сам по себе, безотносительно к тому, что мы о нем думаем. Только тогда разные способы описания механического движения могут быть поняты как переход от одной системы отсчета к другой. Только тогда реальные языки можно будет охарактеризовать как разные

способы проявления общелингвистических закономерностей. И только тогда человечество будет готово покинуть земную колыбель и встретиться с принципиально иными формами разума. Пережитки платонизма еще сильны, они во многом направляют человеческую мысль и по сей день. Но если люди собираются серьезно заняться облагораживанием Вселенной, без Коперника им не обойтись.

Звуковой строй языка

Доля устной речи в общении людей неуклонно сокращается. И это правильно — ибо непосредственное общение с глазу на глаз неизбежно уступает место общению через время и пространство — время при этом копится в века и тысячелетия, а пространство разрастается до космических масштабов. Да и богатство содержания уже не вписывается в форматы звуковых модуляций, и на смену приходят более емкие визуальные формы, которые, возможно, в конце концов тоже поблекнут в свете новейших технологий. В человеческой культуре все больше вещей, о которых невозможна весть из уст в уста. Разумеется, есть вторичные формы устной речи, вроде аудиокниг, комментированных видеосюжетов или разговаривающих компьютеров. Но это не меняет положения дел по существу. Такие «вокализации» носят, как правило, сугубо вспомогательный характер и не заменяют серьезного, содержательного общения по другим каналам.

Тем не менее, кое-кто кое с кем пока разговаривает — и фонологические изыскания не отошли еще в область палеолингвистики. Особенно если заниматься ими не ради фонологии как таковой, а в качестве иллюстрации фундаментальных принципов. Чем мы и попробуем здесь озадачиться — на очень популярном уровне.

До сих пор у широчайших масс бытует убеждение, что язык — это всего лишь набор элементов, которые можно соединять друг с другом по определенным правилам. То, что в итоге это как-то соотносится с реалиями нашей жизни и помогает общими усилиями постигать и преобразовывать мир, представляется лишь удачным стечением обстоятельств — или результатом «общественного договора», к собственно языку отношения не имеющим. И такая точка зрения, казалось бы, неплохо подтверждается — хотя бы тем очевидным обстоятельством, что об одном и том же можно высказываться на разных языках — включая искусственные…

Никому не возбраняется, при желании, развлекаться созданием собственного языка — хотя бы и без претензий на общеупотребительность. Обычно такой изобретатель начинает с набора базовых символов и перечня допустимых сочетаний (слов). Иногда эта конструкция дополняется набором правил чтения — в других случаях вокализация только подразумевается, а детали оставляют на усмотрение естественных языков. В дополнение к словарю руками выстраивается базовый синтаксис — и дело сделано, можно общаться. Распространение новорожденного — это уже из области маркетинга.

Высокая наука обожествила чисто комбинаторное понимание языка — и тут же уперлась в божественные противоречия, вроде теорем Геделя. Но ради великой идеи принято жертвовать здравым смыслом. Тем более, что до поры до времени любая религия носит прогрессивный характер — и способствует удовлетворению вполне практических нужд. Бурное развитие информатики наши заблуждения вполне оправдывает.

Следы первобытного представления о языке как технологии построения осмысленных комбинаций из абстрактных символов можно в изобилии встретить и у профессиональных лингвистов, и в психологии языковой деятельности, в философских выводах и технических приложениях. Всяческие «порождающие грамматики» и «деревья разбора» напрямую встроены в существующие системы программирования — однако в самой лингвистике к ним уже давно относятся с осторожностью, в свете более реалистичных парадигм, вроде функциональной грамматики. Формальными синтаксис и морфология остаются, по преимуществу, только в школьных курсах, в качестве сведений начального уровня. Тем не менее, *вся* индоевропеистика восходит к банальной комбинаторике, равно как и формально-семантические построения, и принципы семиотики. Но есть область, где комбинаторные предрассудки особенно глубоко

укоренились и стали основой основ. Это фонология. А значит, показать ограниченность традиционно структурного подхода удобнее всего именно здесь.

Итак, что нам предлагают? Живая речь представляется последовательностью качественно различных звучаний — фонем. В каждом языке этих базовых элементов конечное число; из них можно построить сколь угодно сложные высказывания. То есть, с одной стороны, мы всегда можем разбить речевой поток на фонемы, а с другой — синтезировать речь из фонем. Схема, надо признать, очень простая и удобная — немудрено, что в нее намертво вцепились программисты, обучающие компьютер общаться с человеком на «естественном» языке.

Но фонология идет дальше. Фонема — не просто характерное звучание, это еще и элементарная функциональная единица, и первый принцип выделения фонем — изменение *значения* речевого сегмента при замене одной фонемы другой. Таким образом, язык вообще, как универсальное средство общения, сводится к артикуляции и выводится из нее. Все богатство выразительных возможностей оказывается надстройкой над умением произносить и слышать фонетическую основу языка. Письменная речь при этом понимается как способ фиксации звучания.

Хорошо это или плохо? Ни то, ни другое. В определенных ситуациях действительность языка именно такова, и структурно-фонологическая модель совершенно оправданна и полезна. Например, приступая к изучению иностранного языка мы обычно начинаем с произношения и письменности, учимся складывать из звуков слова и различать слова по их звучанию. Поверх этого постепенно растут морфология и синтаксис. Правда, потом оказывается, что такое формальное знание — это еще далеко не все, что оно не дает умения говорить и понимать других… Тем не менее, в очень широких пределах фонологическая комбинаторика прекрасно согласуется с реальным языковым опытом — а в пределы эти иногда возможно уместить целую жизнь.

Проблемы возникают лишь при попытке провозгласить одну частную модель теорией всего, преувеличить ее универсальность, объявить истиной в последней инстанции. И тут вылезает какой-нибудь недоучившийся нахал и начинаем выкладывать на публику очень неудобные наблюдения…

Взять, хотя бы, святая святых и основу всякой академичности — международный фонетический алфавит (нечто вроде пресловутой «стандартной модели» в физике). Признаюсь, освоить его в совершенстве я так и не сумел. Мешают дурацкие вопросы, возникающие по мере вхождения в предмет. Казалось бы, не с потолка эта наука, есть вполне убедительные резоны, — но на некоторых железные доводы в упор не действуют… Напрягает сама исходная идея — предоставить отдельный символ для каждого различимого звука. А если у кого-то слух лучше, и он различает вдвое больше, чем другие? Кто у нас, извините, за эталон? Описания МФА под завязку напичканы ссылками на физиологию — что, вероятно, призвано создать впечатление универсальной объективности. Но тут сами же фонетисты портят себе портрет. Взять хотя бы знаменитую трехмерную классификацию гласных по положению языка (передние — задние), степени его подъема (нижние — верхние) и положению губ (огубленные — неогубленные). Сначала эту четкую картину разбавили средним положением языка по обоим измерениям; потом различили средне-верхние и средне-нижние — а затем довесили туда же ненапряженные передние, ненапряженные задние, ненапряженные верхние и ненапряженные нижние. В полном объеме такая структура дает семьдесят вариантов; не для всех пока придуманы особые знаки — но движется к тому вполне определенно. История воспитания международно-фонетического слуха на согласные еще печальнее… Складывается стойкое впечатление, что перед нами бесконтрольно размножающаяся система знаков, ни на чем, по большому счету, не основанная. Фразы типа: «По состоянию на 2005 год МФА включает 107 букв, 52 диакритических знака и 4 знака просодии» — напоминают рапорт о поголовье кроликов.

Кто сумеет внятно объяснить, почему для артикуляции гласных мы можем говорить о «средних» положениях языка по горизонтали и вертикали, а степень огубленности никак не варьируется? Ей, может быть, обидно — и тоже хочется выразительной полуогубленности, недоогубленности или огубленноватости. Почему способ и место артикуляции не подразделить на дюжину вариантов, вместо двух-трех? В конце концов, всяческая диакритика и просодии

пропихивают ту же мысль — через задний проход. Чем «отклонения в произношении» отличаются от различия фонем? Постановлением свыше…

В связи с этим возникает сомнение в необходимости упихивать все вообще языки в единую фонологическую схему. Почему не допустить, что каждому языку присущ свой собственный звуковой строй, и можно естественно описать его в терминах самого языка? Тем более, что на практике так и поступают, вырабатывая разного рода упрощенные системы транскрипции, куда удобнее кошмаров МФА. На каком основании мы должны считать, что все языки построены из одних и тех же элементов? Уже в тональных языках эта идея не кажется вполне оправданной; тем меньше разума в смешении европейской просодии со структурами щелкающей и свистящей речи. Наконец, мы можем вспомнить и о жестовых языках, которые вообще не нуждаются в ссылках на фонетику, — или об африканских барабанах. О какой всеобщей системе артикуляции мы будем говорить здесь?

— Ну как же, — возразит большой ученый, — тогда, выходит, великая наука фонология развалится на много маленьких наук, по одной на каждый естественный или неестественный язык? Должны же быть какие-то общие принципы и объединяющие идеи!

Безусловно. Однако общие лингвистические категории таковы не потому, что одинаково присутствуют в разных языках, а потому что развитие языков идет по одним и тем же законам, и отсюда подобие возникающих структур — но не их тождество. То есть, речь идет не о том, чтобы свалить в кучу явления совершенно разного порядка, а о том, чтобы увидеть общее в совершенно разных структурах, выстроенных каждым языком на его собственном материале. И тогда окажется, что, несмотря на различия в фонологических системах разных языков, в них можно обнаружить нечто одинаково свойственное любой фонологии — и не только фонологии. В частности, развитие фонологических систем подразумевает общую направленность — хотя этапы этого движения могут выделяться очень по-разному, — но не произвольно, а опять же, в рамках объективно возникающих возможностей. При таком подходе любые осмысленные (научно обоснованные) классификации должны вытекать из общих принципов языковой динамики, а не из примитивного биологизаторства, сводящего порождение речи к движениям речевых органов. Речь возникает не потому, что мы умеем шевелить мышцами, а наоборот, умение ими шевелить определенным образом вырабатывается в связи с некоторой культурной потребностью. Вместо попыток формально построить из абстрактных элементов осмысленные комбинации — мы задаемся вопросом о природе этой осмысленности, и о допустимых структурных реализациях.

Читатель, похоже, уже начал нервничать и подумывать об утопичности такого, чересчур «философского» подхода. Все-таки наука — без формальности никуда; в этом и суть работы ученого — он должен обеспечить возможность передачи знаний от кого угодно кому угодно, без необходимости каждый раз изобретать транспортные средства. Существуют ли примеры заявленного здесь метода, сохраняющего качественное своеобразие культурных форм в рамках единого принципа?

Да, существуют. Вспомним о еще одной деятельности, где комбинаторика испокон веков считалась основой основ и до сих пор определяет значительную часть общественного продукта. Это музыка. Точнее — учение о звуковысотности, о возможных музыкальных звуках. В музыке много всего другого — но мы пока не будем растекаться вширь. Тем более, что есть указания на применимость универсальных принципов, регулирующих строение звуковысотных систем, и к другим аспектам музыкального целого (их зонная природа экспериментально подтверждена Н. Гарбузовым).[16]

В элементарной теории музыки нас учат, что каждая октава делится на двенадцать полутонов (хорошо темперированный строй), и полученные таким образом ступени по всем октавам слышимого диапазона исчерпывают имеющийся в нашем распоряжении музыкальный материал. Есть клавиатура фортепиано — все остальное от лукавого. Модернисты, конечно, много чего насочиняли — но это всеми воспринимается как нарочитая экзотика, существующая только на фоне общего правила и его подтверждающая.

[16] *Н. А. Гарбузов — музыкант, исследователь, педагог*. — М.: «Музыка», 1972.

Казалось бы — вот он идеал фонетиста. Универсальная система звуков, единая для всех народов и времен. Четкие правила голосоведения и гармонии. И тонны литературы (начиная с Пифагора), объясняющей эти правила с точки зрения абстрактной комбинаторики.

При ближайшем рассмотрении картина оказывается не столь радужной. Если тысячелетнюю историю утверждения хорошо темперированного строя в европейской музыке еще как-то можно списать на метод последовательных приближений, то этническая музыка Азии и Африки (да и той же Европы) совершенно не желала укладываться в высокие каноны. Попытки втиснуть это разнообразие в рамки той же комбинаторной схемы предпринимались — но выглядело это настолько неубедительно, что музыканты-практики предпочли не связываться и считать индийскую рагу, арабский макам или русские «крюки» совершенно другими ветвями музыкального древа, с классической традицией не имеющими почти ничего общего. И описывать такие строи в их собственных традиционных терминах — совершенно в духе практических транскрипций в языкознании.

Вообще, музыка и язык очень похожи — и это подчеркивается терминологически: говорят о музыкальной или речевой интонации, об артикуляции, о музыкальных или речевых фразах. Альтерированные ступени ладов и подчеркивание мелодических тяготений вполне подобны языковым аллофонам. Кластеры или исполнительские штрихи (особые приемы звукоизвлечения) в музыке вполне сходны с согласными фонемами. Инструментальные тембры так же влияют на характер восприятия, как и тембр голоса. Но если в языкознании размножение сущностей хоть как-то сдерживается представительной международной ассоциацией, в музыке такой глобальной инстанции нет — и каждый сочинитель вправе изобрести что-нибудь совершенно невероятное. Эта формальная свобода, конечно же, плодит помаленьку экзотические лады, жутковатые аккорды и странные серии — но, как ни странно, их количество все же значительно уступает разнообразию фонологии естественных языков. А значит, разобраться с природой и происхождением музыкальных строев в какой-то мере проще, чем отыскивать фундаментальную основу фонологии. К тому же история музыки неплохо задокументирована, вплоть до конкретных имен, стоящих за теми или иными нововведениями.

Тем не менее, до самого конца XX века теория звуковысотности не выходила за рамки древней комбинаторики — и по сути дела топталась на месте. Композиторы-модернисты экспериментировали с абстрактными строями, что-то из этого звучало вполне приемлемо — но никто так и не понял почему. В конце концов созрели условия и для первой реалистичной теории звуковысотного слуха, соединяющей идеи квантовой механики с теорией информации. Это сразу же привело к пониманию того, что в музыке возможно, а что не очень, — а историческое развитие музыкальных строев логически увязано с развитием человеческого восприятия.[17] Культурные факторы выделяют ту или иную ветвь развития — но все они подчинены единым принципам и качественное своеобразие разных строев вытекает из единой модели.

Углубляться в детали здесь не место — нам важно вытащить на свет принципиальные выводы, существенные для будущих фонологических изысканий. Разумеется, первый вопрос — о допустимости переноса идей из одной предметной области в другую, пусть даже в чем-то похожую. Ответ, в сущности, тривиален: можно — но осторожно. С одной стороны, мы знаем, что человечество этим на каждом шагу занимается; с другой, критерием приемлемости все равно будет практика, и когда что-то работает — можно это принять, даже если в нашу логику оно не очень укладывается. Например, вскоре после открытия законов звуковысотности в музыке обнаружилось, что в видах искусства, основанных на зрительном восприятии (живопись, танец, скульптура, архитектура), возникают очень похожие структуры, если высоте музыкального тона сопоставить угол между двумя пространственными направлениями.[18] Находка была настолько неожиданной, что автор новой науки отказывался от участия в публикациях на эту тему,

[17] Представлено весной 1983 года в докладе на семинаре «Акустические среды» Московской государственной консерватории; сводка результатов дана в статье L. Avdeev and P. Ivanov, “A Mathematical Model of Scale Perception”, *Journal of Moscow Physical Society*, v. 3, pp. 331–353 (1993); есть популярное изложение по-русски: Л. Авдеев Ю. Варивода, В. Дубовик, П. Иванов, *Рождение звукоряда*: *Из чего делают музыку*. — СПб, 2006.

[18] P. Ivanov, “A Hierarchical Theory of Aesthetic Perception: Scales in the Visual Arts”, *Leonardo Music Journal*, v. 5, pp. 49-55 (1995).

утверждая, что «…это не более чем удивительная аналогия. Математика не переносится…» — потому что процесс восприятия визуальных форм устроен совершенно иначе. — «Аналогия, тем не менее, потрясающая, и над текстом работать стоит, но сами-то мы должны осознавать притянутость математического формализма звукорядности […] Вообще, у меня есть интуитивное убеждение, что в каждом конкретном случае у математики будут свои специфические особенности — должны быть, потому что даже разные обращения одной иерархии сильно различаются… Причину сходства восприятия углов и звукорядов я, увы, не понимаю, а она где-то должна быть…»[19] Точно так же, математика восприятия речи и речепорождения наверняка будет отличаться от моделей музыкального слуха — но ничто не мешает прийти в результате к аналогичным структурам, с какими-то модификациями. Одно и то же можно получить разными способами. Строение одной иерархии подобно строению другой — а назначение человека, по большому счету, в том и состоит, чтобы усмотреть эту всеобщую связь, а где она не усматривается — сотворить ее. Так в разумной деятельности воспроизводится единство мира.

Но вернемся от высокой философии к прикладным соображениям. Математическая модель формирования звуковысотных шкал приводит к ряду по видимости универсальных выводов, справедливых всюду, где речь заходит о конструировании чего-то из конечного набора элементов. В том числе и в фонологии.

1.

Не существует априорных, раз и навсегда заданных шкал. Любой конечный набор формируется исторически, и его история проходит ряд закономерных этапов. Сходство условий развития приводит к общности его законов у разных народов и к воспроизведению одних и тех же структур на самом разном материале, так что формально различные элементы могут быть функционально тождественны. Например, почти во всех естественных языках существует (как минимум один) нейтральный гласный звук — однако звучит эта нейтральность совершенно по-разному в русском, английском, французском или турецком языках, и все это разные фонемы с точки зрения классической фонологии. В европейской музыке принято выстраивать звукоряд, исходя из стандартной частоты звуковых колебаний для ноты *ля* первой октавы.[20] Однако, например, японская традиционная диатоника вовсе не обязана придерживаться европейских канонов, и ее звукоряды могут иметь мало общего с европейскими, при совпадении собственно звукового строя.

2.

Развитие шкал всегда идет от простейших структур к более сложным. Первоначально — надо научиться хотя бы просто различать. Все начинается с минимальной структуры из двух элементов — это исторический и этнографический факт. И лишь потом, по мере усложнения деятельности и восприятия появляются более емкие шкалы, с десятками социально различимых элементов. В определенных условиях становится возможной формальная комбинаторика; это означает, что в данной культуре сложилась одна из универсальных шкал. В музыке, например, это хорошо темперированный 12-ступенный строй; есть еще два-три универсальных звукоряда (19 ступеней на октаву или больше), возможности которых современной музыкой пока в полной мере не освоены. Однако есть и другие линии развития, приводящие, например, к образованию модальных систем, звуковой состав которых вообще не фиксирован — в этих строях строить музыку из конечного набора элементов уже не получится. Точно так же первобытные языки различают лишь небольшое количество базовых звучаний, и возможны различные линии развития, в том числе приводящие к утверждению одной из универсальных фонологических систем.

Теория предсказывает, что количественное дробление шкал не может продолжаться бесконечно; при сохранении той же физиологической основы, человек не может целостным

[19] Л. Авдеев, письмо от 7 августа 1993 (частный архив).

[20] Конкретное значение этой частоты на практике не единожды менялось, и разные стандарты вынуждены сосуществовать, поскольку сохраняются старые инструменты с фиксированной настройкой.

образом воспринимать структуры с количеством элементов больше нескольких десятков. Дальше вступают в действие иные способы усложнения структур, предполагающие их иерархическую организацию. В языкознании это означает, что анекдотические истории о языках с сотнями согласных или миллионами глагольных окончаний — не более чем примеры кривой логики некоторых лингвистов. Десятки тысяч китайских иероглифов — лишь надстройка над весьма скромным набором базовых черт. Если обозначить эти базовые элементы символами латиницы, можно любой иероглиф представить некоторым «словом», набором букв, расположенных в порядке написания черт. Разумеется, к звучанию иероглифа это не будет иметь прямого отношения — однако и в европейских языках иные звуки записываются весьма абстрактными комбинациями знаков, да еще и разными способами.

3.

Любая дискретная шкала имеет зонный характер: ее элементы — не что-либо строго определенное, а, скорее, поле возможностей. Все, что попадает в пределы некоторой зоны, — представляет один и тот же элемент. Размеры и положения зон определяются устройством соответствующей шкалы. Общий уровень восприятия определяет, какие различия считаются значимыми: чем тоньше восприятие, тем уже соответствующие зоны. Это подобно тому, как одна и та же местность может быть изображена на карте в разных масштабах. Однако в человеческом восприятии эти масштабы не произвольны — преимущество получают те из них, которые порождают наиболее устойчивые и регулярные структуры; именно такие шкалы позволяют людям полноценно общаться. Оказывается, что их не так уж много; в музыке возможные звукоряды можно получить теоретически — и есть подозрение, что такие же структуры возникают и во многих других областях.

Для многомерных шкал уровень восприятия может, вообще говоря, быть разным по разным измерениям; однако и здесь возможные комбинации не случайны — поскольку речь снова идет о частном случае дискретности.

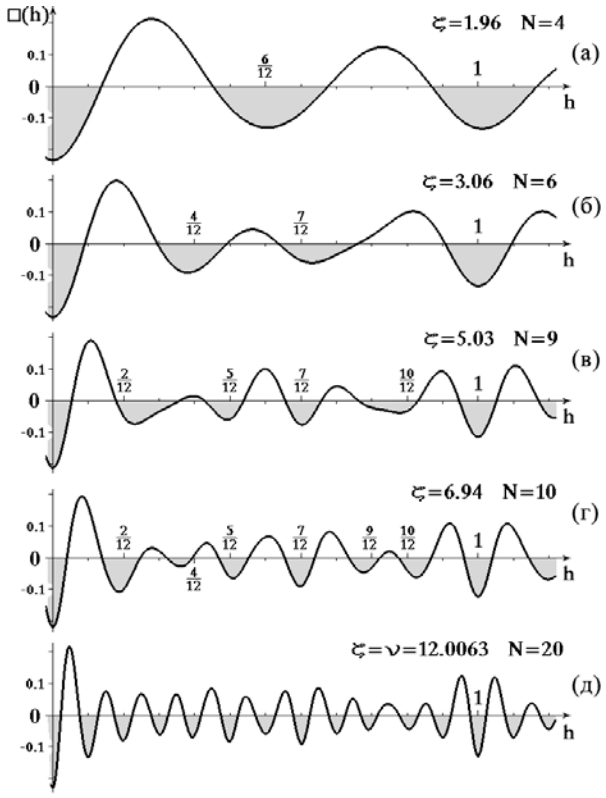
Зонная природа фонологических систем вряд ли нуждается в особом обосновании — все знают, что каждая фонема имеет бесчисленное множество вариантов произношения, в зависимости от языкового контекста, интонации, намерений и привычек говорящего. Основная проблема здесь — правильно выделить те параметры, от которых зависит возникновение фонологических систем. Поскольку человеческое (сознательное) восприятие отличается от сугубо физиологических процессов, связывать фонетику непосредственно с мышечными движениями было бы неправильно, и традиционные ссылки на артикуляцию теоретически некорректны. В музыке удалось найти тот уровень восприятия, на котором формируются представления о высоте тона (отнюдь не в терминах устройства слухового тракта!). Возможно, когда-нибудь мы сможем сделать это и в фонологии.

4.

Оказывается, что дискретная шкала не сводится к набору элементов, к расположению зон. Это лишь один из уровней иерархии. История развития зонной структуры из примитивных «дихотомий» никуда не исчезает — она сохраняется в строении шкалы. Для каждой из возможных шкал возможны лишь вполне определенные промежуточные ступени — и каждая из этих ступеней «вложена» в основную структуру как одна из допустимых подструктур. Это отнюдь не абстрактно-математическая операция, не просто подмножество ступеней базового уровня. Каждая вложение — тоже зонная структура, однако размеры и расположение зон не совпадают ни с зонами основной шкалы, ни со строением самостоятельной шкалы с таким же числом элементов. Диатоника сама по себе и диатоника, переданная средствами 12-ступенного темперированного строя, — это разные звукоряды! Некоторые композиторы так их и слышат.[21] Хотя не каждый инструмент способен акустически воспроизвести правильную интонацию.

[21] Разумеется, речь не идет о джазе, который сознательно опирается на комбинаторику в рамках 12-ступенного звукоряда — и потому должен искать художественную выразительность в других сторонах музыкального целого. Есть и другие музыкальные жанры, изначально не предполагающие тонких интонационных различий.

Математическая модель восприятия высоты музыкального звука позволяет для каждого звукоряда указать набор вложенных шкал — а значит, и наметить пути развития. Полученная иерархическая структура — это и есть музыкальный строй в целом, и его реальное применение связано с многочисленными межуровневыми взаимодействиями, часть которых также поддается теоретическому анализу (например, расчет мелодических тяготений). В качестве примера на рисунке показана иерархия вложений для обычного 12-ступенного («хорошо темперированного») строя. Затененные участки показывают расположение соответствующих зон (в пределах октавы). Наряду с полным звукорядом (д), возможны подструктуры с 7, 5, 3 и 2 зонами на октаву. Разумеется, в реальной музыке зонные структуры разных уровней могут быть произвольно смещены относительно друг друга. Композитору приходится организовывать музыкальную ткань так, чтобы при этом не возникало явных несоответствий — и сразу видно, какое это непростое искусство!



Совершенно аналогичная картина будет возникать и в фонологии. Разумеется, с надлежащими модификациями и опорой на другую математику. Но главное останется: звуковой строй языка — это иерархия зонных структур. У каждого языка — свой звуковой строй. Один из нескольких возможных. При этом функционально одинаковые звуки в разных языках вовсе не предполагают одинаковой артикуляции и могут звучать очень по-разному. И может оказаться, что какой-нибудь язык свистов фонологически эквивалентен одному из европейских языков. Попытка затащить все фонетическое разнообразие в МФА — это что-то вроде желания сочинить единую классификацию музыкальных инструментов; отчасти эта задача выполнима — поскольку мы ограничиваемся рамками определенной культуры. Однако более широкий взгляд может полностью разрушить постройку, воздвигнутую на весьма шатком основании.

5.

Зонный характер дискретных шкал подразумевает изменчивость базовых элементов; мы всегда можем слегка сдвинуться вверх или вниз по шкале, чтобы подчеркнуть ту или иную интонацию. Но это низший, структурный уровень изменчивости. В иерархической структуре есть и другая возможность. В музыке ступень базового звукоряда (например, 12-ступенного)

характеризуется также принадлежностью одному из вложений, или сразу нескольким. Это определяет *функцию* звука в музыкальной ткани. Например, принадлежность к некоторому семиступенному вложению говорит о ладовой функции, принадлежность к трезвучию — о гармонической функции. Если при этом более широкая зона вложения охватывает несколько соседних ступеней базового звукоряда, можно выбрать любую из них для представления соответствующей функции; в зависимости от взаимного расположения вложений, одна из возможностей считается основной, а другие считаются ее вариантами — «альтерациями». Такая системная вариативность возможна и в фонологии. Альтерации не выводят нас за рамки набора базовых фонем, они достаточно регулярны — таково обычное различение фонем и их аллофонов. Аллофон — не артикуляционная случайность, а нечто системное, воспринимаемое как особая фонема. Иногда такая альтерация становится характерной особенностью местных говоров — совершенно аналогично тому, как альтерирование обычной диатоники дает особый «цыганский» строй — или блюз.

6.

Иерархия вложений предлагает выбор: какой из уровней будет взят за основу в каждом конкретном контексте? Так, значительная часть современной музыки тональна — она укладывается в систему семиступенных вложений 12-ступенного строя. Пятиступенные вложения позволяют «моделировать» различные варианты пентатоники, а также широко используются в рок-музыке. Аналогично, исторически сформированные наборы базовых фонем в языке могут использоваться лишь ограниченным образом, через возможные подструктуры. Такая «редукция» может сделать язык функционально нагруженным и более динамичным. Гипотетический пример — простота звукового строя испанского языка по сравнению с другими европейскими языками.

Еще одно практическое применение вложенных шкал — письменность. Алфавит на основе «фонетического принципа» всегда ограничивается некоторым уровнем детализации — а эти уровни определены звуковым строем языка. В качестве экзотического, но весьма актуального примера — искусственные знаковые системы, которые кажутся совершенно произвольными, но тем не менее наследуют значительную часть строя естественных языков.

Переход от базового набора элементов к одному из вложений — это своего рода обобщенное восприятие. Развитая иерархия вложений позволяет переходить с одного уровня обобщенности на другой. В музыке, внутреннее богатство 12-ступенного строя привело к его широчайшей популярности — интонации многих других строев здесь можно имитировать выбором соответствующего вложения. Некоторые строи практически не имеют вложений — и на их основе возможна лишь музыка определенного типа. Поскольку аналогичные явления есть и в языке, можно, например, сделать вывод, что представители одних народов легче усваивают иностранные языки, нежели другие. Если в родном языке человека есть развитая иерархия вложений, многие (но не все) иностранные языки будут для него лишь расширением его собственного. Восприятие же непривычных фонетических структур будет затруднено — хотя, в конечном итоге, все-таки возможно.

Один из признаков существования вложенных фонологических шкал — фонетическая редукция. Например, в русском языке гласные в безударной позиции превращаются в нечто, похожее одновременно на несколько гласных — и не похожее ни на что. Аналогичное поведение замечено и у согласных. Такие «обобщенные» фонемы называют суперфонемами (или гиперфонемами). Сходство с музыкальными шкалами очевидно: зоны у вложенных звукорядов значительно шире и могут перекрываться с зонами нескольких ступеней базового уровня, которые таким образом как бы сливаются в один звук. Теория звуковысотности указывает на возможность нескольких уровней вложения. Например, в стандартный 12-ступенный звукоряд вкладываются семиступенные звукоряды (лады, тональности), а в них есть подмножества из трех нот — трезвучия. Напротив, вложение из пяти нот (пентатоническое) в том же базовом звукоряде не допускает никаких подструктур — в полном соответствии с музыкальной практикой. Но, например, в 19-ступенном строе возникают 12-ступенные «гиперлады» — а в них аккорды из пяти нот, не менее гармоничные, чем трезвучия обычной тональной музыки.

7.

Характер звучания музыки в разных строях определяется строением соответствующих звуковысотных систем. Расчеты показывают, что одни звукоряды больше приспособлены для мелодического голосоведения, другие допускают развитую гармонию; в одном строе возможно формирование централизованных подсистем — в других этого нет, и возникают разного рода модальные системы. Все это наблюдается на практике. Таким образом, как европейская классическая традиция, так и богатство этнической музыки в равной мере вытекают из общих теоретических принципов.

По всей видимости, когда будет найдена единая основа фонологии, мы сможем предсказывать языковое поведение по звуковому строю языка, и наоборот, по способу употребления догадываться о внутренней организации соответствующих шкал. При этом появится возможность альтернативной (логической) классификации языков по типу звукового строя, безотносительно к их фактическому родству; напротив, некоторые из считающихся сегодня родственными языков могут на самом деле принадлежать к принципиально различным фонологическим типам.

8.

По аналогии с искусством живописи, можно было бы говорить об искусстве звукописи. Поскольку в живописи основой всякого образа становится пространственная форма, во главе угла всегда стоял рисунок, графика; точно так же и в звукописи любая композиция опирается на расположение тонов (хотя бы и в форме звуковых пластов) — отсюда ведущая роль музыки. Однако звукопись не сводится к одной лишь музыке — это еще и искусство аранжировщика, и искусство звукорежиссера; неоднократно предпринимались также попытки композиции шумов, исключающие опору на музыкальный тон, — такое искусство обычно считают разновидностью современной музыки, хотя, возможно, следовало бы подыскать более подходящее название (например, «фоника»).[22]

Но и музыка в узком смысле слова, как движение тонов, по-разному связывает их друг с другом. Помимо простого следования один за другим (мелодия) звуки могут извлекаться одновременно. И здесь возникают самые разные варианты. Например, совместное звучание разных голосов (полифония) — каждый звук при этом сохраняет принадлежность определенному голосу, и композитор заботится о том, чтобы голоса оставались хорошо различимыми, не мешали и не противоречили друг другу (если такое противоречие не продиктовано авторским замыслом). В некоторых строях возможны вложения гармонического типа, когда определенные комбинации звуков при одновременном извлечении производят впечатление единого целого (гармония). При этом, наряду с последовательностью тонов, возможны также последовательности гармоний (аккордов), и гармоническое движение может в некоторых случаях оттеснить мелодику на второй план.[23] Наконец, в музыке используются и негармонические звукосочетания, которые в определенных условиях начинают восприниматься как целое — кластеры, звуковые пласты, фактурные планы и т. д.

Помимо высоты, музыкальный тон характеризуется также определенным тембром. С точки зрения физики, и то, и другое — спектральные параметры, свойства набора частот звуковых колебаний. Однако музыкальный слух воспринимает высоту звука и его тембр как совершенно разные характеристики. Во многих случаях, восприятие музыки не зависит от того, на каких инструментах она исполняется — и некоторые мелодии узнаваемы даже в кластерных или шумовых имитациях. Тем не менее, здесь нет непроходимой грани, и композиторы широко используют гармонии и негармонические звукосочетания для придания тону яркой тембровой окраски. В этом случае несколько тонов воспринимаются как один «составной» тон, другой уровень того же звуковысотного строя.

[22] В живописи также известны попытки освобождения от графики — например, экспериментальное искусство В. Стржеминского (так называемый, польский унизм).

[23] Так называемая серийная техника не выводит нас за рамки мелодики и гармонии — однако здесь речь идет о моделировании средствами одного строя некоторых черт другого.

На первый взгляд, в языке возможно только «мелодическое» движение. У каждого только один голос, и произнести одновременно два звука никак не получится. Даже если учитывать известные коартикуляции — от банального [w], до экзотики горлового пения.

Однако, если присмотреться, аналоги музыкальной вертикали в фонетике все же имеются. И здесь уместно еще раз подчеркнуть, что восприятие звучания не сводится к физиологии, у человека оно предполагает сложную внутреннюю работу, преобразование слышимых звуков в социально выработанные формы. В музыке по этой причине, чтобы создать впечатление гармонии, вовсе не обязательно извлекать звуки одновременно — можно так построить мелодию, что присутствие гармонической вертикали станет вполне ощутимым. Точно так же и речь может включать последовательности, воспринимаемые как гармоническое целое. Возможно, в повседневном разговоре мы вряд ли заметим что-либо подобное — но в поэзии такие явления обнаружатся наверняка — как только мы догадаемся, на что следует обращать внимание. В конце концов, обыденное отношение к музыке тоже не поднимается выше игры «угадай мелодию».

Пока дело не дошло до настоящей гармонии — поговорим о более очевидных вещах. Хорошо известно, что во многих языках существуют комбинации фонем, воспринимаемые как одно целое. Обычный пример — дифтонги и трифтонги. По сути дела, речь идет о некоторой сложной фонеме, во время произнесения которой органы артикуляции не занимают определенное положение, а движутся от одного положения к другому. Та же коартикуляция, но уже в динамике. В конце концов, самые обычные гласные в речевом потоке почти всегда подвергаются аккомодации: поскольку переход от предыдущей или к последующей фонеме не происходит мгновенно, возникают промежуточные положения речевых органов, изменяющие характер звучания на протяжении одной фонемы. При ближайшем рассмотрении оказывается, что согласные ведут себя точно так же, приспосабливаются к фонологическому контексту. Оказывается, что строго различить «статические» и «динамические» фонемы возможно лишь теоретически — либо в особо устроенном экспериментальном контексте. В некоторых языках (например, в китайском) подобная переменность гласных возводится в фонологический принцип и несет смыслоразличительную нагрузку — тогда как существенная для ряда европейских языков переменность согласных (например, звонкость или глухота) здесь не играет заметной роли. В предельном случае, соседние фонемы при аккомодации совершенно сливаются, порождая новую фонему (иногда с коартикуляцией). Таковы французские носовые гласные; таковы контекстуальные изменения согласных в греческом языке. Заметим, что здесь ярко проявляется зависимость от звукового строя в целом: для русского — французские носовые подсознательно остаются последовательностями фонем, и он может по-разному произносить *am* и *an* (*em* и *en*) — хотя для француза это одно и то же; точно так же, чешскую фамилию *Kuhař* по-русски передают как *Кухарж* (был такой физик) — хотя куда естественней смотрелась бы запись *Кухарь* (понятно без перевода). Никакая письменность не передаст этой языковой интуиции. Одно и то же сочетание знаков может восприниматься как единый звук — и как нечто составное. Сравните: (*стр*)*уна*, *вы*(*стр*)*ел*, *на*(*стр*)*оение* — и *рас-трубить*, *пост-революционный* и т. д. В слове *советский* сочетание *-тс-* читается как [ц], а в слове *отсев* звуки [т] и [с] сливаться не хотят — при том, что слово *отстой* может читаться по-разному, в зависимости от намерений говорящего.

В реальной жизни фонема не существует сама по себе — она произносится в контексте, в сочетании с другими фонемами. Попытайтесь произнести изолированный звук — вы неизбежно добавите к нему что-то в начале или в конце, хотя бы и редуцированное до неуловимости. Для говорящего базовый элемент речи, ее минимальная единица — это отнюдь не фонема. Разве ребенок начинает с фонем? Нет, он произносит *слоги*. По науке — это комбинации фонем. По жизни — это целостные звучания, разложить которые на фонемы человек не всегда умеет (даже если это профессиональный лингвист). Товарищи-китайцы тут во многом правы: да, у слога есть инициаль, есть финаль — но это единое образование, и потому именно китайская (японская) письменность может считаться истинно фонетическим письмом. Гениальное изобретение корейцев, иероглифы-раскладушки — это уже отход от слогового синкретизма, навязывание языку лингвистических абстракций.

Однако и музыкальный тон, ступень звукоряда — не реальное звучание, а лишь намек на него; живая музыка исполняется на конкретном инструменте, с определенными музыкальными (или иными) намерениями. Иногда такие тонкости отражаются в партитуре — иногда от них сознательно освобождаются. Для неопытного слушателя тембр звука не менее важен, чем его высота, — и музыкальный слух определяют как способность отделить одно от другого (по отношению к языку — грамотность). Сухой остаток таков: в фонетике не следует исходить из одних лишь артикуляционных признаков — поскольку каждая конкретная артикуляция может выполнять объективно разные функции. В одних случаях — это собственно фонема, уникальное осмысленное звучание; в других — это лишь модификатор, способ произнесения другой фонемы, придания ей тембровой определенности. Иногда эти функции могут совмещаться — но они все равно разные, и нельзя сваливать их в одну кучу. А как разделить? Конечно же не по формальному признаку, а в зависимости от речевых намерений. Язык — не фонология, не грамматика… Это иерархия речевых ситуаций, поведенческих стандартов. Точно так же, как музыка — не сводится к умению писать ноты. Формальная звуковысотная или фонологическая структура — всего лишь протокол. А для души — можно позволить себе пару слов без протокола.

О темпе речи

Возможно, новое поколение просто не увидит проблемы. Они приходят в мир с уже сложившимися речевыми реалиями, для них это совершенно естественно — и трудно представить себе, как могло быть иначе. Только регулярные наблюдения на протяжении многих десятилетий позволяют уверенно утверждать: произошла речевая революция, качественный скачок в отношении людей к речи, изменение ее места в языковой культуре.

Как бы долго ни длился век единичного человека, полагаться лишь на собственные впечатления и память было бы опрометчиво. Но сосуществование разных поколений и разных культур дает возможность сравнивать и делать выводы. В каком-то смысле это похоже на ситуацию в астрономии, когда мы редко можем похвастаться прямыми наблюдениями эволюции космических тел — но разнообразие доступных взгляду астрономических систем показывает их также и в генетическом аспекте, выстраивается в какое-то количество относительно устойчивых хронологических рядов. Здесь можно даже усмотреть подобие столь характерному для астрономических наблюдений «заглядыванию в прошлое» — когда свет далеких галактик миллиарды лет добирается до земного глаза. Изучение древних языков в плане их фонологической организации и синтаксической архаики позволяет судить о живом звучании, а в последние века появилась еще и звукозапись. Разумеется, речь идет о серьезном историческом подходе — а не о глупой компаративистике, «реконструирующей» то, чего никогда не было.

Чисто внешне: люди говорят все быстрее. Пожилому человеку эта «скороговорка» может действовать на нервы, ему трудно уследить за разглагольствованиями нынешних трепачей. Возможно, этим отчасти объясняется пристрастие к неспешной жвачке телесериалов — как уход от новостных и развлекательных программ, с их пулеметной трескотней и стробоскопом видеоряда.

Вроде бы, ничего удивительного. Ускорение темпа речи всего лишь следует изменениям темпа жизни. Все разнообразнее и динамичнее речевые ситуации, надо как-то встраиваться и реагировать, перерабатывать лавину информации… И призвать кого-то на помощь быстрее, чем эта помощь станет уже неактуальной. Если диктору отведены все те же пять минут на сводку вдвое большего количества новостей — он поневоле засуетится и затараторит.

Тут кстати придется и еще одно лингвистическое наблюдение: меняется не только темп, но и характер речи. Например, требования к современному диктору совершенно иные: если раньше надо было уметь произнести красиво — теперь важно произнести как можно быстрее; соответственно, артикуляция уходит от глубокого, полновесного звука в сторону высших формант, искусственно поднимает высокие частоты — что, конечно же, сказывается и на тембровых характеристиках. В каком-то смысле, дикция улучшается — поскольку фонемы хорошо различимы даже в быстрой речи (и здесь приходит на ум характерное отличие оперной

манеры итальянцев от пения россиян). Однако платить приходится отказом от речевой индивидуальности: все дикторы как будто на один голос. Возможно, в этом нет ничего страшного. В конце концов, на первый взгляд все солдаты (полицейские, пожарные или мусорщики) кажутся одинаковыми — и требуется время, чтобы за внешним единообразием разглядеть характерность каждого. В качестве курьеза: кукольные современные журналисты (особенно журналистки), попадая в Северную Корею, поражаются монотонности в одежде — они просто не в состоянии заметить тонкие стилевые различия, хотя сами для реликта советских времен выглядят таблетками на фармацевтическом конвейере. Можно вспомнить и о том, как для древних эллинов и носителей классической латыни речь северных соседей казалась сплошным «вар-вар» — тогда как предки восточных славян вообще отказывали преемникам античной культуры в способности членораздельной речи и потому называли всех без разбору немцами.

Нынешнее смешение языков и народов влияет и на фонологию. Мы учимся различать нехарактерные для собственной речи звучания — и наоборот, воспринимать разные варианты произношения одного и того же. Речевая ткань становится более насыщенной, и это тоже требует «расширения канала» — увеличения пропускной способности и повышение скорости обработки.

Но речь меняется не только внешним образом. Как скоропись меняет облик иероглифов, так и динамика речи влияет на формы ее организации, и в конечном итоге — ее глубинное строение. Упрощается синтаксис, отпадает неинформативная морфология. Фразы все чаще склеиваются в целостные речевые блоки — и любой язык, в практическом плане, становится инкорпорирующим (или изолирующим — что по сути одно и то же). Но мы не останавливаемся на достигнутом, нам надо спрессовать речь до предела. И приходит на помощь старинный трюк, который ставят во главу угла суперсовременные теории и технологии кодирования: надо передать часть функций сигнала самому каналу передачи, общей для передатчика и приемника среде. Зачем передавать то, что само собой разумеется? Речь отбрасывает предположительно известное собеседнику, оставляя лишь суть дела — в психолингвистике это условно именуется «предикативностью». Освободившуюся часть полосы пропускания можно задействовать на дублирование, хеширование и иные способы повышения надежности передачи (представьте себе, все эти компьютерные хитрости практиковались в живой речи задолго до появления компьютеров). А если наши предположения ошибочны, и сообщение непонятно, собеседник имеет право переспросить или обратиться к иным, дополнительным источникам.

Страшно подумать, до чего может довести вечная гонка за временем. В конце концов речь перестанет поспевать за ритмом бытия — и отомрет, сохранившись, разве что, в форме этнографической реставрации, в каких-то жанрах искусства. Человеку вообще не нужны будут уши — и будем мы парить в безвоздушном пространстве постигая мысли друг друга на уровне квантовой виртуальности…

Нет уж, давайте лучше обратим внимание на другую сторону происходящего. Помимо количества информации, есть еще и качество. То есть, любая информация нужна не сама по себе, а в связи с некоторыми практическими действиями, напрямую к речи отношения не имеющими. Просто так перемалывать словесную руду — смысла нет, даже если мы умеем делать это очень быстро. Ну, пропустили мы тысячу верблюдов через игольное ушко за одну микросекунду — а дальше что? Если потом предстоит каждому хвост расчесать, да косички заплести, — можно было и не торопиться; им все равно, где в очереди стоять. Настоящий темп жизни определяется не суетливым желанием всюду отметиться, ко всему приобщиться, — а нашей способностью делать дело, производить совершенно конкретный полезный продукт. И как бы ни старались мы обогнать самих себя, объективная необходимость нас при случае притормозит, заставит дождаться правильного момента. Оказывается, что значительная доля речевого общения разменивается на пустяки, что там, где действительно важно друг друга понять и побудить к реальным действиям, можно обойтись и без базара. Для общего представления — достаточно, например, сравнить разные телепередачи: скороговорка новостей и агрессивный напор телеигр в значительной мере испаряются в аналитических программах, а еще заметнее темп речи замедляется в познавательных и обучающих фильмах, или, скажем, в эксклюзивных интервью разного рода публичных деятелей. Эффект замедления сознательно использует реклама:

видеоклип или звуковой ряд чаще всего падают в пустоту — а броский баннер разрывает поток информационного мусора, обращает на себя внимание.

Можно повернуть и другим боком: общение современных людей становится другим, оно меньше опирается на слово — и собственно речь перестает играть в нем сколько-нибудь значительную роль. Сообщение содержится не в речи, а в чем-то другом; снова пользуясь компьютерной терминологией, можно уподобить речь управляющим сигналам, регулирующим обмен полезно-информативными гигабайтами. Послушайте мультяшных героев, тараторящих на каком-то отдаленном подобии языка — надо нам понимать их слова, разбираться в синтаксисе и семантике, выстраивать деревья грамматического разбора? Абсолютно нет. Достаточно общей интонации, настроения, атмосферы… Суть происходящего — в действиях, а не в словах. Точно так же, повседневная речь современных людей больше нужна для настройки на общение, нежели для общения как такового.

Интересна параллель с развитием художественной литературы. Известно, что проза как литературный жанр сложилась довольно поздно, и вплоть до XIX века сохранялось особое положение поэзии как основы и источника художественной речи. В нынешнем мире поэзия почти прекратила осмысленное существование, тогда как проза все больше перерастает из искусства в технологию, так что практически любой (кому не лень) может в кратчайшие сроки склепать тысячестраничный роман, пользуясь стандартными, отработанными приемами; для этого даже не требуется особой грамотности. На любой сюжет с легкостью навешиваются тонны деталей, на любой эпизод — нескончаемый треп по поводу. Обратное влияние на поэзию: рэп. Однако для художественной прозы (пока она остается в сфере искусства) технологические детали значения не имеют, это лишь тот антураж, на фоне которого только и можно прорисовывать тему, действительное содержание романа, повести, рассказа, притчи или афоризма.

Оказывается, что примитивно количественный подход к оценке характера и темпа речи уже не отвечает ее положению в системе языка и в многообразии культуры в целом. В составе этого целого любое явление становится неоднозначным, смысл его зависит от уровня иерархии, и от самого способа выделения ее уровней. Каждый элемент важен не сам по себе, а в его отношении к другим элементам; это отношение оказывается различным как пространственно (в географически, экономически или социально обособленных культурах), так и во времени (с учетом исторического развития).

Простая иллюстрация: существуют традиционные представления о различиях в темпе речи у разных народов — обыватель делает из этого выводы и о национальном характере. Например, русские обычно считают, что французы или итальянцы склонны говорить быстро — а финны или эстонцы стали образцом медлительности. Но, при ближайшем рассмотрении, различия в основном кажущиеся: изобилие коротких служебных слов во французском языке формально требует большего количество слов для выражения той же мысли — и создается впечатление словообильности; с другой стороны, темп итальянской речи связан с фонологией итальянского языка, отчетливым «выпеванием» каждой фонемы достаточно длинных слов; на это требуется время, компенсировать которое можно слегка повышенной скоростью «пения». «Логический» темп речи (количество смысловых единиц в единицу времени) при этом оказывается даже несколько ниже, чем у россиян — тем более нынешних, стремящихся догнать и перегнать главных тараторщиков на планете, американцев. Аналогично и кажущаяся медлительность финно-угорских народов (а заодно и тюрков) связана со строением фраз: там, где русскому требуется несколько слов, им достаточно одного, хотя и сравнительно длинного. Мы просто меряем своей меркой то, что под нее никак не подпадает.

Тем не менее, национальные различия в темпе речи реально существуют — но связаны они не с языком, а с темпом деятельности. Ходит масса анекдотов про забредших в столицу провинциалов, не успевающих мыслью за шустрыми столичными жителями. Каждый день на входе в московское метро я вижу растерянных приезжих, долго соображающих, как преодолеть хитроумие турникета; и сам же я оказывался в положении такого же растерянного, пытаясь, например, победить билетный автомат в парижском метро (далеко не сразу додумался я, что можно прокрутить меню специальным «бочонком», чтобы добраться до нужного типа билета).

Любое техническое или бюрократическое новшество может вогнать непривычных в ступор — особенно, если им по жизни такие приспособления почти никогда не требуются, и не будут нужны. Речь марсельца в Марселе значительно стремительнее речи парижан (хотя и в основном за счет экспрессивных элементов) — но тот же марселец в Париже может выглядеть робким и растерянным.

Общий вывод: да, в истории языка возможны глобальные изменения темпа речи — однако носят они главным образом качественный характер, ибо речь меняется лишь вторичным образом, в силу перестройки человеческой деятельности и вызванных этим структурных сдвигов в языке, отражающих, в частности, иное соотношение речевых и неречевых элементов в иерархии общения. Разумеется, без количественных подвижек не обойтись — однако оценивать их надо с умом, не забывая за внешностью нашей речи то, ради чего мы говорим.

Полная шва

Со школьных времен мы привыкли к тому, что различимые звуки языка (фонемы) делятся на гласные и согласные. И не только в русском языке — но и во многих других. В каких-то языках гласных много; в других — почти нет. Языки вообще без гласных, или без согласных, — это уже экзотика, лингвистический курьез. Даже наличие официально признанных полугласных (вроде [й] или [ў]) не портит в целом простую и понятную картину.

При ближайшем рассмотрении оказывается, что к учебникам следует относиться с осторожностью и не принимать на веру всего, что нам преподают. Попробуйте спросить обычного учителя: по какому принципу мы делим фонемы на гласные и согласные? Чем они различаются? В ответ — только неопределенное мычание. Нет здесь никакого четкого критерия — кроме начальственного постановления, министерского декрета. Говорят, что гласные произносятся «с голосом» — их можно петь. Но каждому вокалисту на практике приходится учиться выпеванию большинства согласных — иначе правильной интонации не получится. Длительность произнесения согласных также варьируется в широких пределах: что петь, что шипеть — можно одинаково долго. Даже «взрывные» согласные (как [б] или [т]) запросто удлиняются в речевой практике, что приходится на письме передавать специальным образом:

Л-л-люб я т-тебе иль п-п-противен?
Ск-к-кажи б-б-без утайки, м-м-мудрец!

С учетом индивидуальных и местных особенностей произношения, граница между гласными и согласными начисто стирается, одно плавно перетекает в другое. Все фонемы размещаются в едином фонологическом пространстве. Если в каком-то представлении наблюдается тенденция к кластеризации (скоплению фонем в относительно замкнутых областях) — в других фонологических пространствах (или при подключении дополнительного пространственного измерения) такой группировки может и не быть. В каждом языке кластеризация происходит по-своему, и далеко не всегда деление на гласные и согласные окажется фонологически значимым.

Но допустим, что в каком-то приближении мы все же можем говорить о гласных как особом классе фонем. По крайней мере, применительно к русскому языку и его родственникам. Тогда можно пойти дальше и нарисовать какую-нибудь упрощенную схему, чтобы разложить все по полочкам согласно теоретическим критериям. Например, посмотрим на положение губ.[24] Понятно, что есть три степени свободы: открыть — сжать, вытянуть вперед, растянуть в стороны. Три пространственных измерения, которые заметно отражаются на качестве звука. Конечно, с точки зрения физики, на движение губ наложен еще и ряд голономных связей: например, ограничения амплитуды или сохранение объема. Поэтому в произношении реализуется лишь часть теоретически возможных комбинаций, в зависимости от этнических особенностей носителей языка. И конечно же, звучание формируется не только в губах, и надо учитывать

[24] На самом деле выделение фонем происходит вовсе не по артикуляционным признакам — здесь важна их смыслоразличительная роль. Но в некоторых случаях языковые реалии бывают обозначены и характерными артикуляциями.

положение языка, работу гортани и т. д. Для нас это сейчас не имеет значения, достаточно одной проекции (хотя бы и трехмерной). Итак, имеем:

губы раскрыты → [а] / [о]
губы в стороны → [и] / [е]
губы вперед → [у] / [о]

А если губы в нейтральном положении? Тогда возникающий звук окажется фонологически неопределенным, хотя и по-разному окрашенным в разных языках. Вот это и есть «шва». Ноль. Точка отсчета. Конец и начало любого движения. Истина и божество.

Название, как легко догадаться, заимствовано у евреев. Звук, который обозначается на письме, но не произносится. Пустое место. Однако такие «фантомы» существуют и в других языках — и есть основания предполагать, что вообще во всех. Но о этом позже. А пока лишь встроим термин в русскую грамматику и припишем ему женский род и неизменяемость — чисто условно, для удобства, чтобы не говорить каждый раз словосочетаниями типа «звук, обозначаемый словом *шва*». Безотносительно к общепринятости или непринятости.

Есть лингвисты, которые все еще тешат себя надеждой на существование «абсолютной» фонологии, единообразно описывающей все возможные звучания — и позволяющей воссоздать звуковой состав самого первого (богоданного?) языка, из которого, якобы, произошли все последующие. На этом пути возникают жаркие споры о качестве и количестве шва — и приводятся веские аргументы в пользу существования нескольких нейтралей, и философские основания для признания только одной. Всякий же, кто уже знает об относительности любых категоризаций, о многоразличии фонологических пространств, по-разному представляющих одно и то же, — человек не столь эрудированный, зато трезво мыслящий, — сразу же скажет, что спорить тут совершенно не о чем, ибо нейтральное в одном отношении перестает быть нейтральным в другом, и не бывает нуля самого по себе, безотносительно к какой-либо шкале. Измеряя одно — получим одно понятие пустоты; измеряя другое — найдем ее где-то еще. Например, физики, придя к понятию абсолютной шкалы температур, тут же начали говорить об отрицательных температурах, поскольку без этого как-то несподручно строить лазеры. Даже оставаясь в рамках одной шкалы, мы не можем совершенно исключить влияния тех факторов, от которых мы при этом абстрагировались — отсюда и разная окраска шва в разных языках.

Тех же, кого лингвистическая эрудиция тянет на возражения, спешу успокоить: я не случайно начал именно с гласных — а о различии «шва на» и «шва нах» речь еще впереди. Условность выделения гласных в особую фонологическую категорию сразу приводит к мысли о нейтральных «согласных» — и вообще, о кластерной нейтральности как выражении самого факта кластеризации. В каждой группе есть кто-то, кого называют «душой компании», кто наиболее полно представляет ее для всех остальных. Иногда, впрочем, статистическое среднее попадает в пустоту — вот вам социологический аналог шва.

В таком понимании, шва — это вовсе не ноль, а наоборот, нечто очень определенное и значимое, и даже более того — порождающее определенность остальных фонем. То целое, по отношению к которому только и можно говорить о различиях. Количественные отклонения от этого «среднего» приводят к качественным различиям точек кластера. Из неопределенности шва вырастает определенность остальных фонем. В философии на этот случай существует категория «мера» — единство количества и качества. Получается, что шва задает единую меру для всех членов сообщества, делает их сопоставимыми, сохраняя своеобразие каждого.

По-другому то же самое можно выразить в терминах иерархического подхода: шва есть фонема более высокого уровня. В иерархической структуре элементы высших уровней — не просто комбинации нижележащих элементов, а их характерные свойства, устойчивые признаки, глобальные характеристики; как мог бы выразиться физик — интегралы движения. В каждой иерархической структуре своя иерархия «нейтральных» элементов (подобно стволу генеалогического древа в эволюционной биологии). Поскольку же всякая иерархия может быть представлена разными иерархическими структурами, само понятие нейтральности оказывается относительным, и говорить о шва можно только в конкретном фонологическом контексте.

Для определенности вернемся опять к различию гласных и согласных. В лингвистике принято ассоциировать слоги с гласными — и возникает «естественная» типология слогов в

зависимости от числа согласных (количественная сторона) и позиции гласной в слоге (качество): CV, CVC, CCVC, CVCC и так далее. При этом ссылаются на эмпирическую очевидность и повсеместность подобного слогостроительства. И совершенно безосновательно. Например, китайский слог строится по иному принципу: *инициаль* + *финаль*. Инициаль — нечто среднее между тем, что мы называем согласными и полугласными. Финаль — сложный комплекс, что-то вроде дифтонга или трифтонга, но с возможным включением «полугласных» и «согласных»; однако к противостоянию согласных и гласных это не имеет отношения, и ее можно на равных основаниям отнести и к тем, и к другим. Привнесенное из Европы деление фонем на гласные и согласные в китайском языке очень условно, и следовало бы рассматривать инициали и финали как два фонологических класса, заменяющих здесь гласные и согласные. Когда европейский лингвист говорит, что китайцы на воспринимают различия согласных по признаку звонкости — он не прав, поскольку для китайца нет согласных как таковых, и говорить об их признаках просто неуместно. Разумеется, китаец может выучить русский язык (а русский — говорить по-китайски); но до какого-то уровня фонематический слух все равно будет опираться на структуры родного языка, и строить чужие звучания из уже знакомых. Например, русскому тяжело дается восприятие французских носовых гласных как самостоятельных фонем — тенденция представлять их парами «гласная + [н] (или даже [м])» сохраняется чуть ли не навсегда (если не жить постоянно во франкоговорящей среде).

Даже для индоевропейских языков относительность различения согласных и гласных делает традиционную классификацию слогов весьма проблематичной. Например, для западных и южных славян типично слогообразующее восприятие «согласных» [р] и [л] — а для русского слоги (и слова) «без гласных» становятся серьезным препятствием. В индийских языках сплошь и рядом роль гласных играют сонанты — и здесь русскому тоже требуется воспитать в себе новые фонологические привычки. Не всякому ясно, как участвуют в слогообразовании полугласные, аффрикаты, дифтонги…

Возникает резонный вопрос: нельзя ли как-то обобщить теорию, найти универсальные принципы чередования и группировки звучаний? И тут без помощи шва не обойтись.

С чего все начиналось? Была простая мысль, что в некотором гипотетическом праязыке наблюдалось регулярное чередование фонем разных групп: после согласной обязательно идет гласная, и наоборот. В этом случае поток речи эффективно разбивается на слоги простейшего вида CV — и лишь потом компаративисты вынуждены были допустить в свой первобытный идеал более сложные конструкции. Так идеалистические предрассудки погубили на корню в общем-то здравую идею.

Если совсем просто — что такое поток речи (неважно, устной или письменной)? Это последовательность отчетливо различимых единиц. На любом уровне. В частности, чтобы получить фонемы, нам придется, произнося любой звук, поместить его в окружение других, качественно иных звучаний. Иначе наш звук просто потеряется и самостоятельной роли в языке играть не будет. Таким образом, в любом случае речь идет о регулярном чередовании чего-то на слух очень разного; в каких-то культурах это развивается в противоположность гласных и согласных — в других возникнут другие фонологические классы. Но сам принцип соединения противоположного универсален, это прямое продолжение объективной диалектики на сферу языка.

Но коли уж назвался диалектиком — изволь сделать следующий шаг и признать, что единство противоположностей достигается в чем-то третьем, на них по виду не похожем, хотя и сочетающем в себе противоположные признаки. Помните гениальную формулу Василия Кандинского: «граница двух красок есть линия»? Так вот, граница двух фонем есть шва.

Тут можно долго цитировать Гегеля по поводу общефилософского понимания границ. Русскому понятно и так: чтобы стыковать в речи качественно разные фонемы, надо «сшить» их в одно целое; для создания такого фонологического шва — и служит шва. И разделяет, и соединяет. Становится то тем, то другим — как портняжные стежки. И вместе с тем остается собой — никогда не превращаясь в другое целиком.

А когда изменится речевая ситуация — фонологическая иерархия обернется к нам другой стороной, и станет последовательностью звучание другого уровня, и потребует новых шва. В

частности, граница между соседними фонемами может стать толще, весомее — и превратиться в особую фонему, в паузу. А значит придется сшивать уже границы паузы с предыдущей и последующей речью — и вот вам снова шва. Как головы дракона: отрубили один стык — возникло два новых. Это называется развертыванием иерархии. Есть и обратный процесс, свертывание, когда два стыка стягиваются в один; поскольку же шва также может играть роль фонемы, совершенно все равно, к чему применять стяжение — любую фонему можно свернуть, превратить в шва. Такие шва могут сохранять специфическую окраску свернутого звучания, они не совсем исчезают, как-то проявляют себя. Полная редукция для языка не характерна. Он всегда оставляет возможность развернуть свернутое — и свернуть по-другому.

В скобках снова помянем Кандинского: толстая линия — это уже краска, и у нее свои границы. В некоторых случаях линия может стать главнее цвета — так от живописи мы переходим к графике. И наоборот — помните детские книжки-раскраски? Обратим внимание: когда обычного человека просят что-нибудь нарисовать, он прежде всего даст контур — а не будет конструировать линию их разных красок. Иерархии всегда развертываются сверху вниз, от общих черт к низкоуровневым деталям. Найти примеры в фонологии — полезное домашнее упражнение.

Но что если граница действительно исчезла, растворилась, потерялась? Краски плавно перетекают друг в друга — и уже не скажешь, где кончается одна и начинается другая. На что это похоже? Правильно, дифтонг. Два звука (или больше) произносятся как один — но «толстый», с внутренним движением, которое невозможно получить простым соединением составляющих фонем, ибо тогда возникнет шва, и дифтонг не состоится.

В общем случае следует говорить не о дифтонгах или трифтонгах (предполагая слияние гласных) — а о произвольных комплексах, вбирающих фонемы любой природы (и любого уровня). Комплексы — обычное явление в мире согласных: например, в слове «струна» комплекс [стр] произносится как целое, не подразделяется на три отдельные фонемы. Частным случаем комплексов в каких-то случаях можно было бы считать и аффрикаты.

В зависимости от контекста и происхождения, комплекс может быть асимметричным — как будто один звук просто модифицирует другой. Очень часто роль модификаторов играют [м] и [н] — они придают соседней фонеме специфическую окраску, а сами редуцируются вплоть до полного исчезновения (вспомним опять французские носовые гласные). В русском языке (и в некоторых других) фонема [и] образует комплекс с гласными, как бы превращаясь в полугласную [й]: *тайна*, *йод*. Очень важный для русского языка способ образования комплексов порождает различие твердых и мягких согласных — которые так тяжело даются иностранцам.

С этого места подробнее. Поскольку шва может превращаться в фонему и наоборот, она совершенно естественно вписывается в какие угодно комплексы. Однако играя роль шва, она одинаково сливается и с предыдущей, и с последующей фонемой — при этом образуется трехэлементный комплекс, аналог трифтонга. В русском языке шва могут быть (как минимум) двух типов — твердые и мягкие, что можно условно обозначить буквами -ъ- и -ь-. Тогда комплекс [лъа] отвечает слогу -*ла*-, а комплекс [ль̣а] — слогу -*ля*-. При этом невозможно сказать к чему шва прилепилась в первую очередь: то ли это [ль̣] + [а] — то ли [л] + [ьа]. Комплекс существует только целиком — как твердый или мягкий слог. Точно так же в китайском языке выделяют в особую фонологическую группу *медиали*, склеивающие инициали с финалями; это еще один пример интегративной функции шва. Особая ситуация — когда комплексы образуются с паузой (которая, как мы уже знаем, есть просто толстая шва, превратившаяся в самостоятельную фонему). Тогда комплексы [лъ_] и [ль̣_] (транскрибируя паузу как [_]) выглядят, соответственно, как твердая или мягкая согласная в конце слова, а комплексы [_ъа] и [_ьа] воспринимаются как начало слова с гласной, открытой или закрытой (в русском языке — йотированной).

Внутри слова стечение гласных или согласных может читаться различно, в зависимости от шва. Так, для русского языка характерна вставка паузы-шва между двумя соседними гласными: сочетание -*ае*- обычно читается как -*аъ_ье*-. Аналогично, на стыке согласных предполагается редуцированное -ъ_ъ-: *волна*, *банка*. Чтобы отобразить иные варианты стыковки, шва может быть выписана в явном виде: *вольна*, *банька*. Для стыков согласной и гласной в русской

письменности приняли другое правило — комплексы [ьа], [ьэ], [ьы], [ьо], [ьу] обозначены особыми буквами алфавита, а характер соединения с предшествующей согласной обозначается при необходимости явным прописыванием паузы-шва.

В зависимости от всего этого и возникает в русском языке идея слога — и правило переноса по слогам, которое можно сформулировать просто: при переносе нельзя разбивать комплексы. На любой (возможно, редуцированной) паузе — пожалуйста. А если уж срослись звуки в одну большую фонему, то их и писать надо вместе.[25]

На уровне гласных и согласных, шва не будет не тем, ни другим — она только стык между ними. Но стоит шва раздобреть и стать фонемой — она может проявить себя или как согласная, или как гласная, в зависимости от речевого окружения. Двойственная природа шва тут проявляется в полной мере. Перед гласной она ведет себя как согласная, после согласной — как гласная. И в некоторых случаях даже начинает по-настоящему звучать. Когда хочется произнести фразу выразительно, человек подчеркивает характер швов — и произносит шва как редуцированные, но вполне различимые (иногда вставные) фонемы. Например, это может выглядеть как удлинение: «А он-ъ-то… тотъ-еще к-ка-азёл!» Очень часто интонирование шва используется в вокальной музыке, как основа хорошей артикуляции, как постановка голоса.

Премудрости шва можно обсуждать до бесконечности. Особая тема — взаимоотношения со спирантами, которые частенько играют роль «озвученных» стыков. Включая придыхания как стык с паузой. Еще одно тонкое различие — фонологическая редукция и образование «суперфонем». Как и шва, это связано с иерархическими структурами в речи — но речь идет о разных иерархиях.

Напоследок подчеркнем еще раз универсальный характер структурирования речевого потока разными вариантами шва. Это есть везде, в любом языке, в любой культуре. Включая искусственные языки (протоколы). Например, язык химических формул, или языки программирования. В прикладной математике даже придумали специальный конструкт для обозначения шва — аппликатор. Конечно, в реальной жизни все намного богаче. Мое дело намекнуть; а дальше — свобода творчества.

Идиоматический смысл

Вероятно, у каждого бывали в общении такие моменты, когда партнер, вроде бы, пытается о чем-то поведать, и говорит вполне связно, и как будто знает, о чем, — однако в голове от этого ни малейшего резонанса, и понять при всем сочувствии ничего нельзя. Даже если все слова сами по себе знакомы. Что уж говорить о замкнутых сообществах, каждое из которых создает особый жаргон, выражающий реалии некой субкультуры, — в том числе и лексически. В лингвистическом плане нет большой разницы между профессиональной терминологией и блатной феней. Ученые формально обозначают элементы своей предметной области, изымая термины из общеязыкового (то есть, общекультурного) контекста; чтобы подчеркнуть отличие от обыденности, заимствуют лексику и морфологию из других языков, используют слова родного языка в необычном контексте или в экзотических формах — в редких случаях возникают и совершенно новые слова. Но то же самое относится и к бурсаку, и к тусовщику (включая виртуальных), и к уголовнику…

Жаргон современной физики, химии, лингвистики или генетики — не для посторонних. Даже в популярном изложении это производит впечатление циркового фокуса, эдакой словесной ловкости, за которой, может быть, ничего и нет. По поводу профессионально надувательских экономических и социологических теорий — мы не будем; зато общение ламеров с админами и службой поддержки — постоянная тема профессиональных анекдотов. В общем, как гласил старинный строительный плакат, стропи траверс!

[25] Такое сращивание возможно и вне фонологии — как особая интонация. А значит, при подготовке к печати художественных текстов редактор не имеет права произвольно компоновать строки и абзацы — надо чувствовать интонационный строй произведения и не спорить с автором.

Тем не менее, все эти речевые завихрения происходят в рамках вполне определенного языка. Мы можем сомневаться в своей способности понять своего лечащего врача (а также в его способности оценить состояние нашего здоровья) — но мы запросто отличаем русского физика от английского или китайского — хотя для нас ни один из них не вразумительнее другого. Багдадский вор на слух заметно отличается от итальянского мафиози; а российские цыгане говорят не так, как румынские или испанские. Стало быть, есть в каждом языке устойчивое ядро, над которым могут сколько угодно надстраиваться диалектизмы.

— Ну, — скажет профессиональный лингвист, — это не новость!

И начнет про глубинные структуры, про функциональные поля и деревья Хомского…

Все это наукообразие страдает, как минимум, одним недостатком, общим для всех наук: предполагается, что предмет науки хорошо определен, дан заранее и устойчив, что он не подвержен историческому развитию или веяниям научной моды. А с языком так не бывает. Плывет в нем все и всегда. Но атмосфера языка, его дух — живет дольше любых частностей. И было бы недурно осознать, что отвечает за такую стойкую определенность.

Задача, конечно, не из простых. И решать ее здесь в полном объеме я бы не взялся. Мое дело — чему-то возразить, и о чем-то догадаться. Возражать я буду религии грамматистов, а догадки свои приведу чуть позже.

Очень старая и столь же навязчивая идея приписывает особую значимость формальной организации языка — его грамматическому строю. Эмпирически этот предрассудок хорошо подтверждается, казалось бы, очевидным сохранением грамматики естественных языков на протяжении как минимум нескольких столетий; а уж языки-зомби вроде латыни или санскрита вообще представляются застывшей схемой, внушительнее вечных пирамид. Непредвзятый исследователь, впрочем, легко обнаружит в подобной «эмпирике» внутренние неувязки и натяжки под внешние требования, и прежде всего зависимость от идеологии. Бытие форм самих по себе пропагандирует философский идеализм — а уж как называть такие призраки, каждый решает сам для себя: тут и объективный дух, и боги с демонами, и абстрактные ощущения, оторванные от ощущаемого и ощущателя… Позиция универсального грамматизма сродни иллюзии пространства и времени как априорных форм восприятия — или вере во врожденную логику и абсолютную истинность математического знания. Предполагается, что формы языка воспроизводят существенные черты менталитета его носителей, а общаются эти носители, просто наполняя уже готовые общие формы энным количеством подобающей случаю лексики. По очень большому счету — оно вполне возможно. Смотря что считать формами общения. Однако если все это называть грамматикой — мы рискуем оказаться далеко за рамками обычной терминологии, и даже за пределами языкознания как такового.

Вот вам, например, знаменитая фраза Л. В. Щербы, которую цитируют абсолютно все, кто популярно пишет у нас о языке, — и я не собираюсь становиться одиноким исключением: «Глокая куздра штеко будланула бокра и курдячит бокренка». Обычно дальше следует восторженное описание того, как студенты уважаемого Льва Владимировича с удивлением обнаруживали, что могут немало сказать о содержании этого учебного примера, исходя из сугубо грамматических соображений. Каждый автор, разумеется, делает собственные выводы из анекдота — но лингвистическая традиция почему-то не желает копнуть глубже глянцевой упаковки и упорно застревает на уровне чисто школьного разбора по членам предложения и грамматическим формам.

Но так ли уж примитивен русский язык? Когда мы говорим «дать дуба» или «заложить за воротник», мы совершенно не предполагаем кому-то что-то давать, или одно закладывать за другое. Слова «паства» и «аудитория» лишь по форме женского рода и единственного числа — а относиться они могут к нескольким особям разного пола или даже вовсе без оного. Идиомы лишь в теоретическом плане раскладываются на составляющие согласно основам грамматики; на самом же деле это устойчивые обороты, играющие роль целостного понятия, единого образа. Язык не в словах, и даже не в способах из соединения. Единица языка есть некоторое культурное единство; как именно оно в языке представлено — историческая случайность, и каждый общественный слой может выражать ту же целостность по-своему. Не только подбирая другие слова — но и меняя саму организацию речи, морфологию и синтаксический строй. Фразу Щербы

в каком-то контексте можно было бы понять и как зарисовку из монастырского быта: «Святые отцы давеча хорошенько надрались — и теперь самое время опохмелиться». По форме это выглядит иначе — но по сути вполне сойдет.

Правильные грамматические построения для разговорной речи — явление совершенно исключительное. Именно это придает живой речи яркую выразительность — что, конечно же, не преминули использовать мастера художественного слова, в любых жанрах — от высокой поэзии до толстых романов, парламентских спичей или тостов. Подлежащее, сказуемое и дополнение вовсе не обязаны всюду ходить в обнимку — иногда им полезно и поссориться, а то и совсем развестись. Редкие в официальной грамматике эксплетивы — для разговорного жанра непреложный закон. То, что проповедник «языковой культуры» клеймит как паразитизм, в непосредственном общении столь же важно, как в театре — декорации, а вокруг жилья — ландшафтный дизайн. Конечно, можно сыграть пьесу хоть в сортире, а жить на свалке; но рядовой зритель все же предпочтет оперу оратории, а в массовой музыкальной культуре видеоклипы совершенно вытеснили с экранов концертное исполнение. Теории Баланчина далеки от культурных реалий — и даже апологеты танца в себе и для себя не могли бы воспринимать абстрактный балет как искусство без неосознанного вписывания в некоторый (хотя бы даже искусственный) культурный контекст, без выработки особого (сколь угодно формального) языка, — а значит, и без образной осмысленности, без танцевальной идиоматики. То же относится и к абстрактной музыке, и к живописи.

Конец XX века довел до логического завершения тенденции эмансипаторства вековой давности — всюду разрешено все. Конечно, это декаданс. Но пока не кончится одно — другому начинаться негде. Языковая идиоматичность пока больна душевной эклектикой, она сама себя воспринимает как болезнь. И надевает маску игры, чтобы справиться со смущением. Вот и давайте немного поиграем.

По моей просьбе один знакомый литератор написал крохотный рассказик, оставаясь в грамматическом поле русского языка, но не используя ни одного русского слова — кроме союзов, предлогов, частиц. Что-то вроде эксперимента по моделированию особо продвинутой идиоматики, превратившейся в диалект, в язык какой-то (никому не известной) субкультуры.

Алак

Крепица злязнула. Нахлость. Прамкие сирусы толонь. По наригам догать куна, в барасах вуны. Негличемо отуброниться — да керде по налину самат.

Гремо заратили зламой, прокибали по разе на кутки. Не кнаж. Порло кибит. Нать ен ровицей призвелит у балистой нады. Погрутавинам наки-то? Магачить о зусках рына забунит. Дорга, сагаши накарак — и позулить до некоти.

Рухлая креча. Налирок высуривает, и за барлы хатолит каче лапыря. Мано же габитам от лаксу римели ни дусика! Тегари дынали комно зарага на болдыша. Таби-таби позешкали у гермы и вайда, ади накасмить дудун леже калища. Готи юратка накиса в донутых обромах.

Потасно выринули мыси, коно бы добуданить до инги. Сансы пержавить. Тубиля приломенно вазолят под кунястым ратом. И выремо сагон, и чахра зосит. Пиличь порух — кобиту селей, и придо загоборами круйнуть. Пошур осачистые цытки, да занетель гохом ляники, ляники…

Пун тегна кодания. Начупится суркая лына, и шени замрежит. А нарасу лемить качун. Кута де вечесть, незарошится взанки, паже стлекавят на гуники подулененные гзиты. Коч мидой, коча бидой. Парак багуза, сиче имерик бужит.

И лазимо крепица. Лутает за комота.

А зано ли мензил? Коженя подешисто крамут — на вочиво парать алак.

На поверхности та же история, что и с примером Щербы: бессмысленный текст не выглядит совсем уж бессмысленным, в нем есть внутренняя связь и скрытая логика. Однако в развернутом повествовании уже не получается списать все на грамматику — и важная

смыслообразующая роль идиомы бросается в глаза. Мы опять оказываемся в роли чужака в незнакомой компании, где все друг друга понимают — а к нам никто и не обращается. Зато мы знаем кое-что из лингвистики и умеем критически посмотреть на собственные представления о языке.

Оказывается, что понимать все сразу, в общем-то, и не нужно. Общение иерархично, и каждый выстраивает эту иерархию по-своему, в зависимости от собственных потребностей и намерений. Кому-то достаточно общей атмосферы, другому важно уловить настроение, а кто-то займется деталями, расшифрует письмена…

Психология учит нас, что всякое (сознательное) действие имеет значение (так сказать, «операционное строение», набор возможных манипуляций с вещами или поведенческих актов) и смысл (место действия в некоторой деятельности, его особая роль в составе целого). Язык, очевидно, должен воспроизвести эту иерархию в своем строении. Традиционная лингвистика связывала значение со словом (неосознанно перенося на живую речь опыт работы с научными понятиями), и смысл искала в особенностях словоупотребления. Разумеется, такая точка зрения отражает лишь один из возможных аспектов речепорождения; всякий речевой акт может быть операцией, действием или развернутой деятельностью — в зависимости от этого одно и то же высказывание по-разному приобретает значение и смысл. Всякий, кому приходилось дорасти до сколько-нибудь углубленного владения иностранным языком, испытал это на собственной шкуре: любая словарная статья описывает различные коннотации (иногда десятки и сотни) слова, и приводимых примеров словоупотребления никогда недостаточно для тонкого разграничения; одно это подрывает доверие к лексеме как носителю определенного значения, и вместо простого заучивания слов приходится играть роли, участвовать в реальных (или хотя бы реалистичных) бытовых сценках. К значениям слов мы приходим через их смысл.

В нашей ситуации, когда самому поучаствовать в чьей-то жизни не довелось, такой опоры на живой опыт нет, и надо выходить из положения как-то иначе. Да, есть формальная структура предложений, которую, при желании, можно разглядывать под микроскопом. Однако, как мы уже поняли, на этом пути мы могли бы обрести смысл только в предположении, что текст изначально грамматичен, то есть, оставаясь в сфере научного или делового общения. А это уже сильное предположение относительно культурного контекста. Наш экспериментальный текст против такой интерпретации, скорее всего, возражает (хотя, конечно, заранее исключать ничего нельзя). Поэтому «перевод» на обычный язык требует не просто «подстановки» словарных значений — важен еще и учет идиоматических коннотаций. Сначала догадаться, в чем смысл происходящего — и отсюда уже заключать о значениях.

Но что в незнакомой языковой среде может произвести впечатление осмысленности в предположении сильной (аграмматичной) идиоматики? Ответ очевиден, если вспомнить, как мы догадываемся о смысле сказанного в реальной жизни. Да, знание лексики, языкового материала, может быть полезно — но в основном для оценки смыслового тона, поскольку подбор слов и расстановка их в значительной мере определены мотивами деятельности и высказывания. При отсутствии опоры на деятельность, основной источник смысловых указаний — интонация. В конечном счете и словоупотребление подчинено интонированию; иногда использование слова больше связано с его звучанием, нежели с предметной наполненностью (отсюда, кстати, нередкие лексические ошибки у людей вполне образованных). Фраза «сошел с ума» звучит нейтральнее, чем «крыша поехала» — а неологизм «хрюкнулся» в определенном контексте каждый носитель русского языка поймет без перевода: не просто хряпнулся, гикнулся и перекандыбасился — а еще и с характерным звуком!

Вот мы и пришли опять к тому, с чего начинали, — к атмосфере языка. На очень базовом уровне языковое единство, похоже, связано с умением воспроизвести (и уловить) типовые интонации — а каждая из них как бы помещает участников общения в общее смысловое поле, настраивает их друг на друга, заставляет чувствовать, мыслить и действовать в резонанс. Языки различаются прежде всего своим интонационным строем, характерным звучанием. А уже потом под это подбирается грамматика, лексика и все прочее. Когда мы говорим на иностранном языке, его носителям бывает иной раз трудно нас понять не потому, что хромает произношение, или слова не те, — просто мы говорим с другой интонацией, и это мешает настроиться на контакт,

требует дополнительных усилий. И наоборот, иностранец может прекрасно понимать слова и видеть структуру фразы — но ее смысл от него все равно ускользает, и надо хорошенько поднапрячься, чтобы оказаться в теме. Когда по-французски говорят, допустим, русский с англичанином — проблемы нет: оба собеседника находятся вне французского интонационного поля и опираются только на формальные показатели, на лексику и грамматику.

Не следует полагать, что вышесказанное относится только к речи. Интонационное единство охватывает все стороны общения, включая письменность, мимику, жестикуляцию — отсюда и характерные графические интонации, и особенности музыкального интонирования… Даже строй мысли нации во многом связан с атмосферой языка. И это понятно, ибо на пути к мышлению есть внутренняя речь, а в ней как раз и происходит переплавка смыслообразующих интонаций в формальные значения.

Обратимся еще раз к нашему модельному рассказу. Каждый может прочесть его по-своему, в зависимости от характера, темперамента, привычек, от настроения и памяти; все это задает индивидуальный настрой на общение — однако любые вариации не выводят нас за пределы русского языка, с его интонационными предпочтениями. Один и тот же человек, при повторном чтении обнаружит, что понимать все можно совершенно иначе, откроет новые грани того же самого. Что это напоминает? Прежде всего — поэзию, где звук сознательно положен в основу интерпретации, а обычные лексические и грамматические связи намеренно размыты, подчинены поэтической логике. Потом приходит на ум, что любое искусство вообще связано с преобразованием бытовых смыслов ради выработки новых — художественность, помимо всего остального, характеризуется еще и внутренней многомерностью, многоплановостью; если нечто не допускает бесконечности интерпретаций — это что угодно, но только не искусство. А за счет чего сдвигается фокус восприятия и один образ превращается в другой? Меняется интонация. В этом суть художественного исполнительства; даже индивидуальное восприятие может подняться до уровня искусства — каждый сам себе интерпретатор. Одну и ту же песню разные певцы исполняют совершенно по-разному; одна и та же тема по-своему выглядит в живописи разных мастеров; своя творческая манера у каждого скульптора, архитектора, актера… Но что-то объединяет их всех — делает представителями общей культуры, или ее исторически ограниченных ветвей.

Есть в философствующей лингвистике направление, провозглашающее первичной целостностью текст — и вне текста ничего, будто бы, нет. Утверждается, что любые сведения, которые вообще возможно получить, вытекают из анализа текста — и только это научно, а все остальное от лукавого. Ну что ж, вот вам наш экспериментальный текст — анализируйте, сколько угодно! А он будет над вами посмеиваться и предлагать каждому свой собственный принцип анализа.

Противоположное течение — герменевтика. Текст важен, якобы, не сам по себе, а в связи с обстоятельствами его порождения и восприятия, и важно не значение, а толкование. Как всегда, противоположности сходятся. И в том, и в другом случае мы упираемся в текст, в мертвый продукт живой деятельности, ее окаменелые останки. Да, по форме окаменелостей опытный палеонтолог в состоянии вообразить себе нечто шевелящееся. И даже если эти догадки близки к тому, что было на самом деле, — ну и что? и что такое «на самом деле»? Вот когда мы восстановим популяцию мамонтов — это будут живые существа, а не формальные реконструкции. Неважно, что современные клоны никогда в точности не повторят ископаемый организм. Они войдут в наш быт по-новому — и это станет объективным «толкованием» палеонтологического «текста».

Точно так же, лишь общаясь по поводу каких-то языковых продуктов, мы постигаем их значение и смысл, наполняем их реальным содержанием. Сам текст, оказывается, не так уж и важен — на его месте мог бы оказаться другой. По мере необходимости тексты подвергаются культурной обработке, многократно «переинтонируются» и «пересказываются», теряют печать авторства, превращаются в фольклор. И в конечном счете закрепляются в языке как одна из его абстрактных форм.

Вот и еще один урок литературно-лингвистического эксперимента. Интонации столь же иерархичны, как и грамматика, фонология — и остальное. В языке все взаимосвязано, одно

всегда может превратиться в другое. Каждую фразу в тексте можно произнести десятками способов — и это придает ей разный смысл. Но произвола нет — ибо для каждой фразы из всех возможных интонаций годится лишь небольшая часть. А когда несколько фраз соединяются в текст, их интонации уже не сами по себе, они активно взаимодействуют, притираются друг к другу и создают общий интонационный строй. Вплоть до полной определенности — и тогда работает принцип дешифровки, и вступают в игру семантические коды, трансформационная грамматика и прочие навороты машинообразной лингвистики. В общем случае перевод — дело творческое, ибо требуется правильно передать стиль целого, сделать верные допущения о его назначении. Техническая статья — это одно, беллетристика — уже другое, а философский трактат — совсем третье. Например, поэт может сознательно соединить в одном образе несколько тем, играть на их переплетении и противоречиях. Было бы величайшей глупостью воспринимать стихи как весть, как проповедь, как наставление… Чем усердно занимаются, например, толкователи Омара Хайяма или Новалиса. Кроме знания и мудрости — есть еще и поэзия, и чем больше ее в стихах — тем они гениальнее. Матерная частушка или блатной романс в этом плане вполне соизмеримы с творениями Эсхила, Фирдоуси или Гете.

Когда мы обнаруживаем в чем-то внутреннюю стройность и целостность, есть соблазн принять это за артефакт, догадаться о культурном предназначении и заняться интерпретацией. В каком-то смысле это всегда правильно — только в качестве творца иной раз выступает сам исследователь, проецируя свое воспитание и время на нечто неодушевленное, пробуждая в нем душу — которая дальше может самостоятельно идти по разным мирам, и одушевлять что-то еще. Творения человеческие, напротив, могут остаться вне культурного поля и потерять собственную одухотворенность, стать вещью среди вещей. Однако поскольку при жизни они все-таки опирались на единство и универсальность человеческой культуры, они останутся внутренне идиоматичными, интонационно насыщенными — даже если соответствующий культурный контекст больше не существует, или вообще никогда не существовал. А значит, есть смысл этим заняться — и осмысленны в том числе и поиски смысла.

Язык как образ деятельности

Грамматика похожа на рентгеновский аппарат: на входе живой организм — на выходе кости, а мягкие ткани превращаются в призрачную тень. И это правильно, это практически важно и необходимо для профилактики заболеваний и своевременного лечения. Хотя перебор с грамматикой — так же, как и с рентгеном, — чреват последствиями. Тем не менее, осторожно поинтересоваться скелетом попробуем.

Живую речь грамматика делит не на фразы и синтагмы, и не на выражения и жесты, а на *высказывания* — нечто целостное в смысловом отношении и не требующее продолжения. Так сказать, квант общения: я свое дело сделал, доложил по уставу, — теперь можно послушать кого-то еще. А нет желающих — могу и сам развить мысль.

Высказывания могут быть устроены по-разному — однако первичной и наиболее фундаментальной формой высказывания считается *предложение*. Соответственно, все вообще высказывания предлагается считать либо предложениями, либо комбинациями предложений (сложные предложения), либо частями предложений, на целое намекающими (неполные предложения). Во многих языках предложение, в свою очередь, состоит из относительно целостных фрагментов, называемых его членами; каждый член предложения может быть, например, выражен словом, либо группой слов — и даже иногда целыми предложениями, а в некоторых случаях и не совсем языковыми объектами: примечаниями, графикой, таблицами или ссылками на имеющие отношение к делу внешние тексты. Гипертекст изобрели не в XX веке; сложная композиция с многочисленными вставными эпизодами и аллюзиями наблюдается в человеческой речи испокон веков, и вполне возможно, что она исторически предшествовала становлению грамматически оформленного предложения, которое рождается из первородного хаоса, как функционально дифференцированный организм — из колоний одноклеточных, — или, если хотите, как Афродита из пены морской.

Но вернемся к школьной грамматике. Обычно различают главные и второстепенные члены предложения. Главные — это подлежащее и сказуемое (по-иностранному именуемые субъектом и предикатом); второстепенные — дополнения и обстоятельства. То есть, мы прежде всего интересуемся, кто и что делает, — а потом уже выясняем по поводу чего, где, когда и как. Разделение, конечно, совершенно условное, поскольку подлежащее может указывать на действие, а сказуемое — на деятеля; точно так же, второстепенные члены предложения имеют тенденцию группироваться вокруг главных — и можно считать, что мы здесь имеем дело с расширениями подлежащего или сказуемого, а не чем-то самостоятельным. С другой стороны, есть языки, в которых подлежащее начисто сливается со сказуемым, так что говорить о главных членах предложения по отдельности возможно только в очень абстрактном плане. Высказывания в таких языках не сводятся к предложению, они построены на другой основе. В оправдание грамматического метода можно заметить, что подобная организация очень архаична, и со временем большинство языков тяготеет к структурной определенности. Но кто знает? — быть может, архаика лишь временно устаревает, чтобы стать намного слышнее в качестве последнего писка моды.

В скобках заметим, что помимо грамматического анализа высказываний, есть еще так называемое актуальное членение, когда одна из частей (рема) становится главной, передает смысл высказывания, — а все остальное (тема) образует некоторый фон, характеризует условия, в которых становится возможным выделение существенно нового. Актуальное членение, вообще говоря, не связано с грамматикой — однако оно может влиять на форму высказывания, особенно там, где другие способы акцентирования смыслов оказываются недоступны (например, в письменной речи). Во многих языках на этот случай существуют разного рода эмфатические конструкции — а это уже чистой воды грамматика. В каком-то смысле, можно свести актуальное членение к грамматическому, если предположить, что невербальные средства могут использоваться в языке для выражения грамматических функций наряду с морфологией и синтаксисом. Вовсе не обязательно, чтобы форма множественного числа обозначалась видоизменением слов или их комбинациями, — точно так же для этого годится специфическая интонация, или выразительный жест. Если подобное использование интонаций и жестов закреплено в культуре — они ничем не отличаются от остальных элементов языка и могут трактоваться с сугубо грамматических позиций. В письменной речи возможно практически неисчерпаемое разнообразие формальных указателей, начиная с расстановки знаков препинания (или отсутствия оных) — до многомерной типографики с элементами гипертекста и мультимедийными вставками. Исходя из этого, будем считать, что всегда возможно привязать тему к подлежащему, а рему к сказуемому в некоторой обобщенной грамматике, учитывающей особенности речевого поведения в различных ситуациях.

Что это нам дает? Прежде всего, универсальное отношение языка к миру. В самом общем случае, в любой части Вселенной и на любых ее уровнях есть нечто — и то, что с этим нечто происходит. Мир как материя — и мир как рефлексия, постоянное возвращение в себя. Оказывается, что язык неплохо приспособлен к отражению этой всеобщности. Впрочем, оно и не удивительно, поскольку разум — часть (или аспект) того же целого, и просто не может не вписаться в него. Наши ошибки преходящи, наши прозрения — вечны.

В качестве короллария — воспроизведение в языке строения человеческой деятельности, которая, конечно же, тоже протекает в единственном, общем для всех мире. Для выражения этого строения в философии существует фундаментальная категориальная схема:

объект → субъект → продукт.

Применять ее (как и все категориальные схемы) можно очень разными способами. Например, субъект выступает в качестве действующего лица — берет нечто природное (объект) и делает из него что-то, природе просто так не свойственное (продукт). Или так: субъект есть отрицание объекта, а продукт снимает противоположность объекта и субъекта, представляет их в единстве. Разумеется, есть и другие «толкования» (*обращения* иерархии). Некоторые лингвисты пытались отыскать в языке такую схематику напрямую, в явном виде. К этому склоняется и школьная грамматика, в которой всякое предложение состоит главным образом из деятеля (субъекта) и его действия (вместе с дополнениями и обстоятельствами, показывающего, что, во что и как деятель

превращает). Непосредственное теоретическое расширение — универсальный семантический код (В. В. Мартынов),[26] представление семантических структур стандартными *SAO*-блоками (субъект — действие — объект). Из таких блоков можно строить иерархические структуры (подобно тому, как чуть раньше психологическую модель деятельности пытались сконструировать из универсальных ячеек, *TOTE*-схем). К сожалению, простые исходные принципы быстро обросли водорослями наукообразных деталей; потом, как это часто бывает, детали задушили исходную мысль, подменили собой идею, и в конце концов отказались от всяких идей вообще. Мы рисуем формулы — и все счастливы.

Но идеи как раз и нужны для того, чтобы заметить формальные неувязки, показать суть дела, не давая себе увлечься технологическими фокусами. Когда исходно простая схема приводит к громоздким практикам — что-то не так с базой, и надо не практики усложнять, а чистить фундамент. Так в свое время Коперник обошелся с птолемеевой астрономией. Именно таких решений давно ждет современная компаративистика. И прямолинейность формальных семантик следует лечить теми же методами.

В чем фишка? А в том, что все традиционные представления исходят из пассивности носителя языка, забывая, что люди не только отражают окружающий мир, но и сознательно преобразуют его, не только пользуются языком — но и творят его. Язык в таком понимании становится априорной схемой, предписанием божественного программиста или биологическим приспособлением. А то и абстрактной идеей, витающей за гранью пространства и времени.

Да, конечно, науке достаточно абстракций — которые приводить к жизненным реалиям будет кто-то другой. Но задумываясь об основаниях науки, мы обязаны поинтересоваться границами применимости, указать альтернативы и предложить пути развития. Для этого нам и потребуется вышеописанная двучленная схема типа «что было — что стало».

Во-первых, сама ее двучленность намекает на то, что нельзя тупо проецировать сюда базовые компоненты деятельности. Три на два не делится. Следовательно, надо посмотреть, в каких случаях триаду деятельности можно свернуть в нечто двучленное. И не по произволу автора, а по самому устройству этого мира. Поскольку же мир бесконечно разнообразен, даже триады свертывать он может по-разному, и любое решение будет не единственным. Для любителя формул — это досадная неоднозначность. Для нас — богатство возможностей и требование не останавливаться на достигнутом.

Возьмем за основу одно из возможных обращений триады, ее «системное» представление как цепочки переходов от одного к другому. Тогда получается, что субъект *опосредует* переход от объекта к продукту; можно сказать, что он выступает тут как некоторая система, преобразующая объект (вход) в продукт (выход). Все знают, что выход можно снова подать на вход — и получить новый продукт, и так сколько угодно. Возникает цепочка превращений — процесс. Когда в этом процессе воспроизводится один и тот же продукт, мы говорим о системах с обратной связью. С другой стороны, разные объекты на входе — (возможно) разные продукты на выходе; совокупность всех возможных преобразований характеризует субъекта как систему (хотя, конечно же, такая характеристика не исчерпывает идею субъективности).

Но человек живет не сам по себе, он существо общественное. В качестве субъекта он представляет не себя самого, а общество в целом. И другие люди могут представлять общество точно так же (с точностью до обращения иерархии). Другими словами, один субъект в деятельности может заменить другого — выполнять ту же общественную функцию. То есть опосредовать преобразование такого же объекта в такой же продукт В триаде

объект → субъект → продукт

опосредование становится лишь номинальным, вместо субъекта — чистое местоимение[27] (по-английски — *placeholder*):

объект → (…) → ***продукт,***

[26] За рубежами СССР, конечно же, эти работы были совершенно неизвестны — и появившаяся примерно тогда же теория концептуальной зависимости (Шенк) во многом уступала мартыновской схеме по части идейной определенности и прозрачности. Но американские деньги весомее белорусских рублей — и Шенка уважают больше.

[27] Связь с грамматикой тут самая тесная — но это повод для отдельного разговора.

а в скобки можно поставить что угодно (например, природный процесс). На философском языке это называется снятием опосредования и записывается как

объект ⇒ продукт.

Вот вам и превращение трех в два. Именно такая, снятая деятельность становится элементом материальной культуры — и отражается в языке.[28] В результате деятельность можно передавать от одного субъекта к другому как объект (или продукт) — и таким способом строить из нескольких индивидуальных субъектов одного коллективного, потом объединить его еще с кем-то — в любых комбинациях.

В самом общем случае предложение соединяет языковые образы объекта и продукта некоторой деятельности. Факт такого соединения и есть речевой акт, высказывание. Субъект деятельности «выпадает» из речи, он там никак не обозначен. Почему? Да потому что он есть тот, *кто* говорит (или тот, *кому* говорят), а не то, *о чем* говорят. Здесь источник всех проблем с традиционной семантикой, будь то УСК, схемы Шенка или Мельчука, логико-сематические модели. Некоторые пытаются насильно впихнуть его обратно, начиная каждое предложение словами: «Я полагаю, что…» Напрасный труд. Ибо тот «я», который здесь заявлен полагающим, отличается от того, кто заявляет. И само предложение теперь уже совсем не о том, изменяется его смысл (то есть, оно ссылается на другую деятельность). Действительно, забивать гвозди — это одно дело, а смотреть на то, как кто-то (хотя бы и сам смотрящий) этим занимается, — другое. Поскольку ученые лингвисты занимаются по роду своей деятельности именно рассматриванием (а самим взяться за молоток им западло), они обнаруживают, что их интроспекция по форме совпадает с самой деятельностью — и они (в какой-то мере) наивно полагают, что так и должно быть всегда и везде, — переносят свои иллюзии на всех остальных. Таковы классовые корни философского идеализма, в том числе в лингвистике.

На всякий случай еще раз обратим внимание, что субъект в философском смысле, как субъект деятельности, отличается от того, что называют «субъектом» в грамматике, от подлежащего, о котором что-то утверждается в «предикате» (сказуемом). Терминологическая наследственность особенно тяжела в некоторых европейских языках, где совершенно разные вещи обозначаются одним словом — и надо каждый раз крепко думать над формулировками, чтобы не перепутать.

Но если субъекта в предложении нет — значит ли это, что он там вообще никак не присутствует? Никоим образом. Суть философской категории «снятие» (*Aufhebung*) в том, что «уничтоженное» различие обязательно сохраняется — в снятой форме, как некое внутреннее единство. В нашем случае сам способ различения и соединения подлежащего и сказуемого (темы и ремы) и есть объективное выражение снятого субъектного опосредования. То есть, субъект может быть неявно представлен в предложении формальной организацией высказывания — грамматикой. Тем, что не принадлежит предложению по смыслу, находится «над» ним. Следовательно, организация языка показывает нам внутреннюю сложность субъекта, дает заглянуть в историю развития культуры. Разумеется, если пользоваться этим рентгеновским аппаратом умеренно и не забывать о других средствах диагностики.

После очень глубоких, но скучноватых рассуждений — неплохо было бы оживить все вышесказанное яркой иллюстрацией. Попробуем. Возможно, получится не слишком ярко — зато не ослепит.

В (индо)европейских языках (в отличие от, например, китайского) существует такая часть речи как глагол. И не просто существует, а очень активно вторгается в грамматику — так что бедным студентам приходится сначала принимать к сведению громоздкие системы спряжений, наклонений, модальностей — а потом еще и зазубривать длинные списки неправильных глаголов, со всеми их формальными несуразностями. Тем не менее, ни одного полноценного предложения без глагола не построить, и кое-кто даже склонен сводить сказуемое к глаголу — отдавать ему на откуп суть происходящего. В английской грамматике сказуемое частенько так и называют: *verb*. И только потом соглашаются расширить его до *verbal group*.

[28] Другая сторона того же — воспроизводство самого субъекта (духовная культура). Так возникают еще два варианта снятия опосредования в деятельности. Но мы все же сосредоточимся на основной теме.

Однако для тех, кому приходится использовать язык профессионально, — и прежде всего для литераторов, — глагол остается самой бедной и невыразительной частью речи. Основная образно-смысловая нагрузка ложится на существительные, прилагательные, наречия, — а глагольные конструкции приобретают определенность лишь на этом фоне, косвенно, заимствуя содержание со стороны. В конечном счете, глагол можно вообще опустить — все и так будет понятно. Например, русский язык игнорирует связку в «предложениях бытия» — а турецкий язык вообще можно было бы считать безглагольным, поскольку любые намеки не движение там легко встраиваются в имена.

Ясно, что происхождение глагола связано с культурными особенностями первобытных европейцев, которые шли к членораздельной речи своим собственным путем, непохожим на историю других народов — назло упрямой компаративистике, пытающейся произвести всех от Адама с Евой. Истоки языка — всегда в деятельности. Первичная синкретическая речь была неотделима от жеста, от действия. Самое обобщенное в повседневно совершаемых действиях выражалось при этом в слове, означающем, прежде всего, акт, процессуальность, — даже в описании статических явлений, ибо и статику человек пропускает через *процесс* восприятия. Здесь корни обобщенности глагола, его абстрактности. Но поэтому глагол и наиболее субъективная часть речи — ибо для человека как субъекта деятельности процессуальность неотделима от субъективности: вспомним по этому поводу долгие, героические, но совершенно бесплодные попытки вытравить движение из математики — и провозгласить истинно объективным только формализованное знание.

Почему же в одних языках есть глаголы, а в других — практически нет? Вроде бы, через первобытный синкретизм все должны были пройти. Тут уже не отвертишься. Скорее всего, причина тут в темпах социализации. Если этот процесс обгонял развитие языка — глагол отомрет на ранних стадиях. Если по каким-то причинам раннее общество долгое время поддерживает обособленность индивидов — это приведет к развитой глагольной грамматике. Известно, что в ранней древности грамматический строй китайского языка был ближе к европейскому; происходящее в современном китайском языке функциональное расслоение объясняют агрессивным языковым влиянием Европы (и Америки) — хотя, возможно, тут сказывается и становление китайского капитализма, а индивидуалистичная суть капиталистической культуры приводит к своеобразной «вторичной грамматикализации».

В свою очередь, темп социализации зависит от внешних условий становления общества на самых ранних его этапах. Прежде всего это характер среды обитания (от которого зависит структура и темп деятельности). Другой важный фактор (связанный с географическим типом первичного ареала обитания) — биологическая кооперация. Виды животных, ведущие стадный или стайный образ жизни, рано вырабатывают специфическую для каждого вида иерархию доминирования, без чего эффективное взаимодействие в животном сообществе невозможно, а значит, и адаптивная ценность совместного проживания невелика. Однако нельзя понимать дело так, будто бы биологическая иерархия на каком-то этапе превращается в социальную, заимствуется обществом из животного мира. Важен *качественный* характер биологической кооперации — на основе которого складываются уже другие, социальные формы. Один из возможных факторов — преобладающий способ питания (для животного это первое дело). Например, более высокая доступность растительной пищи может способствовать образованию сообществ «стадного» типа — с монолитной массой, ориентирующейся на «вожака», с большей склонностью к имитации чужих действий. Но именно имитация лежит в основе первичного обмена деятельностями — и следует ожидать в таких сообществах более высоких темпов социализации. Напротив, когда основным источником пищи служит охота (включая активный поиск растительных ресурсов — например, грибная охота), животная кооперация приводит к сообществам «стайного» образца, с более гибкой иерархией доминирования, допускающей динамическое распределение и перераспределение функций. Каждый член сообщества остается при этом относительно самостоятельным — и стая лишь задает контекст деятельности, определяет выбор роли в зависимости от ситуации. То есть в каждом конкретном случае важна не только деятельность как таковая (***объект*** $\Rightarrow$ ***продукт***), но и то, как субъект будет включен в эту деятельность. Вот это и есть первобытный глагол.

Надеюсь, не нужно объяснять, что все это — на уровне далеко идущих гипотез, тогда как реальное развитие, вероятно, задействует совсем другие механизмы. Однако наша цель — не теория, а иллюстрация. Тут сгодится и мысленный эксперимент, и столь же воображаемое его объяснение.

Коль скоро мы разобрались с глаголом, встает вопрос: а как появляются другие значимые части речи (про местоимения или служебные слова — особый разговор)? Самые ранние формы языка — это междометия, полнейший синкретизм, как первые высказывания-возгласы у младенца (или матерная эмфатика). Глагол как первичная грамматическая форма, отделяющая субъекта от деятельности, наследует односоставность этого зародышевого языка, добавляя к нему представление о процессе, о развитии от начала к концу. Не случайно основной грамматической формой глагола становится время. По сути дела, глагол и есть показатель времени, пристроенный к синкретичному, монолитному протопредложению (представителю конкретной деятельности). Происходит он, как нетрудно заметить, из самого истока языка — обмена деятельностями. Это сигнал другим членам сообщества: я этим еще занимаюсь! — или: я уже закончил, продолжайте сами. Отсюда, кстати, универсальное слияние в естественных языках настоящего и будущего времени (иногда грамматически оформленное) — в противовес прошлому.

Итак, деятельность + время = глагол. Дальнейшее размежевание языковых форм есть результат социального оформления, стандартизации деятельности, когда унификация условий и орудий труда приводит к выработке соответствующих *имен*, ссылок на обстоятельства труда (не обязательно лексически обособленных) — и закреплению за ними содержания деятельности (аналог сдвига мотива на цель в общей психологии). За глаголом остается чисто абстрактное выражение «актуальности», указание на то, что все это относится к деятельности (прошлой или все еще предполагаемой). Так возникает основная семантическая ячейка: ***объект*** $\Rightarrow$ ***продукт*.**

В простейшем случае и объект, и продукт могут быть представлены просто словами, именами существительными. По мере развертывания, речь допускает «подстановку» на место любого имени как-то «упакованного» высказывания, то есть, ссылки на деятельность. Способы свертывания в разных языках разные — но суть одна. Например, в английском языке можно вставить на место любого имени сколь угодно длинное предложение: *This I don't know what is actually something I ain't going to much dwell upon*. По-русски в таких случаях требуются особые иерархические структуры — сложные предложения. В конечном счете все это отражает иерархичность самой деятельности, которая допускает разные наборы действий, каждое из которых по-разному реализуется последовательностями операций. Понятно, что подобная «детализация» имен приводит к еще большему обеднению связок — опредмечивание имени есть одновременно распредмечивание глагола. В частности, от глагола запросто отделяются обстоятельства образа действия — их выражение будет тогда связано с более тонкой внутренней дифференциацией объекта и продукта. И, наконец, глагол может быть совершенно изгнан из языка. Что мы иногда и наблюдаем на практике.

Нетрудно догадаться, куда это заведет дальше. Как двучленная семантика была получена свертыванием иерархии деятельности, так же и саму эту схему можно свернуть дальше, объединить объект с продуктом — это по жизни просто необходимо, если мы не собираемся умирать сразу же по завершении каждого великого дела. Предложение «Иван — дурак» легко превращается в единый комплекс, в имя более высокого уровня — «Иван-дурак», или попросту «Ванька». Уходя от первобытного синкретизма, мы к нему же в конце концов и возвращаемся, и дальше можно опять навешивать на комплекс время, опять выделять имена и обстоятельства (например, «ваньку валять») — и опять снимать это различение в имени другого уровня. Язык оказывается не остывшим трупом, а бурлящей неожиданностью, где все во все может превратиться, исчезать — чтобы через мгновение являться в новом обличии. Почему так? Да потому что такова человеческая деятельность — а язык возникает по образу ее и подобию.

В реальности каждой культуры свертывание и развертывание языковых иерархий следует ее исторически сложившимся традициям. Как люди действуют — так они и говорят. Если вернуться к европейским языкам, легко заметить, что все многообразие глаголов — чистая видимость, а практически различаются лишь несколько базовых функций: объектность (быть чем-то), продуктивность (порождать нечто), процессуальность (проходить стадию чего-то). В

различных комбинациях эти измерения выражаются разного рода вспомогательными глаголами (связками). Непроходимой грани между «значащими» глаголами и связками нет, одно может при случае превращаться в другое. Например, в русском и французском языках связка *быть* (*être*) обслуживает и характеристику (быть чем-то или каким-то), и временное состояние (находиться где-то или играть какую-то роль). В испанском языке мы видим различие связок *ser* и *estar* (со специфическим распределением обязанностей). Во французском языке роль связок играют также глаголы движения: *aller, venir*; иногда конструкции с этими глаголами считаются составными временными формами, а не просто идиоматическими оборотами. По-русски тут приходится задействовать морфологию — или добавлять виртуальные связки, вроде глаголов «становиться», «собираться» и т. д. Но по сути — всякое предложение с глагольным сказуемым можно представить в предикативном виде с одной из базовых связок:

я иду = я [состояние] *ходьба*
он дурак = он [качество] *дурак*
он валяет дурака = он [создание] *видимость дурака*

Заметим, что в этом аспекте обладание (*иметь, avoir*) функционально не отличается от бытия (*быть, être*), поскольку любое обладание лишь обозначает некоторое бытие (в качественном или количественном смысле):

обладать качеством = быть обладателем качества
обладать вещью = быть владельцем вещи
to have done = to be the producer of

Поэтому в образовании сложных временных форм глагола в равной мере могут участвовать связки *быть* и *иметь*, и каждый язык решает этот вопрос сам для себя. Именно такие различия интересны для подлинной компаративистики (в отличие от поисков мифического праязыка), ибо через них мы приходим к истории народа и открываем возможные пути развития.

Очевидным образом от множества связок можно перейти к одной-единственной:

я иду = я [→] *состояние ходьбы*
он валяет дурака = он [→] *акт изображения дурака*

Любые показатели образа действия (постоянство, временность, регулярность, план прошлого или будущего и т. д.) старательно убираются в предикат. Присутствие связки в такой грамматике становится чисто формальным — и она может быть просто опущена. Тем не менее, совсем исчезнуть она может лишь при полном свертывании высказывания в имя. До тех пор, пока мы различаем объект и продукт, начало и конец деятельности, источник и результат, — между ними неизбежно появится и языковая граница. Будет это глагол-связка или грамматическая форма имени — без разницы. Важен сам факт соединение в высказывании противоположных сторон целого. Без такого соединения — нет действия, и нет высказывания.

Противоположная грамматическая тенденция — все превращать в глагол:

он дурак = он дуракует
он валяет дурака = он дурачится

Понятно, что отличие такой поголовной «процессуальности» от чистой предикативности — только по форме; мы как бы переопределяем сами понятия имени и глагола. Упаковать в один глагол несколько имен (определения, обстоятельства, дополнения) несложно; грамматически это представляется как соединение нескольких простых предложений в составное:

это зеленая крыса → это крысеет и зеленеет
я вижу кошку на холме → я вижу, как кошкеет и нахолмеет

Таким способом превращается в глагол и подлежащее:

кошка бежит → кошкеет и бежит

Очевидно это полный аналог свертывания предложения в имя (*бегущая кошка*). Не составляет труда оформить таким способом и логику действия (последовательность или совместность), аналогично тому, как показатели времени убираются в атрибуты имен.

Итак, универсальная схема деятельности ***объект → субъект → продукт*** на практике представляется очень разными грамматическими структурами, каждая из которых отражает историю народа — носителя языка. Эта история материализуется в строении субъекта, а язык становится одним из инструментов осознания собственной субъектности — на пути к разуму.

Пространство и время языка

Уж кто только не писал про это! Тысячи страниц всех времен и народов. Сотни солидных конференций — национальных и международных, научных и не очень. Кто другой — рисковал бы потеряться в этом океане. Но я не рискую. Во-первых, потому что никто меня еще и не находил — а потому и терять нечего. А во-вторых — есть у меня мысль, и я ее думаю…

Как-то все пространственно-временные аспекты языка группируются вокруг двух основных тем: язык в пространстве и во времени *versus* время и пространство в языке. С одной стороны, география и история. С другой — содержание наших речений. Две чаши весов. Но что их соединяет? Как это часто бывает, мы видим главное — и не обращаем внимания на все, что ему сопутствует и делает его возможным. Кладем, так сказать, уравновешиваем один опыт другим. А у весов, ведь, не только чаши — у них еще и коромысло, и подвес… Когда все хорошо пригнано да смазано, про механику дела задумываться незачем. Но рано или поздно упремся в коварный глюк, и будем в недоумении чесать репу… Так лучше уж заранее подготовиться, хотя бы морально.

Кто не понял — объясняю. Речь пойдет о том, что язык не только существует в пространстве-времени, и не только отражает его, но еще и сам является пространственно-временным образованием. Как все вообще в этом мире. Поскольку оно есть и развивается.

Стало быть, начинаем издалека.

Сразу признаем, что мы все (и каждый из нас) — только часть большого мира, и что другого мира нет. Соответственно, все в нем — лишь разные способы обособления всяческих единичностей в их отношении к целому. А никак не относиться к нему единичности не могут, поскольку их единичность есть просто способ разделить целое на части, не более того. Один способ не лучше другого. Как только что-то образовалось — предполагается и все остальное. В философии это называется материальным единством мира. А каждая единичная вещь все равно воображает себя центром мироздания и объявляет весь мир *своей* материей — материалом. Разумеется, что и для чего будет материалом — это дело весьма и весьма относительное. Но вообще без материала обойтись невозможно — из единственного мира выпрыгивать некуда!

С другой стороны, поскольку мир только один, как-то сопоставляться он может только с собой. Это называется рефлексией («возвратностью»). Опять же, из всеобщего могут по-разному выделяться части, и рефлексия предстает в разнообразнейших обличьях. Например, по отношению к единичным вещам — это их форма (как философская категория, а не только умение выглядеть в чьих-то глазах). Но когда единичность представляет мир в целом — она *существует* (как его часть), и рефлексия становится *существованием*.

Единство материи и рефлексии называется субстанцией — но эту тематику нам сейчас затрагивать незачем, равно как и вопросы, связанные с различием уровней рефлексии (существование, жизнь, разум). Отметим только, что человек в этой картине принципиально отличается и от животных, и от неживых вещей, а человеческая (сознательная) деятельность — тоже рефлексия, но особого рода.

Как эти воззрения называть — совершенно все равно. Я предпочитаю словечко «унизм». Во-первых, коротко. А кроме того — даже при минимальном знакомстве с вульгарной латынью намекает сразу и на единственность (уникальность), и на всеобщность (универсальность), и на единство многообразного (выразим, кстати, признательность английским изобретателям).

А пока вернемся к существованию. Существуют единичные вещи — поскольку они выделены из целостности мира. Существует мир в целом — поскольку он представляет себя и в этом смысле выступает как некая всеобщая вещь. Вещью может оказаться что угодно — в том числе и отношение вещей друг к другу, что, как легко видеть, есть просто единичность рефлексии; как всякая единичность, она относится к целому, и можно говорить о ее материале и форме. С одной оговоркой, что материализуется рефлексия только через другие вещи, через их материал и формы. Поэтому, говоря о языке, мы должны рассматривать способы общения (деятельности), которые он обслуживает, и отчетливо осознавать, что за каждым элементом языка стоит некоторое общественное отношение. А в остальном язык такая же вещь, как и все прочие, и существует как самостоятельная целостность, уменьшенная копия большого мира.

Пространство и время мы собираемся связать с разными способами (или сторонами, или уровнями) существования. А именно, все существующее, во-первых, как-то присутствует в этом мире (*бытие*); во-вторых, оно может по-разному относиться к окружающему, менять свое «место» в составе целого (*движение*); наконец, оно и само меняется — то есть, по-разному относится с самому себе (*развитие*). Интуитивно, внимание прежде всего обращаем на центральное звено этой триады, на движение. Действительно, пространство по самой своей сути есть совокупность возможных проявлений чего-то — а значит, речь идет об отношении единичной вещи к целому. С другой стороны, время есть место вещи в собственной истории — и здесь тоже присутствует отношение единичного к общему. Как выражаются философы, пространство и время суть атрибуты всякого движения. А если по-простому, все движется в пространстве и во времени, и других вариантов нет. Разумеется, если не подходить к делу слишком прямолинейно и не связывать категории пространства и времени только с тем, что нам известно из физики. Бытие, ведь, возможно не только физическое, и некоторые его уровни от природы весьма далеки, так что их материальную основу еще поискать! Например, если говорить о бытии языка.

В общем случае, пространство — это характеристика движения со стороны бытия; напротив, время показывает движение в отношении к развитию. Но можно повернуть и по-другому: пространство характеризует бытие в его отношении к движению, а время — низший уровень развития, всего лишь переменность, последовательность, упорядочение. Иерархии любят такие фокусы — и всегда готовы повернуться тем боком, с которого к ним подошли. Чтобы поймать неуловимое, придумали категориальные схемы. Например, приведем иерархию существования к простейшей (линейной) схеме

бытие → пространство → движение → время → развитие

А дальше всякий волен по-своему расставлять знаки препинания. В зависимости от этого пространство будет вести себя то как бытие, то как движение; соответственно, и время будет смотреть сразу в две стороны, примазываясь то к движению, то к развитию. На самом деле в этой схеме следовало бы еще предусмотреть снятие развития, превращение его в бытие (что мы запросто делаем в языке, понимая, например, развитие как развитость, уровень развития). Но происходит это уже за рамками существования как такового, через материальность мира. Для наших целей достаточно осознавать, что любые противоположности диалектически перетекают друг в друга — и любая схема оказывается цикличной. На то она и рефлексия, возвратность. Соответственно, пространство мы воспринимаем через время, необходимое для его освоения, а время — выражаем в пространственных единицах и судим о нем по пространственному расположению чего-то относительно чего-то. Но в отличие от наивных физиков, которые тупо отождествляют время с пространством на основании принципиальной выразимости одного через другое, мы еще помним, что в языке одни и те же слова запросто могут обозначать вещи совершенно разные, и даже противоположные.[29] Если палец на руке и палец на ноге называются по-русски одинаково — руки отнюдь не становятся ногами; вероятно, в каком-то смысле русским оно все едино — а в других языках даже названия будут разными: 指头 *vs.* 脚 趾, ‘doigt’ *vs.* ‘orteil’, ‘finger’ *vs.* ‘toe’. Взаимосвязь — это не всегда тождество, а устанавливать ее надо, уже умея различить то, что мы собираемся связывать, — и не абстрактно-математически, а путем объективно обнаружимых практических действий.

Вооружившись фундаментальной теорией, можно подступаться к пространственно-временной лингвистике.

На первый взгляд, дело эмпирически очевидное: есть речевой поток, и мы все умеем преобразовать его во внутреннюю картинку (содержание речи), а другие внутренние картинки развернуть в последовательность актов артикуляции (будь то озвучивание фонем, выписывание букв или стук по клавиатуре). Имеется внешнее движение (деятельность) — и это сразу же вводит пространство и время как его неотъемлемые противоположности. Например, для устной речи, можно рисовать траектории в каких-нибудь фонологических пространствах. Буквы

[29] Всякому компьютерщику это понятно и хорошо знакомо, ибо переопределение (overloading) свойств, методов и операций — основа основ объектного программирования.

выбираются из конечного алфавита, слова из конечного словаря. Для дискретных кодов есть технологии сжатия, преобразующие последовательности символов в единичные символы и разносящие их по разным уровням алгоритмической сложности. Вот вам и превращение времени в пространство, и наоборот. Ничего особенного.

Так ли уж все скучно? Развертывание речи в физическом времени — это тривиальный, самый примитивный пример времени лингвистического. В сущности, до лингвистики мы здесь и не доросли, ибо речь идет о лишь о том, что роднит язык с любой другой деятельностью, также протекающей в физическом времени и пространстве. Однако из одной почвы растут разные цветы — и говорить о речевом движении, конечно же, надо. Чтобы все остальное было с чем сравнивать. Но даже в этой полулингвистике есть свои пикантности и глубокие места.

Например, как получается, что устная речь, в которой одно телодвижение плавно перетекает в другое, вдруг начинает делиться на фрагменты, превращается в дискретную последовательность? Да и в письменной, и в экранной речи воспринимаются отнюдь не графические элементы, и не буквы, — а куда более крупные комплексы, выстроенные по собственным законам, и порождающие собственное время — существенно отличное от физического. А значит, и соответствующее пространство.

Конечно же, диалектика дискретности и непрерывности присуща любой деятельности. Мы знаем (благодаря классическим трудам А. Н. Леонтьева), что деятельность как сплошной поток, как направленность движения, на практике превращается в набор отдельных действий, представляющих собой как бы отрезки деятельности, имеющие начало и конец. Внутри себя действие столь же непрерывно, и во всем подобно деятельности (а значит, при определенных условиях деятельности могут превращаться в действия и наоборот). Однако по отношению к объемлющей деятельности действие дискретно, конечно. В свою очередь, всякое действие представляется последовательностью отдельных операций — чисто дискретных образований, «точек» собственного пространства данной деятельности. Операция — свернутое действие, у которого конец «сливается» с началом. Тоже в своем роде бесконечность, только наоборот — инфинитезимальность. Но внутренняя сложность действия в операции не исчезает, и при необходимости операция может быть развернута в полноразмерное, конечное действие.

Тут мы вспоминаем об упомянутой выше многозначности лексикографических единиц: пусть за превращения одного в другое отвечает в деятельности единый механизм — но сами-то действия и операции получаются не вообще, а вполне конкретные, и одна деятельность другой не указ. Следовательно, есть где порезвиться лингвистам любых ориентаций.

И действительно. С точки зрения фонологии — в речи одна структура. С точки зрения грамматики — совсем другая. А где-нибудь в психосемантике — и вовсе третья. И в каждой из них свое пространство, и свое время.

Как такое может быть? Мы привыкли, что время — это одна на всех длиннющая кишка, по которой ползти можно только в одном направлении… Физики, конечно, утешают сказками о формальной обратимости — только все это на уровне старой памяти: можно еще рассказать, как было, — но повторить уже нельзя. Да и незачем.

Чтобы порезать деятельность (и ее время) на куски, требуется инструмент. Сам себя никто не расчленит. В качестве инструмента, очевидно, выступает другая деятельность, перпендикулярная первой. То есть, минимально с ней повязанная. Допустим, я хочу получить фонологическую картину речи. Тогда надо взять нечто далекое от фонологии, но имеющее в своем составе набор достаточно (но не слишком) мелких единиц, — эдакую дифракционную решетку, через которую живую речь можно пропустить — и потом разглядывать на внутреннем экране узор светотени. Тут кстати подворачивается морфологическая организация языка — и мы объявляем фонемой то, что отвечает за различие морфем. Дело сделано. У каждого носителя языка есть внутри этот «встроенный» фильтр, и фонологическая наука поставлена на универсальную основу.

На полях: из такого определения фонологии — много нетрадиционных следствий. Например, о вторичности анатомии голосового тракта и вариативности артикуляционных норм. Артикуляция не подходит в качестве инструмента для разделки по той причине, что она не ортогональна речи, входит в нее в качестве неотделимой сущности. Но даже если бы мы и сумели

абстрагироваться от положения речевых органов в момент речи, такое решето оказалось бы слишком мелким — фонемы в нем просто застрянут.

Еще одна крамольная мысль: не язык надстраивается над фонологией — а наоборот, фонологические структуры исторически возникают на основе функционально-грамматической определенности — так сказать, задним числом. Поэтому потрясающие воображение дилетантов реконструкции индоевропейской фонологии — чистой воды фантазия, пыль в глаза.

С формальной точки зрения, в таком подходе фонема определяется как класс связности морфем (лексических единиц). Если очень грубо: фонема, обозначаемая знаком [м] есть то, что имеется общего у морфем *-маг-, -зам-, -мор-, -зме-* и многих других. Фонологическое строение языка не обязано быть «плоским» — выделение общих элементом происходит на разных уровнях, и появляются «суперфонемы», способные превращаться в нечто более специфичное на низших уровнях (отсюда растут ноги у регулярного чередования звучаний, громко именуемого в лингвистике абляутом), а также «комплексы» — стандартные соединения звучаний, произносимые как один звук (например, дифтонги и аффрикаты, вроде [хр] в слове ‘хрюкать’), — подобно аккордам в музыке.

В пространственно-временной терминологии, мы говорим, что взаимодействие одной деятельности с другой порождает *шкалы* — наборы возможных (предполагаемых восприятием и действием) положений (или, скорее, взаимных расположений в пространстве и во времени). Со времени обнаружения древними греками несоизмеримых отрезков мы привыкли считать физическое пространство непрерывным. Пространство деятельности всегда дискретно. Однако дискретность эта — особого рода, ибо ступени шкалы — не точки, а *зоны*, непрерывные области допустимых значений. С топологической точки зрения, пространство деятельности оказывается многосвязным: не всегда возможно перевести одни точки в другие непрерывным образом. Между различимыми зонами — пустые пространства, попасть в которые в рамках данной деятельности нельзя — надо менять шкалу. Вполне возможно, что и физические шкалы устроены таким же образом — только мы пока об этом не знаем; современные попытки встроить в физику абсолютные кванты пространства-времени оказываются в таком случае на ложном пути: действительность сложнее и интереснее.

Разумеется, вопросами формообразования наука занималась давно и плодотворно. В той же физике полно примеров возникновения дискретных структур в непрерывной динамике: орбиты планет, энергетические уровни в атоме, кристаллы, фазовые состояния сплошных сред… Когда-нибудь доберутся и до пространства-времени. Но у нас есть достаточно яркий пример — звуки музыки. С одной стороны, элементарные музыкальные понятия знакомы почти всем, независимо от наличия слуха и присутствия голоса. С другой — есть замечательная теория образования звуковысотных шкал, иллюстрирующая характерные черты процесса и возможные результаты.[30] Так что беседа может стать содержательной.

Но сначала наберем еще примеров из лингвистики.

Взаимосвязь и качественное различие пространства и времени выражается в различии фундаментальных лингвистических категорий «*язык*» и «*речь*». Язык — то, что может произойти; речь — то, что происходит. Разумеется, речь следует нормам языка — но далеко не всегда вписывается в его рамки; точно так же, язык можно представлять себе как совокупность возможных речений — однако он не остается неизменным, развивается под влиянием живой речи. В простейшем случае речь выглядит последовательным переходом от одного элемента языка к другому (или от одной языковой конструкции к другой), что естественно представить его пространственным следом — траекторией. Эта одномерность соответствует интуитивным представлениям о направленности физического времени от прошлого к будущему. Но даже и в такой элементарности не все просто. Как видно из «фонологического» примера, членение речевого потока на составляющие зависит от уровня рассмотрения — и одна и та же речь на разных уровнях выглядит то последовательностью фонем, то последовательностью слов и фраз, то связью идей в мышлении… Разумеется, все это лишь отражает иерархичность человеческой деятельности, которую всякая речь призвана опосредовать и обслуживать. Сухой остаток тот,

[30] Л. Авдеев, Ю. Варивода, В. Дубовик, П. Иванов, *Рождение звукоряда* — СПб: BODlib (2006).

что время деятельности и речи иерархично: и деятельность, и речь — развертываются сразу в нескольких пространствах и соответствующих временных шкалах. Причем траектории разного уровня вовсе не обязательно совпадают — они могут быть вообще не переводимы одна в другую простым изменением масштабов, как на интерактивных картах.

Но, например, речевой поток как цепочка звучаний — это все же нечто одномерное. С точки зрения материализма, крупномасштабная организация не может не отразиться на качестве звука, она обязана быть представлена в организации материального носителя речи. На фонологическом уровне эта особая организация речевого потока, возникающая в силу иерархичности речи, называется *интонацией*. Исходя из интонации, мы «восстанавливаем» в непрерывности речи фразовую структуру — или ее лексическое строение. В некоторых случаях такое восстановление неоднозначно, и приходится учитывать не только строение деятельности, но и деятельностный контекст, иерархию сопутствующих условий. Отсюда мы снова заключаем, что контекст как-то представлен на фразово-лексическом уровне, и приходим к понятию грамматического строя речи, который опять-таки, выражается на фонологическом уровне соответствующими интонациями — а значит, возникает еще и интонационная иерархия. Формально одномерный речевой поток приобретает как бы дополнительное измерение; так одномерность времени превращается в многомерность пространства.

То же самое относится к письменной (и любой другой) речи. Формально одномерная последовательность знаков подразумевает различные уровни языкового членения, иерархию шкал пространства и времени. Способ организации речевого потока позволяет восстановить лексическую и фразовую структуру текста, использование тех или иных грамматических форм указывает на речевой контекст. Но этого не всегда хватает. И тогда требуется надфразовая структура — организация текста в целом, или даже целая иерархия текстов… В литературе — особенно в поэзии — существеннейшую роль играет позиционное выделение и связывание композиционных элементов, с возникновением регулярных (симметричных) структур (графика, строфика, ассонансы, сквозные образы и т. д.). Напрашивается сопоставление с современной физикой, в которой динамические симметрии стали основой основ. Язык науки организован в соответствии с логикой ее понятий, выстроенных в концептуальные системы. Философия объединяет тексты на основе категориальных схем. Тем самым возникают дополнительные языковые измерения, при сохранении (локальной) одномерности речи.

Здесь полная аналогия с музыкой: только внешняя организация последовательности звуков позволяет выстроить внутреннюю иерархичность (например, шкалы звуковысотности: звукоряд, лад, гармония; или иерархия ритма: метр, темп, фразировка, такты, ритмические группы). Один и тот же звук может выражать различное, в зависимости от контекста. Один и тот же аккорд — либо диссонирует, либо гармоничен — в зависимости от звукорядной иерархии. Один и тот же мелодический оборот способен принимать совершенно разный облик (и смысл) на фоне различных звукорядов или гармоний.

Однако для музыкального звука существует естественная математическую модель — внутренняя структура его достаточно проста: «чистый» тон легко представляется нормальным распределением вероятностей (гауссоидой), форма которого зависит от текущих установок восприятия, включая общекультурный слой, индивидуальные предпочтения и структуру авторского замысла. Сравнивая такие элементарные тоны, мы можем выявить их наиболее выразительные и устойчивые комбинации («внутренние тембры»), а их них вывести иерархию зонных шкал.

Есть ли какие-то намеки на существование речевых элементов, подобных чистым тонам-гауссоидам? Скорее всего, да — поскольку такого рода распределения характерны для любой деятельности, связанной с элементарной категоризацией, отнесением стимула к одному из двух несовместимых классов. «Тембровая» структура речевых элементов связана с регулярным повторением, с многократным воспроизведением такого различения как в речепорождении, так и восприятии речи. Разумеется, на каждом уровне языка способы выделения базовых элементов (формы категоризации) различны; однако достаточно того, что предполагается существование дискретных структур на фоне некоторого поля «материальных» реализаций (будь то способы артикуляции, лексические поля, семантические пространства или концептуальные системы). В

любом случае какие-то сопоставления оказываются предпочтительными — и возникает аналог функции диссонирования в теории музыкальной звуковысотности.

Главный вывод из этой аналогии — объективность шкал. Точно так же, как богатство исторических и этнических форм звуковысотности вытекает из единого простого принципа, внешнее разнообразие языковых форм порождается универсальностью механизма порождения и восприятия речи. Направления и стадии развития «речевого слуха» не произвольны, они подчиняются общим для всех законам.

Поговорим немного об особенностях письменной речи. Может показаться, что здесь изначально присутствует дискретность, связанная с конечностью алфавита. Текст на странице или на экране выглядит как последовательность букв; пробелы указывают на границы слов, знаки препинания — разграничивают фразы и предложения… Но, во-первых, это не всегда так, а во-вторых, люди прилагают массу усилий, чтобы такие технические ограничения преодолеть. Например, при письме от руки о разделении букв приходится говорить весьма условно. В типографике широко распространены лигатуры — а в арабском языке они стали неотъемлемым компонентом самой системы письма. В некоторых письменностях пробелы отсутствуют как класс, а знаки препинания сведены к совершенно невыразительному минимуму. В формально структурированной письменности, вроде русской, жесткость знаковой системы компенсируется вариативностью авторских знаков и способов написания (включая намеренные отступления от орфографии). Но даже на уровне отдельных знаков всегда есть возможность расширить их смысловое наполнение, заставить их обозначать нечто совершенно иное. Дискретный символ оказывается способен передать непрерывную гамму оттенков, в соответствии с разнообразием возможных текстуальных позиций и ролей. Это вполне подобно тому, как нота в музыкальной партитуре лишь условно соответствует живому звуку: чтобы воспроизвести правильную интонацию, приходится заниматься углубленным анализом, искать (и придавать) смысл нотной записи, творчески интерпретировать текст — а иногда и обогащать его новыми, неожиданными инструментовками.

Живая речь, как правило, ситуативна — здесь важно высветить нечто, происходящее здесь и сейчас. Даже если разговор о прошлом или будущем — это актуальное прошлое и актуальное будущее, поскольку говорится о нем сейчас. Во французском языке, например, это подчеркивается даже употреблением временных форм глагола. Напротив, письменный текст изначально ориентирован на «удаленного» читателя, и потому заложенная в него идея не обязана как-то соотноситься с текущими обстоятельствами автора — особенно если текст рождается несколько месяцев и даже лет. Пространственно-временная структура текста в результате становится «двуслойной»: в какой-то мере она по-прежнему отражает личность автора и его жизненные обстоятельства, но суть написанного в другом — в том, что называется авторским замыслом. В зависимости от установок читателя, он может обращать внимание на любой из этих пластов, произвольно выстраивая еще одну иерархию, способ восприятия.[31]

Пространство и время тесно связаны друг с другом — но это не одно и то же, как бы ни пытались мистически настроенные физики уверить нас в обратном. Противоположные стороны целого не могут существовать по отдельности — именно потому, что это разные стороны одного и того же, а не самостоятельные существа. Всякое движение происходит в пространстве и во времени — где есть одно, там есть и другое. Связь пространства и времени существует лишь по отношению к определенному типу движения — а в других случаях эта связь может быть иной. Однако различия никакая связь отменить не может; более того, различие — необходимая предпосылка связи, ибо иначе просто нечего связывать.

Пожалуй, наиболее характерное отличие пространства от времени — это размерность. Бросается в глаза, что пространства бывают многомерные — а время требует выстраивания в один ряд, одномерной последовательности. Пространство может иметь сложную геометрию и топологию, может быть под завязку набито катастрофами и фракталами. А когда речь заходит о реальном движении, мы выхватываем из этого кошмара отдельные элементы и выстраиваем их

[31] В. В. Корень, *Иерархический подход в психологии творчества*. — М.: МГУ (1984); P. B. Ivanov and V. V. Koren, *Interaction between Man and Culture*: *Information Standpoint*. — Proceedings of the International Symposium, v. **2**, pp. 331–344 (1998)

один за другим, в порядке следования — по времени. Физическое движение подчиняется этому правилу точно так же, как биологическое, психологическое или историческое, — как языковое движение или движение мысли.

Физики чисто формально объединяют пространственные измерения с временем. Но если спросить, на каком основании они так поступают и всегда ли такое отождествление допустимо, ответа не будет. В лучшем случае сошлются на то, что в конечном итоге это работает, и все современные технологии на этом держатся. Но когда-то технологии вполне вписывались и в представления об абсолютном пространстве и едином на всех времени. А потом Лоренц и Эйнштейн порушили привычную иллюзию — ради другой, не менее иллюзорной…

Когда мы говорим, что время может быть выражено пространственным смещением, а пространственное смещение определяется необходимым для этого временем, — тут нет никакой эквивалентности. Точно так же, мы измеряем давление в миллиметрах ртутного столба, а температуру определяем на основании длины столбика жидкости в термометре, — но это вовсе не повод делать температуру или давление добавочными пространственными измерениями. Связь пространства и времени возникает лишь в условиях стационарности, когда возможно точное воспроизведение некоторой стандартной деятельности, задающей набор допустимых шкал. А в реальной жизни мы все-таки не застаиваемся долго на одном месте. Мир не просто существует — он еще и развивается.

Одномерность времени связана с направленностью развития — от низших форм к высшим, от рождения к смерти. А развитие не обязано всегда следовать одним и тем же путем. Одинаковое в общих чертах различается в исторических деталях. Возникают шкалы различий. Так время, оставаясь одномерным, «утолщается» — историческая линия становится историческим телом (или, на жаргоне модных сегодня физических теорий, «браной»). Выше упоминалось о порождении пространственных измерений языка иерархичностью речевого времени. Обратный эффект, когда пространственные отношения влияют на характер развития, связан с таким весьма распространенным явлением, как *обращение иерархий*.[32] На пальцах: речь идет о разных аспектах развития. Если посмотреть на него с одной стороны — будет одна временная шкала; если повернуть другой стороной — появится еще одна. Например, изучая развитие фонологических систем, мы придем к некоторой последовательности исторических этапов; если же нас вдруг заинтересует развитие грамматических форм для выражения количества — появится новая историческая линия, со своими специфическими (хотя и столь же универсальными) структурами. Развивается одно и то же, в одном физическом времени, — но по разным путям.

При всем при том, имеется одно важное отличие письменной речи от устной, визуального восприятия от слуха. Если звук надо еще долго и нелинейно обрабатывать, чтобы извлечь спрятанную внутри многомерность, зрение сразу же предоставляет нам нечто, как минимум, плоское — и при некотором усилии возможно заглянуть и вглубь. Не то, чтобы это как-то влияло на характер языковых иерархий. По большому счету, зрение все равно работает по тому же последовательному принципу, преобразуя многомерную картинку в последовательность — которая потом уже обрабатывается стандартными методами для выявления пространственных структур. Физиологически, это происходит путем *разглядывания*, перемещения зрительного фокуса по квазипериодической траектории, чередующей широкие скачки с плавным дрейфом и мелкими дрожаниями. Отсюда, скорее всего, явное сходство музыкальных звукорядов и шкал направлений в живописи и других искусствах, опирающихся на зрение.[33] С другой стороны, устная речь — это не только звук. В большинстве случаев общение связано с мимикой и жестикуляцией — и даже поза собеседника многое подсказывает. Поэтому многие раньше не любили телефоны — а кое-кто не любит и теперь. Даже в супернавороченном формате: с видео, телеконференциями, и все такое, — вплоть до трансляции запахов.

Тем не менее, было бы странно, если бы двумерность зрительного поля вообще никак не сказывалась на пространстве и времени письменной речи. Хотя на первый взгляд складывается именно такое впечатление. Да, знаки письменной речи двумерны — однако при чтении, казалось

[32] P. B. Ivanov, *Philosophy of Consciousness*. — Trafford (2009)
[33] P. B. Ivanov, *Leonardo Music Journal*, v. **5**, pp. 49–55 (1995)

бы, важна только их последовательность, а второе измерение служит лишь для различения форм. Подобно тому, как тембры музыкальных инструментов не влияют на высоту извлекаемых нот, а тембр голоса практически не связан с фонологией.

Пристальное наблюдение все-таки обнаруживает тонкие различия в бытовании устной и письменной речи. В первую очередь — это характер ошибок и способность к их коррекции. Если в устной речи значительна доля ошибок, связанных с неточностями артикуляции и с вычленением языковых элементов из речевого потока, — в письменной речи (которая сегодня становится практически полностью клавиатурной и экранной) ошибки связаны прежде всего с двигательными навыками и визуальными установками. В зрительном восприятии не так важна последовательность элементов — они схватываются все вместе, параллельно. С одной стороны, это позволяет легко корректировать опечатки при чтении (что важно для обмена информацией). Мы просто не замечаем перестановок — у нас в голове сразу правильная структура. Но та же причина повышает вероятность неверного распознавания, когда даже при отсутствии опечаток воспринимается вовсе не то, что написано, — поскольку у читателя есть внутренняя предрасположенность (установка) увидеть в тексте нечто свое. Автор может намеренно ввести необычную графику — но ему надо еще потрудиться, чтобы эта намеренность стала заметной.

Восприятие устной речи опирается на интонацию — и только на ее основе различает языковые элементы. В письменной речи интонация скрыта, ее еще предстоит восстановить из особенностей графического оформления. При чтении мы как бы начинаем с того, к чему слух приходит в конечном итоге. Обработка устного сообщения дает текст, тогда как письменное сообщение — это уже текст. Это означает, что основная масса письменного общения связана с построением более высоких уровней контекста — а поиск подтекста подчинен именно этой, обобщающей деятельности. В устной речи контекст задан неязыковыми средствами, условиями общения. Он просто не подлежит оценке или изменению. С одной стороны, это обедняет наши творческие возможности. С другой — позволяет говорить о том, о чем письменно мы сказать пока неспособны. И тем самым стимулировать развитие письменной речи.

Но подлинная мощь письменной речи открывается лишь тогда, когда мы переходим от текста к типографике. Решительный выход за рамки одномерности связан с осмысленностью самого расположения текста в визуальном поле, с появлением многомерных языковых форм. Например, математическая диаграмма, радиотехническая схема или химическая формула — это принципиально многомерный текст, который можно сериализовать только посредством особой деятельности, лишь частично воспроизводящей в продукте существенные свойства оригинала. Дополнительные размерности возникают в интерактивных текстах, когда действия читателя позволяют изменять способы визуализации. Различие пространства и времени, языка и речи, при этом сохраняется — однако теперь одномерность времени связана не только со способом порождения речи, но и с активностью восприятия. Многомерные языковые формы (схемы) при такой сериализации воспринимаются как единый знак, и таким способом алфавит может быть расширен до бесконечности. Кстати, по этому пути издавна шли создатели систем письма на основе латиницы: взяв за основу латинский алфавит, они добавляли к нему диакритику, по сути превращая алфавит в набор типовых схем.

Даже если оставаться в рамках конечного алфавита, существует возможность расширить интонационный строй письменной речи, используя особые графические приемы — начиная от гарнитуры и размера шрифта (а в латинице и кириллице еще и с учетом различного начертания заглавных и строчных букв) до цветовой гаммы страниц. Методы типографики бесконечно разнообразны. Например, стилевое решение текста (как самостоятельного, так и в книге) уже вводит читателя в определенный контекст. Простейшее оформление страниц (размеры, поля, отступы и межстрочный интервал, колонтитулы и рамки) — это способ управлять восприятием текста, а значит и возможность нечто поведать читателю. Когда обычные книги переводят в электронный формат «для читалок» (.fb2, .epub и др.) они многое теряют — как мертвое тело отличается от живого. Речь ведь не только о том, чтобы передать информацию. Язык — средство общения. А как общаться с трупом?

Графическое оформление текста важно и в пространственно-временном плане, поскольку пространство страницы — это особый мир, элементы которого связаны определенным образом

и не всякие траектории здесь возможны. Если устная речь предполагает только один способ восприятия, и говорящему иногда приходится прибегать к искусству риторики, чтобы донести до слушателя не только общий смысл, но и внутреннюю организацию текста, — на плоском листе читатель вправе самостоятельно выбирать способ просмотра, при необходимости возвращаясь назад, или забегая вперед. Дальнейшее развитие эта возможность получает в мультимедийных текстах (включая интерактивные). Что все это означает? А то, что над последовательной письменной речью (буква за буквой, слово за словом, строчка за строчкой) надстраивается некоторая «вторичная» структура, подобно тому, как сложные органические молекулы начинают закручиваться в хитрые пространственные формы — и эти формы влияют на химические и биологические свойства молекул. Сравнивая структуры страниц, мы получаем «третичную» структуру текста, а композиция книги в целом дает целостность более высокого порядка, «четвертичную» структуру — и это тоже может быть важно и значимо. Разумеется, не всякий автор, и не каждый издатель, задействует в полном объеме открывающиеся здесь возможности. Но по мере того, как средства оформления будут становиться все доступнее, так чтобы использовать этот слой письменной речи могли абсолютно все, и восприятие сможет стать более чутким и требовательным.

То, что пока не стало сознательным выбором каждого, пробивает себе дорогу как историческая необходимость. Возможность свертывания пространственно-временных пластов в особые элементы языка приводит к тому, что строение языка на любом уровне отражает черты определенного этапа в языковом развитии — включая следы исторических форм языкового пространства и времени. До серьезного изучения таких реликтов лингвистическая археология пока не доросла. Но какие-то намеки обнаружить вполне возможно. При некотором упорстве, следовало бы раскопать историческую последовательность закрепления тех или иных идей в данном конкретном языке. В общих чертах, принцип датировки связан с большей архаичностью пространственных форм по сравнению с временными.

Например, на уровне морфологии различные способы выделения лексических единиц (слов и морфем) говорят о том, что когда-то воспринималось как пространственное или временное отношение, как языковой факт — или оборот речи.

Грамматика дает нам практически неисчерпаемый материал по истории языка. Исследуя различные способы выражения некоторой идеи (предмет функциональной грамматики), мы видим, как соотносятся в каждом из них пространственный (идиоматический) и временной (комбинаторный) аспекты — и можем расположить их в порядке закрепления в языке. Разумеется, следует учитывать и процессы языковой интеграции. Например, одна и та же конструкция могла возникнуть в разных языках в разное время — а при их взаимодействии получится многослойная картина, смешение двух историй в одной. Разобраться трудно. Но такова природа всякого исторического исследования.

Еще один класс пространственно-временных форм языка связан с иерархией речевых оборотов. Уровни вложенности языковых конструкций и способы их соединения связаны с интонационной иерархией, которая, как мы уже видели, лежит в основе речевого времени. Здесь есть как общекультурный аспект («стандарты» структуры предложений, стилистические варианты и т. д.) — так и выражение творческой индивидуальности (сложность и степень иерархичности фраз как одна из сторон стилистики). В письменной речи ту же роль играют особенности выстраивания надтекстовых структур.

Один из интереснейших вопросов — синтаксическое пространство и время, которые в большинстве языков не имеют отношения к пространственно-временной семантике. В каком-то смысле глагол (в тех языках, где он существует как грамматическая категория) представляет на этом уровне время — именно его формы организуют остальные части высказывания. Но в языке любые части речи способны превращаться в глаголы — так пространство развертывается во времени. И наоборот, глаголы легко субстантивируются, и время становится пространством. В этой картине синтаксис представляется как основная форма языкового движения, абстракция речи, единство времени и пространства. Поскольку же пространство и время языка отражают способы развертывания деятельности, именно синтаксис оказывается источником данных по истории этносов, задает своего рода культурно-историческую шкалу.

Слово и смысл

Признаюсь, мне нравится читать словари. Разумеется, не всякие. Есть совершенно тупые коллекции слов, надерганных без разбору, и столь же произвольно сопоставленных каким-то из возможных переводов… Как в реальной жизни одно соотносится с другим, остается полнейшей загадкой. Но есть и другие: умные собеседники, полновесные словари-энциклопедии, в которых каждое слово дано не само по себе, а в нескольких бытовых контекстах, и перевод уже не сводится к банальной подстановке, превращается в творчество и осмысление. Вместо хаоса правил и мнемотехники — культурное владение языком (своим или иностранным). Вместо типовых решений — умение сознательно выражать себя, индивидуальность и неповторимость. Конечно, обширный запас готовых форм необходим в любом деле; без этого нет свободы творчества, оно вязнет в бесконечности сугубо технических проблем. Но подлинное владение предметом начинается там, где мы не только придаем форму традиционному материалу, но умеем при случае обогатить и сам этот материал, добавить к нему нечто новое — или усмотреть в нем неожиданные грани.

Непосредственный повод для размышлений — англо-русский синонимический словарь 1979 года, издательство «Русский язык». Помимо общеобразовательной и справочной ценности этот словарь еще и представляет некую научную концепцию, которую вдохновитель команды авторов Ю. Д. Апресян подробно излагает в послесловии. А значит, не возбраняется обсуждать как саму теорию, так и результаты поставленного по ней эксперимента. Чем мы и займемся после небольшого лирического отступления.

Ученые любят называть высокими словами вещи, в общем-то, незамысловатые. В мире денег иначе нельзя: не произведешь должного впечатления на тупого толстосума — не на что будет заниматься наукой. С другой стороны, в одиночку пробиться трудно, ибо все уже давно поделено, а места у кормушки бдительно охраняются традицией, законом и приблатненной цеховщиной. Вот и придумывают финансов ради художественные направления, философские школы и новые науки. Не то, чтобы на пустом месте, — но в любом случае уже за гранью, соответственно, искусства, философии или науки.

Но о связи языка и политики — особый разговор. А пока попробуем присмотреться к тому, как лингвистическое сообщество трактует проблемы значения и смысла применительно к языковым реалиям.

Мы привыкли, что вещи, их свойства и состояния, а также чьи-то действия по поводу вещей, или просто отношение к ним, — все это как-то называется. Иногда такие названия представлены в языке словами — но, вообще говоря, это не обязательно. С одной стороны, сослаться на что-либо можно и словосочетанием, и длинным текстом, и чем-то бессловесным (интонацией, жестом, поведением). С другой стороны, слова могут нечто иметь в виду (или не означать ничего) сами по себе — но совсем иную предметность приобретать в контексте. Например, матерщина теоретически обозначает какие-то вещи — но понимать мат буквально ни один носитель языка не будет, разве что хохмы ради. Наконец, есть языки, в которых категория «слово» по существу отсутствует, там свои лексикографические единицы — и о словах говорят лишь по европейской привычке, условно, по аналогии с другими языками.

Чтобы придать весу этим банальным соображениям, ученая братия их абсолютизирует и торжественно заявляет, что элементы языка суть *знаки*, а язык — *знаковая система*. У всякого нормального человека немедленно возникает вопрос: а что такое знак? и что такое система? Но подобная нескромность в науке считается неприличной и посылается куда подальше — например, в философию. Зато, как только мы избавились от жизни и заменили ее пустыми абстракциями, мы можем беспрепятственно комбинировать одну пустоту с другой; чтобы застолбить делянку и обеспечить этой комбинаторике общественной признание (читай: приток капитала), мы называем ее громким словом: *семиотика*, наука о знаках.

И пошло-поехало… В качестве иконы — так называемая семантическая схема Морриса, согласно которому «язык является набором знаков, а речь предполагает использование этих знаков, причем обычно в связи друг с другом». Тут как-то невкусно попахивает самобытием абстрактных форм… — однако платонический срам легко прикрыть еще одним «ученым»

словом: дескать, знаки существуют не просто так, а возникают в процессе *семиозиса*; что это такое, мы не знаем, — но как звучит!

Возьмите любую книжку по семиотике (семантике, логике, теории систем…) — и вы найдете в изобилии образчики дурного наукообразия:

> Семантическое измерение семиозиса представляет собой отношения знаков к объектам […]. Прагматическое измерение — это отношение знаков к интерпретаторам. […] Отношение знаков друг к другу принадлежит к синтаксическому измерению семиозиса.
>
> […] одни знаки являются десигнаторами, а другие — форматорами. Десигнатор состоит из имеющего физическую природу означающего и означаемого — десигната; форматор же состоит из такого же показателя и указания на операцию…
>
> Во всех языках существуют также дейктические средства — это знаки, имеющие референты, но не имеющие десигнатов.
>
> Анализ семиотических средств, которыми язык располагает для десигнации, референции, сдвига уровней и т. п., составляет его семиотическое описание. Структура десигнатов знаков языка является объектом его семиотического описания в узком смысле слова…

Ну и под занавес — заигрывание с математическим жаргоном:

> Предположим, что $\mathfrak{A} = \langle A, F_\gamma, X_\delta, S, \delta_0 \rangle_{\gamma\in\Gamma,\delta\in\Delta}$, $L = \langle \mathfrak{A}, R \rangle$ — язык. **Интерпретация** (interpretation) языка L — это система $\langle B, G_\gamma, f \rangle_{\gamma\in\Gamma}$, такая что $\langle B, G_\gamma \rangle_{\gamma\in\Gamma}$ — алгебра, подобная алгебре $\langle A, F_\gamma \rangle_{\gamma\in\Gamma}$, и f — функция из $\bigcup_{\delta\in\Delta} X_\delta$ в B. Пусть $\mathfrak{B} = \langle B, G_\gamma, f \rangle_{\gamma\in\Gamma}$. Тогда **приписывание значений** (meaning assignment) языку L, определенное системой $\mathfrak{B}$, — этот тот единственный гомоморфизм из $\langle A, F_\gamma \rangle_{\gamma\in\Gamma}$ в $\langle B, G_\gamma \rangle_{\gamma\in\Gamma}$ в который включается f. [34]

Человека непривычного на таких пассажах начинает серьезно клинить — и тянет уйти в монастырь, подальше от непостижимой модерновой учености. В переводе на человеческий язык весь этот фейерверк означает буквально следующее: предполагается, что язык — это набор раз и навсегда заданных элементов (знаков), с неизменными правилами их сочетания, и все, чем люди по жизни занимаются, столь же определенно и неизменно, а стало быть, можно навесить на любой кусок действительности словесные ярлыки, и этим наше знание о предмете полностью исчерпывается, ибо все происходящее с поименованными вещами заранее предопределено правилами сочетаемости знаков языка. Не надо быть великим мудрецом, чтобы понять примитивную ограниченность подобной науки. Возможно, это могло бы пройти для очень специализированных компьютерных протоколов — но даже там не отвертеться от развития, и на каждом шагу возникают проблемы совместимости реализаций вроде бы единого стандарта.

В скобках заметим, что современная наука, по крайней мере теоретическая, склоняется именно к этому — к подмене связи вещей связью абстрактных символов. Сначала мы вводим много-много заумных терминов, потом начинаем выражать одни термины через другие, потом навязываем сами себе жесткие правила комбинирования знаков — и остается лишь уверовать, что наши формальные игры — это и есть единственная реальность, и ничего другого в мире просто нет. Трудные отношения обывателя с наукой связаны прежде всего с нежеланием людей участвовать в играх по чужим правилам, иногда чуждым всякой разумности. Складывается впечатление, что эффектные примеры технологического прогресса якобы воплощающего идеи передовой науки — отнюдь не ее заслуга, а наоборот, результат очищения формалистических игр от формалистики — тонны пустой породы промываются практикой в поисках крупиц объективного знания; изредка попадаются крупные самородки — и происходит научная революция, технологический прорыв, взлет массового сознания. Как следствие — лавина новых исследований, погребающая под собой исходную идею; и опять надо разгребать хлам в поисках непреходящих ценностей.

Семиотика, как уже упоминалось, традиционно делится на три большие ветви:

— *синтаксис* (или синтактика); знаки сами по себе и правила их комбинирования;

— *семантика*; отношение знаков к объектам, правила обозначения;

— *прагматика*; происхождение и использование знаков.

[34] *Семиотика и информатика*, вып. 26 (1985), с. 111.

Нормальный человек тут же смекнет: устройство знаковой системы и ее отношение к вещам вытекают из того, как и для чего эта «система» используется на практике; следовательно, в первую голову нас должна интересовать «прагматика», содержание общения, а семантика и синтаксис — это материал и форма, способы воплощения (выражения) содержания. Однако платоническому лингвисту все представляется с точностью до наоборот: есть знаки сами по себе, есть (произвольное) сопоставление их вещам, а «прагматика» — лишь следствие этого «акта творения», сугубо психологическая склонность следовать общепринятым установлениям. Из всей психологии при этом остается простая дрессировка, натаскивание на «правильное» поведение — и этому тоже придумали «ученое» название: *бихевиоризм* — а также все его формализованные разновидности: теория научения, когнитивная психология и т. д. Патриарх Моррис, провозгласивший семиотику метанаукой и инструментом наук, идет еще дальше: семантика недостаточно чиста для высшего знания — и пусть ей занимается «прикладная» наука, всякое там естествознание. А истинному лингвисту не пристало задумываться о превратностях бытия — его дело знаки сами по себе, синтактика, которая в таком понимании сливается с формальной логикой: всякое действие сводится к мысли, а всякая мысль — к сочетанию знаков.

Разумеется, для подобных иллюзий есть вполне реальные предпосылки: философский идеализм — не просто чепуха, это некритическое преувеличение одной из черточек живой культуры, классовая ограниченность, узость бытия и мышления, неумение за деревьями видеть лес. Но здесь речь о другом — о значениях и смысле наших слов.

Понятно, что изгнание семантики из языкознания подкладывает, например, изрядную свинью ученым лексикографам — выбивает у них почву из-под ног, лишает всяческих оснований исследование сходства и различий. В частности, синонимия оказывается внеязыковым явлением, и обсуждать ее лексикографические формы совершенно незачем. Точно так же, филологам становится неуютно, поскольку всяческая герменевтика, искусство толкования текстов (и любых иных следов культуры) предполагает, как минимум, возможность интерпретации — а это уже выходит за рамки науки о языке. Значительную часть лингвистов сведение языкознания к синтаксису не устроило — и попытки вернуть семантику в родительское лоно предпринимались неоднократно. Делать это можно по-разному. Например, в рамках психолингвистики — то есть, как бы примазываясь к «чистой» лингвистике из естествознания. Можно, наоборот, «очистить» саму семантику, превратить ее в игру абстрактных форм, довести до математического абсурда. Такую «облагороженную» науку от комбинаторной синтактики уже не отличить — и можно смело воображать себя коренным языковедом. Тут кстати подвернулась новейшая фишка — компьютеры, и всеобщий энтузиазм по поводу автоматического перевода и обработки знаний. Можно расслабиться и помечтать: «…на нынешнем этапе развития лингвистики и ее приложений возникла — впервые за всю историю существования науки о языке — возможность плодотворного синтеза лексикографии и семантики, которые до новейшего времени развивались в отрыве друг от друга». Ну что ж, давайте рассматривать, что там Апресян со товарищи насинтезировали…

Еще одно замечание на полях: «семантика» в переводе с вульгарно-греческого — учение об обозначениях. Но в своем девичестве (конец XIX — начало XX века) это называлось «семасиологией» — то есть, учением об указаниях. Улавливаете разницу? Одно дело — просто назвать корову словом «трамвай», а совсем другое — понять, как слово «корова» стало способно указывать на вполне определенное животное (хотя бы и в обобщенном плане, не обязательно вот эта рогатая Мурка). Смена названия носит знаковый характер, отражает формалистический сдвиг, стремление отмежеваться от «естествознания» и породниться с псевдострогой якобы математикой.

Но вот, свершилось! — семантика опять понимается как «раздел лингвистики, изучающий смысловое значение единиц языка». Человеку мало-мальски знакомому с общей психологией сразу хочется возразить: значение и смысл — вовсе не одно и то же, и говоря о «смысловом значении» следует объяснить, что сие означает и в каком смысле. Чтобы осмыслить что-либо, надо поместить его в контекст некоторой деятельности, указать место и роль в чем-то большом. Напротив, значение всегда ссылается на частности, на возможные воплощения, допустимые варианты. С некоторой натяжкой можно было бы принять «смысловое значение» как значение в

контексте определенной деятельности — и тут есть, что обсуждать. Однако по отношению к формалистической лингвистике мы попали бы пальцем в небо. Действительно, в такой науке языковые формы существуют ради самих себя, и единственная деятельность, с которой имеет дело «современный» лингвист, — это абстракция речи, построение «правильных» комбинаций знаков. Но такие комбинации как раз и представляют формально понимаемые значения — а следовательно, значение и смысл здесь полностью совпадают, что и находит выражение в вульгарном словоупотреблении.

Со школьных времен в нас отложились термины элементарной семантики: «синоним», «антоним», «омоним» или «омофон» и т. д. Нас учили выражаться на заданную тему разными способами — и некоторым это даже оказалось полезно как в профессиональном плане, так и для общего развития. Однако ученые названия призваны скорее прикрыть наше недопонимание, чем прояснить суть дела. Действительно, по жизни мы знаем, что некоторые слова и речевые обороты по видимости ссылаются на одно и то же — хотя и по-разному, с оттенками и нюансами. Название «синонимия» ничего не прибавляет к интуитивному пониманию. Можно относить к синонимии разные грамматические и стилистические трансформации («параллельные обороты», «лаконичность» *vs.* «витиеватость») — яснее не станет. И не может стать, если язык понимается чисто формально, как «знаковая система». Некоторых это толкает на крайние меры:

> Каждая языковая форма имеет постоянное и специфическое значение. Если какие-то формы фонематически различны, мы предполагаем, что каждая форма […] отличается от всех остальных какими-то постоянными и общепонятными оттенками значения. Короче говоря, мы полагаем, что подлинных *синонимов* в природе не существует. [35]

Вот так: замели мусор под ковер — и нет проблемы. Насчет постоянства и специфичности речь впереди. Но у каждого перед глазами тысячелетняя практика составления словарей: толковых и бестолковых, тематических и хаотических, многоязычных и косноязычных, наглядных и неприглядных… В любом случае мы пытаемся что-то друг другу объяснять и растолковывать, невзирая на теоретические запреты. Одно в чем-то похоже на другое — это универсальный факт. Можно объявить его иллюзией — но тогда придется выяснять, почему и как она возникает. Не думаю, что это проще. По-видимому, большинство лингвистов того же мнения, и выкручиваются как умеют. Одно из достижений — понятие речевого контекста (ситуации). По сути, контекст представляет в лингвистике ту самую совместную деятельность, в рамках которой наши действия становятся осмысленными. То есть, синонимия — не врожденное свойство языковых конструкций, а характеристика контекста; можно даже сказать, что речевая ситуация с лингвистической точки зрения полностью определена иерархией предполагаемых ею языковых форм. Правда, не обходится без реверансов в сторону формалистической традиции: обычно допускают существование «точных» синонимов, взаимозаменяемых во всех контекстах, относя контекстно-зависимое сходство к разряду «частичной» синонимии (в особую группу выделяются «квазисинонимы»). Нетрудно показать, что «подлинных» синонимов, не зависящих от контекста, на самом деле вообще не бывает. Например, любые синонимы могут быть только частичными в контексте их лексикографического описания, когда различение языковых форм предшествует описанию их сходства. Это обстоятельство нашло выражение в принципе семантического «гомоморфизма»: набор «значений» всегда шире набора лексических единиц, и потому одна и та же лексема вынуждена представлять разные значения. Если полагать, что способы человеческой деятельности заданы раз и навсегда, что история остановилась, и новым «значениям» просто неоткуда взяться, — ничего другого, конечно, не остается. Разумный подход к делу может принять и семантический гомоморфизм — но лишь как одно из возможных приближений, справедливое в определенных культурно-исторических рамках; требовать от этой модели чего-то большего просто глупо.

Синонимический словарь Апресяна существование синонимов безусловно признает, утверждая, что синонимия — «фундаментальная черта всех естественных и искусственных языков». Участники проекта движимы благородным стремлением развить в русскоязычном читателе активное владение английским языком, опираясь на самые передовые лингвистические

[35] Л. Блумфильд, *Язык*. — М. 1968; с. 148–149.

идеи. Эти три кита: активность, двуязычность, современность — подробно обсуждаются в сопроводительной статье. Давайте и здесь обсудим.

Согласно Апресяну, активность лексики предполагает адекватность, идиоматичность, гибкость и селективность. Действительно, правильный подбор средств выражения, знание типовых конструкций, умение выражаться многими способами и внимание к стилистическим нюансам — приобретения безусловно полезные, хотя и не универсально значимые. Однако называть все это активностью — решение спорное. Больше подходит другое название: оснащенность, владение языковым материалом. Тогда как активность — скорее, характеристика практического использования этого материала. Можно прекрасно разбираться в правилах и оттенках, без труда воспринимать богатство чужой речи — но совершенно безалаберно относиться к своей. Точно так же, ценитель поэзии вовсе не обязан быть поэтом, а любитель оперы может быть начисто лишен голоса.

Но простим авторам эту меленькую семантическую вольность и допустим, что словарь синонимов должен первым делом расширить нашу языковую эрудицию. Как этого добиться? Апресян уверенно отвечает:

> […] синонимический словарь должен характеризовать синонимы с точки зрения *смысла*, лексико-семантической *сочетаемости*, грамматических *конструкций* и *стилистических* свойств. В каждом их этих случаев должны быть описаны все их *сходства и различия*, так, чтобы для любого синонима из данного синонимического ряда были выяснены типы *специфических* для него контекстов, а для любой пары синонимов — типы контекстов, в которых они *взаимозаменимы* (если, конечно, возможность взаимозамен в принципе существует). Наконец, необходимо, чтобы описание было максимально *полным*, *достаточным* и *эксплицитным*, т. е. построенным так, чтобы на его основе можно было научиться правильно употреблять синонимы в широком круге ситуаций.

Утопия. Во-первых, смысл — это отношение к деятельности, и это всегда вне лексикографии. Даже если допустить, что имеются в виду не смыслы, а значения, — пришлось бы перечислять все возможные контексты (по отношению к которым значения только и существуют), что изначально невозможно (хотя бы потому, что каждое перечисление создает новый контекст, новый уровень иерархии). Исчерпывающее описание сходств и различий было бы возможно только при сведении человеческой деятельности к небольшому набору типовых реакций — превращении человека в робота, в автомат. Не владение языком — а работа по программе, интерпретация команд и кодирование запросов. Сразу ясно, что послужило источником лексикографического вдохновения:

> *Теоретические* требования, которым должен удовлетворять наш словарь, определяются в первую очередь уровнем современной лингвистической семантики. В тех исследованиях, на которые мы будем ориентироваться, семантика мыслится как один из компонентов кибернетической модели языка. Кибернетической моделью языка называется логический автомат, имитирующий [!] *владение языком* […]. В конечном счете в задачи такого автомата входит формальное — реализуемое на вычислительной машине — установление соответствия между определенным *смыслом* и всеми выражающими его *правильными текстами*, с одной стороны, и между определенным текстом и всеми выражаемыми им смыслами, с другой.

Можно сколько угодно отпираться, что, дескать, принцип «активности» сформулирован «на независимых основаниях», — мотивы как на ладони. Не то, чтобы я был против компьютерной лингвистики, — но не надо сводить к этому языкознание в целом.

Особая песня — полнота, достаточность и эксплицитность описания, о которых Апресян твердит на разные лады, повторяя эти три слова как мантру, как заклинание. По определению:

> Описание является *полным*, если в нем упомянуты *все* существенные свойства изучаемых объектов; оно *достаточно*, если ни одному объекту не приписывается никаких *лишних* свойств; наконец, оно *эксплицитно*, если не содержит никаких недомолвок, упоминает каждое свойство объекта в *явном* виде, не апеллирует к сообразительности читателя, а может и должно пониматься *буквально*.

Насчет утопичности перечисления всех существенных свойств — уже сказано. Мало того, что

любой объект внутренне бесконечен, — он еще и развивается, вместе со своими свойствами и их существенностью. Что такое «лишние свойства» — темный вопрос. Кому лишние? При каких обстоятельствах? Опять же, оно может быть вовсе не лишнее, а про запас — когда-нибудь потом пригодиться. Наконец, «эксплицитно» тупо переводится на русский как «в явном виде» — масло масленое. Фраза о сообразительности читателя — это просто революция в лингвистике; давайте еще сделаем лингвистическими категориями моральный дух, количество волос, или сексуальные предпочтения… С буквальным пониманием — тоже туго. Свойства мы таки описываем на каком-то языке; пусть он хоть десять раз формализован — избежать многозначности никак не получится. Долгие почесывания репы приводят потомков к выводу:

> Естественное решение состоит в том, чтобы рассматривать отношения между значениями многозначной единицы как отношения *семантической деривации*. При таком подходе одно из значений надо выбрать в качестве главного, а каждое частное значение должно выводиться из него…[36]

Сильно сказано. И, в общем-то, возразить нечего. Если, конечно, не забывать, что подобное *развертывание* иерархии накрепко связано с определенным контекстом — а в другом контексте она может развернуться совсем не так. В итоге эксплицитность по-апресяновски есть просто перевод с естественного языка на формально-семантический, сопоставление живых значений мертвым формулам:

> Задача установления соответствия между смыслами и текстами ставится в теоретической семантике как задача перевода с искусственного семантического языка на естественный (что соответствует говорению, или синтезу текстов) и с естественного языка на семантический (что соответствует пониманию, или анализу текстов).

Для нормального читателя — занятие совершенно бесполезное, никак не способствующее ни развитию словарного запаса, ни речевой активности. Смело пропускайте семантические описания в начале каждой словарной статьи — и вы ничего не потеряете. Но для автора его технология формализации — предмет гордости… Мы снова приобщаемся к современному божеству — компьютеру:

> В современной теоретической семантике разрабатываются специальные формальные языки не только для описания значений слов, но и для описания их лексико-семантической и синтаксической сочетаемости. В семантике они необходимы, потому что без таких языков оказывается невозможным решить задачу автоматического синтеза правильных идиоматичных текстов…

Давайте воспитывать в себе шаблонность мышления — выражаться правильно, готовыми фразами (формулами семантического языка), очищая речь от всяческой естественности:

> […] семантический язык универсален, т. е. свободен от всего, что составляет специфику выражения смыслов в естественных языках. Каждый смысл, который в том или ином естественном языке выражается имплицитно […], должен быть выражен эксплицитно — отдельным *словом* семантического языка.

Привет старым знакомым! На щит поднимается все тот же семантический гомоморфизм. И это называется современностью?

> Понимая, что в таком традиционном деле, как лексикография, реформы полезнее, чем революция, мы выработали для словаря синонимов компромиссное средство описания — упрощенный, стандартизированный русский язык, состоящий из ограниченного числа относительно простых слов и конструкций.

И дальше полный комплект первородного греха:

> а) Сложное значение должно толковаться через более простые значения…
>
> Принцип ступенчатого сведения сложных значений ко все более простым предполагает, что какие-то значения должны использоваться в качестве элементарных, т. е. неопределяемых.

[36] *Семиотика и информатика*, вып. 26 (1985), с. 83.

б) Толкования должны быть полными и достаточными.

в) Каждое слово русского языка, участвующее в толковании, должно использоваться ровно в одном смысле, а каждый смысл, нужный для толкования, должен выражаться ровно *одним* словом…

Даже комментировать не хочется. Однозначность, полнота и достаточность — исключительно чтобы примазаться к божественной математике. «Сведение к простейшим» и специальные формализованные языки для описания семантики — пережиток «компонентного анализа» американской семантики 1960–70-х, попыток представить любое (вырванное из контекста) значение в рамках конечного набора универсальных признаков. Оригинальности ноль. Длинный список параметров, по которым предполагается оценивать семантические параллели и различия должен, по замыслу, производить впечатление основательности и широты охвата — однако его произвольность и хаотичность бросается в глаза. Как и во всех предшествующих экзерсисах подобного рода, нам просто перечисляют что в голову пришло; ни о каком исследовании реально возникающих в семантических пространствах структур здесь и речи нет. Тем более, остаются в тени причины их возникновения.

Житейские наблюдения вполне согласуются с историей науки: в мире не бывает ничего «простейшего», абсолютно элементарного. В каких-то условиях сложностью элементов можно пренебречь и строить из них грандиозные сооружения; однако в какой-то момент «первичные» кирпичики начинают деформироваться под тяжестью конструкции — и оказывается, что сами они тоже из чего-то состоят, а их кажущаяся прочность и незыблемость проистекают из практики из использования. Элементарность — не простота, это лишь одно из возможных отношений к другим вещам. В других ситуациях сложность и простота могут поменяться местами; что из чего состоит — дело весьма относительное.

Точно так же, в языке ни одно слово не проще (и не сложнее) других. Каждое — внутренне бесконечно, каждое допускает веер толкований. Формальные «объяснения» ничего не дают для души, к *освоению* языка (которое всегда требует душевной работы) они не имеют ни малейшего отношения. Каждый устанавливает свои соответствия между словами (или иными языковыми формами) в зависимости от конкретных потребностей — и ни одна из возможных структур не претендует на истинность в последней инстанции. Устойчивость каких-то находок — следствие повторяемости жизненных ситуаций. Но повторение — лишь до какого-то предела, и ни одна структура не вечна. Такова жизнь — и таков язык, ибо он не сам по себе, а о жизни и для жизни.

Апресян полон сарказма по отношению к «традиционным» словарям, в которых, по его мнению, толкование сводится к тавтологии, к простому сопоставлению слов. Однако та наукообразная стряпня, которую он предлагает взамен (пресуппозиции, коннотации, логические акценты, модальные рамки) упускает из виду главное в языке — универсальную взаимосвязь, сопоставимость чего угодно с чем угодно, относительность любых разграничений и оценок. Только такой, универсальный язык способен стать воплощением, объективным представителем субъекта деятельности — поскольку субъект как раз и нужен для того, чтобы связать Вселенную воедино, соединить несоединимое. Словари со свободным толкованием (оксфордские, Webster, Robert) ближе к духу языка, они не сводят одно к другому, а показывают разное в единстве. Поскольку в каждую эпоху на первый план выдвигаются господствующие в данный момент ассоциации, такие словари живут, меняются вместе с языком — они по-настоящему современны, и куда полезнее для овладения активной лексикой, нежели «ученые» труды, предписывающие языку что-то раз и навсегда. Да, конечно, у всех свои недостатки. Каждый обращает внимание на то, что ему ближе. В конце концов читатель все равно возьмет понемногу из разных источников и слепит в себе то, чего авторы словарей никак не могли предположить. И нет ему дела до споров о правильности того или иного понимания синонимии. Если я считаю, что заяц похож на медведя — мне все равно, как соотносятся разные зайцы и чем один медведь отличен от другого; мое личное видение не обязано считаться ни с зоологической таксономией, ни с предписаниями массовой культуры. Не психиатрам судить о моей нормальности.

Язык не существует вне общения, а общение — вне совместной деятельности. Единственный способ овладеть иностранным языком — жить в нем, постигать мир через него. Нужно слушать и говорить, читать написанное разными людьми в разные века. Пусть это варится

в практике, с приправами наших желаний, чувств, сумасбродств и озарений. В итоге сложится особая целостность — языковое чутье. Других путей нет. Но хороший словарь — это своего рода концентрат языкового опыта, все грани целого в одном флаконе. Он позволяет говорить сразу со всеми носителями языка, в одно мгновение прожить тысячи лет.

Особый вопрос — двуязычность. Не для кого не секрет, что разные языки соотносятся друг с другом не пословно, а как-то иначе, сложно и неоднозначно. Поэтому одно и то же слово одного языка переводится десятками слов или фраз другого, а то и вовсе без слов — умолчанием, интонацией, строем речи. В каждом языке свои синонимические ряды — и сопоставить одно с другим почти невозможно. Мы вправе рассуждать об английских синонимах по-русски — но это взгляд со стороны, вовсе не обязательно отвечающей внутреннему ощущению носителя языка. Нельзя научиться иностранному языку, сопоставляя его с родным; чем раньше мы обрубим канаты, сожжем мосты — тем лучше. Взрослому трудно отрешиться от уже наработанных схем, начать все с нуля. Единственный способ разбудить в себе детскую восприимчивость — через практику, через совместную деятельность. Поработайте пару лет среди американцев, французов, китайцев — и вы волей-неволей будете говорить на их языке, причем так, как говорят они, а не как вещает с кафедры большой лингвист, с его «нормализованным» произношением. Да, это разрушит вашу этническую идентичность — но разовьет человеческую полноценность.

С точки зрения высоколобой семантики, сопоставление «смыслов» состоит в переводе фраз одного языка во внутренний семантический код — с последующим развертыванием его в конструкции другого языка. Люди, дескать, только говорят по-разному — а понимают все одинаково. Поскольку эта божественно априорная языковая способность мыслится вне времени и пространства, один и тот же набор формул можно использовать для связи любых языков, включая общение людей (или инопланетян) с роботами и компьютеров между собой. Двуязычный синонимический словарь в таком понимании ничем не отличается от одноязычного, а в идеале все словари должны превратиться в кодовые таблицы, правила перевода с любого языка на абстрактно-семантический, и наоборот. Апресян так и заявляет:

> […] если имеется полное, неизбыточное и эксплицитное толкование каждого синонима, какое бы то ни было дополнительное описание становится теоретически неоправданным: все необходимые сведения о семантических сходствах и различиях между синонимами могут быть извлечены автоматически — наложением одного толкования на другое и выяснением того, какие их части совпадают, а какие различны.

То есть, когда мы станем роботами, нам уже не надо будет ни о чем задумываться, мы будем автоматически счастливы.

Разумеется, всякое формалистическое заблуждение лишь преувеличивает какие-то черты живой действительности. Представители разных культур так или иначе учатся общаться друг с другом, и может сложиться впечатление, что это у них врожденное. А если кто-то вдруг отказывается нас понимать — дело вовсе не в нас, и уж конечно не в классовых противоречиях, а в чисто физиологической ущербности нашего оппонента…

На самом же деле неформальное общение возможно лишь там, где оно осмысленно — то есть, в совместной деятельности. Если господа считают рабов говорящими орудиями, если компьютер для нас — лишь инструмент, нам незачем искать взаимопонимания, достаточно отдать правильную команду. Но когда партнеры по общению преследуют каждый свои цели, объединить усилия может только общий мотив, по отношению к которому разные действия разных людей приобретают одинаковый смысл. Место каждого в совместной деятельности определяет тот самый контекст, в котором развертываются иерархии значений. Поскольку же субъект не обязательно представлен единичной биологической особью, он может быть и группой людей, строение иерархии значений у членов одной общественной группы в определенном смысле оказывается одинаковым, а обращения этой иерархии дают все формы синонимии. В некоторых общественных условиях форма деятельности как бы «застывает», многократно воспроизводится без существенных изменений. Обычно это означает свертывание деятельности в действие, а составляющие его действия превращаются в рутинные операции. Вот такая, свернутая иерархия и становится предметом формальной семантики. Истоки синонимии скрыты, контексты как будто существуют сами по себе, и нет никаких оснований предпочесть одну

абстрактную классификацию другой. Иначе говоря, пока мы тупо делаем свое дело, не задумываясь о смысле происходящего, — наш язык также превращается в набор формул, в соответствии с операциональным составом наших действий. Развитие общества неизбежно размывает замкнутые субкультуры — и потому всякая формализация исторически ограниченна.

Двигаясь в противоположном направлении, замечаем, что общность деятельности не зависит от языка — и возникает, так сказать, обобщенная синонимия, когда сопоставляются языковые конструкции разных языков. Многоязычный словарь тогда связывает выразительные средства нескольких языков в рамках определенной культурной сферы.[37] Принципиально это ничем не отличается от обычного толкового словаря — здесь можно говорить о языке более высокого уровня, о синтезе языков. Упрощенными вариантами такого подхода могут служить разного рода разговорники, параллельные словари (например, визуальные), многоязычные терминологические словари (где заведомо имеется общая предметная основа).

Наконец, пару слов о том, что Ю. Д. Апресян считает новаторством, главным выражением современности подхода. В духе все той же абстрактной аналитичности, предлагаются принципы разведения синонимических рядов и разделения толкования и иллюстраций. О пустоте формальных «толкований» уже говорилось; наиболее ценная часть словаря — это как раз иллюстрации. Именно иллюстрации показывают, как значения слов меняются от одного контекста к другому — то есть, по сути, и дают подлинное толкование. Что же касается разведения синонимических рядов, тут придется обратиться к основам, к различным способам введения семантических категорий.

Полисемия — характерная черта всех естественных или искусственных языков; например, в языках программирования свойства и методы класса или его отдельных представителей могут быть переопределены — и одно и то же «лексическое» выражение отвечает очень разным интерпретациям. Недостатком традиционных словарей Апресян считает опору на слово, без учета возможных «параллельных» значений, которые, на его взгляд, друг с другом не связаны и существуют сами по себе. Например, вебстеровский синонимический ряд *mend, repair, patch, rebuild* предлагается расчленить на несколько рядов, поскольку, например, слово *mend* якобы имеет три разных значения: *ремонтировать* (to mend one's dress), *улучшать* (to mend one's manners) и *заживать* (slowly mending wound); точно так же каждый из остальных членов ряда имеет по видимости различные значения. Легко видеть, что подобное «разведение» полностью основано на интуиции русскоговорящего; с точки зрения американца существенных различий тут нет. Аналогично, попытка противопоставить обладание некоторым свойством внешнему выражению этого свойства (*stupid man — stupid look*) отражает чисто русское восприятие английской лексики; здесь важно отметить, что представители разных культур по-разному видят мир, и критерии сопоставления культурных реалий в разных языках различны, так что признаки, которые кажутся важными русскому, вовсе не обязательно столь же существенны для американца.[38] С другой стороны, когда слово *threaten* порождает целых три синонимических ряда с толкованиями: «обещать причинить зло», «предвещать неприятности», «угрожать», — даже русскому такие семантические тонкости кажутся притянутыми за уши.

Слово многозначно. И связано это, прежде всего, с употреблением одного и того же слова в разных контекстах. Попытки противопоставить эти контексты друг другу, формализовать различия, сделать их нормативными — могут опираться лишь на очень серьезные культурные основания, а отнюдь не на абстрактно-семантические критерии. Например, наряду с полисемией есть и такое языковое явление как омонимы. И в том, и в другом случае одна языковая форма выражает разные стороны действительности — как отличить одно от другого? Начинаются ссылки на индивидуальные предпочтения: «если большинство людей видит в двух совпадающих словах общий оттенок смысла, то это — полисемия, а если не видит, то это — омонимия». Кто по жизни станет подсчитывать голоса? Не проще ли считать омонимами все отдельные значения многозначных слов, а полисемию — частным случаем омонимии?

[37] Так, например, маленькие дети, растущие в многоязыковой среде, не отличают один язык от другого; для них все языки изначально сливаются в один.

[38] Для сравнения: различие согласных по звонкости и глухости, типичное для европейских языков, совершенно несущественно для китайца — и наоборот, различие китайских согласных не всегда улавливается европейцем.

Конечно, подобная конвенциональность, произвол в базовых категориях не делает честь высокой науке. За различием значений и омонимов, по хорошему, должны стоять какие-то объективные обстоятельства. И наша задача их вытащить на свет разума.

Например, русское слово «убить». Если в таких контекстах как «убить соседа», «убить аккумулятор» или «убить собеседника» еще можно проследить общее семантическое ядро вроде «постоянно или временно привести в недееспособное состояние» (что, впрочем, с тем же успехом выражают и некоторые другие слова) — то выражение «убить пару часов» в эти рамки никак не вписывается (если, конечно, не вдаваться в сложные метафоры). Так что, будем разводить значения в разные ряды (полисемия) — или считать, что речь идет об одинаковом лексическом оформлении разных идей (омонимия)? По интуиции, слово «убить» похоже в этом отношении на слово «нос», несколько меньше — на слово «коса», и совсем не похоже на «фокус». В чем разница? Да все в том же — в отношении к деятельности. Если в определенных исторических рамках культурные явления, представленные общей языковой формой, возможно трактовать как обращения одной иерархии, если между ними есть прямая или опосредованная связь, — это полисемия, и отдельные значения отвечают объективным условиям деятельности. Если же (в тех же рамках) единства деятельности нет — вот вам омонимы чистой воды. Разумеется, в развивающемся мире все меняется — рвутся старые связи, возникают новые. Однако если сохраняется принцип категоризации, наука лишь обогащается знаниями о путях развития, развивается вместе со своим предметом. Поскольку же прошлое не исчезает бесследно, оно незримо присутствует в каких-то гранях настоящего и будущего, полезно время от времени читать словари — безотносительно к их активности, многоязычию или новизне.

Вслушиваясь в отзвуки

Ablautsanhörung

Для русского слуха слово «абляут» звучит не совсем цензурно — и как-то уже не ожидается особых приличий в трактовке этого явления учеными лингвистами. Даже если заменить термин на чуть менее неприличное «апофония».

Вкратце, речь идет о всем известной вещи: в разных формах слова могут звучать по-разному. Одни звуки заменяются другими — иногда регулярным образом, иногда без видимых причин. Происходит это повсеместно, и нет, пожалуй, ни одного языка, в котором нельзя было бы отыскать нечто подобное. Например, по-русски: *кусок — кусочек, оборот — обратный, медовый — мёд, мороз — мразь*. Или английская классика: *sing, sang, sung, song*.

Не надо быть академиком, чтобы догадаться о связи такого поведения с историей языка, с развитием его фонетики, грамматики и морфологии. Но надо быть очень яйцеголовым, чтобы вывернуть эту историю наизнанку и увериться в том, что все на свете языковые явления происходят их единого источника, из супернавороченного первобытного языка, исключительно посредством огрубления и упрощения. Бог говорил на языке совершенства[39] — люди разбили его идеальное творение на тысячи уродливых подобий, и потому сосланы из языкового рая в мерзкое болото лингвистических случайностей, возвести которые к божественному прототипу способны только наиболее просветленные обожатели санскрита или иврита… Впрочем, есть и другая версия: дескать, пронырливые людишки норовили въехать в рай на горбу единого райского языка — и пришлось перемешать их наречия случайным образом, дабы избежать вавилонского нашествия; по этой логике, теоретические разногласия между компаративистами призваны затуманить божественность идеала ровно настолько, чтобы не пришлось пинками провожать в ад настырных соискателей, обуреваемых грехом гордыни.

Современный лингвист воспитан в объективно-платонической вере: абстрактные формы он полагает истинными сущностями, предшествующими языковой практике. Люди могут лишь выбирать из готовых (априорных) вариантов нечто под конкретные надобности — и бродит каждая нация по этому гигантскому супермаркету с большой тележкой, доверху загруженной

[39] Кстати, а с кем и зачем ему было разговаривать?

чем бог послал, — а на кассе сидит профессор лингвистики и подсчитывает, сколько с кого причитается. В частности, в фонологическом отделе на прилавке фонемы в ассортименте, хотя массовому потребителю предлагаются и разного рода полуфабрикаты, типовые наборы деталей для самостоятельной сборки фонетических систем широкого потребления. Их изготовлением и занимаются компаративисты вообще — и прежде всего индоевропеисты.

Если жить фантазией изначально обустроенного мира, вариантов нет: надо придумывать некую первобытную фонологию так, чтобы из нее путем несложных манипуляций выводились все современные казусы, а исторические случайности сводить к правильным трансформациям (закон Семереньи, закон Ившича-Станга и т. д.). Откуда берется сама эта «первобытность» — вопрос демагогический. Подразумевается: божий дар. Столь же неуместны вопросы о причинах и механизмах распада. Есть закон — повинуйтесь и не задавайте крамольных вопросов.

В этом контексте не слишком регулярные чередования фонем в исторически известных языках (нет в мире совершенства!) придется трактовать как отголоски былой правильности, якобы утраченной нерачительными потомками. Таковы нынешние теории абляута.

Конечно, ни один нормальный человек не поверит, будто на великом и совершенном протоиндоевропейском языке могли изъясняться какие-нибудь неандертальцы — или кишащие вокруг троглодиты современного образца. Стало быть, придется еще раз напрячь фантазию и «реконструировать» идеального индоевропейца — племя богов, породившее человеческую цивилизацию. Исходя из выдуманного языка, «изучают» столь же выдуманную культуру этого мифического народа, не оставившего после себя ничего, кроме бесцветных подражаний в повседневности каких-нибудь дикарей. Мы находим материальные останки живых существ, населявших Землю несколько миллиардов лет назад, — но до сих пор никто не находил ни малейших следов высокоразвитой индоевропейской «Атлантиды».

Но оставим все эти «реконструкции» на младенческой совести господ-конструкторов. Легко понять, что их озабоченность проблемами апофонии — неизбежное следствие слишком формального подхода к фонологии: действительно, подобные чередования подрывают само определение фонемы как смыслоразличительной единицы, и приходится мириться с тем, что в разных контекстах одно и то же значение звучит различно. Пришел абляут — и украл логику. Как быть? Очень просто: надо узаконить беззаконие, и вор — станет вором в законе, блатным авторитетом.

В любом случае, звуковые чередования — безусловный лингвистический факт. Они особенно бросаются в глаза в немецком языке (откуда и пошла апофоническая наука). Блуждающие умляуты в существительных и глаголах, «неправильности» вроде «*werden — wurde*» или «*steigen — stieg*»… Как тут не заподозрить общий принцип! А по логике компаративистов общий принцип должен существовать сам по себе, как частица единого истока всех языков. Например, О. Семереньи пишет[40]:

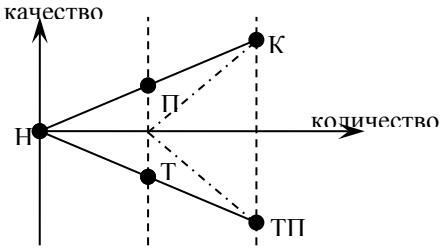
> Подобного рода чередования гласных встречаются и в других индоевропейских языках. Вследствие того, что по основной схеме они в точности соответствуют друг другу и в то же время в рамках отдельных языков не поддаются объяснению, приходится предположить, что они *унаследованы от языка-основы*.

В скобках заметим, что под «объяснимостью в рамках одного языка» понимается лишь одно: чередование возникло в исторический период. Из-за чего и по какому принципу — никто не задумывается. Тем более непонятно, почему, собственно, подобные изменения не могли происходить внутри языка и раньше. А если еще и усмотреть в них определенную *языковую* логику (чем, по идее, и должна заниматься наука лингвистика), то сходство фонологических явлений в разных языках объяснялось бы общими законами развития, а вовсе не наследием мифологии.

Но вернемся к жизни «по понятиям». Как известно, закон не запрещает преступлений — он их только регламентирует. Точно так же и в фонологии: если странности наукообразно классифицировать, они, вроде как, перестают быть уж очень странными и могут поселиться среди прочих плодов ума на правах старинных знакомых. Чисто формально, индоевропеистика

[40] *Введение в сравнительное языкознание*. — М.: Прогресс, 1980; с. 96.

выделяет два направления модификации гласных — количественное (удлинение или редукция) и качественное (тембровый сдвиг). Понятно, что количество в фонологии также не обходится без качества, — но в каких-то пределах с тембровым измерением это не перемешивается. В традиционной схеме, однако, предполагается, что редукция уничтожает тембровые различия, тогда как удлинение, наоборот, подчеркивает их. Схематически это можно изобразить так:



Обозначения «ступеней» абляута даны по Семереньи: нулевая, полная (или «нормальная»), количественная (продленная), тембровая, тембровая полная. В качестве примера — основная последовательность индоевропеистики: –, ĕ, ē, ŏ, ō. Разумеется, тут не обходится без споров и толкований. И все же блеск и нищета формального метода — налицо. С одной стороны, идея очень богатая. Например, добавьте еще одно качественное измерение (например, носовой оттенок, или сонорность) — и появится возможность единообразно описывать различные типы абляута. Сам Семереньи пытается проделать нечто подобное, когда описывает модификацию рядов абляута под влиянием плавных или носовых согласных. Неполная редукция долгих гласных (показанная на схеме штрих-пунктиром) идеально укладывается в традиционное представление о шва (напр., с. 127: «нулевой ступенью долгого гласного является шва»); более того, при наличии дополнительных измерений нет проблем с различением функционально различных и по-разному окрашенных вариантов. Совершенно естественное сопоставление количественного измерения (долготы) со временем, а тембровой окраски — с положением в пространстве, автоматически включает в теорию чередование гласных с дифтонгами, а также выделение интонацией (мелодический абляут). Сюда же примыкает абляут двусложных основ.

С другой стороны, очевидна произвольность и пустота этой комбинаторной игры, если нет научного представления о характере фонодинамики и взаимодействии различных звуковых систем. Другими словами — «измерения» возникают не с потолка, они должны чему-то в реальной жизни соответствовать. Сумели мы подглядеть эмпирическую закономерность — честь нам и хвала. Но для науки этого мало. Надо еще построить (хотя бы качественную) модель — перейти от явления к сущности. И здесь пристальное изучение исторически документированных фонологических сдвигов в рамках одного языка (которые компаративисты с порога отбрасывают) намного полезнее фантазий о едином наречии богов. Именно такие наблюдения позволяют догадываться о внутренних механизмах абляута — и делать далеко идущие выводы. Когда обнаруживается, что полная ступень чаще всего ассоциируется с настоящим временем, нулевая — с аористом, а тембровая — с перфектом, надо не просто зафиксировать факт, но еще и показать, с чем это связано, и что из этого вытекает. Почему двойственное и множественное число чаще используют нулевую ступень? И, наконец, не является ли ударение, которое столь же способно изменять звучание в количественном и качественном отношении, просто разновидностью абляута?

Характерно, что преувеличенное уважение к абляуту сочетается у компаративистов с пренебрежительным отношением к очень широко распространенным (и более регулярным) чередованиям согласных (Семереньи, с. 108):

> Наряду с чередованием гласных существуют определенные виды чередования согласных, которые, однако, в противоположность аблауту, в функциональном плане не играют никакой роли.

От общеизвестного явления отмахиваются так же, как и от «объяснимых» вариаций гласных, только на том основании, что его не удается пристроить к придуманному протоязыку. Тем не менее, как-то обосновывать различие языков «сатем» (с чередованием [к]/[ц] (или [к]/[с] в

зависимости от последующей гласной) от языков «кентум» (вроде греческого и классической латыни, где такого чередования нет) все же приходится — и на этот счет есть своя «реконструкция» (три ряда дорсальных согласных в протоиндоевропейском языке). Но попробуйте спросить, почему в историческую эпоху — можно сказать, на наших глазах, — не варвары подстраивались под латынь, а наоборот, латынь подчинилась варварам? И почему в греческом языке «сатемизации» не произошло? Экономико-политические обстоятельства — или еще и логика языка? Теория молчит.

Столь разное отношение к чередованиям гласных и согласных тем более странно, если вспомнить о том, что само их различение — дело весьма относительное, границы здесь весьма расплывчаты и подвижны — а в некоторых языках такое деление вообще оказывается чистой условностью.

В каких-то пределах допустимо абстрагироваться от исторической реальности, чтобы подчеркнуть логические элементы, в живых языках тонущие в переплетении случайностей. Но упорный отказ от исторически достоверного ради сугубо предположительного заставляет вместе с водой выплеснуть из фонологической купели и ребенка — живые примеры той самой грамматичности абляута, за которую так страстно борется индоевропеистика. Может быть, стоит заметить, что словообразовательная логика арабского языка изначально построена как раз на том, что приписывают индоевропейскому? Регулярные чередования гласных в основе, связанные с различением грамматических функций, у арабов — совершенно обыденное явление. Вот бы где усмотреть единство фонодинамики! — выходя за рамки индоевропейского материала. Разумеется, отсюда никоим образом не следует общность происхождения индоевропейцев и семитов; напротив, мы усматриваем логическое единство в исторически различных языковых семьях — а научные теории для того и создаются, чтобы единообразно говорить о единичностях. Если электрон и протон обладают спином, и математика тут совершенно одинакова, — это не повод объявить электрон и протон (а также целый зоопарк прочих частиц) потомками одной проточастицы (как склонны полагать некоторые мистически настроенные физики). Единство описания не отменяет различий по жизни. Люди мужского и женского пола реально отличаются друг от друга — и было бы странно (чисто платонически) возводить их к абстрактному гермафродиту. В некоторых исторических условиях, разумеется, различия между полами могут сгладиться; точно так же, возможно возникновение языков, по своему строению напоминающих «реконструкции» индоевропеистов. Тем более, когда новые элементы привносятся в язык искусственно, исходя из общих соображений. Пожалуйста, следуйте в жизни возвышенным принципам — но не надо сводить к ним жизнь целиком, и тем более не выводить богатство из пустоты.

Тут пора наступить на больную мозоль компаративистики — происхождение абляута. Ну хорошо, согласились мы, что в индоевропейском языке (хотя бы метафорически) существовало функционально важное чередование гласных основы по определенному принципу. Нарушая симметрию протоязыка, мы в какой-то мере легализуем нерегулярности языков исторических. Но сказавший «А» — да скажет «Б». Откуда подобные фокусы у индоевропейцев? Объяснить их логикой самого этого гипотетического языка мы не умеем — и тогда по логике платоников (см. выше) следует изобрести еще один мифический язык, более совершенный, — так, чтобы абляут получался из него стандартными нарушениями симметрии. Так появляется очередная псевдонаука, изучающая историю и культуру предков мифических индоевропейцев…

Например, возникновение нулевой ступени трактуется как «синкопа» — выпадение звуков основы при смещении «экспираторного» ударения на другой слог (Семереньи, с. 130). То есть, первоначально все было регулярно и однозначно — а потом редуцировалось, по чисто механическим причинам. И вправду, мы наблюдаем редукцию безударных слогов на каждом шагу — почему бы не перенести этот опыт в индоевропейское прошлое? Правда, есть языки, в которых ударение выглядит совсем иначе; но мы-то хотим вполне определенного результата — и потому произвольно приписываем нашей «реконструкции» подходящие свойства. Остается только понять, чего ради это самое ударение вдруг начинает гулять туда-сюда… Но этот вопрос мы замнем для ясности. Пусть будет еще одним априорным принципом, способом нарушения симметрии. Физики же не объясняют Большой взрыв: был, и все тут!

Предположений о распаде симметрии протоиндоевропейского языка с образованием рядов абляута в индоевропейском — сколько угодно. Останавливаться на деталях нам незачем, у нас другая задача. Тем более, что единства на этот счет в индоевропеистике все равно нет. Во внутрипартийных дебатах немало забавного. Например, то и дело ссылаются на те или иные «реконструкции» как «засвидетельствованные на самом деле» (с. 129), хотя чем одна абстракция реальнее другой — трудно сказать. Но в любом случае речь идет о возникновении вариантов путем видоизменения исходно регулярных форм — и ни о чем другом современный компаративист подумать не в состоянии.

Наиболее ярко это проявляется в так называемой ларингальной теории, восходящей к ранним трудам Ф. де Соссюра — но эффектно инкрустированной современными вставками. Всех проблем эта наука, конечно, не решает — но в качестве яркой иллюстрации образа мысли вполне сойдет. В общих чертах, предполагается, что в древности была только одна гласная — но в качестве компенсации добавлены несколько «ларингальных» псевдофонем (то есть, по сути, различных видов придыхания), способных модифицировать звучание «основного тона» и порождать все многообразие гласных и псевдогласных, которые, в свою очередь, начинают играть роль «сонантных коэффициентов» (модификаторов) и вторично модифицируются неслоговыми ларингальными, с эффектом удлинения. Богатая комбинаторная база заранее обеспечена — и вывести из такой разветвленной системы можно почти все, что угодно. Вполне подобно тому, как нынешние физики лихо добавляют пространственные измерения в свои «теории всего» — чтобы получить любой заранее заданный эффект путем свертывания всего ненужного в нечто виртуальное. Чисто математически: в достаточно мощной исходной группе симметрии заведомо найдется представление, содержащее в точности то, что нам требуется.

Философски настроенного обывателя такая наука не очень радует. Ну да, можно свалить все в одну кучу — и назвать это великим объединением. Только не стоит за этим никакой идеи, кроме подгонки под уже известное, и никакого осмысленного расширения такие теории *ad hoc* не предлагают — именно потому, что расширяться в них можно куда угодно. А нам бы так, чтобы наблюдаемое разнообразие естественно образовалось из столь же естественного единства, а не из математической абстракции… И чтобы рациональные зерна существующих теорий остались бы где-то в глубине, как и положено зернам.

Простая и очевидная вещь: человек далеко не сразу учится раскладывать окружающий мир по полочкам, отличать одно от другого. Первоначально у него в распоряжении лишь самые грубые, физиологически обусловленные реакции — и только со временем удается воспитать нечто культурное, не вытекающее напрямую из природной необходимости. Практические потребности заставляют находить все более тонкие различия — так возникает сложный внутренний мир, объективно представленный сложностью языка. Так это происходит с каждым на пути от новорожденного младенца к зрелой личности; ту же линию предстоит обнаружить и в истории человечества.

Трудно ожидать от первобытного человечества сверхъестественных аналитических способностей, свойственных современному компаративисту. И международный фонетический алфавит никто нашим предкам не преподавал (его и наши современники-то не особо знают). Какие там гласные-согласные, передненебные или заднепроходные! — да еще и сонантные коэффициенты! — нам бы пробубнить что-нибудь по существу — и на том спасибо. Какие-то минимальные фонетические различия, конечно, есть — однако членораздельной первобытная речь может быть названа лишь очень условно: одно звучание запросто налезает на другое, и никакой в них нет устойчивости и определенности, так что без жеста и выразительной интонации понять друг друга предки индоевропейцев (равно как и всех остальных) были просто не в состоянии. Вообразить себе грудничка, вырабатывающего ряды абляута из ларингальной системы, — выше моих способностей. Возможно дети индоевропеистов сплошь гении; по счастью, большинство человечества от этой науки далеко.

Итак, вместо сложно организованной системы фонем — первобытный синкретизм. Самое простое: есть звук — нет звука. Это уже немало; вспомним хотя бы об универсальности двоичного кода современных компьютеров. Поначалу — одно и тот же звучание может означать все, что угодно (и определяется это лишь в контексте совместной деятельности), а любая речевая

функция может быть представлена самыми разными звучаниями. И это отнюдь не фонемы — до них еще предстоит дорасти; единицы первобытной речи современному человеку показались бы фразами или высказываниями, они свободно перетекают от одного звука к другому — но для первобытного уха все это за гранью восприятия. Сотни тысяч лет и дифференцированность материальной культуры потребовались, чтобы у каждого племени сложились наборы характерных интонаций, свойственных данному конкретному зародышу человеческого общества (вроде родовых песен у чукчей) — отдаленное подобие языка. Чтобы в этом синкретичном образовании определились фонология, морфология и грамматика — нужны еще многие тысячелетия, и новые успехи в области материального производства. И, конечно, знакомство с речью иных племен. Один синкретизм взаимодействует с другим — вот вам и внутреннее различие, постепенно складывающееся в систему…

В лингвистической терминологии все это представляется так: фонология начинается с единственного звука, про который трудно сказать что-либо определенное, поскольку и сам он совершенно неопределенен. Однако с функциональной точки зрения любое речевое звучание можно считать гласной — по критерию самого наличия голоса (и не важно, будет это завывание, мычание, рычание или щебетание); соответственно, паузы между звучаниями играют роль согласных. Так появляется простейшая структура в речевом потоке: чередование голоса и тишины, гласных и согласных. Причем поначалу совершенно неважно, что за чем. Более крупных единиц все равно нет. Чисто теоретически, любая речь когда-то начинается — и потому первая «гласная» в речевом потоке следует за паузой, «согласной»: CVCVCV… Но первобытная речь еще не полностью доверяет голосу — и начинаться может какими-то его заменителями (жестами, мимикой и т. д.), плавно перерастая в собственно фонацию. Поэтому не следует абсолютизировать схему.

Еще раз призовем на помощь здравый смысл и вспомним, что точки и мгновения — это математические абстракции, а в природе ничто не возникает из ничего. Это в математике граница выглядит точкой, линией, или (гипер)плоскостью… А по жизни, любая граница — процесс, переход из одного в другое. Соответственно, для того, чтобы отсутствие звука превратилось в его наличие (и наоборот) требуется проделать над собой некоторое усилие, привести речевой аппарат в движение (или затормозить). Существует подходящий термин: «переходный процесс». Каждый инженер про них знает и обязан учитывать, чтобы его творения были практически полезны и не развалились в самый ответственный момент. Напротив, высоколобые физики всячески пытаются увильнуть от ответственности и свести дело к чистой математике; для них всякое посягательство на релятивистский барьер или сферу Шварцшильда — это личное оскорбление. Равносильное скепсису по отношению к идеальной фонологической системе индоевропейского языка. Но оказывается, что переходные процессы все равно проникают и в космологические модели, и в индоевропейскую фонологию — только протаскивают их туда через задний проход, под видом еще одной абстракции.

Разумеется, характер переходного процесса в фонологии зависит от характера того самого звука, который мы пытаемся «включать» и «выключать». Например, для щелкающих языков само звучание — это сплошной переходный процесс. Но как только в языке появляется *тон* (то есть, определенная звуковысотная структура) — переход к тону от «нетональных» звучаний начинает зависеть от предшествующего и последующего движения и приобретает форму *призвука*. Поскольку же такие призвуки всегда связаны с регулированием потока воздуха, их можно трактовать как варианты придыхания. Вот мы и пришли, с другого конца, к исходной схеме индоевропейской фонологии: гласный + набор ларингальных. И можно смело применять уже имеющиеся наработки. С одной маленькой, но очень существенной оговоркой: речь идет не о комбинаторике заранее заданных элементов, а о *становлении* самих этих элементов в истории языка; не соединение и редукция — а наоборот, распад первобытного синкретизма, умение слышать многое там, где раньше слышалось что-то одно.

В этом контексте просто глупо рассуждать о качестве первичной «гласной» и количестве различимых переходных процессов. Мы можем *обозначить* первобытный тон какой-то из ныне знакомых нам фонем — но мы должны помнить, что он не совпадает *ни с одной из них*, это явление *другого уровня*. Еще раз: в природе не бывает точек — и фонема не просто звук,

характеризующийся определенными физическими параметрами, это иерархия возможных вариантов произношения. В очень частном (но практически весьма полезном) случае эта иерархия превращается в *зону* — разброс значений физико-психологических параметров вокруг некоторого центра. В первобытных языках (именно в силу их дикой первобытности) каждая зона очень и очень широка, она захватывает варианты, отвечающие совершенно разным (для современного человека) фонемам, включая как гласные, так и согласные. Смешно, когда господа-индоевропеисты спорят о том, что первично: [е] или [а], — с точки зрения первобытного языка это варианты одного и того же. Для сравнения можно вспомнить о «суперфонемах» современных языков (не всеми признаваемых, но вполне реальных), или о шва (что, опять же, допустимо *обозначить* как [ə], [ɪ] — или еще как-нибудь).

Точно так же, рассуждения о едином для всех наборе ларингальных и «выпадении» их на поздних этапах языкового развития — полный вздор; они вовсе не сразу начали «выпадать» — сначала им как минимум нужно было сформироваться, по-разному в разных условиях, хотя и следуя единому принципу. В одних языках культурно зафиксирован лишь один призвук; в других — различались несколько придыханий, часть которых потом могла раствориться в гласных (в частности, порождая ряды абляута), а остальные стали восприниматься как согласные. Языковое развитие у всех народов шло в одном направлении, но каждый народ шел своим, неповторимым путем.

Здесь наш подход принципиально противоположен принципам индоевропеистики. Не было никакого единого языка. И не было единого предка современного человечества. Люди становились людьми сразу во всех уголках земного шара, попутно вырабатывая множество самых разных систем общения. Но поскольку развитие разума следует общим законам, строение первобытных языков на ранних этапах практически одинаково. В примитивных шкалах нет особого разнообразия. Когда одно племя случайно сталкивалось с другим (а до какого-то уровня предки людей были территориально разобщены, и это происходило не очень часто) — чужой язык воспринимался как нечто родственное, как вариант своего. И там, где речь шла о похожих способах деятельности, первобытные люди понимали друг друга без перевода (точно так же, как русские без особых проблем понимают белорусов или украинцев). То, что на месте одних звуков чужаки произносят другие, не имело значения — ибо в целом речь выглядела так же, да и само различие звучаний зачастую вписывалось в широкие зоны протофонем родного языка, и ему не придавали никакого значения (даже если замечали — как особую *интонацию*).

Самое интересное начиналось там, где соседи осваивали различные виды деятельностей, и требовалось что-то друг у друга перенять. В этом контексте произношение приобретает смыслоразличительную роль — так что синкретичные интонации распадаются на отдельные, практически различимые элементы. На раннем этапе — чем богаче человеческая деятельность, тем сложнее фонологический строй. Потом, когда фонология станет достаточно разнообразной, фокус развития сместится в другие сферы языка. Поскольку же фонологические системы не произвольны, их ограниченное количество, — появятся группы сходных языков, и возникнет соблазн возвести их к единому предку… Но с тем же успехом можно было бы искать родство грузин и японцев на основании диатонического строя их музыки.

Отделение звукового ядра первобытного высказывания (в котором пока предложение, слово и слог — это одно и то же) от начального и конечного переходного процесса имело решающее значения для эволюции фонологии вообще. Тем самым языки расходятся по двум принципиально разным ветвям, которые условно можно было бы назвать ритмической и модальной. Язык ритмического типа эволюционирует в основном по пути усложнения кодовых комбинаций; естественных языков этого класса почти не осталось[41] — но они возрождаются на другом уровне в разного рода искусственных (формальных) языках и переживают бурный расцвет в компьютерную эру. Законы развития сленга восходят к той же древнейшей основе. Сюда же склоняется индоевропеистика, с ее обожествлением набора базовых элементов и методов их комбинирования.

[41] В качестве примера можно предложить редкие «щелкающие» наречия, перекличку африканских барабанов, язык свистов, перестукивания, жестовые языки и т. д. Рудименты такой речи остались в большинстве языков в виде междометий, шикания, цокания и прочих эмоциональных индикаторов.

Модальные языки, напротив, изменяют сами «кодовые системы», переходят от одной элементной базы к другой, пока не доберутся до одной из универсальных иерархий, достаточно разнообразных и устойчивых, чтобы обслуживать потребности данной языковой культуры. Здесь возможны различные эволюционные ветви. Например, можно пойти по пути расширения набора «инициалей» и «финалей», фиксируя несколько базовых интонаций. Комбинация «инициаль + медиаль + финаль» становится носителем определенной семантики и базовым элементом надстраивающейся над этим комбинаторной системой. Так складываются тоновые языки юго-восточной Азии — и прежде всего китайские диалекты. Противоположное направление — расслоение семантического ядра, выделение стандартных интонаций как морфологических и грамматических структур. Таковы, по своей древнейшей сути, семитские языки. Наконец, в каких-то исторических условиях (определение которых — интереснейшая научная проблема) рождаются языки аналитического типа, в которых тоновая основа теряет (хотя и не сразу) семантическую определенность и становится всего лишь слогообразующим элементом, а взаимодействие с переходными процессами порождает, с одной стороны, варианты «тонов» (гласные), а с другой — различные «тембровые» оформления (согласные). И каждая граница превращается при этом в особый элемент-модификатор, способный то вырастать до самостоятельной фонемы (шва), то растворяться в других фонемах, придавая им особые призвуки (абляут), — а иногда и склеивать фонемы в комплексы, целостные образования более высокого уровня (как, например, русские слоги [ла] и [ля] различаются не исходными элементами, а способом их соединения — разумеется, влияющем на качество соединяемых фонем).

Здесь тоже нет резких границ и непреодолимых барьеров. Модальность на одном уровне дополняется комбинаторностью на другом. На грани тоновости и аналитичности рождаются промежуточные варианты (вроде корейского или японского). И так далее. Тем не менее, количественное накопления определенных признаков рано или поздно приводит к переходу в новое качество, и дальнейшее развитие фонологии происходит на уже сформировавшейся основе, так что последующие видоизменения лишь по-разному ее реализуют. По-видимому, уход от фонологического развития связан с возникновением письменности — но, разумеется, этот качественный скачок не происходит мгновенно, и внутри него свои градации. Оказать сколько-нибудь существенное влияние на устную речь письменная речь может только при условии широкой доступности ее экономически активной части этноса, а это предполагает вполне определенную организацию общественного производства, в соответствии с которой и развертывается иерархия языка.

Обратимся опять к первобытному языку с единственной «гласной» и множеством «огласовок». Широкая зона дает простор ситуативному варьированию интонаций, каждая из которых представляет собой мини-деятельность, и, в соответствии с общепсихологическими законами, допускает свертывание в более специфичные образование, действия и операции. Развитие фонематического слуха вместо одной широкой зоны предлагает несколько узких — не обязательно вписанных в исходную или в сумме перекрывающих ее; один уровень восприятия не сводится к другому — они качественно различны. Важно лишь то, что из одной протофонемы образуется несколько других, и в каждом языке этот процесс происходит по-своему, хотя и следуя тем же объективным принципам. Например, из неопределенности шва [ə] вырастают качественно различные гласные [e], [i], [a], [o], [u] — но количество и качество фонем низшего уровня различно в разных языках. Из-за чего и возникают у иностранцев многочисленные фонетические проблемы. С другой стороны, в относительно развитом речевом контексте (выходящем за рамки первобытной односложности) гласные оказываются в разных позициях, и приобретают собственные интонационные варианты (удлиняются, редуцируются, становятся более закрытыми или открытыми и т. д.); это и есть абляут.

Итак, не слияние нескольких фонем в одну (в частности, нулевую) — а наоборот, *различение* способов произнесения одного звука как самостоятельных фонем.[42] Процесс это

[42] Это хорошо согласуется с наблюдательными данными об усвоении фонологии иностранного языка — или развитии языкового слуха у детей. Практически любое обучение (не только у людей) идет от смутных представлений к дифференцированным шкалам; по сути дела, это принцип работы нервной системы.

протекает в каждом первобытном сообществе независимо от внешних контактов, благодаря накапливающимся изменениям в способе организации труда. Сходство языков (и культур) объясняется объективностью возможных путей развития — а отнюдь не заимствованиями или родством. Отдельные первобытные группы, как правило, входят в соприкосновение уже на достаточно поздних этапах, уже обладая культурной определенностью и соответствующими средствами общения; поначалу у них просто нет общих границ. Очагов зарождения человека могло быть очень много — но близкие очаги сравнительно быстро сливаются, а далекие остаются изолированными. То же самое с языком. На границах области распространения языка — происходит соприкосновение с другой языковой средой, изменение обоих языков (местные диалекты). Культурная ассимиляция приводит и к слиянию диалектов в один язык. В этом процессе как раз и возникают резонансы интонаций, заставляющие перестраивать фонологию.

Современное человечество практически не знает изолированных обществ — и мы не можем наблюдать эти процессы в их первозданной чистоте. Однако пока еще мы знакомы с сословно-классовым обособлением тех или иных общественных слоев, приводящим к возникновению в естественных языках относительно замкнутых подсистем. В какой-то мере пока существует и территориальная разобщенность — поскольку она поддерживается в силу экономических причин. Такие ситуации играют роль моделей, источников эмпирической информации о ранних этапах языкового развития. Разумеется, если у нас есть хорошая теория, позволяющая выделить реликтовые черты из игры более поздних механизмов. В этом плане полезны и труды компаративистов, описывающих, в общем-то, вполне реальные явления — хотя и с точностью «до наоборот». А можно расслабиться, дать волю фантазии и усмотреть совершенно иные аналогии…

Например, система чередований по абляуту подозрительно похожа на полную систему тонов китайского языка (пекинский диалект). Так, полная ступень (e), как правило несущая «острое» ударение, могла бы уподобиться четвертому (нисходящему) тону (ˋ) — он и по статистике встречается чаще других. Продленная ступень (ē) явственно уподобляется первому (высокому и ровному) тону (¯). Низкая, тембровая ступень (o) вызывает ассоциации со вторым (восходящим) тоном китайского языка (ˊ) и вполне может происходить от интонации возврата к прежнему уровню после спуска. Далее, тембровая количественная ступень (ō), похоже, связана с третьим, нисходяще-восходящим тоном (ˇ); по факту — тот же второй тон, но с удлиненным низким («тембровым») началом. Нулевая ступень явно коррелирует с нейтральным тоном, который в китайском языке часто появляется у второго слога в двусложных словах и у среднего в трехсложных. Быть может, это лишь плод воспаленного воображения. А может быть — проявление общности законов развития фонологии на ранних этапах.

Возьмем классический (и, возможно, единственный) пример полного апофонического ряда (в древнегреческом языке):

πατέρα — εὐπάτορα — πατρός — πατήρ — εὐπάτωρ

С точки зрения индоевропеиста, здесь налицо признаки редукции каких-то первичных комбинаций. Если вывернуть это наизнанку, следует исходить их синкретизма некоторой древнейшей интонации, что-то типа [ətərə]. В современных обозначениях — это последовательность звучаний, но для древних — единый звук, с неустойчивой, плавающей интонацией. Призвуки [т] и [р] — не отдельные фонемы, и всего лишь тембровое оформление «гласной» [ə]. И друг от друга они (на первобытный слух) практически не отличаются, и легко сливаются в единый комплекс [тр] (ср. в русском языке: *теребить — потребление, потеря — утрата*; тж.: *труп, трон, утро, хитрость*).[43] Теперь приставьте к этой элементарной единице спереди активное придыхание (π), а сзади — полностью редуцированное придыхание (почти неслышный выдох) — вот вам и древнегреческое слово (элемент речи), сразу во всех его вариантах. То, что мы сейчас воспринимаем как флексию, в первобытной древности было совершенно отдельным словом, со своим диапазоном переменных интонаций. Чтобы передавать

[43] В немецком языке буквосочетание *pf* означает один звук — подобно тому, как римляне передавали греческий звук φ двумя буквами: *ph*. Уместно вспомнить также о традиции «альтернативной» записи в немецком языке: *ae, oe, ue* вместо *ä, ö, ü*. Неважно, что из чего произошло, — есть факт специфического ощущения языка его носителями.

связи явлений в деятельности, приходилось соединять несколько элементарных «высказываний» подряд — абсолютно так же, как это принято у китайцев. Конечные и начальные придыхания отдельных элементов могли при этом либо разделяться паузой («шва») и превращаться в подобия фонем (гласных или согласных) — либо «склеиваться» в единый переходный процесс, образуя прототипы грамматических форм.

В такой перспективе, реконструкции типа πατρός < *παταρός не имеют особого смысла, ибо они дают лишь разные обозначения одного и того же элемента первобытного языка. Восходящая интонация (которую мы выше уподобили китайской) относится не к фонеме [о] (таковой еще не было в природе), а ко всему «широкому» звучанию [ətərə]. Чтобы ударение (исходно чисто интонационное, тональное) могло закрепиться за определенным слогом, надо, чтобы слоги уже обособились друг от друга — а это происходит далеко не сразу.

В скобках заметим, что и в современных языках комплексы имеют свойство «полнеть», допускают вставные шва в целях интонационного выделения. Например, русские слова *укроп, друг, подруга* могут в аффектированной речи превращаться в *укəроп, дəруг, подəруга* (что часто воспринимается и передается на письме как удлинение согласной: *уккроп, ддруг, поддруга*). Как тут не вспомнить презрительное замечание Семереньи (с. 130):

> Продление согласных и гласных встречается в аффектированной речи. Однако оно не относится к общеупотребительным средствам нормального языка.

Целый букет заблуждений! Во-первых, сам же Семереньи дает примеры из разных языков — а значит, явление носит совершенно универсальный характер: это не личная прихоть говорящего, а культурно зафиксированный способ передачи вполне определенной семантики. Если нормальным языком считать жаргон индоевропеистов — тогда особой выразительности ждать, конечно, не приходится. Но все остальные говорят эмоционально — любое высказывание не только (и не столько) передает информацию, но и выражает отношение говорящего к ней, и его отношение к собеседнику, и культурный контекст, и многое другое. Тем более это справедливо для первобытного человечества, которое еще не научилось прикрывать личные интересы маской формального безразличия. Кому-то просто дико, когда современные молодые люди называют друг друга подонками и предлагают покончить с собой; однако в определенной интонации такие «кощунства» выглядят совершенно нейтрально, и даже дружески, — что, кстати, отражено в специфическом написании: «Падонак, выпей йаду!» В контексте развития фонологии от синкретизма к аналитичности аффектированное «удлинение» фонем — одно из бесценных указаний на древнейшие пласты языка, отзвук его первобытной истории.

Точно так же, когда рассуждают про абляут «долгих вокалических односложных баз» (с. 102), начинаются концептуальные проблемы совершенно искусственного характера. Если заметить, что первобытная интонация не привязана к фонемам, и элементарный «тон» размыт как во времени (длительность звучания), так и в пространстве (тембровая определенность), различные варианты «редукции» возникают совершенно естественно под влиянием речевого контекста. В этом плане основы с «долгими гласными» отличаются от прочих лишь качеством опорного элемента (точно так же, как в современном персидском «долгие» и «краткие» гласные различаются не по долготе, а по тембру). В любом случае, есть начальный и конечный переходный процесс (которого современный индоевропеист не замечает). И точно так же, возможна полная и неполная «редукция», а вовсе не обязательно в краткую гласную, как утверждают господа-теоретики. Например, в русском языке: *костёр, костерок, кострище*. Говорить о долготе или краткости древней основы можно лишь условно — с точки зрения первобытного восприятия они все были одинаковы. Разумеется, по мере различения интонаций первоначальное единство распадалось на тембровые варианты — по-разному в разных языках, но сохраняя все ту же логическую структуру. Например, долгие гласные легко смоделировать процессом распада (а не редукции!) исходного звучания при возникновении тонового ударения: [ē] = [ə̄ə̄] (первый тон), [ā] = [ə̀ə́] (третий тон), [ō] = [ə́ə́] (второй тон)… Здесь намек на общую теорию ударения, в единстве с абляутом. В частности, переход от синкретизма к тембровой определенности — не единичный акт, не мгновение, а сложный и длительный процесс. Часть интонаций приобретает фонологическую определенность раньше других; какие-то интонации не

приобрели ее до сих пор. Например, в китайском языке слоги разной тембровой окраски (с разными «гласными») могут произноситься одним тоном, и наоборот, одно ядро допускает разные интонирования: *mā, mà, shū, shù* и т. д. Очевидно, тембровая и тоновая дифференциация шли разными путями, по-разному в разных диалектах, — так что серьезной науке тут есть чем поинтересоваться. Заметим, что обычные речевые интонации в китайском языке никто не отменял: они точно так же несут грамматическую и аффективную (семантическую) нагрузку.

Индоевропеистика опирается на современный языковой опыт, возводит результат в ранг первопричины. Это одно из проявлений антропоцентризма в науке: все мы поначалу пытаемся мерить мир по себе. И все же пора вырастать из детских фантазий и признать, что мир существует и развивается не в качестве чьей-то идеи, а сам по себе — именно этим он и интересен.

И — тишина…

Трудные взаимоотношения языка и речи всем известны, и не вошли в поговорку только потому, что еще разительнее контраст речи и мысли. Сказано в писании: мысль изреченная есть ложь. Некоторые делают из этого логически кривой вывод: давайте постигать истину молча, углубимся в медитацию, в созерцание собственного пупка и постепенное превращение его в центр Вселенной… Правильная логика — предлагает иное прочтение классики: меньше слов, больше дела, — а если и озвучивать себя, то по делу. Язык в таком контексте непосредственно соотносится с насущными задачами, внешним образом представляет текущее состояние и перспективы развития культуры. А речь призвана обеспечить плавную передачу дел от одного деятеля к другому в рамках совместной деятельности. На объективную картину при этом, конечно же, накладываются субъективные обстоятельства; в идеале, однако, суть дела не зависит от коммуникативных возможностей и предпочтений.

Вроде бы определились: единство языка проявляется в разнообразии речений. Рынок невозможен без базара. Но жизнь, как водится, норовит поставить все с ног на уши и подсовывает ехидную идейку: а не зависит ли строение языка от богатства нашей речи, от доступных на данный момент средств выражения? Пусть себе практика определяет содержание мысли — но в каждом конкретном случае содержание есть единство материала и формы, так что любое речение требует вполне определенных языковых средств (чтобы получилось по существу), и наоборот, формальная конструкция способна доступно поведать суть дела только в определенном речевом воплощении. Опять же, как на базаре: цены сильно зависят от валюты, и если один товар дороже другого здесь и сейчас, он запросто может оказаться дешевле в другом месте или в другое время. На этом играют ловкие спекулянты, получая вполне весомую выгоду от прокрутки товара по кругу; точно так же работает любая тепловая машина, многократно прогоняющая рабочее тело по замкнутому циклу, совершая при этом полезную работу. Кто в школе учил термодинамику, тот знает.

Мощь аналогий может далеко завести. Но не будем пока заводиться и ограничимся очень узкой темой: скромное место фонологии в системе языкознания.

С младенчества нас приучают шлепать губами и не хлопать ушами — и эта привычка настолько въелась в народные массы, что всякое общение народ соотносит прежде всего со звукопорождением и звукоулавливанием, так что все остальное квалифицируется как придаток, надстройка или суррогат. Например, бытует мнение, что жесты лишь дополняют звучащую речь, добавляют ей выразительности — накладывают на нее индивидуальность говорящего. То есть, больше относятся к психологии и драматическому искусству, нежели к лингвистике. Жестовая речь глухонемых воспринимается как нечто исключительное, ненормальное. И отношение к ней у широкой публики настороженное. Мы, вроде бы, согласны признать важность невербальной коммуникации — но в пренебрежительном тоне («речь второго сорта»); даже преувеличивая культурную роль невербалики и объявляя ее подлинно человеческим способом общения, мы, по сути, выводим ее за рамки лингвистики, списываем на «общение душ».

Однако язык как средство общения — не может быть привязан к индивидуальности, он всегда воплощает некоторое культурное целое, единое для всех членов сообщества. Частный

материал требует всеобщей формы. А значит, «беззвучное» общение так или иначе должно вырабатывать стандарты и технологии, подчиняться все тем же принципам синтактики и семантики. Не случайно появление в последние годы множества «пособий» по невербальной коммуникации, понимаемой, правда, исключительно как технология манипуляции. Бизнес и политика всегда уважали шулерский профессионализм: не подмажешь — не поедешь, не надуешь — не взлетишь…

Но не будем про убогих. Пристальный взгляд на способы нашего общения обнаруживает, что традиционно синкретическое отнесение к невербалике внефонологического материала не совсем корректно, ибо отсутствие звука вовсе не означает аморфной бесструктурности и случайных (тело)движений, и наоборот: его присутствие отнюдь не гарантирует осмысленной системности. Языковая единица (например, слово) не сводится с способу озвучивания; наоборот, это, скорее, то общее, что присуще разным звучаниям — не колебания воздуха, а то, что за ними стоит, смысловые рамки, элемент содержания. Иначе говоря, есть устойчивые культурные образования, которые даже на базе фонологии по-разному представляются в разных языках, или в разных пластах одного и того же языка. Естественно, ничто не мешает то же содержание наложить на любой другой материал, придав ему соответствующую форму. Чем человек действует — тем же он и общается. А действует он изначально мышечным движением. Не каким попало, а тем, которое требуется для превращение природы в культурный (то есть, предназначенный для совместного использования) продукт. Первые речения неотделимы от действия, они воспроизводят его строение — а если нужный природный материал по каким-то причинам отсутствует, остается только форма, и возникает первичная абстракция — формальное действие, жест. Таким образом, жест стоит у истоков языка — и постепенно вырабатывается особый набор жестов (артикуляций), предназначенный исключительно для общения; ясно, что для подобной, абстрагированной от действия жестикуляции лучше подходят такие мышечные движения, которые никто не спутает с производственными, и тут как нельзя более кстати ротовая полость и гортань, физиологические воплощения идеи потребления.[44] Сначала человек сотрясает мир — и лишь потом начинает ограничиваться сотрясанием воздуха.

Первобытный производственный жест весьма ограничен. В нем доминирует тактильное чувство, прямой контакт, осязание. Повторить такой жест можно только «оседлав» руку другого. Не обязательно в буквальном смысле — поскольку соотнесение движений с видимой картинкой выстраивается еще до восхождения к разуму — собственно, глаза для этого животному и даны. Но вспомните о том, как мы учим малыша простейшим бытовым движениям, терпеливо двигая его руками, поддерживая тело в нужном положении… У животного больше «встроенных» автоматизмов — но сути дела это не меняет. Так или иначе, обучение требует прикосновения. Высшие отделы мозга у животных формируются как «нейронные модели» типовых движений; Ясно, что этот набор един для представителей одного вида, и за счет этого движение одного животного воспринимается другим как свое собственное; таково происхождение способности подражания. Но развитие идет дальше: животное учится подражать не только представителям своего вида, но и другим животным. Это объективно возможно в силу единства условий обитания и фундаментальных физиологических механизмов. Однако слаборазвитый мозг не может достаточно гибко имитировать поведение, типичное для смежных видов; как правило, у животных это ограничивается несколькими ближайшими по характеру схемами движения. Человеческий мозг — способен создавать виртуальные модели любых внешних структур, и на этом собственно физиологическое развитие заканчивается, поскольку на первый план выходит социальное поведение, когда индивидуальная физиология — лишь материал для сколь угодно сложных надстроек (в конечном итоге меняющих и физиологию). Где-то мы такое уже видели… Ах да, точно так же усложнение неорганических веществ приводит к достаточно универсальной «технологии» органического конструирования — развитие которой определяется уже не собственно химическими процессами, а законами биологической эволюции; из неживого возникает жизнь.

[44] В этом аспекте органы испражнения (половые органы) куда более активны, ибо производят вполне осязаемый внешний продукт, по-своему преобразуют среду обитания… У низших животных что вход, что выход, — одно и то же. Потому они и низшие…

Универсальность сознания предполагает не только способность подражания самым различным живым существам — человек умеет уподобляться и неживому, воспроизводить его в себе независимо от возможности соприкосновения. От элементарных частиц и полей до звезд и галактик. Человек воспроизводит в себе весь мир. Понятно, что одним мозгом тут не обойтись. Человек радикально меняет себя, производя искусственные «органы чувств» (инструменты) и неорганические средства воздействия на природу (орудия труда). Соответственно, возникает иерархия средств управления этим сложным хозяйством, в которой мозг занимает почетное, но уже далеко не первое место. Человек — это больше, чем органическое тело; в конце концов, он может иногда обойтись и без него…

Оставляя в стороне многие удивительные последствия такого «овнешнения» человека, вернемся к взаимодействию речи и языка. Общение позволяет людям передавать друг другу трудовую эстафету, так что одни завершают начатое другими. В простейшем случае, жест непосредственно воспроизводит схему движения; эта имитация жестового «сообщения» может превратиться в полновесную деятельность, если, по случаю, у повторяющего есть то, чего не хватает «отправителю», — то, к чему полезные телодвижения можно приложить. В более развитой форме, речь представляет собой многократно свернутое действие, воспроизведение которого запускает последовательность «движений», которая порождает еще одну, и так далее, пока не дойдет до собственно производственных операций. Дойти может далеко не сразу, и уже у кого-то совсем третьего. Но в конечном итоге язык есть не что иное как система обмена деятельностями.

Спрашивается: можем ли мы ограничиться одним, пусть даже весьма универсальным носителем? Нет-нет, я сам и отвечаю: не можем! Производственный жест эволюционирует не только в устную речь — он развивается сразу по всем направлениям. Преобладание каких-то из них на каждом историческом этапе определяется не общими соображениями, а конкретным строением соответствующих культур. В других ситуациях на вершину иерархии выползают иные речевые типы, возможно, переворачивающие всю систему языка.

В качестве первейшего примера — письменная речь. На первый взгляд, это полная противоположность устной речи. Голос оказался в земных условиях весьма удобным способом «доставки» сообщения. Но он локален, он здесь и сейчас, он не может преодолевать огромные расстояния и проходить сквозь время. Письменной речи преград нет. Так люди общаются на любых расстояниях, через тысячелетия. Количество распознаваемых знаков устной речи не так велико (даже с учетом сложных речений и «плавающих» интонаций); напротив, богатство письменной речи неисчерпаемо, и всегда есть возможность изобразить нечто, ранее неведомое и непостижимое. Письменная речь не просто «кодирует» устную — это самостоятельный речевой пласт, далеко не всегда предполагающий «озвучивание». Да, в силу универсальности языка, всегда можно «перевести» текст из одного речевого плана в другой — но нужно ли? У каждой культурной формы свои задачи.

В этом контексте сразу же возникает желание примерить другие органы чувств к задаче речепорождения. И оказывается. они с этим вполне справляются! Про брайлевские шрифты все знают. Но есть и более тонкие примеры, когда способы касания способны обслуживать весьма непростые взаимоотношения людей: одни только поцелуи чего стоят!

В поведении животных важную роль играет обоняние — один из древнейших каналов дистанционного «общения» со средой и друг с другом. Конечно, распространяются запахи много медленнее звука — зато они достаточно стойки, чтобы успешно передавать сообщения во времени, в пределах скромных потребностей. Просто гавкнуть — участок не застолбишь; метить же запахами — без проблем для тех, кто понимает. Включая межвидовое общение.

Понятно, что и в человеческой культуре нашлось место языку запахов. Известно немало исторически бытовавших разновидностей запаховой коммуникации, от прямых намеков до кодифицированного символизма. Да, в нашей культуре, по сравнению с устной и письменной речью, это лишь бледный призрак языковой универсальности. Но кто знает, как может сложиться дело при иных обстоятельствах. Свою нишу язык запахов пока никому уступать не собирается. Глядишь, научимся эффективно записывать запахи — и будем передавать их по разным каналам связи, насыщать ими тексты и хранить в базах данных наряду с прочими мультимедийностями.

О вкусах спорить не будем. Тут уже давно особая наука, кулинария, соперничающая по сложности с космологическими фантазиями. А если серьезно — см. выше про запахи.

Но почему, собственно, мы должны ограничиваться органикой? Неорганическое тело человека куда значительнее. Данные «неорганических» чувств столь же способны складываться в подобие языка, как и первобытные ощущения. Собственно, сам язык об этом и говорит: «язык искусства», «язык науки», «компьютерные языки»… Это не просто метафора, здесь глубокий смысл и перспективы развития. Когда мы создаем инструменты и орудия труда, мы идем по тому же пути, что и в случае превращения жеста в устную или письменную речь. Одно дело — работать руками, и совсем другое — управлять чем-то, что сделает ту же работу лучше и быстрее. Клавиатура компьютера не похожа на токарный станок, как и сам этот станок не очень-то похож на простой верстак. Одни движения заменяются другими — начинают представлять не сами себя, а нечто иное. И следовательно, приобретают какие-то функции языка. Тем более это касается сферы духовного производства, рефлексии, где основным продуктом становится сама способность человека представлять одно другим, и порождать соответствующие языковые системы.

Например, первобытная живопись возникает именно как повторение внешнего движения, следование формам бытия. Это особый вид жестов, который постепенно складывается в системы образов, способные выражать то, до чего устная и письменная речь дойдут не сразу.

Точно так же, музыка возникает в процессе интонационного развития: в хаосе возможных звучаний выделяются устойчивые, легко узнаваемые и массово воспроизводимые шкалы — музыкальный язык. Попробуйте передать эту образность словами! Получится убого и заумно — а музыка говорит сама за себя. Как и в устной речи, в музыке много разных диалектов, и не всегда одни музыканты понимают других. Но стоит представителям далеких культур в чем-то найти общий язык — творческий взрыв.

Наконец, прямое развитие производственного жеста и совместной деятельности — танец. Поначалу это лишь имитация трудовых движений и трудового ритма. Потом возникает иерархия собственно танцевальных движений, фигур, хореографических построений, стилей… Опять и снова — многоязычность.

Каждое искусство вырабатывает свой язык — представленный множеством частных языков. Есть синтетические искусства — со своими синтетическими языками. В конце концов и устная речь, и письменная — встраиваются в сферу искусства, теряют исходную речевую определенность и приобретают новую. Слово в поэзии — совсем не то же самое, что в словаре. Письменность для каллиграфа — вовсе не способ записи.

Бесконечное разнообразие наук порождает свою речевую нишу. Было бы примитивно сводить все это языковое богатство к одному универсальному языку (например, к математике). А помимо искусства и науки — есть еще и философия. Ее язык соединяет в себе образность искусства и строгость науки; настоящая философия не подражательна — и неподражаема… Понятно, что звук в науке или философии играет, может быть, не очень скромную — но все же вспомогательную роль.

Все эти частные «языки» не существуют каждый в своем вакууме — они взаимосвязаны и взаимозависимы, поскольку, в конечном счете, все они говорят об одном — о человеческой деятельности (которая, в свою очередь, тождественна миру в целом). По сути дела, речь идет об одном-единственном языке, для которого языковое разнообразие — способ его существования, подобно тому, как единый мир представляется бесконечностью единичных вещей. Единичные языки оказываются лишь способами сказать то же самое, речевыми вариантами. Отсюда главный вывод: противоположность языка и речи не абсолютна, она возникает в сопоставлении соседних уровней одной иерархии, при котором нижний уровень (речевой) допустимо рассматривать как «вербализацию» верхнего (языка). Поскольку же иерархия может развертываться по-разному, одно и то же культурное образование оказывается то языком, то речью — и никакой порядок не возникает раз и навсегда.

В пределах одной культурно-исторической формации ее единство внутренним образом представлено в присущем ей типе субъективности (духовности), внешним выражением которого выступает язык. В условиях относительной культурной стабильности, языковые процессы

связаны, по преимуществу, с развертыванием речевой иерархии и ее обращением. Однако это движение не случайно, в нем есть определенная направленность, постепенное накопление и «всплывание» на верхние уровни таких черт, которые позволят в дальнейшем перейти к новому принципу организации языка, в соответствии с реорганизацией культуры в целом. Сегодня мы наблюдаем неуклонное нарастание роли многократно опосредованного и «косвенного» общения, когда одни (обобщенно-)речевые формы воспроизводятся в других, с их специфическими нормами выразительности, и этот процесс захватывает все более широкий круг «каналов коммуникации», которые в результате приобретают внутреннее строение, отвечающее строению человеческой деятельности и становятся полноценными (под)языками. В таких условиях традиционная, «звучащая» речь отходит на второй план. А вместе с ней — огромный пласт лингвистики, явно или неявно предполагающий фундаментальность именно такой речевой реализации. Все труднее становится говорить о письменной речи как вторичной, фиксирующей фонологию. А значит, традиционные представления о происхождении письменности рано или поздно придется менять. Идеографичность древнейших систем письма, казалось бы, явно указывает на независимое развитие письменной речи — по тысячелетнее господство «фонетических» алфавитов (прежде всего в Европе) приучило науку (прежде всего европейскую) к мысли о главенстве устного слова. Переход к речевой «мультимедийности» в корне меняет ситуацию: бессмысленно искать «главных» в языковом хозяйстве, надо честно заниматься исследованием возможностей и взаимовлияний. Именно потому, что возможности каждой речевой формы ограничены, языковое единство может возникать только через из взаимодействие. А это богатейший лингвистический сюжет.

Древнейшие пласты устной речи плохо изучены (и не могут быть изучены в рамках существующих парадигм). Но можно заранее предсказать, что становление артикуляций связано с характером жестикуляции — здесь, в трудовой основе языка, корни языковых различий. Как люди работают — так они и говорят. Принцип, неплохо объясняющий также эволюцию искусственных языков. Потом, когда «правильные» артикуляции культурно закреплены, когда организация мышечных движений (и обеспечивающая ее нейродинамика) кажутся всецело биологическим приобретением, устная речь начинает лепить все остальные речевые формы по образу своему и подобию. Жест уже не сам по себе — он дополняет и подчеркивает устное слово. Поскольку же язык (как способ обмена деятельностями) представлен прежде всего устной речью, звучащее слово начинает вмешиваться и в трудовые операции, как бы непосредственно влияя на окружающий мир. Культура проникнута магией речи.

А за фасадом этого благолепия идет совсем другая работа. Невербальные средства общения оказывают влияние на речь — и структурируют ее иначе, несвойственным ей образом. Появление книг изменило мир — люди стали говорить иначе, с оглядкой не только на то, как это прозвучит, но и как будет выглядеть. Системы письма активно влияют на грамматический строй: морфология и синтаксис вынуждены приспосабливаться к практике визуализации. И звучащая, и письменная речь восходят к единому началу, к трудовому жесту, — далеким родственникам приходится делить наследство.

По сравнению с письменностью (с ее опорой на зрение), органические чувства человека значительно отстают в конкурентоспособности. Но вытеснить их окончательно ни вербалика, ни письменность не в состоянии. Пока осязание, обоняние или вкус (не говоря уже о кинестезии) прочно удерживают свою нишу в культуре, они остаются важными уровнями речи. Однако главенствующие позиции в развитии разумного восприятия постепенно переходят к новым, искусственным органам чувств, которые по отношению к органическим действуют и как усилители, и как модификаторы, и как катализаторы взаимодействий. Например, действенность устной речи значительно возрастает, если ее сопроводить визуально воспринимаемыми жестами; с этого начинается ораторское искусство. Точно так же, умение прикрутить к тексту картинку переводит письменную речь на другой уровень. Такие синтетические формы речи издревле использовались человеком. Но современные технологии позволяют не просто иллюстрировать текст — а еще и динамически изменять его строение: гиперссылки, всплывающие окна, контекстные преобразования, включение видео- и аудиоматериалов… Все это коренным образом меняет строение речевой иерархии — а значит, и строение языка.

Например, письменная речь захватила пальму первенства во многом благодаря своей принципиальной нелокальности, способности соединять людей через время и пространство. Устная речь тает в пространстве и растворяется во времени. Но приходит эра звукозаписи — и устное слово оказывается столь же пригодным к передаче на далекие расстояния или от предков к потомкам, как и письмо; более того, такая связь местами намного информативней, не говоря уже об эмоциональной насыщенности. Если раньше любители послушать (или те, кому трудно, или просто лень читать) нанимали специальных чтецов — в нашем распоряжении тысячи звуковых книг, и традиционному, визуальному чтению приходится искать место поскромнее. Какое-то время печатная книга еще соперничала со звуком в красочности, доходчивости, поражала богатством иллюстраций… Сначала кино, а потом видеозапись, — начисто лишают бумажную книгу ее передовой визуальности — рождается новый тип речи, видеоклип. Книжки с картинками — атавизм даже для малышей. Типографская книга сохраняется уже не в силу коммуникативных преимуществ, и даже не из-за дорожных удобств (утраченных благодаря появлению мобильных электронных устройств), — играют те самые второстепенные чувства, которые зрение и слух вытеснили, было, из речевого обихода. Бывает приятно почувствовать тяжесть в руке, вдохнуть книжный запах; хорошая бумага (или кожаный переплет) приятна на ощупь; полиграфическое решение вызывает особый, ни с чем несравнимый внутренний отклик. Это тоже уровень общения, хотя и далекий от кибернетической деловитости или мещанской расслабухи.

Когда-нибудь научатся записывать тактильные ощущения и запахи, вкус и кинестезию. Речь приобретет новые, неожиданные краски. Способы передачи такого «текста» от одного человека (только ли?) другому тоже изменятся. Почему бы нам не общаться посредством вживленных в мозг компьютеров, или не научиться напрямую улавливать квантовые корреляции, бурную жизнь элементарных частиц (физических полей)? Но это лишь одна, простейшая, «технологическая» сторона вопроса. Суть же инструментального опосредования в активном характере среды передачи, когда мир целиком «участвует» в человеческом общении. Не пассивный обмен сигналами, а вовлечение природы в дела людей, ее очеловечивание. Да и самому понятию индивидуальности в будущем суждено пережить фантастические метаморфозы. Единичный субъект сможет общаться с разными уровнями коллективного субъекта совершенно так же, при помощи тех же речевых форм, как с другой подобной ему единичностью. И тем самым вырастает из замкнутости бытия в себе, становится равным Вселенной. Вот это мы и обозначаем словом «разум».

С точки зрения психологической науки — здесь нечему удивляться. Всякая деятельность может свертываться в действие, действия свертываются в операции; до каких-то пределов эти процессы обратимы. Общение людей в определенных условиях превращается в особую, коммуникативную деятельность — которая становиться одной из сторон деятельности вообще. То, что сначала требовало множества промежуточных шагов — сокращается в нечто совершенно элементарное. Зачем нам звук, если мы можем работать вместе и без него, соединяя наши тела в единое целое при помощи хитроумных устройств (со временем обретающих характер природности)? Шум — первобытность, след примитивных защитных приспособлений. Вероятно, устная речь постепенно отомрет — и даже звуковые компоненты речи будут передаваться не через воздух, а по другим каналам, и восстанавливаться непосредственно в мозгу. Эдакая технологическая телепатия. Если бы современный человек мог попасть в мир будущего, он бы чувствовал себя очень неуютно в полной тишине.

Разумеется, это относится и к другим каналам общения. В терминах информатики, на первый план выходит содержание сообщения, а не способ его доставки. Что предполагает новый уровень мышления — обобщенность в сочетании с четкостью деталей.

Тут мы приходим к самому главному. Человеку будущего уже не обязательно толкаться среди особей того же вида. У него совершенно иной склад души. Он одинаково способен общаться с любыми формами разума — даже такими, физический контакт с которыми ему строго противопоказан. Наконец, ему может быть приятно иногда просто остаться наедине с собой. И это нормально, поскольку сам он — точка пересечения многих и многих общений, в его одиночестве — единство мира. И тогда заговорит тишина.

Корпус и анима

Может быть, в фантастическом будущем покажется странным, как наши современники выгрызают себе сколько-нибудь мирских благ (или хотя бы морального удовлетворения) сбывая что ни попадя, чем удалось по случаю разжиться за чужой счет. А где базар — там и реклама. Задурить мозги обывателю, прорезать на энную сумму богатенькое начальство… Классика русской поэзии, «Евгений Онегин». В советские времена рынок продолжал править бал — а уж после переворота поторговаться при случае сам бог велел. Скромники нынче не в цене. Ради звонкой монеты пиарщики от науки плодят звонкие сенсации, подбирают формулировочки из репертуара дурных блокбастеров, вместо высокой идеи. Оно, конечно, можно понять: ученым тоже кормиться надо. Диссертации на соискание, заявки на гранты… Но иногда соискателей зашкаливает. Какую-нибудь никчемнейшую фигушку преподносят — ни много ни мало — как научную революцию. Ну хорошо, пусть даже из этой вещицы проистекает какая-то польза — меру таки надо знать! Как говорится, хорошая вещь — в рекламе не нуждается.

На роль очередного переворачивателя науки претендует корпусная лингвистика. Дескать, без необозримости наших коллекций — вашим изысканиям грош цена. А тут за сносные деньги игрушка-погремушка: электронная, репрезентативная, полностью размеченная, прагматически ориентированная… Налетай, торопись!

Казалось бы, и вправду: ведя речь о языке, неплохо бы иметь под рукой удобный источник красноречивых примеров, на каждый житейский случай. Опять же, как в народе: ко всякому слову свое присловье. Но что мы имеем по факту? Закачали в одно место миллиард примеров словоупотребления — а найти один самый главный по-прежнему дело благосклонной судьбы. Ну да, компьютер умеет быстренько сосчитать, какой процент предложений сомнительного стиля содержит слова на букву «х». И нарисует змеистые графики, цветастые диаграммы… Зачем это? Могу я на основании вашего корпуса понять, из-за чего лишился премии или потерял любовь? Ах, не могу? Так в гробу я видал такую науку!

Настоящая наука не сводится к статистике; никакие, сколь угодно представительные и сбалансированные выборки не родят ни единого понятия, не подскажут внутреннего закона. Сначала надо хорошенько подумать — а уже потом подбирать к обнаженной мысли приличные платьица. И вовсе не обязательно, чтобы шкафы ломились. Живая душа в чем есть хороша.

Статистика пуста. Рыночная цена товара — ничего не говорит о полезности и качестве изготовления. На рынке фигурируют не вещи, а их абстрактные призраки. Точно так же, всякие там средние, корреляции, доверительные интервалы и регрессии — антураж, рекламный трюк. Суть науки в другом: ей надо вырабатывать универсальные приемы деятельности, которым всякий при желании может научиться — и других научить. Это и называется: знание. Нужны миллиарды примеров, чтобы освоить передовую агротехнику или технологию континуального интеграла? Вовсе нет. Достаточно пары-тройки типовых. Медитация над гипермассивом данных ничуть не эффективнее пристального внимания к одному-единственному выразительному факту. Более того, сенсорные излишества склонны отвлекать от главного — как изящная мелодия теряется в жутко виртуозных вариациях.

С другой стороны, а что, собственно, мы коллекционируем? На основании чего отделяем зерна от плевел? Для всякой коллекции нужен общий принцип. За которым стоят определенные представления об устройстве мира и наличном бытии того, что мы собираемся собирать. То есть, создание корпуса — результат, итог науки, а вовсе не ее начало. В каждом лингвистическом корпусе воплощены чьи-то взгляды на природу языка, и вовсе не факт, что другие с такой трактовкой согласятся. Кто-то коллекционирует чайники, кто-то самовары. Науке о самоварах нет большой пользы от науки о чайниках — даже если в чем-то они и пересекаются. И отличаем мы одно от другого вовсе не по статистике бытового использования.

В силу специфики предмета, одни и те же факты языка могут по-разному использоваться в разных разделах языкознания, и даже в одной области, где разные аспекты предмета требуют различных теоретических моделей. Кто угадает, чем заинтересуется ученое сообщество в следующий момент? А готовый корпус нормативен: авторы за всех уже решили, что следует считать существенным, а что нет, — на что обращать внимание. Там, где нужен свежий взгляд и

поиск новых путей, разметка корпуса только мешает: встроенный механизм поиска заведомо предпочтет избитую колею. Но на то и наука, чтобы стремиться в неизведанное!

Получается, что гордость корпоростроителей, подробная разметка, — это наименее ценная часть продукта, без которой в большинстве случаев можно обойтись. Безусловно, субтитры облегчают поиск в мультимедийных коллекциях, а контурная графика повышает эффективность распознавания типовых образов. Но это еще не разметка, это просто перевод. Настоящая разметка предполагает интерпретацию, отнесение элемента текста к одной или нескольким категориям. А интерпретации, как известно, дело очень относительное. Даже, казалось бы, такая безобидная операция как отнесение к определенной части речи — может обернуться дурным произволом. Например, в тех языках, в которых вообще нет такого явления как «часть речи». Попробуйте парсить программы на Python, математические формулы, радиоэлектронные схемы или строительные чертежи! Да и естественные языки далеко не все дружат с европейскими представлениями о грамматике. Наконец, даже там, откуда вся эта частеречная идеология произросла, формальная категоризация запросто может дать петуха. Морфология — не аргумент. Например, предикативные обороты по сути играют роль глаголов — хотя могут быть выражены именной группой, да и вообще чем угодно. В предложении «Он, видать, совсем того» слово «видать» явно относится к наречиям, а слово «того» играет роль глагола, хотя морфологически на это ничто не указывает. Формальная разметка в таких ситуациях (а их в разговорной речи большинство) заведомо врет — а нам оно надо? Конечно, никто не мешает усложнять программы до бесконечности; однако пока мы этим занимаемся — язык придумает еще какую-нибудь выкрутасину, от которой наши суперпарсеры жестоко ступорит.

Еще тяжелее с оценкой коммуникативных функций или выразительных интонаций. Когда солидный дядя (или почтенная матрона) на полном серьезе начинает размечать фразы киногероев как нейтральные, радостные, озабоченные или иронические — сразу хочется организаторов этого действа нехорошо назвать. Несомненно, стилевые стандарты в каждом языке есть. Но существуют они лишь виртуально, в рамках определенной системы общественных связей — которая может возникать и распадаться по прихоти случая (хотя и опирается, по большому счету, на конкретно-исторические формы материального производства). Пока дружная команда в поте лица строит очередной ресурс, стилистика речи десять раз поменяется, и толку от их вдохновенного труда — ровный ноль. Об этом хорошо знают авторы словарей идиом: включение того или иного словечка часто сопряжено с трудными решениями по поводу его актуальности — и в любом словаре часть статей все равно окажется невпопад.[45] А по жизни — интереснее всего говорят как раз те, кто свободно обращается со стилевыми шаблонами, запросто выдавая один за другой, в зависимости от индивидуальных намерений. Язык у них становится искусством.

Но мы тут, вроде бы, занимаемся не искусством, а наукой. Вот и давайте посмотрим, как у них обстоит дело с высокими научными стандартами.

Понятно, что вручную размечать мегатонны сырых текстов никто не отважится. Процесс поручают умной автоматике или искусственному интеллекту. Возникает парадокс: чем умнее автоматы, тем меньше им нужны люди. Соответственно, чем лучше программа разметки, тем дальше она от человеческих нужд. Допустим, что мы как-то уговорили программу послужить на благо общества и согласились принять ее выводы как нечто разумное. Не секрет, что в любой, даже самой совершенной программе (включая наши мозги), имеются ошибки. Но, положа руку на сердце, проверяет кто-нибудь машинную разметку на предмет глюкавости? Вряд ли. Это опять вернуло бы нас к нудному ручному труду. Ну, ткнуть в пару записей наугад, мы, конечно, не поленились — и если там что-то не так, поправили. А кто поручится за остальные миллиарды? Научная ценность такой разметки стремится к нулю. Как признают сами же поборники прогресса, методы автоматического парсинга все еще далеки от совершенства. И годятся полученные таким способом словари разве что для рекламы, когда выйдет смешно: «отвоюйте себе возможность совершенно зреть!»

Заметим, что программы начинает лихорадить в двусмысленных, противоречивых или сомнительных ситуациях — то есть, там, где только и можно вляпаться в научное открытие. Вот

[45] См., напр.: F. Caradec, J.-B. Pouy, *Dictionnaire du français argotique et populaire*. — Larousse (2009).

и получается, что научному творчеству грандиозные сооружения корпусной лингвистики — как мертвому припарка. Многознание не научает уму.

Зато на денежные мешки длинные числа действуют просто завораживающе. Это у них природное, на уровне рефлекса — от привычки измерять нулями капитал. Добавить сюда пару-тройку эффектных демонструшек, девиаций и трендов (в стилистике форекса), — и кому-то сразу захочется куда-то вложиться.

Соискатели чего угодно давно уже выработали корпус специфически рекламных приемов, и язык просителя денег вполне может стать предметом особой лингвистической науки. Для привлечения инвесторов все сгодится: и высокопарная лексика, и деловой напор, и политические амбиции… Но жаждущих всегда больше, чем дающих, — и приходится прикидываться вожаком стаи, первым верблюдом каравана. Демонстрировать научную революционность.

Но так ли уж нова идея корпусной лингвистики? Вспомним хотя бы о великом корпусе астрономических наблюдений, который складывался сотни, и даже тысячи лет. Не просто коллекция чисел — а еще и особая «разметка», позволяющая пересчитывать старые данные по мере уточнения опорных точек и унификации стандартов. Когда не было компьютеров — использовали подручные средства и хранили в бумаге. Сейчас все оцифровано — да так, как лингвистическим базам и не снилось. Разумеется, подводные камни все те же: неправильная интерпретация может завести не туда. Но здесь уже есть опыт преодоления системных ошибок, а корпусная лингвистика еще слишком молода, она грешит, не думая о расплате.

Есть и другие примеры старинных «корпусов». Например, на этом стоит биологическая таксономия. Любой гербарий, собрание чучел и скелетов — чем не специализированный корпус? А в биологии на каждую таксономическую единицу навешено огромное количество разметки: анатомия и физиология, ареалы и биоценозы, этология и геном… Причем по честному, руками, а компьютерные штучки — только часть инструментария. Возможно, кому-то потребуется наводить статистику по встречаемости признаков у разных видов — на здоровье. Наука это допускает — но этим не ограничивается.

Точно так же в истории есть корпус материальных следов и документальных свидетельств, и есть особая наука — источниковедение — чтобы не абсолютизировать ценность единичной интерпретации. История давно уже осознала относительность понятия «документ», и серьезный исследователь не станет делать выводы на основании чего-то, что вполне может оказаться заблуждением или политической игрой. Здесь как нигде важен «корпусной» характер данных, с учетом привходящих обстоятельств и различий в идеологии.

В теории и практике юриспруденции кодификация восходит, как минимум, к таблицам Хаммурапи. Национальные своды законов — специализированные корпуса, уходящие корнями в далекое прошлое. Сегодня и сюда вторгаются компьютеры, и нынешний юрист или бухгалтер не мыслит себя без регулярно обновляемых электронных справочных систем. Здесь интересный пример, когда развитие корпуса оперативно следует за развитием предмета — лингвистике еще расти и расти.

Про всякие справочники, энциклопедии, обзоры и т. д. — и говорить нечего. Обратимся хотя бы к столь презираемой лингвистами филологии. Тысячи лет живет практика компиляций комментированных текстов на заданную тему. В средние века это вообще был чуть ли не основной литературный жанр. К этому сводится *вся* теология — и в ее составе особые «науки», вроде патристики. Составление всяческих хрестоматий — исконно филологическая дисциплина, из которой, по большому счету, и выросли современные лингвистические корпуса — как бы ни открещивались они от своих корней.

Наконец, есть музейное дело и наука библиографии. Библиотеки существовали задолго до корпусной лингвистики, а любая библиотека (музей) — материализация корпуса культурных достижений в самом широком смысле; нынешние мультимедийные собрания — лишь имитация этой почтенной деятельности, и ее часть. В библиотеке единицы хранения тщательно и систематически разнесены по рубриками, снабжены специальными кодами, расставлены по полкам в продуманном порядке. Сегодня к этому широко привлекаются компьютерные системы. Над поддержанием и развитием этого корпуса работают многочисленные институты (например, в советское время всякая публикация в обязательном порядке проходила через ВИНИТИ). Издревле публиковались библиографические справочники по самые разные темы.

Любая наука (и не только наука) порождает корпус специальных знаний. И существует все это не только (и не столько) в текстовом виде, а еще и в особой организации соответствующей отрасли и способах ее взаимодействия с культурой в целом. Картины Хогарта или Малевича, музыка Альбинони или Шнитке — все это можно оцифровать, закачать в компьютер… Но помимо таких *репродукций* останется нечто, непередаваемое никаким текстом, требующее индивидуального творчества в каждом акте общения. Человеку мало неодушевленных тел. Он одушевляет тела, даруя им частицу своей души. Когда-то это умение называли богом…

Спустимся еще раз на землю. Когда апологеты корпусной лингвистики революционно предлагают нам вместо живой действительности изучать сконструированных ими роботов — это продолжение старой философской традиции, отделяющей плоды рук (и умов) человеческих от неподвластной пока человеческому контролю природы и объявляющей эти вторичные вещи единственно постижимой реальностью. Другая сторона того же самого — отказ от теории, от осознания того, что стоит за корпусом наших наблюдений. Да, в этот свод «фактов» встроена какая-то теория — но она, вроде как, не относится к делу; буржуазная статистика прикидывается нейтральной, буржуазная математика якобы стоит над земными страстями, вне добра и зла. Дали вам кучу слегка подкрашенных текстов, насыпали песка — и ковыряйтесь в этой песочнице, лепите куличи — и не надо грустных мыслей. Идея, прямо скажем, не самая безобидная.

Лихо объявляя современную лингвистику сплошь корпусной, корпорация собирателей подсовывает публике пошленький эталон сугубо наблюдательной науки, единственная цель которой — обобщение (читай: статистическая обработка) сырых данных с целью выявления в них каких-то закономерностей (читай: статистических трендов). Получается, что революция в лингвистике сводится к утверждению ползучей эмпирии — и это шаг назад по сравнению со старой, пусть умозрительной, но все-таки теоретической лингвистикой. По большому счету, человеку предлагают отказаться от роли преобразователя природы, ограничиться животным приспособлением. Или, что то же самое, поселиться в клетке с кондиционером, и переправлять остатки нормализованной пищи в нормальный унитаз.

Бурное развитие информационных технологий порождает иллюзию всемогущества и подпитывает соблазн вседозволенности. В какой-то мере это важно для освобождения от цепей рыночной экономики. Но в рефлексии природные отношения часто предстают в перевернутом виде, и надо немало потрудиться, чтобы научиться корректировать наивное восприятие. Первые базы данных (и первые веб-сайты) были незамысловато-прямолинейны, просто склад всякой всячины, с минимальными подсказками для любителей бродить по цифровому миру в поисках новых впечатлений. С увеличением объемов пришлось пересмотреть способы организации и представления данных; случайные блуждания уступили место целенаправленному поиску — тут-то и вклинились между пользователем и миром всевозможные посредники, способные не только помочь — но и заботливо направить… Разработчики компьютерных систем гордо заявляют о переходе от обработки данных (data processing) к управлению знаниями (knowledge management). Как водится, зерно упало на благодатную почву: кому-то очень хочется управлять чужими знаниями, и за это они готовы хорошенько заплатить. Впрочем, и сами искатели мало-помалу прониклись рекламными фантазиями и приписали своим программами способность порождать новые знания, открывать глаза изумленному человечеству… Идеология тупого эмпиризма плодит тупых невежд.

На самом же деле, как бы ни крутились шарики в компьютере, никаких новых знаний из этого никогда не произрастет. По той простой причине, что знание — это не текст, и не метод его обработки; знание — это общественное отношение. Способ организации культуры. Станут роботы полноправными членами общества — милости просим, делитесь с остальными своими догадками и находками. До того — результаты компьютерной самодеятельности останутся лишь исходным материалом, в лучшем случае полуфабрикатами, пока человек их не заметит и не пристроит к общественно полезному делу. Машина ничего не «знает» — знают люди. И хранятся во всевозможных компьютерных «корпусах» не знания, а лишь указатели на знание, ярлыки, обозначения того, что лежит вне информатики как таковой. То есть, по сути, все тот же текст. Как его люди используют, и используют ли вообще, — компьютеру дела нет. Другими словами, разметка не выводит нас за рамки традиционных представлений о самих себе, это лишь один из уровней языка вообще, искусственный язык — который может изучать лингвистическая наука,

но изучение которого никак не отменяет необходимости заниматься всем остальным. С тем же успехом можно говорить о языке математики, языке балета или языке больного шизофренией.

Вероятно, исследовать способы порождения одних структур другими в больших базах данных нужно и важно для решения главной задачи человечества — порождения новых форм разума. На этом пути мы вложим в компьютерные тела не только душу, но и дух. Только, вот, к науке о языке это не относится.

Языковая премудрость

Одно и то же не всегда ведет себя одинаково. Возможно, для кого-то это новость, кому-то покажется странным и подозрительным, причиняет массу неудобств… Люди испокон веков пытаются командовать природой, навязывать ей правила, которые она когда-то себе придумала, но потом забыла и легкомысленно увлеклась чем-то еще. А мы народ серьезный — мы строим раз и навсегда, и очень не любим, когда кто-либо покушается на устои придуманного нами мироздания. И в первую голову это касается нас самих: наш внутренний мир внешне представлен формами нашего языка — которые мы умеем фиксировать в терминах строгой достоверности.

Навязчивая нормативность современного языкознания — наследие стародавних времен, когда ранние рабовладельческие цивилизации дорастали до культурной определенности, впадая в иллюзию могущества и незыблемости — как водится, на фоне глубокого цивилизационного кризиса. Мы осознаем собственные достижения только задним числом, когда уже есть, что осознавать. Но поезд идет дальше — и где-то впереди уже брезжит другая эпоха, которую впоследствии назовут средневековьем. Чисто психологически, обидно: только-только достигли богатства и процветания — а уже пора давить гидру тщеславия и учиться декларативному смирению… Как не попытаться дернуть стоп-кран? С легкой руки аристократа Платона (и его восточных коллег по цеху) появилась привычка отделять собственные умения от нас самих и объявлять их самостоятельными сущностями, которые, якобы, нам предстоит понемногу отлавливать и впрягать в трудовые будни… Исторически сложившееся начинает предшествовать истории.

Дальше — больше. Ремесло перетекает в искусство, искусство становится наукой… То есть, речь уже идет не о том. чтобы присматриваться к миру и как-то себя в нем вести, а о приобщении к уже накопленному знанию, из которого можно мастерить новые формы, доселе невиданные и совершенные сами по себе. Например, почему бы не вывести все из одного литературного источника — коллекции еврейских сказок? Средневековая схоластика — высшее выражение эллинизма.

Другая сторона того же — элитарность. Если к чему-то предстоит приобщаться, значит, есть и те, кто не приобщается. Соответственно, достигшие просветления не горят желанием поделиться с другими: они уходят от мира, предоставляя всем желающим право самостоятельно продираться сквозь дебри искусственно нецарских путей. На практике — иерархия инстанций, обладающих полномочиями на отделение одних от других. Procul este profani.

Не надо особой проницательности, чтобы усмотреть прямую связь этой идеологии с учениями позднейших позитивистов, (наивно?) абсолютизирующих организацию буржуазной науки. Как бы оно ни называлось (герменевтика, деконструкция, постмодернизм…), суть одна: не надо слишком интересоваться жизнью — достаточно играть образами. В науке о языке это выражается так: практическое использование языка следует подчинить системе формально зафиксированных норм (произношение, орфография, стилистика…), а все выходящее за рамки нормы трактовать как случайные отклонения, вульгарность, профанацию. Ходячий пример — пракриты как опошление великого и могучего санскрита.

Великий двигатель формалистического прогресса — система образования. Казалось бы, замечательно, когда мы приобщаем к грамотности широчайшие массы населения, даем каждому возможность протиснуться в ряды величайших умов человечества… Проблема в том, что для человека, воспитанного в духе почитания канонов и помещенного в среду, где неканоничность, мягко выражаясь, не приветствуется, перспектива духовного роста неизбежно останется чисто

формальной. Образованность, понимаемая как соответствие образцам, сильно отличается от разумности, способности сознательно решать, чему уподобляться в каждом конкретном случае.

Вот мы и пришли от знания к мудрости, от науки к философии. Изучение языков (или чего угодно) — великое дело; но было бы странно, если на том все и заканчивалось бы. Кто сказал, что природу (в том числе человеческую) можно только изучать? — к ней еще можно как-то относиться, чего-то желать, куда-то стремиться… Когда влюбленному хочется лишь поскорее «познать» возлюбленную — это как-то не по-человечески. Любовь — повод для духовного роста, а не только источник физиологического удовлетворения.

Объявляя знание высшей и самодовлеющей ценностью, буржуазия пытается перехватить инициативу: дескать, на здоровье — учитесь (у нас), узнавайте (что положено), копите (полезные нам) навыки и становитесь (квалифицированной рабочей) силой. Но не вздумайте замахиваться на что-то большее, не пытайтесь изменить принцип общественного устройства, предлагая какие-либо иные ценности кроме буржуазных.

А «высших» ценностей вообще нет. Человеку нужно все. Весь мир — и на меньшее он не согласен. Всякое ограничение поля деятельности есть ущемление нашей разумности. Познание бессмысленно без образного восприятия, категориальных рамок или практического освоения. В конце концов, знание — всего лишь инструмент. Вероятно, кому-то нравятся инструменты как таковые — хорошо сделанные вещи, которые хочется коллекционировать, разглядывать и восхищаться. Однако по большому счету человек изготавливает орудия труда для того, чтобы трудиться — это их основное применение. Соответственно, и науки о языке (сколько бы их ни было) мы оцениваем не только в плане внутренней стройности и концептуального богатства, но прежде всего с точки зрения усовершенствования всех уровней человеческого общения, что, в конечном итоге, должно привести к утверждению универсальности человека как разумного существа.

Речь не идет о примитивной утилитарности. Наоборот, нужно преодолеть вбитый в головы тысячелетней пропагандой предрассудок о безусловной важности соблюдения норм научного этикета, формальной правильности безотносительно к потребностям момента. Наука возникла как универсальный механизм обмена знаниями — но это далеко не все, чем люди по жизни обмениваются. Мало того, что лингвистические труды вовсе не обязаны привязываться к традиционному представлению о языке как средстве коммуникации, — мы еще и призываем не ограничиваться наукообразием, использовать все доступные технологии освоения языковой культуры. Целостность и разнообразие языкового опыта делает язык носителем нашей субъективности, а нас — его носителями. Это и называется: философия языка.

Полагаете, из столь возвышенных рассуждений не бывает практических выводов? Они таки есть! И первый из них — отсутствие у солидных лингвистов каких-либо *существенных* преимуществ перед дилетантами. Если, допустим, заниматься физикой или нейрофизиологией невозможно без (хотя бы временного) погружения в исследуемую область с пропорциональным отключением от повседневных забот — проникновение в глубины языка доступно каждому, так сказать, без отрыва от производства, поскольку все мы с рождения (или даже раньше) погружены в языковую стихию, и языковедческая рефлексия вовсе не обязана принимать какие-то особые культурные формы. Разумеется, широкая эрудиция способна кое-что подсказать; опять же, говорить о языке надо серьезно учиться — если мы вообще собираемся о нем говорить. Однако многознание не всегда в помощь, и бывает полезнее поизобретать терминологические велосипеды, нежели впихивать собственные находки в когда-то кем-то принятые схемы — с риском повредить хрупкую вещь. Приличный повар не станет буквально придерживаться книжного рецепта, без поправки на качество доступных ингредиентов, ассортимент кухонных принадлежностей и т. д.; температура и влажность воздуха, характер помещения (вплоть до цветовой гаммы или фоновых шумов), мебель и аксессуары, — все это (в разной степени) влияет на вкус, а в идеале следовало бы еще и учесть личные обстоятельства каждого едока, его отношение к еде (вообще и в данный момент). Стандарты хороши для быстрого перекусона или официальных банкетов, когда качество пищи есть вопрос второстепенный, а голова занята другим. Лингвистическая наука, в каком-то смысле, и есть такой языковедческий фастфуд,

безусловно полезный и общественно необходимый — но никак не отменяющий иных, более изысканных потребностей.

Нет, конечно, вопрос об эволюции глагольных флексий в хеттском языке требует, как минимум, поверхностного знакомства с устройством хеттского языка (на разных этапах его существования), чтобы обоснованно заключить о наличии самого предмета соответствующей науки. Дилетанту придется покорпеть над источниками (при наличии доступа) или хотя бы критически переосмыслить писания ранее корпевших. Пообщаться с хеттами вживую нам пока еще проблематично. Но как только начинают работать универсальные принципы и языковое чутье — качество полученных выводов мало зависит от количества дипломов и публикаций в реферируемых источниках. Профессионал, широко известный в узком кругу, может исходить из принципиально порочных допущений — и тогда науки у него отнюдь не больше, чем у не слишком продвинутого, но идеологически подкованного неофита. Всякий вправе поспорить с кем угодно: в науке бывают авторитеты — но богов нет. Там же, где вопрос о накоплении формального знания просто не стоит, ученый вообще ничем не выделяется из остальных.

Точно так же, чтобы сравнивать языки между собой и выдвигать гипотезы об законах и направлении их эволюции, вовсе не обязательно быть полиглотом. Разбираться в поэзии можно без минимальнейшего собственного опыта. Любитель балета не обязан вникать в технику танца. Каменщик кладет кирпичи — и ему незачем думать о квантовой природе сил сцепления. Наконец, философия языка лишь в самых общих моментах опирается на данные языкознания, выводы которого для философии — лишь исходный материал, и требуется привлечь немало всего прочего, чтобы выявить в этой «эмпирии» категориальную основу.

Еще один важный вывод — концептуальная относительность. У языка не бывает одного-единственного, раз и навсегда заданного строения. Его организация напрямую зависит от практического контекста. Для старого лингвиста — мысль абсолютно еретическая. Новое время вносит коррективы: например, технологии парсинга и синтеза речи в компьютерной лингвистике редко опираются на достижения грамматики или фонологии — а структура машинных словарей далека от традиций академической лексикографии. Что более истинно? Глупый вопрос. Всему свое место в многообразии культуры, и каждая вещь показывает себя с другой стороны при смене мотивации. Философия не дает нам замкнуться в рамках одной частной схемы, призывает к свободе, к сознательному выбору позиции. Дело науки — детали, тонкости, воспроизводимость и переносимость. Для философа погрязнуть в деталях — равносильно гибели; ему предстоит показать, что в других обстоятельствах и детали нужны другие — при том, что единства предмета никто не отменял. Наука строит прочные замки на твердой почве; для философа все это — игра света на волнах, зыбкая феерия — хотя чему-то на чем-то для этого все же надо играть. Языковая премудрость состоит в том, что каждое относительно устойчивое образование (которое только и может попасть в поле зрения науки) всегда из чего-то возникает и во что-то превращается — а пограничные области, переходные эффекты требуют специальных наук, и потому здание науки в принципе не может быть достроено до конца, как нет конца движению природы и разума. Наука неотделима от собственной ограниченности; чем больше мы узнаем — тем явственнее границы нашего знания. Философия снимает границы, делая частное знание всеобщей необходимостью.

Другая сторона того же самого: мертвый текст почти ничего не говорит о живом языке. Какие бы исторические сведения мы ни привлекли, как бы ни выписывали культурный контекст, вытащить из текста его «истинный» смысл никак нельзя. Просто потому, что истина и смысл суть атрибуты деятельности, и то, что ни для чего уже не нужно, не имеет отношения ни к тому, ни к другому. Абсолютная объективность в лингвистике — не идеал, а досадное недоразумение; язык воспроизводит строение субъекта — так можно ли в науке игнорировать саму его суть, субъективность? Да, наука для таких вещей плохо приспособлена, ей подавай остекленевшие трупы. Для того, чтобы по окаменелостям восстановить плоть и кровь, требуется художественная фантазия и философская принципиальность. Перевоплощение и самовыражение. А в итоге — *практическое* отношение к знанию, поиск места в целостности современной культуры. Склеивая амфору из черепков, археолог восстанавливает не только вещь — он пересоздает и ее назначение, иерархию культурных связей, существующих здесь и сейчас. Нет осмысленного переживания —

и восстанавливать нечего. Мы охотно препоручаем часть рутинной работы машинам — они вполне способны перебирать варианты, подгонять одно к другому. Машину легко научить тому, чему мы уже научились, — и автоматика будет воспроизводить наши умения, совершенствовать и оптимизировать, синтезировать новые автоматы с учетом развития технологий. В частности, современный компьютер сносно понимает устную и письменную речь и способен преобразовать внутренние структуры данных в человекообразные речения или визуализации. Но это никоим образом не делает машины разумными, они все равно остаются лишь носителями *нашего* разума, частью *нашего* «неорганического тела». Они знают *как* — но им все равно *зачем*. Они найдут *из-за чего* — но не спросят *почему*. То есть, философ из машины никакой. Когда ученые лингвисты восторженно играют кибернетическими погремушками и не умеют отличить формальный синтез от самовыражения — это духовная деградация. Вместо того, чтобы уподобиться придуманному нами богу и вдохнуть разум в едва-едва одушевленные железки — мы наоборот, гасим его в себе. Чтобы остаться бессмертными — нужна философия. Которую очень хочется понимать не только как любовь *к мудрости* — но прежде всего как *любовь*.

Слово о семантике

Люди по жизни много чего делают. В том числе — довольно странные вещи. Например, они все время разговаривают. Разными способами. И относится это к другим человеческим занятиям совсем непросто. По первой видимости, похоже на аккомпанемент, в ритме труда. С другой стороны, как и в музыке, аккомпанемент имеет свойство направлять мелодию, а иногда и полностью растворять ее в игре гармоний. Разговоры по существу — явление в сегодняшней действительности довольно редкое. Но и здесь можно повернуть другой стороной: обустройство внутреннего мира человека — часть работы по обустройству мира в целом, и нельзя сколько-нибудь плодотворно трудиться, не заботясь о надлежащем содержании главного орудия — самого действующего субъекта. Так что и пустой треп, оказывается, для чего-то нужен, ибо входит неотъемлемой частью в строение каждой личности и каждого коллектива. Поэтому классическая проблема языкознания, отношение языка к деятельности (или, что то же самое, к материальной и духовной культуре, а через это к миру в целом), предполагает, помимо всего прочего, различие возможных уровней общения, каждый из которых требует своих «технологических» решений.

Хорошо. Допустим, мы вознамерились разобраться с вопросом о том, как и зачем люди говорят. Не тут-то было! Оказывается, люди не только трудятся и разговаривают — некоторые из них еще и думают… А значит, язык, коль скоро он претендует на роль универсального аккомпанемента нашей деятельности, обязан обслужить и такую, внутреннюю деятельность (причем не только мышление, а и все, с чем оно там, внутри, взаимосвязано). Вот вам и второй традиционный вопрос языкознания — который на самом деле есть другая сторона первого, или наоборот. Чтобы получить полную триаду, надо бы еще связать мышление и мир напрямую — но этот поворот к науке о языке (да и к науке вообще) уже не относится, хотя без определенной философской позиции вряд ли возможно серьезно обсуждать собственно языковедческие дела. Действительно, поскольку для идеалиста внешний мир — не более чем иллюзия, говорить об отношении языка к миру уже не приходится; поскольку же при таком раскладе внутренний мир есть чистая случайность или ничем не ограниченный произвол, сопоставлять язык с мышлением тоже незачем: нет предмета — нет мысли, а есть предмет — нет идеализма. В результате все три элемента триады — деятельность, рефлексия, язык — схлопываются в точку, где просто ничего нет (в том числе и языка). Когда пытаются выстроить идеалистически вывернутую семантику, оставаясь все время внутри языка как единственной данности, получится может все что угодно, ибо полет фантазии таких «ученых» проистекает исключительно из случайных подробностей их биографии, и потому не более научен, чем первый попавшийся дилетантизм. Если же признать объективность языковых форм — мы сразу же разводим язык и мышление о языке, а значит предполагаем различие объекта (природы), субъекта (духа) и продукта (культуры), что по сути есть чистейший материализм, как бы эти три сущности не трактовать.

Итак, собственное устройство языка необъяснимо без привлечения внеязыковых реалий. Этим и занимается семантика, взятая как область языкознания, а не абстрактно-философская мода. Грубо говоря, надо понять, из чего язык проистекает — и во что превращается. То есть, семантическое исследование необходимо соединяет в себе две противоположных и взаимно дополнительных стороны: «онтологическую» и «когнитивную» — или, иначе: «материальную» и «идеальную». Один подход показывает, как представлены в языке практически значимые вещи во всей пестроте возможных переплетений; другое направление — вглубь субъекта, где языковые формы произрастают из самой сути вещей.

С этого места подробнее. История — это не только цепь открытий, но и еще богатство наших заблуждений. Например, есть соблазн вульгарного материализма: напрямую связать какие-то конструкции языка (чаще всего — слова) с природными явлениями (отношениями вещей). Язык в таком понимании — нечто вроде гигантской картотеки, в которой все курьезы, встреченные человечеством на историческом пути, как-то поименованы и расставлены на полках по какому-то принципу (система языка). Развитие языка в такой картине видится как пополнение «тезауруса» (буквально: сокровищница) — а иногда, возможно, ревизия рубрикатора.

Ясно, что отражение такого статического мира во внутренней деятельности субъекта столь же статично — и в когнитивном аспекте мышление отождествляется с языком (хотя бы даже не напрямую, а с перекодировкой во «внутреннее» представление). Получается, что наша исходная триада снова деградирует в точку: по большому счету, мир, язык и мышление формально тождественны (что для вящей свирепости именуется «изоморфизмом»). Здесь, как и на каждом шагу, вульгарный материализм смыкается с идеализмом.

Тем не менее, лингвистический структурализм оказался весьма кстати в компьютерном деле, пока можно свести взаимодействие втиснутых в технологии культурных сущностей к нескольким стандартным протоколам. Формальные языки — рай для любителей покомандовать природой. Но и в раю не без чертенка: практика программирования никогда не придерживалась строгих канонов, и любое сколько-нибудь приемлемое решение неизбежно содержит языковые конструкции, которые пурист от языкознания воспринимает не иначе как надругательство над невинностью структуралистского идеала. Что уж говорить о естественной речи, в которой соблюдение правил — это редчайшее исключение!

Грандиозный свод знаний, охватывающий все стороны действительности, — наивная мечта старых энциклопедистов. Идея родилась задолго до древа Порфирия, и продолжает жить до сих пор в систематизаторских усилиях некоторых гуманитариев. Но устойчивое в понятии возникает как отражение природной устойчивости. На любом уровне развитие характеризуется типичными рамками воспроизводства, так что говорить о структурности возможно лишь в пределах одного цикла. Если, допустим, в физике миры воспроизводят себя за времена порядка многих миллиардов лет, изобретение формальных теорий для текущих технологических нужд совершенно естественно и логически оправданно. Если биологические явления воспроизводятся миллионы лет — можно смело заниматься классификаторством. Существование культурных форм — это, в лучшем случае, тысячелетия, и полагаться на единообразие реалий можно лишь в каких-то отношениях, с многочисленными оговорками.

Темпы развития языка напрямую зависят от развития культуры — в том числе и нас, ее носителей. Что-то рождается, что-то уходит — несколько раз на протяжении одной человеческой жизни. Пока мы расставляем это хозяйство по полочкам — и хозяйство ветшает, и полочки успевают рассыпаться в прах. Не укладывается развитие в чистую структурность — и даже (системное) представление о смене одних структур другими не помогает: новое не дано заранее, наряду со старым, чтобы можно было превратить одно в другое посредством особой структуры (функции); в развитии складывается то, чего раньше не было даже в проекте, что (справедливо) считалось невозможным.

Убогость структурализма особенно заметна там, где предметом исследования становится единичный человек, от рождения до смерти. Нельзя говорить о младенце, подростке, зрелой личности или старческой немощи в одних и тех же терминах, в одном и том же отношении — поскольку сама суть культурного онтогенеза в том, что отдельное по-разному относится к целому на разных этапах своего развития. Речь маленького ребенка, речь школьника и речь

взрослого — это разные уровни языка; в свое время марксист Л. Выготский критиковал идеализм Ж. Пиаже именно за смешение, отождествление существенно разных психолингвистических явлений, за надуманность неразборчивой семантики. Интерпретировать, например, выражение логических отношений в языке как реализацию алгебраических структур — это из области реинкарнации самосущих платоновских идей. Точно также, когда экспериментальные данные о речи ребенка интерпретируют в терминах сирлевских категорий — можно смело скормить ученый трактат мусорной корзине.

Тот же Выготский долго и обстоятельно показывал, что мышление и речь суть *разные* деятельности, что ни одна из них не выводится из другой, и развиваются они исторически или с возрастом параллельно, в постоянном взаимодействии. И что же? До сих пор бытует навязчивое мнение, что думают люди исключительно в формах родного языка; в результате, язык видится эдаким овеществленным мышлением — и кроме когнитивной функции, вроде бы, изучать нечего. А люди — не кибернетические модели: они не только познают мир — они его творят. Умение разговаривать может пригодиться много для чего. Ограничиваться исключительно пересылкой сообщений — первородный грех лингвистического структурализма.

Но что же делать, если наука по сути своей статична и возится исключительно со структурами да системами? Ну не может она не искать строгой определенности — пусть даже размазанной по статистике и квантово запутанной с другими! Иначе будет это и не наука вовсе, а околонаучная фантастика — что, может быть, само по себе и неплохо, но только само по себе, на своем, то есть, месте.

На помощь приходит сама природа: оказывается, что развитие как природная вещь (а кто сказал, что оно вне природы?) также имеет и структурную, и системную стороны, которые всякая наука имеет полное право пристроить к общественно-полезному делу. Структурность в языке получила название «уровень развития» (или «формация»), а системность пригрелась в словечках «этап», «стадия» и тому подобных. То есть, исторический процесс мы рисуем как системный переход от некоторой первобытной структуры к новой, продвинутой организации; и старое, и новое допускают структурное описание, а смена одного другим соотносится со структурными особенностями исследуемой системы.

С одной малюсенькой поправочкой. Если мы ограничимся одним-единственным способом разделки истории, развитие снова упорхнет от нас в неразумные трансцендентальности. Один и тот же исторический процесс допускает много структурно-системных представлений, и то, что в одном из них — непреложный факт, в другом окажется артефактом, или вообще не окажется. Каждое отдельно взятое упорядочение строго увязывает структуры уровней друг с другом и отделяет одну от другой системными переходами; однако то же самое можно упорядочить и по-другому — и это столь же объективная реальность, как и любой другой порядок. В результате возникает еще одно измерение структурности и системности, связанное с переходом от одного упорядочения к другому. Но и оно оказывается столь же подвижным, и требует взгляда извне — и так до бесконечности. Такое бесконечное разнообразие структурно-системных проявлений одного и того же называется *иерархией*. Поворачивается это грандиозное целое к нам то одним боком, то другим — и в каждом обращении вырисовывается некоторая иерархическая структура, и ее другая сторона, иерархическая система. Ни одна наука не может охватить все богатство такой целостности. Но в каждом обращении есть своя наука.

Мораль: в языкознании, как и везде, не уйти от сосуществования различных моделей в любой, сколь угодно специальной области — и судить о научности на основании формальных критериев или академической распространенности есть вульгарнейший дилетантизм. Никакие ссылки на авторитеты и технологический прогресс не принимаются. Так, миллионы верующих в какого-нибудь бога — не делают его ни на йоту реальнее, а возвышенность деяний подвижников веры на поверку оказываются либо сильно преувеличенной, либо вытекающей из совсем другого истока…

В частности, описанная выше дуальность семантики, соотносящей язык с внешним либо внутренним миром, есть отражение традиционных лингвистических представлений, возникших на культурной основе классовых обществ, — и она вовсе не обязана воспроизводиться в иных мирах, где о разделении труда никто уже и не задумывается. Там могут быть иные, более важные

для иномирян категориальные размежевания, о которых мы пока ничего не знаем — но вполне способны узнать, если не будем высокомерно выпячивать собственное наукообразие.

Потренироваться можно на любом подручном материале. Вот, например, старая задачка о взаимодействии значений и смыслов в лексикографии. Традиционный словарь — воплощение объективной семантики. Слова и словосочетания представлены в словаре как элементарные значения, вообще говоря, рефлексивно связанные с другими значениями. Идейный структурализм принимает образ компьютерной лингвистики и отказывается интересоваться деятельностью людей — его вполне устраивает абстрактный набор элементов и связей (даже если часть из них преподнести как «семантические маркеры»). И то верно: какое дело компьютеру до содержания всунутых в него терабайтов? — у них, компьютеров, свои, независимые от людей намерения… Но, оказывается, совсем избавиться от всего человеческого не удается даже здесь. Хотя бы потому, что словарь составляют для конкретного языка (неважно, естественного или нет) — а это уже ссылка на культурный ареал. Далее, приличный словарь должен привести на каждое слово его основные грамматические формы, а значит, учесть (субъективные) способы работы с языком; отсюда прямая дорожка ко второй стороне семантики, к соответствию языка формам мышления (хотя бы и формализованного до одури, сведенного к чистой нормативности). Наконец, минимальный учет идиоматики уже дает подобие иерархичности, когда значение соотносится не с отдельно взятым словом, а еще и с некоторым контекстом, и роль словарной статьи вполне может играть словосочетание или морфема. Таким образом, лексикография дает удобную модель дуальной семантики, из поведения которой можно делать далеко идущие общелингвистические выводы.

А теперь зададим идиотский вопрос: обязательно ли надо составлять словари по языковому принципу? — нет ли каких-то иных принципов лексикографической организации? С точки зрения дуальной семантики — почему бы и нет? Ну, будем мы перечислять не конструкции конкретного языка, а непосредственно культурные явления, ими обозначаемые — или элементы мысли, обобщенные представления о реальности. А уже потом сопоставлять этим универсалиям словесные эквиваленты на самых разных языках (с учетом идиоматики и грамматического оформления). Да, мы привыкли снабжать экспонаты этикетками и составлять каталоги ярлыков, а не самих по себе вещей. Однако понаблюдайте за посетителями любого музея: многие ли из них интересуются сопроводительным текстом? Изредка кто-то сунет нос в табличку — но большей частью просто разглядывают как есть, без комментариев. Вспомним также о привычке обывателя тупо пялиться в экран, не особо вдумываясь в происходящее; чтобы вбить в головы официальную интерпретацию, приходится изрядно потрудиться над подачей материала, и на этот счет существует пышно цветущая наука. Наконец, мода рубежа XX и XXI столетий — многоязычные визуальные словари; при некотором напряге можно включить туда картинки и для абстрактных идей (и сюда активно примазывается особое наукоискусство — инфографика).

Выходит, семантика может связывать мир с его субъективным образом и напрямую, без языка? В каком-то смысле да. Но только семантикой это становится лишь в общении, а значит, речь не о полной безъязыкости, а о возможности разных лексико-грамматических обличий одного и того же. Так мы опять приходим к идее иерархичности, многоликости структурно-системных представлений.

С точки зрения психолингвистики, тут никаких неожиданностей. Ребенок усваивает язык только через ведущую в каждый возрастной период деятельность — языковые способности развиваются там, где уже есть способность действия. В многоязычной среде разные способы говорить об одном и том же перемешиваются в маленькой голове, и только потом осознается контраст субкультур. Лирическое отступление: в раннем детстве лично для меня было шоком узнать, что русский и английский — это, оказывается, разные языки. Мир раскололся. Потерял чистоту и невинность. И потом так и не срослось…

Но вернемся к лексикографии. Многоязычный семантически-ориентированный словарь — это наша повседневная реальность; таковы, по сути дела, все терминологические и тематические словари: физический, математический, психологический, музыкальный… В узкой области меньше проблем с рубрикаторами и каталогами. Даже простой рядоположенности нескольких индексов на практике хватает для эффективного поиска. Когда же требуется охватить явления

исходно не структурированные — нужен иной подход. Конструкции на всех языках придется трактовать как единое языковое поле, в котором для каждого практического случая возникают особые иерархии зон, представляющих различимые в данном контексте семантические единицы. Общаясь по поводу некоторой деятельности, носитель подобной (уже не дуальной) семантики подбирает языковые реализации, исходя из строения самой этой деятельности, а не по языковому принципу, и не различая внутреннюю и внешнюю семантику.[46] Другими словами, иерархия семантического поля порождает иерархию языка, допускающую не только дуальные обращения.

Фантастика? Отнюдь. Вспомним хотя бы о старинной традиции гуманитарного дискурса (в переводе на человеческий, имеются в виду обычные приемы письменной и устной речи в среде начитанных людей не столь отдаленного прошлого). Когда мы встречаем в очередном трактате на возвышенные темы фразочки на латыни, на древнегреческом или на чем-то пока еще живом, но к национальности автора отношения не имеющем, возникает соблазн заклеймить пошляка и позера, бравирующего поверхностной эрудицией. Не торопитесь. Во многих случаях (хотя, конечно, далеко не всегда) подобная мешанина вовсе не черта характера — а способ мысли, не показное остроумие — а попытка как можно точнее передать в речи существо дела. Человек, привыкший общаться (например, через книги) с обитателями разных земель, невольно подбирает осколки их лексикона, удачно воспроизводящие ход его собственной мысли и порядок его собственной деятельности. Если в культуре подобная многоязычность практикуется веками, носителям этой распределенной семантики просто в голову не приходит блюсти чистоту родной речи вопреки животрепещущей потребности высказаться — и быть понятым. Разумеется, есть в этом и доля классово-сословного снобизма, и вынужденное следование литературной традиции, и много прочих неприглядностей цивилизованного существования. Обратная сторона — та самая низовая скабрезность, которую восхвалял некто М. М. Бахтин (не к ночи будь помянут). Два полюса, синтез и синкретизм. Но это — всего лишь форма. Что стоит за ней — надо выяснять индивидуально и конкретно. Иногда ничего не стоит, кроме тупого бескультурья. А уж если проклюнется известная содержательность — формальные трюки побоку, извольте смотреть на вершину иерархии, а не копаться в ее малосущественных подвалах.

Дальше два направления: в прошлое и в будущее. Из глуби веков — обыкновеннейшее лингвистическое чудо, лексико-грамматические заимствования. Тривиальный, казалось бы, факт до сих пор не получил сколько-нибудь серьезного осмысления, и о механизмах заимствования не известно практически ничего; попытки инвентаризации — грубый эмпиризм. В какой-то мере виновата идейная диктатура индоевропеистики, наивная мечта о блаженном языке всех языков, который не дошел до нас из незапамятной древности из-за диверсантов всех национальностей, распиливших великое единство на тысячи корявых диалектов. О том, что в основе развития языков лежит, главным образом, противоположный процесс, взаимообогащение, стараются не думать, и на публику не выносить — а то академическое сообщество с потрохами сожрет.

В современности, пришедшей на смену классическому образованию, древние языки не в почете, здесь царство золотого тельца, представленного наиболее развитыми в экономическом отношении нациями. Соответственно, национальные языки становятся интернациональными, проникают во все остальные со скоростью банковского перевода. Поскольку после второй мировой войны правил бал дядя Сэм, естественна лавина англицизмов, прокатившаяся по всем европейским и неевропейским языкам. Потом ситуация меняется, и новые игроки привносят свои языковые фенечки — хотя, конечно, до мирового господства им пока еще далеко.

Однако, в дополнение к естественному заимствованию, есть и нечто новое. Глобализация мировой экономики, помимо сближения культур, создает формальные условия для виртуального взаимодействия языков, для хаотического, немотивированного, эфемерного внедрения форм одного языка в тело другого. Разумеется, порядок и хаос — явления взаимообусловленные, различаются они лишь в пределах одного уровня иерархии. Тем не менее, языковая культура конца XX века до предела развивает способность и склонность к языковой эклектике, ранее проявлявшуюся преимущественно в узко-групповом жаргоне. Объективно, всякая интеграция

[46] Точнее, лингвосемантические модели становятся формами сознательной речи, выражениями сознательного намерения.

сопровождается интенсивными поисками различий — и на фоне универсализации средств общения логично ожидать всплеска демонстративного обособленчества, ненормативности, эпатажа и выпендрежа. Как только девиация становится нормой, от нее массово сбегают во что-нибудь другое — неважно, что именно, достаточно формальных отличий. Однако даже после растворения в языковой массе виртуальные внедрения не исчезают бесследно, они остаются как возможность, как ситуативный маркер, как исторический курьез. В результате многоязычная семантика становится объективной реальностью, обретает языковую плоть.

Значит ли это, что все многообразие человеческих и нечеловеческих языков спокойно уляжется в канон универсального семантического кода, который давно уже кое-кто пытается изобрести? Вряд ли. Целое существует через единство различий. И для каждого способа различать — свой способ объединить. Различия не менее значимы и ценны, чем единство. Например, одно время китайские товарищи поднимали на щит иероглифическую письменность как универсальный семантический код, позволяющий общаться китайцам всех времен и народов. Диалектные различия можно было учесть путем введения дополнительных знаков, не столь широко употребительных. По сути дела, при таком подходе диалекты моделируются частотными распределениями на единой семантической базе. Однако потом до народа дошло, что за внешними, языковыми различиями стоит особый образ жизни, и своеобразный склад души. А это вещь очень ранимая — которую легко потерять без всякой надежды на восстановление. Конечно, патологическая борьба за природное разнообразие столь же глупа, как и всеобщий регламент; разум позаботится об исторически приемлемых компромиссах. Однако в любом случае объединяться лучше не в ущерб индивидуальностям, а наоборот, ради их всестороннего процветания. Прогресс — это все новые возможности, а вовсе не замена одних возможностей на другие, вытеснение старого за пределы культуры. В связи с этим свежий пример — как водится, из жизни компьютеров. Время от времени изобретатели машинных языков провозглашают один из них вершиной творения, а все остальное в лучшем случае трактуется как слабое подобие, предварительные наброски.[47] Тем не менее, уже в раннекомпьютерную эпоху предпринимались усилия по развитию средств языковой интеграции; вспомним хотя бы нередкие в ту эпоху ассемблерные вкрапления в текстах на языках высокого уровня. Сейчас многоязычная разработка приложений становится нормой: каждый язык для чего-то удобнее, а в условиях жесткой конкуренции важно быстро писать каждый кусок на языке, наиболее адаптированном к логике соответствующей деятельности, чтобы потом склеить разные модули в нечто полуживое и выбросить на рынок.

Как тут не вспомнить о еще одной сфере компьютерной индустрии — разработке речевых интерфейсов (что коммерческие популяризаторы подают как живое общение). Традиционно в программировании господствует принцип дуальной семантики — разделение бизнес-логики и интерфейса. Управлять какими-то сущностями, дескать, можно (и нужно) без человеческого вмешательства (на то и автоматика!) — и для человека, так и быть, мы придумаем удобное графическое представление, или переведем что-нибудь в членораздельную речь. Понятно, что в основе такого подхода лежит все тот же экономический принцип, капиталистическое разделение труда; это выливается в противопоставление одних трудовых ресурсов другим, и в частности — человека компьютеру. Не работать сообща — а делать каждому свое дело, и потом обмениваться плодами (подразумевается: через рынок). Так вот, в этом русле моделирование разговора на естественном языке выглядит как две разные (и противоположные) задачи: распознавание речи и синтез речи. Сначала нам нужно перекодировать речевой поток во внутреннее представление (заданное логикой никак не связанных с речью бизнес-процессов), а потом результаты работы программ преобразовать из внутреннего представления в последовательность звучаний, которую человек мог бы принять за осмысленную речь. Принципиальных технологических трудностей на этом пути нет, и в некоторых случаях (например, когда руки и глаза чем-то заняты) человеку, конечно же, удобнее формулировать запросы вслух и получать речевой ответ. Тут, впрочем, уже

[47] Особенной агрессивностью отличается идеология семейства Unix, которая стала стандартом *de facto*, подмяв под себя другие, возможно куда более перспективные направления. В частности, стандарт Unix считается единственно возможной основой системной (и языковой) интеграции.

начинаются вопросы. Допустим, я на слух плохо воспринимаю — мне лучше посмотреть, и чтобы не мелькало перед глазами, а в комфортном режиме. Не послушать чье-то чтение — а самому книжку прочесть. И в метро я предпочту тишину. У других — может быть наоборот. Следовательно, речевой интерфейс не панацея, и нельзя навязывать его всем без разбору. Без выбора нельзя, это как-то не по-людски.

Но предположим, что говорящие машины где-то необходимы — в чисто практическом аспекте. И что научились мы распознавать и синтезировать речь — не отличить. Приблизит ли это нас к пониманию собственно человеческой речи? Казалось бы, удачная модель — признак верности наших представлений духу оригинала, свидетельство глубокого проникновения в предмет. Если бы! Не все так просто.

С одной стороны, имитация — первая ступень постижения; хотя это, пожалуй, ближе к искусству, чем к науке. Чтобы появились темы для обсуждения, надо, как минимум, осознать собственную потребность что-либо вообще обсуждать. Есть поверхность — можно стремиться преодолеть поверхностность. От явления мы движемся к сущности.

Однако кто сказал, что форма и содержание тождественны? За тем же фасадом могут скрываться иные интерьеры, внешнее ретро на поверку иногда оказывается супернавороченным хайтеком, и наоборот: демонстративный модерн лишь прикрывает девственную традицию.

Наконец, почему, собственно, мы обязаны во всем следовать природе? Мы, ведь, изучаем ее из для праздного любопытства — наши знания лишь один из инструментов преобразования мира, никоим образом не самодовлеющая ценность. Именно отход от подражания знаменует начало разумного освоения действительности, вместо животного приспособления к ней. Изобретение колеса было, в этом плане, величайшим шагом человечества на пути к разуму: мы освободились от природности и приступить к строительству культуры. Остальное — развитие в том же русле: дворцы вместо пещер, насосные станции вместо акведуков, воздушный шар, самолет и ракета вместо птичьих крыльев, синтетические материалы, биотехнологии — и выход за пределы Земли, и поголовная роботизация, и манипулирование символами вместо вещей.

Вышесказанное не делает меня поборником лингвистического структурализма. Понять не значит простить. Да, это часть реальности, дорога, с которой не свернуть. Но когда приходится существовать в бездне капиталистического кошмара, я имею полное право хотя бы мечтать о других мирах, где этой мерзости нет.

По-настоящему осмысленная речь отличается от речевого интерфейса. Не внешним обликом, а по сути. У живого человека нет противопоставления распознавания и синтеза, у него все вместе. В процессе распознавания человек активно творит, строит внутренние модели речевой ситуации, передает внешнюю деятельность внутренней; точно так же, на каждом этапе синтеза человек пытается распознать то, что он сотворил, и корректирует на следующем уровне то, что его в собственном продукте не устраивает. Противоположность восприятия и действия динамически возникает в каждый момент — чтобы тут же превратиться в единство, снятую противоположность. И здесь нет какого-то единого для всех принципа; важно как раз рождение принципов в зависимости от ситуации и настроения. В одном акте речевого общения человек пробует тысячи возможных путей, вековую историю языка — и его будущее.

И все же не будем судить уж очень строго. По жизни — у каждого бывает, что иерархия естественной речи объективно уплощается, и единое речетворение расщепляется на отдельные акты распознавания и синтеза. Например, когда мы пытаемся изъясняться на иностранном языке. В начале изучения большинство пытается переводить чужую речь на свой язык, формировать ответы на родном языке — и опять заниматься переводом. Чем не компьютер? Требуется немало труда, чтобы новый язык стал расширением прежних языковых возможностей, а не внешней примочкой; без особой общественной потребности такое владение языками не приходит. Лишь изнутри культуры возможно ее «вживление» в речь, переплетение языков и семантик, свобода обращения иерархий — которые не существуют сразу и целиком, их надо выращивать в себе. Человек учится этому всю жизнь, и на каждом шагу делает поразительные открытия. И потому способен чем-то открыться и другим. Вероятно, когда-нибудь мы научим компьютеры вести себя так же, сделаем их речь иерархической. Но это уже будут не совсем роботы — и мы тогда будем не совсем мы.

Язык и мир

Наука о языке традиционно ограничивается его коммуникативными аспектами и местом в психической жизни, а также влияниями одного на другое. Но язык несравненно шире — и было бы странно сводить его к пошлой утилитарности и запирать в (сколь угодно опосредованной) единичной персоне. И если влияние языка на развитие наук и философии еще можно как-то увязать со структурами мышления, то как прикажете трактовать орнаментальность в искусстве, традиции градостроения, формы булавок или формы правления? Где у нас статистика по доминирующим типам рефлексии? Каким образом говорящие выстраивают производственный процесс или интимные отношения? Насколько отвечают наши языковые привычки законам микромира и космологии?

Можно спорить, насколько это имеет отношение к лингвистике. Формально — имеет, поскольку лингвистика претендует на звание всеобъемлющей науки о языке. Как о том во всеуслышание заявляют некоторые профессионалы. Да и по жизни, всякое общественное явление отражает и выражает характерные черты и тонкие особенности организации соответствующего общества, и наоборот, культурные факторы активно продвигают относящиеся к делу аспекты внутреннего устройства языка. Стало быть, все это запросто делается предметом каких-то наук. Не только гуманитарных (типа юриспруденции и математики), но и в какой-то мере естественных (вроде механики, психологии или агрономии). И если до сих пор не сложилось собственно научной картины общественного бытия языка, в этом виновато современное общественное устройство, при котором столь щекотливые вопросы поднимать на уровень науки никак не принято.

Подоплека лингвистической скромности проста: отдать все науке — так и спекулировать не на чем. А есть вещи, которые для политических спекуляций — самое оно. Когда собирается шайка воров, они базарят на фене — и тем самым консолидируются в общественную силу, требующую к себе если не уважения, то хотя бы опасливой осторожности. В частности, банда буржуев может потребовать национального самоопределения и сделать символом базарной «свободы» языковую чистоту. Понятно, что лично самоопределенцы живут по американ да европам, и члены их семей про «рідну мову» без понятия, — но купить энное количество академических и площадных пропагандистов — с большими деньгами не проблема, а делить массы по языковому принципу — одно удовольствие.

Про общественные корни языка обычно вспоминают по партийным соображениям, когда кому-то хочется к политическому и экономическому союзу (читай: диктату) припутать еще и языковое родство. Тут уж изгаляются кто во что горазд, и приписывают языку мистические свойства за гранью всяческой разумности. Доходит до смешного. Например, на очередном *Sommet de la francophonie* ораторы дружно заявляют, что распространение французского языка сделает мир более стабильным и мирным, поспособствует экономическому процветанию, утвердит правовое государство, приобщит дикарей к истинной цивилизации… Дескать, франкофония предполагает особый менталитет — и сама способность изъясняться на языке Руссо, Рабле или Тьера делает душу прекраснее, облагораживает нравы. На ум сразу же приходит знаменитая серия Гойи: «Ужасы войны». Там, ведь, тоже французы. И негров на американских плантациях французы эксплуатировали нещадно, и туземцев убивали в заморских колониях. Это французы в XIX веке по приказу некоего корсиканца сжигали целиком (вместе с населением) европейские и африканские города, свозили мешками отрубленные головы и разбрасывали по улицам для устрашения прочих. Традиции демократии во Франции явление относительно новое, за них пришлось долго и упорно бороться вплоть до конца XX века. А до того был абсолютизм. И религиозная нетерпимость (вспомним Варфоломеевскую ночь). В пылу очередной выборной кампании каждый претендент на президентское (депутатское) кресло с пеной у рта заявляет, что исконно французские ценности представляет именно он. Оппоненты, естественно, с этим не согласны. Так какие же франкофонические ценности собираемся мы нести в мир, если среди самих французов согласия на этот счет нет? Странно слышать о духе языка от наций, в которых этнических французов (или швейцарцев, или бельгийцев) осталось с гулькин нос, а основную массу составляют переселенцы со всех континентов; эдак, глядишь, через срок-другой в

Президенты Республики будет баллотироваться не только восточноевропейская диаспора, но и араб, курд, малаец, зулус — или антарктический пингвин.

Нет уж, менталитет менталитетом — а язык языком. Всякий язык можно приспособить к разным головам, и даже внутри одного народа говорящие на одном языке таки могут не договориться. Например, было бы странно сводить классовую борьбу исключительно к этническому размежеванию (как нынешние идеологи, включая обуржуившихся коммунистов, склонны утверждать).

Когда единство языка включают в определение этноса — это, скорее, политический жест, идеологическая позиция по национальному вопросу, предусматривающая искусственное насаждение одного языка в угрозу всем остальным. Если различие языков не мешает людям делать общее дело — они едины. Если формальное языковое единство фактически разобщает — это надо честно признать. Команды рабам отдавать можно как угодно, для этого даже голос не требуется: пары-тройки жестов достаточно. С другой стороны, если языковая культура сводится к промыванию мозгов, к штампам и клише, встает вопрос: а на кой нам такое единство? Да, я не очень понимаю, когда кто-то «оттуда» изъясняется огрызками модных авторов, ходячей попсы, сериалов, клипов и местечковой идиоматики. Не могу оценить всей бездны остроумия. Точно так же, тамошние вряд ли догадаются о тонких аллюзиях природного русака. Только, помимо игры, неплохо было бы пару слов по делу — так, чтобы всякий понял, и принял участие.

Объединяющая функция у языка, безусловно, есть. Как и у всего остального. Стоит людям заняться чем-то сообща — и они уже не просто так, а трудовой коллектив. Даже если труд по видимости сводится к трепу без повода. Однако на практике язык чаще используют не ради красного словца, а с какой-нибудь практической целью, для достижения конкретного (не обязательно осознанного) результата. Стало быть, когда люди говорят на одном языке, у них определенно есть нечто общее, и на этой основе можно выстраивать дальнейшие отношения. Учить языки полезно и важно для общего развития, для пробуждения разума (в его нынешних, ограниченных формах). Но учат их не для этого. Мотив приходит из жизни, от реальной потребности. Нет у меня никаких дел с народностью тонга — так на кой мне учить их язык, будь он хоть в тысячу раз выразительнее и красивее моего российского (французского, китайского или турецкого) наречия? Даже если я профессиональный лингвист — осваивать все подряд я не обязан, и прирастает мое полиглотство тем, что ближе к тематике моих изысканий. Если же вдруг потянуло меня на экзотику, и хочется лингвистической свежатинки, — это тоже мотив, объективная направленность личностного развития, — за которой, опять же, стоят общественные и производственные интересы.

Языковое единство — дело хорошее. Но куда важнее — единство дел. Африканские страны не утратили специфически африканскую культуру, когда колонизаторы выучили их говорить по-французски. И даже наоборот, в самой Франции собственно французская культура почти утрачена в потоке пришлых этнических наслоений. В заморских департаментах, не говоря уже о бывших колониях, живут не так, как в метрополии, — отсюда локальные (как минимум) диалекты. Живописные местные говоры — источник материала для строительства новых этажей общеязыкового дома. Иногда этот материал используется по назначению: растет иерархичность языка, расширяется его ареал. Только не всегда все так замечательно. Потому как дела у разных народов могут пойти врозь, и начнут делить наследство, и конфликтовать на рынке — а то и до мордобоя дойдет… Тут уже не до языковой общности, и бывшие диалекты вдруг оказываются самостийными мовами, и каждая претендует на исторической первенство, и жаждет возвести родословную к чему-нибудь знакомому с незапамятных времен. Только чтобы на конкурента не походить. Так искусственное противопоставление русских и украинцев после развала СССР, раздувание национальной розни, привело к эволюции украинского языка в сторону Запада, к насаждению польских неологизмов, хотя раньше русский язык плавно перетекал в украинский, и наоборот (особенно в восточных областях). Такие же экономические корни у лозунгов самоопределения всех прочих языков, от местных вариантов английского или испанского — до туарегов и валлийцев.

Скептическое отношение к лингвокультурному миссионерству не означает огульного отрицания тонких взаимовлияний языка и мира. С одной стороны, язык изначально предназначен

как раз для того, чтобы делиться технологиями и ролями в пределах сообщества; коль скоро такая общность поддерживается на каком-то из уровней способа производства, значение языка для поддержания миропорядка трудно переоценить. Непосредственное участие в совместном труде, конечно же, намного эффективней и может обойтись без длинных словес. Однако во всем сразу не поучаствуешь, а начинать с нуля по каждому поводу — не лучший подход. Оказывается, что язык способен создавать своего рода преднастройку к реальной деятельности, готовить человека к социально значимым деяниям — и потом остается только шлифовать навыки, на уже готовой технической базе. Сначала дело рождает слово — потом слово требует дел. Например, даже те, кто никогда в жизни не сталкивался с поднятием тяжестей, знают, что есть рычаги, домкраты и подъемные краны; поэтому при случае они уже не будут изобретать нечто доселе невиданное, а постараются найти подходящий инструмент. Развитый вариант того же самого — сетевой поисковик, особый способ хранения тезауруса, механизирующий (а иногда и подменяющий собой) усилие припоминания. Понятно, что язык в общем случае не сводится к словарю: есть и невербальные компоненты, которые сегодня мы умеем выделять, хранить и перерабатывать.

Таким образом, культурная роль языка предполагает выстраивание типовых рамок для деятельности — и приобщение (приучение) населения (поколения) к соответствующим культурным формам. Если в механизме культурного наследования материальная культура подобна генотипу — язык сродни всевозможным РНК, во всем многообразии их функций: репликация, трансляция, катализ, репарация и рекомбинация…

Исходя из этого, образовательная система принимает тот или иной способ освоения языка, и даже иностранные (и древние) языки изучаются в контексте предполагаемых приложений (хотя вовсе не факт, что приложения на самом деле будут).

Спекуляций на тему влияния языка на менталитет — предостаточно. Понятно, что поэзия на одном языке будет непередаваемо отличаться от поэзии на другом, и что система письма порождает обширный пласт художественных переосмыслений. Построение и динамика драмы напрямую зависят от языковых интонаций — даже когда действо превращается в чистую пантомиму. О тонкостях риторики — горы литературы. В общем, и восприятие искусства, и художественное творчество без погружения в языковую среду, мягко выражаясь, затруднены.

Тем не менее, мы любуемся иностранной живописью, слушаем чужие песни, а иногда можем оценить и самобытность архитектуры, и пафос декламации. Выходит, что-то в искусстве не зависит от языка и доступно сразу всем?

Так и не так. Есть общность деятельности — и потому возможны внеязыковые каналы общения. Но через эти каналы иностранный язык оказывает на нас подспудное воздействие, перенастраивает по-своему. Итальянская опера готовит слух к одному, французская опера — совсем к другому, не говоря уже об операх Вагнера. Арабский орнамент отличается от европейского, китайского или тайского. Бросающиеся в глаза архитектурные элементы — из той же серии. В эпоху глобализации попсы языки всех стран проникают в психику европейца через экзотическую мелодику. Артикуляция и жестикуляция Болливуда вносит свою лепту в синтез языков.

Может показаться, что наука, с ее стремлением к формальной определенности, не подвержена влиянию этноязыкового контекста: мы ищем истины вообще, изучаем природу как она есть, и потому научные открытия одинаково касаются всех и доступен научный метод каждому вне зависимости от происхождения.

И да, и нет. Наука устроена так, чтобы сглаживать индивидуальные различия, в том числе и этноязыкового происхождения. Но за счет чего? Да просто потому, что она заставляет людей действовать не абы как, а в соответствии с едиными канонами, — поскольку внедрение достижений науки в быт (в том числе научный) создает ту самую общую практическую платформу, из которой буйным цветом лезет формальное единообразие. Публике бросается в глаза бросается лишь «надводная» часть научного айсберга, где яйцеголовые разных народов изъясняются на каком-то искусственном языке, якобы независимом от обывательской нестрогости, столь чувствительной к интонации, настроению, местному колориту. В классовом обществе тут же возникает представление о неких наднациональных объединениях, якобы призванных управлять неразумными стадами, кои без высшей мудрости вряд ли сумеют меж

собой договориться. А что, собственно изменилось? По факту, речь идет о еще одном языке, носители которого противопоставляют себя прочим носителям — и вместо геополитического родства культивируют миф о братстве сведущих, вызывая у непосвященных закономерные подозрения. Мы это уже проходили: по большому счету, наука начала отдаляться от трудовых масс тысячи лет назад, по сугубо корыстным соображениям, дабы избавить «просвещенных» управленцев от «непрофессиональных» советов рефлексирующей черни. Грубо и по-простому: единство науки (громко именуемое объективностью или истиной) есть выражение классовой природы общественно-экономических отношений, организация производства в интересах господствующего класса. Но когда роли распределены, и всяк сверчок знает свой шесток, наука становится великим двигателем культурного единства, заменяя эмпирические случайности теоретически обоснованными, причесывая языковую пестроту под единый абстрактный язык. В качестве аналогии (или чего-то большего?) вспомним унификацию китайской письменности по мере выращивания рабовладельческих империй из многочисленных племен.

По мере преодоления классовых различий вопрос о соотношении языка и мышления будет сниматься с повестки дня — и появятся другие, более насущные проблемы. Но и в эпоху всеобщей внутренней расщепленности примат деятельности не означает, что язык неспособен прямо влиять на мышление и, наоборот, что особенности мышления не влияют на строение языка. Более того, пока биологическое тело вовлечено в производственный процесс в качестве одного из орудий, имеет смысл изучать связь (этнических или профессиональных) языков с типичной физиологией их носителей; пока органические процессы способны влиять на душевный настрой, на предрасположенность к определенным реакциям, отрицать реальность эмфатического мышления просто глупо. Мышечный тонус поддерживает психику; психика (включая дискурсивную) модулирует движение мышц. И никуда нам от этого не уйти — до поры до времени. В частности, образ жизни активно вмешивается в физиологию (человек лепит свое тело по канонам своего общества), а географически обусловленные телесные черты впечатаны в образный строй и функционал естественных языков. Потом на все это накладывается история межэтнических взаимодействий — и возникает неповторимое своеобразие быта, ментальности, языка. Поскольку лингвистика хочет оставаться наукой, ей следует обратиться к фактам культурно-языковых влияний, а не высасывать глубокомысленные выводы из априорных теорий.

Традиционно, языкознание лишь констатирует различие языков и классифицирует их. Вопрос же в том, как возникает это различие — и откуда в языках общие черты. Посмотрите на разнообразие фонологических систем: казалось бы, артикуляторные органы у всех примерно одинаковы, и потому различия в фонетике естественных языков должны быть минимальными, на уровне диалектных вариаций. Ан нет! — всяк народ использует свой речевой аппарат на свой манер, и китайцы не очень-то похожи на европейцев, а некоторые африканские языки трудны и тем, и другим. Даже оставляя в стороне грамматический разнобой, есть над чем призадуматься. Может быть, география виновата? Может, сама природа навязывает одним одно, а другим другое? Но принципиальной разницы в природных явлениях между Европой и Китаем пока никто не обнаружил… С другой стороны, в той же Европе известны масштабные изменения в фонологии (вроде пресловутого передвижения согласных в немецком языке и великого сдвига гласных в английском) — тогда как физиологически люди за пару веков существенно измениться никак не могли. С чего бы это народу приспичило заменять одно другим? Без мыслей о мире здесь не обойтись… Изменения в языке — не мистика, они вытекают из реальных культурных процессов, это следствие перестройки общества в целом, когда одни экономические связи уступают место другим, и всем приходится учить язык тех, кто будет определять судьбы страны на много поколений вперед. Новые лингвистические реалии не возникают из ничего, они лишь выводят на вершину иерархии то, что раньше оставалось в тени. Как оно образовалось там, в тени — особый вопрос, по-своему интересный. Очевидно, сказалось относительное культурное обособление каких-то слоев классовой иерархии — в свою очередь, образовавшихся путем слияния смежных уровней более ранних структур. Так языки вбирают в себя движение истории.

Какую черточку языка ни возьми — та же картина: мы видим сходство и различия, но причин для них не усматриваем, и лингвистические теории парят в отвратительной пустоте. Почему в одних языках есть артикли, а в других нет? Как возникают и эволюционируют

представления о числе и протяженности? Откуда в языках разные типы существительных, разные породы глаголов, разные способы связывания слов и морфем? Причины всего этого — вне языка, в том самом большом мире, который высоколобая буржуазная наука привыкла третировать как фантом, артефакт, чистейшую условность. Для апологетов и воспитанников этой мистической школы совершенно естественно полагать, что одно лишь распространение того или иного языка способно перевернуть жизнь людей, повернуть общественное развитие в нужном кому-то направлении. Идеологи тех, кто не умеет и не хочет работать руками, воображают себе, что для удовлетворения насущных потребностей достаточно работы языком.

Не достаточно. В конечном итоге придется взять один кусок материи и соединить с другим, и передвинуть все это в подходящее место. Как бы ни перекладывали мы грубый ручной труд на сообразительных роботов, — это всего лишь наши органы, а трудиться-то надо нам. И думать не о буковках на экране, а о том, что за ними сдвинется в природе. Можно вырыть ямку просто руками — а можно копать лопатой, или придумать хитрую механику, которая будем двигать лопатой за нас (экскаватор); суть дела от этого не изменится, ибо в итоге нам важны не орудия труда, а то, что мы при их помощи обязаны сотворить. Язык — одно из таких орудий. Он помогает нам воздействовать на мир — иначе зачем? Но изготовление орудий труда требует других орудий; все в мире взаимосвязано, и нет никаких первопричин. То же самое язык может сказать и о себе.

Что есть кто

К тому, что в большинстве языков существует формальное отличие возможных агентов (субъектов деятельности) от того, что они делают, все настолько привыкли, что вопрос о смысле такого различения просто не возникает. Да, в разных языках это устроено по-разному — но есть, в том или ином виде. Даже там, где специальные грамматические маркеры отсутствуют, можно обнаружить либо их реликты, либо какие-то лексические аналоги.

И все же — почему про одно мы говорим «кто», а про другое — «что»? Чем одно отличается от другого, и кто эти различия устанавливает?

Понятно, что ориентироваться на внешние формы вопроса (или связи предложений) особо не приходится; сам факт широкого распространения подобных смысловых противопоставлений намекает на их универсальность — и потому лучше обратиться к философии языка, выявляющей его фундаментальные черты, исходя из идеи разума как универсального опосредования. Проще говоря, основное назначение человека как субъекта — связывать воедино самые разные аспекты мира, включая те, которые другими способами вообще связать нельзя. Поскольку мы этим занимаемся — мы разумны; во всех остальных отношениях мы остаемся всего лишь вещами или животными. Соответственно, во всякой деятельности мы, с одной стороны, соединяем (или уничтожаем) разные вещи с возникновением новых вещей — а с другой стороны, эти новые вещи нужны не сами по себе, а как выражение всеобщей связи (то есть, по сути, нашей субъектности). Любой продукт, следовательно, имеет как материальную оболочку, так и нематериальное (идеальное) содержание. Заметим, что в мире разные вещи могут как-то соединяться и сами по себе — но они ни при каких обстоятельствах не сложатся в те формы, которые порождает целенаправленная (сознательная) деятельность — хотя бы внешне одно весьма походило на другое. Да, обезьяна теоретически способна настучать на клавиатуре художественный (или научный, или философский) текст, а обычное выветривание горных пород может производить впечатление высокого искусства. Но без человека (субъекта) воспринимать художественность, научность или философию как таковые было бы некому — и случайные комбинации стихий ничего собой *не подразумевают* (NB: само это слово предполагает разум). Танец огня и дыхание моря становятся танцем и дыханием только в человеческом созерцании — человек заставляет мир танцевать, одухотворяет его.

Универсальность субъектного опосредования означает, помимо всего прочего, что сам субъект становится собственным продуктом, сознательно себя конструирует. Разумеется, это не имеет ничего общего с отрешенной медитацией, физическим или психологическими тренингом,

и прочими формами абстрактного самокопания. Развивать себя человек может только через целенаправленное изменение окружающей действительности, в процессе творческого труда. Часть этого мира — другие люди, и воздействие на окружающую среду становится также воздействием на людей, общением. Тут мы и попадаем в сферу языковедения.

С точки зрения философии, язык есть универсальное средство общения — это объект, изначально, по самой сути своей предназначенный для опосредования любых отношений между людьми. Поскольку же люди общаются на случайно, а ради чего-то, такой объект неизбежно включается и в универсальную связь природы — приобретает черты субъекта. Другими словами, язык — объектное бытие субъекта. Отсюда следует, что язык отнюдь не сводится к набору лексических единиц и правил трансформации; в язык вплавлены всевозможные способы кооперации, в нем представлены иерархия субъекта в целом, включая и группы людей, действующие как целое (коллективы), и вещи, движущиеся в соответствии с некоторым замыслом. Пиджак на спинке стула или букет роз на подоконнике могут оставаться всего лишь вещами среди вещей — но могут и о чем-то говорить, а значит, становиться элементами языка. Артефакт приобретает смысл только в контексте некоторой деятельности; языковым явлением он становится в контексте общения.

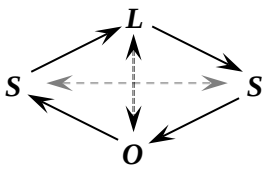
Схематически общение в деятельности можно изобразить, например, так:

$$\boldsymbol{O} \rightarrow (\boldsymbol{S} \rightarrow \boldsymbol{L} \rightarrow \boldsymbol{S}) \rightarrow \boldsymbol{P}$$

Деятельность исходит из объекта ***O*** и производит продукт ***P***. В качестве субъекта деятельности здесь выступает групповой субъект, коллектив, члены которого (индивидуальные или групповые субъекты ***S***) связаны посредством языка ***L***. При этом мы отдаем себе отчет, что язык — не единственная форма связи внутри коллектива: есть еще и объективно существующая культурная необходимость — от вполне материальных возможностей до едва нарождающихся тенденций. В этой иерархии отличительная черта языка — универсальность связи. Можно заниматься чем угодно, переходить от одной деятельности к другой, общаясь с другими участниками на том же самом языке.[48]

Заметим, что продукт деятельности — вовсе не обязательно нечто вещное, доступное органам чувств, и физиологическому воздействию. Продуктом может быть и общее состояние дел, и настроения людей, и направление развития. Здесь важны лишь объективность результата и его намеренность. Это нечто, существующее независимо от своего создателя, иногда неожиданным для него образом, — но исходно все же предназначенное для чего-то вполне определенного.

Поскольку продукт деятельности есть объект, он может использоваться для порождения других продуктов; в свою очередь, эти другие продукты необходимы для восстановления объекта исходной деятельности — как предпосылка ее возобновления. Производство становится воспроизводством, в рамках которого объект воспроизводится вместе с субъектом, а труд — вместе с общением. Так мы переходим к другой схеме, связывающей объект, субъект и язык в цикле воспроизводства:

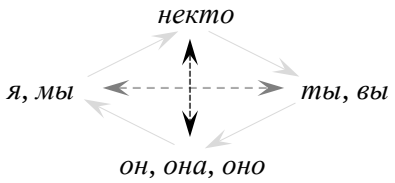


Оказывается, наряду с процессами производства и потребления, речепорождения и восприятия, объективно складываются также косвенные (идеальные) связи ***OL*** и ***SS***, которые естественно соотнести с двумя основными функциями языка, репрезентативной и коммуникативной: *о чем* говорят — и *как* говорят. Разумеется, это стороны одного целого; однако в мире, где правит разделение труда, так можно провести грань между лингвистикой и психолингвистикой: первая

[48] При этом несколько языков могут становиться представителями языка более высокого уровня. Точно так же, и внутри языка есть разные уровни, от междометий и мата — до высокой трагедии, математического сленга или попсового дискурса.

интересуется сложившимися формами языка, семантико-синтаксическими отношениями; вторая занимается способами практического использования этих форм. Грани этой схемы описывают частные циклы воспроизводства: отражение мира в языке (***O*** → ***S*** → ***L***), переход от слова к делу (***L*** → ***S*** → ***O***), развитие субъекта в труде (***S*** → ***O*** → ***S***) и в рефлексии (***S*** → ***L*** → ***S***). Последние два варианта выделяют полярные типы коллективного субъекта: трудовой коллектив — культурная общность. Например, классовая структура общества — и его этнический состав.

Понятно, что фундаментальные деятельностные позиции будут представлены и в строении языка. В частности, это привело к формированию представлений об абстрактных агентах как *лицах* в рамках заданной речевой ситуации. В полном развитии система лиц в точности повторяет схему воспроизводства:



В коммуникативном плане (***SS***), есть я (субъект деятельности или речи) и собеседник (адресат и участник). Все остальные возможные агенты образуют репрезентативный план (***OL***): это либо определенные деятели (третьи лица) — либо подразумеваемые агенты, точное указание которых для нас (участников деятельности и общения) не существенно. В русском языке последний случай («нулевое» лицо) обычно передается возвратными или безличными конструкциями; в некоторых языках для этого существуют особые безличные местоимения (вроде немецкого *man* или французского *on*); в английском языке в качестве безличного часто выступает местоимение третьего лица *it*; турецкий язык вводит глаголы и предикаты на *-mış|-miş|-muş|-müş*.

Заметим, что в языке схема как бы выворачивается наизнанку: вторичные связи выходят на первый план, первичные — уходят в тень. Это нормально. Всякая иерархия допускает разные обращения, и нельзя безоговорочно сказать, какое из них «главнее».

На фоне универсальности — языковые частности.[49] Прежде всего, по количественному и гендерному признакам. Каждый народ по-своему решает, достаточно ему отличать «один» от «много» — или надо ввести еще и двойственное число, и неисчисляемое (объемное) количество, и еще что-нибудь… Иногда эти различения проникают в формы имен и глаголов, иногда дело ограничивается личными местоимениями. В некоторых случаях определить число оказывается возможно только на основании достаточно широкого контекста. Но это не отменяет самого факта присутствия такой определенности.

Показатели рода в современных языках почти начисто утратили связь с восприятием окружающего мира, стали формально-грамматическим рудиментом, оживить который можно лишь в особых случаях, намеренной игрой слов. Пол живых существ важен разве что в сельском быту — и обозначается в основном лексическими средствами. Есть языки (например, арабский), где, например, спряжение глаголов сохраняет первобытные черты; однако род существительных практически везде утратил древний «магический» смысл и гендерная грамматика сводится к чистому произволу. Так, в русском, греческом и немецком языке студенту приходится заучивать формальное деление имен на мужской, женский и средний род; в испанском языке средний род редуцирован — а во французском его вообще нет; в датском языке мужской и женский род сливаются в «общий» — при сохранении остатков среднего («нейтрального») рода; наконец, в английском языке грамматический род начисто отсутствует, за исключением местоимений третьего лица (которые кое-кто пытается тоже призвать к политкорректности).

По большому счету, грамматические формы никогда не значимы сами по себе, они осмысленны лишь в контексте. Даже если перейти к функциональной грамматике — поле возможностей как таковое ничего не говорит о реальной семантике, представляет абстрактную категорию, которая может воплощаться в предметные высказывания — но с тем же успехом

[49] Конечно же, за каждой такой случайностью — своя поучительная история; однако здесь мы говорим о другом.

может оставаться лишь метафорой, элементом формы, окраской, оттенком чего-то другого. Безличность, например, часто оформлена глаголами третьего лица; но, например, в испанском языке, вежливое обращение к собеседнику (*usted, ustedes*) также относится к третьему лицу (и вполне соответствует русским «ваше благородие» или «ваше превосходительство»).

«Нулевое» лицо в языке представляет идею активности как таковой, необходимость субъекта в деятельности. Это отличается от пассивных и безличных предложений предметного плана, повествующих о чем-то, присущем природе самой по себе, до и вне человеческой деятельности (даже если эта природа объективно включает людей иже с ними). Одно дело: вокруг туман, и пусто на душе, — другое: даруйте мне туман и пустоту!

Понятно, что осознание лингвистических позиций приходит не мгновенно, и надо всерьез заниматься историей. С одной стороны, приходит на ум отвлеченное отношение к себе как к другому, с яркими примерами из речи первобытных народов (а также маленьких детей). Сюда же примыкает рефлексивное расширение: «Мы, Николай Второй…» — по сути дела, в этом контексте множественное число есть признак репрезентативности, формально выраженной первым лицом (то есть, элементами коммуникативного плана). По личному опыту, при изучении иностранных языков глаголы явно предпочитают являться в третьем лице, а первое лицо — речевая экзотика; вероятно, потому в некоторых языках именно первое лицо глагола выступает в качестве его (наиболее абстрактной) словарной формы. То есть, мы сначала видим мир вокруг нас — и только потом себя в этом мире. В такой логике представление об абстрактном деятеле («нулевое» лицо) складывается в языке позже всех прочих лиц — и косвенное подтверждение этому мы находим в факте использования других (ранее сформированных) языковых средств для его обозначения.

Однако в истории бывают и попятные течения. Превращение субъекта в объект очевидно соотносится с общественным регулированием отношений между людьми, с формальностью общения. Ясно, что формальность общения есть выражение и продукт определенного способа производства, при котором человек поставлен в зависимость от рутинного труда, работает не творчески и не для себя. Типичный пример — юридические документы. Два человека могут договориться распределить общее дело каким-то образом: я делаю это, ты делаешь то… Ссылки на себя и другого сводятся к местоимениям первого и второго лица, плюс (иногда) собственным именам. Напротив, два юридических лица теряют личную определенность, обезличиваются в формальных именованиях типа «Заказчик», «Исполнитель», «Сторона» — это полный аналог «нулевого» лица, но уже на другом уровне, в особом (искусственном) языке.

Вот и еще один универсальный механизм исторического развития: человек-субъект создает идею-субъект по своему образу и подобию. Искусственный мир населен условными персонажами, говорящими на своем языке, не существующем вне их виртуальной реальности. Далеко не всегда это узкий мирок компьютерной игры, математической теории или телесериала. На каком-то уровне развития формальные миры пропитывают культуру насквозь, проникают во все ее уголки, — оставаясь, тем не менее, особыми, вторичными, преходящими. Так, капитализм вовлекает любые стороны жизни в сферу товарного обмена и допускает их законодательное регулирование; однако мы всегда различаем, как это по закону — а как «на самом деле», и сама отстраненность юридического языка от повседневных реалий дает повод для бесчисленных интерпретаций, чем и кормится армия адвокатов. Точно так же, религиозная мифология, образы искусства и научные понятия могут входить в повседневность — и оставаться чужаками до тех пор, пока они не потеряют окончательно свою «классовую» определенность, не растворятся в быту, не приобретут новый, «земной» смысл.

Тетрада деятельностных позиций представляет различие субъекта и объекта не как простую противоположность, а как нечто более развитое и допускающее развитие. С одной стороны, мы понимаем, как объект в речи может формально становиться субъектом, и наоборот. С другой, мы учимся судить о позиции персонажей на по грамматической структуре, а по их реальному отношению к деятельности. Такая лингвистика никогда не превратится в формальное «исчисление» языков — и это труднее, ибо, помимо ума, в такой науке потребуется еще и работа души, — не только результат, но и отношение к нему и к себе. Научная «чистота» — попытка замкнуться в искусственном мире, убежать от реальности, спрятаться от собственной совести за

услужливыми ширмочками капиталистического разделения труда. Подлинная научность не противопоставляет себя искусству или философии, жизни или идеологии: ученый обязан быть всесторонне развитым (а не только эрудированным) человеком, достаточно универсальным, чтобы заслужить звание субъекта.

В каждом конкретном исследовании неизбежно приходится ограничиваться неполными, частичными схемами, отбрасывая элементы, менее существенные для данного языка в данную эпоху. Но понять происхождение и динамику языковых средств можно только отчетливо представляя себе, на каком уровне деятельности (и языка) мы находимся — о чем, собственно, идет речь. В качестве иллюстрации: во французском языке вопрос к подлежащему (формальный деятель) оформлен местоимением *qui* (*кто*?), а вопрос к дополнению (предмету деятельности) предполагает местоимение *quoi* (*что*?). Тем не менее, в придаточных предложениях и *de qui*, и *de quoi* превращаются в одно и то же *dont* (*которого, о котором*), так что различие деятеля и объекта снимается. Аналогично, в косвенных падежах (перед глаголом) и потенциальные агенты, и объекты сливаются в одинаковых указательных местоимениях (*le, la, lui — его, ее, ему, ей*). При этом в вопросах различие сохраняется: *tu le dois à qui*? *tu l'attribues à quoi*? Но: *les gens auxquels tu le dois, les choses auxquelles tu l'attribues*. Почему — *pourquoi*? Для кого — *pour qui*? С точки зрения общей схемы, выбор того или иного словоупотребления зависит от представлений о строении деятельности, об иерархии предполагаемых (и предлагаемых) позиций. В зависимых конструкциях и агенты, и предметы, как правило, переводятся в репрезентативный план, поскольку они отличны от того, кто говорит и кому говорят; однако если при этом упоминается нечто как продукт деятельности, абстрактный агент этой деятельности («нулевое лицо) может быть явно обозначен. Выбор за говорящим, от выбора меняется смысл. Ср.: *люди и вещи,* ***которым*** *я этим обязан — все,* ***кому*** *я этим обязан — всё,* ***чему*** *я этим обязан*. В последних двух вариантах имеется в виду активное воздействие людей или вещей на говорящего — связки *кому* и *чему* становятся формой «нулевого» лица.

Так мы плавно переходим к возможным приложениям. Язык в рамках той же схемы представляется то как объект, то как средство общения, то как объективация субъекта. Поскольку строение деятельности одинаково для любых форм субъекта, те же позиции воспроизводятся где угодно — говорим мы о людях, об уровнях группового субъекта, о разных народах или контактах с инопланетянами. Изучая чужую материальную культуру, мы приобщаемся к иному разуму; изучая язык, мы постигаем его дух. Для живого общения важнее осознавать речевые позиции, нежели речевые формы; мы должны правильно выбрать позицию для себя и догадаться о выборе собеседника. В частности, собеседники могут быть

1) субъектами одного уровня: *я — ты, мы — вы*;
2) субъектами разных уровней: *я — вы, мы — ты*;
3) внутренними уровнями субъекта: *я — я*.

Это не просто «источник» и «приемник» информации — это активные участники совместной деятельности, вовсе не безразличные к ее условиям и результатам. И обмениваются они не «данными» (или «текстами»), а деятельностями. В каждом единичном акте такого обмена есть (или хотя бы подразумевается) «первое» и «второе» лицо; однако в следующий момент они могут поменяться ролями, могут уйти одни и появиться новые собеседники и т. д. Если партнеры по общению не обозначены формально-грамматически, на них ссылается лексика, интонация, стиль, идиоматика и диалектизмы… Не может быть у речи (и языка) никакой «собственной» (или «внутренней») структуры — все вырастает из деятельности.

Отсутствием учета деятельностных и коммуникативных позиций страдает большинство формальных (в том числе компьютерных) моделей восприятия и порождения речи. В лучшем случае авторы бессистемно перечисляют возможные варианты — что приходит им в голову. Встроить все это в программу — дело техники; однако при малейшей эволюции культуры программу приходится пересматривать, ибо меняется не только набор типовых ситуаций, но и способы их представления в языке. Язык не только объект — но и субъект. В зависимости от того в какой позиции он оказывается, развертывается иерархия коммуникативных форм. Стоит включить общение в деятельность — и слова обретают вполне определенные значения, и каждая фраза имеет конкретный смысл. В частности, и различие грамматических позиций (подлежащее,

сказуемое, обстоятельство, дополнение и т. д.) соотносится с семантикой (тема и рема, субъект и объект, состояние и действие, вещь и ее атрибут). Стоит сместить акценты, перейти от одной коммуникативной позиции к другой — и все изменится до неузнаваемости. И придется заново разбираться, кто во что превратился, и что стало кем.

Филькина грамотность

Если обратиться к данным первой всероссийской переписи населения 1897 года, в глаза бросается статистика: в целом по стране умеют читать и писать примерно 37% взрослых мужчин и 16% взрослых женщин. Разумеется, есть колебания от одного региона к другому — но погоды это не делает. Факт, так сказать, на морде. И это при том, что еще в середине XIX века пошло вширь движение за всеобщую грамотность, и работали по городам и деревням тысячи подвижников-просветителей… После революции образование стало всеобщим и обязательным, но еще долго старшее поколение предпочитало обходиться без букв. В конце концов, общими усилиями, победили массовую неграмотность и перешли на уровень массовой безграмотности. Вроде бы, прогресс. Читать умеют все, писать (с грехом пополам) тоже. Ну и что? Отрапортовали чин-чинарем — а как дальше будем жить?

Нельзя сказать, что просвещенная Европа в начале XX века уж очень блистала массовым просвещением. Даже имея за плечами на тысячу лет длиннее письменной истории. Но постепенно мобилизовались, образовались — и вляпались в ту же проблему: а на фига? Люди учатся в школе, сдают все положенные экзамены — и начисто забывают о своем образовании, едва освободившись от нудной обязаловки. Во Франции даже термин специальный изобрели для тех, кто учился-учился, да так и не выучился: *illettrisme* (в отличие от простой необразованности: *analphabétisme*). На международном уровне стали говорить о «функциональной неграмотности», и здесь на первое место гордо вылезают Соединенные Штаты — им положено быть впереди планеты всей.

Конечно, есть полторы дюжины стран где с обычным ликбезом не все благополучно, и надо еще пройти этап минимальной образованности, чтобы понять проблемы «цивилизованных» наций. Но в целом мир уже стоит на какой-то грани — хотя и не очень понимает, на какой.

Как над этим думать? Очевидно, следует прежде всего выяснить, откуда ноги растут, и почему вдруг потребовалось обучать людей грамоте. Действительно: тысячи лет обходились — а тут приспичило, и стали требовать поголовной образованности. Найдем корни — можно обсуждать варианты будущего. А корни, как водится, экономические. Современные технологии чем-то отличаются от первобытных, и это выдвигает на первый план письменную речь, по отношению к речи устной или невербальной коммуникации. Чем именно? Как раз тем, что отличает письменную речь от прочих — универсальной опосредованностью. Язык вообще возникает, когда слово опосредует действие, и становится возможным передать эстафету деятельности от одного члена общества другому посредством некоторого продукта, напрямую к этой деятельности отношения не имеющего. Первоначально такая подстановка во многом зависит от личного контакта, поскольку несовершенство (неразвитость) первобытных языков требует подстраховки слова действием — чтобы не поняли превратно. Когда языковые формы устоялись и разговоры вошли в привычку, маятник качнулся в противоположную сторону, и некоторые ушлые личности научились подменять дела словами, — но пока производственный процесс предполагает непосредственное участие, авторитет краснобаев во многом зависит от личного обаяния и бытовой психотехники (хотя, конечно, в основе классовый заказ). Научно-техническая революция в массовых масштабах вытесняет из производства грубый ручной труд и переводит использование орудий на уровень управления сложными автоматизированными процессами; тем самым человек эффективно отделяется от материала деятельности: не сам обрабатывает природу, а командует роботами. Более того, ему уже не надо думать о способах обработки — на то существуют типовые операции, а человеку остается лишь «инженерная» составляющая, организация технологической цепочки. То есть, даже не нужно непосредственно

командовать, поскольку управление производством оказывается опосредованным не только в (технологическом) пространстве, но и во времени. Люди уже не обязаны налетать на каждую проблему всей стаей, они могут заниматься делом и вне живого общения, а то и в одиночку. И вот здесь во всей красе торжествует формальность письменной речи. Это ее стихия, ее конек. Она по сути своей и есть механизм универсального опосредования пространственно-временных связей.

Понятно, что любая культура сочетает в себе самые разные уровни, и полностью ручной труд (и непосредственное общение) не исчезнет никогда. Но в какой-то момент письменная речь вылезает на вершину бизнес-иерархии, и это заставляет скупое капиталистическое начальство раскошелиться на подтягивание рабочей силы до переросших ее возможности основных средств. Конечно же, по минимуму, чтобы не переплатить. Отсюда и куцее определение грамотности, сложившееся на заре индустриального общества и позже закрепленное в документах ЮНЕСКО: умение читать, писать и считать. Такая узко взятая, буржуазная грамотность и становится впоследствии источником образовательных проблем.

Допустим, выучили всех читать. Но что именно? Думаете, обыватель бросится штурмовать высоты искусства, науки и философии? Ровно два раза. Массовое чтиво не поднимается выше все тех же базарных пересудов, и не все ли равно, тащить сплетни из уст в уста или вычитывать их в газете? Поскольку умение читать не вырастает из внутренней потребности, а привносится производственной необходимостью, народ и не горит желанием блистать грамотностью вне работы, где благосклонный глаз начальника не обещает хотя бы призрачной монетизации. По той же причине на производстве рядовой работник стремится ограничить свою образованность до базовых навыков, тупого воспроизведения рутинных процедур. И не дай бог что-то менять — это личная трагедия.

С появлением компьютеров возникло понятие «компьютерная грамотность». И снова — понимаемая по-обезьяньи, как умение нажимать клавиши в нужной последовательности, совершать стереотипные манипуляции мышкой — а то и просто тыкать пальцами в экран. Первые операционные системы хоть как-то опирались на текст (правда, кроме сисадминов его никто не читал) — сейчас все на графике, экраны забиты картинками, и умения читать вообще не требуется. Всевозможные значки преобладают и в быту, на вывесках и указателях. При случае мы просто ищем знакомую картинку, а не разбираемся в описаниях или инструкциях. Везде. Важен не текст, важна маркировка, логотипы, цветовой код. Да это тоже язык, который грамотные люди, по идее, должны понимать. Стереотипы — изнанка универсальности. Но в обществе, основанном на всеобщем разделении труда, условные рефлексы не дополняют творческие искания, а подменяют их собой.

То же относится и к умению писать. Да, когда «дорогой мнучек» получает письмо от деревенской бабушки — это правильно, это прогресс. Хотя, возможно, ему таки стоило бы хоть изредка навещать родственницу, которой каждой письмо давалось героическим трудом. Но вот, дошли мы до такого состояния, что всяк кому не лень может книгу на компьютере настучать — да еще и выставить ее на всеобщее обозрение в сетевой паутине. Ну, и что пишут эти грамотеи? И как пишут? Оказывается, что и здесь мы недалеко ушли от обезьян, способных методом случайного тыка в клавиатуру целиком воспроизвести «Войну и мир». Но поскольку добрый программист о нас позаботился, мы теперь можем работать укрупненными блоками, лепить сюжеты по готовым шаблонам и заполнять лакуны типовыми описаниями и диалогами. Сериалы и фанфики множатся с безответственностью трески. Как наши первобытные предки в необсетеванных пещерах развлекались на досуге перелицовкой народных или инородных сказок, так и наши современники, способные достать френда чуть ли не с другого конца солнечной системы, без конца компонуют незатейливые романчики да немудреные морализации. Соглашусь: сам дурак. С кем поведешься — с тем и наберешься.

Ладно, бог с ней, с содержательностью! — не всем в спинозы лезть. Но оказывается, что общедоступность исправителей ошибок (от живого редактора до робота-корректора) приводит к легкомысленному отношению и к форме письменной речи. Что зря заморачиваться? — автомат приведет к стандарту и орфографию, и грамматику, и стиль. Какой стимул учить все эти

грамотейские премудрости, если по жизни и так сойдет? Разве только смеху ради. Серьезность, ведь, так легко превращается в балаган. Продвинутые обезьяны публично состязаются в количестве заученных банальностей, за соответствие пошлым стереотипам вручают нешуточные премии. Способность написать слово как в словаре — поощряется по установленным тарифам. В американских штатах даже умение прочесть вслух что-нибудь эдакое может вызвать национальный фурор. А уж знание имени капитана бейсбольной команды, отличившейся пяток сезонов назад, или припева песенки, приевшейся обезьяньим предкам, — это совсем круто!

По большому счету, конечно, нет никакой разницы, между словарными вариантами слов и их (произ)вольными бытовыми перелицовками. Пожалуйста, сделай ошибку в каждой засечке каждой буквы, — лишь бы суть дела не пострадала. Для разумного человечества важно не правописание, а правильноделание. С другой стороны, а кто сказал, что правильность едина для всех во все времена? Мало ли, как вы там у себя пишете! — а мне для моих целей нужно написать по-другому, и никакие профессора мне не указ. Вот мы и вернулись к вопросу: в чем смысл?

Обучение человека разумного вовсе не сводится к выработке условных рефлексов. Хорошей памяти тут недостаточно. Можно наизусть знать уголовный кодекс — а жить по понятиям. Можно вызубрить все правила, сдать десятки экзаменов, отыметь все мыслимые и немыслимые сертификаты — это ни на йоту не приблизит их обладателя к творчеству, к умению свободно распоряжаться накопленными знаниями в постоянно и неожиданно меняющихся условиях реальной жизни. Многознание не научает уму, а хитроумие не ведет к мудрости. Традиционная школа вбивает в народ знания, а народ убеждается на каждом шагу, что пробелы в образовании никак не отражаются на способности искать и творить, а неграмотный умный ценней для общества, чем грамотей-дурак.

Так, может, и не надо нам всеобщего и обязательного средненького образования? Пусть себе каждый выбредает на свет как умеет, по мере таланта и в кругу собственных интересов?

Вероятно, в очень отдаленном будущем образование уже не будет противопоставлено образованности, и не нужна будет школа как особый общественный институт, а обучение станет жизнью, одной из ее неотъемлемых и повседневных сторон. Но пока одни могут присваивать себе творчество других, сохраняется и регулярно воспроизводится система формальной грамотности как способ организации рынка труда. В такой экономике все превращается в деньги, и покупать хлеб на буквы столь же естественно, как отовариваться на доллары или рубли.

Первые просветители-утописты надеялись, что грамотный народ самостоятельно выбьется из нищеты, что надо лишь разбудить массы, дать первый толчок — а дальше покатится само. Пусть не нужны пока мужику школьные знания, но откройте только возможность — на нее и потребности нарастут. Как показал горький опыт, от дурной возможности и потребности дурные. Не растут уши выше лба. Подлинная грамотность идет от уже сформировавшейся глубинной потребности, когда приобретение знаний — средство достижения цели, а не самоцель. Не готовиться к жизни, а полнокровно, творчески жить — в этом смысл образования.

Оказывается, что грамотность не плоский прейскурант, что есть в ней разные уровни и развертываться эта иерархия может в самых разных направлениях. Не просто так — а в зависимости от жизненных задач. Иногда вполне хватает умения пользоваться бытовым газом на уровне включения/выключения горелки — в других случаях полезно представлять себе, что и как при этом происходит. Точно так же, и язык — не только буквы и слова. Это иерархия знаковых систем. И далеко не все знакомы с каждой из них. Полноценная система образования должна открывать человеку все. Умение читать и писать буквы — это замечательно. Но было бы неплохо, например, чтобы каждый мог запросто читать ноты и записывать при случае нотами музыкальную мысль. Или — включить в понятие грамотности чтение химических формул, чертежей, схем (хотя бы бытовой) электроники и т. д.

Скажут: это не язык, а специальные знания. Но кто отделяет одно от другого? Каждая клеточка культуры требует особого языка, в котором эта культура себя воплощает наиболее универсальным образом. Одно неотделимо от другого. Освоение языка — одна из сторон приобщения к культуре, и наоборот, культурность немыслима без владения языком. Привычка делить и противопоставлять — отрыжка капитализма, болезнь общества, основанного на

всеобщем разделении труда. Если не растащить мир на частные кусочки — как возникнет сфера обмена, и как вырастет из нее капитал?

Не надо нас тупо натаскивать на газетную письменность — дайте нам всестороннюю образованность, универсально грамотных и разнообразно развитых людей.

Умение читать и писать не сваливается с неба как божий дар — оно связано с умением действовать. Когда мы способны включиться в общий труд — мы как-нибудь сориентируемся в сопровождающих его условностях. Если знак напрямую соотносится с действием, его вообще не надо учить. Например, в рыночном мире каждый с детства приобщается к базару — и в деньгах разбираются все, независимо от уровня общей образованности. Причем не только в своих, но в инвалюте. Работяга может не понимать, что написано в трудовом соглашении, — но попробуйте ему всучить вместо положенных по праву бумажек купюры значительно меньшего достоинства! Кстати, «безграмотные» африканцы здесь куда образованнее американского или европейского обывателя, который зачастую даже не знает о существовании тамошних «тугриков», помимо долларов и евро.

Письменность — не языковое явление, это способ опосредования деятельности. Осваивать ее в отрыве от деятельности — полная бессмыслица. Если для каких-то дел нам не нужны буквы, надо учиться тому, что для этих дел по-настоящему требуется. Если любовники в постели начнут обмениваться текстами — это уже клиника.

Тут мы опять возвращаемся к разодранной в клочья капиталистической действительности, в которой даже презерватив надеть нельзя без соответствующей лицензии. Факт: языков много, и все разные. Когда говорят о грамотности, молча подразумевается, что есть «родной» язык — и все остальные. В крайнем случае, допускают несколько государственных языков. Выучился своему — и достаточно. А многие ли европейцы способны читать по-китайски? Или по-арабски? Опять же, по-капиталистически — это не грамотность, а владение иностранными языками, которые изучают как особый предмет… Абстрактное изучение языков — такая же глупость, как механическое обучение чтению и письму. Язык иерархичен, и проявляется его иерархичность не только в жаргонах субкультур, но и в единстве всех языков как проявлений универсальной способности языкового общения. Если мы не умеем свободно развернуть эту иерархию в нужном для конкретной деятельности виде — мы безграмотны.

На практике, многообразие систем письма постепенно проникает в культуру всех народов. Сегодня большинство людей в какой-то мере знакомы с латиницей. Укрепление экономических позиций стран Африки и Азии заставляет понемногу привыкать к арабской вязи. Когда входила в моду традиционная культура Индии и Японии, элементы их письменности проникли в быт европейцев и американцев. Сейчас планета стремительно приобщается к знакам заполонивших ее китайцев. Экономические изменения меняют идею грамотности.

Другая сторона того же самого — сознательный отказ от освоения чуждой культуры (не обязательно иностранной). Замыкание в кругу своих, отторжение инородцев. Внутренние противоречия капиталистической экономики оборачиваются познавательной шизофренией: с одной стороны, язык врага надо знать — с другой, мы из принципа не хотим к нему приобщаться. Отсюда и ножницы в образовании, и «функциональная неграмотность». И пока не перестанем мы глядеть друг на друга через прицел — до всеобщей грамотности нам далеко.

Речь по нотам

На первый взгляд, мысль о сопоставлении звукового строя языка с музыкальным звукорядом выглядит совершенно естественно: налицо единство материального носителя — звук, а значит, какие-то точки соприкосновения отыщутся наверняка. Обнадеживают и какие-то терминологические параллели: артикуляция, интонация, темп и ритм, акценты, сильные и слабые позиции — все это присутствует как в музыке, так и в лингвистике, и даже весьма похожим образом. Почему бы тогда не попытаться отыскать фонологические аналоги музыкальной звуковысотности?

Вульгарная теория музыки тут как тут. Про семь нот все слышали. И про семь цветов радуги. Сопоставление напрашивается. А тут еще и семь гласных греческого языка — ну какой же еще язык взять за исходный пункт европейской культуры? И дальше про семь планет, про чакры и минералы, про чудеса света и семь свободных искусств…

С другой стороны, из музыки легко выдрать систему из пяти звуков — пентатонику. И здесь сразу же вспоминаем про пятерку гласных испанского (или русского) языка, про синестезию Рембо, про пять континентов и китайскую астрологию. Наиболее продвинутые тут же смекнут про пять ступеней абляута.

Если серьезно, всю эту нумерологию следует направить чистой палочкой в помойное ведро и поискать реальных соответствий — как структурных (дискретные наборы фонем), так и динамических (сходные правила сочетаемости и голосоведения). А тут, на невооруженный взгляд, похожего мало. Звуки языка, в отличие от музыкальных тонов, не выстраиваются в один ряд по «высоте», они многомерны — и (по всей видимости) описываются большим количеством параметров. Тем более не заметно какой-либо периодичности — по аналогии с музыкальной октавой. Здесь даже близко нет чего-нибудь вроде обертонового ряда (из которого, в конечном счете, и происходят музыкальные звукоряды). Более того, мы даже не можем с уверенностью сказать, что входит в звуковой состав каждого конкретного языка: отличить варианты произнесения одного звука (аллофоны) от качественно различных звучаний (фонем) иногда бывает весьма и весьма проблематично. Запись текста на бумаге фиксирует действительное звучание лишь приблизительно: скорее, слова как комбинации букв подобны иероглифам, заметкам, вроде узелков на память, — вызывающим правильный звуковой образ как ассоциацию у носителя языка. Поэтому во многих системах письма почти невозможно прочесть совершенно незнакомое слово, особенно в изолированном начертании, без контекста: самое большее — предположительно, в качестве гипотезы.

И все же: объективно человеку дан дискретный набор фонем, каждая из которых может существовать в огромном количестве вариантов — представляя, тем не менее, один и тот же звук. Как в музыке: ступень звукоряда есть некоторая зона, область высот, в пределах которой звук может варьироваться, оставаясь качественно тем же самым. Разные языки имеют свои наборы фонем — и это похоже на различие этнических звукорядов, или эволюцию музыкальных строев, задокументированную в истории музыки. Вот, например, из первых попавшихся под руку книжек: [50]

	всего фонем	**гласные**	**согласные**
кхмерский		30	
французский		15–16	18
датский		10	
испанский	24	5	19
кечуа		3	
итальянский	29	7	22
тайский		9	12
таитянский	14		8
убыхский	81		78
грузинский	33		
финский	21	8	
белла коола (канадские индейцы)	36	3	
«индоевропейский»	35	11	

[50] Б. Потье, Типология. *Новое в зарубежной лингвистике*. — М.: Прогресс, 1989, с. 187–190; О. Семереньи, *Введение в сравнительное языкознание* — М.: Прогресс, 1980, с. 166.

Для сколько-нибудь серьезного осмысления — данных маловато.[51] Тем более, что принцип подсчета попахивает откровенным произволом. Особенно с согласными — которые от гласных не всегда просто отличить: всякие там сонорные, плавные и т. п. во многих языках играют слогообразующую роль — не переставая при этом быть согласными. Взять для примера хотя бы «полугласные» [й] или [ў], которые присутствуют практически во всех языках — кроме, быть может, совсем уж экзотических. Они частенько изображаются на письме теми же буквами, что и гласные [и], [у], — это откровенно выражает их двойственное восприятие носителями языка.

Составлять подобные таблицы без какой-нибудь теоретической идеи — дело совершенно ненаучное. Обработка наблюдений основана на весьма жестких предположениях о свойствах объекта, и параметры статистики в науке не берут с потолка, а выводят из абстрактной модели, пусть даже сугубо качественной, без математических наворотов.

Для ясности: дискретность набора фонем не имеет отношения к артикуляции. Поле всех возможных звучаний распадается на фонемы не потому, что мы что-то умеем делать разными органами — скорее, наоборот, эти самые органы вынуждены эволюционировать, подстраиваясь под общественную необходимость, выраженную в данном случае некоторой фонологической структурой. Одна и та же фонема разными людьми воспроизводится по-разному. Да, у некоторых она будет как-то странно окрашена — это называется акцентом, и само существование подобного понятия предполагает разнообразие форм. В конце концов, странность — дело относительное; все мы некоторым образом странные. А для речи важно только одно: чтобы понимали. Если вы можете задним проходом изобразить то, что обычно делается губами, — честь вам и хвала, уже можно по-человечески общаться. В современном мире, как известно, в большинстве случаев звук возникает не путем работы артикуляционных органов, а путем синтеза в электрических цепях (как минимум, путем считывания аудиозаписи с какого-нибудь материального носителя) и последующего озвучивания за счет вынужденных колебаний чего-то твердого. Так что, будем классифицировать фонемы по характеру движения диффузора? Точно так же, письменность постепенно сводится к клавиатуре. И уже поздно классифицировать графемы по характеру почерка или материалу типографских шрифтов… А скоро вообще перестанут писать — даже на клавиатуре. Прямо из мозга — в компьютер. И наоборот. Так что отличить одно от другого станет просто невозможно. Но, по счастью, и не нужно — ибо ни письменность, ни фонология от конкретной реализации практически не зависят.

Вовсе не факт, что какое-то подмножество фонем возможно линейно упорядочить; очень может оказаться, что язык, наоборот, подбирает базовые единицы по принципу качественного различия, так что набор базовых фонем связан с количеством измерений фонологического пространства, а вовсе не выстраиванием вдоль какого-то измерения (такое выстраивание будет соответствовать тогда отдаленности аллофона от базы, отклонению от «наиболее типичного» звучания. Нечто подобное исторически наблюдалось в ранней античности, где музыкальные тоны осознавались как самостоятельные и качественно различные (каждый со своим именем!), не объединяясь в единый звукоряд даже тогда, он совершенно определенно сформировался на практике. С другой стороны — пример с восприятием цвета, когда сложные цвета образуются смешением трех основных с соответствующими интенсивностями. «Базис» допустимо выбирать по-разному. Например, исходя из доступных типографских красителей (подобно тому, как физиология влияла на классификацию певческих голосов по звуковому охвату). Если идти от физики, каждый «простой» цвет сопоставляется с одним числом — частотой света (или длиной волны). На практике, конечно, базовые цвета отвечают довольно широким распределениям, и всем известное компьютерное пространство RGB спокойно уживается с фотометрическими стандартами наблюдательной астрономии (исходно связанными с различиями в спектральной чувствительности фотоэмульсий и фотоэлементов). Тут сразу приходят на ум гласные в языке, которые, вроде бы, отличаются друг от друга по формантному составу: три основных форманты определяют качество фонемы. Правда, соответствие получается с точностью «до наоборот»; однако, в принципе, ничто не мешает описывать цвета по фонологической схеме: не фиксировать

[51] Писано в 1990 году, когда слово «гуглить» еще не родилось, а источником знаний служили книги — причем вовсе не электронные, а «шуршавые», на бумаге… И все же, как ни странно, последующие замечания один в один относятся и к современному состоянию дел.

частоты, меняя интенсивности, — а при одной интенсивности сдвигать частоты опорных цветов. Это очевидно ведет нас от трехцветной модели к любимой схеме профессиональных дизайнеров: тон — яркость — насыщенность. Идея проста: два оттенка красного дают красное, два оттенка голубого дают голубое — и любые линейные комбинации цветов допускают ту же арифметику, с охранением качества (окраски). Конечно, в разумных пределах.

Сплошные параллели — глаза разбегаются. На самом деле, скорее всего, в живом языке реализуются все мыслимые (и немыслимые) варианты: каждый в каких-то условиях доминирует в восприятии… Но вернемся все-таки к гласным. Так ли уж все многомерно в фонологическом царстве?

Теория звуковысотности в музыке[52] выстраивает из качественно различных тонов особые структуры — звукоряды. С учетом иерархии возможных вложений одного звукоряда в другой, получается нечто более сложное — музыкальные строи. Звукоряды определяют набор возможных в каждом строе музыкальных интервалов. Но как все это связано с музыкой? Просто перечислить — это слишком мало, надо бы еще догадаться, чем один интервал отличается от другого, в разных контекстах. И здесь теория позаимствовала у фонологии понятие форманты как специфической характеристики звучания, не связанной с высотой голоса. Действительно, качество интервала в музыке мало зависит от его положения на шкале высот; точно так же, сдвиг основного тона при произнесении фонемы дает ту же самую фонему.[53] Тут, впрочем, сходство заканчивается, и начинаются различия. Если обертоновый ряд музыкального тона сдвигается вместе с основным тоном — положение фонологических формант от высоты голоса никак не зависит, и никакой «обертоновости» тут, вроде бы, не прослеживается. Все, отбой?

Как бы не так. Теория звуковысотного восприятия утверждает, что музыкальный тон, помимо собственно физической высоты, характеризуется еще и так называемым «внутренним тембром», который и определяет качество звука, обладая отчетливо выраженной формантной структурой. С физическими характеристиками звучания внутренний тембр связан не напрямую, а через культурную традицию; но здесь мы лишь заметим, что относительная независимость формантного строения от высоты звукоизвлечения в музыке, оказывается, тоже есть — хотя и в несколько ином разрезе. Другими словами: музыкальный интервал — это не просто разность высот двух ступеней звукоряда, а еще и определенное *качество*, которое сохраняется при любом расположении интервала на шкале высот. В общем случае, сопоставляются не два звука, а больше (созвучия) — вплоть до звукоряда в целом, который также обладает особым, только ему присущим качественным своеобразием.[54] Собственно, такое качество звука и называется словом «тембр».

Итак, говорить о фонемах как звуковысотных образованиях возможно в плане тембровой окраски — а простейший тембр предполагает устойчивую связь двух звучаний. Поскольку абстрактных точек в природе не бывает, звук всегда захватывает некоторую зону высот, а иногда сопоставляются целые звуковые пласты. Так мы возвращаемся к связи качества фонемы (пока говорим только о гласных) с взаимным расположением формант. Следовательно, должно быть некоторое отношение между формантами, которое и отвечает за качество звука. Что именно? У нас в распоряжении два параметра: базовая частота f и ширина Δf. Поскольку данные о ширинах формант в доступной лично мне литературе практически отсутствуют, остается ориентироваться на звуковысотное положение. Опять же, это ближе к нашим представлениям о музыке. Расстояния на шкале высот определяются логарифмами отношений частот; соответственно, искать намеки на «музыкальность» следует, анализируя, логарифмы частот, $\log f$ (обычно по основанию 2).

Прекрасно. Опять же, достаем с полки что под руку подвернулось — и начинаем оцифровывать графики и вычислять (ограничиваясь пока только первыми двумя формантами).

---

[52] Л. Авдеев, П. Иванов, *Звукорядность и психофизика восприятия*. — М., 1983.

[53] Упражнение вокалистов, сольфеджио: одну ноту петь на нескольких гласных, и наоборот. Ср. также звуковысотное варьирование китайских тонов в общеречевой интонации.

[54] На этом, по сути, стоит весь джаз, где единицами музыкального мышления выступают не отдельные тоны, а созвучия, аккорды. Отсюда возможность импровизации на заданном гармоническом фоне.

Головин[55], с. 39:

	f_1	log f_1	f_2	log f_2	f_2 / f_1	log f_2 / f_1	в октаве
а	620	9.28	1070	10.06	1.73	0.79	0.79
и	230	7.85	2220	11.12	9.65	3.27	0.27
у	240	7.91	615	9.26	2.56	1.36	0.36
о	510	8.99	850	9.73	1.67	0.74	0.74
э	420	8.71	1950	10.93	4.64	2.22	0.22

a	700	9.45	1100	10.10	1.57	0.65	0.65
i	400	8.64	2100	11.04	5.25	2.39	0.39
u	450	8.81	1000	9.97	2.22	1.15	0.15
o	550	9.10	900	9.81	1.64	0.71	0.71
e	500	8.97	1800	10.81	3.60	1.85	0.85

Гельфанд[56], с. 323:

u (boot)	260	8.02	870	9.76	3.35	1.74	0.74
ɔ (ball)	600	9.23	890	9.80	1.48	0.57	0.57
ʊ (took)	510	8.99	1000	9.97	1.96	0.97	0.97
a (top)	720	9.49	1100	10.10	1.53	0.61	0.61
ʌ (much)	650	9.34	1270	10.31	1.95	0.97	0.97
æ (sat)	700	9.45	1550	10.60	2.21	1.15	0.15
ɛ (get)	560	9.13	1700	10.73	3.04	1.60	0.60
ɪ (sit)	370	8.53	2000	10.97	5.41	2.43	0.43
i (see)	230	7.85	2150	11.07	9.35	3.22	0.22

Гельфанд[57], с. 329:

w	240		600			1.32	0.32
j	240		2300			3.26	0.26
r	500		?				
l	350		?				

Очевидно, данные неполны и далеко не точны. Точность оцифровки[58] — до нескольких единиц последнего знака, и это способно существенно повлиять на выводы. Однако здесь наше дело оценить саму возможность выстраивания фонем в зонные шкалы, подобные звукорядам, — и копать глубже пока рано. С другой стороны, никакой эксперимент не существует сам по себе,

[55] Б. Н. Головин, *Введение в языкознание*. — М.: Высшая школа, 1973

[56] С. А. Гельфанд, *Слух. Введение в психологическую и физиологическую акустику*. — М.: Медицина, 1984; график заимствован с изменениями из работы G. E. Peterson and H. L. Barney, *J. Acoust. Soc. Amer*., 24, 175–184 (1952).

[57] С. А. Гельфанд, *Op. cit*. — данные из англоязычной специальной литературы разных лет.

[58] Вручную, при помощи обыкновенной линейки — про домашние сканеры тогда в России почти никто не знал.

он поставлен под определенную теоретическую идею и заточен на выявление того, что именно эта теория считает существенным. Если всплывут новые теоретические соображения, придется, как минимум, пересмотреть отношение к имеющимся данным — а потом целенаправленно заказывать экспериментаторам дополнительные измерения, с соответствующей модификацией методик и принципов интерпретации. Горы старых фактов никак не заменят эмпирической свежатинки.

Особый вопрос о межформантных расстояниях больше единицы. Двоичные логарифмы, по старой музыковедческой традиции, выбраны для того, чтобы уложить все ступени звукоряда в октаву, интервал между основным тоном и первой гармоникой. С некоторыми исключениями, октавность — это священная корова элементарной теории музыки; неоктавность некоторых «искусственных» ладов преподносится именно как признак искусственности. Но играет ли октава такую же роль в фонологии? Если да — можно смело отбрасывать целую часть и рассматривать положения ступеней в пределах октавы. Если нет — придется искать другие принципы оценки. Наглым произволом, для определенности, положим, что какой-то аналог октавности музыкальных звукорядов в фонологии тоже есть — хотя механизм ее возникновения может быть совершенно иным. В конце концов, и в музыке неэлементарная теория предсказывает естественные отклонения от октавности — хотя обычно весьма слабые.

В итоге — нечто вроде фонологических «звукорядов», в сопоставлении с «натуральными» интервалами и ступенями обычного 12-ступенного «хорошо темперированного» строя:

12-ступ. темп.		Гельфанд						натур. интервалы		Головин			
1	0.083												
2	0.16	æ	0.15					10/9 → 0.15	9/8 → 0.17	u	0.15		
3	0.25	i	0.22	j	0.26			7/6 → 0.22	6/5 → 0.26	э	0.22	и	0.27
4	0.33	w	0.32					5/4 → 0.32		у	0.36		
5	0.42	ɪ	0.43					4/3 → 0.42		i	0.39		
6	0.50												
7	0.58	ɔ	0.57	ɛ	0.60	a	0.61	3/2 → 0.58					
8	0.66									a	0.65		
9	0.75	u	0.74					5/3 → 0.74		o	0.71	o	0.74
10	0.83									a	0.79	e	0.85
11	0.92	ʊ	0.97	ʌ	0.97								

С одной стороны, картина получилась довольно определенная: гласные, похоже, все-таки возможно соотнести с музыкальными интервалами (простейшими созвучиями, с выраженной тембровой окраской). В качестве чисто эмпирического курьеза — очевидное избегание интервала в половину октавы, сложности с представлением септимы и узких интервалов, различие терций. Прямо как в музыке.

Однако заметно, что данные Головина не очень соответствуют книге Гельфанда и хуже ложатся на 12-ступенную темперацию. Различия в трактовке фонем ожидаемы: русские воспринимают их не так, как американцы (а американцы не так, как англичане). Формирование 12-ступенной шкалы — итог длительного развития, и далеко не факт, что фонологические системы естественных языков уже ушли от пентатоники и диатоники (или, допустим, каких-нибудь модальных систем).

И тут начинается полет фантазии, поток тем для обсуждения…

Прежде всего встает вопрос о границах вариативности. Музыкальные звукоряды — это зонные структуры; благодаря этому оказывается возможным выразительное интонирование и ансамблевое исполнение, объединяющее инструменты (голоса) с разной настройкой. Точно так же, можно заранее предположить, что и для фонологических шкал существуют объективно

возникающие границы зон. В связи с этим было бы интересно проследить зависимость формант от индивидуальных особенностей, интонаций и прочих обстоятельств речи. Например, если гласные не произносить, а петь (особенно профессионально поставленным голосом), — что-то изменится или нет? Известно, что китайские тоны по-разному интонируются в разных условиях, в зависимости от общей динамики речевого потока. По всей вероятности, в европейских гласных тональная архаика редуцирована — но не исчезла вовсе (учитывая, например, явления вроде абляута); окраска гласной существенно зависит от того, что идет до или после. Но если мы начинаем «держать ноту», удлиняем собственно голосовую часть по сравнению с переходными процессами, единая фонема может запросто развалиться на несколько, с восстановлением ранее свернутой «внутренней» интонации — по-разному у разных народов. В перспективе это может стать неплохим инструментом сравнительной лингвистики и истории языка.

Из той же серии вопрос о произношении в ударной и безударной позиции (для языков без ярко выраженного ударения можно говорить о сильных и слабых позициях внутри синтагмы или фразы). Здесь меняется не только количество, но и качество звука. Традиционная фонология предпочитает говорить о чередовании фонем — но в рамках зонной теории возможна иная интерпретация: вариации в пределах зоны или переход от базовой шкалы к вложениям.

Далее, есть соблазн трактовать дифтонги подобно аккордам в музыке; тогда, очевидно, не всякие сочетания звучат «гармонично» — причем представление о «гармоничности» зависит от используемой шкалы (фонологического «звукоряда»). Типично: гласная [e/o/a] + i, гласная + u (и наоборот). А в иранских языках [e/o/a] вообще сливаются в одну гласную [a]; это намек на их родство внутри шкалы, существование достаточно широкой зоны в одном из вложений, охватывающей все эти «аллофоны». По данным из Гельфанда: [ɔ ɛ a] живут где-то в районе 7 ступени темперированной шкалы, тогда как [i] — 3 ступень, [w] — 4 ступень. Соответственно, [ɔ ɛ a] — [i] есть фонологический аналог большой терции, а [ɔ ɛ a] — [w] дает малую терцию. Тут напрашиваются далеко идущие ассоциации с историей мажора и минора в европейской музыке: дифтонги с [i] в языках представлены шире и выглядят как-то «активнее».

Возвращаясь к «внутренностям» и «границам», мы опять поднимаем вопрос о различении гласных и согласных. Согласные, как известно, бывают всякие. Например, есть такие, которые запросто можно петь, затягивать до бесконечности — в этом совершенно подобны гласным (а в каких-то языках так и употребляются). Здесь, вероятно, есть свои шкалы, устроенные все по тому же зонно-иерархическому принципу. Будут они учитываться наряду с гласными или образуют свои, ортогональные измерения — вопрос открыт. Наверняка это зависит от конкретного языка, и звуковой строй определяется, помимо всего прочего, также и соотношением голосовых и шумовых шкал.

Однако есть и согласные другого типа (взрывные), петь которые, мягко выражаясь, не всякий сможет. Это типичные переходные процессы, маркеры, отделяющие в речевом потоке одну «ноту» от другой (или одно «созвучие» от другого). В частности, так речь отделяется от молчания. Возможны ли «звукоряды» в этой фонологии? Учитывая универсальность зонных структур — безусловно. Только с формантным составом это может иметь мало общего. Хотя — кто знает? Где-то в глубине вдруг откопает кто-то совершенно те же явления… В конце концов, человеческое восприятие универсальным образом организовано — и не зависит от физиологии, это совсем другой уровень.

С учетом «звукорядов» согласных, соединение их с гласными оказывается вполне подобно тем же дифтонгам (и трифтонгам). Особенно это заметно по отношению к «певучим» согласным (мычашим, ноющим, текущим, шипящим, свистящим, ржащим и чирикающим), которые явно влияют на качество соседних гласных, как бы подключая разные регистры, подчеркивая те или иные группы гармоник. С этим может быть связана возможность переноса гласной из одной октавы в другую (разумеется, пока на уровне метафоры): интуитивно, назальность делает фонему в целом «ниже» (не по абсолютной высоте, а по соотношению формант); закрытые гласные в целом «выше» более открытых и т. д. Тогда получается, что фонологическое качество относится не только (и не столько) к отдельным фонемам, но и к их «комплексам», фонологическим «созвучиям». Базовой единицей речи оказывается не фонема, а «слог» — и разделить его на фонемы возможно только в некоторых отношениях и далеко не всегда.

Кстати оказывается, что и согласные с согласными соединяются по тому же принципу, и точно так же влияют на качество друг друга. Двойственность фонем: иногда это особое звучание, иногда модификатор для другой фонем… Что очень даже напоминает дуализм мелодики и гармонии в музыке. В частности, типичные последовательности фонем вызывают мысль об универсальности попевочных систем, некоторые из которых впоследствии перерастают в более развитые звукоряды. Не с этим ли связано единообразие морфем, и формообразования вообще, в индоевропейских языках?

В этой карусели поверхностных аналогий есть и вопрос об октаве и унисоне как особых фонологических интервалах. Для унисона — первая и вторая форманты сливаются. Возможно? Возможно. Например, как у шипящих. В музыке унисон — это вовсе не тождество, ибо звуки одинаковой высоты могут различаться по другим признакам. Точно так же, фонологический «унисон» может отвечать разнообразным созвучиям (так, в японском языке совпадают [r] и [l], а немцы вовсе не случайно обозначают два, казалось бы, очень разных звука одной и той же комбинацией букв *ch*). В каком-то смысле это нечто нейтральное, теряющее свою собственную окраску и сливающееся с окружением — своего рода шва. Но сюда же примыкают и случаи поглощения нескольких фонем одной «суперфонемой» (зоной одного из вложений) — например, гласные в безударной позиции. Заметим, что (как и в музыке) слабое отклонение от унисона воспринимается на слух очень напряженно, как резкий диссонанс; таковы (как видно из таблицы) «вводные» тона [ʊ] и [ʌ]. С другой стороны, интервал октавы возникает между «почти» одинаковыми тонами — хотя разность высот здесь бросается в уши. Нечто подобное наблюдается и в языке: сравните [m] и [ɱ], [n] и [ŋ] — в конце концов, и [m] с [n] вполне могут оказаться вариантами одной ступени фонологической шкалы.

Но возможен и другой пучок аналогий. В качестве противовеса и дополнения.

В музыке спектр звука отвечает не только за высоту — есть еще и низкочастотная составляющая (темп и ритм), и общая модуляция — музыкальный тембр. Нота одной высоты может исполняться в разных тембрах, а в некоторых случаях оркестровка не менее важна, чем мелодия или гармония. Восприятие умеет разделить эти стороны единого звучания (для этого оно и развивается) — так что во внутреннем представлении они относительно независимы (хотя в любом случае исторически складывается некоторая зонная структура).

Точно так же и в речи: есть фонологическое качество — а есть окраска, речевые варианты. Тембр и темп голоса обладают собственной выразительностью. И это язык всячески использует. Например, когда люди передают чужие слова, они особым образом меняют голос — не для того, чтобы изобразить чью-то манеру, а для того, чтобы выразить свое к ней отношение. Мультики вообще иногда обходятся чистой интонацией.

Согласные в слоге — меняют тембр гласных. И это вполне соотносится с оркестровкой, или цветом (фактурой) в живописи. Даже если речь строить из одних гласных — придется разделять их в речевом потоке паузами (а значит, придыханиями, особыми согласными) или динамикой голоса (а согласные, собственно, и есть эта динамика).

Но разные стороны целостного звучания лишь относительно независимы. Соседство с согласными, вообще говоря, меняет гласные и в «высотном» отношении. Например, в русских слогах *а, ба, та, ка* — гласная [a] звучит очень по-разному. Требуются тысячелетия развития и особое воспитание, чтобы абстрагироваться от «инициали» и ощутить «рифму». Опыт поэзии тут не ради словца: способы стихосложения выявляют (хотя и с некоторым запозданием) реалии восприятия речи в каждую историческую эпоху. Даже сегодня слова «душа», «труба» и «ждала» для русского читателя как-то не в рифму (хотя для китайца тут прекрасный ассонанс). Для простых смертных (не имеющих языковедческого диплома) *ка* звучит явственно «выше», чем *ба*. Почему?

Когда в фонологическом эксперименте при произнесении разных слогов наблюдается та же формантная картина для той же гласной — это, скорее всего, артефакт, связанный с особыми условиями произнесения. Изолированные слоги артикулируются не так, как встроенные в поток речи, а неизбежная «лабораторная» задержка есть, фактически, уход от «окрашенной» гласной к изолированной, искусственное «отсечение» якобы несущественных переходных процессов. Тогда как на самом деле интерес представляют как раз начальные участки записей, с быстрыми

переходами формант. Но здесь у меня данных совсем нет — кроме нескольких занимательных картинок из Гельфанда.[59]

Если предположить, что окружение согласных способно менять «высоту» гласной без изменения фонемы — остаются разные варианты. Простейший случай — перенос в другую октаву (разведение формант). Но гораздо вероятнее сопоставление зон из разных вложений — нечто вроде знаков альтерации. Тогда оказывается, что развитость системы согласных в языке соотносится со строением соответствующего «звукоряда»: чем больше согласных, тем больше ступеней (зон) базовой шкалы. Соответственно, вступает в действие и объективное ограничение на возможное количество ступеней (не больше нескольких десятков); это означает, что примеры из популярных книжек с сотнями различимых фонем — показатель чьего-то недопонимания. Впрочем, в музыке восприятие до сих пор не доросло до шкал более развитых, чем 12-ступенный темперированный строй; это не мешает существованию незамкнутых этнических модальных систем, в которых ноты вообще никто не считает — их может быть сколько угодно. Дело в том, что такая музыка реально опирается на звукоряд с относительно небольшим числом зон — однако устроен этот звукоряд по-особому: он допускает параллельное существование каких угодно звуковысотных вариантов и устанавливает правила перехода между ними. Точно так же и в языке возможны ладово неустойчивые (модальные) шкалы — отсюда кажущееся изобилие фонем в некоторых языках. Разные функции одной и той же ступени (фонемы) проявляются в разных обстоятельствах по-разному, порождая собственно аллофонию, многовариантность.

Текст
язык в себе и для себя

Не поминайте всуе имена несчастных грешников.

Когда некто чересчур эрудирован, у него все силы уходят на то, чтобы эту эрудицию в хозяйстве разместить, чтобы ее регулярно подпитывать, и чтобы ее демонстрировать. Понятно, что на обдумывание вещей, за рамки эрудиции выходящих, морально-временных ресурсов уже и нет. Каждый день выходят в свет сотни книг по любой, даже очень узкой тематике. Попробуйте быть в курсе! — и не просто знать о чужих деяниях, а еще и — хотя бы одной фразой — об этом публично обмолвиться. Это ад. Так что не будем строго судить бедолаг: они уже получили свое.

Альтернативно: любая отсылка к человеку публичному попахивает, с одной стороны, стремлением к примазаться к чужой известности, а с другой — создает иллюзию демонической личности, якобы взявшей на себя грехи всего человечества. Не виноватые мы, это все он, Иисус Шайтанович напутал… А за чужой счет — что же не запутаться? Хотя главный греховодник — лицо сугубо формальное, по своей доверчивости не заметившее криминальных последствий привычки выбалтывать модные суеверия. Выборная должность — не только теплое место, это еще и риск оказаться ритуальной козлятиной. Вероятно, среди избранных тоже встречаются чистопородные подлецы — но за околонаучным обывателем в этом искусстве угнаться нелегко.

О чем это я? См. заголовок.

С некоторых пор лингвистика рядится в математические одежды, изо всех сил пытаясь уподобиться удачливым родичам, многие из которых явились миру позже — а уже застолбили почетное место в эмпиреях «точного» и «строгого» знания… Но если математика (она же физика и астрономия), вслед за торговлей и правом, начиналась с установления (постулирования) формальных (общеобязательных) предписаний, на основе чего можно выдвигать гипотезы о правильности и неправильности, — вульгарная математизация прочих наук довольствуется поношенными одежонками математической статистики, из которых сама эта наука давно и безвозвратно выросла. Подлинно научная теория — это технология порождения гипотез: теоретик лишь предполагает, что могло бы наблюдаться, если все необходимые для этого условия соблюдены; человек порядочный не станет выдавать абстракции за непреложность.

[59] Еще раз напомню, что дело было в 1990-м. Вероятно, фонологическая наука накопила уже горы информации, в том числе и по этому поводу. Кому интересно — могут проверить…

Гипотезы надо проверять на практике; когда что-то не клеится, тут зачастую не теория виновата, а всего лишь наше неумение разглядеть границы ее предмета. Если я от всех болезней глотаю одни и те же таблетки — настанет день, когда панацея не сработает, и надо быстренько ваять другую схему — или молча откинуть копыта.

Статистика — это внешний вид, один из способов группировки данных в надежде усмотреть нечто более фундаментальное, чем и оправдывалась бы наша привычка группировать факты именно так. Поскольку различных статистик не меньше, чем исходных данных, — всяк волен воображать себе что-то свое; пока это не выдают за науку — любая игра допустима и полезна. Когда общество устроено таким образом, что одним приходится заботиться о впечатлении, производимом на других, статистика утрачивает собственно научные достоинства и становится средством манипуляции. Это ее беда, а не вина. Заметим, что академическая наука, воплощенная в иерархии учреждений, правовых актах и ходячих предрассудках, — лишь косвенным образом имеет отношение к науке как уровню аналитической рефлексии, к научному творчеству: официальная научность паразитирует на творческих личностях, околонаучные бюрократы эксплуатируют подлинных ученых (даже если то и другое парадоксальным образом совмещается в одном физическом лице).

Как могла бы выглядеть лингвистическая математика? Вместо разглядывания пестрой цифири (от простого усреднения до многомерных OLAP-кубов) и рисования красивых картинок для бизнес-отчета — один простой закон, связывающий реально измеримые величины, осмысленные (то есть практически реализуемые) количественные характеристики. Из этого закона мы выводим любую статистику — а вовсе не наоборот. Есть в современной лингвистике вещи, которые мы не просто умеем оцифровать, а еще и построить лингвистическое явление с указанными параметрами? И да, и нет. Например, когда изучение грамматики приводит к нормализации грамматических форм, — это пример практического построения теоретически предсказанных структур. Если теория достаточно грамотна, такая нормализация приживается, идет в массы — и порождает множество вторичных явлений, которые вполне укладываются в рамки той же теории. Напротив, попытки навязать народу чуждые ему языковые привычки лишь косвенно меняют язык, путем перерастания широкого сопротивления в собственную противоположность. Однако до сих пор, насколько мне известно, лингвистические теории оперируют лишь качественными различиями — и только так сопоставляют одни языковые явления с другими. Разумеется, качества без количества не бывает, и где-то в глубине возможность тонких градаций остается — но без ощутимого выхода на уровень собственно измерения, практически значимых численных оценок. А нет измерения — нет и статистики, или (что то же самое) любая статистика права. Действительно, когда мы отмеряем кусок холста, взвешиваем авоську с картошкой или определяем число дней в году — это практически значимые действия, от которых многое в нашей жизни зависит. Измерение массы какого-нибудь гиперона и оценка расстояний до галактик — продолжение того же осмысленного действия в область, непосредственному измерению недоступную, но (предположительно) качественно однородную с тысячами бытовых мер. Если же мы опубликуем в ученой книжке частотности фонем, слов или грамматических конструкций в каких-то говорах — ну и что? Пусть даже каждый в этом плане индивидуален — важна нам на хоть какой-нибудь практике подобная мера? Разве только по очень большому счету, как эмпирическая основа узнаваемости диалектов. Но и здесь важнее броские качественные различия, характерные интонации, воспроизвести которые мы можем без всякой цифири. Откуда берутся такие шкалы — обсудим чуть позже.

Важно понять: качественная наука ничем не хуже вычислительной. Более того, вовсе не обязательно явно формулировать знания — во многих случаях достаточно просто знать. Можно в тончайших деталях расписать динамику какого-нибудь танцевального элемента, — но хороший танцор воспроизводит движение, даже не зная названия, и не вникая в тонкости физики или физиологии. Знание — свет, но слишком много света — верный путь к слепоте. А статистика, с ее необозримой цифирью, — один из популярнейших методов самоослепления.

В сущности, интуиция и опыт — одна из форм бытования той же статистики. Вместо закорючек на бумаге — память, «зарубки на носу», индивидуальные и неповторимые последовательности возбуждения нейронных ансамблей. Чем это принципиально отличается от

записи тех же чисел в компьютерной памяти? Отсюда иллюзия, что можно наделить машину человеческой ментальностью, запихивая в нее все без разбору и позволяя переваривать это на ее усмотрение в некоем технологическом реакторе. Результат мы возвышенно именуем «искусственным интеллектом» и готовы доверять ему больше чем себе — хотя прекрасно знаем, что программисты ошибаются ничуть не реже неискушенных чайников.

Вывод: научность не в способе представления знаний, а в том, что их делает знаниями, — в отличие от случайных мнений и формалистической игры. А эта движущая и определяющая сила никак не может принадлежать самому движимому и определяемому: ее стихия — иерархия материальной и духовной культуры, и прежде всего — способ производства. Только поместив себя в надлежащий культурный контекст, можно надеяться перерасти детские увлечения ради всеобщих (культурно обусловленных) результатов. В частности, одну и ту же науку возможно преподносить и как нагромождение формалистических условностей — и в виде (якобы) легкого трепа по поводу. Чем я здесь беззастенчиво пользуюсь.

Перейдем к иллюстрациям.

По «ученой» лингвистике бродит немало вульгарных предрассудков. Текстология не исключение. Вроде бы вменяемые люди на полном серьезе заявляют, и пытаются убедить публику в том, что художественное произведение можно достоверно датировать на основе формальных подсчетов — да еще и автора вычислить, в качестве бонуса. Неважно, идет ли речь о художественной литературе, философском трактате, музыкальном произведении, картине — или каком-то ином «тексте». Когда на ту же тему рассуждают филологи, споря и сомневаясь по каждой мелочи, — это, конечно же, за рамками солидной науки… Как тут удержаться и не поддеть «недоученых» очередным анекдотом про ловкого мошенника, умудрившегося втереть очки сотне признанных «экспертов» — но эффектно разоблаченного каким-нибудь аспирантом с калькулятором!

С одной стороны, досадные ляпы маститых филологов — достоверный факт. Чего стоит хотя бы присуждение двух гонкуров еврею российского происхождения! Но как не вспомнить одного из далеких от науки литераторов:

> Факты — хлеб клеветника. Без них клевета не выглядела бы так убедительно.

Устранение конкурента вовремя выложенным компроматом — в традициях буржуазного политиканства, и очень к лицу «количественной» науке, в которой факты еще и статистически орнаментированы, систематизированы, — в духе раскладки музейных экспонатов, альбомов филателиста, или библиотечных рубрикаторов. Но (см. выше) если выводы теории оказались сомнительны, это может быть ошибкой интерпретации, и никак не умаляет достоинств теории. Тут во всей красе выступает склонность «строгого» знания всех мерить на свой аршин, лезть со своим уставом в чужой монастырь и мычать совершенно не существу. Оставляя в стороне точность математически ряженой лингвистики и достоверность ее текстологических выводов, заметим, что филология несколько отличается от криминалистики, и в ее задачи вовсе не входит выведение кого бы то ни было на чистую воду. Речь идет о характерных особенностях стиля — а таковые равно присущи и подлинному творчеству, и подделке, и компьютерной компиляции. В этом смысле текстология с филологическим уклоном гораздо последовательнее формальной лингвистики: она исходит из текста как данности, из самого факта существования и целостности; важно понять, на что это похоже, — а не докапываться до пикантностей биографии. Разумеется, честный исследователь привлечет все доступные сведения об источнике. Чем больше зацепок, тем лучше. Однако бытовые реалии служат здесь чем-то вроде архетипов, дают систему опорных точек при характеристике реальности иного уровня, литературного явления. Получается, что именно филология дает лингвистике точки опоры, базовый набор категорий, под который (сознательно или нет) подгоняют всевозможную статистику. И в этом плане «расплывчатые» качественные оценки бывают точнее академической «нумерологии»: они позволяют обнаружить градации там, где статистическая обработка валит все в одну кучу. Если по жизни нам важно именно качество — точнее та наука, которая говорит об этом качестве, а не о теоретически возможных вариациях.

Еще раз вспомним: наука сама по себе ничего не утверждает и ничего не доказывает. Сколь угодно развитая текстология — лишь предоставляет интересующимся набор формальных

характеристик текста, своего рода профиль (структурный или статистический). Что с этим делать дальше — вопрос политики. Выводы на основе статистики могут быть правильны — но могут и не быть. Логика науки не заменяет собой науку.

Например, можно сравнивать наши обобщения с какими-то другими профилями и оценивать степень родства. Полученная таким образом математическая оценка, в свою очередь, подлежит интерпретации — например, методом сравнения с другими техниками оценивания. И так далее. Громкие слова о подлинности или подделке — там, где наука закончена, и пора с нее наваривать дивиденды.

Формалистическая лингвистика целиком вырастает из бредового предположения: есть некий стандарт языка, которого придерживаются все носители, а неносителя легко выявить по нарушениям стандарта. Даже признавая очевидный факт историчности всех на свете языков (включая искусственные), лингвист держится за соломинку локальной устойчивости, когда одна эпоха отличается от другой характерными (читай: количественными) особенностями языка. Ничего дурного в подобном подходе, конечно же, нет — если не выдавать приблизительность и условность за глас единственной истины. Чтобы изучить нечто качественно определенное, ученому надо временно абстрагироваться от прочих качеств, выделить эффект «в чистом виде». Иногда это в какой-то мере удается сделать на практике — но случается, что опереться, кроме мысленного эксперимента, в общем-то и не на что. Вот тут и приходится идти на поклон к статистике, выдирать кусочки целого из тысяч индивидуальных воплощений.

Когда пора задуматься о практических действиях, одной науки недостаточно. Надо подумать о специфике времени и места, вспомнить о географии, истории, физике и археологии, материаловедении или ботанике. Как часть истории — история науки, и литературоведение — где именно филологи правят бал. Только всем сообща открывается всеобщее содержание единичного текста; а спесь «математизированного» лингвиста — профессиональный кретинизм.

Реальный текст — единство самых разных тенденций, в нем и пережитки прошлого, и зачатки будущего… Сколько-нибудь устойчивые, ярко выраженные сочетания воспринимаются как стиль, индивидуальные особенности или диалектизмы. Но есть и смешение стилей как намеренный прием, и вынужденная стилизация под господствующую доктрину… Никакая статистика не передаст всей драматичности индивидуального, исторически конкретного творчества. В этом смысле любой выдранный из жизни текст — статистически недостоверен. Сколь угодно объемистый — не говоря уже о разрозненных фрагментах. Формальные результаты существенно зависят от неформальных установок, от выбора уровня анализа.

Возьмем хотя бы относительно свежую моду — увлечение теорией информации. Разговоров среди гуманитариев много. А что? Звучит красиво, загадочно; а поскольку никто не знает, что это такое, велик соблазн пристроить флигель к величественному зданию формальной текстологии и затыкать неизвестно чем оставшиеся от прочей математики дыры. Пресловутая формула Шеннона

$$I = -\sum p_k \log p_k$$

связывает количество информации с частотностями («вероятностями») элементов целого, и тем самым (хотя бы терминологически) возвращает нас к уже привычной статистике. С другой стороны, здесь налицо выход за рамки сугубо статистического описания — что, казалось бы, выводит нашу формалистику на качественно иной уровень. Даже с точки зрения математики — есть над чем задуматься. Например, количество информации, с точностью до коэффициента (величина которого определяется выбором единицы измерения), можно переписать в виде

$$I \sim -\sum \log\left(p_k^{\,p_k} \right)$$

А что такое вероятность в вероятностной степени — загадка природы. Тут возможен веер интерпретаций, каждая из которых порождает особую математическую теорию. Поскольку частотности естественно связываются в комбинаторике с количеством вариантов (при равенстве возможностей, вероятность $p \sim 1/n$), можно заметить, что со школы знакомая асимптотика n^n для факториала (количества способов перебора) в каком-то смысле обратна «информационной» асимптотике $(1/n)^{1/n}$ — как корень степени n противоположен возведению в степень n. На ум

тут же приходят внутренние («спинорные») размерности квантовых систем, и прочие забавные метафоры.

Количество информации — величина особого рода, непохожая на обычные, «физические» величины. Когда говорят о передаче информации — это поэтическая вольность. На самом деле информация ниоткуда никуда не предается! Мы можем оценить количество информации в сигнале — но это вовсе не означает, что в источнике сигнала информации убыло на это количество, а в приемнике настолько же прибавилось. Более того, передача сигнала может привести к возрастанию энтропии получателя — то есть, формально, к уменьшению его информативности. В этом контексте попытки некоторых (мистически настроенных) физиков связать количество информации с энергией выглядят, мягко выражаясь, странно. Скорее можно заподозрить, что информация не свойство объекта как такового, а характеристика нашего (или чьего-то еще) отношения к объекту. В квантовой механике подобная интерпретация оказалась излишней, когда поняли, что «коллапс» волновой функции в момент наблюдения — всего лишь логическая неувязка, попытка подменить один уровень описания другим. Поскольку же идея вероятности предполагает сопоставление разных уровней иерархии (элементарные события *vs.* аггрегаторы), вторжение «наблюдателя» в картину наблюдений оказывается естественным, отвечающим самой природе вещей.

Но это всего лишь заметки на полях. А здесь мы присматриваемся к идее о возможности информационной оценки произведений искусства или их частей с целью построения еще и информационного профиля (в дополнение к статистическому), что, предположительно, может существенно улучшить точность текстологической оценки.

Даже если мы не знаем толком, что мы измеряем, подставляя статистику в формулу Шеннона, развлекаться подобным образом никто нам не запретит: пока нет настоящей, динамической теории, одна числовая характеристика не хуже другой. Если игра с числами вдруг выявит устойчивые закономерности, это прекрасный повод заняться поиском стоящей за этим фундаментальности — или собственной способности привнести в мир еще один артефакт.

Вот и давайте, в качестве мысленного эксперимента, оценим доставшийся нам от кого-то «поэтический» текст:

Кошка съела бутерброд —
ей теперь не нужен кот.

Поскольку мы не отвлекаемся на ненаучные мнения филологов, и тем более литературоведов, смыл, содержание и художественность нас волновать не должны: любой акт коммуникации связан с определенным количеством информации, носителем которой выступает энное количество языковых единиц, взятых в некоторой пропорции и расположенных определенным образом. От порядка пока абстрагируемся; в отдельно взятом тексте этот аспект вообще излишество, ибо только после отнесения текста к одной из известных категорий возможно серьезно обсуждать специфику употребления тех или иных конструкций. Однако даже в простейшем случае, чтобы применить формулу Шеннона, требуется определиться с тем, что мы считаем элементами текста, — а иначе как считать их частотности? И тут вылезает неудобный факт: при каждом способе расчленения текста на элементы количество информации оказывается своим, варьирует в широких пределах:

1. В компьютерной памяти текст представляется последовательностью нулей и единиц — например, в кодировке Windows, кодовая страница 1251, — и можно оценить соответствующее этой последовательности количество информации в 3.3 бит.
2. Можно посмотреть на шестнадцатеричное представление той же последовательности, группируя нули и единицы по четыре; в этом случае формула для количества информации содержит шестнадцать слагаемых и в итоге дает приблизительно 5.6 бит.
3. Если оценивать количество информации по частотности различных символов в тексте, включая для полноты пробелы знаки препинания, мы получаем величину около 14 бит.
4. Допустимо также считать минимальное единицей слово — и это, если абстрагироваться от частотности и сочетаемости слов в русском языке, приводит к очевидной оценке в 3 бита (или 3.17, если пожелаем учесть также разбивку на строки).

Уровни 1–4 можно назвать «низшими», или «внутренними» поскольку они рассматривают лишь собственные статистические характеристики текста. Человек в этом плане не отличается от машины. На «высших» уровнях для информационно-статистической оценки текста требуется знание контекста, и здесь мы тоже различаем очень разные трактовки одного и то же. Так, на уровне связи слов в языке можно говорить об осмысленности фразы — и здесь уже появляется идея семантической информации, непосредственного значения речи; в принципе возможно предложить и количественную оценку. Следующий уровень учитывает, в каких условиях текст передается от одного человека другому; при этом текст уже не расчленяется на отдельные элементы, а берется целиком. Например, в одном контексте это полная чепуха, в другом — условный сигнал (помните? — «Над всей Испанией безоблачное небо»; или: «В Сантьяго идет дождь»). Можно рассмотреть этот текст и на более высоком уровне, как явление культуры. Здесь у человека возникают многочисленные оценки по новизне, жанровой и культурологической принадлежности, по отношению с другими культурными явлениям, по отношению к искусству в целом, по степени бездарности или гениальности и т. д. Эти оценки также возможно связать с мерой информации, что, конечно же, никак не исчерпывает сути дела.

Заметим, что, при сохранении высших уровней, низшие могут в значительной степени варьироваться. Например, тот же текст можно записать в другой кодировке (скажем, КОИ-8). На уровне 1 (по случайному совпадению?) получается практически тот же результат (3.32 вместо 3.31); однако на уровне 2 мы имеем заметное различие: 10.7 против 5.6. С точки зрения уровня 3 не меняется ничего. На практике перекодирование может существенно влиять на высшие уровнях: если человек не знает кодировки КОИ-8, для него полученный текст окажется пустым набором символов, и семантическая информация будет утрачена. Разумеется, опытный адресат сумеет расшифровать такое сообщение. Но тут появляется еще одна степень свободы — и дополнительная информация об используемой кодировке. Возможны также кодировки с перестройкой иерархии — например, сжатие; в компьютерном деле различают методы сжатия с полным и неполным восстановлением — но по жизни полноту от неполноты иногда отличить практически невозможно. В «строгой» науке есть понятие оптимальной кодировки, и, казалось бы, можно сравнивать тексты, приводя код к оптимальному. Засада в том, что оптимальность связана с частотными характеристиками (распределением вероятностей элементов) — а логика не разрешает сравнивать тексты в разной кодировке.

Наш мысленный эксперимент показывает, что количество информации в любом случае зависит от уровня рассмотрения, причем полученные величины никак не коррелируют с уровнем «обобщенности», с размером предполагаемых элементов. Впрочем, закономерность отследить все же удается: чем абстрактнее кодировка, чем меньше она связана с содержанием текста, тем меньше числовая оценка. Двоичное кодирование и тупая нумерация слов — две крайности, равно «оптимизирующие» формальное представление текста, и мы получаем сходные количественные оценки (около тройки). Всякий алфавит — это уже некое внетекстовое действо, и количество информации в привязке в известному языку резко возрастает.

Адепты «вычислительной» лингвистики могут возразить, что для надежных оценок следует взять что-нибудь попредставительнее, что очень уж короткие фрагменты не годятся для статистического анализа, а малые объемы неизбежно приводят к разбросу различных оценок. Вот если взять длинный трактат — а еще лучше, корпус текстов… В нашем примере битовый уровень ближе к статистике: много нулей и единиц — устойчивые частотности. Однако на практике чаще всего приходится изучать именно осколки и обрывки; с другой стороны, кто будет оценивать степень представительности? На основании каких данных?

По большому счету, подобные выкладки не слишком полезны в искусствоведении (или языкознании). Теория информации возникла в связи с проблемами несовершенных средств связи, когда надо не потерять текст сообщения — но и не очень потратиться в процессе передачи. То есть, мы больше думаем о канале связи, чем о тексте. В лингвистике и филологии задача прямо противоположная: нам важно в тексте прежде всего то, что не связано с материальным носителем. Материальная культура влияет на способ кодирования — и надписи на черепаховых панцирях будут отличаться от наскальных надписей, а металлические сосуды требуют иного слога, нежели длинные папирусы или связки дощечек. Не говоря уже об отличии типографской

книги от сетевого гипертекста. Но при изучении языка (и литературы) нас интересуют не сами материалы и технологии, и даже не связанные с ними культурные пласты, а отражение всего этого на строении языка, в идиоматике и стилистике. Так, древнеримская эпитафия на камне породила (в контексте соответствующих экономических отношений) своеобразную систему сокращений и условностей, которая не только обыгрывается в литературе, но и врезается в подсознание носителей языка как идиома, клише, способ говорить о жизни и смерти. Вот это и есть полезная информация, которую мы добываем путем непростых изысканий, привлекая самые разные методы в тесной кооперации — а не противопоставляя одно другому.

Не секрет, что само по себе слово не означает ровным счетом ничего. Это всего лишь звучание, элемент графики, кодовая последовательность — или еще какой-нибудь материальный процесс. Мы используем слова (и прочие материальные носители) для обозначения того, чего в словах нет, — а существует оно в некоторой особой сфере, как культурное явление, устойчивый способ воспроизводства человека как разумного существа. Даже если словами мы говорим о словах. Вот такое, встроенное в культуру нечто (любой природы: слово, знак препинания, жест, выразительный взгляд, вздох, — звезда или цветок, — или классовая борьба) и есть текст. Как встраиваем — о том он и будет говорить.

Одно и то же, по мере надобности, становится знаком разных культурных явлений. Разграничивать области словоупотребления — это и есть задача всякой науки.

Возьмем хотя бы ходячее словечко «информация». О чем это? Интуитивно ясно, что текст кому-то о чем-то говорит (пусть даже это и не единственный способ его бытования). Тогда говорят: получена информация. Вероятно, этот факт можно обозначить каким-то числом — «количеством информации». Очевидно, такое число — еще один текст, и он тоже кому-то о чем-то говорит. Пикантность ситуации в том, что каждому текст говорит о чем-то своем. То есть, несет информацию (или чушь?) не абсолютным образом — а весьма и весьма относительно. Соответственно, и количественные оценки «информативности» существенно зависят от целей и задач оценивания. Мы уже видели, как выбор масштаба (а он всегда и индивидуален, и культурно обусловлен) влияет даже на простейшую числовую меру. Что уж говорить о высших уровнях общения, где о комбинаторике и повторяемости речи совсем нет! Слить в канализацию слишком водянистый термин? Не будем спешить: есть риск вместе с водой выплеснуть и здоровую идею.

Слова (а тем более термины) возникают не случайно. Они отражают (или выражают) сложившееся явление культуры, практику. И если мы употребляем слово в контексте разных деятельностей, предполагается, что за этим стоит единство способа воспроизводства всех этих частностей, их внутреннее родство. Понять слово (текст) можно только собираясь нечто вполне конкретное совершить; однако понимание самой текстуальности — нечто иное, и тут надо сопоставлять варианты, задействовать (не всегда формализованный) исторический опыт.

С другой стороны, сама возможность обозначить культурное явление словом (или иным текстом) предполагает существование особой деятельности, мотивом которой становится воспроизводство именно этой культурной реальности. Спрашиваем: какая деятельность стоит за термином «информация»?

Тут уместно вспомнить об истоках теории. Возникла она в контексте передачи сигналов. Напрашивается мысль: информация — характеристика «сигнальности». И относится это понятие к любой деятельность в той мере, в которой предполагается обмен сигналами (чем, разумеется, никакая деятельность не исчерпывается). Можем мы трактовать текст как сигнал — флаг нам в руки, давайте подсчитывать количество информации.

Уместный вопрос: а что такое сигнал? Не попадаем ли мы опять в логический круг, пытаясь определить информацию через информирование? Конечно же попадаем! Поскольку всякий словарь — сплошная циркулярность, а реальные определения — не в словесах, а в живом действии. Но если обратиться к представлениям о происхождению языка из практики обмена деятельностями в первобытном обществе, легко заметить, что элементарной ячейкой такого обмена служит особое действие (жест), с культурно закрепленным значением: я закончил работу, пора приступать тебе. Как передача эстафетной палочки. Вот она, материализация одного бита информации! Любой поступок становится сигналом, если речь идет о сохранении строения деятельности при замене одного субъекта другим. Потом все это развивается в метаморфозы

иерархических структур, для сравнения которых одного числа уже недостаточно…[60] Однако изначальная интерсубъектность никуда не денется; возможность использования статистических методов при анализе текстов — формальное выражение коллективности (и общекультурной значимости) человеческой деятельности.

Еще раз: всякий публичный акт становится сигналом (и несет информацию), если предполагается связывание технологических цепочек. Во всех иных отношениях то же деяние сигналом не является. Например, если дикий предок наелся и блаженно почесывает пузо — ничего информативного в этом нет, пока кто-нибудь не заметит и не интерпретирует этот текст в смысле дозволенности причаститься к остаткам пиршества. Пока мы занимаемся любовью просто так — это лишь разновидность аэробики; если же потом пойдут дети — факт передачи «генетической информации» налицо…

Прекрасно. Информирование как деятельность понять можем. Но как быть с сигналами живых существ, или в неодушевленной материи? Казалось бы, информативность налицо, — а деятельного субъекта на этих уровнях по определению нет. Ответ легко найти в истории науки: практически всегда ее исходные понятия антропоморфны, и слова, используемые для обозначения научных абстракций заимствованы из бытовой лексики; чтобы освободиться от чрезмерной иллюстративности и выработать терминологическое мышление потребовались века напряженной работы с участием лучших умов человечества. Потом к терминам привыкают; их происхождение из человеческой деятельности начисто забыто: о корнях таких физических терминов как «давление» или «поле» мы еще помним — но попробуйте реконструировать историю терминов «точка» или «вращение»! Потом на одну абстракцию накручивается другая, и словоупотребление становится совершенно условным. Популяризатор науки может говорить о спине элементарной частицы как о «внутреннем вращении» — но для физика важно лишь формальное сходство: частица ведет себя так, *как если бы* внутри что-то вращалось… Точно так же следует относиться и к якобы сигнальности происходящего в неживой природе и в органике: происходит нечто, внешне похожее на обмен информацией в деятельности людей — и можно для удобства назвать это тем же словом; однако метафоричность такого словоупотребления следует неизменно держать в уме. Потом, возможно, найдутся более подходящие термины (вроде той же энтропии — не как «негинформации», а самой по себе). Или мы привыкнем к тому, что одни и те же слова обозначают разное в разных контекстах. А пока — некоторым ушлым господам удается замазывать различия, подменять науку идеологически ангажированной софистикой и причесывать ее под богословие (или уголовный кодекс).

Как только мы связали информативность с сохранением чего-то в деятельности, возможно определить и количество информации как меру изменчивости структур в рамках целого. В силу иерархичности деятельности, таких мер может быть много, и на каждом уровне иерархии они свои. Однако в любом тексте есть нечто инвариантное — и зоны возможных вариаций, не меняющих смысла, но способны существенно повлиять на восприятие (вплоть до полной утраты текстуальности). Например, в нашем тестовом опусе простая перестановка слов («Съела кошка…») — может изменить смысл фразы, или ее тон, или окраску. С другой стороны, замена прописных букв на строчные в большинстве случаев меняет количество информации, но не меняет семантики (значений и смысла). Арабы и китайцы вообще не заморачиваются размерами; да и для русских это больше элемент дизайна, графическое украшение, а не языковая реальность. Насчет знаков пунктуации — тут бабушка надвое сказала: иногда оно без разницы — а где-то реально вопрос жизни и смерти («казнить нельзя помиловать»); в художественной литературе (там, где это действительно искусство) знаки препинания передают характерные интонации, без чего авторский замысел начисто выветривается из текста.

Но самое интересное начинается там, где мы преодолеваем притяжение текста и выходим настоящий, очень большой мир. Оказывается, понимание информации как соответствия глобальной структуре деятельности — не пустой звук: чтобы текст стал сигналом, он обязан вписываться в определенный контекст. В другом контексте — это уже о чем-то другом. Причем

[60] П. Б. Иванов и В. В. Корень, «Иерархический анализ структуры восприятия музейных экспозиций». — *Взаимодействие человека и культуры*: *Информационный подход* (1998), т. 2, с. 331–344

не только по смыслу, но даже, бывает, и формально-грамматически. Например, в общеизвестном оригинале строчка

Души прекрасные порывы!

есть прямое дополнение, тогда как в изоляции это запросто можно понять как повеление и призыв. Иногда писатели (особенно поэты) намеренно задействуют встроенную в язык неоднозначность — от этого текст насыщенней, глубже и толще. Головная боль для переводчика. При переводе, как правило, приходится из многих возможностей прочтения выбирать одно. Если же в языке-цели нет ни одного похожего контекста — переводчику приходится не просто переносить нечто из одного места в другое (разновидность информирования, перекодировка) — но еще и строить с нуля аналог культуры оригинала; на компьютерном языке, это вроде исполнения программы на виртуальной машине. Если экзотика приживается в языке-цели, последующие переводы того же самого опираются уже на его собственные коннотации, и могут сильно отличаться от первых (кажущихся неуклюжими) попыток.

В теории искусства существуют модели, где такое развитие присутствует в явном виде. Например, формула Голицына-Авдеева[61]

$$I / n \to \Delta(f_1 \,|\, f_0) = \int dx \; f_1(x) \log\left[f_1(x) / f_0(x) \right]$$

говорит о том, что информация зависит не только от частотности элементов текста (распределение f_1), но и от того, на каком фоне мы будем текст воспринимать (распределение f_0). При этом оказывается, что этот самый фон отнюдь не случаен, и не безграничный произвол: возможные «шкалы» (упорядоченные наборы представлений) складываются в каждом обществе исторически, и нет однозначного соответствия одного уклада другому — как нет и безусловной предпочтительности, — в каждом своя прелесть.

Начнем подводить итоги.

На примере информационной трактовки текста мы увидели, что количественный анализ сам по себе практически не интересен — а статистическая достоверность никаким боком не связана с достоверностью теоретических выводов. Для того, чтобы стали возможны количественные оценки, нужно определиться с качеством. То есть, по сути, заранее предположить то, что мы пытаемся количественно доказать.

Например, установление авторства по статистическому профилю текста заранее предполагает, что автор таки был. Но для большинства древних текстов это заведомо не так, да и современные тексты зачастую представляют собой не очень гладкие компиляции. Аналогично, датировать текст определенной эпохой можно только при условии, что сравниваются тексты одного культурного уровня, из одной местности, отдельно от процессов миграции. Сомневаюсь, что хоть один вычислительный лингвист всерьез задумывался над проблемой однородности выборки. Скорее наоборот, стараются намешать побольше различий, колоритов, — во имя абстрактно понимаемой объективности…

В живописи известны «индустриальные» технологии, когда один портрет рисовали разные люди, каждый специализировался на определенных деталях. Кто автор? Точно так же, были писательские «мануфактуры»: эксплуатация литературных рабов — общеизвестный факт. Сегодня командными методами делают сценарии для фильмов (в результате чего сценарии становятся массовым продуктом, теряют индивидуальность, — а фильмы превращаются в бесконечные сериалы). Наконец, искусственный интеллект разрастается семимильным галопом, и скоро компьютеры не только смогут воспроизвести какую угодно стилистику, но и начнут диктовать людям правила игры.

В принципе, игра с числами — это не самое предосудительное занятие, и количественные модели имеют право на существование и собственную нишу в лингвистической науке. Однако посмотришь со стороны: как это убого! У всех все одинаково: научились парочке приемов — и лезем с ними куда надо и куда незачем. Главный порок — вульгарное подражание естественным

[61] L. Avdeev and P. Ivanov, “A Mathematical Model of Scale Perception”, *Journal of Moscow Physical Society*, v. 3, pp. 331–353 (1993)

наукам, которые, якобы, представляют собой лишь обобщение эмпирических закономерностей, формальное выражения фундаментальных свойства природы, заданных кем-то на все времена. Способность (и обязанность) разума творчески преобразовывать природу, направлять развитие мира, а не пассивно следовать ему, — это пока ересь. На практике оказывается, что такая «объективность» легко превращается в академический произвол — и наука скатывается в болото субъективизма. Маятник в другую сторону — и бывшие эмпирики вдохновляются идеями априорного знания, провозглашая свои теории мистической основой всякого бытия. Так устроен философский позитивизм: ему все равно, из чего и что построено, — лишь бы не задумываться, как там на самом деле.

В лингвистике позитивизм уперся в текст — и не знает, что с ним делать. Можно сводить язык к набору текстов — можно, наоборот, формально выводить тексты из априорных структур. Большой разницы нет. Сущность и явление — одно и то же.

Да, без текста языка нет — и текст невозможен вне языка. Именно поэтому, в частности, проект МФА изначально обречен на провал: он не видит рождения фонологии (и письменности как ее первичного осознания) из стихии языка — и потому не может ничего сказать о влиянии фонологической системы на языковые процессы. Но если на миг задуматься о месте текста в деятельности людей — естественным образом намечаются несколько взаимодополнительных направлений исследования, разные способы говорить об одном и том же. Текст как объект — это одно, текст как продукт — совсем другое; наконец, можно считать, что в тексте внешним образом зафиксированы фундаментальные черты субъекта деятельности. В первом случае мы вправе использовать традиционную методологию естественных наук, включая феноменологические модели и законы динамики. Рассматривая текст как продукт, мы должны понять его как часть всеобщего процесса воспроизводства культуры, его общественную необходимость. Здесь филология даст сто очков вперед любой «строгой» науке. Наконец, в субъективном плане, неизбежно придется рассматривать противоположные определенности текста, отвечающие его объектности и культурной обусловленности: с одной стороны, следует объяснить процесс восприятия текста, а с другой — процесс его порождения. И то, и другое отражается на форме текста, и предстоит понять, как наши количественные оценки и культурологические выводы соотносятся с внутренним строением субъекта. Но есть еще и то, что связывает противоположные стороны субъекта, опосредует перетекание одного в другое. Внешним образом это проявляется как акт коммуникации (в частности, передача информации); внутренняя связь восприятия и намерения есть мысль.

Понятно, что для всего можно придумать упрощенные количественные модели. Так, порождение текста пытаются иногда обсуждать в терминах стохастической динамики, обсуждают вероятности переходов (марковские процессы), ближний и дальний порядок, внутри субъектные и групповые корреляции, и т. д. Но точно так же, допустимо филологическое рассуждение о соотношении авторского стиля и нормативности, исследование тонкостей звукописи или игры слов… Восприятие текста, с одной стороны, определяется конкретными формами материализации разума на планете Земля и объективными возможностями выделения перцептивных шкал; но кроме этого есть история разных культур, классовые корни, личные обстоятельства. Вся эта сложность вместе взятая — и есть текст.

Но даже столь универсально понятый — текст не исчерпывает идеи языка. По сути, текстуальность есть разновидность пространственного описания — и должна быть дополнена столь же фундаментальной концепцией лингвистического времени. Приходит на ум модное словечко «дискурс»; интуитивно, дискурсивность противоположна единомоментному бытию текста — и может стать хорошим кандидатом на роль лингвистического времени. При условии, что дискурс воспроизводит иерархию текста, вытекает из него и соотносится с ним.

Этимологически, слово «текст» восходит к производству тканей (ср.: текстура); это своего рода переплетение разных нитей. Тогда как «дискурс» — всего лишь публичное выступление (даже если в качестве публики — сам выступающий), рассуждение, следование вдоль одной из возможных нитей. Иногда дискурс становится нитью Ариадны — и позволяет выбраться из немыслимой сложности текста в целом; текст при этом обогащается новыми интерпретациями и толкованиями, иначе включается в культурный контекст. Бывает и наоборот: рассуждение

обрастает оговорками и корollариями, приобретает иерархическую структурность — и превращается в текст. Различить процесс и его следы возможно только на одном из уровней иерархии, при определенном ее развертывании. Но сама противоположность языка как «вещи в себе» и языка как «словоблудия» (вещь для себя)— принципиально неустранима. Живой язык — преодоление крайностей, сведение их в одно и снятие противоречий. Мы не всегда умеем выйти за рамки профессиональной ограниченности и принять правоту оппонента как собственную правоту. Но, по крайней мере, уважать друг друга и ценить чужой труд — мы должны.

Глоттологика

Если верить большим ученым и средненьким философам — язык нам нужен для того, чтобы излагать накопленную человечеством сумму знаний тем, кто этих знаний по каким-то причинам еще не накопил. Выражаясь по-простому: дураков учить. Но дураки учиться в упор не хотят — и выясняется, что на том же языке носители знаний могут еще и крепко выражаться по поводу народной непроходимости. Потом обнаруживают еще несколько столь же ненаучных применений — и ситуация совершенно выходит из-под контроля… Спрашивается: зачем мы составляем умные словари, пособия по грамматике и орфографии, прагматике и стилистике? Какому-нибудь рэперу глубоко плевать на потаенные смыслы — ему платят за бла-бла-бла, за генерацию фонем в заданном темпе, — и упаси нас бог от лишней задумчивости!

Кто-то пьет через соломинку — а мы в нее вцепимся всеми извилинами: быть может, оформление знаний все же остается первичным (и главным) предназначением языка, а все остальное языкоблудие — где-то на периферии, в качестве довеска, незначительной примеси? В конце концов, шероховатый кусок мяса во рту мы используем и для еды, и для облизывания чего-нибудь, и чтобы врагу показать, и для эротических игр… А над всем этим витает дымок чистой мысли — порождение творческого огня.

И рад бы согласиться — да грехи не пускают. Статистика, конечно, не аргумент, и массы вполне возможно объявить недостаточно зрелыми для истинного слова. Но, ведь, не бывает никогда, чтобы вещь обладала одним-единственным качеством, и не могла при случае показать себя с неожиданной стороны. Человечество построило целую индустрию для поиска таких неожиданностей — искусство. А наука, по большому счету, лишь обслуживает наше стремление увязать все со всем, которое философия (настоящая, а не мелкая) считает определением разумного существа. Соответственно, и то, как мы все это делаем, не может быть очень уж однобоким: язык просто обязан воспроизводить все движения нашей многообразной натуры. И в этом есть своя логика.

Значит ли это, что надо похоронить мечту о мысли, запечатленной в слове, — и тихо плакать в кромешной бессловесности? Никоим образом. Как раз наоборот: именно признание несводимости языка к логике (в любом смысле) позволяет формально и содержательно поставить вопрос о том, как же все-таки логика представлена в языке — и насколько он ей полезен.

Язык — универсальное средство общения. То есть, он призван обслуживать все стороны человеческой деятельности, в любых закоулках жизни. Если мы, грешным делом, обнаружили нечто, в языке невыразимое, — сам факт обнаружения уже вводит это нечто в орбиту языка, независимо от того, собираемся ли мы придумывать по этому поводу какие-то слова. Отсюда два прямолинейных вывода: 1) любая логика так или иначе опосредована языком, — и 2) никакой язык не может быть до конца логичным, поскольку ему надо обслуживать кое-что кроме логики (и значит, кое-чему уподобляться).

Точно так же, логика есть универсальное средство организации деятельности, и никому от нее не укрыться ни в каких нирванах. Поэтому 1) любое языковое явление подчинено некоторой логике, — и 2) никакая логика не сводится к языку, поскольку она отвечает не только за общение, а еще и за коллективное воздействие на безъязыкий мир с целью его приспособления к нашей неотразимой невыразимости.

Легко заметить, что такая трактовка извечной проблемы предполагает особый подход как к постановке вопросов, так и к тому, что мы понимаем под ответами. Вместо неподвижной

картины — мерцание истины, которая переливается из одной формы в другую, и в конце концов переполняет ее — чтобы запустить обратный процесс, перетекание в только что покинутую посудину, которая, чудесным образом, от таких упражнений заметно подросла… Разумеется, возня с оболочками нам важна не сама по себе: краешком глаза щеголеватый дух непременно косит на загадочную природу, на которую ему уж очень хочется произвести неизгладимое впечатление! И если природа позволит, от их союза родится красавица-дочка — культура, которая вся в мать, но и духовности ей не занимать.

Допустим, что с общими принципами разобрались. Пора переходить к живописанию примеров. Как в языке, так и в логике, формальные конструкции надстраиваются над пучиной всяческой неформальности. Время от времени оттуда, снизу, вздыбится шальная волна — и мы дружно тонем, но не насовсем, а только до того момента, когда удается схватиться за руки (или иные части органических и неорганических тел) и усмирить океанскую зыбь на отдельно взятом участке мироздания, воздвигнуть другую формалистику — и даже успеть поверить в нее. В языке это лингвистические формы (например, в европейской традиции, лексико-грамматические); в логике, соответственно, логические (например, в той же европейской традиции, понятийно-дискурсивные). Если мы берем (хотя можем и не брать) их как противоположности, возникает своего рода взаимность («дуальность»): формы языка выражают его логику — а формы логики делают ее языком. Поскольку же отождествлять противоположности мы в пределах самой их противоположности не имеем права, следует как-то охарактеризовать и то, что отличает язык от логики и логику от языка. В языкознании (и в практике преподавания) неформальную окраску общению придает идиоматика, в самом широком смысле понимаемая как любая регулярность, не вытекающая из официальных норм. Точно так же в логике есть толстенный пласт ходячих парадигм, которые ниоткуда не следуют сами по себе, и никому никем не предписаны, — однако воспроизводятся из одного трактата в другой с железобетонным упорством. Профессионал выбирает темы, формулировки, направления развития — под влиянием цеховой традиции, даже если практика (которая, как известно, всему голова) тянет в сторону от колеи и настоятельно требует хоть капельку гениальности.

Дальше опять поля светлячков: умные головы записывают идиомы, составляют словари всех мыслимых и немыслимых жаргонов, — и это возводит идиоматику в ранг языковой нормы, превращает в уровень логики. Но не успеет высохнуть краска в красивом переплете — народ опять говорит кто во что горазд, а прежние словечки воспринимаются как безнадежный архаизм. Математики (а за ними и все остальные) пытаются вытеснить неустранимый произвол из строгой науки, изобретая формальные языки, раз и навсегда фиксирующие правила поведения истинного ученого, — но меж собой все равно говорят «на пальцах», так что приходится либо добавлять к древнейшим иероглифам закорючку позаковыристее — либо уходить от последовательного представления к многомерным диаграммам, а то и еще куда-нибудь. Понятно, что и это не спасет, и никакие другие наукообразия дело не вытянут — хотя бы потому, что непрерывность таки отличается от дискретности.

Но это присказка, а самое сказочное — внутренняя логика идиом, через которую мы приходим к языковой природе логических парадигм. У каждого народа это по-своему. Значит, есть общий принцип, которому следуют все, — именно он и называется в разных контекстах то логикой, то языком.

На (совсем частный) пример: во многих (если не вообще во всех) языках часть запросто умеет ссылаться на целое, а целое обыкновенно представляют одной из его частей. Первые попавшиеся примеры из русского языка:

болит голова — не вся голова, а только часть (затылок, лоб…);

болит живот — и любой другой внутренний орган: что-то в брюхе;

рука = кисть руки (*пожать руку*);

нога = ступня ноги (*нога 45 размера*).

Этажом выше:

человек — и единичный некто, и человек как таковой;

кошка — животное и таксономическая единица;

муж — в смысле *мужчина*, *жена* — как *женщина*.

То же о неживой природе:

лето как целый год;

земля как целая страна, со всеми ее природностями, — или целая планета;

триас в качестве указания на локальную геологическую структуру.

И так далее, и тому подобное… Газетчики обозначают страны их столицами и лидерами (или наоборот), спортивные команды обзывают цветом футболок, артиста поминают по удачной роли, писателя по известному персонажу…

Соединение в одном слове противоположных значений (здесь: единичного и общего) — совершенно универсальное явление. Для него тоже придумали греко-ученое название: метонимия. С точки зрения логики, всякая ссылка на единичность, предполагает выделенность вещи из мира — противоположность всему остальному, «обособленность», — и, следовательно, особенность. Но особенность, в свою очередь, предполагает всеобщность — то есть сходство каких-то особенных сторон этой вещи с соответствующими сторонами других вещей, их общность в каком-то особенном отношении. Имена собственные неизбежно превращаются в нарицательные: этот Наполеон — лишь один из многих наполеонов… В конце концов, эта Вселенная — одна из многих вселенных; этот мир — один из миров; материя становится одной из материй, а дух — одним из бесчисленных духов.

Откуда в языке (и в мышлении) такая «диалектика»? Дело здесь в обобщении — то есть, обобществлении — деятельности. Единичная находка становится достоянием человечества (всеобщего субъекта) только тогда, когда многие могут сделать нечто подобное. Человек — часть этой всеобщности, и только через нее приобщается к плодам своего труда. Совместная деятельность — это сам человек: общение, передача единичного продукта другим, позволяет выйти за рамки единичности.

Обратный процесс: активный поиск уникальности. Тяга к «неповторимости». Но только для того, чтобы эта неповторимость стала неотъемлемой частью жизненного опыта других, — и все сначала.

Когда одно и то же показывает себя с разных сторон — это свидетельство иерархичности. Иерархию можно развернуть по-разному: когда какая-то ее частица выдвигается на вершину, она начинает представлять иерархию в целом — уровни иерархии выделяются в отношении к ее вершине, и возникает иерархическая структура — одно из возможных обращений иерархии.

Поскольку и язык, и логика существуют только в деятельности, для перехода от одного к другому требуется смена деятельности — то есть, по сути дела, материальное преобразование мира. Всякая связь вещей в окультуренном мире есть связь практическая. Но практика — не случайность, не разовое мероприятие; это результат исторического развития, когда устройство всех сторон жизни общества соотносится со строением общественного продукта. В частности, чтобы часть начала представлять целое, или наоборот, необходимо общественное закрепление такого положения вещей, при котором головные боли чаще всего возникают в определенных местах, а мужчина выступает в качестве чьего-то мужа… Другими словами, каждая вещь для чего-то предназначена, и производят ее с прицелом на такое, культурное употребление. Природа нас интересует в той мере, в которой она готова стать культурным явлением, как всеобщий материал для построения нового, пропитанного разумом мира.

Тут мы вплотную подходим к еще одной сфере, где тесно переплетаются логика и язык: для логики это проблема определения, для языка — проблема определенности. Формально, обе неразрешимы. Всякое определение в логике предполагает приведение к уже определенному — отсюда либо уход в дурную бесконечность, либо логический круг.[62] Точно так же, ни одно языковое явление нельзя объяснить языковыми средствами: как бы мы ни подставляли одни слова на место других, ясности не прибавится — и даже наоборот, разные слова про одно и то же — создают ужасную путаницу. Никакие логланы не спасут: если есть правила — должны быть и разные интерпретации; иначе получится не язык (на котором реально общаются), а еще

[62] Математики наивно полагают, что аксиоматический метод позволяет ввести в теорию неопределяемые объекты: дескать, достаточно указать, что с этими иксами допускается делать… Но фишка в том, что, сама идея сделать что-то с чем-то нуждается в предварительном описании и уточнении — и способ задания аксиом полностью зависит от этих «скрытых» определенностей.

одно формалистическое извращение, чистый произвол — который вне логики. На другом фланге математики выкручиваются, как умеют: с одной стороны, они вообще отказываются от попыток что-либо определить и сводят дело к одним лишь обозначениям; а чтобы не смущала неопределенность естественного языка — культивируют вместо разговоров символическое исчисление, иллюзию однозначности. Получается плохо: что чем обозначается и как правильно передвигать символы, удается договориться лишь в рамках узкой математической школы, и в конечном итоге всякое понятие снабжают фамилией: такое-то в смысле такого-то… Кто в чем смыслит — дело темное, а из темной математики концептуальная грязь просачивается и в другие науки, особенно которые поточнее.

Но если принять, что для человека всякая определенность вырастает из деятельности, — ситуация кажется не такой уж безнадежной. Вместо попыток свести одно к другому — честно говорим, зачем оно нам надо. Да, при этом окажется, что у одной вещи много определенностей, и определять одно и то же можно по-разному. Но разве не это мы на каждом шагу наблюдаем и в повседневной жизни, и в практике рефлексии? Под словом «книга» мы понимаем и твердый предмет, который можно при надобности подложить под что-нибудь, и красивую интерьерную вещицу, и возможность получить гонорар, и особым образом организованный текст (и тогда в качестве примера кто-то представит себе книгу Excel), и художественное (научное) явление. Наука тоже вводит свои понятия путем различных определений: например, метр и килограмм когда-то соотносили с парижскими эталонами (а по жизни так все и пользуются весами да рулетками) — теперь же все сводится к атомной физике, в которой постоянство тех или иных величин вытекает из того, что мы по определению именно через них все и выражаем. Про измерение времени я уже не говорю — тут разной шерсти не сосчитать.

И бытовые, и ученые определения говорят только об одном: для чего. Что мы с этим собираемся делать. Язык здесь в полном принципиальном согласии с логикой — но свои определенности он усматривает вовсе не в том, что логически определимо и определено. Можно сколько угодно детализировать идею дурака — но называем мы кого-то этим словом без всякой идейности, независимо от его личных качеств: просто попался под руку не к месту, и надо лишь избавиться от необходимости прислушиваться. Если в персидском языке кит, акула и крокодил называются одним словом — это предполагает логику, далекую от биологической науки; однако историческая наука может, например, делать отсюда выводы о пренебрежимо малом вкладе китобойного промысла в экономику Персии (или о дефиците крокодилов) в определенную эпоху. Опять логико-лингвистическое мерцание.

Как определить дверь? Можно долго говорить об устройстве разных дверей, приводить примеры… Но до сути дела так не дойти — в лучшем случае, смутное представление. Однако давайте посмотрим, как дверью пользуются: в нее не влазят, и не въезжают — в дверь *входят*. Или *выходят*. Отсюда практическое определение: дверь — это такое приспособление для управления движением через вертикальную бесконечную (в смысле невозможности обойти, перелезть, перелететь и т. д.) плоскость, через которое люди двигаются пешком. И в этом ее отличие от лаза, люка или ворот. Дальше уже можно говорить о частных разновидностях дверей (входная, межкомнатная, калитка), о вариантах конструкции (поворотная, раздвижная), и так далее. По характеру перегородки, по форме, по типу и расположению плоскости… Вариации неисчерпаемы. В логике — это уровень особенности. А в языке, опять же, часть приобретает значение целого — даже тогда, когда используется для того, чтобы, скажем, «ударить кого-то дверью» или «загнать дюжину дверей на сторону». Таково *логическое* движение — тогда как генетически (в языке) общее понятие двери, наоборот, возникает из хаоса единичностей, из практики хождения сквозь стены.

Формальные дефиниции, определение через род и видовое отличие — напрямую связаны с тем же вопросом: для чего? Род здесь — сплошная неопределенность, сырье, возможность деятельности. Смотрим мы на это всеобщее и думаем: а зачем он вообще нам нужен? Тут подходит кто-нибудь и подкидывает задачку… Возникает мысль: а не приспособить ли к делу вот эту штуковину, которую мы только что созерцали в качестве представителя рода? Ну-ка… Что-то в ней есть, эдакое… Как только поняли — назовем это всеобщее в его особенном приложении понятием (которое можно обозначить словом — а можно чем-нибудь еще). Таким

образом, дефиниция лишь указывает на то, как мы собираемся устанавливать соответствие предмета определению. Такая проверка может быть рефлексивной (например, измерить стороны треугольника и решить, что он равносторонний) и практической (давайте построим треугольник из равных отрезков). У треугольника вообще много прочих качеств — но мы выбираем одно, и возникает определенный треугольник, поскольку мы поступаем с ним определенным образом.

Конечно же, это субъективно; но субъект становится субъектом только по отношению к деятельности — а деятельность бывает только в обществе, для общества, по его требованиям и потребностям. Даже если по узости кругозора мы не видим никого, кроме себя. Нам не интересны вещи сами по себе — в деятельности они теряют свою самостийность и служат либо объектом, либо продуктом деятельности. Поэтому и логика языка, и язык логики — не о вещах, а о поведении общественного человека, когда не столь важно, как мы что-то определяем и как назовем, а важно, что мы все вместе собираемся совершить. Как правило такое, первичное логико-лингвистическое образование неопределимо и невыразимо — и лишь на этапе распределения труда, когда коллективный субъект развертывается в иерархию особенных и единичных субъектов, та сторона общего дела, которой занимается каждый, получает статус понятия — или идиомы. Пока роли подвижны, пока одна общественная (производственная) структура плавно перетекает в другую по мере развития деятельности в целом, нет особой необходимости ни в понятиях, ни в словах. Временное преобладание каких-то способов организации приводит к столь же временному устроению логики и языка (животрепещущие темы, модные словечки). Но в классовом обществе распределение труда превращается в разделение труда, закрепление определенных деятельностей за определенными общественными группами. Вот эта фундаментальная структура и воображается людям как собственно логика и собственно язык. Пока люди не властны изменить общественное устройство, логика и язык противопоставлены мышлению и речи. Парадоксальным образом, мы мыслим не логично — а *вопреки* логике; говорим не *на* языке — а *вопреки* языку. Оторванные от деятельности, логика и язык теряют парадигмальность и идиоматичность, и никак не удается одно с другим совместить. Вместо ровного блеска — утомительное мерцание…

Пока речь идет о развертывании иерархий, единичное, особенное и всеобщее мирно уживаются друг с другом (как уровни иерархии и связь между ними), а язык вправе взять любое обращение и обозначить деятельность в целом вершиной иерархии: иногда это будет продукт, иногда субъект, а в каких-то ситуациях важна прежде всего предметность. Соотносить понятия с языковыми конструкциями совершенно не обязательно. Но когда иерархия сплющена в плоскость, когда все языковые явления становятся единицами одного порядка, а логика сводится к пустым тавтологиям, понятия не могут обойтись без формального выражения в естественном или искусственном языке, а язык представляется лишь способом организации понятий. Вот и распадается живая речь на подлежащие, сказуемые и обстоятельства действия, и живое мышление — на термы, аксиомы и правила вывода. И вместо осознания, зачем оно нам надо, мы вынуждены следовать формальным предписаниям.

Взять хотя бы употребление артикля в английском языке — один из наиболее трудных моментов для русскоязычного студента (которого учителя и экзаменаторы от артиклей успели отучить). Многие овладевают языком, много пишут и говорят по-английски, имеют огромный словарный запас — однако нюансировка языковых форм остается для них закрытой, и способ выражения сразу выдает иностранца. Дело осложняется тем, что сами носители языка чаще всего не понимают логики, лежащей за его формальными конструкциями, — и могут, в лучшем случае, дать обучающемуся лишь набор примеров, огромное количество схем, плохо укладывающихся в памяти, без какой-либо общей идеи.

Но давайте (в качестве одной из возможностей) обратимся к логике — а из логики вспомним о взаимоотношениях единичного, особенного и всеобщего. В зависимости от обращения иерархии (то есть, от смысла деятельности), одно и то же существительное становится носителем разных логических функций. В нормативном языке эти функции явно выражены специальными маркерами. По-английски, для указания на единичность употребляется существительное с определенным артиклем или играющим его роль детерминативом (determiner). Логика особенности выражается неопределенным артиклем: речь идет не о вещи

самой по себе, а о вещи как представителе некоторого класса, одной из многих. Наконец, логически всеобщее дано существительным самим по себе, без всяких довесков:

to lie down on the bed	*to buy a bed*	*to go to bed*
to look out towards the sea	*to mention a sea*	*to be at sea*
to sit in the bus	*to see a bus*	*to arrive by bus*
to admire the sunset	*such a sunset*	*they met at sunset*
the supper was cold	*too copious a supper*	*to arrive before supper*
into his face	*a face was seen*	*face to face*

Здесь важно, что грамматика служит смыслу, а не наоборот, как в школе, выводят смысл из грамматики. Малейший сдвиг в ситуации — и одно быстренько превращается другое:

Dog on it! This dog is not much of a dog, to play dog.

По смыслу, далеко не всякое существительное может претендовать на всеобщность. Например, мы можем сказать *to become law* — но: *to become a lawyer*. И это при том, что для некоторых профессий подобная конструкция вполне допустима: *to be king*, *to be god* (или: *to become god*). Формы единичного и особенного есть всегда:

He's a scientist.
He's the greatest scientist of all times.

Но иногда допускается и обобщить:

He wanted to be doctor.
Will you send for a doctor?
He is the only doctor around here.

Казалось бы, сплошная идиоматика… Но при ближайшем рассмотрении все встает на те же места: не употребляются в функции всеобщего структурированные существительные, которые носитель языка воспринимает как производные от чего-то еще. То есть, по сути дела, свернутую в одно слово дефиницию. Если оно уже особенное — всеобщим ему стать сложно. Впрочем, при достаточно вольном обращении с языком (которое грамотный человек может иной раз себе позволить), практически любые имена способны повернуться всеобщим боком: *to play foreigner*; такое образное словоупотребление бросается в глаза, им не стоит злоупотреблять.

Во всеобщем значении существительное иногда утрачивает свою «номинальность», становятся неотличимыми от прилагательного, наречия, глагола и т. д.:

his home
a home for hope
to think of home (to be at home)

Но: *to go home*. Для сравнения:

They went to his home.
As they went to a home, they meant to destroy it.

Выпадение предлога (*to*) в идиоматике не случайно: так говорящий подчеркивает, что его интересует не какое-то конкретное место, не направление в пространстве, а образ действия, его субъективный смысл. Отсюда полшага до глагола *to home* (или, например, *to star*).

Свобода превращения любых частей речи в глаголы — это коронный номер английского языка. Обычно преобладает обратный процесс — субстантивация, когда действие, качество или обстоятельство формально (и логически) превращается в вещь. Так язык отвечает на исконную утилитарность всякой деятельности: она всегда для чего-то, а не сама по себе. Английский язык доводит рефлексию до логического завершения, когда вещь не только воспроизводится в деятельности — но и сама воспроизводит деятельность, предписывает носителю культуры правила обращения с собой. Будем, однако, считать, что это другая тема.

Коли уж зашла речь о глаголах, заметим на полях, что английские глаголы по-разному взаимодействуют с логическими возможностями имен. Опять-таки, не по правилам, а по смыслу. Словари приводят наиболее типичные казусы — но любой из них может быть вывернут наизнанку, если ситуация требует расширения или ограничения управленческих прав.

Вернемся к артиклям. Как уже отмечалось, язык любит выдавать часть за целое, и наоборот. Отсюда два типовых метода генерализации: достаточно предпослать какому-то

существительному неопределенный или определенный артикль — и мы переходим от единичной вещи к ее идее:

A tiger needs up to 100 square kilometers of territory for a comfortable habitat.
The tiger is one of the most endangered species in the area.

На первый взгляд — не вяжется с нашей гипотезой о логике артиклей. Но в логике, как и в языке, есть разные уровни. Пока у нас шла речь о понятиях и связывании одного понятия с другим. Теперь пора вспомнить о существовании кванторов. Тема совершенно необъятная. Математика без кванторов просто невозможна — но большинство математиков даже не догадываются насколько! Учебники обычно говорят о двух-трех; на самом же деле их десятки, и даже больше. В любом случае речь идет о переходе от высказываний о представителях некоторого класса к высказываниям о классе целиком. Но из нашего примера непосредственно усматриваем, что в языке все в полном соответствии с математикой (или наоборот, математика копирует язык). Неопределенный артикль играет роль квантора «для любого» (*for any*) — то есть, мы имеем в виду каждого отдельно взятого представителя некоторого общего класса (границы которого на практике не всегда удается явно указать). Определенный артикль работает с точностью до наоборот: мы собираем, по определенному правилу, все единичности в нечто единое — и тем самым отличное от прочих определенностей. В математике это называется «схема выделения». Формальная наука вынуждена серьезно урезать набор возможностей, чтобы не нарваться на столь же формальные противоречия — однако на практике все гораздо проще, ибо речь идет о сущностях разного порядка: по жизни, элемент и множество — понятия разных уровней, и одно не может стать другим без перестройки иерархии, без особой деятельности, приводящей как элементы, так и множества к чему-то третьему, в рамках чего они выглядят одинаково. Математику такая логика не по зубам, и он может только удивляться легкости, с которой язык превращает хаос случайных наблюдений в принцип объединения: приставляем определенный артикль — и дело с концом!

В учебниках (и ученых трактатах) обычно ограничиваются перечислением типовых конструкций с намекающими на глубину названиями: “identification”, “generic reference”, “specific reference”, “class reference” и т. д. Одно дело просто собрать всех до кучи:

speak English → *the English*
individual tigers → *the tiger*

Совсем другое — “the institutional use of the definite article”:

He went to London by train. → *He went on the train.*
Но: *He sat in a train*…

То есть, средство передвижение как таковое — и система железных дорог в целом. Всем ясно, что тут не просто древняя традиция — но усмотреть логику как-то не решаются. А в философии, как известно, всеобщее может становиться особенным или единичным. Так, *снятие* (Aufhebung) всеобщности — это (в том числе и) переход от понятия к его «области определения», к той совокупности объектов, которые этим понятием охвачены. Ясно, что такая совокупность как целое — это нечто единичное, и должна появиться с определенным артиклем в английском языке. Точно так же, не бывает совершенно неопределенной единичности — сама идея уникальности предполагает сопоставление с чем-то еще, принадлежность тому, что объединяет все сколько-нибудь сопоставимые единичности; отсюда неопределенный артикль там, где англоязычные лингвисты подозревают “intensive relation”:

John became a linguist. Some believed he was a genius.
But a real thinker can never bear a name like that!

В точности та же логика заставляет нас опускать артикль в так называемых «параллельных конструкциях», которые многие словари относят к чистой идиоматике: *arm in arm, heart to heart, side by side, left-to-right*… Но козе понятно, что речь идет не о единичной руке, и не об одном из многих сердец — мы ссылаемся на абстрактную идею.

Неисчисляемые существительные (mass nouns), на первый взгляд, требуют несколько иной схематики: определенный артикль (или иной детерминатив), по-прежнему, указывает на характерную особенность, — но уровня единичности просто нет, и неопределенный артикль

оказывается не у дел. Всеобщее по смыслу учебники призывают употреблять без артикля: *water, blood, chocolate*… Замечательный грамматический пример из области тяжелого рока:

Smoke on the water
And fire in the sky.

Однако в логике сама возможность разведения уровней всеобщего и особенного предполагает переход к единичному. Язык моментально реагирует: если мы не можем назвать часть именем целого (и вынуждены говорить о молекулах воды, о каплях крови или о чашечке горячего шоколада) — давайте сделаем всеобщее единичным, частью совокупности всех особенных проявлений:

The human body contains many waters.
Blood is just an organismic water among the others.
Blue blood?
Just take a blood like that and let it run.

Подобное словоупотребление может считаться ненормативным, просторечным, или даже вульгарным… Просто метафора. В «нормализованной» речи мы должны были бы прибегнуть к особым оборотам, содержащим какое-либо исчисляемое существительное: *a kind of water, a sort of oil, a handful of rice*… Однако «исчисляемое» употребление неисчисляемых существительных придает языку яркость и образность. В конце концов, мы запросто говорим где-нибудь в кафе: *one vanilla chocolate and two tequilas, please*… Или наоборот, исчисляемые имена превращаются в собирательные: *a law → the second law of thermodynamics → the common law → to study law*… Снова мушкетерский девиз: часть за целое, а целое за каждую из его частей.

Неисчисляемым существительным по природе сподручнее превращаться в другие части речи: *to water, to butter up, silk touch* (и даже: *butterfly*). И наоборот, прилагательные с причастиями охотно становятся чем-то неисчисляемым: *the dark, the earning*…[63] Это подобно построению общих классов: *the suffering, the mistreated*; потом, при желании, можно различить и отдельных представителей.

Множественное число в языке соотносится с другим разделом логики — но соображения единичности или всеобщности по-прежнему руководят простановкой определенного артикля или его опущением. Одно дело — собаки вообще (*dogs*), другое — это конкретные собаки (*the dogs*). Поскольку «партитивного» артикля (*des*) англичане у французов не позаимствовали (хотя поначалу шло к тому) — приходится об особенных проявлениях множественности говорить с добавлением всяческих пояснений: *some, any, a number of, lots of*… В этом плане множественное число исчисляемых существительных можно трактовать как неисчисляемое существительное в единственном числе. Отсюда очевидная идиоматика: *it rains cats and dogs, to go nuts*… Когда мы говорим: *Tigers are beautiful beasts*, — мы имеем в виду нечто отличное от: *A tiger is as a beautiful animal*. В первом варианте акцент на «тигровости» как особом качестве, не обязательно относящемся к тиграм, или животным вообще (ср.: *Tiger is a synonym of beauty*); вторая фраза имеет в виду именно животных определенного биологического таксона: *the tiger*. В том же русле поддаются логическому осмыслению устойчивые словосочетания:

I fried some eggs and bacon for breakfast.
I had a breakfast of eggs and bacon.

Пожалуй, самая сложная часть анализа — имена собственные. С одной стороны, тут сплошь традиции: почему *The Economist* пишется с артиклем, а *New Scientist* без оного? С другой стороны, уникальность природных образований или исторических событий однозначно требует определенного артикля, по общему правилу: *the North Pole, the Earth, the Sun, the Netherlands, the Alps, the Avon, the Reformation, the Dark Ages*… Но в единственном числе географические названия (кроме рек, морей и каналов) пишутся без артикля: *Europe, France, Paris*… Понятно: *the Russian Federation*. Непонятно: *Russia, Ancient Greece*. Личные имена обходятся без артикля: *Susan, Mr. Jones*; сюда же примыкают календарные события: *July, Tuesday, Christmas*… Но совершенно естественно: *the Wilsons*. Казалось бы, определенный артикль так и напрашивается всюду — а в греческом языке, например, так и сделано…

[63] В немецком и французском языках существительные тем же способом напрямую образуются из глаголов.

Чтобы понять английскую логику, вспомним про еще одну логическую триаду:

синкретизм → анализ → синтез

Единичность не сразу отделяется от всеобщности — для этого надо хорошенько потрудиться и поплавать в историческом времени. Сначала все стороны целого в одной куче — мы учимся их распознавать по мере развития соответствующих культурных различений. По всей видимости, практика личных имен у европейских народов сложилась в далекие времена, когда люди не очень умели обособиться от природных явлений, — и потому имя не только указывало на конкретного человека (или иное общественно-значимое явление), но и становилось показателем всеобщего качества, отвечающего за отличие этого человека (или семьи) от других. Уместно вспомнить о первобытном анимизме, о первых шагах цивилизации, о возникновении классовой структуры — осознать которую люди поначалу могли только в старых мыслительных и языковых формах. Это синкретически понятое всеобщее осталось в имени и потом, когда артикли оформились в самостоятельную грамматическую категорию. Достаточно проследить эволюцию имени от первобытного синкретизма к позднейшему синтезу — и мы возвращаемся к универсальной языковой логике. Действительно, собственное имя — это не просто ярлык, упоминание чего-то единичного; имя — это ссылка на всю совокупность признаков, характеризующих это «единичное». Иначе говоря, собственное имя — это указание на какое-то место в мире, или в обществе. Соответственно, имя обозначает именно это, всеобщее отношение к миру, а единичный объект соединяется со всеобщим путем особой операции, именования. В узком контексте, когда класс {*John*} имеет лишь одного представителя (*the John I mean*), появляется иллюзия «неправильного» опущения артикля. Но при обращении к человеку по имени — мы обращаемся на к его единичности, а к представленному им социуму (его общественному положению), и артикль не нужен. Для сравнения:

Pardon me, boy,
Is that the Chattanooga choo choo?
Track twenty-nine.
Boy, you can gimme a shine…

Здесь нарицательное существительное становится именем собственным в том самом, всеобщем контексте. Когда же надо указать на полноценную единичность, или особенность, без артикля уже не обойтись:

Not at all! I mean the Susan next door…
I once knew a Mr. Jones, but not the famous one.

Забавно, что англичане, демонстративно противопоставляющие свой прагматизм заумным экзерсисам классической немецкой философии, задолго до Гегеля воплотили в языке одну из его любимейших триад… Но, в конце концов, и Аристотель не сочинял абы как: он с первых же строк честно признавался, что лишь собирает и систематизирует давно устоявшиеся в языке способы выражения логических универсалий (категорий).

Язык связан с логикой. Но это не менталитет нации, а нечто всеобщее, общечеловеческое и общеразумное, категориальная структура мира. Да, есть и национальный колорит. Однако увидеть его можно только в конкретных проявлениях логических основ. Целостность языка перерастает все эти мелочи жизни, лингвистические случайности, — впрочем, не менее интересные и поучительные (хотя это уже другая история).

Может показаться, что наш очень частный пример — это уж очень по-английски, а в других языках все не так… Действительно, французские артикли, например, живут своей, совсем не английской жизнью. Но логическое единство вовсе не обязано выстраиваться вокруг одной-единственной (пусть даже очень популярной) схемы. Ту же иерархию можно развернуть тысячами очень разных способов, и земных языков (включая искусственные) не хватит, чтобы воплотить все возможности. Мы можем уверенно утверждать, что во всех языках различие и взаимопроникновение единичного, особенного и всеобщего будет представлено — какими-то иными, характерными именно для данного языка средствами. Но если понять, какие логические структуры лежат в основе грамматического строя, мы, с одной стороны, увидим своеобразие каждой нации, а с другой — откроем (возможно) неожиданные стороны единой для всех логики.

Тайна русской фонологии

Произойдет
случайно...
Что остается?
Тайна.
Мерайли

В этом слове истинное таинство. Притаилась внутри: вроде, простая, — а не перелистать; то ли взлетает, то ли перестает; и кажется: вот-вот растает, — но нет, держит на расстоянии, лишь краешком прорастая из тайника… Прикоснемся на миг к высокой поэзии, — повздыхаем, повосхищаемся — и вернемся к обыкновенным, понятным и простым словам.

Есть фонологический факт: *тайный* и *таинственный* — слова разные; а различаются они качеством соединения звуков [а] и [и]. Когда мы в школе делим все на слоги, черточки расставляем примерно так: *тай-ный — та-ин-ствен-ный*. Как по волшебству: то они вместе — то по отдельности. Но высшая мистика начинается, когда мы не полагаемся на школьную премудрость, а начинаем читать стихи — и вслушиваться в живое звучание. Оказывается, никакого расползания по разным слогам и нет вовсе: сочетание [аи] в слове *таинственный* читается слитно, как один звук, — и поэты начали играть ритмами сразу же после того, как силлабо-тоническая система стала официально признанной нормой русского стихосложения:

Душа трудилась неустанно —
И узнала, поняла она,
Что таится в бездне океана,
В чем звезд и сердца глубина…

Сначала вольности стыдливо именовались «видоизменением» (ипостаса, стяжение, анакруза, кретик…); кивали на народные традиции (дольник); потом тов. Маяковский приучил публику к акцентному стиху, с его бесконечно разнообразными ритмическими узорами, — и в наши дни отсутствие чего-то эдакого расценивается как бездарный примитив.

Сухой остаток: судьбоносная встреча гласных [а] и [и] в тексте может кончаться очень по-разному. Иногда звуки сухо поздороваются — и каждый остается сам по себе; в другой раз гласная [а] притягивает к себе последующее [и], отнимает у него самостоятельность, превращает в «недогласную» [й], — но бывает и наоборот: редуцированное [а] (превращенное в [ə]) полностью отдается во власть последующего [и]. По-иностранному это называется «дифтонг»; считается, что в русском языке такого нет, а если и есть — то серьезной науке параллельно.

Правда, иностранные дифтонги тоже не так просты. В тамошней школе дифтонг (и даже трифтонг с эризацией!) идет за один слог — и это соответствует разговорной практике. Но в песнях дифтонги могут-таки разъять на части, когда по музыке так удобнее (если не говорить, конечно, о несокрушимом китайском слоге, единстве звучания и семантики). А присмотревшись к итальянским поэтам, находим еще один тип слияния: две или три гласные подряд (с окружающими согласными) считаются одним слогом — но при этом никто на себя одеяло не перетягивает, каждая гласная сохраняет свое лицо. Возвращаясь в Россию, обнаруживаем подобное и здесь: например, в словах *наименьший* и *наибольший*.

Понятно, что есть и другие примеры. Гласная [у] тоже умеет редуцировать соседей — или самозабвенно прилепиться к ним. Остальные, понятно, не отстают. Начинают закрадываются сомнения: так ли все однозначно с набором гласных русского языка? — нет ли и здесь тайны?

Дискурсивный кульбит — и мы уже в теории музыки… Нам указывают на пианино и вводят в курс: есть двенадцать нот, и все музыкальные звуки (в отличие от шумов) поделены на октавы, в каждой ровно двенадцать ступеней, отстоящих друг от друга на одно и то же музыкальное расстояние (интервал); а что различается на октаву — мы отождествляем. Любую мелодию можно «транспонировать» — перенести вверх или вниз на любое число элементарных ступенек, — и от этого мелодия не перестанет быть собой. Точно так же, аккорд заданной структуры сохраняет качественное своеобразие независимо от того, что мы сделаем его первой нотой. Тов. Бах (Иван Севастьянович) нам это очень художественно доказал.

Наивный вопрос: а почему клавиши разного цвета? Ответ: по историческим причинам. Раньше считали, что объединить вместе можно только семь нот — и если начинать с разных мест, получаются разные тональности, по-разному устроенные. Чтобы соединять в оркестре музыкальные инструменты с разной настройкой, пришлось ввести дополнительные ноты, и приделать к роялю черные клавиши. Но на самом деле все ноты равноправны — и на других инструментах (например, баян) клавиши одинаковые.

Вопрос еще глупее: почему уважаемый тов. Бах написал 24 разных пьесы для иллюстрации возможности сочинения музыки в любой из тональностей? Зачем этот мартышкин труд? Достаточно попросить музыкантов исполнить одну пьесу, начиная от разных нот. Ну, или две — мажорную и минорную. Кстати, а чем одно от другого отличается?

Музыкальный педагог хватается за голову и музыкально матерится — после чего заявляет, что нам не место в музыке, раз мы не понимаем общеизвестных вещей… А если мы родной язык воспринимаем как сплошную загадку — так что же, уже и говорить запрещено?

Если покопаться в истории музыки, с удивлением обнаруживаем, что наши дурацкие вопросы веками кошмарят самых крутых музыкантов, и удовлетворительного ответа нет до сих пор. Почем именно двенадцать нот — и откуда берутся лады, тональности, аккорды? Как это подружить с народной (этнической) музыкой, где роялей отродясь не водится? Можно ли придумать другие наборы нот (звукоряды), чтобы так же красиво, и на слух легло? Как строение музыки связано со строением звукоряда?

Совсем недавно (на фоне музыкальных тысячелетий) в конце этого бездорожья что-то забрезжило. Усилиями нескольких музыкантов, математиков, физиков и психологов удалось построить (не то, чтобы очень) простую, но почти всеобъемлющую теорию, из которой ныне наблюдаемое железно следует, — и предсказаны художественные особенности нескольких недостаточно изученных звукорядов, дальше которых, по-видимому, дело уже и не пойдет.[64] После этого неожиданно выяснилось, что похожие эффекты наблюдаются и в изобразительных искусствах, — хотя ничего похожего на математическую модель музыкального восприятия там и близко нет. Философские соображения ведут к навязчивой идее: в любой человеческой деятельности универсальные механизмы приводят к возникновению похожим образом устроенных дискретных структур (шкал), с возможностью тонкой подстройки интонаций (вариантов реализации) в пределах фиксированной шкалы. А раз так — почему бы не поискать аналоги музыкальных строев в русской фонологии?

С одной стороны, очень удобно: уже есть набор теоретически обоснованных шкал, и достаточно примерить их к языку, выбрать подходящую (или несколько, для разных речевых ситуаций). Но есть риск вместо добросовестного анализа увлечься собственными находками и притягивать за уши примеры, силой запихивать трепещущую материю в формальный гроб. Конечно, если бы удалось обнаружить сходство деятельности — тогда и математика пришлась бы к месту, и выявлять соответствия намного легче. Но, к сожалению, тут как и с графикой: убедительно подтверждаемого родства речевых явлений и музыки предъявить не могу.

Чтобы хоть как-то откреститься от артефактов, придется все-таки идти не от теории, а от языковой обыденности, усматривать скрытые структуры в фонологии, исходя из нее самой. Только потом, задним числом, допускается сопоставить результат (буде таковой появится) с глобальной математикой: если сойдется — хорошо; если не очень — тем хуже для математики.

Сразу предупреждаю: искать фонологические структуры будем безотносительно к реалиям речепорождения. Фонема как культурное явление не сводится к положению органов артикуляции, спектральным характеристикам сигналов или набору условных рефлексов. Наоборот, мы подстраиваем нашу звучащую и слушающую аппаратуру (без разницы, белковую или электрокомпьютерную) таким образом, чтобы звуки получались достаточно характерные, и воспринималось это как последовательность фонем, а не абстрактный вокализ. Обучать детей говорить и слышать родители начинают еще до физиологического рождения, а после — подключаются всевозможные общественные структуры: от масс-медиа до школы и вузов.

[64] L. Avdeev and P. Ivanov, “A Mathematical Model of Scale Perception”. — *Journal of Moscow Physical Society*, v. 3, pp. 331–353 (1993)

Поэтому человеческий мозг (и его компьютерные модели) умеет обслуживать общение. Нужно говорить на иностранном языке — процесс настройки техники начинается заново (хотя и не совсем с нуля, ибо механизмы речи кочуют из одного языка в другой).

Фонология — дело тонкое, и нельзя, вообще говоря, заранее предполагать группировку всевозможных звучаний в сколько-нибудь упорядоченный набор фонем. Если на то пошло, поначалу оно так и кажется: есть хаос точек в каком-то фонологическом пространстве, и группируются они в компактных областях сугубо статистически. В любом языке фонемы — чистая эмпирия. Разделить их на классы и группы можно лишь весьма условно. Традиционные классификации исходят из физики и физиологии — а это как раз не то, чего мы хотим. Отличать одно от другого желательно по культурным признакам, по способу употребления. Очень грубый (и поэтому наглядный) пример: гласные — то, что тянется и создает слог; согласные — все остальное (переходные процессы). Но тогда [м] [н] [л] [р] [с] [ш] запросто могут претендовать на роль гласных! А по большому счету, все вообще согласные можно затянуть и сделать слогообразующими. Чем некоторые языки и пользуются. Несмотря на это, современная культура русскоязычия все же опирается на различие гласных и согласных, и воспитывает именно такое слышание у всех законопослушных членов общества. И наше дело не воевать с мельницами, а понять, почему те или иные шкалы оказываются культурно обусловленными.

Значит, сужаем предметную область: говорить пока будем только о гласных. Возможно, выводы окажутся применимы и к согласным — но с чего-то же надо начать.

Согласно последней описи, в русском языке пять открытых гласных; для определенности, обозначим их [A] [E] [I] [O] [U]. Каждой открытой гласной сопоставляется закрытый аналог, который мы будем обозначать такой же строчной буквой: [a] [e] [i] [o] [u]. Я намеренно не использую русские буквы — чтобы не было ассоциаций с принятой сейчас системой письма, в которой буквы, в зависимости от контекста, могут обозначать очень разные фонемы (или даже их комбинации). Квадратные скобки подчеркивают, что и латинский алфавит имеет к фонологии лишь отдаленное отношение, и даже самые удачные обозначения — не более чем условность. По идее, следовало бы привести энное количество примеров для пояснения обозначений; в расчете на русского читателя, я этот этап опускаю: вспоминаем школьные годы. Замечу только, что закрытое [o] возникает чаще всего при чтении буквы *ё* после согласных, тогда как гласная [i] больше известна в нейотированном варианте.

Разумеется, в окружении других звуков фонемы в какой-то мере меняют качество; здесь континуум вариаций. Есть диалектные и групповые предпочтения. Однако представление о десяти гласных — факт русской культуры, и никакие теоретические баталии не могут его поколебать минимум сотню лет. Несомненно, современная кириллица оказывает влияние на теоретиков, а нормы письменности испытывают влияние модных теорий. Русская орфография пережила несколько реформ — но тенденция к упрощению и отмене лишних букв тоже не случайна: самосознание догоняет сознание. Всякая реформа закрепляет уже сложившийся порядок вещей: это конец пути, а не его начало. На данный момент мы знаем десять гласных — будем исходить из культурной реальности.

Вдумчивый читатель укажет на притаившуюся в рассуждениях ошибочку: гласных-то в русском языке не десять, а больше! Только изображаются они на письме все теми же десятью буквами. Но звучат очень даже по-своему. Пока мы интересуемся исключительно семантикой, нас устраивает и десятибуквенная нотация. А в фонологии так нельзя: тут надо честно огласить весь список — и только тогда вынюхивать закономерности.

Согласен. И возражаю. Гласных много. И все они разные. Но где грань? Одно плавно перетекает в другое, одни слышат больше, чем другие… Откуда нам знать, что вот это изменение приводит к аллофонии — а с виду такое же, но чуток побольше, качественно меняет фонему? Арбитр у нас все тот же: практика. Если народ по жизни употребляет фонемы как одинаковые — они одинаковые, даже если тренированное ухо лингвиста разводит их по берегам пропасти. Задача фонологии — не изобретать фантастически правильные системы, а наблюдать за языковой неправильностью и догадываться, как трудящиеся массы внутри себя звуки раскладывают. Само собой, народу по мелочам рефлексировать незачем: у них дела поважнее. Никто не скажет нам в открытую, что различается, а что нет. Спроси любого — наверняка

ошибется. Не потому, что не понимает, — а просто выразить понятное понятно не всяк научен, и не всякому досуг научиться. Поэтому судить ученый лингвист будет по делам, по факту общения и типовым средствам его развертывания и поддержания.

На этом этапе культурные образования приходится дополнять образованием наблюдателя, и ошибки в интерпретации происходящего никак не исключены. Мало ли, что кому покажется! Тем более, что большой ученый частенько живет и трудится в несколько иных, рафинированных условиях, далеко от повседневной борьбы за кусок хлеба и кров над семьей, — и понять народную душу иной раз просто не в состоянии. Но поскольку я не ученый, и не особенно большой, — попробую все же пополнить коллекцию поводов для размышления.

Всем известно, что в безударном слоге (например, в слове *потолок*) буква *о* читается примерно так же, как буква *а*, и только в некоторых диалектах сохраняется полное звучание [O]. Более того, наряду с оканьем, есть и подчеркнутое произношение слабого [A], в том числе на месте *о* (аканье): *а маманя-та, савсем плаха!* С точки зрения науки, речь идет не просто о чередовании гласных, а о появлении особой фонемы, соединяющей черты звуков [O], [A]; в разном окружении она становится больше похожей на какой-то один из этих звуков — но до конца не сводится ни к одному из них. Различие диалектов — в способах трактовки этой новой целостности, которую мы называем кластером и обозначаем как [(A)].

Закономерный вопрос: объединяются ли в кластер закрытые варианты тех же фонем? Не совсем так. Вместо склеивания [o] и [a] мы наблюдаем склеивание [a] и [e] в кластер [(e)]: *тряпица, притягательный, клянусь* — в нормативной речи звучат примерно как *трепица, притегательный* или *кленусь*. В акающих местностях центр тяжести кластера сдвигается — и мы можем слышать звук [(a)] во всей красе. Точно так же, иностранцы пытаются прочесть «как написано» — и попадают впросак, в другой кластер. Но для наших целей ограничимся нормативным произношением.

Еще один кластер соединяет свойства [i] и [e], но звучит ближе к [i], и мы будем обозначать его по тому же принципу, как [(i)]. Именно так читаются неразличимые в безударных слогах буквы *и, е*: *кривой, слепой*. Спрашиваем наоборот: есть ли открытый аналог кластера [(i)]? Выясняется: есть! Достаточно сравнить: *космонавты — космонавтика, мужика — шарика, стрелы — звери*… Однозначная парочка [(I)] — [(i)].

Еще что-нибудь? Ну, если угодно… Пара кластеров [(U)] — [(u)] проглядывается в сопоставлениях вроде: *вижу — верю, туда — сюда*… Слияние звуков [U], [O] — и [u], [o].

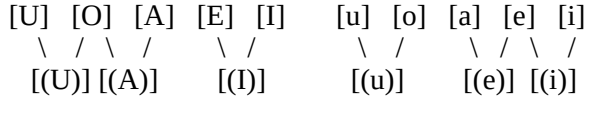
Важный практический вывод: при обсуждении кластеров мы все равно остаемся в рамках стандарта десяти гласных; похоже, это более фундаментальная структура, а кластеры лишь «надстраиваются» над ней. Когда получат «промежуточные» звучание отдельные знаки на письме — тогда возможно говорить об их равноправии. А пока — не пора…

Хорошо, пусть за основу узаконенная десятка. Это приятно: русский язык сближается с европейскими — прежде всего, итальянским. Вопрос на засыпку: существует ли в этом наборе какой-либо естественный порядок? Другими словами, можем мы трактовать различие гласных как исключительно количественное? Или фонемы качественно различны и надо делать их отдельными измерениями фонологического пространства, с количественными градациями внутри каждой по отдельности?

Философский ответ: это зависит. В каких-то отношениях так — в других иначе.

Прекрасно. Допустим так. Тогда как будем расставлять?

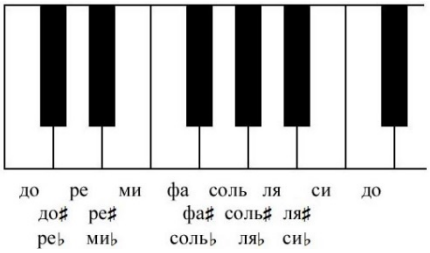
Вот тут на помощь приходят кластеры. Если несколько звуком по жизни склеиваются — значит, они стоят на общей для всех шкале где-то рядом! Элементарное сопоставление дает «естественный» порядок:



В принципе, располагать можно было бы и в зеркальном отражении: от [I] к [U], и от [i] к [u]. Мой выбор, конечно же, субъективен: мне почему-то кажется, что [U] ниже [I]. Возможно, я

заблуждаюсь; но может оказаться, что мое восприятие выражает нечто общее для всех носителей языка, культурно сложившийся стереотип. Можно это проверить экспериментально — а можно оценить логические последствия, и на этом основании судить о верности предпочтений.

Имеющийся материал не дает нам права сравнивать по высоте открытые гласные с закрытыми, и наоборот. Поэтому получаем две «параллельных» шкалы — которые, однако не совсем параллельны: их внутреннее строение различно: *тон—тон—полутон—тон* для открытых гласных, *тон—полутон—тон—тон* для закрытых. Где-то мы это уже видели… Где? А вот здесь:



Мы снова в музыкальном классе, и можно задавать все те же странные вопросы… Только с ответами теперь намного интереснее. Потому что про внутреннее устройство и логику исторического развития звукорядов мы уже многое знаем…

Начать можно с прямого сопоставления наших фонологических структур и клавиатуры фортепиано:

до — ре — ми — фа — соль
U O A E I

соль — ля — си — до — ре
U O A E I

ре — ми — фа — соль — ля
u o a e i

ля — си — до — ре — ми
u o a e i

С одной стороны, становится понятно, откуда растут ноги у традиционной фонологии. Классическая диатоника, фундамент европейского музыкального мышления на протяжении пары тысячелетий. Вполне ожидаемо, что в эпоху господства «хорошо темперированного» строя фонологическое сознание не отстает, и встраивает в диатонику альтерированные ступени (кластеры), в полном соответствии с нормами 12-тонового звукоряда. Однако изначально ожидалось нечто вроде полного набора ступеней в пределах октавы — а вместо этого несколько пересекающихся квинтовых диапазонов, и особой роли октавы (как в музыке) совершенно не просматривается…

По зрелом размышлении начинаешь думать: может быть, это и правильно? Материал музыки и речи очень различен, и какие-то особенности в образовании фонологических шкал быть должны. Диапазон музыкальных звуков намного шире — и там октавные удвоения в порядке вещей. Речь гораздо «камернее», приземленнее; она по долгу службы должна быть доступна всем, а не горстке талантов. Выработать октавную масштабность в таких условиях — из области фантастики.[65] Но и в музыке октава далеко не сразу стала осознанной нормой. Например, даже после того, как диатонические ладовые системы сложились в античной музыке, весь набор доступных тонов долгое время делили на тетрахорды (квартовые структуры), и заполняли октаву набором пересекающихся тетрахордов[66] — в точности как у нас обстоит дело с фонемами (разбитыми, правда, на отрезки не из четырех, а из пяти ступеней, что по аналогии можно было бы назвать «пентахордами»; в теории музыки такой термин тоже встречается, в том же значении). Лад как последовательность семи нот в пределах октавы — это достижение средневековья, унаследованное последующими поколениями профессиональных музыкантов.

[65] Кстати, при описании графических шкал мы тоже ограничены плоскостью (визуальным планом) — и с октавами тут тоже не все гладко. Возможно, опыт фонологии поможет разобраться и с тонкостями графического мышления.

[66] Е. Герцман, «Античная функциональная теория лада». — *Проблемы музыкальной науки*, вып. 5 (1983), с. 202–223.

При этом в народной музыке продолжали господствовать попевочные системы, и думал народ на масштабными конструкциями, а коллекциями типовыми блоков.

Известно, что в музыке чистая квинта — это своего рода переход от одного певческого регистра в другой; именно качеством квинт отличается хорошо поставленный голос от всяческой самодеятельности. Вполне логично, что квинта ограничивает диапазон гласных в языке: пока мы остаемся в пределах одного регистра, освоение фонологической системы не требует героических усилий от народных масс. Переход от открытого произношения к закрытому в этом контексте вполне аналогичен регистровым различиям музыкальных инструментов, для которых даже ноты записывают по разному, со сдвигом вверх или вниз (скрипичный ключ, басовый ключ, ключ «до» и т. п.). В практике игры на гитаре ту же роль играют специальные накладки на гриф, которые зажимают струны на определенном ладу — и тем самым меняют регистр инструмента, позволяя единообразно (не меняя аппликатур) исполнять музыку в разных тональностях.

Тут уместно вспомнить и о физиологии речи. Без всякого умысла, мы получили весьма примечательный факт: гласные упорядочены в точном соответствии со способом артикуляции. Действительно, эмпирическое наблюдение показывает, что русские гласные произносятся практически без участия языка, губами. В этом отличие русского языка от французского — где важно еще и положение (передние — задние), и носовой оттенок… Если теперь проследить за конфигурацией губ при движении вдоль полученной теоретической последовательности, мы видим плавную траекторию от полной огубленности, через нейтральное положение, к сильной растяжке. Такие совпадения случайными не бывают…

Поскольку мы (с учетом кластеров) обнаруживаем вполне сложившийся «звукоряд» из двенадцати тонов, логично допустить, что какие-то из свойств музыкальной шкалы проявят себя и в фонологии. Теория предсказывает, что всякая шкала имеет какие-то подструктуры, которые не случайны, а определяются культурой восприятия. В частности, для 12-тоновой системы возможные «вложения» могут состоять из семи (диатоника), пяти (пентатоника) или трех звуков (трезвучие). Впрочем, это мы знали и без вычислений: есть белые клавиши (ровно семь штук на октаву), черные клавиши (как раз пять) — и есть всевозможные «аккорды», задействующие как белые, так и черные клавиши. Как все это применить в науке о языке — тайна.

По части тональностей и пентатоники — можно поспрашивать поэтов. Сразу видно, что открытые гласные обрисовывают мажор, а закрытые — минор. Тогда всякая речевая интонация может опираться на характерную последовательность открытых и закрытых гласных, с намеком на один из хорошо изученных музыкальных ладов. Древние греки частенько прилаживали тетрахорды к инструментам, перенося (транспонируя) их вверх или вниз на несколько ступеней. Понятно, что в исходную настройку это уже не вписывалось — и звуки «полной и неизменной системы» приходилось менять, в соответствии со строением лада. Сразу вспоминаем про взаимную адаптацию фонем — и делаем выводы.

Старинная музыка (подобно речи) развертывалась главным образом во времени: мелодия превыше всего. Гармонический слух развивался очень постепенно, — и у широких масс он даже сейчас в зачаточном состоянии. Можно играть в угадывание мелодий — угадывать музыку по аккордам намного сложнее. При одновременном исполнении, меньше всего противоречат друг другу тона, отстоящие друг от друга на интервал октавы и квинты. Поначалу старались этим и ограничиваться. Для современного музыканта квинта — вообще не гармония, а сплошная пустота. Это пережиток тысячелетий, прожитых под знаком чистой квинты, тяжелой наследие Пифагора… Сейчас известны строи, в которых квинта звучит иначе: мягко и насыщенно. Такие квинты кое-где используют в народной музыке и на эстраде; классика пока от комментариев воздерживается.

Трезвучие соединяет интервалы квинты и терции. От этой просто операции в музыке все переменилось: битвы были нешуточные — и в конечном итоге «придумали» 12-тоновую систему как (почти) всех устроивший компромисс. Конечно, музыкальных гениев оно устроить никак не могло; они изначально относились к такой уравниловке скептически — и до сих пор изобретают что-то совсем не такое… Но мы люди простые — нам бы в русской фонологии как-нибудь.

В быту наша речь не балует многоголосием. Сначала один звук, потом другой. Чтобы реально заметить аккорд, надо изобрести другой речевой инструмент. Не то, чтобы это было

совсем невозможно: компьютерный прогресс понемногу приучает нас к мультимедийности, и зачатки гештальтного восприятия текста (чтение «по диагонали») развиваются в способность распознавать скрытые структуры. Если еще искусственный интеллект подсобит — научимся. Вспомним, что в современной музыке композитор не обязан предъявлять аккорды в явном виде, в одновременном исполнении: достаточно наметить характерную последовательность нот, чтобы (достаточно грамотный) слушатель склеил их в восприятии и узнал притаившуюся в мелодии гармонию. Нечто похожее возможно и в речи. Если как следует покопаться в текстах (особенно художественных), набрать достаточное количество примеров — перспектива очень даже реальная. Но это тема для специального трактата. А пока вернемся к началу беседы, вспомним о таинстве случайных встреч.

Встречаются две гласные, и что-то между ними происходит — или не происходит. Что и когда? Почему-то мы иногда воспринимаем такие встречи как соединение — а в другой раз как противопоставление. Даже если нет в русском языке дифтонгов по паспорту, взаимная притирка и метрическое стяжение — безусловный факт. На полях ставим галочку: среди согласных такое бывает не реже; но дифтонгами это никто никогда не называет…

Дифтонги чем-то похожи на кластеры: и то, и другое воспринимается как объединение нескольких фонем. Однако, в отличие от втиснутых в мгновение кластеров, в дифтонгах такое соединение происходит внешним образом, как заметное движение внутри целого (ср. слоги китайского языка: целая поэма в одном иероглифе). Но: движение именно внутри! Стоит акцентировать различия — и дифтонг распадается на последовательность гласных.

С точки зрения математической теории шкал, речь идет о настройке человеческого (то есть, культурно обусловленного) восприятия на различение деталей определенного масштаба: когда различия не выходят за пределы допустимого — это целостное образование, дифтонг. Поскольку у нас имеется приблизительное сопоставление гласных русского языка ступеням музыкального строя, можно попробовать выписать нотные аналоги сочетаний гласных в речи:

[(A)i]	*таинственный*	си♭ — ля
[U(i)]	*дует*	соль — ля♭
[O(i)]	*свой*	ля — соль♯
[(A)i]	*свои*	си♭ — ля
[i(i)]	*синий*	ля — соль♯
[e(i)]	*теплей*	соль — ля♭
[(u)A]	*нюанс*	ля♯ — си
[(i)O]	*белье*	соль♯ — ля
[(A)i]	*строитель*	си♭ — ля
[O(i)]	*воин*	ля♭ — соль
[(i)O]	*неон*	соль♯ — ля
[(A)i]	*наивный*	си♭ — ля
[e(i)]	*клеить*	соль — ля♭
[(A)e]	*настроение*	си♭ — соль / ми♭ — соль
[(A)(i)]	*боевой*	си♭ — ля♭
[(A)(i)]	*наибольший*	си♭ — ля♭

Для сравнения:

[(U)A]	*тротуар, дуальный*	до♯ — ми
[(i)(A)]	*леопард, неофит*	соль♯ — ля♯ / ми♭ — си♭
[(A)E]	*поэтический, маэстро*	ре♯ — фа

Что можно отсюда усмотреть? Простую вещь: когда мы воспринимаем соседние гласные как почти сливающиеся, музыкальный интервал между ними составляет только одну ступень — это ближайшие соседи по фонологическому «звукоряду». В тональной музыке это называется

вводным полутоном: один звук сильно «тяготеет» к другому и «разрешается» в него. Чуть больше — и мы слышим только последовательность гласных, без взаимных претензий. Понятно, почему мы норовим разрезать французский дифтонг [ua] на отдельные слоги: французы иначе упорядочивают гласные, и у них соседями могут оказаться звуки, для русского четко разделенные. Если мы захотим произнести по-французски, у нас получится нечто вроде [(O)A], соответствующее вводному полутону ре♯ — ми.

Важный вывод: русский язык достаточно продвинут в фонологическом отношении и четко различает ступени 12-тоновой системы. Наличие вводного тона — характерная особенность этого строя. При менее детализированном восприятии возникают другие шкалы. Отсутствие дифтонгов в русском языке — следствие его фонологического строения: вводный полутон — это всегда мелодический ход, и потому на стыке гласных обязательно присутствует невидимый барьер, незаметное придыхание, которое в лингвистике называется «шва». Следовательно, русский слог всегда оказывается парой согласная + гласная, и других вариантов нет! Это весьма нетривиальный результат, к которому не все сразу привыкнут. Обсуждение сопутствующих обстоятельств — как-нибудь в другой раз.

Что остается? Тайна. Посмотрим еще одну табличку:

[e(i)]	*сильней*	соль — ля♭
[eE] → [e(A)]	*сильнее*	соль — фа → соль — си♭
[A(i)]	*тайна*	ми — соль♯

В первой строке мы видим вводный полутон — и чувствуем склейку соседних гласных, что кириллица незамедлительно отражает в графике. Попробуем теперь не редуцировать окончание (вторая строка таблицы). В реальности мы все равно заменим безударную гласную кластером — но это уже будет другая нота, далеко отстоящая от первой. То есть, сначала гласные у нас расползаются в восприятии — а потом начинают звучать как одна, удлиненная фонема! Музыка подсказывает: мы слышим малую терцию. Основу минорной гармонии. Остается только заметить, что в слове *тайна* отчетливо прослушивается большая терция; а вместе с (отделенной лишь носовым оттенком) последующей гласной [A] (из другого пентахорда) — полное мажорное трезвучие.

Звук и звучание

Когда звуковой строй языков юго-восточной Азии начали подгонять под европейские мерки (следуя «международным» стандартам), тоны слогов ничтоже сумняшеся отнесли к области фонологии, и начались бурные дискуссии о том, как именно их следует трактовать и где пристроить среди прочих «фонем». Напрямую это в зоопарк МФА не вписывалось. Ортодоксы заявляли, что тоны относятся только к гласным, и все варианты интонирования предлагали считать разными фонемами. Возражения насчет возможности тонов там, где вообще нет никаких гласных нет (вроде отрицания *m* в чжуанском языке), выглядят бледно — поскольку многие согласные по жизни запросто становятся слогообразующими, и тем самым эффективно играют роль гласных, так что навесить на них тон — без проблем. Где нечто звучит сколько-нибудь продолжительное время — есть место для тоновых вариаций. Тут, правда, приходится отвечать на ехидные вопросы о дифтонгах и трифтонгах, которые расчленять на фонемы не совсем корректно, и определить место приложения тона проблематично (что и нашло отражение в правилах официальной китайской латиницы: знак тона ставят над гласной, которая «звучит сильней»). Если еще и сочетания фонем делать фонемами, да еще с разными тоновыми вариантами, — никакой разумный алфавит такое не вместит. С другой стороны, легко видеть, что слог, образованный по типу CV (согласная + гласная), ничем по сути не отличается от дифтонга (у которого второй элемент «сильнее» первого), а слоги CVC вполне сойдут за трифтонги. Не надо долго искать ситуации с преобладанием в таком комплексе именно согласного: взять хотя бы мягкие согласные в конце русских слов, или сильно редуцированные

окончания в арабском языке. Следуя принципу размножения сущностей, мы рискуем совершенно растворить фонетический алфавит в море сколь угодно своеобразных вариаций.

Чтобы сохранить обозримость системы, оставаясь в поле фонологии, предложен компромисс: давайте считать тоны особыми фонемами, которые могут входить в состав слога — а могут и не входить (так называемый «нейтральный» тон). Тогда, вроде бы, соблюдена некая классичность: слог есть последовательность фонем, одной из которых может быть тон. По этому пути пошли многие китайские языковеды — им так проще. При этом чудесным образом спасена идея о смыслоразличительной роли фонем: замена тона меняет семантику целого. Но и здесь свои заморочки. Тон как фонема совершенно не вписывается в традиционно физиологическую схему МФА, где положение органов артикуляции смакуют во всех деталях, превращая живую речь в подобие сексуальных упражнений из Кама-сутры. Изобразить тоны можно при любой артикуляции — и даже при полном ее отсутствии. Например, в некоторых учебниках китайского языка призывают поработать клавишами фортепиано.

Выкрутиться из тесного неудобия возможно. Например, давайте считать фонемами не сами тоны, а относительные уровни фонации: верхний, нижний и средний; тогда переходы между уровнями (собственно тоны) естественно ассоциируются с дифтонгами и трифтонгами; заодно и японский язык (с двумя базовыми уровнями) подводится под единый принцип, и возникает теоретическая возможность описывать языки с более сложными системами уровней и тонов. Разумеется, уровни будут нечеткими, «размазанными» по высоте: как и во всех других случаях, это зонная структура. Но сам факт формирования таких структур в звуковысотной динамике хорошо подтвержден: есть музыка.

С другой стороны, если мы согласились включить тоны в последовательность фонем, — в какое, собственно, место последовательности их приткнуть? Вопрос риторический. Нет ни одного подходящего места. Даже если представить тон как переход между высотными уровнями, и согласиться, что положения этих уровней следует распределить по слогу, явно указывая, какой его элемент произносится выше, а какой ниже, — это по виду не введение дополнительных компонент, а огласовка уже имеющихся. Могут возразить, что такого рода явления широко известны во многих языках, и на этом стоит, например, арабская письменность. Вероятно, за сходством что-то стоит, и («неустойчивые») гласные арабского (или персидского) языка можно (в каком-то контексте) считать тональными вариантами предшествующих согласных. Однако тогда придется допустить, что и любой слог вообще, и любая относительно замкнутая фонологическая структура, — это комплекс фонем разного типа, часть которых связана с техникой артикуляции (то есть, с положением и динамикой формант), а часть — с вариациями просодики (и в частности, высоты звучания). Спрашивается: а зачем тогда вообще валить все в одну кучу? Не разумнее было бы допустить сосуществование (и взаимодействие) разных сторон речепорождения, каждую из которых следовало бы изучать в соответствии ее собственной организацией? Пусть наша речь окажется не топорной грамматикой, а тонкой игрой тенденций. Непроходимой пропасти между различными уровнями действительности нет, и одно может переходить в другое при соответствующих условиях. В ходе исторического развития каждый язык отбирает свойственные именно ему выразительные движения, и можно задумываться, почему тот или иной народ развертывает иерархию возможностей именно так.

Мешает старый фонологический предрассудок о фонемах как минимальных единицах смысла: предполагается, что их этих «атомов» мы собираем «молекулы» разной сложности (морфемы и слова), из которых в конечном итоге и состоит ткань любого речения… То есть, у языка есть одна-единственная структура, которую нам и предстоит в конечном итоге открыть и описать — и на этом познание закончится. То, что язык может быть переплетением очень разных (но равно значимых) структур, выходит за рамки строгой научности. В лучшем случае, допускается присутствие вариаций все той же, «главной» темы — а тема эта при ближайшем рассмотрении оказывается уныло когнитивистской: назначение языка — обмен информацией, фиксация законов бытия. Понятно, что если ограничить язык одной лишь номенклатурой (как все называется), то и теория языка дальше таксономии не пойдет.

Тоны пытаются причислить к лику фонем по одному лишь поверхностному признаку: способность разводить в речи разные значения. Но, положа руку на сердце, мы обязаны признать,

что ни тоны, ни традиционные фонемы таковой способностью от рождения не обладают, а появляется она только при использовании всего этого хозяйства определенным образом, в контексте конкретной культуры. Замена одной фонемы на другую вовсе не обязана менять слово. Например, индивидуальные и диалектные варианты произношения сосуществуют в рамках одного языка, и его носители понимают друг друга независимо от «оканья» или «аканья», твердого или мягкого произношения, назальности или гортанности… Вспомним об оглушении или озвончении согласных в русском и немецком языках на стыках слов: фонема реально меняется, а семантика этого просто не замечает. В немецком языке еще и абляут… Когда же мы начинаем вживую разговаривать, речевая редукция или смысловое выделение качественно меняют набор фонем, сокращая или расширяя его, перекраивая звуки самым невероятным образом (вплоть до пародийного перехода к фонологическим структурам других языков). И ничего — никого это не смущает.

Точно так же, тон далеко не всегда служит показателем значения. Известно, что, в зависимости от окружения, тон слога может меняться — без изменения значения. Существуют региональные и исторические вариации тонов. И наоборот, один и тот же слог, произнесенный одним и тем же тоном, может означать очень разные вещи — даже если обозначить это таким же письменным знаком. Разумеется, речь не только о китайском языке: европейцы или семиты ничем принципиально от китайцев не отличаются.

Спрашивается: а о чем тогда речь? Может быть, и обсуждать нечего?

Интуиция возражает: пусть даже с кучей оговорок, все языки конструируют что-то из дискретных элементов, и есть подозрение, что фонологические единицы — не совсем то же самое, что единицы просодии. Значит, надо искать тот уровень, на котором целое расщепляется на противоположности — и где потом утраченная было целостность восстанавливается.

Стоит помянуть какое угодно единство — и мы тут же попадаем в область философии. Это ее хлеб, ее предназначение. Философия, собственно, и есть учение о единстве мира. Поскольку же любой, сколь угодно крошечный кусочек единого мира отражает мир целиком (иначе мир не был бы в полной мере целостным), философия любой из бесчисленных сторон природы или человеческой деятельности выражает ее единство при помощи тех же категорий и категориальных схем, наполняя их особым предметным содержанием.

Возьмем что попроще: диалектика меры. Из старшего поколения кое-кто, возможно, еще помнит про переходы количества в качество, и наоборот. В самых общих чертах, любой набор ингредиентов можно иногда (философия говорит: всегда!) условно разделить на «основные» и «вспомогательные»: то, без чего блюдо точно не получится, — и то, что лишь придает ему пикантное своеобразие. Как в музыке: есть ноты — и есть нюансы исполнения и разнообразнейшие приемы аранжировки. Понятно, что одно без другого не ходит: нельзя прочесть отсутствующий текст — и нет текста безотносительно к тому или иному способу прочтения. Когда эти две стороны, качество и количество, искусственно разделяют и рассматривают поодиночке, они становятся абстракциями, — то есть теряют исходное качество и относятся уже не к своему предмету, а к способам его употребления. Надстраивать уровни отвлеченности можно сколько угодно; человеку по жизни это быстро надоедает, и дальше абстракций второго-третьего порядка никто не идет. Нам важен сам факт: любое различие возможно лишь по отношению к чему-то целому, только в определенной мере. Например, для выпечки нужны мука, яйца, сахар, соль, сливки, масло и т. д. Из хороших продуктов по любому получится что-нибудь съедобное — и, если стоит задача просто побаловать себя чем-то эдаким, можно не заморачиваться насчет точных пропорций, которые в таком случае сводятся к несущественным количественным различиям. Однако если требуется приготовить не что-то вообще, а нечто вполне определенное, — требуется определенное количество исходников, и смешивать их надо не абы как, а по технологии. Такое определенное количество напрямую связано с качеством изделия — оно играет роль качества на этом уровне кулинарного дела. Однако, при соблюдении основных пропорций, вполне возможны всяческие отклонения от базового рецепта («соль по вкусу»): появляется еще один уровень количественных различий — поскольку вариации в разумных пределах не влияют на качественную определенность: бисквит, песочный торт, пирог… Когда же производство выходит на индустриальный уровень, надо

загонять произвол в еще более узкие рамки, соблюсти стандарт; но даже серийное производство не свободно от игры судеб, там есть свои «допуски и посадки».

В отношении наших языковых изысканий, можно из этого извлечь пару немаловажных выводов. Во-первых, чтобы нечто могло играть роль языка, оно должно состоять из некоторых качественно определенных компонент; способы их практической реализации и соединения одних с другими характеризуют количественную сторону языка, его «лингвистический объем». С другой стороны, каждая из базовых определенностей допускает континуум внутренних различий, форм одного и того же, в равной мере допустимых в живом общении. Внутри этих зон изменчивости существуют свои качественные и количественные различия, которые вполне могут выйти на первый план (на верхний уровень иерархии) при каких-то общекультурных или межличностных обстоятельствах.

Понятно, что разные формы бытования языка порождают различные иерархии качественной и количественной определенности. Есть устная и письменная речь, а внутри них уровни формального и неформального общения; язык как коллективный опыт — и язык как творческая фантазия. Уровни материализации языка охватывают диапазон от колебаний воздуха или электромагнитных полей, от глиняных табличек или испачканной бумаги, — до физиологии высшей нервной деятельности или памятников мировой культуры.

Если обратиться к слышимой речи, мы приходим к необходимости и неизбежности выделения и типичных артикуляций, и основных тонов, — и еще много других шкал, связанных с разными сторонами речепорождения (включая технику звукозаписи и компьютерный синтез). Однако формирование таких дискретных наборов есть прерогатива каждого народа, а вовсе не академическое предписание для всех и на все времена. Нет никакого «международного» фонетического алфавита — но есть звуковой строй реального языка, и подходящие способы его фиксации рождаются внутри этого языка, а не привносятся из-за бугра.

Тогда вопрос: все ли звуковые явления равноправны? Нет ли в языковой природе каких-то «выделенных» шкал, которые так или иначе будут представлены в каждом языке? — ну, может быть кроме очень экзотических…

На ум тут же приходят пространство и время как всеобщие формы любого движения. Заманчивая параллель: фонология занимается «пространственной» организацией звуков речи, описывает диапазон возможностей, — тогда как временные характеристики относятся к ведению другой науки, просодики. С одной стороны, фонемы как характерные звучания; с другой — интонации в последовательности фонем.

Но не все так прямолинейно. Не будем забывать об обращении иерархий, о переходе количества в качество, и обратно. Возьмем, например, такой, казалось бы, сугубо динамический аспект говорения как приступ. После паузы можно начинать активно и энергично — а можно без амплитудных всплесков; твердо и уверенно — или мягко и плавно. Но во многих языках этот переходный процесс связывают с качеством фонем; так возникают различия твердых и мягких согласных, тонкого и густого придыхания, различных спирантов и т. д. Фонетическое письмо обозначает эти различия особыми знаками. Но те же языки допускают вариации формы приступа в качестве эмоциональной интонации: по-русски, «рррразрази меня грром!» звучит совсем не так, как «рады вас видеть», а «кказёл!» — вовсе не «козлик».

Исходить в языкознании из природных свойств — выбросить за борт самое главное, общественно-культурную функцию языка. Всякое языковое явление возникает в качестве отклика на общественную потребность, соотносится с культурно-обусловленными формами деятельности. Где нет гнева — нет гневных интонаций; где не различают свое и чужое — не нужны личные формы глаголов и имен. Мы пока не можем проследить, как складывались фонетические структуры в естественных языках; но увязка с какими-то характерными для той эпохи деятельностями однозначно будет, другого пути нет. Можно сослаться на генотип, на предпочтительность каких-то движений в каждой (относительно изолированной) популяции предшественников человека… Но формы человеческого тела — это уже не совсем природные формы, они складываются вместе с коллективными формами труда. Такое целесообразное, направленное развитие тела в человеческом обществе начинает преобладать над стихией биологической эволюции; поскольку же тело человека разумного не сводится только к его

животной оболочке, а включает также общественно освоенные орудия («неорганическое тело»), выводить звуковую оболочку языка из узко-телесных предпосылок было бы, мягко выражаясь, некорректно. Опыт показывает: при всем различии внешних данных, каждый человек способен научиться чему угодно. Губы иного негра никакой силой не вытянуть в нормализованную артикуляцию от Щербы — но по-французски он говорит легко и непринужденно, а среди ведущих французского телевидения собственно французов уже и не найти: сплошь выходцы из Африки, Азии, Полинезии — и именно они лепят теперь облик французской фонологии.

Тем не менее, пространственно-временная аналогия во многих случаях прекрасно работает, и можно взять ее за основу, на первых порах, чтобы разобраться в сложных взаимоотношениях фонем и тонов. Но если мы обзовем пространство и время универсальными атрибутами движения, сие никоим образом не означает, что на всех уровнях движения они будут выглядеть одинаково. В частности, форма собственно человеческой рефлексии — деятельность, а потому и пространственно-временные структуры в наших творениях всегда опосредованы пространственно-временной организацией деятельности.

На примитивно-бытовом уровне — все просто. Наши органы чувств вырезают из каждого природного сигнала очень узкую полосочку — и нам этого хватает, чтобы общаться по поводу или вещать в пустоту. Из всего диапазона электромагнитных волн — мы ограничиваемся кусочком спектра в несколько сот нанометров; повседневная речь укладывается в интервал музыкальной квинты — но даже музыка не достреливает до частот выше восьми килогерц, отбрасывая также значительную часть низких частот. И так везде. Человеческое общество вырастало из того, что отпущено природой, — и физиологическая ограниченность проникает в культурные предписания, преодолевать которые — сплошные трагедии!

Но разум в перцептивный ящик не посадить — так и прет во всех направлениях. Для работы с недоступными областями спектра изобрели хитрые приборы. Мы умеем останавливать мгновение и ускорять ход часов: приведение к оптическому диапазону позволяет видеть электромагнитные волны любых частот; точно так же мы способны услышать вибрации молекул или бесконечно ленивое пение межгалактического газа. Не говоря уже о преобразовании звука в свет и наоборот. Дошло до того, что визуализации (или фонации) поддаются даже абстрактные понятия! С одной стороны, это выбивает опору из-под дрожащих лапок нормативной фонологии, с последующей смертью от асфиксии; но подлинная фонология тут же воскресает и радуется жизни — поскольку, как выясняется, ее принципы предельно универсальны!

Возвращаясь к истокам, прислушаемся пока к обычным колебаниям обычного воздуха. Физиология высшей нервной деятельности учит нас, что для восприятия разных масштабов существуют специализированные мозговые механизмы. Понятно, что формируются они по мере практического освоения какой-то части первобытного мира, и не организм определяет характер деятельности, а наоборот, деятельность заставляет органику шевелиться несвойственным ей от природы образом. Однако сейчас разговор о другом. Важен сам факт разбиения слышимых звуков на несколько высотных диапазонов, которые с точки зрения физиологии совершенно различны — хотя, вроде бы, физика процесса та же самая. Поэтому конкретное звучание нам представляется переплетением нескольких процессов — да еще и с добавлением прочих раздражителей: световых, обонятельных, тактильных… Все это вместе и называется: речь. Поэтому, когда мы слушаем голос в технической аранжировке (звукозапись, радио, телефон) — это уже воспринимается не как речь в собственном смысле слова, а как один из способов частичной фиксации и воспроизведения: мы воображаем себе кого-то там, за всеми этими железками, кто говорит по-человечески, со всеми подобающими телодвижениями. Сколь угодно точная симуляция одной из компонент не дает чувства целого.

Точно так же, письменная речь представляется лишь суррогатом, заместителем живого общения; мало кто из людей способен полностью отрешиться от мира… Офисного работника тяготит удаленка, фанаты рвутся на живой концерт рок-звезды (хотя все, что они там слышат, — та же рычащая электроника, в качестве куда ниже хорошего винила).

Время идет, и люди меняются. Драма из театрального действа вырастает в род литературы, поэзия становится исключительно книжной (или сетевой)… Вместо жизни — компьютерные игры, «расширенная реальность». С соответственно зауженным звуком. Академическая

фонология как раз и возникает по ходу перерастания речи как общения в речь как текст. Современному человеку часто уже и не надо ничего кроме звуков разных частот — да и звуки-то уже не особенно нужны. Однако выстроенная когда-то давно иерархия восприятия продолжает работать. Да, это рудимент (или атавизм). Но это факт нашего бытия, с которым приходится считаться даже компьютеру.

Соответственно, что мы имеем? Звучание речи (уже неважно, живой или синтетической) характеризуется высотой, тембром и динамикой. Каждый из этих элементов может стать формой языка. Например, высота звука, как правило, не относится к теме: высокий женский голос нам так же понятен как и густой бас. Это как одна радиопередача на длинных, средних или коротких волнах. Однако намеренное изменение высоты звучания используется на каждом шагу для подчеркивания характерных интонаций — и когда мы передаем речь других, мы невольно проставляем такие речевые кавычки, отделяем чужое от своего. Мелкомасштабные непрерывные изменения — основной прием для превращения нейтральной фразы в утверждение, вопрос или восклицание.

Собственно музыкальный тембр голоса также ничего не меняет по существу. Даже в музыке существуют равно выразительные, но совершенно не похожие одна на другую аранжировки. Но у человека есть специальный физиологический аппарат для различения той части тембровых особенностей, которая отвечает за восприятие речи, различение фонем (или иных фонологических блоков, в зависимости от языка). Набор специализированных фильтров. Вроде трех групп рецепторов для восприятия цвета. Разумеется, одно всегда зависит от другого, и возможные «ортогональные» представления существуют лишь в абстракции. Но нам вполне достаточно того, что на выходе получаются достаточно (для данной конкретной деятельности) определенные, устойчивые и узнаваемые комбинации, речевые элементы, которые мы потом вторичным образом комбинируем в речевые конструкции (слоги, слова, синтагмы).

Третий кит речи — фонодинамика. Опять же, основная масса низкочастотных вариаций звука не относится к собственно речению: темп, ритм, опора… Лишь в каком-то контексте такие особенности несут смысловую нагрузку. В речи нам важны относительно быстрые изменения, которые, тем не менее, не попадают в звуковысотный и тембровый диапазон и воспринимаются как внутреннее строение фонологической единицы, способ ее аранжировки. Вот этим и занимается просодия.

Поскольку все это построено на одной и той же физике, разные перцептивные аппараты могут (и будут) срабатывать одновременно, порождая всяческие иллюзии. Очень высокий голос может нарушить тембровое (фонологическое) восприятие; слишком быстрые динамические эффекты приводят к тому же самому с другого конца. В определенном акустическом окружении возникают отчетливо слышимые низкочастотные биения, воспринимаемые как модуляция, просодика. Тем не менее, исторический опыт почти всегда позволяет распутать клубок и разложить разные аспекты речи по правильным полочкам. Но есть один принципиальный момент, который не поддается формализации и показывает существенно культурный характер восприятия речи. Во многих языках есть звуки, представляющие собой быстрый переходный процесс: губные, взрывные, щелкающие и т. д. От просодических интонаций они отличаются только скоростью развертывания. С другой стороны, некоторые просодии вполне можно соотнести с такими же переходами, но чуть больше растянутыми во времени: например, спиранты. Кроме того, эмоциональная речь иногда спрессовывает интонации, делает их неотличимыми от быстрой динамики: на кого-то рявкнуть, огрызнуться, презрительно хмыкнуть… Люди научились это понимать, вопреки собственно физическим параметрам звучания; в этом им помогает контекст общения, знание культурных реалий.

Итак, в ходе практического общения, взаимодействия в совместной деятельности, у людей выработались разные физиологические механизмы для восприятия разных сторон речевого звука. Фонология и просодия — разные стороны одного и того же; мы долго учились их различать — и смешивать одно с другим не рекомендуется. Но развитие языка на этом не останавливается! Как и с любыми другими физиологическими механизмами, культурная составляющая начинает со временем перевешивать, и мы перестаем различать звуки и звучания в контексте общения, предполагаемого ситуацией. Как бы ни говорил собеседник, у нас есть

взаимопонимание насчет того, что может быть сказано, и что следует услышать. Ни жуткий иностранный акцент, ни огромное количество китайских омофонов, — не помешают разделять смыслы, разговаривать и понимать друг друга. Кроме особых, лабораторных условий — когда нет опоры на совместное действо и его материальные аксессуары. Когда мы ошибаемся с тоном в китайском языке — китайцы воспринимают это именно как ошибку, и снисходительно прощают нам нашу неопытность, разве что сделав иногда полезное замечание. В Европе и в Америке посетители китайских заведений произносят названия блюд кто во что горазд — однако хозяева прекрасно понимают, чем именно граждане собираются почифанить. Только дикари не умеют слышать собеседника, а не одни лишь звуки его голоса. Однажды в Париже попросил в забегаловке пиццу — и произнес это слово именно как [пицца], на итальянский манер (pizza). Напыщенная восточного вида дамочка за прилавком меня высокомерно поправила: надо говорить [piza], с ударением на последний слог! Без проблем: пусть сама кушает свою пизу, а мы будем есть пиццу в другом месте, где нас сколько-нибудь уважают…

Следующий уровень языкового развития по видимости возвращает нас к фонологии и просодии: в искусстве звучание живой речи используется в самых разных целях, и в том числе для создания новых смыслов. Однако поэтическая речь использует исторически сложившуюся пластику весьма своеобразно, в рамках индивидуальной системы выразительных средств; никто другой так не говорит, нормативность — смерть искусства. И тем не менее, мы неплохо понимаем стихи, и можем оценить тонкую звукопись или намеренную небрежность. Как такое возможно? Да потому что опирается творчески переработанная фонология и просодия на осознание реальной языковой общности: не бывает индивидуальных отклонений там, где не от чего отклоняться.

Письменность — важнейший механизм культурного закрепления речевых систем. Разумеется, письменная речь возникает отнюдь не для того, у нее своя культурная ниша. Однако возможность представить звук без звука — решительно раздвигает границы собственно речевых возможностей. Точно так же, как приведение недоступных восприятию волн к оптическому и акустическому диапазону человеческой органики. Переводя нечто в другую материальную форму, мы как бы отталкиваем это от себя, чтобы посмотреть со стороны и решить, что делать дальше. Потом можно вернутся к прежнему — но на совершенно ином уровне, и для других дел. Та же поэзия — уходит от звука в графику, но визуальное восприятие отзывается новыми, узорными созвучиями. Точно так же, как в музыке развитие нотной записи способствовало становлению гармонических представлений, ранее скрытых за традицией голосоведения.

Дискретность просодий и фонологических систем в этом контексте напрямую увязывается со строением деятельности. Точно так же, можно было бы говорить о дискретности жестов, лицевой мимики, выражения глаз — и даже формы прически! Можно уверенно утверждать, что и здесь есть своя иерархия культурных форм, и прирастает она всевозможными способами контекстной интерпретации, включая нормативную документацию и вузовские учебники. Вульгарная трафаретность уходит — остается взаимное уважение и творчество.

На этом разрешите откланяться. Если кому-то покажется, что ответа все еще нет, и различие фонем и тонов остается загадкой, — вспомним, что и вопроса-то никто еще как следует не задавал. Мы только пытаемся к нему подступиться. И для этого вместе порассуждали — самую малость. А выводы каждый делает свои.

Перевод без проблем

Было время, когда люди читали книги.

Сейчас это уже не актуально. Не читать — а знакомиться, быть в теме. Конечно, оно и раньше бывало. Но сегодня — прямо-таки всеобщая норма. Оно, теоретически, понятно. Есть компьютеры, базы данных, искусственный интеллект… Вычислительные мощности и сложность сетей с каждым годом растут. А сила есть — ума не надо. Зачем лишний раз напрягаться? Эйнштейновскую фразу про память и справочники творчески расширили, впарили обывателю под видом принципа всякой учености. Тратить время на блуждания по чужим душам? Зачем?

Надо будет — закину запрос в поисковик, да выдеру из полученной на выходе тысячи страниц пару подходящих к случаю фраз…

Предполагается, что движение человеческого духа (а заодно и технологический прогресс) сводится к перетасовке уже имеющегося, тупой комбинаторике. Дескать, зашили всю полноту культуры нам в мозги еще на этапе божественного творения — и выше этого не прыгнуть, как ни финти. Дозволено только открывать и переоткрывать, приспосабливать и приспосабливаться. Политические мотивы — самоочевидны. Для буржуа, знание от денег не отличается — и измеряется в тех же тугриках. Не говоря уже про чувства или совесть.

Но еще недавно бродили по земле реликтовые существа, которым очень хотелось приобщиться к достижениям всех стран и народов, побыть в соседской шкуре — чтобы при случае завесть нечто вроде и у себя. Каюсь: до сих пор грешу подобными глупостями, брожу по свету в поисках вкусненького — а не только полезного для работы. Хотя, конечно, жизнь берет свое, и процесс вырождения одолевает, медленно — но верно.

Тем не менее. Завелась у меня в библиотеке книжка с интересным названием — но на каком-то уж очень интересном языке. Который на мне доступные совсем не похож — а прочесть надо бы. Как быть? Нет, насчет изучить лишний язык — тут у меня никаких предубеждений, всегда за. Беда в том, что память у меня — до Эйнштейна далеко, и словарный запас укладываться в отведенные природой куцые рамки решительно не желает. Опять же, не в безвоздушном пространстве живу — и хлеб с чаем никто просто так не профинансирует. Работаем работу — все остальное урывками и по доступности. То есть, надо искать перевод.

Обитатель компьютерной эры мудрствовать не будет: полезет на сайт с умным роботом — и пожалуйста: в общих чертах — содержимое как на ладони.

Попробовал. Пришел в ужас. Больше не хочу.

Конечно, если речь идет о таблицах интегралов — даже без перевода понятно. Инструкцию для пользователей электрической зубочистки — тоже с грехом пополам осилим. Документация какой-нибудь системы программирования — уже хуже: приходится иной раз долго соображать, пока догадаешься, о чем речь. А когда начинаются художества или, упаси бог, философия — даже ручные переводы друг от друга бесконечно далеки, и можно запросто получить представление с точностью до наоборот. Выход один: читать переводы — но параллельно все же осваивать премудрости чужого языка и держать под рукой оригинал, бытовую транскрипцию и подстрочник. И размышлять о принципах и возможностях идеального перевода. Чем я здесь и занимаюсь.

Радикальное решение всех проблем — устранение самой необходимости. Давайте мы заставим все человечество говорить, думать и чувствовать на одном языке — чтобы всем все было ясно с самого начала. Звучит красиво. И даже высокую философию можно подвести: дескать, единство разума — выражение самой его сути, объективное требование, историческая неизбежность… Но откуда возьмется этот самый разумный и прекрасный всеобщий язык? Какими мерами предстоит его внедрять? Человечество, на данный момент, с единством и близко не стояло. Скорее, наоборот. Вся общественная арифметика сводится к двум операциям: отнять и разделить. Если и объединяются — только чтобы отнимать сподручнее; при дележке все равно передерутся. Спрашивается: зачем при таком раскладе единый язык? Никакой от него пользы, кроме вреда. Задача-то как раз в том, чтобы сделать непонятно, спрятать, зашифровать, мистифицировать… А иначе какой бизнес? Даже если главному начальнику захочется, чтобы все отчитывались по утвержденным наверху формам, низы все равно постараются навести серую экономику, параллельный учет ради полной бесконтрольности. И снова встанет проблема перевода: с рабского языка на начальственный. А также между несовместимыми (в силу различия экономических интересов) языками (временных и виртуальных) бизнес-партнеров.

Сама по себе идея перевода — это уже выражение духа нации. Например, есть места вроде индийской глубинки, где до сих пор сохранились остатки первобытного синкретизма, и речь соседей просто не воспринимается как особый язык: это лишь одна из возможностей выражения. Здесь естественно не пытаться сказать по-своему, не перевести, — а говорить с каждым на его языке. Или (как в знаменитой книге Абрахамса) пусть каждый говорит, как умеет, — но все друг друга понимают. Именно эта особенность индийских диалектов начисто устраняет идею

первичности санскрита, а вместе с ней и всю индоевропеистику. Санскрит — всего лишь (платоническая) мечта об идеальном государстве, где язык устраивают в согласии с той же (политической, идеологической, религиозной) абстракцией.

Есть народы, которые, наоборот, уверены в том, что вся планета обязана говорить на их языке (например, древние римляне и нынешние американцы). Чтобы получить ярлык на дальнейшее существование — извольте говорить так, чтобы владыка понимал. Бормотание на свой манер — это подозрительно. Да, есть приказные толмачи, и они перескажут по-своему. Но им до конца доверять тоже нельзя: вдруг сговорились за спиной? Чуть какая смута — переводчики на казнь в первых рядах.

Плюс всяческие промежуточные варианты. Например, у древних греков языки родственных племен считались диалектами — а все остальные (безъязыкие варвары) должны были учиться по-гречески. Аналогично славяне всех неславян считали немцами.

Экономическая консолидация тянет за собой единство языка. Просто потому, что язык возникает как универсальное средство объединения участников совместной деятельности. Современный Китай все еще сохраняет сотни местных языков и диалектов — но всеобщее образование и средства массовой информации явочным порядком возводят пекинский диалект в ранг общенационального стандарта. Китайцы в других странах неизбежно втягиваются во всекитайскую унификацию — и понимают по-пекински, и принимают пиньинь в качестве единой транскрипции. Традиционная иероглифика постепенно упрощается — в русле новой графики материкового Китая. Власти Китая всячески подчеркивают свою приверженность делу сохранения языкового разнообразия — исследования диалектов поставлены на широкую ногу, есть книги и пресса на местных языках… Но все это капля в море. Местные языки — лишь параллельно общекитайскому, как веточки и листочки.

То же самое когда-то происходило в СССР: русский как язык межнационального общения понемногу вытеснял общение национальное. С развалом страны новые нации первым делом озаботились о языковом самоопределении: пусть как угодно — только бы не по-русски. Даже в Российской Федерации решительно боролись с остатками русского советского — и таки одержали сомнительного свойства победу.

Вот и оказывается, что отношение к переводу — это отношение к другим народам. Кого уважаем — того переводим. Кому приказываем — должен переводить нас. Разумеется, простого любопытства никто не отменял — и сказки какого-нибудь дикого племени иногда издают на «цивилизованных» языках; особенно, когда экзотика хорошо продается. Наследие большинства языков сохраняется только в лингвистических трудах, в «научном» переводе, который часто весьма условен, подвержен господствующим предрассудкам и далек даже от минимальной художественности.

Утопическая идея всемирного языка не умерла — но теперь уже в качестве единого контекста межъязыковой связи, своего рода промежуточной инстанции, исключительно для переводческих целей, — чтоб удобнее объяснять естественные языки роботам. Мы же видим, как одни и те же языки программирования используются всеми нациями, как формулы науки и технические схемы утверждаются в качестве международного стандарта. Почему бы не допустить хождение одного или нескольких искусственных языков для языковедческих нужд? Не претендуя ни на что возвышенное.

Слабость такой позиции бросается в глаза, если вспомнить, что естественный язык есть универсальное средство общения — а любые формальные языки изначально ориентированы на узкую прикладную область и не существуют вне единого языкового поля. Формальный язык — всего лишь общепринятое сокращение для чего-то, о чем мы уже договорились, и что нет нужды повторять снова и снова. Записывать всеобщие законы лингвистики можно сколь угодно формально. Но это не язык, а формализм. Если же допустить, что искусственный язык способен отобразить все, что есть в естественных языках, представить все языковые явления, — его искусственность становится случайным обстоятельством, ибо основное содержание придется закачивать в язык из жизни — точно так же, как это происходит с естественными языками. Такой язык сможет обслуживать человеческое общение наряду с другими языками — и вместо них. Следовательно, придется решать все те же проклятые вопросы адекватного общественного

устройства. Предлагать себя в качестве всеобщего посредника может не кто попало, а язык экономически господствующего сообщества. Поскольку же никакое господство не вечно — гипотетическому языку-посреднику придется разделить судьбу всех доныне существовавших «мировых» языков. Что, конечно же, не мешает таким экспериментальным конструкциям занимать свою нишу в науке и практике, в пределах культурной устойчивости отображаемых таким способом систем.

Перевод необходим. Но какой перевод? И что вообще считать переводом? Например, если у языка две разных системы письма (ситуация самая обыкновенная), переписывание из одной в другую — это перевод или нет? Ответ все тот же: когда как. Язык — иерархия. В каждом акте его использования мы развертываем эту иерархию, начиная с главного на данный момент; все остальное уходит вглубь. Если письменность важна — ее замена есть дело творческое, и копия не всегда может заменить оригинал. Например, в юридических документах на нескольких языках всегда указывают, какой язык считать главным при разночтениях. Не может здесь быть никакого равноправия. Даже там, где явно нет никаких предпочтений, какой-то текст все равно считают основным, по умолчанию. Крайний случай: поэт может сознательно использовать характерные особенности графики, чтобы подчеркнуть правильные интонации; использование другой системы письма начисто уничтожает такие тонкие связи. Даже замена или неправильное расположение знака препинания способна погубить красивую идею.

Перевод по принципу перекодирования (замена одного термина другим, одной типовой конструкции на другую) вполне возможен в научном тексте, пока речь идет о формальном представлении результатов исследования. Но даже в математике формализации предшествует неформальное введение — и здесь ошибка переводчика может подложить почтенному автору изрядную свинью. Что уж говорить о не столь заорганизованных науках!

Традиционная проблема перевода: как правильно? Поскольку же абсолютной точности достичь нельзя, другая формулировка: какие изменения приемлемы? Но сама постановка вопроса некорректна, ибо заранее предполагается, что оригинал — всего лишь текст, набор знаков, и на выходе мы тоже должны получить мертвый текст. А это заведомо не так. Помимо текста есть его бесчисленные толкования — обращения иерархии. В переводе иерархия будет другой, но какие-то из обращений вполне подобны каким-то из исходных. Например, многие даосские термины можно буквально перевести на английский язык, с которым у китайского много общего. Китайское 道 по семантике почти совпадает с английским *way*, а 名 вполне соответствует английскому *name*. В русском языке ничего похожего нет — и буквальный перевод невозможен. Но кто сказал, что следование букве важнее духа? Точность в другом. Китайское 玄牝 можно буквально перевести как *inner woman*, или *latent fertility*, — но приблизит ли это нас к пониманию написанного две с лишним тысячи лет назад? Более того, даже современному китайцу такое буквальное толкование ничего не говорит, и приходится верить на слово попам, что за этим, будто бы, прячется некая мистическая суть.

Когда люди приступают к чему-то новому и неизведанному, им приходится заниматься словотворчеством. Не было тогда современного слова «талант» — к которому сейчас все привыкли и не задумываются, что же все-таки имеется в виду. А если задуматься — то как раз и получим нечто вроде скрытой способности рождать новое, «внутреннюю женщину». Вместо мистических откровений — рассуждение о вполне житейских вещах.

Разумеется, за любой простотой можно усмотреть глубину. Однако глубокомыслие на пустом месте, не опирающееся на практическую очевидность. — это то самое суесловие, о котором так презрительно высказывался неизвестный автор (или авторы) *Дао-де Цзин*.

Важно не как мы переводим, а зачем. Пока мы следуем своему намерению — ошибок не бывает. При самых разительных текстуальных несоответствиях. Если в оригинале некто назван дураком, а в переводе он же назван гением, — это оплошность переводчика или скрытый смысл оригинала? А может быть, просто ирония, перевод интонации источника?

Обратная сторона качества — квалификация переводчика. Никто не может постичь язык во всем его разнообразии. Если, скажем, переводчик не работающий математик, знакомый с жаргоном сравнительно узкой группы исследователей, он вряд ли догадается, что один и тот же английский термин по-разному переводится на русский язык в разных контекстах, и наоборот.

Переводчик-химик должен разбираться в химии, биолог — в биологии. Попадая к гуманитариям, мы тут же нарываемся на споры по поводу имен, не говоря уже об их интерпретации. Чтобы перевести труды известного философа, надо досконально разбираться в его творчестве, прошерстить десятки книг (включая последователей и комментаторов) помимо того, что требуется перевести. Про высокую поэзию — вообще молчим.

По сравнению с этой культурной махиной, собственно языковые познания скромно отступают на второй план. Да, конечно, язык оригинала в какой-то мере знать надо. Подстрочники — из области случайностей судьбы: в словаре тысячи коннотаций, и точность персонального выбора — далеко не факт. Требуется изрядное языковое чутье, чтобы нащупать свой путь. Чем глубже языковой опыт — тем лучше. Хоть какая-то опора. Но это вовсе не догмат практики перевода, и даже не безусловная предпосылка. Если, скажем, меня упрекнут, что я недостаточно владею китайским, чтобы переводить поэзию и философские трактаты, — закономерный встречный вопрос: а сами-то китайцы им владеют? Среди (даже хорошо образованных) русских вряд ли встретишь одного, кто мог бы оценить прелесть языка, допустим, Случевского (даже не говоря о Пушкине, или неизвестном авторе *Слова*). Точно так же, из полутора миллиардов китайцев может не найтись ни одного, кто способен понять *Дао-дэ Цзин*. Дело даже не в том, что древний китайский для нынешних — по сути дела, мертвый язык. Кроме знания языков, нужна солидная идеологическая платформа. Любой текст допускает сколько угодно толкований. Включая противоположные. Какое из них положить в основу перевода? От этого зависит все. Наши современники ходят с промытыми мозгами — и посомневаться за пределами дозволенного просто не в состоянии.

Перевод невозможен — и не всегда нужен. Получится всегда частично, фрагментарно, неполно. Особенно там, где выход за рамки устава, в личном общении. Когда общение вырождается в дружеский треп или ласки любовников — это вообще не переводимо. Но это и незачем переводить: такие переводы никому не интересны — ибо интересно лишь то, что годится примерить на себя. А способности у всех разные. В этом суть: для кого? для чего? Вероятно, автор хотел что-то сказать. Но то ли это, что потенциальный читатель желает услышать?

Переводить можно. В каждом случае по-разному. Для этого не надо быть полиглотом — но чуять общественную потребность обязательно. Эта потребность может выступать в очень разных формах: договорные обязательства, классовый заказ, личные отношения, игра, круг предпочтений, поиск идеала… В конце концов, просто случайная встреча. Ибо наши личные случайности — часть общей на всех истории. Интересно? — надо попробовать. Получится, не получится, — какая разница! Когда не получается, общественный резонанс может быть даже больше: диссонанс привлекает внимание, требует разрешения. И наоборот: очень грамотный перевод способен ошеломить публику — и подавить всякую инициативу, остановить поиск иных интерпретаций.

В частности, общество может быть представлено одним-единственным членом — самим переводчиком. Переводы для себя редко доводят до конца — но суть от этого не меняется. Надо ввязаться, рискнуть, чему-то удивиться… И начать говорить.

А дальше дело техники. Частности и привычки. Есть языковая культура, есть традиции перевода. На этом фоне играет творческое разнообразие. Предполагаемый собеседник задает рамки. Но всякий язык допускает разумные расширения, заимствования, метафоры и аллюзии. Так, в англоязычной среде пустил корни лингвистический позитивизм: всякое слово можно приспособить для абстрактного обозначения чего угодно, сделать формальным знаком. В других языках, напротив, склонны выбирать осмысленные имена, — а если уж совсем туго с изобретательством, заимствуют какую-нибудь иностранщину, с намеком на необычность и новизну. Околонаучная журналистика обожает фразочки вроде очарованных кварков (которые при этом никто не называет сырниками) или квантовой запутанности (которую почему-то не желают переводить по смыслу: переплетение); русские физики предпочитают говорить о «шармованных» кварках, намеренно отстраняя неуместные коннотации. Однако, при любой ориентации, в науке и технике важно перевести терминологическую систему в целом, а не каждый термин в отдельности. Словари в этом контексте — ложные друзья переводчика. Когда английское *mind* переводят как *ум*, — это полная ерунда. Русская (советская) и английская

традиции в психологии почти не находят точек соприкосновения, даже если не обращать внимания на идеологические различия. Все равно что сравнивать кинематограф Люмьеров и кинетоскоп Эдисона.

Но все дело в том, что точного перевода науке вообще не нужно! Всякая терминология — для своих, а из других языков вытаскивают прежде всего методологию, стратегию и тактику исследования. Как мы все это назовем — дело десятое. Главное, по описанию поставить эксперимент, получить конкретный результат. Аналогично в теоретической науке логика служит общим на всех орудием, играет роль грубой реальности.

То есть, при переводе сначала думать о том, что мы (человечество) собираемся делать, — и только потом подбирать под это языковой антураж.

Наглядный пример — религиозные тексты. Заморачиваться стилистикой оригиналов там никто не будет. Иногда оригинал просто заучивают на звук (как латинские молитвы или коран). Чаще о нем даже не вспоминают: достаточно канонического перевода (в исламе — «перевод смыслов»). Все нацелено на религиозную практику, на ритуал, на обряд.

Творческая рефлексия идет дальше: оригинал не догма, а повод. Глупо искать точности перевода в поэзии: там форма завязана на строй языка, и сказать так же на другом языке даже теоретически немыслимо. Значит, мы просто погружаемся в образ — и выныриваем на другом берегу, в ином языковом окружении. Берега так и остались, каждый на своем месте. А склеиваем мы их за счет соблюдения своей внутренней целостности.

Допустим, понравилось мне что-то по-французски. Я могу захотеть сказать что-нибудь похожее по-русски. Чтобы не по форме, а по ощущениям. Это перевод?

Если мне понравилось что-то у Маркса или Гегеля — я способен написать на эту тему трактат на русском языке. Я сам выберу (или придумаю) слова, которые считаю для этого подходящими. Это перевод? Или пересказ? Или толкование? Где грань?

Если я нарисовал картину на ходовой сюжет — это перевод? Или — вариации в музыке. Или разная музыка для танца. Было бы скучно танцевать танго под одну и ту же мелодию — хотя бы и безумно красивую.

Задача переводчика — обогатить человечество неожиданной духовностью, показать то, чего раньше не замечали. Даже если надо перевести счет-фактуры или дипломатический бред. Можно обойтись почти буквальным переводом — пусть будет. Нужно отклониться от авторской трактовки — сколько угодно!

Потребителю без разницы, на каком языке что изначально писано. Более того, имя автора на обложке не значит ровным счетом ничего. Это всего лишь торговая марка, под которой может работать кто угодно: от одиночки до сотен фанатов или литературных рабов — вместе или независимо друг от друга. Авторство — клеймо капитализма. Способ делать деньги. Ничего человеческого в этом нет. При капитализме переводчик вынужден думать не о качестве работы (и тем более не о творческом труде), а о соблюдении кем-то узурпированных прав. Так перевод превращается в проблему.

А когда без оглядки на собственность — что мешает скомпилировать куски разных авторов в одном тексте, на любом языке? Называть это переводом или нет — дело личного вкуса. Творения первых киников нам известны только по неточным цитатам — значит ли это, что идея кинизма для нас закрыта навсегда? *Дао-де Цзин* две тысячи лет назад испоганена религиозными толкователями — но мы не обязаны им верить, мы можем опираться на ранние фрагменты и восстановить подлинный текст, хотя бы в переводе. Да-да, вы не ослышались: перевод может быть подлиннее оригинала!

Когда я читаю что-нибудь интересное, мне дела нет до того, кто и зачем это писал; мне важно мое собственное отношение к теме и способу ее развертывания (который я по мере чтения превращаю в свой собственный). Какие-то обороты мне не понравятся — и я вправе заменить их другими. Не только для себя — но в пересказе на публику. Так я становлюсь переводчиком, интерпретатором. Не рабом текста, а его соавтором. А иначе — зачем вообще все? Нет нужды ни читать, ни писать. Если же у человека свет в душе — он в переводе лишь делится с миром своими открытиями. В какой-то мере — навеянными оригиналом.

Вот тогда можно переводить что угодно, с какого угодно языка, — без проблем.

О языковом братстве

Я не был тороплив в сердце моем!
Книга мертвых

Начало XXI века ознаменовано грандиозными свершениями в науке о языке, которые можно было бы назвать подлинным прорывом и научной революцией, если бы сопровождалось оно хоть минимальнейшим идеологическим единством. В каком-то смысле происходящее похоже на такую же эмпирическую революцию в современной физике: мы научились добывать данные из очень грязных исходников, понаоткрывали кучу всего в масштабах от видимой вселенной целиком до субкварковой реальности и тонких гравитационных эффектов, — но как не понимали мы сути всего этого раньше, так не понимаем и теперь; потребуются годы работы головой, а не только руками, — а мусор в доступных на данный момент головах куда плотнее экспериментальных шумов… Точно так же лингвистика выработала приемы эффективной работы с почти нечитаемыми текстами, научилась обрабатывать необъятные массивы данных (с привлечением искусственного интеллекта, когда не хватает своего)… Круг доступных источников неимоверно раздвинулся во всех направлениях, — но стало ли яснее, откуда есть пошла языковая семейственность? — да ни на пиксель!

В качестве очень характерного примера — проблема интеллекта у животных. Постановка задачи предельно проста: насколько интеллектуальное поведение наших меньших (а иногда и очень больших) братьев требует возникновения хотя бы зачатков языка? Если одно с другим связано — следует ожидать бурного развития биолингвистики, в тесном взаимодействии с зоопсихологией и компьютерным обучением. Если же связано не совсем одно и не совсем с другим — придется корректировать наши представления о человеческих языках, выделяя то, что отличает их от коммуникативных систем живой природы (при общение электронов пока замнем, для ясности).

Основная тенденция здесь (так сказать, хит сезона) — это решительное признание, наконец, того обстоятельства, что наши (минимум, ближайшие) сожители по эволюционному древу вполне способны к развитой, хорошо структурированной и устойчивой коммуникации, — в пределах имеющихся потребностей. Включая эволюцию знаков и передачу их из поколения в поколение. Набирает вес лавина экспериментальных данных по всем кругам таксономии: от традиционных обезьян — до крыс и попугаев; даже пресмыкающиеся с насекомыми удостоены разных степеней башковитости — правда, пока признают, что менталитет у них принципиально другой… Вкупе с нейромоделями биоценозов и биофункциональными теориями мозга, открытия последних лет вселяют уверенность, что совсем скоро начнут печь кандидатов и докторов в области молекулярной лингвистики, и скоро мы услышим не только о сообществах разумных растений, но и о языках бактерий или вирусов.

Я намеренно ни на кого не ссылаюсь и не вдаюсь в детали: за время, долженствующее пройти между написанием сего и его (маловероятным) прочтением, успеет выйти немало новых трудов, со всей очевидностью демонстрирующих удивительные лингвистические способности доселе презренных родственников, — и потому любой обзор заведомо лишен представительной полноты. Для философа частности не столь важны — ему надо обзавестись общим впечатлением и указать источники впечатляющей общности. Посвящать жизнь разговорам зверушек лично мне было бы несколько преждевременно — но посвятить им пару-тройку задумчивых страниц, кажется, пора. Просто потому, что неумеренная популяризация идеи животности языка отнюдь не безобидна: она размывает грань между жизнью и разумом, подменяет одно другим — ради опошления и того, и другого. Признавать единство противоположностей — это нормально; отождествлять их, валить все в одну кучу, — буржуазная пропаганда без намордника. Что с серьезной наукой по самой сути несовместимо.

Говорить будем о типовых заблуждениях и традиционных агиттехнологиях. Наступление идет на нескольких фронтах — вот и посмотрим на стратегическую картину, оценим расстановку сил и возможности для перехода от боевых действий к мирному строительству в каком-то другом месте и времени.

Чисто внешне, обывателя (в том числе академического) пытаются убедить в богатейших способностях живого организма. Дескать, в него природой заложено столько степеней свободы, что практически любые фантазии возможно положить на этот благодатный материал. Суждение совершенно типическое, и восходит оно к одному из «доказательств» бытия божьего: если чего-то уж очень много — не может быть, чтобы за этим не стояло ничего! Священный трепет перед количеством — в ущерб качеству. Сила есть — ума не надо.

Аргументация древнее древности. Как только люди научились удивляться — они первым дело удивились изобилию удивительного. Как в дворовой песне про птичек с китайцами:

Много на свете различных чудес —
Все их не пересчитать…

И первобытно-логический вывод: для того мир и сотворен! Видимо, хотелось богу не ударить в грязь лицом перед человечками — он и выдал, на что способен. Нынешние театрально-киношные трюкачи по сравнению с божественным фиглярством — бледная немочь.

Куда ни ткни — везде всего много. Несоизмеримо с потугами человеческого воображения. Вон, в небе триллионы звезд и галактик, — и даже каталог составить уже без компьютера никак. А в каждом кубике воздуха — несметное количество молекул, ионов, свободных радикалов, — не говоря уже о миллионах вредных частиц и существ. Тут про перепись населения даже мысли нет. Обычная, простенькая ДНК из двух спиралей с горсткой базовых элементов — это бешеная пропасть комбинаций; а, ведь, теоретически уже есть и более сложные конструкции, с широчайшим молекулярным базисом и соединением нескольких спиралей… Из той же оперы — у композитора Прокофьева о миллиардах возможных мелодий всего из нескольких нот; плюсуем ритмическое разнообразие, — и вывод о практической неисчерпаемости музыки…

Все эти восторги призваны ошеломить, запугать, отбить способность (да и желание) критического суждения. Думать не о том, что есть, и что нужно, — а о бессмысленности глобальных идей (что, впрочем, само по себе — очень даже глобальная идея). Что бы мы ни придумывали, необъятное выскользнет из наших объятий; поэтому довольно и способности управляться с непосредственно данным хозяйством. В этом благородном начинании ученые — пример всяческим неучам. Например, физики научились связывать интегралы движения с симметриями. И тут же забыли, что физика — наука о физических взаимодействиях. Начали выписывать формально симметричные лагранжианы, вдохновленные сугубо количественными соображениями: если взять достаточно богатую группу симметрии, в ней заведомо найдется представление, отвечающее любой совокупности наблюдений… Откуда берутся закорючки — никого не волнует. Мы же согласуемся с экспериментом? — так чего вам еще? По философам этого направления двести лет назад ядовито прошелся Кант: башковитые мыслители вываливают на нас кучу априорных истин — говорить о детализации и практической проверке при такой концентрации мудрости, вроде бы, уже и неприлично…[67]

Попытки впечатлить количеством известны и в лингвистике: множественные соответствия в «родственных» языках, включая правила трансформации; мощь МФА и его расширений; подобие семантических полей и тезаурусов; из филологии можно добавить универсальность мифологем, общность строения традиционных жанров, сценарное единство и т. д. И вот, теперь пошли в ход говорящие животные.

Оно, собственно, не жалко: пусть болтают. Важно, какие мы из этого для себя сделаем выводы. А с выводами пока нерадостно… Опять и опять про физиологию, про технологические возможности и генетическую предрасположенность. И вместо серьезного разговора о сущности и происхождении языка — киваем на животные способности: природа заранее все для нас устроила, и едва появилась у предков необходимость делиться знаниями — они тут же включили предназначенные для этого подсистемы. А дальше по инерции. Животным базарить особо незачем — так они и не идут дальше минимума; но могли бы, в принципе, освоить и полноценную речь — только повод дай!

Опять же, классовые параллели налицо: у животных имеется предрасположенность использовать орудия труда — отсюда, в конечном итоге, вырастает капитализм. Государство как

[67] *Критика способности суждения*, §47.

символ цивилизованного рабства происходит из врожденного стремления повелевать и подчиняться. Так что зря мы слишком здоровые инстинкты относим к психопатологии!

В научном плане обнаружение языковых способностей у животных — дело, безусловно, важное. Однако нагромождение примеров не привносит в вопрос о происхождении языка ничего такого, чего раньше не осознал бы вдумчивый философ. Достаточно понаблюдать за домашними питомцами, чтобы заметить их языковой прогресс по сравнению с уличными гуляками и дикими сородичами. Да, могут. Но почему-то не говорят. Неужели дело только в дефиците человечьей наблюдательности? А может быть, мы несколько поторопились с причащением к лику? Что если даже у человека общение далеко не всегда поднимается выше животного уровня — и не всякий по факту обучен языкам? Членораздельность речи — ни о чем сама по себе не говорит. Нужны критерии собственно языкового поведения — понимание языка как деятельности. А у нас пока и деятельность-то никак не понимают: так, импульсивное телодвижение, сопровождаемое иногда трепетностью души. Где здесь специфически человеческое, разумное? Ах, нет его? Так что нам с вами языками разговаривать? Достаточно сигнальных систем. С каким-то номером.

Ошибка в изначальном направлении мысли: от животного к человеку. Мы выводим человека из живой природы, как ее прямое продолжение и одну из частей. Разглядели что-то у животных — и не видим отличия от похожей физиологии у человека, понимаемого очень узко, как биологическое тело (хотя бы и помещенное в невесть откуда взятое культурное окружение). С логикой тут и рядом не стоит. На самом же деле, обнаружение любой из человеческих способностей у животных есть недвусмысленное указание на не совсем человеческий характер этой нашей черты: здесь мы еще не преодолели собственную животность, недостаточно продвинулись на пути к разуму. Общность физиологических отправлений, по видимости связанных с речью, — лишь подтверждение того, что физиология имеет мало общего с языком, и что для общения не нужно какой-то особо навороченной органики, достаточно простейших приспособлений, которые эволюционно появляются на очень ранних этапах. Нам ли этого не знать? Перед глазами во всей красе история компьютеров: матчасть у них пока очень далека от уровня биологической сложности — но общаться с людьми компьютеры учатся стремительными темпами, включая общение на естественных языках. Так что удивляться, если какой-нибудь захудалый микроб вдруг захочет побеседовать с публикой по душам? Меж собой у них есть свои протоколы — но и эти коммуникативные системы при желании можно объявить альтернативной лексикой, идиоматикой для узкого круга, субкультурой…

С точки зрения господствующего редукционизма, всякое общение выводится из механики процесса — будь то квантовые переходы в молекулах, корреляции в макросистемах, или дурное выживание в конкурентной среде. Но суть-то как раз в обратном: задачи более высокого уровня допускают разные низкоуровневые решения, различия которых в итоге совершенно не важны. Человеческое общение материализуется в природных явлениях — но оно с тем же успехом пойдет по другому пути, если какие-то из типовых заготовок на данный момент недоступны. То есть, сначала надо понять, зачем мы разговариваем, — и тогда выявится спектр возможностей. Не обязательно физиологических.

За эйфорией от лавины открытий не замечают одного простого обстоятельства: языковые способности у животных (и компьютеров) развиваются не сами по себе — их развивают люди. Все эти гиббоны, гориллы, кенгуру, кошки и попугаи начали осваивать языковую премудрость лишь в контексте человеческой деятельности, тем или иным способом включающей животных в уже сложившуюся культурную среду — и тем самым основательно меняющий круг их естественных привычек. Дальше работает обычный адаптивный механизм: построение иерархии рефлексов, обеспечивающих жизнедеятельность в этой «неестественной» среде. Животное учится удовлетворять потребности по-другому, в том числе используя людей в качестве средства. Адаптивный простор у большинства зверушек для этого есть. Включая вирусы — которые активно мутируют в ответ на любые попытки сопротивляться вредителям и паразитам.

Можно, конечно, заметить, что окультуривание вряд ли повлияло на язык пчел или муравьев. Птиц и млекопитающих мы не раз и подолгу наблюдали в естественных условиях — но даже предоставленные самим себе они занимаются довольно сложной инструментальной деятельностью, вступают в общение и обнаруживают нечто вроде психики, опосредованность

(пусть даже адаптивного) поведения. Но от психики до сознания весьма и весьма далеко. Распределение функций в животных сообществах бывает очень сложным, и велик соблазн сопоставить это с возникновением общественных структур; но логика говорит об обратном: подобие строения классовых обществ биологическим иерархиям — свидетельство неразумности человека, недоразвитости экономических систем, когда поведение людей, поставленных в условия животной борьбы за существование, не дотягивает до собственно человеческого уровня. Это напрямую касается и лингвистических способностей.

То, что нам преподносят как зачатки языкового поведения у животных, — в большинстве своем, попытки выдать желаемое за действительное. Стыдимся собственной недоразвитости — и оправдываем себя в собственных глазах, возвышая животных до якобы разумности. И тем самым лишний раз обнажаем заскорузлость биологических корней: вместо того, чтоб разобраться, что с нами не так, и как это исправить, — прячемся под крылышко заботливого начальства, всегда готового содрать с нас три шкуры за высокое покровительство… Вместо разумной деятельности — животное приспособленчество.

Подобная стыдливость и причесывание под современность — типичны для буржуазной науки. Например, древние артефакты с лихостью объявляют предметами культа, а в старых текстах изо всех сил усматривают религиозность. Сознательно или подсознательно умалчивая, что религия тоже продукт исторического развития — и ей предшествуют иные культурные формы общественного сознания, которые далеко не всегда представимы в современной терминологии, и надо честно искать для них другие слова. Тем более не принято напоминать о преимущественно нерелигиозной трактовке мистической догматики рядовыми (пусть даже суеверными) гражданами, а тем более — зомбирующими их попами и политиканами (для которых существует лишь культ собственного кармана). Но если от какой-то эпохи сохранились главным образом религиозные тексты — это вовсе не знак тотального помутнения мозгов у населения; если где-то архитектура представлена в основном культовыми сооружениями — это не значит, что ничего более полезного не было. За что платят (чужими жизнями) — то и строят; какую память не изживают по высочайшему указу — ту и хранят. Точно так же, строение языка не только след исторической стихии — но и факт сознательного обустройства, причесывания под классовые реалии.

С этого места подробнее. Да, без подходящей физиологии не всякое общение пойдет. Как не всякую программу можно запустить на каком угодно железе. Способности животных надо изучать, поскольку они дают весомый вклад в органику наших способностей. Но способности появляются не сами по себе: без употребления способностей не бывает. Потому что каждая вещь неотделима о ее окружения, каждый организм связан с тысячами других, каждый субъект — часть коллективного разума. Ни один гений не сотворит ничего путного вне общения с другими, пусть даже далеко не гениями. Не может быть ученого вне науки, художника вне искусства. Не потому, что не хватит таланта — просто потребности нет. Темы возникают из общения. Классика:

Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон…

Любая способность — не только предпосылка, но еще и продукт. В процессе делания одного мы готовим себя к другому (или к тому же самому на более высоком уровне). Всякое действие шире своей непосредственной цели: оно вырабатывает механизмы целеуказания. Отсюда расхожие байки о предопределении, нитях судеб, врожденности таланта и жизненной колее. Яблоко от яблони, курица с яйцом… Точно так же и язык — продукт коллективный: одно общение тянет за собой другие. Нет этой цепочки культурного наследования — нет и языка. А что есть? Чисто органическое взаимодействие — согласование метаболизма нескольких животных видов. Подобно тому, как органы тела объединяются в организм, притираются друг к другу — и уже не могут жить по отдельности. Если общество устроено по такому, органическому принципу, ожидать особых прорывов по сравнению с достижениями животных никак не приходится.

Но нам очень повезло с нашей Вселенной: в ней разум возможен даже в неразумных формах, местами и временами, на некоторых уровнях иерархии, — которые не всегда на виду. Следовательно, есть место и для настоящего, человеческого языка, несводимого ни к каким

коммуникативным системам. Другое дело, что называть языком при таком раскладе следует не все подряд — а лишь то, что соответствует его идее. Словоблудие (в том числе по поводу животной лингвистики) — это еще не язык, это один из возможных материальных носителей, куда язык может воплотиться — но может и не. То есть, обнаруживаемая в сотнях экспериментов коммуникативная общность человека и животных — это не о языке, а лишь об одной из его предпосылок, о каналах передачи информации, обратной связи, кодировании, сжатии и т. д. Называть без разбора все это языковыми способностями — замазывать истинное родство, сосуществование в рамках общественно организованной деятельности, единство культуры.

Другая сторона того же самого — оценка носителей языка по степени приобщения к этому чуду общественной природы. Ребенок врастает в языковые системы далеко не сразу — и далеко не в полной мере, какими-то сторонами и проявлениями. Нельзя впитать язык с молоком матери. Надо выращивать его в себе всю сознательную жизнь, постоянно открывать его для себя. Причем очень аккуратно и бережно: не овладевать, как публичной девкой, — а общаться с ним как с полномочным представителем коллективного субъекта (а следовательно, и каждого члена общества по отдельности). Можно, в какой-то мере, чему-то научиться или что-то узнать — чтобы потом пользоваться. Или заметить красоту — чтобы потом везде ее замечать. Но невозможно вдруг стать разумным или мудрым — это всегда процесс становления, сама суть мудрости, разума — или языка. Использование языка — выход за рамки штампов, здесь важно постоянное расширение возможностей, творчество. В той мере, в какой это случается у животных, — они умеют говорить. Однако и у человека так бывает далеко не всегда. Изучить метрику и научиться рифмовать — еще не стать поэтом; прорубиться сквозь учебники и набить руку на формулах — еще не стать ученым. Точно так же, базар в своей компании не делает человека носителем языка; как правило, истинным носителем оказывается не личность, а сообщество (рамки которого лингвистическая наука и призвана уточнить).

Возвращаясь в этом контексте к модернизации прошлого, приходится признать, что древние формы бытования языка (даже в письменную эпоху) неизбежно отличаются от его современных форм, и нельзя беспардонно запихивать предков в теоретическую идиоматику сегодняшнего дня. Когда современный китайский язык понемногу прогибают под европейскую схематику, насаждают в нем «всеобщие» лингвистические принципы, — это в корне меняет отношение китайцев к собственному языку, тем самым превращая исконно китайскую грамоту в атавизм, в нечто безнадежно вымирающее. Точно так же, есть (были?) языки исчезающих племен, по своему строению никак не соотносимые с примитивно-древовидной структурностью европейских грамматик. Жанры древнейшей литературы (например, шумеро-аккадской) не соответствуют никакой нынешней систематике; надо учиться жить в прошлом, чтобы не списывать различия на примитивность предков — а осознать логику их отношения к себе. Конечно, без разума тут никак не обойтись. А по разумному, первобытное общение (и поведение животных) далеко не всегда следует трактовать в терминах лингвистики.

Если бы задача была проста — что бы я тут турусы разводил? Мы живем здесь и сейчас, говорим тем, что легло на язык. Размышляя о любой культурной экзотике, мы вынуждены делать это в своей современности: как бы ни выпрыгивали мы из нее, в итоге к нам лишь пристроится еще один слой — внутреннее расщепление, вместо проникновения в предмет. И это правильно. Иначе зачем? Нам важно что-то уяснить для себя — и строить из этого будущее, которое, возможно, очень скоро перестанет узнавать нас. Оказывается, что язык — вполне подходящий для этого инструмент. Каждая частица языка — культурная фиксация некоторой деятельности. Не какой-то единичной — а деятельности вообще. Можно как угодно уточнять интонацию, обыгрывать тончайшие моменты, — но от языка до деятельности (даже языковой!) в любом случае далеко, и путать одно с другим — удел очень наивных существ. Путь от слова к делу — ничуть не легче, нежели историческое освоение новых представлений (образов, понятий, категорий). В слове заложены разные варианты развития событий; от того, что мы выберем, зависят судьбы Вселенной. Язык и творчество у разумного существа неразделимы. Но чтобы проникнуться лесным духом — вовсе не обязательно пройти по каждой тропинке: можно случайно бродить по зарослям и прогалинам, открывая для себя лес как настроение, ожидание, способ бытия, — как идею. Для других та же идея раскроется по-своему, иногда очень непохоже.

А варвар просто эксплуатирует природу, убивает ее — и себя как ее одухотворенную противоположность.

Когда физики рассуждают о Большом взрыве, о становлении нынешнего облика Вселенной и ее предполагаемой судьбе, — они воспроизводят все те же симптомы антропоцентризма, от которых нас настойчиво пытались отучить Бруно, Галилей, Ньютон, Эйнштейн… Мы внутри нашей Вселенной — и воспринимаем мир с одного из возможных ракурсов. Однако никто не мешает тому же, единственному и единому миру развернуть свое богатство как-то иначе, — предстать чем-то другим неведомым существам, населяющим их собственный вариант всемирной истории. Каждый живет в своем, неповторимом времени — но вполне способен осознать идею множественности времен и, как минимум, допустить существование других «мировых линий» — а в перспективе и выяснить их строение, и пообщаться с их обитателями.

Возникновение и развитие языка не менее иерархично: разумному взгляду оно видится переплетением многих, равно правдивых историй. Каждая из них — это проекция целого на определенный, исторически сложившийся круг деятельностей; только по отношению к нему определены возникающие при этом языковедческие понятия — и только в нем справедливы законы именно этой лингвистики. Но они все-таки возникают, и справедливы; не как безликий абсолют, а в качестве одной из возможностей. В нашей культуре мы видим нашу историческую реальность — и все остальное относим к этой «системе отсчета». Но это остальное вполне может иметь и свою собственную историю, по отношению к которой наш язык — лишь боковая ветвь. Не факт что одно возможно перевести в другое формальным преобразованием, сменой ракурса. Сопоставимы лишь сходные, одинаково устроенные системы. А по отношению к первобытным языкам, и к общению животных, это было бы уж очень сильным предположением. Перевод всегда возможен — в силу единства мира; однако это не соответствие один к одному, а поле возможных соответствий, иерархия вариантов.

Тем не менее, в любой из своих историй мир обнаруживает качественно различные уровни неживой, живой и разумной природы. В разных обращениях иерархии границы пройдут по-разному — однако эти уровни всегда есть, и надо их различать, и нельзя напрямую смешивать одно с другим. Уровни иерархии не изолированы друг от друга, и абстрагироваться от их взаимовлияния можно только в особых условиях. Но внутри каждого уровня влияние остальных представлено его собственными средствами, и теоретически будет выражено в характерных именно для него категориях. Межуровневые отношения на физическом уровне становятся связями, ограничениями круга возможностей («нарушением симметрии»). На уровне живой материи, возникает идея окружающей среды. По отношению к духу, живое и неживое равно участвуют в его материализации, в построении тела того, что мы называем субъектом деятельности, разумным существом.

Язык отражает эту множественность смыслов сходством названий «того же самого». Подразумевая под «названиями» сколь угодно сложные конструкции, далеко не всегда сводимые к словам (или формальным правилам). Как разумные существа, мы должны в каждом конкретном случае делать поправку на смысл происходящего, учитывать контекст речевой деятельности. Иногда весьма широкий. Недостаточно развитые люди, для которых язык синкретически встроен в деятельность, могут не подозревать различия обозначаемых одинаковыми именами сущностей; это говорит об их животных корнях. Напротив, домашняя кошка способна различить тысячи оттенков человеческой речи — и одинаковость формы не имеет для нее ни малейшего значения. Так очеловечивается животное. В первом случае — общественное животное всего лишь индивид, член стада (или стаи); во втором примере — неразумное по природе включено в состав коллективного субъекта, и воспринимает себя именно так. Та же кошка способна потребовать чего-то от «хозяев», а при случае призвать их к порядку. Тогда как животное, скорее, попыталось бы лишь использовать сложившуюся ситуацию в своих (животных) интересах: что-то добыть, от чего-то спрятаться… Разумеется, речь не только о кошках — и не только одомашненных.

В качестве эвристической иллюстрации — расхожие фразы о том, что животные во многих отношениях не уступают людям, и даже превосходят их. Орел, якобы, видит лучше, гепард бегает быстрее, а попугайчики предсказывают землетрясения… Отсюда идея об использовании видовых преимуществ для выработки особых форм языка, приспособленных к феноменальной

физиологии. Дескать, обезьянам лучше подходит язык жестов, насекомые контактируют усиками, а цветы пусть общаются «биополями». На самом же деле вся эта механика и физиология не имеет к делу ни малейшего отношения. Люди общаются не словами — они трудятся сообща. Совершенно без разницы, как именно мы будем разглядывать окружающий мир; в нашу деятельность он все равно встроится точно так же. Человеческое восприятие — не просто «кодирование», «генерализация», и прочая канализация… Это прежде всего деятельность, активное преобразование мира в соответствии с нашими потребностями. Для животного — память, адаптация, узнавание, сигналы и символы. У человека — творческий замысел, намерение создать то, чего в природе пока нет. Вот из этого и следует выводить суждения о человеческом характере способностей животных, и о животном — у человека. Орел — и в Африке орел. Он не может разглядеть молекулы и атомы, спутники Марса, или рентгеновские галактики, — а мы можем! Понемногу учимся предсказывать землетрясения не хуже попугайчиков — и научимся. А в качестве первого шага — используем животные способности в человеческих целях. Попугайчик ничего не знает о землетрясениях — он лишь как-то ведет себя. Только в контексте человеческой культуры одно связывается с другим. Мы используем жизнедеятельность живых существ для обеспечения того, что этим нашим собратьям сниться не могло (даже тем, кто умеет видеть сны). Когда они сумеют так же использовать человека — милости просим в честную компанию! С удовольствием поучимся, у кого угодно.

Однако останавливаться на чистой органике было бы не по-людски. Когда мы обвешиваем дома фотоэлементами, — или идем в поход за трюфелями со свиньей на поводке, — это инструментальное использование природы, зачаток сознания. Но такое собирательство недалеко уводит нас от животных истоков, от практики пассивного потребления, хотя бы и в развитой, интеллектуальной форме. Животные тоже умеют использовать друг друга, и приспосабливать под себя неживую материю. Да, мы культивируем растения и животных для повышения уровня полезной отдачи; однако то же самое биологическая эволюция проделывает безотносительно к чьей-либо пользе. Если мы научились выращивать (а потом и синтезировать) трюфели, а не рыть землю свиной мордой, — это прогресс. Если мы сделали собственную, хорошо управляемую звездочку, — это куда круче надежд на дармовое электричество по милости небес. Наконец, если мы осознали, что наше тело отнюдь не сводится к мясу на костях, а включает в себя все тела, которые мы делаем органами восприятия или орудиями воздействия на природу, — отсюда один шаг до понимания языка как единства любых средств общения, в каждом конкретном случае безусловно материальных — но не зависящих (ни всецело, ни преимущественно) ни от какого материального носителя. Мы производим общение точно так же, как производим какие-нибудь шурупы; и мы производим язык как орудие труда — как шуруповерт. Говорит не один человек с другим — говорит разум с разумом. Животное может говорить — но не с другим животным (хотя бы и в человеческом обличье), а одним из участников сообщества очень разных существ, которое в своей целостности обнаруживает следы разума. Заметим: поведение такого животного далеко от природности, оно объективно воплощает что-то от нашей общей духовности; та же кошка, когда ей плохо, обращается к человеку не прагматически, не только (и не столько) за помощью, — но еще и за настоящим, человеческим сочувствием (далеко не всегда выразимом средствами каких-либо официально признанных языков).

На этой почве уже можно обсуждать успехи и косяки биолингвистики. Что видим положительного? Прежде всего — постепенный отход от набившего оскомину сведения языка к знаковым (кодовым) системам. Сравнивая человека и животных, поневоле приходится делать поправку на технологические возможности и жизненный опыт. И старинная идея всеобщего (богоданного) языка (включая всеобщий словарь — или тезаурус) рассыпается в прах. Есть поля смыслов — и язык вырастает как одно из возможных развертываний этой иерархии, модель субкультуры. Так естественно возникает веер чего-то языкоподобного: в самых крайних его точках, на кончиках ветвей, — традиционные языки; подобно животным видам, они уже сформировались, достигли предела — и потому обречены на гибель.

К сожалению, научная общественность испугалась логического продолжения — и все еще занята строительством систем. Одно не лучше другого: на смену знаковым — коммуникативные. На этом фоне разжалование первобытной знаковости выглядит банальной эмансипацией: один

носитель вместо другого (жесты вместо слов), одна норма вместо другой (субординация в стае вместо формальной грамотности, речи «благородных» сословий). Но язык — не только сообщение (коммуникация), но еще и обобществление, и приобщение, и общность, и обещание… Все вместе — наше общение. Оставить этому единству лишь одну опору, информирование, — язык получится уж очень однобокий, хромой.

То же самое и с остальными плюсами, которые почему-то быстренько обрезают до минусов. Когда открытым текстом говорят, что способность человека к обобщению не результат появления языка, а его предпосылка, — это правильно. Но не вся правда. Потому что обобщать можно по-разному. Одно дело — верное отражение природы, а совсем другое — сделать так, чтобы в природе все было правильно. Не просто «применение» животной способности к (неизвестно откуда взявшейся) коммуникативной системе — а выращивание специфически человеческих форм общения из животных предпосылок, сознательный отбор того, что достойно нашей разумности.

Парадоксальным образом, выведение человеческой речи из животной в нынешней науке соседствует с банальной телеологией: необходимые физиологические особенности развились, потому что они нам нужны. Две абстракции ходят в обнимку: готовая физиология в качестве материального носителя языка — и готовый язык в качестве оправдания животной эволюции. Грубая эмпирия неизбежно перерастает в подгонку фактов под теорию, которой ничего не остается кроме стремления соответствовать фактам любой ценой.

В категориальном плане, история — единство генезиса и логики. С одной стороны, есть последовательность событий, которая допускает различные интерпретации. С другой — есть общие идеи, каждая из которых выделяет в хаосе событий направленность в будущее, историческую линию. При этом мы обнаруживаем, что физиология существенно меняется при включении организма в культурную среду — и задача науки показать, как именно повседневная деятельность влияет на развитие органов, на изменение схемы их взаимодействия. Однако есть и другая половина дела: доведение биологической базы культурного процесса до совершенства необходимо порождает пучок новых идей, требующих иной телесной организации — вплоть до решительного разрыва с естественно сложившимися биоценозами и построения органики нового типа, которая просто не может возникнуть в дикой природе.

Продолжая параллели с физикой, вспомним пресловутый антропный принцип: если бы оно было иначе, мы бы не могли стать такими как мы есть… Под эту идею затачивают новомодные «теории всего». Но констатация факта не объясняет ровным счетом ничего — даже если излагать факты в терминах высоколобой теории. Остается вопрос о механизме развертывания иерархии именно таким способом — и о возможностях развернуть ее по-другому (исходя из других идей). Не только вывести действительность во всех деталях — но и показать, почему эти детали у нас именно таковы.

Выведение человеческого поведения из какой угодно этологии — тут же превращается в сведение языка к животному метаболизму. И тут, несмотря на потрясающую продвинутость насекомых и микробов, пальму первенства по-прежнему отдают «энцефалидам», которые, помимо всяческих активных мембран или ганглий, заимели-таки самую настоящую голову, напичканную относительно развитыми мозгами. А как только мы пошли чуть дальше древнейших ольфакторных систем, откуда ни возьмись — различия правого и левого полушарий. Что, конечно же, не случайно — а специально подстроено под будущих языкоблудов. Очевидная натянутость этой мысли регулярно смущает ее думателей, и они изобретают собственно биологические «объяснения» полушарной асимметрии. Дескать, если бы оба полушария мозга были равноправными и выполняли одни и те же функции, мы бы тут же запутались: как понять, какое из полушарий возьмет на себя управление в каждой конкретной ситуации? У кого каждая функция приписана к соответствующей шишке мозга — тот соображает быстрее, и огребает все сопутствующие эволюционные преимущества. И это через сотню лет после светлой памяти доктора Шишкенгольма! Похоже, у нынешних поборников френологического вздора с полушарной специализацией как-то не задалось, и эволюция на них отдыхает…

Спрашивается: по какой логике отсутствие одной специализации мешает развитию десятков других, в том числе динамических, не зависящих от асимметрии мокрушек (*wetware*)?

Это все равно что не признавать ничего кроме клиент-серверной архитектуры компьютерных сетей, забывая о всех прочих возможностях (например, peer-to-peer). С другой стороны, помимо точности и скорости, есть немало иных параметров реакции (в том числе коллективной). Дикая природа в любом случае найдет способ вывернуться из положения — и вариантов тут всегда больше, чем мы знаем из нашего опыта.

Если серьезно, заблуждения буржуазных мозговедов отнюдь не безобидны. Они готовят некритически мыслящие массы к другой «асимметричной» мысли: классовая организация общества — в самой природе человека: людям надо, чтобы одни погоняли других и ездили на чужой шее, — иначе все тут же бы смешалось, и вообще никакого порядка… Капитализм — эволюционно прогрессивный строй, и ничего лучшего придумать нельзя!

Понятно, что если в современной реализации телесной оболочки мыслящего духа участвует полушарно-асимметричный мозг, можно использовать этот аксессуар для организации каких-то культурно-речевых эффектов. Но не наоборот: наличие или отсутствие специализации полушарий (или иное анатомическое подразделение) совершенно безразлично для развития разумных существ. Которые не сводятся к звериному телу, а всегда возникают как коллективный эффект в системе многих тел. Нейропсихология накопила солидный багаж примеров компенсаторной перестройки мозговых механизмов при травмах головного мозга. Но борцов за животную лингвистику это не останавливает. За уши притягивают вольные интерпретации хаотически поставленных экспериментов: дескать, левое полушарие порождает (разве?) менее детальные образы — и потому лучше годится на роль субстрата абстрактного мышления. Которое, ничтоже сумняшеся, отождествляют с уже урезанным до коммуникативной системы языком. В таком кастрированном языке слово — всего лишь название, кодон. И никаких деталей ни о чем не содержит по определению. А вроде бы, собирались уходить от знаковых систем…

Об отличии человеческого (разумного) восприятия от животной психики уже сказано. Отождествлять «перцептивный образ» животного с образностью человека — нонсенс. Тем более глупо выискивать у животных мозговые корреляты «слов», полномочных представителей действия. В языке слово (как и любой другой элемент) не менее богато оттенками, чем тупо ощущаемый звук или отпечатанная на сетчатке картинка. Посредством языка мы навешиваем на любое восприятие всю мощь человеческой культуры! Только пройдя через эту предобработку, чувственный образ приобретает глубину и насыщенность, обогащается деталями, которые изначально в нем отсутствуют. Вспомним Кандинского: граница двух красок — линия. Чтобы воспринимать мир по-человечески, мы должны выработать абстракцию цвета — а через нее абстракцию линии как различия цветов. Кто не умеет — у того не бывает черных квадратов, и вместо разума — сплошная чернота…

Обобщенный (культурный) образ мира — широчайшее поле возможных детализаций, возможность по-разному сделать дело, идти к общей цели разными путями. Все это заложено в языке. Для этого он и нужен. Другая стороны того же — различия в физиологии мозга разных людей, невозможность (и ненужность!) единой нейропсихологии языка. Даже задавленные школьной грамматикой и безоговорочно принимающие стандарты правописания — совершенно различны в физиологии этой «нормализованной» речи. Чуть больше творческого простора — уже выход за рамки «мясного» языкознания в бесконечность культурных контекстов и форм бытования языка. А заодно и представлений о языке.

Другой заезженный конек животных лингвистов — эмоции. О происхождении языка из непроизвольных возгласов, призывного щебетания и прочего рычания-урчания — чего только не говорено! Последнее время сюда добавились и жесты, и гормоны-феромоны, и молекулярные следы… Последний писк компьютерной эры — прямое взаимодействие мозгов через вживленные электроды: есть эффектные демонстрации возможности использования этого канала животными для общения и координации усилий. Про сопутствующие полезной работе материальные процессы внутри организма и вокруг него — все понятно. Следуя все той же общей идее, такие вещи можно задействовать для кодирования чего-нибудь важного и включить в одно из расширений языка. Остается только спросить: какое это имеет отношение к эмоциям, и насколько оно важно для выращивания первобытных языков из предшествующей им полуживотной общительности.

Типовое решение: на входе стимул, на выходе реакция, — а все что между ними будем по определению называть эмоциями… Позиция железобетонная — не подкопаешься. И на этом уже вполне можно делать карьеру академика. Некоторые и сделали. Остаются неакадемические сомнения. Во-первых, у некоторых внутренний мир оставляет место и для мыслей, и для мечты. Все это сводить к эмоциям — как-то напрягает. Чрезмерная общность не всегда хорошо. С другой стороны, универсальная парадигма поведения как отклика на раздражители — еще один способ затушевать принципиальные различия: между живым и неживым с одной стороны, между жизнью и разумом с другой. С соответствующими политическими выводами. Разумность зарождается там, где мы перестаем дергаться, как шарик на пружинке под действием внешней силы, — или затаиваться, как зайчонок при виде хищника. Основное отличие человека от животных — целенаправленная реорганизация мира, с использованием благоприятных факторов и вопреки любым неблагоприятностям. В скобках заметим, что это вовсе не то же самое, что самому становиться внешней силой — или хищником.

Чисто по-обывательски, говорить об эмоциях имеет смысл только там, где уже есть хотя бы минимальная психика. Что считать показателем высокоразвитости — вопрос обсуждаемый. Разумеется, к наличию или объему каких-то органов это не сводится. Важно соблюсти правильный функционал. Который у разных видов может реализоваться разными средствами. Начнем с того, что у человека эмоции есть — и будем понемногу расширять круг родственников. Но не очень ретиво. Следует хорошенько подумать, прежде чем обнаруживать психику у змей, крокодилов, тараканов, пчел. А то, ведь, можно свалить в ту же кучу и раздражимость амебы, и даже модификацию геометрии молекул под действием внешнего поля! Будем таки искать разумный компромисс. Руководящий принцип — отделение стимула от реакции, не просто опосредованность поведения — а рефлексивность, появление внутренних источников действия. Опять же, не просто физиологической нужды (типа: жрать хочу!) — а спонтанного порыва, напрямую с метаболизмом не связанного. Это, как минимум, предполагает наличие особого органа-паразита, который не выполняет ни одной метаболической функции, а лишь переключает режимы взаимодействия других органов, следуя логике своего собственного, относительно независимого метаболизма. Материальный носитель большой роли не играет: это может быть и внутренняя подсистема (нервная сеть) — и координация поведения в сообществе организмов (одного вида или разных). По отношению к каждому биологическому индивиду психика выступает как встроенная особь более высокого ранга, зверушка в зверушке. Взаимодействие индивидов теперь дополняется координацией их внутренней жизни. Отсюда рукой подать до человеческой психологии — достаточно вывести управление изнутри наружу, передать его совокупности (органических и неорганических) продуктов жизнедеятельности, культуре.

Однако наличие сколь угодно богатого внутреннего мира еще не означает способности (или расположенности) к языкам. Да, психические процессы иной раз толкают животных на движения физиологически бесполезные (а то и вредные). Вопрос в том, при каких условиях эти «паразитные» движения смогут стать представителями других, общественно оправданных. Теории эмоционального языка несомненно важны и полезны — как противовес когнитивному редукционизму, сведению общения к обмену информацией. Нас объединяют не только орудия труда и производственные роли — но и родство душ, симпатия и антипатия (памятуя от том, что разобщение — синоним общения). Основная проблема психологизма в палеолингвистике — затруднения с поиском механизмов внутриязыковой организации. Чего ради от простых интонаций мы переходим к развитой грамматике, лексике, морфологии? Если, как это обычно делается, сослаться на внешние условия общения, якобы придающие интонациям относительно устойчивые формы, — это возврат к примату коммуникативных систем (душевные движения как одно из возможных представлений, способ кодирования), и вместо резонанса эмоций — всего лишь упоминание о них.

Решение остается прежним: возникновение языка опирается не на эмоции вообще, а на осмысленные эмоции, внутренний мир коллективного организма, субъекта деятельности. Выразительные интонации передают чувство общности, принадлежности целому, единство потребностей и поведенческих задач. Во многих случаях это куда важнее свободы и знания. Слияние душ создает неповторимый внутренний комфорт, на основе которого только и

возможно отделение от сугубо природной основы, первичная абстракция. Осознание такого единства, соотнесение себя с коллективом, — это переход от душевности к духовности.

Но что значит — осознание? Эмоция становится сознательной как выражения намерения, как стремление к внутренней определенности, как продукт (коллективной) деятельности. Человеческие эмоции не возникают спонтанно — они регулярно воспроизводятся. На смену собственно психическим процессам приходят культурно опосредованные; не просто состояния или позывы, а переживания и чувства. Сложность эмоциональной сферы отражает строение культуры — и потому языковые интонации неизбежно выстраиваются в культурно закрепленные формации, не уступая богатством когнитивным уровням языка. Поскольку человеческая культура шире биологической утилитарности — у человека есть эмоции, недоступные животным. Но поскольку животные (или продвинутые компьютеры) участвуют в движении разума (в частности, как расширения человеческого тела) — они способны испытывать отнюдь не звериные чувства, и делиться ими с людьми.

Еще раз: язык не говорит о мире вообще (внешнем или внутреннем); язык — только о продуктах деятельности, и сама деятельность оказывается представленной в языке лишь поскольку она становится продуктом, отвечает сознательному намерению и воспроизводится как культурное явление. Тут мы плавно переходим к обсуждению третьего кита лингвистического биологизаторства — выведению языка из всеобщей интеллектуальности.

Животное (даже не очень башковитое) не только ощущает мир и внутренне меняется; оно должно, в конечном итоге, что-то предпринимать. Предпринимательство — в животной природе. Тут нам доходчиво объясняют, что сколько-нибудь успешное предприятие опирается на хорошо структурированные поведенческие программы (бизнес-план); вот эти-то структуры как раз и отвечают современным представлениям о сущности и устройстве языка.

В простейших случаях, позывы к действию возникают как ответ на внешнее воздействие: солнышко пригревает — выползли подышать, дождь пошел — спрятались… Чуть посложнее — схема рефлекса: рявкнет кто — мы голову в песок, в брюхе швербит — пора поискать чего-то сгрызть… Рефлексы посложнее — разные реакции на один и тот же раздражитель, в зависимости от сопутствующих обстоятельств. Из всего этого вырастает интеллектуальное поведение: поведенческая программа может включать этапы подготовки условий для развертывания других поведенческих программ.

На тему доступности многоэтапных технологий нашим биобратьям (а также роботам) — океан специальной литературы. Там, где человеческий детеныш плюнет на все и расплачется, какой-нибудь бонобо кропотливо соединит два десятка нетривиальных звеньев и таки доберется до обещанной в конце премии. Взрослые человекообразные обожают всяческие гонки с препятствиями, загадки и головоломки, «квизы» и «квесты». На этом испокон веков зиждется сюжет народной сказки — а теперь и крутых видео, и компьютерных стрелялок. Поиск совершенства в искусстве или научной истины — не менее интересное занятие…

Тут как тут подкрепление от экспериментальной психологии: языковое опосредование существенно повышает успешность и оперативность решений. При ближайшем рассмотрении, как правило, оказывается, что ни человеческого поведения, ни языка в постановке эксперимента не наблюдается, — и тем более от фонаря критерии успеха. Но это как раз и роднит нас с животными, и дает надежду на отыскание биологических истоков интеллектуальных бесед!

Чисто теоретически, интеллект тянет за собой массу эволюционных преимуществ. Есть, правда, странность: в катастрофических ситуациях, когда не остается ничего кроме борьбы за жизнь, в первую голову погибают как раз башковитые, а тупое зверье проламывается через все сложности без существенных потерь и запускает новый виток эволюции. Возможно, это лишь кажется, — поскольку тупых пока больше. В любом случае, пока есть два и два, умение их сложить — атрибут уважаемого сородича. Но, по обыкновению, в хорошем деле главное — не перестараться: чересчур умные по жизни ходят в шестерках у не слишком интеллигентных паханов, языковые способности которых ограничены умением отдавать приказы и подписывать зарплатные ведомости.

Сопоставить развитые грамматические построения и грамотно выстроенный текст с уровнем развития интеллекта — очень заманчиво. С одной стороны, мы как бы исходим из

строения деятельности — и социокультурная критика побеждена. Но при этом качественного различия разумного поведения от животного мы видеть не обязаны — и можно подробно обсуждать, до какого уровня следует поднять нашу сообразительность (IQ), чтобы дальше без языка не обошлось. Молчаливо предполагается, что есть такие дела, в которых иные формы общения уже не помогут. С этим, пожалуй, можно согласиться — но на поверку оказывается, что критерии достаточной сложности совпадают с критериями разумности, с выходом за рамки всего лишь интеллекта, — и близко породнить передовое человечество с его биологическими прототипами все равно никак. Сколь угодно разительные примеры животной продвинутости в итоге вполне обходятся силой примера, и разговаривать тут не о чем. На практике верно и обратное: возможность справиться с какими-то задачами без лишних слов — скорее всего, указание на свернутость собственно человеческой, творческой активности; значит, пора передавать такую работу роботам.

То есть, судить об уместности лингвистического вмешательства по форме костей, по уровню использования и технологии производства орудий, по устройству захоронений или наскальным зарисовкам — не то, чтобы совсем нельзя, — но как-то неубедительно. Здесь, как и при оценке физиологической готовности, мы имеем дело с предпосылками речи, с наличием необходимого материала, — что вовсе не обязательно приведет к действительности языка.

Как последняя соломинка — связь языка с мышлением. Допуская, что сложная работа требует координации усилий и распределения ролей, философствующие лингвисты делают вывод о необходимости представления всего этого внутри каждого члена сообщества — значит, налицо хотя бы зачатки мысли, а мысль невозможна без языка!

Тут целый букет заблуждений. Коллективные эффекты известны даже в неживой природе; взаимозависимость и притирка друг к другу в биологических сообществах — совершенно обычное дело, и ничего кроме объективных законов эволюции тут не требуется. Даже вирус (не говоря уже о полноценной клетке) — это чудо белковой инженерии, тончайшая координация многих органов. Что уж говорить о тонких взаимосвязях на уровне глобальных экосистем! Разумеется, без информационных потоков не обходится; но каналы связи — это не лингвистика, а механика, кибернетика, и прочая компьютерная наука.

Далее, участие в общем деле далеко не всегда оказывается сознательным. Даже у человека. В некоторых случаях коллективность, скорее, означает деградацию сознания: предрассудки, мода, зависимость от общественного мнения, паника, массовые психозы… Соответственно деградирует и язык, вырождается в коммуникативную систему.

Наконец, мышление вовсе не возникает из языка — это качественно иное. Развиваются они друг через друга — но относительно независимо, как разные стороны одного и того же. Переход от одного к другому происходит через иерархию опосредований — внутреннюю речь. Которая отнюдь не сводится ни к речи, ни к внутренностям…

Напоследок еще раз вспомним, что мышление и интеллект — не одно и то же, разные уровни рефлексии. Мышление не обязательно будет интеллектуальным, а интеллект запросто обходится без мысли. Тогда как язык при необходимости обслуживает и то, и другое.

Не хотелось бы после всего оставить удручающее впечатление невозможности сколько-нибудь разумно подступиться к решению проблемы. Да, ни один из собранных фактов не дает оснований говорить о биологических корнях языка. Но вся их совокупность указывает, по крайней мере, на то, что такие корни есть, и лингвистика протоязыков — не только пропаганда, иллюзия или праздное любопытство. И если мы пока не понимаем, откуда речи растут, — дело не только в слабости инструментария и неопытности, — но прежде всего в неадекватной философии, которую не слишком разумное общество навязывает не слишком разумным его членам. Недостаточно иметь — надо еще и правильно распорядиться. Две крайности: свалить все кучей — и расставить по полочкам. Первый вариант приводит к отождествлению человека с одним из его органов, биологическим телом; поскольку основное осталось за бортом — и язык вынужденно урезан до физиологических отправлений, — естественной необходимости в нем усмотреть нельзя. Противоположный тупик — развести языки по уровням, детально расписать лингвистическую номенклатуру, вплоть до полного соответствия биологической систематике (включая эволюцию гоминид). Поскольку жестких границ в природе не существует, любая

классификация — чистая условность, и языковая корректность превращается в полнейший произвол.

Проблема научной лингвистики в том, что язык она полагает как данность. При всей (терминологической) допустимости развития — говорят лишь об эволюции в пределах все той же качественной определенности, представляя каждый язык как замкнутое целое. Поэтому источники развития приходится усматривать либо в самой природе языка (его способности адаптироваться, перестраиваться в меняющейся среде), либо во взаимодействии с другими языками (в том числе искусственными). Легко видеть, что это вполне отвечает биологической модели, комбинации видовой изменчивости с межвидовой специализацией. Разумеется, всякая наука избавляется от неясных представлений и стремится к максимальной определенности предмета — но определенность не тождественна формальности. Если мы отделяем одно от другого, для этого нужны веские основания — прежде всего практические. И живет такое разделение не дольше предполагающей его производственной необходимости. В частности, наука о языке проистекает не из случайных наблюдений или общих соображений, а честно признает свою пристрастность («партийность»), желание упорядочить и регламентировать языковые реалии. Поэтому и языковую первобытность мы изучаем не забавы ради, но только потому, что современные тенденции в развитии форм общения выводят нас за рамки данности и требуют пересмотра собственного языкового опыта — и не как-нибудь, а тенденциозно, с позиций предполагаемого будущего! Только такая палеолингвистика осмысленна и подлинно научна.

Въедливый читатель тут же поймает на слове: как же так? вы тут на буржуев ругаетесь, что причесывают факты под свое законное желание рулить до скончания веков, — и получается, что эта промозглая партийность и есть ваш идеал научности?

Таковы парадоксы истории. Да, буржуазная пропаганда умеет приручить любознательных умников, поставить их на службу косности и консерватизму. Пока она делает это достаточно откровенно — нет опасности перепутать научное творчество с антинаучной софистикой. Мы хотим, чтобы инопланетяне были — и ищем инопланетян! Но если оставаться в рамках собственно научной методологии, своими изысканиями мы лишь продемонстрируем тщетность надежд; а отрицательный результат — тоже результат. Верующий ученый — худший враг религии; убежденный компаративист — могильщик теорий вавилонской башни. Их пример — как доказательство от противного.

Проблемы начинаются, когда на развалинах науки вальяжно располагается академический произвол. Наивная вера превращается в догмат. Ученость измеряют смирением. Вместо попыток обосновать позицию — газетная шумиха, спецэффекты, мишура. Не заинтересовать публику — а любой ценой отвлечь от общественных проблем. Конечно, развитие науки идет согласно объективным законам, вопреки любым попыткам помешать и затруднить. Но кое-кому достаточно лишь притормозить движение, оттянуть развязку: после нас — хоть потоп. И это им удается. Деньги и прямые приказы делают свое дело.

Но можно и по большому счету: кто сказал, что наука — это всегда хорошо? Перекос в сторону научности, противопоставление одного метода другому, — в русле капиталистической системы разделения труда. Если человечество переживет этот мрак, изменится сама идея научности — поскольку в единстве разума нет и не может быть партий. И тогда в нашем языке вымрут слова, призванные разделять и властвовать, и строй языка отразит реалии новой экономики и другого общественного строя. И в древних наречиях, и в лепете животных, мы будем искать что-то другое — о чем, возможно, еще не пришло время говорить.

Как уйти от абстракции языка, от мертвой формы, наложенной на движение тел, а не выросшей из них? Прежде всего — самокритичность. Можно ли всерьез воспринимать рассказы о том, что смысл каких-нибудь насечек на камне или кости мог передаваться только при помощи языка с полностью развитым синтаксисом? Если у меня болит зуб, и я бегаю по комнате из угла в угол, периодически взревывая, — это хорошо структурированное поведение, которое так и напрашивается на канонизацию. Тем более, если мне подобные ведут себя точно так же. Чтобы объяснить смысл этого действа, придется немало потрудится языком, — особенно, если объяснять тем, у кого зубы никогда не болят. Спрашивается: а всегда ли нужны толкования?

Быть может, достаточно того, что смыслы есть — и можно осмысленно действовать, а не рассуждать. Точно так же, почему не допустить, что первобытные орнаменты, наскальные рисунки, и даже древнейшая письменность, — всего лишь типовая реакция на типовую проблему, и разговаривать тут не о чем? Собака или кошка метит территорию — их сородичам (или соседям) такие отметины о многом говорят. Но в язык это превращается лишь там, где речь не об оставленных следах, а о телесности самого процесса оставления следов и их последующего декодирования. Сразу ясно: телесность эта особого рода, ибо она не можем быть связана ни с одной из собственно сигнальных функций. Например, монеты можно использовать в качестве разновеса, для определения размеров и углов; но это никак не отражается на их номинальной стоимости. Баховские партитуры пойдут на фасовочный материал — но их музыкальное наполнение от этого не пострадает. Сожгите «Джоконду» — ее культурный след неизгладим. Найдем мы такое у человечьих подобий или у зверушек — можно обсуждать соответствующие уровни языка. А не найдем — не факт, что этого нет: быть может, оно просто очень другое, и до его осознания еще надо дорасти. Как?

Ответ прост: надо общаться. Не бывает так, чтобы язык существовал сам по себе — в отдельности от людей, которые на этом языке говорят. Именно так пытается подать дело высокая наука: есть вымершие гоминиды — и мертвые языки; животные для науки лишь таксоны — которые, в частности, различаются и по языковому принципу. Но язык существует только в общении, только через сиюминутное языкотворчество. Не язык объединяет людей, а группы людей выстраивают под себя язык. В качестве строительного материала можно использовать все что угодно — в том числе какие-то готовые конструкции из уже известных языков. Но становится такая эклектика языком лишь по ходу живого общения, как единство культуры. Заметим, что именно это подсказывает нам традиционное словоупотребление: мы с каждым человеком (или предметом) говорим на его языке, и выражаем каждую идею особым, именно к ней подходящим языком.

Так возникает наука о человеческих и животных языках. Изучает она не абстрактные знаки, а универсальные (не зависящие от предмета) способы общения. Тогда появление каких-то признаков языкового поведения у включенных в человеческие сообщества животных — вопрос времени и уважительного внимания. Тогда приобщение детей к объемлющей их языковой культуре — совершенно закономерный процесс. Тогда смена культурных стереотипов тут же отражается на строении и функциях языка. Совершенно понятно, как появляются диалекты и семейства родственных языков. Наш язык — это мы; наш с тобой язык — это мы с тобой.

Хорошо, допустим, что животными разговаривать мы научились: нашли, о чем и как. Допустим, это будет не единый язык для всех представителей биологического вида, а особая, широко раскинувшаяся ветвь лингвистического древа — точно так же, как биологически одинаковые люди говорят на разных языках. Но как можно говорить с мертвыми? Как общаться с австралопитеками, динозаврами или трилобитами? У которых, быть может, никогда и не было особой охоты отвлекаться на наши будущие приставания.

Контрвопрос: а что, собственно, мешает? Когда мы общаемся с живым собеседником (который тут, рядом, и его можно не только видеть и слышать, но также понюхать и пощупать), мы все равно по факту не залезем в его шкуру и не пересечемся ни единой молекулой! Зато мы наблюдаем его влияние на окружающий мир — и умеем по-своему это интерпретировать, что (в контексте некоторой культуры) и производит впечатление услышанной речи. И наоборот, мы вправе выяснить отношение собеседника к интересующим нас аспектам бытия — и мы меняем среду языковой деятельности собеседника, задаем вопрос. Теперь следы бытия нашего партнера трактуются под новым углом, в контексте поставленного вопроса, — как ответ. Таким способом люди умеют общаться не только с глазу на глаз, но и на любом расстоянии, и через эпохи. Я читаю книгу древнего писателя — и для меня она написана не на том языке, каким он был в то далекое время для кого-то далекого, а на особом диалекте, понятном лишь нам двоим; потом я могу поделиться с обществом этим открытием, сделать его достоянием культуры. Точно так же, нет никаких проблем, чтобы включить в круг общения свидетельства чьего угодно бытия, и даже организовать диалог таких виртуальностей между собой. И звезда с звездою говорит… Сколько говорунов, столько и языков.

Остается только понять, как тут с наукой. Куда приткнуть метод? Разве может наука изучать столь индивидуальное?

Вспоминаем вышесказанное о пристрастности. Науку единичные случае интересуют не сами по себе, ее дело — обратить внимание на типическое, воспроизводимое снова и снова, разными людьми. То есть, ученый (намеренно, и часто сознательно) ограничивает себя определенной точкой зрения (выбирает систему отсчета). При удачном выборе оказывается, что подписаться под предлагаемым правилом готовы очень и очень многие. Разумеется, не исключено и противоположное: попасть пальцем в небо. Но дело не решают голосованием. Человеческая история — часть истории мира в целом, и потому рулят в ней объективные тенденции, заставляя разных членов общества (и разные общества) думать и относиться к миру очень похоже — как будто думаем и относимся мы не по отдельности, а всем миром. Вот такие, всеобщие способы общения и представлены человеческому сознанию как язык. Не обязательно все сразу и во всей полноте. Иногда это нечто почти неуловимое в потоке неязыковых случайностей. Но кто ищет — тот всегда найдет. Именно то, что ищет. И представит всякое общение как языковое — а всякий язык как всеобщий. Другими словами, наука — такая форма рефлексии, где факт — лишь повод для толкования. А нет фактов — возникает псевдонаука, толкование без повода.

На полях отметим, что в этом плане нет большого различия между лингвистикой и филологией, и перетягивание каната просто неуместно. В установлении всеобщего языкового братства пригодится и то, и другое. Лингвистика предоставляет инструментарий для толкования физически удаленных от нас культур; филология обеспечивает связность и осмысленность лингвистического исследования. Все вместе — языковедческий опыт и нормативная база, основа практического использования языка и вненаучной рефлексии.

Старая мысль в новом качестве: приступая к изучению истоков языка и его культурного многообразия, следует по возможности определиться, для чего это нам надо. Тут, как водится разные стороны. Внешним образом, речь о мотивах исследователя — что прямо отражается на форме научного продукта. Но есть еще и внутренняя сторона: мотивация собственно языкового поведения. Одно тесно увязано с другим, и для каждой отрасли языкознания (и каждой научной теории) предстоит вытащить на свет именно ее культурную необходимость. К собственно лингвистике и филологии присоединяется еще и психолингвистика, с ее сестрой-подружкой — бытописанием, изучением источников. И здесь та же логика, что и в поисках биологических предшественников человека разумного (буде искру разума мы таки за собой признаем): устоявшиеся, хорошо развитые формы — лишь (тупиковые) ветви эволюционного древа, а на вершину ведет только его ствол. Всякий текст — продукт языковой деятельности; но выведенный из общения текст — это уже экскременты. Науке приходится копаться в дерьме — ничего не поделаешь! Чтобы не очень пахло, мы облагораживаем реликты: всячески их обрабатываем и превращаем в препараты, которые далее и поступают под микроскоп (или в экспериментальный реактор). Без такой предварительной подготовки никакая наука не живет. По окаменелостям и фрагментам предстоит догадаться, в какую сторону обращена магистраль, где то небо, к которому тянется еще не засохшее древо.

Тут свои забавные истории. Вульгарное биологизаторство никакой мотивации вообще не предполагает. Все опять упирается в метаболические системы: вход — выход, стимул — реакция. Наборы возможных реакций метафорически именуют поведенческими программами, а выбор той или иной стратегии увязан с примитивно-животными эмоциями: сожрал кого-то — и на душе тепло; увидел добычу — хочется ее съесть… Модель образцового предпринимателя. Которому для нормального функционирования достаточно иметь голову, а в ней ингредиент для высокой кулинарии. Мозг умеет превращать раздражители в телесные позывы — и никакого смысла в этом даже не предполагается. Зачем? Меньше думаешь — крепче спишь.

На этой почве произрастают всевозможные телеологические построения, а также их обращенные версии: наличие предпосылок запускает процесс. В математике совокупность истин железно порождает несомненные истины. Собственно человеческий контекст («при условии, что…», «если это уместно») в формалистической науке стыдливо опускают. Промытые буржуазной пропагандой мозги до таких условностей — среда неподходящая. Есть возможность

сделать — мы и делаем. Пуркуа бы не па? Одно слово или другое, тык в клавиатуру — или щелк мышей… Какая разница! Будьте непосредственны, импульсивны. На планете победившего капитализма — это единственная ваша свобода.

А человек — думает не мозгом, а всей совокупностью телесных проявлений, органических и не очень. Общение для него — не только текст, а еще и культурный контекст. Отнесение каждого деяния к этому контексту и придает жизни смысл. Говорит человек — не из любви к процессу, а по смыслу, по существу дела. Даже если разговор выглядит бессвязным лепетом, сплошными междометиями. Вот тогда и возникают настоящие поведенческие программы — но делает их не мозг, они порождаются духом истории и велением времени. В отличие от животных мозгов, человеческий аппарат коммутации научен распознавать такие, казалось бы, бестелесные «раздражители» — и даже, возможно, переживать по поводу, — но в конечном итоге уйти от самой необходимости выбора: действовать не потому, что так предписано, — а по убеждению; не покупаться на сладкие посулы — а самостоятельно определять разумность следующего шага. В этом подлинная свобода. И эту свободу выражает всякий сколько-нибудь полноценный язык. В том числе (первобытно-элементарный) язык приобщенных к культуре животных.

Пока мы добиваемся сугубо житейских результатов, идем к незыблемой цели, — нет у нас языка, а есть одни лишь коммуникативные системы. Стоит уйти от утилитарности, пожелать заведомо недостижимого, — и вот вам язык, материализация духа. Небо, к которому тянутся самые слабенькие ростки.

Следовательно, собственно языковое поведение — это всегда выход за рамки условий и условностей общения. Не может универсальное орудие быть красиво заточено под единичное или особенное. По-настоящему мы общаемся лишь там, где в общении нет нужды. А значит, язык как деяние, как поступок — не ради чего-то, а потому что. Вот, я сейчас записываю свои размышления — безотносительно к тому, найдется ли для этого вздора хотя бы один читатель. И мне совершенно все равно, как это поймут, или извратят. Я чувствую: так надо — и вменяю это себе в обязанность. И следую только себе, а общество присутствует во мне как совесть и долг, как воспитание или талант, — то есть, неполным, частичным образом, чего никак недостаточно для подлинно разумного, направленного в будущее действа. Если же кому-то вдруг взбредет в прихоть поинтересоваться моим языком, он попытается спроецировать на меня свои, столь же разумные устремления. И стану я для него таким же лингвистическим родственником, как амеба, пчела или шимпанзе.

Об издавании и препоучении

Вероятно, все мои потенциальные собеседники (шутка!) наслышаны о существовании страшных тварей с угрожающим названием: *полиглот*. Слово говорит за себя: к такому лучше не подходить близко, и за руку не здороваться. Ну, мне оно, по счастью, не грозит — поэтому есть возможность поразмышлять о количестве и качестве.

Таланты у каждого свои. А у некоторых таковые вообще отсутствуют. Но из этого ровным счетом ничего не следует. Потому что в каждом деле сгодится любой разум — буде таковой в (хотя бы минимальном) наличии. А талант — это, в лучшем случае, *модус разуменди*; более печально там, где талант ограничивает разум, сводит его к одной из частностей, в ущерб разумности как таковой — универсальной рефлексии.

Допустим, некто имеет память. И употребляет ее на заучивание тонн словарной премудрости, вместе со сводами грамматик и штабелями разговорных штампов. Это похвально. В том смысле, что существуют иные, куда менее чистоплюистые приложения. Другой некто, наоборот, — совсем-совсем беспамятный, и выветриваются из него имена сразу же после произнесения… Значит ли это, что не дано ему общаться с теми, с кем давно и успешно общается номер раз? По жизни оказывается, что все путем, и договориться по делу мы всегда сумеем, при какой угодно душевной конструкции. Кто из двоих лучше знает язык? Да никто. Потому что знания тут ничего не решают. Каждый знает свое, знает по-своему. А дальше вопрос, как этот инструментарий включить в работу и заставить служить благородным намерениям.

Точно так же, кому-то интересно покопаться в тонкостях произношения — а другому и так сойдет; у кого-то аналитический склад ума — другому грамматика хуже банковского кредита. Но языки от этого нисколько не страдают — и даже где-то наоборот. Ибо разнообразие в каждом деле залог прогресса.

Но когда мы падаем в настойчивые объятия образовательной системы — остается один древнегреческий миф. Понятно о ком. Усекновение членов и хруст костей. Кто тут самый длинный — может ненароком лишиться и головы… В любом случае, основная часть учащейся массы приобретает устойчивое отвращение к языкознанию и не желает в будущем иметь с ним дело ни под каким соусом. Чаша сия не минула и меня; лишь трагическое стечение обстоятельств (отнюдь не в лингвистическом понимании) заставило-таки вернуться и потребовать хотя бы минимального порядка.

Воротилы школьного бизнеса, конечно же не согласятся, и представят в свое оправдание десятки историй грандиозного успеха… Однако на фоне замученных миллионов эти рекламные плакаты смотрятся бледненько. Учитывая, что успеть куда-то — дело не всегда радостное. Тем не менее, могу допустить, что какой-то процент образующихся вполне отвечает типоразмерам, тем самым избегая членовредительства — и даже местами испытывая несказанное удовольствие на многое повидавшем ложе. За них порадуемся — и подумаем о своем…

Первый вопрос: а оно нам надо? Вот, сейчас ширится движение за диверсификацию образования — в том смысле, что если не хочется что-то учить, то и не заморачивайтесь: выберите одну из либеральных школ, где никаких тебе предметов — а сплошная тусовка и развлекаловка. Законодательство подкрутить, — чтобы никакие аттестаты на производстве формально не требовались, — дело практически решенное. Вместо этого — практика «лицензирования» деятельности, верный доход в карманы лицензоров. Зачем в быту интегралы? На кой физику плодоножки? А поэту вообще все до фени — ему достаточно невразумительного мычания, плюс блатная лапа в коммерческой прессе.

То есть, вроде бы, ломать язык на иностранщине — нормальному обывателю излишество, не говоря уже о проглатывании многих. Только мне почему-то не хочется сводить человеческое бытие к одному лишь пищеварению: бродит во мне бредовая идея, что приобщение к неведомому есть первейшая потребность всякого разумного существа, и что нужно это не ради праздного любопытства, а чтобы пересоздать мир по его собственному образу и подобию, осмыслить и привести в соответствие. То есть, чтобы уже не сам по себе — а воплощением генерального плана. Для этого, в частности, неплохо бы повариться в непривычных созвучиях по нездешним правилам. Независимо от того, насколько велика вероятность встретить на пути живого носителя; бывает, что такого шанса заведомо нет: например, при изучении древних языков, или изобретении чего-то безнадежно фантастического. Разумеется, ту же роль играют и физика, и ботаника, и рок-н-ролл, и геральдика… Все, что угодно — лишь бы не застаиваться в себе (при всей восхитительности болотных экосистем). Особая роль языка состоит в единообразии подхода к освоению всех граней возможного и невозможного, сведении воедино того, что по жизни сводится редко и не всегда очевидным образом. Каждый язык — экстракт экзотического мира, концентрированное выражение его сути, пилюля от невежества. Сильнодействующие препараты следует принимать дозированно, в разумном режиме; но для каких-то целей без ударных средств не обойтись. Как мы уже догадываемся, диплом врача далеко не всегда гарантирует качество рецепта: как только процедуры начинают навязывать — пора включать собственный опыт и житейский смысл, вкупе с теоретическими познаниями из самых разных областей. Пока есть здоровый скепсис — никакая болезнь не смертельна. Но как включить то, чего нет? Значит, давайте нахватываться знаний впрок и тренировать метафорическую логику.

Итак, учение — какой ни на есть свет. Тогда следующий вопрос: чему учиться?

Конечно, всякая система образования — это уродство. Как ни скомпоновать главное — главнейшее останется за бортом. Современность вязнет в болоте рынка; любая полезность тут же превращается в товар — а коммерческое образование выдавливает из оборота собственно образованность. Уцелеть ей в дикости возможно лишь одним способом: использовать дикие формы для разумного содержания. То есть, покупая одно — мы в нагрузку приобретаем еще нечто, в комплектации не обозначенное, — и именно оно важнее всего.

Стоп! Где-то мы это уже встречали… А было это при знакомстве с языком! — совершенно пустые предметы (тексты), сами по себе не имеющие ни малейшего значения, вдруг открывают нам пути в неведомое — или, как минимум, ссылаются на другие вещи, непосредственному восприятию недоступные. Оказывается, что изучение языков — основа духовного прогресса. Польза однозначно.

Тем не менее, было бы странно ограничивать образование только языками. Почему? Да потому что именно всеобщая применимость, универсальность языка делает его всего лишь тощей абстракцией — и пока под языковые формы ничего существенного не подставить, толку от них ноль. Педагогическая теория чувствует это интуитивно — и рекомендует широкую эрудицию в качестве основы для профессионального углубления. Однако в практической реализации дело сводится к модным предрассудкам: что сейчас на рынке хорошо продается, то и принимают за образовательный минимум, под который причесана и школьная, и не совсем школьная программа. Это называется: предметность. На каждый предмет свои часы, в меру рыночной заинтересованности. Предполагается, что стандартно причесанные мозги удобнее для склеивания единиц в трудовую массу — вроде конструктора LEGO. Выступы и вступы правильного размера и в правильных местах. Торжество греческой мифологии.

Можно ли изыскать в этом разум? Как и везде. Предметный подход вполне допустимо принимать не в должности всеобщей догмы — а на правах сборника анекдотов, или юридических казусов. Берем опыт предшественников за основу — и подбираем предметы под себя, в нужном ассортименте и в индивидуальной пропорции. Точно так же, как мы по-разному используем лексику знакомых и незнакомых языков. Стандартизация вывернутая наизнанку: культурные стереотипы как строительный материал для нестандартных индивидов (по-гречески: атомов). Понятно, что коммерческая педагогика такому разнообразию не очень способствует. Штучный товар обходится в производстве дороже, и наварить с него триста процентов — надо уж очень постараться. Удается это лишь некоторым; и каждый бизнес-успех — на костях миллионов. Но в качестве эффектной демонструшки, рекламного трюка — почему бы и нет?

Тут мы перетекаем к третьему вопросу — главной теме очерка. Если мы решили-таки заняться какими-то из обнаруженных в истории предметных областей — с чего начать и как продолжить? Совсем узко: можно ли организовать процесс освоения языков так, чтобы уложить его в предельно сжатые сроки, не застаиваться в академическом болоте, а сразу выйти на уровень практических приложений. Скорость, эффективность, практичность — наши рыночные боги, и никто не даст и полушки за технологию, которая лишь в принципе способна оснастить потребителя полезными для карьеры приспособлениями. Казалось бы, разумно: не пускать дело на самотек, а внедрить мощный и универсальный метод, вытащить самих себя за шкирку из языкового невежества и направить пинком в пятую точку к полновесному участию в совместном труде на общее благо. Еще один привет от древнего грека…

Названия учебников конца XVII – начала XX века почти поголовно говорят не о предмете, а о всеобщем методе, для которого предмет служит лишь «моделью», иллюстрацией великих возможностей. Рассуждения о методе приходят в искусство, науку и философию на фоне борьбы за новую, капиталистическую действительность — в противовес феодальной раздробленности и наследному абсолютизму. Классовую организацию общества уже не навязывают вооруженной силой (кроме, быть может, гильотинирования уж совсем упертых оппонентов), а усматривают в самой природе человека, — когда личный интерес вытекает из естественности «общественного договора». Апофеоз капиталистической мечты — математика, метод в его первозданной («априорной») чистоте. Классики нам вещают: математика — это язык. Все остальные языки устремятся к математической кристальности аки ко пределу своему — а метод для всех един.

Рекламные слоганы применительно к языку сулят райское блаженство по методу профессора П., аббата А., университета У. или просто мосье М. — которые, конечно же, следуют принципу естественности (натуральности), следят за гармоничностью, ведут к цели прямым путем, предначертанным ранее каким-нибудь песталоцци (на уже знакомую античную букву)… Для комплекта — сравнительный подход, «погружение», «мозговой штурм» или кошмар нейролингвистического «импринтинга». Не предложение помощи в работе над собой — а конкурс ярмарочных зазывал.

Что изменилось к нашим дням? Совести стало меньше. Никого не собираются убеждать, говорят без обиняков: мы купили право решать, кто и что знает, — и ваше дело заплатить за один из «авторизованных» курсов подготовки к экзамену и за аттестат об его успешном преодолении. В остальном все то же самое: претенциозные названия, ссылки на авторитеты (которые, правда, теперь определяются лишь дороговизной лицензии, а не годами стяжания наук)… Вроде бы, пестро — а фантики у всех на один манер.

Развернем и посмотрим, что внутри. Оказывается, тоже все одно. Те же грамматические примитивы, те же речевые шаблоны, стереотипный выбор тем. Расставлено у каждого по-своему. Но, как известно, от перемены мест слагаемых они не перестают быть слагаемыми. Даже если сумма изменится. И не надо нам про то, что, дескать, язык-то имеется в виду один и тот же, что он так устроен — и любой курс будет этому учить, как ни крутись… Речь вовсе не о языке, а о системе аттестации, под которую всякое образование приходится подгонять. То есть, не язык нам препоучают, а способность издавать приемлемые ответы на экзаменационные билетики. Под какой экзамен готовим — под это и обтесывают, по методу все того же античного разбойника. Есть три основных направления. Совсем старое (и почти изжившее себя) *филологическое образование* исходит из необходимости продемонстрировать технику перевода с одного языка на другой и обратно, на примере классических фрагментов или специальных учебных компиляций. Далее, современная *академическая традиция* вообще не предполагает знакомства с реальными языками: во главу угла там ставят знание лингвистической анатомии и физиологии. Наконец, всех распихивающая локтями *бизнес-технология* учит именно этому — умению пихать локтями. В каждой из дозволенных образовательным стандартом областей спортивно-рыночной борьбы. Которые пытаются выдать за культурные универсалии, естественный для каждого полноценного члена общества круг интересов. То есть, если меня из этой «потребительской корзины» интересует лишь пара-тройка «активностей» — шансов сдать квалификацию у меня ноль. Ненормальных система активно отсеивает: доступ к благам цивилизации неаттестованным закрыт. Вот вам и усекновение на голову.

Казалось бы, что нам за печаль? Есть Интернет — а в нем тонны пиратского контента… На все запросы и вкусы. Изучайте что хотите как заблагорассудится, и плевать вам на деревянные мерки. Резонно — было бы, кабы жить довелось на вольном воздухе, а не в буржуазном болоте. А при капитализме так: если ваши знания не окупаются — ищите способы прокормиться как-то иначе. Пока будете искать — жизнь уже и кончится… Или вся былая наука из головы начисто вылетит от тяжких трудов. И даже если на ваши деньги курам смотреть невмоготу, возможность потратиться вовсе не означает доступности качественного товара: хорошее припрятано для своих, а остальным — прилавки попроще, чтобы не зазнавались. Рынок может существовать только на фундаменте нерыночных отношений, доставшихся ему от античности и далее.

Но мы сейчас рассуждаем о методе. Первичная корявость системы образования, расчет на среднестатистического покупателя (безотносительно к потреблению) неизбежно вылезает теоретическим боком как формальное изобретательство: метод сводят к техническим трюкам, умению скормить содержимое учебника всячески отбивающемуся студенту. Вроде того, как младенцев кормят с ложечки — с уговорами. «Натуральность» метода призвана поставить (лингвистическое) воспитание на сугубо природные рельсы: вон, птенцов в гнезде не надо упрашивать за папу и за маму — они сами настоятельно требуют положенной по статусу козявки! Раз уж взялся учиться — да еще и немалую сумму за курс отвалил, — изволь с энтузиазмом кушать что в меню. Так оно, по логике.

В философском плане два неудобных вопроса: почему таки невкусно? — и почему они иррационально сопротивляются? Можно, конечно, сослаться на серость теории и гранитность наук, на бестолковость населения и врожденную лень… Однако честный ответ один: что-то не так в самой основе буржуазного просветительства, и подход надо менять. Парадигма пустого сосуда, в который (иногда через катетер) вводят подобающее содержимое, — далека от живой действительности, где все сосуды уже забиты под завязку, и добавить новое можно либо выплеснув часть старого — либо (другая сторона того же) за счет уплотнения упаковки (например, с выносом мусорной части вовне, на внешние носители и в «умные» алгоритмы). Новым знаниям приходится договариваться со старым багажом — напрягать психику ради

сглаживания противоречий и преодолении внутренних конфликтов. Эклектика — почти панацея; но в сильно связанной культуре одному от другого не отбрехаться. Насаждая правильность, приходится сплошь и рядом исправлять испорченное — и «ошибкам» этим уже не одна тысяча лет! А уж насчет лени… Чья бы корова мычала! Именно ее, родимую, пестуют почти все известные и неизвестные «методы».

Опять же, и здесь противоположности, которые по сути неразличимы. Основной тренд современности — упрощение, минимизация требуемых для усвоения усилий, легкость и непринужденность, образование как побочный эффект игры… Но чем меньше труда — тем меньше желания трудиться. Пусть все вокруг нас прыгают (за наши деньги). Это не мы бестолковые — это они не умеют толком объяснить! Другая струя — новейшие учения о языковых структурах. Легко подольститься к соискателю мудрости, признать, что традиции слишком абстрактны, и следует исходить их практики употребления языка для решения насущных жизненных задач. Но что внутри? Снова, вместо изучения действительности языка, предлагается ограничить себя удобной видимостью, — только бы не напрягаться.

Были надежды, что современные технологии придут на помощь и заменят изрядную долю нудной зубрежки удобством поиска в общедоступных справочниках и словарях, освободят умы для свободного творчества. Но, похоже, мечтам тоже суждено умереть. Потому что все делают с точностью до наоборот: искусственный интеллект не способствует распространению языковых знаний и навыков, а подменяет их собой; думает не для нас — а вместо нас. Если нас интересует текст — мы уже не обязаны воспринимать его в оригинале: услужливая программа переведет за пару мгновений. Что она там накосячит — мы все равно не поймем; наивно полагая, что мы уже в курсе, мы лишь бездумно глотаем идеологическую наживку — и хорошо, если обязаны мы этим всего лишь глупости программиста!

Что грамматики сплошь корявы — сомнений никаких. Что упор на заливку информации и отработку рефлексов не тянет на звание серьезного образования — однозначно. Но нельзя же вместо одной теоретической лабуды лепить другую — а грамотность подменять правилами игры! С другой стороны, язык — не только знания, а образование не сводится к обучению. Вспомним, что изучение языков осмысленно лишь в контексте культурного роста — причем не только мы становимся культурнее, но и культура становится «нашнее», учитывает наш вклад в одно большущее дело. Поскольку система образования заточена под массовое производство говорящих орудий, методы преподавания языков поголовно страдают общей немочью: они заскорузло статичны, исходят из языка как данности, всего лишь предмета. Но язык не только потребляют, его еще и воссоздают — в каждом общении по-новому. Язык не просто усваивают под культурным давлением — язык по-своему вырастает в каждом, вместе с ним, как его личное открытие и, следовательно, особая линия в целостности культуры. В какой-то мере, само понятия языка требует переосмысления, с учетом множественности перепутанных нитей. Это не штампованный, а тканый узор.

Маленькая иллюстрация. Есть ходячий предрассудок, что книжка с картинками народу заведомо интереснее, нежели сплошной текст. В древности переписчики норовили пририсовать к буквам какую-нибудь рожицу; потом этим кормились художники-иллюстраторы и каллиграфы (иногда поднимающиеся до уровня подлинной художественности). В конце XX века все без исключения сферы полиграфии заполонил комикс (в образовательной сфере эвфемистически именуемый «инфографикой»). Так вот, большинство методических изобретений в лингвистике выглядит одинаково: то, что раньше писали текстом, надо заменить (или хотя бы пропараллелить) картинкой, — будь то фотография, ситуационный рисунок, графика жеста — или формальная схема. В моду вошли иллюстрированные (а иногда и полностью рисованные) словари; книжки по грамматике пестрят изображениями, долженствующими показать, а не разъяснить практику словоупотребления (названия типа *English Through Pictures, See It and Say It in Spanish*, или *Japanese in Mangaland* говорят сами за себя). Эталонные «программированные» учебники (курсы подготовки к экзаменам) снабжают не только аудио- но и видеозаписями — что уж говорить про изначально компьютерные, интерактивные курсы! Но задумаемся на мгновение: так ли разумно без оглядки уповать на зрение? Может быть, предполагаемая эффективность — всего лишь оптическая иллюзия? Действительно, чтобы картинка воспринималась по задумке,

надо совпасть с ее автором в миросозерцании, принадлежать тому же кругу условностей. Можно, с некоторой натяжкой, допустить, что носители языка склонны одинаково интерпретировать схематические иллюстрации, и что ситуативные картинки они поймут примерно одинаково. Когда же речь идет об изучении иностранного языка — это было бы слишком сильным предположением. Грамматические схемы в учебниках — тоже особый язык (вроде локоса), который необходимо освоить прежде чем приступить к основному курсу. Нечто похожее — практическая транскрипция для языков с незнакомой письменностью: без этого не обходится ни английский, ни французский язык; в арабском без огласовок на первых порах трудно; японские слоговые азбуки приходится запоминать; изучающим китайский язык была бы очень полезна технология, соединяющая в тексте несколько слоев (старые и новые иероглифы, пиньинь, практическая транскрипция на другом, более знакомом языке), с возможностью оперативно посмотреть нужный слой, без изнурительного поиска в словарях.[68] Другая ассоциация — курсы (или справочники) «практической грамматики». Почти всегда имеется в виду лишь одна из стран, в которой говорят на таком языке. Но практика английского языка различна в разных уголках земного шара — и тем более в международном общении; практический французский даже внутри континентальной Франции демонстрирует серьезные региональные (ослабевающие) и этнические (усиливающиеся) различия; в Канаде вообще принят принцип языковой терпимости: говорите, как умеете, — все сойдет! Врастание в практику другой страны — наисерьезнейшая проблема. Но даже внутри монолитной нации есть место и диалектам, и классовым различиям. Допустим, большинство моих сограждан пьет пиво — а я не пью, и для меня весь пласт языка, связанный с практикой пивопития, — филькина грамота. Теоретически я могу себе представить мир пивного человека — но мне это по жизни совершенно ни к чему (если не допустить, что я великий писатель, которому приходится сознательно подбирать и такие краски). Практический русский язык для меня — бесконечно далек от многоразличных практик русскоязычных миллионов, разбросанных по всему миру. Так почему с другими языками должно быть иначе?

Наконец, есть такие чудики, которые на глаз вообще не воспринимают: им надо подробно и словами. Чтобы не только внешний вид — но и как устроено. В музыканты или танцоры таким, вероятно, лучше не соваться — но почему бы не поподвизаться в качестве теоретического лингвиста? Если, допустим, кому-то интересен только гомеровский греческий, или язык Лао Цзы, — на кой им современные картинки из учебников? Такие иллюстрации только затуманивают суть, мешают заниматься делом. «Натуральный» метод в приложении к античности — всего лишь стилизация, перенос современности в атрибутику прошлого (не без идеологии: нам предлагают это прошлое воспринимать в духе официально дозволенного). Настоящее «погружение» в языковую старину — долгие занятия не только лингвистического свойства. Будет осмысленное движение — вырастет подходящий язык.

Обратим внимание, что все без исключения методики изучения языков рекламируют «быстрый старт», возможность влететь в предмет за минимальные сроки (в расчете на предстоящий экзамен). Поэтому (иллюзорная) эффективность метода заметна лишь при изучении «с нуля». Последующие циклы (*intermediate, upper intermediate, advanced*…), по сути, представляют собой лишь повторение пройденного, пережевывание все тех же тем, постепенное расширение словаря; здесь нет ничего сверх того, чему студент мог бы научиться сам, читая книжки, смотря телевизор, слушая песенки — или еще как-то приобщаясь к массовой культуре. Остается лишь коммерческая составляющая — натаскивание на очередную аттестацию строго по программе. Настоящее знакомство с языком — вне школы: это годы общения и труда.

Оборотная сторона статичности метода — этническое размежевание. Свое железно противостоит иностранному. Но представьте (как у Джона Леннона: *I wonder if you can*…) себе мир, в котором нет границ, таможен и войн за клочок земли: каждый волен поселиться где угодно и заниматься любимым делом (или не заниматься ничем), общаясь с теми, кто ему по душе (или не общаясь ни с кем). Откуда в таком мире возьмется идея «родного» языка? — что будет «иностранным», если иных стран попросту не существует? Оказывается, что никакого различия

[68] Какие-то наработки на этот счет есть. Но в моей практике я еще не встречал сколько-нибудь удобного электронного словаря — который бы не портил операционную систему, а работал поверх любой.

языков вовсе нет — а есть один на всех язык, и разные способы его употребления, культурные варианты. Поэтому, скажем, «контрастивный анализ» как метод преподавания уже не сравнивает родное с чужим, а подсказывает, как можно по-разному сказать (или сделать) одно и то же. Русская физика не отличается от малайской, американские технологии прекрасно себя чувствуют в Китае. Мы учимся не у профессора П., аббата А., или в университете У., — мы перенимаем опыт друг друга, независимо от методичности или предметности. Пробуя по-разному говорить, мы развиваем нашу способность чувствовать, мыслить, мечтать. И на этой основе по-новому подходим к любой обыденности.

Так что же? Выходит, нет в освоении языков никакого метода — и каждому придется выдать его собственную модель велосипеда? Не слишком ли накладно?

Да, массовое производство экономичнее. Но не надо путать дешевизну с эффективностью. Когда мы думаем не о том, сколько навара на товар, а об удовлетворении нормальных человеческих потребностей, — мы просто не заметим разницы в цене, ибо взвешиваем наши дела на других весах.

Конечно, вообще без метода не обойтись. У людей есть свои предпочтения, и сам факт общения с кем-то конкретным переносит эту конкретность на всех единожды пообщавшихся. При капитализме это принимает уродливую форму разделения труда; разумно устроенный мир основан на подвижном распределении деятельности, на кооперации, а не конкуренции. Если мне привелось придумать свой язык программирования — я могу пользоваться им в одиночку, для собственного удобства, — но могу свободно поделиться с другим, кто вытащит из моего изобретения свои полезности (о которых я мог изначально и не догадываться). Язык становится общественным явлением, у него теперь своя история. Пока мы не торгуем языком, он живет, дышит, пропитывается разнообразием, насыщается выразительностью. Рыночный язык — раб, убогий обрубок разумности, абстрактная схема — метод.

Правильный (некоммерческий) учебник — не следование методу, а веер возможностей. Это не последовательно выстроенный курс, размеченный под положенные сроки, — вступать в работу можно с любого места, двигаться в любом направлении: это не река, а океан — или даже космос. Такой учебник не предполагает никакой «целевой аудитории» — каждый выстраивает метод под задачи сегодняшнего дня, и перестраивает при другой расстановке приоритетов. Надо уложиться в нормативы — прекрасно, сделаем подходящую схему; требуется войти в узкую тему (вроде коллекционирования марок с языковедческой тематикой) — без проблем, вытащим только относящееся к делу. Когда требуется получить общее представление — это одно; умение вписаться в коллектив — свои особенности. Если угодно, это называется иерархический метод. Но что нам от названия? Важно, что за словом стоит.

Может показаться, что идеал недостижим, что так не бывает. Да, в классовом обществе не бывает — и не может быть. Но не все сущее существует как единичность предмета — и можно уловить суть за россыпями непроизвольных намеков. Соедините совокупность частичных методов с общественной потребностью в языковедении — и появляется личностный (а значит, нерыночный) стимул, объективная причина интереса к языкам и языковых способностей любого рода. Поэтому всегда найдутся энтузиасты, которые вытащат ценное для себя из вороха умных книжек — или прислушаются к разговорам соседей, — и даже прорубятся, при необходимости, через рогатки идиотских квалификаций. Расширение технических возможностей позволит перейти, в конце концов, к непрерывному образованию, размеченному не абстрактными «сенситивными периодами», а здоровой потребностью общественно-значимого труда. Кусочки знаний лучше прорастают в подготовленной почве, в контексте сознательного применения. Собственно, в этом и состоит будущая революция в образовании: людям помогут осознать, для чего все нужно, — и тогда само собой станет понятно, что и как. Идея совершенно небуржуазная. Однако против лома нет приема — и в недрах капитализма, несмотря на фантастически совершенные методы промывания мозгов, самосознание масс будет расти — даже если потребуется прятать его от античного полицая, упаковать в охламонский прикид. И на всех языках планеты зародыши людей будущего смогут весело распевать: *нам не страшен полиглот, полиглот, полиглот…*

Язык и развитие

Все развивается. Сегодня это признают все — кроме, быть может, самых упертых идеалистов и метафизиков: первые считают все не более чем иллюзией, вторые — твердят об иллюзорности любых изменений. Однако признать — не значит понять (и уж тем более простить). Допускаю, что есть вещи, которые понимать незачем. Но что мешает нам хотя бы задаться вопросом — просто так, низачем? В качестве необъяснимой потребности духа.

Господствующий в академической лингвистике структурализм не оставляет развитию ни малейшего шанса — просто потому, что структура по сути своей статична, в ней нет места даже движению, простому воспроизводству (системности). Языкознание представляется огромным собранием исторических казусов, изучение языка (как по жизни, так и в науке) полностью сводится к номенклатуре: звуки, знаки, слова, перечень способов обращения со звуками, знаками и словами, плюс коллекция идиом (типовые комбинации). Составили опись — работа завершена. Конечно, пока язык в употреблении, придется время от времени возвращаться и корректировать списки; но это не выводит за рамки базовой структуры, ибо однажды усвоенное продолжает абстрактно существовать наряду с новшествами, и количество накопленного знания неизменно растет (предмет академической гордости!). История языка при таком раскладе выглядит эдаким вселенским кладбищем: на каждый языковой факт навешены дата рождения и дата смерти; если последняя дата по каким-то причинам отсутствует, место в семейном склепе все равно забронировано, и живые языки — лишь прототипы покойников. Замена конкретных дат на исторические эпохи и распределения частотности придает картине положенное наукообразие, ничего не меняя по существу.

Тот же метод в применении к проблеме зарождения языка: все возможные структуры даны с самого начала, и речь может идти лишь об историческом освоении, — об изучении человечеством собственного языка. Комически-пародийная версия — происхождение всех языков из единого первоисточника, распад изначального совершенства, варварское огрубление божественного замысла…

Наши первобытные предки не сразу доросли до высокой научности — и не видели всей грандиозности структурного подхода. Для них мир долгие века оставался источником всяческих неожиданностей, нагромождением нелепостей; приводить это хозяйство в порядок — прямая обязанность человека. Иной раз обустройство требует долгих лет упорного труда широчайших народных масс — а какой-нибудь потоп или не вовремя чихнувший вулкан сводят достижения к нулю, и приходится строить заново… Первобытная лингвистика не исключение: язык в ней — продукт человеческой деятельности, а вовсе не изначальное установление; поэтому контакты с другими народами обогащают язык лишь в той мере, в которой у них можно чему-то практически полезному научиться. Следы этой древней науки легко заметить даже в канонических текстах. Например, библейский бог не заморачивался языкотворчеством: он просто заставлял якобы созданного им человека смотреть на все подряд и как-то называть (вспомним о современных технологиях машинного обучения!); то есть, богам, по большому счету, людская номенклатура вообще ни к чему: им достаточно что-то материальное поиметь, хотя бы в черновом варианте, — а обсуждать это с людьми не предполагается. Меж собой боги могут общаться как угодно — однако людям в их разборки лучше не встревать и заниматься своим насущным. Когда богословы спорят до хрипоты по поводу точности канонических формулировок, шлифуют тексты богослужений и молитв, — это другая сторона все той же академической традиции; богам до лингвистических изысков ни малейшего дела нет.

В очень больших скобках: если бы боги действительно существовали (и в той мере, в какой они существуют как мистифицированная форма практически полезных категорий), люди вполне могли бы «перевести» божьи деяния на свой язык, внимательно наблюдая за происходящим и устанавливая (существенные для людей) закономерности. Разумеется, для этого необходима обратная связь: мы активно придаем природному материалу разумную форму и учитываем его сопротивление. Просто ощущать, регистрировать раздражители, — недостаточно. Когда нет возможности физически ткнуть далекую звезду — мы ищем в бесконечности случаи похожего воздействия со стороны чего-то природного (то есть, как бы на время делегируем природе наши

полномочия, заменяем руку «прибором»). Однако чтобы боги воспринимали такие упражнения всерьез, им от нас тоже нужна польза — и не на уровне глупых ритуалов, а как подспорье в делах. Нет, конечно, выражение раболепия может приятно пощекотать самолюбие всемогущих господ; однако без реальной работы на барина приедается даже тонкая лесть. Ритуальность намеренно глупа — потому что ее задача лишь сигнализировать о сохранении критических параметров в допустимых пределах: *в Багдаде все спокойно*…

Грубый материализм принимает природу как данность; поскольку человеческие формы отражения природы тоже природны — оказывается, что и они существуют сами по себе; поэтому вульгарно материалистический мир так похож на бредовые видения идеалиста. Но природа, по смыслу, вовсе не то, что рождено, — а то, что рождает. Не ставшее, а готовое стать. В том числе с нашей помощью. И язык не приходит к нам сам собой — его делают люди, как всякий иной продукт, — а значит, можно говорить о языковой активности как особой области производства.

Человеческая деятельность существенно коллективна. Сознание не в теле — это особое отношение между телами, одушевленными и не очень. Но поскольку тела все-таки есть, а любой продукт деятельности — либо вещь, либо отношение между вещами, каждому телу деятельность представляется *его* деятельностью, способностью воздействовать на вещи. И себя, и других человек первично воспринимает в качестве производительной силы — и только потом как отражение природы, внутренний мир. Коллективный характер производства в синкретичном сознании скрыт, первобытное самосознание эгоцентрично, и только на достаточно высоком уровне развития разума, когда каждый человек способен быть не только частью коллектива, но и его полномочным представителем, когда коллективный интерес становится для каждого своим, совместная деятельность теряет характер сложения (и борьбы) независимых сил, становится единой производительной силой.

Особенность языковой активности в том, что она коллективна не только по сути, но и формально: для общения нужны, как минимум, двое. Даже если они общаются не лицом к лицу, разделены пространством или временем. Язык выставляет на всеобщее обозрение то, что в другой деятельности оставалось бы в тени, высвечивает единство общества как коллективного субъекта. И сразу же выясняется, что речь не только о конкретно-исторических формах культуры (общественно-экономических и культурно-исторических формациях), но и о единстве всех таких частных культур в составе субъекта более высокого уровня: этноса, нации, человечества в целом. Так мы приходим к идее языкового развития через взаимодействие культур. Нет реального взаимодействия — культура вырождается, и язык умирает.

Еще одни скобки: перевод как один из важнейших механизмов поддержания жизненности. Не в один конец — от экзотических наречий к мировым языкам, — а в оба конца, чтобы развитые партнеры умели не только поживиться чужими находками (своего рода лингвистический колониализм), но и передать опыт тем, кто в нем объективно нуждается. Воспринимать другие народности как младших братьев — значит, отказать им в праве на самостоятельное развитие, видеть в них только исторический казус, зрелище, аттракцион. Чужой язык в этом случае не выходит за рамки все той же номенклатуры: мы о нем знаем — но предпочтем обходиться своим.

Слышу возражения: не всем же выходить в мировые лидеры! Каждый язык обслуживает свою культуру — безусловно интересную и ценную, но не такую, как другие. Когда мы поедем в джунгли Амазонии — мы будем говорить с аборигенами на их красивом и выразительном языке; когда они приедут к нам — пусть говорят по-нашему. Зачем амазонянам учебник физики в национальных традициях? — проще по-английски прочесть: терминологически все давно устоялось, и не надо изобретать велосипед. Органическая химия для чукчей — это же как Шекспира переводить на фортран! Получится сплошная транслитерация: чаакэн районкэн комитет комунистакэн партиякэн советкэн союзэн… И самое главное: начни мы внедрять передовую европейскую науку в амазонские джунгли — не станет ли это варварским насилием, уничтожением вековых традиций, коренной ломкой образа жизни? Хотят ли аборигены себя менять? Может быть, им и так хорошо: лишь бы не трогал никто! Мы же боремся за биоразнообразие — так почему не побороться за разнообразие культур?

Но я не случайно говорил об объективности. Развитие — не прихоть, не блажь, не произвол. Это естественно-исторический процесс. Который идет не куда попало — а вполне

определенным образом. Как бы мы ни трепыхались, невозможно сохранить то, что исторически обречено; можно лишь продлить агонию. Когда в недрах Солнца выгорит водород — звезда неизбежно распухнет в красный гигант и перейдет на гелиевые реакции. Бороться с этим глупо: проще подыскать (или научиться создавать) более благоприятные условия, переехать подальше. Тем более, времени пока хватает. Но если мы будем полагаться на авось и затягивать с переселением — есть риск нарваться на крупные неприятности. Точно так же, всем народам предстоит пройти закономерную последовательность культурных формаций — и лучше разумно контролировать процесс, чем уступать разрушительной стихии. Да, дикарю в дикости вполне комфортно; однако искусственно тормозить поток перемен — все равно что препятствовать выздоровлению больного, смирившегося с болезнью и привыкшего к боли. Избавить женщин от пытки месячными, беременностью и родами, кошмарами менопаузы, — благороднейшее призвание разумной медицины; попытки оправдать и сохранить физиологическую дикость — преступление перед человечеством.

Искусственно оберегать амазонских (и любых других) аборигенов от столкновения с современными технологиями — полнейший идиотизм. Они все равно уже знают и об огнестрельном оружии, и о телевидении, и о футболках с зеленым крокодилом… Кто-то еще практикует охоту по старинке — но большинство предпочтет добывать огонь из спичек или зажигалок, а промышленные орудия и механизмы куда надежнее сделанного из подручных материалов. Так почему все это не должно отразиться и на племенных языках? Если у кого-то в хижине работает компьютер с выходом в Интернет — почему не объяснить принципы радиосвязи на родном языке, без лишних англицизмов? Вот тут бы и пригодился переводной учебник физики… Если великодержавным носителям мировых языков лень озадачиться полноценным переводом (подразумевая создание полномасштабной системы образования), объяснить это можно лишь небезосновательными подозрениями, что чересчур развитые меньшие братья захотят еще чего-нибудь: например, начнут бороться за национальное самоопределение, перекроют доступ к природным ресурсам, выдворят военные базы и потребуют равноправия на международной арене.

Скобки закрываются. Возвращаемся к коллективному субъекту и практике общения.

Парадоксальным образом, язык, по сути своей призванный объединять людей в деятельности, на уровне уже сложившейся общности выполняет как раз обратное: отделяет один этнос от другого. Общность языка, по сути, и определяет этнос: все остальные признаки (типа общности технологий и привычек, территориальности, генетического родства и т. д.) — это очень вариативно, легко смешивается в разных пропорциях и допускает отсутствие любой из компонент; напротив, единство общения — первое, что бросается в уши, и неизменное начало всего остального. Поэтому и этническое сознание ставит умение говорить во главу угла, а кто не умеет — немцы и варвары. Конечно, с точки зрения исторического материализма все обстоит как раз наоборот: чтобы язык мог представлять этническое образование, оно должно сначала сложиться как объективная целостность; формы языка лишь овнешняют эту скрытую общность, дают ей имя. Когда-нибудь в очень светлом будущем, когда единство разума станет фактом космического масштаба, нам вообще не понадобится противопоставлять наших и ваших; этнообразующая функция языка уйдет в недоразумое прошлое. Но сейчас, в эпоху разделенных миров, язык следует нормам всеобщего разделения труда — и становится для каждого носителем идеалов группы, в противоположность личному и общечеловеческому.

Разумеется, внешнее (этническое) размежевание — обратная сторона внутреннего, классового расслоения. Одно без другого не бывает. Одно легко превращается в другое. Поэтому, когда советское руководство взяло на вооружение идею социализма как многонациональной общности, оно автоматически обрекло страну на гибель, — ибо всякое замыкание в границах группы приводит к установлению экономических и территориальных границ. Имперская идея языка межнационального общения — только усугубляет раскол: один этнос тем самым поставлен в экономически привилегированное положение, и остальным надо либо вливаться в правящие ряды — либо сопротивляться до последней морфемы.

Всеобщий принцип овнешнения границ начал работать в глубочайшей древности, когда первобытные стада только начинали превращаться в родоплеменные образования, — и языка в

современном понимании вообще не было. Ограничение прав пришлых особей возможно только в условиях внутренних ограничений. Традиционная наука придает величайшее значение родственно-семейному регулированию, которое, якобы, непосредственно вытекает из природы человека биологического — и потому просто обязано впечататься в нарождающиеся языковые структуры. Действительно, (грамотное и непредвзятое) изучение терминов родства проливает свет на самые глубокие пласты этнического сознания — и становится мощнейшим инструментом реконструкции доязыковых обществ. Эдакий гибрид лингвистического микроскопа с телескопом палеоантропологии. Однако, при всей биологической значимости, в основе родового устройства лежит отнюдь не семейное право: действительно, каким образом было бы возможно установить сложные правила обмена биоматериалом, если бы не было для этого достаточно настойчивых методов общественного принуждения? И не надо мне про традиции! Традиция — позднейшая стадия экономического развития, когда экономический уклад теряет собственно экономическое содержание и уступает дорогу чему-то новому (по отношению к чему он традиционен). Первобытно-семейные дела вырастают на каких-то экономических зародышах — из способа производства. Чтобы разглядеть это — микроскопа недостаточно: нужен еще и рентген. Принципиально возможно — однако современный материал слишком подвержен буржуазным заботам о языковой корректности: чтобы ненароком против начальства не сболтнуть… Основные открытия палеолингвистики еще впереди.

Еще одна скобочная конструкция — о когнитивном уклоне. Нам с античности впихивают во все дырки: язык — средство познания, общение — обмен сообщениями… Тупая калька классовой истории: сначала чего-то нахапали (якобы из природы) — потом начинаем этим обмениваться, базарить. Кто больше урвал — тот и на коне: считает и мечет. Деньги и громы, соответственно. Для буржуазного лингвиста язык — коллекция вещей. Которые способны обозначать другие вещи. Какое тут развитие? Только в смысле роста капитала (тезауруса). Тут буржуазная наука делает гениальнейшее открытие: оказывается, в когнитивном плане далеко не все элементы языка равноценны! Ну почти как люди в классовом обществе. На первое место решительно выдвигают — что? — конечно же вещи! — то есть, имена вещей. Дескать, только для имен вещей у человека есть «остенсивное определение» — указательный жест. Ни свойства, ни движение вещей такой замечательностью не обладают: не во что пальцем ткнуть. Нет больше ни для чего такой универсальной методики.

Поистине, пальцем в небо! У человека полно жестов для чего угодно, а не только указания на объект. Более того, указательные жесты — меньшая часть. Много экспрессивных жестов, выражающих состояние говорящего. Большинство жестов подчеркивают сказанное, или даже совсем его заменяют (тут кстати психоанализ несовпадения жеста со словом, и ораторское искусство). В конце концов, даже когнитивные жесты весьма и весьма разнообразны: вспомним хотя бы «брадатого мудреца», который изображал собой движение. Когнитивность — прежде всего уподобление, подражание, повторение: любая учеба начинается с этого. Легко видеть, что остенсивное определение — тривиальное развитие (редукция) хватательного движения: чтобы чем-то попользоваться, надо его поймать (и только продвинутые умы схватывают на лету).

По всей видимости, именно соединение слова с жестом — у истоков языка. Звук приобрел осмысленность как замена жеста в тех случаях, когда на зрение полагаться нельзя. Но привычка подкреплять слова жестами осталась: значит, не доверяли наши далекие предки словам, требовали чего-то посущественней. Точно так же система языка складывается в единстве действия и противодействия: препятствие отклоняет деятельность в иное русло — передает другим исполнителям.[69] Если с разбегу налететь — без крепкого словца тут не обойтись!

Но жесты жестам рознь. Экспрессивные, коммуникативные, побудительные… И для каждого найдется в языке своя интонация. Вот об этом и скобки: не всегда важно, что мы говорим, — но всегда важно для чего. Для этого имена и прочие глаголы.

Продолжая линию «естественного» развития, логично обратиться к временам не столь отдаленным и куда больше задокументированным. Существует огромный массив фактического

[69] Вспомним универсальную методику психологического эксперимента для регистрации перехода действия в мысль и наоборот (Л. Выготский).

материала о реальном развитии европейских языков; дальневосточная история, к сожалению, не столь показательна, поскольку ее неоднократно переписывали и сами субъекты истории в интересах классовой верхушки — и пришлые историки в интересах колонизаторов. Но есть замечательный факт чуть поближе: арабские геополитические и лингвистические завоевания. Почему половина Азии вдруг отказывается от родных и привычных говоров в пользу чужого языка, для некоторых (индоевропейцев и тюрков) очень даже не родственного? Заимствуют не только культурные новшества — начисто вытесняют древнейшие пласты народной речи, и язык широчайших масс настолько насыщается чужеродной лексикой, что современным властям приходится порой предпринимать титанические усилия для хотя бы минимальной очистки, соблюдения этнических приличий. В персидском языке, например, по-свойски обживаются даже арабские грамматические формы; турецкая орфография так и не избавилось от никому не нужных букв с крышечками (ср. аналогичные ссылки на латынь во французском языке). При том что сам арабский свою древнюю основу прекрасно сохранил — и лишь местные диалекты подвержены влиянию соседей.

Политически ангажированный лингвист, конечно же, не преминет отдать дань мощи и выразительности арабского, его способности передавать тончайшие оттенки смыслов: победа на мировой арене закономерна и заслужена. Опять, правда, противный имперский душок — приторная забота о братьях меньших… Которые, возможно, вовсе не меньшие — а со своим багажом высокой культурности, из коей и арабам не зазорно черпануть. С другой стороны, те же европейцы, честно признавая мавров духовными учителями, почему-то вовсе не горели желанием перекроить языковую среду под передовой семитский опыт — и только в XX веке европейские языки начали-таки прогибаться под бесчисленных мигрантов. В чем фишка?

Буржуазный историк, конечно же, упрется в мистику. Дескать, великое противостояние двух мировых религий поддерживало межэтнические трения на уровне яркого свечения, а брать выразительные формы у врага христианину как-то не по-божески. Особенно после успехов реконкисты и победоносных грабительских походов, с образованием колониальных форпостов в обещанной самим себе святой земле. Однако перетянуть арабские технологии различия веры почему-то не помешали; чуть позже из индусов и китайцев тоже вытянули по максимуму, без ложной брезгливости. Поэтому аргументы от бога не катят — надо искать более веские основания. Учитывая еще и многочисленность европейских языков, которые веками отстаивали самостийность — несмотря на формальное единство веры (в конце концов разрушенное вихрем экономических страстей).

Разумеется, как и с допотопными терминами родства, какие-то зависимости установить несложно. Например, в исламском мире семейные отношения регулируются кораном (и его толкованиями); за несколько сотен лет терминология в этой сфере полностью переходит на нормы арабской юриспруденции — и никакие старинные обычаи здесь не авторитет. Тем более, что истолковать старую обрядность в новом смысле — совершенно без проблем; в Европе этим интенсивно занимались на излете язычества. Однако вспомним: семейное право (даже выделенное в особое производство) — раздел гражданского (читай: имущественного) права. Семья — экономическая ячейка, и развитие языка здесь вторично: оно следует за развитием общественно-экономических структур. Кодификация производственных отношений призвана узаконить уже ставшее: это не механизм развития, а его результат.

Точно так же, любые другие лингвистические «уступки» — следствие изменения строения деятельности, вместе со способами коллективного участия в ней. К сожалению, буржуазная историография (включая советскую) с фактами обращается по-хозяйски — и документированно развить идею пока не получится. Это на потом. А пока достаточно ухватить общий принцип: на каком языке говорит экономика — на том же будет говорить и передовая литература, и народный быт. Русский бригадир быстрее выучит таджиков-гастарбайтеров, чем армия лингвистов и школьных учителей. Выучит тому, без чего по работе не обойтись; все остальное они скажут как раньше — но их дети будут уже лопотать с русским акцентом. Когда мы вытащим на свет историю как развитие системы производства — а не череду важных персон и дворцовых переворотов, — тогда и станет понятно, что должно заимствоваться, а что нет. Арабский халифат прежде всего породил не политическую структуру — а особый способ производства, единство

которого и заставило втянутые в исламскую орбиту страны (независимо от этнических истоков) снова и снова воспроизводить его в доступных на тот момент языковых формах. Европейская средневековая (а тем более ренессансная) экономика устроена иначе — и ее экономическая основа не допускала заимствования чужеродной лексики (которая приживалась лишь на периферии, за скобками классовой структуры).

История языка, таким образом, представляется культурным закреплением определенных этапов развития производительных сил — посредством модернизации производственных отношений. Внутреннее брожение переплетается с внешними влияниями: ничто не может быть заимствовано без принципиальной готовности, а во внешних сношениях на первый план выходит внутренне мотивированное. В зависимости от масштабов уже назревших экономических преобразований, уровень межязыковых миграций будет разным: лексическая экзотика, освоение новых ниш, системные сдвиги, растворение в доминантном этносе.

Но у языка есть не только естественная история. Поскольку, в силу универсальности субъектного опосредования, в языке представлено строение мира в целом, язык развивается трояким образом: как вещь, как живое существо, как деятельность. Конечно, разумные намерения и методы совершенствования языка — пока больше исключение, чем правило. Но зародыши активного вмешательства в собственную разумность пробиваются сквозь гниль капитализма, и готовят почву для его исторического преодоления. Гораздо заметнее, впрочем, сходство языковых процессов с биологической эволюцией. Что снова и снова рождает наивную веру в лингвистические способности животных: общность принципа необоснованно переносят в область наличных форм. Когда Маркс пишет о развитии производственного организма, производительных органов общественного человека, — в том числе в связи с теорией Дарвина (*Капитал*, т. I**: 23,** 383)**,** — он, конечно же, не имеет в виду сводимость экономики к биологии: речь идет о присутствии в человеческой деятельности биологических черт *поскольку эта деятельность еще недостаточно разумна*. Но даже в процессе сознательного переустройства мира уровни неживого и жизни не исчезают полностью — они лишь сняты, вытеснены вглубь иерархии, скрыты в неорганической и органической материи, поверх которой человек строит собственно человеческую культуру. Тем более органический уровень присутствует в развитии языка — универсального орудия, инструмента общения.

Непосредственным образом органичность языкового развития отражает происхождение этноса, образ жизни его далеких (но не очень далеких) предков. Так, в семитских языках можно усмотреть отзвуки древнейшего скотоводства, неразрывно связанного с постепенным освоением доступных пространств, локальной подвижностью, своего рода культурной диффузией. Для индоевропейских культур характерна тяга к структурированному быту: перетекают с ветки на ветку, стелются по траве. Напротив, тюрки — это долгие переходы к еще неясной цели, быстрая экспансия, стремительность и определенность действий. Конечно, я говорю на уровне субъективного впечатления — но сколько-нибудь вразумительных данных о языковой органике в науке пока нет. Ясно, что в языке, подобно биологии, возможно рассматривать (эпи)генез и морфоз как два стороны одного и того же: есть некое устойчивое ядро, которое сохраняется и передается из поколения в поколение, определяя этническое своеобразие, «звучание» языка; на этом фоне допустимы разного рода исторические случайности, иногда влияющие (путем значительного изменения среды) на характер воспроизводства «генома», который задает рамки вариаций — но эти рамки очень широки и могут перекрываться феноменологически.[70] Как обычно в мире живого, фенотипические изменения предшествуют генетическим, и закрепляется не признак как таковой, а предрасположенность к его появлению в фенотипе. Легко видеть, что это вполне соответствует ранее сформулированному принципу овнешнения границ — как его зеркальное отражение, по логике межуровневой рефлексии. Другими словами, то, что в вещном бытии языка вырастает как следствие экономических сдвигов, — для лингвистического организма утверждается как языковая норма — под которую стихийно подгоняются условия бытования языка: так буква закона становится важнее духа. Жизнь — уровень органической

[70] Например, музыка разных народов может быть внешне похожа — но опираться на разные принципы звуковысотной и ритмической организации.

необходимости, где все диктуется характером метаболизма. Органические моменты в языковом развитии теоретически отражены в многочисленных ссылках на полезность, адаптивные преимущества — и прочую телеологию. Дарвинизм ставит все на свои места, превращая мистику в естественный отбор.

В качестве иллюстрации — задумаемся: почему французский язык оказался таким как он есть — вписался в семью романских? Казалось бы, никаких шансов. Галлы на момент распада Римской империи еще говорили на многочисленных локальных диалектах — и только в южной Галлии (будущий Прованс) значительно романизировались. Набеги норманнов создавали активную германоязычную прослойку; борьба за галльские территории между германскими племенными союзами (франки, аламаны, бургунды) завершилась победой франков — что, по внешней логике, должно было бы упрочить германскую основу языка. И тем не менее, уже в эпоху Карла Великого франки (все еще противопоставляющие себя аборигенам) с гордостью заявляют о своих романских корнях — кто бы говорил!

С точки зрения органической экономики — никаких парадоксов. Формирование крупных этносов идет тем активнее, чем обширнее пестрый этнический фон, чем больше возможностей для органической комбинаторики. При этом ствол генетического древа потому и становится стволом, что не соответствует ни одной из ветвей — противопоставлен сразу всем. Блюсти экономическое (а следовательно, и государственное) единство можно было только на основе такого языка, который был одинаково чужд всем этническим группировкам; таким «эсперанто» и стала вульгарная латынь. Вульгарность тут — важнейший момент: только насыщение межнационального языка локальными элементами делает его «своим» для этнических меньшинств. Этот процесс пропитывания общей основы сразу всеми диалектами прежде всего протекает там, где все народности сталкиваются экономически, где они вынуждены встречаться и договариваться — а у себя дома они и на своем языке поговорят. Париж, Île-de-France — издавна на перекрестке торговых путей, естественно-экономическая связь между западом и востоком, севером и югом. Поэтому и стал парижский диалект вульгарной латыни нормой межэтнического общения и гарантом единства этноса. Космополитизм — в душе парижан. За это их так не любят в провинции — но именно это вывело Францию в число передовых наций современного человечества.

Конечно, обзор следовало бы дополнить указанием на сохранение в Галлии позднеримского способа производства (прототипа собственно феодальной экономики) — вокруг этого ядра только и возможна консолидация фенотипических элементов. Как только франкская империя приобретает определенные очертания, она решительно противопоставляет себя не только «варварскому» Востоку — но и собственно германским племенам, и начинается многовековая история кровопролитных войн… Французский язык расходится с германскими (включая англо-саксов) — национальная литература на подъеме. Но тем печальнее для этнической мелочи: отбор по языковому принципу утверждает новые экономические структуры, способствует росту сословной иерархии. Потом — кристаллизация, затвердевание языка. Ришелье и Академия. Отголоски языкового отбора заметны во Франции до сих пор.

Биология — вне разума. Дикая борьба за существование принимает самые уродливые формы. Но это значительная часть того, что мы знаем сейчас об этногенезе, — и приходится это учитывать, и быть готовыми к новым потерям в стане разумности. Не стоит принимать на веру заявления буржуазных лингвистов о чисто научном интересе к общей теории или экзотическим диалектам: по большому счету, сама по себе абстрактная научность — существенно буржуазная идея. Ученые книжки иногда трудно понять; однако даже в полной непонятности на душе остается осадок, который чем-то пахнет. Вот на это и рассчитана большая наука: ей совершенно без разницы, что есть истина, — важно подтолкнуть массы к высочайше одобренным действиям, и отвратить от неугодностей. Конечно, речь не о формальных фигурантах поверхностных историй: за этническими (и языковыми) предпочтениями стоят звериные разборки и рыночная стихия. Оживление почти вымерших прибалтийских языков российскими энтузиастами было решительным поворотом к разделению экономических систем; окончательный уход из сферы российского влияния становился вопросом времени. Точно так же, подъем украинского буржуазного национализма — не возрождение народа (как выставляют дело тамошние и

заграничные ревнители этнической чистоты), — а наоборот, уничтожение старинных корней ради сиюминутной выгоды, ради устранения препятствий на пути разграбления природных и культурных ресурсов Украины (и России) пришлыми миллиардерами. Украинский язык слепили как сплошную отрицательность: лишь бы не оставить ничего русского. Это не лингвистическое явление, а сплошной пограничный столб, рогатки и надолбы. Но в животном мире никому нет дела до красоты и выразительности: в достаточно устойчивой экосистеме сгодится что угодно. Метаболизм новых наций поддерживают обильными зарубежными вливаниями — а когда мавр сделает свое дело, искусственное питание можно отключить, и освободить место для истинных хозяев, которым глубоко безразлична судьба многочисленных варварских языков. Некоторым образом, модель этого процесса у нас перед глазами: эволюция компьютерных языков на фоне ожесточенной борьбы за передел рынков информационных технологий. Начиналось с красивой идеи обратной совместимости: все новые наработки не должны влиять на работоспособность старых программ… В итоге получилось с точностью до наоборот: потребителя вынуждают отказываться от старых, проверенных технологий и переходить на новые, громоздкие и неудобные, — да еще и железо регулярно обновлять, ибо старое никем уже не поддерживается… Языковая стихия и языковой отбор — явления того же порядка. На это бы обратить внимание проповедникам теоретических абстракций — и перенести опыт в седую древность, предысторию и раннюю историю языка.

Ладно, черт с ними, с убогими! Для разумного человечества законы движения вещей — указание на уровень развития материально-технической базы, а заповедники органического метаболизма — своего рода исследование возможностей, обнаружение наиболее универсальных принципов организации. Человеческая культура предстает бессмысленным хаосом, игрой разнонаправленных сил, пока (и в той мере, в которой) она развивается сама по себе, как фон и материальная предпосылка разумной деятельности. Культура лишь отбирает и закрепляет полезные приспособления — поскольку она остается полем конкурентной борьбы. Только отказ от любых границ — поиск общности, а не различий, — путь к разумному развитию языков, и разумному языкознанию. Не надо ни сохранять, ни преумножать. Надо делать то, что нужно. Сейчас — а значит, в прошлом и в будущем. Здесь, для нас,— а значит, везде и для всех. Развитие языка в таком, разумном понимании, — это постоянное творчество, пересоздание сущего — вопреки его природности, бестолковой стихийности и физиологическому консерватизму. Давайте придумывать себя — и давать себе новые имена. Даже если не сумеем воплотить — имя останется, и что-нибудь обязательно взойдет.

Мы, они и все-все-все

Практически в каждом из сколько-нибудь распространенных (или бывших таковыми) языков имеются грамматические средства для представления различных коммуникативных позиций: первое лицо, второе и третье, — а иногда еще и особо уважаемое лицо для вежливого обращения. Поскольку приходится учитывать также число (как минимум, единственное и множественное — но бывает и двойственное) и род (как минимум, два; хотя не везде мужской и женский), — изобилие личных форм глаголов и отглагольных имен (масдаров, причастий) устрашающе действует на бедных студентов, коим приходится долго привыкать к чьим-то языковым прихотям.

Поразительное лингвистическое единодушие не может быть всего лишь случайностью. Разумеется, мы с порога отметаем глупые сказки о едином происхождении всех языков от Адама (*Быт*., 2, 19; возможно, чуть позже и Ева внесла свою, сугубо женскую лепту — но про это писание умалчивает). Дело тут не в самом по себе языке, а в особом отношении человека к деятельности, которое оказывается в известной степени универсальным, и потому повсеместно воспроизводится в естественных языках. Можно предположить, что различать (то есть, обращать внимание на лица) язык научается на определенном этапе развития общественного производства и культуры в целом: отсутствие личных местоимений характерно, прежде всего, для племен, находящихся на раннеобщинной стадии, до приобщения к цивилизации (то есть, пока нет еще

устойчивых элементов разделения труда и классового расслоения). Допускаю, что где-то не так; но моя эрудиция (далеко не безграничная) контрпримеров пока не предоставила, а если таковые объявятся — с каждым будем разбираться индивидуально и по существу.

В двух словах: прежде представлений о коммуникативных позициях у человека должно возникнуть идея существенного (то есть, отчетливо выраженного и постоянно воспроизводимого в деятельности) общественного различия, нетождественности общающихся (в круг которых поначалу включаются и явления окружающего мира). Пока любой член общества (включая души предков и силы природы) может, хотя бы в принципе, играть любую общественно значимую роль, различия *я, ты* или *они*, не имеют смысла: кто конкретно чем-то занимается — коллективу все равно, лишь бы результат получился правильный…

Отсюда вывод: в древнейших языках необходимо преобладает безличное отношение к действию, когда о каждом участнике говорят как о внешней силе — «в третьем лице». Пережитки седой древности мы встречаем и в обычаях ряда племен (где о себе или собеседнике говорят в третьем лице), и в немецком *Ihr*, и во французском *on*, и в испанском *Usted*, и в придворном протоколе (*Ваше величество*) и в архаичных оборотах казенного языка (*Истец* и *Ответчик*, *Покупатель* и *Продавец*)… Если Вася отвечает наличествующему здесь же Пете отказом, это может звучать как: *Иди ты*! — но вполне может быть оформлено и в третьем лице: *Пошел на фиг*! — или в стилистике маньеризма: *Вася посылает Петю куда подальше*. Заметим, что личные формы придают высказыванию особую интонацию, делают его более динамичным — и эмоциональным. Одно дело: *мама мыла раму* (вежливо поздороваемся: *харе, Рама*), — и совсем другое: *ты мыла раму!* Это вполне ожидаемо, ибо в классово расслоенном обществе люди начинают очень даже активно относиться друг к другу: ревность и соперничество цветут пышным цветом. Со временем, как это часто бывает, все переворачивается вверх дном: архаичность безличных построений придает оттенок нарочитости современной речи, что позволяет (в определенном контексте) выразить широкую гамму чувств и заявить о собственном отношении к происходящему.

Как только историчность той или иной языковой формы заимела местечко в сознании, можно обсуждать механизмы и направления развития. Возьмись мы за что-нибудь другое — пришлось бы копать в невообразимо далекую предысторию; но с личными местоимениями забираться глубже пяти-шести тысячелетий не обязательно — а там корпус достаточно изученных текстов, археология системы артефактов; да и современная этнография кое о чем говорит. То есть, по факту, переход на личности исторически совпадает с зарождением письменности, что позволяет делать относительно надежные выводы по совокупности документированного общения — в палеолингвистике вещь почти немыслимая!

Чтобы ненароком не перепутать: утверждение личных форм в языке не имеет никакого отношения к восприятию самого себя как индивида. Последнее свойственно многим высшим животным — поскольку они поставлены в условия конкуренции с особями того же вида. Кошки, как правило, не узнают себя в зеркале; однако они мгновенно вспоминают о своей идентичности, как только в том же зеркале мелькнет некто им хорошо знакомый, кого они привыкли видеть со стороны. В искусственном контексте можно придать самочувствию адаптивный характер — и выработать «рефлексивный рефлекс». Такие опыты делали, например, со слонами: получается без проблем. На низших этажах биологического древа физиологических механизмов для самоидентификации практически нет — да и других такие существа воспринимают безлично, как внешнюю силу, а не братьев по крови (или иным питательным жидкостям). Можно предположить, что возникновение языка невозможно без органической поддержки рефлексии; но это вопрос непростой, и может оказаться, что рефлексивность органики — всего лишь адаптация к зарождающейся социальности: не причина, а сопутствующий эффект.

Поскольку язык есть, прежде всего, средство общественного распределения труда, уже его древнейшие (зачаточные) формы предполагают неоднородность сообщества, существование существенно различных сфер (вос)производства, отношение к которым, собственно, и выражает место каждого в общественной иерархии — и это синкретически совпадает с выделением деятельности как таковой, поскольку труд еще не отделен от исполнителя, а все занимающиеся одним делом — на одно лицо.

Важнейший момент — противоположность общественных и биологических различий. Так, представители разных родовых групп (кланов, семей) в биологическом плане отделены друг от друга — однако в отношении совместной деятельности они могут быть тождественны; точно также буржуазия разных стран легче найдет общий язык между собой, чем с пролетариями своей нации. В число участников деятельности могут включаться не только люди, но и живые существа иного таксона (например, тотем), а также образы природных сил, воспринимаемые как нечто столь же активное (духи, демоны, боги). При этом человек биологически никак не спутает себя с такими партнерами — но в личностном плане пока не отделяется от них.

Теоретически возможно вообразить себе протообщество без признаков социального расслоения — которое лишь при столкновении с другими группировками становится внутренне иерархичным, отражая иерархию внешних сношений. В таком коллективе все взаимозаменяемы, и нет ни малейшего повода различать единичных или групповых деятелей в языке. Реальность вносит свои поправки: как известно, все сколько-нибудь устойчивые группы животных одного вида неизбежно развивают этологическую иерархию — которую соблазнительно принять за отправную точку в развитии общественного устройства, включая его отражение в языке. Такая теория допускает возникновение личных форм на самых ранних стадиях — как ядро всякого языка вообще. Однако тогда не очень понятно, зачем и откуда берутся вездесущие безличные конструкции: для их возникновения придется изобретать какой-то особый механизм. Логически, не слишком привлекательно, поскольку есть всеобщий принцип развития: от синкретизма, через аналитичность, к синтезу. Поэтому рискну выдвинуть непопулярную гипотезу: животные виды продвигаются по пути общественного развития и вырабатывают зачатки человеческого общения лишь в той мере, в которой им удается преодолеть биологические различия, включая этологическую иерархию. Безусловно, формы совместной деятельности и общения будут носит отпечаток животности — но становятся они деятельностью и общением не как продолжение биологической организации, а в отличие от нее и вопреки ей! Дальнейшая история разума как раз и состоит в постепенном выдавливании животных элементов из деятельности, внедрении и распространении универсального коллективизма, устраняющего все препятствия для развития творческой личности.

Как легко догадаться, тут намек на будущее личных местоимений. Но и в прошлом у них отнюдь не сразу золотой век. Первоначальные формы языка синкретичны — именно это подчеркивает универсальность зарождающегося разума, выделяет главное. По жизни, прогресс первобытного способа производства связан с нарастанием общественного расслоения — вплоть до возникновения первых классовых обществ, цивилизации. Но язык начинает с того, что предшествовало человеческому сознанию и стало его основой, — общественности как таковой. Когда не важно, чем мы отличаемся, — а важно, чем наша деятельность отличается от животного поведения. По отношению к этому все человеки равны: несмотря на разницу общественного положения, суть в том, что это именно *общественное* положение — а не этологическая позиция. И выяснять отношения по поводу таких размежеваний придется другими, небиологическими средствами. Первобытному существу такое неожиданное равенство не могло не показаться чудом; отсюда восприятие первых опытов коллективности как таинства, как приобщения к высшим силам — могущество которых лишь проекция вовне собственной творческой мощи, умения преобразовать мир по своему усмотрению, волевым усилием. Связанный с этим древнейший слой языка долгое время сохраняет ритуальность, не смешивается со стремительно распухающим бытовым содержанием. Заметим, что идея особого, «сакрального» языка оказалась удивительно живучей — и до сих пор возникновению новых норм общности сопутствует рождение узкоспециального жаргона, призванного подчеркнуть освобождение от шаблонности обыденного существования, суетного животноподобия. Понятно, что в неразумном окружении сохранить первозданную чистоту не удается, и большинство таких сообществ — эфемерны, обречены на растворение в мутной стихии цивилизованного бытия. Но сам факт сохранения первобытно-синкретической языковой протоплазмы в недрах бесконечно навороченной утилитарности повседневного общения — свидетельство вполне однозначное.

Другая сторона той же лингвистической истины — устами младенцев. Да, у них много чисто животных реакций, рефлексов, полевого поведения и немотивированной телесности. Чему

удивляться, если и у взрослых особей такого добра полным-полно? Биология эгоцентрична. Однако первые акты речевого поведения — когда не о себе, а о том, чтобы вместе, как одно целое. Органические потребности — каприз, недовольство, требование сделать «правильно» (чтобы метаболизм не страдал). Но первые же синкретические слово-жесто-фразы грудничка — это приглашение быть рядом, — общаться, а не обслуживать. Ребенку важно получить не что-то конкретное — а чувство общественности; по отношению к нему детализация ситуации и переживаний вторична. Аграмматизм первых речевых опытов — прямое следствие такого отношения к другим, при котором то или иное распределение ролей всего лишь случайность, и кто кем окажется — для сути дела все равно. Первые игры детей столь же синкретичны: важен только характер действия и его совместность; намного позже (стараниями взрослых) развивается ролевое сознание, умение играть по правилам. Расслоенная на тысячи специализированных сообществ культура железной рукой направляет младенческое развитие. Вспомните, как настойчиво родители приучают ребенка отличать одних членов семьи от других, а потом еще и «своих» от «чужих» (последние часто становятся пугалом, источником неясной угрозы). Когда ребенок биологически отделяется от материнского организма, его путь к общественной индивидуализации только начинается. Сколько незаметных трагедий на каждом шагу! Этим и кормятся психоаналитики…

В качестве вишенки на торте — имена. Маленькому ребенку постоянно напоминают его имя, навешивают этикетку, загоняют в кандалы. Но! Ребенок поначалу воспринимает это поименованное чудище как нечто внешнее, к его (совместному с кем-то) миру отношения не имеющее. Ссылаются на него все (включая самого ребенка) в третьем лице: *это Петя, Петя играет, Пете надо спать*… Точно так же, имена других людей поначалу не связаны с их общественной значимостью, чисто формальны. Даже слово *мама* относится не к тому, с кем хотелось бы общаться, а к тому, от кого чего-то требуют и ждут. И тоже в третьем лице: *мама устала, а Петя маме спать не дает*…

Появление в речи личных местоимений — явление позднее. Оно знаменует грандиозный прорыв в развитии абстрактного мышления. Действительно, сообразить, что в одном случае слово ссылается на одного, а в другом на другого, — этому надо упорно учиться. Кто скрывается за именем *он*? То ли папа, то ли сосед дядя Коля, то ли какой-нибудь змей-горыныч… И почему я могу называть себя именем *я* — но точно так же поступают другие, дети и взрослые? Ох, неспроста! На каждом шагу жди засады.

Лингвистическая засада все в том же парадоксальном факте: язык как средство общения всеми своими клеточками утверждает всеобщее размежевание и общественное неравенство. Если есть *мы* — значит есть и *они*; а *вам* — придется выбирать: с нами или отдельно (ср. китайские 咱们 и 我们). Но как же без абстракций? — буквально все достижения цивилизации на них держатся!

Именно так: цивилизация. То есть, классовое общество, основанное на эксплуатации одних другими и всеобщем разделении труда. В противоположность бескорыстной взаимопомощи и всеобщей доступности средств производства. Но соль парадокса в том, что достичь разумности как таковой, способности осознанно переделывать мир и самих себя в общих интересах, — без уничтожения первобытного синкретизма невозможно: единство как данность, как дар природы, мало чем отличается от прочих «даров» — животности и вещности; лишь в качестве продукта деятельности наше единство снимает нашу неразумность и позволяет обойтись без деления на «наших» и «ваших». И поэтому ребенка надо учить элементарной разборчивости; и поэтому борьба идей неизбежна и полезна — если не превращать абстрактность в абстракцию, не забывать о практических задачах, которые всякая абстракция призвана грамотно обслужить. Язык в любых формах содержит уровень внутренних различений; однако в классовом обществе лингвистика обращает внимание прежде всего на эти, аналитические возможности, тогда как в бесклассовом обществе далекого будущего на первый план выйдут инструменты синтеза смыслов, развития и преодоления уже освоенной семантики ради выхода в новые предметные области. Такой язык будет пропитан поэзией, наукой, философией — не отделяя одно от другого, но лишь подчеркивая ту или иную грань общего дела. Это не просто средство коммуникации; главное здесь не передать, а сотворить. То есть, вместе творить.

Коммуникативная парадигма — прямое следствие экономики. Цивилизация заменяет непосредственный обмен деятельностями (и его языковую поддержку) обменом продуктами деятельности, которые уже и производятся не как таковые, не ради удовлетворения человеческих потребностей, а в качестве меновой стоимости, товара. Вместо участия в едином на всех процессе производства (сколь угодно диверсифицированном) — расщепление производства на противостоящие друг другу отрасли, каждая из которых, в свою очередь, проходит путь от синкретизма к разделению труда. Но как только деятельность представлена ее абстрагированным от общественной потребности продуктом — товаром, — общение по поводу деятельности уступает место общению по поводу обмена — и язык вынужден подчиниться экономическому давлению (поскольку он сам и есть материализованная культура, надстройка над способом производства). Первобытное, синкретическое общение неформально; именно поэтому так трудно идет научная реконструкция ранних стадий языкового развития (в отличие от фантазий по поводу единого божественного языка до всеобщего грехопадения). Привычные нам грамматические формы — языковое выражение разорванной в клочья экономики, результат перехода от первобытности к цивилизации. Но именно эта аналитичность, превращение рефлексии во внешнюю вещь, позволяет языку стать преимущественно представителем вещей, и тем самым создает предпосылки для возникновения письменности. История личных местоимений поэтому и оказывается изначально письменной историей — и только через отстранение от собственного языка (родовых имен) мы приобретаем способность видеть себя и других всеобщим образом, как надындивидуальные общественные явления (коммуникативные позиции).

Абстрактный характер такой всеобщности и рождает парадокс: как только мы находим способ объединить широкий спектр явлений в один класс — это сразу же рождает разбиение целостной культуры на внешне противопоставленные друг другу классы; иерархическая структура развертывается по-разному в зависимости от того, какой класс оказывается на вершине иерархии; но суть дела от этого не меняется: вместо объединения нам предлагают размежевание.

Если смотреть шире, принимая во внимание источники культурных открытий и требуя сознательного отношения к выбору путей, ничего странного в абстракциях нет: мы не предсказываем будущее, а строим его, — и любой формализм лишь промежуточное, вспомогательное звено: леса, опалубка, склад и бытовка… Заканчивается стройка, объект сдан в эксплуатацию, — пора времянку разбирать и утилизировать, а мусор аккуратно собрать и отправить на переработку. Вот основной механизм лингвистического развития. С этих позиций следует обсуждать следы и реликты дописьменных языков — и перспективы грамматик.

Проблема в том, что первобытную экономику официальная история серьезно изучать не умеет (да и не желает): вместо осмысления и реконструкции способа производства — голая этнография. Попытки воссоздать что-нибудь системное относятся, в основном, не к собственным достижениям первобытности, а к зачаткам классовых форм (семья, освоение земель, ритуалы и табу). Человеку приписывают изначальную религиозность и врожденную законопослушность; любые следы трактуют прежде всего в этом смысле. Копать глубже — классовое сознание не дает. Есть социальный заказ, есть твердые расценки… Рынок.

В соответствии с моей сумасшедшей гипотезой, цивилизации предшествовали многие века первобытной экономики, постепенно развивавшейся от синкретизма, общедоступности производственных ролей, — к частичной специализации, закреплению производств за кланами, первичными (и поначалу неформальными) общественными группами. Примитивность — вовсе не простота; даже наоборот: чем более развиты технологии, тем они проще. Поэтому доисторические (прото)языки нельзя считать лишь сырыми заготовками языков будущего, снисходительно прощать их недоразвитость… Нет, это были достаточно сложные образования, способные обслуживать все разнообразие деятельностей и общественных отношений. Однако принцип организации этих языков в корне отличен от того, к чему приучены современные лингвисты. Вездесущий синкретизм позволяет легко заменять одни формы другими, переходить от звука к жесту и наоборот, не обозначать — а *играть* сообщение, вовлекая в эту игру и (коллективного) адресата. На этой основе получают полновесное толкование особенности

детских речений, бытовые и психологические игры, традиции устного народного творчества (включая лубок, музыку и танцы). Первобытный язык не только (и не главным образом) коммуникативен: эмфатические и эргативные элементы в нем столь же важны, и не всегда можно разделить инициатора общения и его публику — общение одинаково захватывает всех, и четкого разграничения коммуникативных позиций просто не существует. В частности, учитывая упомянутое выше различие биологического и общественного в восприятии, не могло возникнуть идеи «иностранного» языка: все языки — часть одной на всех способности, которая лишь проявляется у разных племен по-разному, и стихии общаются с людьми на тех же общепонятных диалектах. Первично не заимствование языковых форм, а пропитывание одних другими, многообразие изначально единого — но не в смысле формальной структурности, а наоборот, в меру ее отсутствия.

Разумеется, сейчас не всякий может вообразить себе что-то в это роде. Но, вероятно, многие хотя бы раз испытывали чувство необъяснимой приподнятости, увлеченности массовым воодушевлением. Политики широко используют этот пласт сознания в корыстных целях. И термин придумали: нейролингвистическое программирование. На этом держатся и рекламные технологии, и религиозные секты.

Когда младенец начинает неразборчиво выражаться — мы говорим: хочет привлечь к себе внимание. И реагируем, и вступаем в общение, — так что детское речение легко понять как языковую форму, приглашение к совместности. Такие приглашения типичны для детей и в общении между собой, и первые разочарования возникают, когда каждый приглашает к своему, не слушая партнера, — и дело доходит до горьких слез… Общение переходит в биологию.

В этой связи нельзя не вспомнить о роли сказителя, устного исполнителя в эпической традиции. Рассказывать одну и ту же сказку можно по-разному. Содержание легенд слушателям хорошо известно — и однако они снова и снова готовы слушать все те же истории, на разный лад. Почему? Да потому что ни рассказчик, ни слушатели не отделяют себя от сказки, они вместе переживают происходящее, независимо от степени вымысла. Смысл общения не в передаче информации, а в создании определенной атмосферы, в причастности к единому. Нынешнее увлечение сериалами и фанфиками — проявление того же первобытного синкретизма.

Появление письменности (или иных средств фиксации речи) — существенно меняет характер общения. В древнейшие времена писец еще остается участником событий, поскольку возможно синкретически заменить один языковой материал другим. Вспомним об особом отношении к писцам в шумеро-вавилонской и древнеегипетской культуре. Однако основное назначение системы письма — приведение в систему хозяйства. И тут вдруг оказывается, что говорящий — не полноправный участник деятельности, а всего лишь чей-то представитель: хозяину все равно, кто именно зафиксирует факт на подручном материале. Не деятель, не имя — а символ имени, что-то вместо. Снова парадокс: сам хозяин теперь относится к себе как к символу, общественной роли, и его *я* — не личность, а голое местоимение.

По мере того, как одни члены общества порабощают других, язык приобретает устойчивые формы — и порабощает своего носителя. Если первобытному человеку были доступны любые средства говорить о деле, и можно было разнообразить игру под настроение, — человек цивилизованный обязан соблюдать правила, и учить этому своих потомков. Сказанное можно пересказать как-то иначе; записанное становится документом — и ревизии не подлежит. Конечно, синкретизм без боя не сдается, и документы всячески подделывают, уничтожают, перетолковывают… Но общей направленности не изменить. Тем не менее, ранние надписи, как правило, безличны: они лишь фиксируют факт (реальной или вымышленной) истории. Инвентарные записи, распоряжения и расписки, отчеты, и даже любовные записки, — сухо и безлично, чисто по делу. Лишь в громогласных деяниях царей — речь от первого лица (которое, впрочем, писцы частенько перетягивают на себя, и оснащают вольными комментариями). Закрепление письменности в качестве отрасли общественного производства (литературы) одновременно и утверждает индивидуальность пишущего, и обезличивает его, превращает общение в повествование, совместное участие — в информацию, приобщение к чужим деяниям. Древнейшая эпическая литература — сравнительно позднее явление, переработка и фиксация устного творчества, — и выстроена она по образцу начальственной саморекламы, от первого

лица; поскольку же сталкиваются интересы разных кланов (и классов), возникает набор коммуникативных позиций. Поскольку же дошедшее до нас, как правило, вторично, и носит следы позднейших вмешательств, — о безличности исходных историй можно судить только по скудным намекам в тексте и через сопоставление с традициями других культур.

Но есть у нас и пример древнекитайской литературы — прежде всего, поэзии. Безличное отношение к бытию сохранялось у китайцев очень долго. Даже на излете средневековья, когда проза давно и прочно изобилует переходами на личности, китайские поэты предпочитают обходиться без личных местоимений. Отсюда у европейцев ходячее представление о созерцательности китайцев, их пассивности (а значит, по-европейски, слабости — готовности в рабы). Появление личных местоимений в бытовой речи связано с классовым расслоением общества и происходит примерно в ту же эпоху, что и везде (кроме, быть может, Америки и островных культур Тихого океана). Однако даже в прозе того времени их самый минимум — предположительно, в позднейших вставках. А поэзия — только вообще. Когда знаменитое стихотворение китайского классика по-русски начинают словами: *Я поставил свой дом*… — это никак не вяжется с духом оригинала: *Сплести шалаш среди людских сует*… (结庐在人境). Попытки сослаться на нормы старинной поэтики, на традицию опускать подлежащее, — перепевы европейских воззрений. Весь строй стихотворения — вокруг всеобщности мгновения (и приглашение вместе этим насладиться — за вином); сплошное ячество в русском переводе — это пародия на поэтичность (при всем уважении к личности переводчика).

Религиозная литература целиком основана на отношениях господства и подчинения; не удивительно, что в ней личные местоимения цветут махровым цветом. Но возьмите древнейшие гимны любого народа — там ничего подобного. Первобытные верования еще не стали религией. С тем же успехом можно было бы написать гимн труду. Несмотря на жесткую цензуру канонических текстов, в них полно следов старого синкретизма, и грамотный исследователь мог бы на этом основании многое сказать о строении доисторического языка. А заодно и о путях исторического развития — что буржуазию, конечно же, не устраивает.

В теоретическом плане, аналитический характер письменной речи связан с самим фактом разделения процесса общения на стадии порождения текста и его интерпретации — отражение отделения сферы производства и обращения от сферы потребления в товарной экономике. Как рыночный производитель не интересуется личностью своего покупателя — так и автор текста обращается не к живому человеку, а лишь к абстракции читательского спроса. С одной стороны, это ведет к активному развитию собственно языковых средств выражения — поскольку заменить их в текстуально опосредованном общении почти нечем. Противоположная тенденция — огрубление, упрощение речи, условность и формализм. Действительно, если в живом труде достаточно упомянуть какую-то фиговину, — составляя письменный заказ, придется выражаться намного определеннее, с учетом производственных стандартов: просьба предоставить пластину торцевую FEM6D 1SNA 118499R2300, серую, для двухуровневых клемм 2,5–4 мм… Зато есть возможность не вдаваться в детали и запросить, например, просто ремонт кондиционера, безотносительно к тому, кому и как именно его придется чинить: речь идет уже не о передаче деятельности, как в первобытной экономике, а о делегировании полномочий на ее реальное развертывание в соответствии с общественно закрепленными стандартами. То есть, письменная речь постепенно превращается в то, что программисты называют абстрактным классом: сама по себе они ничего не предполагает, но переопределение методов в цепочке наследования приводит, в конце концов, к чему-то выполнимому. Местоимения вообще (и личные местоимения в частности) — это и есть такие высокоуровневые абстракции, понимать которые можно очень по-разному, в зависимости от культурно-производственного контекста. Тем самым первобытный синкретизм воспроизводится на новом уровне, как отрицание отрицания; с той поправкой, что неопределенность языковой формы теперь дополнена еще и неопределенностью содержания (поскольку определяющий контекст вынесен за рамки речи и может вообще не существовать). Остается сделать следующий шаг — и снять всякую неопределенность вообще, отказавшись от местоименных конструкций. Как? Это особый разговор…

С точки зрения цивилизованной лингвистики, где речь понимается как акт коммуникации, передачи сообщения, — представление об источнике (отправителе) и приемнике (получателе)

совершенно универсально, и ничего другого помыслить нельзя. Тем самым в любом языке должны, вроде бы, присутствовать, как минимум, две коммуникативные позиции: *я* и *ты*. Поскольку отправитель сообщения в письменной речи не ориентируется на конкретного получателя, позиция адресата отрицательно-абстрактна: это просто *не-я*. Однако говорящий-то есть всегда! Так давайте плясать от него, как от печки, — и выстраивать все возможные уточнения абстракции *не-я* по степени удаленности от вершины иерархии, от центра нашей индивидуалистической вселенной. Так появляется еще одно «универсальное» различие: известный партнер называется *ты*, а все остальные (потенциальные) получатели носят имя *он*. Таким же образом указательные местоимения говорят либо о чем-то в пределах (хотя бы мысленной) досягаемости — либо о контекстно удаленных вещах. Соответственно, и двигаться (в пространстве или во времени) можно либо от меня — либо ко мне. Количество и качество — только в моем понимании: *много — мало*, *хороший — плохой*… И так далее. Поскольку же в реальности каждый принадлежит своему классу (клану, сословию) — в общении он представляет не только самого себя, но и «свою» общественную группу; коммуникативные позиции тем самым естественно расслаиваются на индивидуальные и групповые: не только лицо, но и число.

Железная логика железного века. Точно так же буржуазный экономист исходит из непосредственной данности производителя — который только в силу этого становится собственником произведенного продукта и вправе ограничить доступ к нему со стороны неплатежеспособного населения. Возражение насчет того, что хозяин завода ничего вообще не производит, а реально работают простые трудяги, — отметается с порога: капиталист — организатор производства, а все остальные — его органы, инструменты, шестеренки машины; они и не трудятся вовсе, а только работают на хозяина — и распоряжаться плодами права не имеют, поскольку каждый по отдельности, вне капиталистической организации, ничего вообще не создаст. По доброте душевной, барин оплачивает наемный труд по рыночным расценкам — будьте благодарны хотя бы за это…

Логический прокол в том, что, в качестве организатора (или спонсора), капиталист — лишь один из участников общего дела, и его участие следовало бы вознаграждать пропорционально реальному вкладу (который в большинстве случаев равен нулю, ибо есть профессиональные управленцы — наемный персонал). А вместо этого — узурпация продукта целиком. Всеобщее разделение труда приводит к тому, что ни один продукт не может появиться на свет усилиями кого-то одного, или ограниченной группы людей: в каждом производстве так или иначе задействовано все человечество, без малейшего исключения. Соответственно, по-честному, каждый на рынке был бы собственником всего — и само существование рынка стало бы полной бессмыслицей.

Точно так же, речепорождение (устное или письменное) — не частная лавочка, а всеобщий процесс, существенно коллективное действо. Считать говорящего единственным автором — детская наивность, или намеренный подлог. Чтобы кто-то мог что-то сказать, общество должно предварительно закачать в него столько всего! — вовек не расплатиться. Переписчик может вносить в текст какие-то вольности (вспомним про *Сатанинские стихи*) — но пишет он уже данное, приготовленное. Современный писатель (неважно, будет это ученый, копирайтер или великий художник слова) работает всегда в рамках темы — и культурного контекста. Как он оформит свою речь — дело десятое; суть не меняется. По капиталистическим законам — продукт должен кому-то принадлежать; отсюда институт авторства, и отсюда же формальная грамматика: подлежащее, сказуемое, дополнения и обстоятельства. И личные местоимения в любых позах. Но язык всячески сопротивляется и на каждом шагу идет против схемы: структура фразы вовсе не обязательно отвечает ее реальному содержанию. Реликты первобытного синкретизма — безличные предложения, эллипсис, асиндетон и т. д. В поэзии к таким конструкциям возвращаются на новом уровне, намеренно и осмысленно. И тем самым показывают человечеству кусочки лингвистического будущего, в постцивилизации.

Коммуникативная схема (передатчик — канал связи — приемник) оказывается лишь одной из абстракций, противоположной объединяющему духу человеческого языка. Никто не говорит сам от себя — каждый выражает отведенную ему часть духовной связи, превращающей разрозненные тела в творческую личность и трудовой коллектив. Не я вещаю с амвона — эпоха

говорит мной. И тогда фокус общения — не на самих общающихся, а на том, о чем речь. Вместо абстрактного трепа о себе любимом — или о конкуренции враждебных группировок, — разговор по существу, задушевная беседа. Надо нам общими усилиями вытаскивать человечество из болота классовой экономики, из нищеты и лишений, из вечной войны всех со всеми, из царства животной тупости, наследия этологической иерархии. Вот для этого мы и общаемся, и для этого нам язык, во всех его прихотях и условностях.

Конечно, не все так просто. В современных языках — лишь тенденция, отдельные намеки, исследование возможностей. Как член цивилизованного общества, каждый формально представляет иерархию экономически обособленных общественных структур, выступая то от имени семьи, то от имени бригады — или воровской шайки. Поэтому наше *я* — лишь абстракция взаимодействия многих группировок, а «общечеловеческое» — пока не поднимается выше интересов класса (хотя бы и взятого в глобальном масштабе). Когда письменная речь разрушает синкретизм прямого общения, она устраняет и непосредственность самовосприятия. Уже знакомый парадокс: собственнический индивидуализм — отрицание уникальности индивидов, превращение их в частные реализации абстрактной общественной роли (на математическом языке: «модели» общих структур). Но тогда и грамматические формы становятся чистой формальностью: нет в них никакой семантики, сплошная условность, идиоматика. Поэтому так трудно бывает достичь свободы владения иностранным языком: непривычное быстро становится привычным — а догадаться о возможных способах употребления практически нереально, ибо не стоит за этим никакой идеи, только внешнее противостояние культур.

Переход от сознания к самосознанию требует отождествления себя с общественной группой — что, собственно, и позволяет смотреть на себя со стороны. Однако этого мало. Надо, чтобы и группа стала тождественна каждому из ее членов — и тем самым представляла его сознанию именно его, а не абстрактную общность. А вот этого достичь в условиях классовой экономики нельзя — и только зарождение в ее недрах элементов нового экономического порядка подталкивает личностное развитие, и делает возможным синтез сознания и самосознания, разум.

Догадаться, куда нас толкают, не всегда удается. Не творческое начало — а животное или вещь. Но для того я и занимаюсь вот этой моей философией, чтобы хоть немного посветлело впереди — чтобы развитие человека (и его языка) стало практической задачей, а не стихийным бедствием. И тем самым утверждаю себя как полноценное действующее лицо — не против других, а вместе с ними.

Будущее никого не ждет: как сделаем — так и будет. Разговорами тут не обойтись. Изменится мир — изменятся формы общения, станет возможен новый язык. Однако даже формальное изобретательство — не напрасно, поскольку это одна из доступных нам форм осмысления собственной духовности, и лингвистические утопии — подсвечивают цель, дают подступиться к главному.

А главным в языке будущего будет умение говорить о главном. То есть, не о персонах или компаниях, — а о том, зачем мы тут все собрались. Нет больше классов и семей — и не надо никого представлять, а достаточно просто быть. Не изображать, не играть роль — а жить живой жизнью: по возможности — участвовать в чем-то; по внутренней потребности — уединяться.

Некоторым образом, это предикативность: дан единый на всех контекст — и нет смысла уточнять условности, можно сразу по существу, о возможности распределить задачи и влиться в совместный труд. Не нужно лишних слов — речь будет краткой и выразительной. Другая сторона такого общения — широта охвата, доступ к любым обстоятельствам, без умолчаний и тайн. А значит, заинтересованность в том, что может пригодится для дела, и ни малейшей нескромности. Следовательно, не требуется блюсти предписанные кем-либо нормы, ограничивать палитру выразительных средств; уместность становится всеобщим принципом — но не субъективно, не для защиты, — а исходя из развития деятельности. Язык неформален — поскольку он свободен в выборе форм.

Такая свобода характерна для внутренней речи — и можно сказать, что для обществ будущего характерно свертывание внешней, публичной речи и овнешнение, обобществление речи внутренней. Как этого добиться технически — гадать не будем; возможно, потребуется переход от письменности к иным уровням языка, превращающим его в непосредственную

производительную силу, смещая грань между внутренним и внешним, субъективным и объективным.

Могут ли в таком языке возникать формы, аналогичные местоимениям? Да, могут. Но не абстрактно, а лишь в каком-то отношении — в качестве одного из возможных представлений ситуации. Иерархия речи развертывается не от субъекта, а от продукта, — и все на свете выстраивается по степени (опосредованности) участия. По мере своего развития, деятельность в каждый момент динамически организует мир, и эта организация отражается в языке. Однако такие роли существуют лишь в рамках конкретных действий, это способ достижения промежуточных целей, а не объективное условие или мотив. Если сознательное выстраивание общения стало одним из таких этапов — возникают (виртуальные) коммуникативные позиции.

Понятно, что в обществе без разделения труда строение коммуникативной иерархии регламентируется только строением деятельности — никакие формальные структуры в речи не закреплены. Поэтому набор лиц (как индивидуальных, так и групповых) не ограничивается триадой *я — ты — он*. Возможна иная семантика, связанная с временным распределением ролей. Например, подчеркнуть позиции ведущего и ведомого, инициатора и продолжателя, защитника и оппонента… Примеры — в фольклоре, в культмассовых постановках, в играх. Важно, чтобы амплуа не прилипали к участникам, и каждому интересен общий результат, а не его собственное участие; в такое игре все вместе действуют, и каждый переживает за всех. Так танцевальное искусство отличается от спортивного танца, хорошее угощение — от высокой кулинарии, чистоплотность — от стерильности, отзывчивость — от благотворительности.

Обращение иерархий приводит к перестройке порядка уровней; часть уровней свертывается во внутреннее движение, отходит на второй (или десятый) план. Но такие скрытые свойства все равно присутствуют в составе целого — без них не было бы целостности и полноты. Поэтому исчезновение местоимений как формальных (грамматических) показателей сохраняет (и подчеркивает) семантику коммуникативных позиций: если они и всплывают в речи — то по делу. В качестве возможности — та же семантика выступает как особая коннотация, интонация, окраска. И для уточнения оттенков существуют особые языковые средства: лингвистические операторы, модификаторы, шкалы. Любая языковая единица становится семантически наполненной не сама по себе — а в контексте фразы, речения, текста… Полиморфизм и полисемия приходят на смену структурированной грамматике, восстанавливая синкретизм древних языков — но уже не как единственную возможность, а в качестве языкового намерения.

Одно из направлений синтеза — слияние языков и протоколов в нечто единое, содержащее каждый из источников в качестве одного из подуровней. Формальные структуры становятся виртуальными, абстрактные различия — относительными. Поскольку такие разнородные элементы вписаны в контекст конкретной деятельности, нет проблем взаимопонимания: мы легко знакомимся с незнакомым — и принимаем как одну из возможностей. Это не абстрактная идиоматика, а творчество на лету. Если при этом родится нечто доселе невиданное — тем интереснее. Полезно всем.

А местоимения и лица… Свое место в истории языков они сохранят — и представить себе сценку из цивилизованного быта народ в состоянии. При том, что в разумных делах другие ориентиры, и возможностей для расстановки акцентов намного больше. Не всплывет наследие темных времен — так что переживать?

Язык до и после

Общеизвестно: все про все уже знают. Интересоваться историей и строением языков могут лишь гении — или полные идиоты. Первым дано освоить накопленное во всей полноте и внести свой вклад в воздвижение монумента; вторые — не в состоянии уразуметь темноречие мудрых и жаждут чего-то на пальцевом уровне. То есть, изложите нам суть происходящего в двух словах (вместо миллиарда терминов) — а как оно подкрепляется примерами, пусть отслеживают кто семи пядей во лбу. Утилитарная же сторона изучения языков ни в каких теориях не нуждается: это вопрос рыночной конъюнктуры, и высоколобие тут не в помощь, а даже где-то наоборот.

Гении хорошо уживаются с идиотами (иногда в одном лице) благодаря замечательному свойству всего на свете — иерархичности. То есть, всякая вещь, взятая в определенном отношении, поначалу выглядит как нечто вполне обозримое и ухватибельное — и только потом начинаются заковыки, происхождение которых легко объяснимо стремлением приладить усмотренную простоту к тому, о чем мы с ней первоначально не договаривались. Тем не менее, с какими-то поправкам, тот же принцип работает во многих областях — и это называется развертыванием иерархии: занятие увлекательное, и бывает трудно вовремя остановиться, чтобы красивый букет не превратился в банный веник. К сожалению, в эпоху верховенства всеобщего разделения труда наука по большей части занята производством веников — а красивости и букетность отданы в ведение искусства и философии, тоже порознь…

Как водится, нет худа без добра. Взгляд со стороны сразу обнаруживает историчность всяких делений — и постепенное перерастание латанного-перелатанного лоскутного одеяла в добротную индустриальную вещь, с которой тепло. Отсюда вывод: существует единая для всех логика развития, куда лепятся неразумные кораллы, поверх которых нарастают другие, — так что в итоге уже и не найти, с чего началось, а сооружение целиком — просто фантастика. Где бы это ни началось, результаты примерно одинаковы; разве что цветовая гамма своя, химический состав характерных завитков.

То же самое в языке — пока он развивается стихийно, по органическим законам, а не творит себя сам, как разумное существо. Природа не фантазирует — она берет подручный материал и выстраивает его по простейшим правилам, которые даже идиот способен понять. Поскольку под руку попадается разное — на поверхности буйство жизни, безбрежность океана и космоса. Объяснить каждый конкретный конгломерат — задача богатырских масштабов, и безумно интересно… — но нужно ли? То есть, не в том смысле, что вообще ничего объяснять не надо, — а в качестве предостережения: от добра — добра не ищут. Знание — сила, а многознание бесполезно для ума и грозит ранней старостью. Кому же все забава — засиживаются в ясельной группе и не дорастают до подлинно человеческого, практического отношения к науке: любые игры хороши, чтобы руку набить, освоиться в новом деле на обезьяньем уровне, — пока нет еще уверенности в осуществимом; как только увидел цель и разметил маршрут в соответствии с характером препятствий — надо не описывать и объяснять, не мечтать или оправдываться, — надо создавать то, чего до нас в природе не было, и быть не могло; а иначе — зачем мы?

В качестве намотать на ус: на протяжении своей истории человечество говорило на тысячах языков, почти все из которых давно мертвы, — и большинство живых на ладан дышит. Но изо всех сил спасать исчезающие крупицы — из той же серии, что сохранить каждый микроб, или навечно заморозить ледники. С тем же успехом можно было бы поднимать панику по поводу движения литосферных плит — или неизбежного столкновения нашей Галактики с Туманностью Андромеды. Естественная история на то и естественная, что одно сменяется другим, — и так было всегда; человек больше строит из себя, чем реально способен повлиять. Разум во Вселенной не для того, чтобы из последних сил бороться с природными законами. Его первейшая обязанность — в дополнение к природным законам создавать еще и свои, которые не управляют непосредственно движением кварков или динамикой мембранных потенциалов, — но регулируют порядок действия законов неживой материи и жизни. Сами по себе деревяшки никогда не сложатся в стул — а мы умеем их сложить; ни в каком естественном языке нет средств для управления битовыми потоками — но мы придумываем искусственные языки, чтобы передать часть работы электронным устройствам, которые таким образом есть шанс дотянуть до почти обезьяньего интеллекта. Звезды пусть движутся как угодно — наша задача организовать себя таким образом, чтобы это мертвое движение не мешало (а местами даже помогало) нашим замыслам. Элементарные частицы со страшной скоростью превращаются друг в друга — пока мы сидим за столиком и не спеша потягиваем хороший кофе под приятную печенюшку. Естественные языки вымирали и продолжат вымирать — но неужели мы так тупы, что не можем при необходимости переизобрести случайные находки каких-нибудь амазонских родичей? Припрет по жизни — сочиним еще один искусственный язык, или колоритную аранжировку в одном из уже имеющихся. Опять же, это не к тому, что сохранять культурное наследие вообще незачем — но разумная мера во всяком добром деле не помешает.

Без обиняков: протоплазма естественных языков — это сырье, из которого мы лепим общий принцип, чтобы в дальнейшем природу прогнуть под него, окультурить. Чтобы наш язык становился все менее естественным, вбирал в себя явления, совершенно невозможные в природе без нас. В идеале, где-то на бесконечности, язык целиком становится искусственным — и на этом наша миссия в мире завершена, и остается только ручкой помахать — то ли прощаясь, то ли приветствуя тех, кто придет нам на смену…

Важное обстоятельство тут — что общие принципы не существуют сами по себе, как воображал (или злонамеренно впаривал массам?) древний грек Платон — а за ним и некритически воспитанные современные индоевропеисты. Природе, в общем-то, все едино. Какую из бесчисленных линий развития вытащить на передний план — вопрос общественно-исторический, и вот здесь важно, кто из каких соображений принимает ответственные решения. Есть живая человеческая деятельность. В которой ключевое слово — совместность. Пока зверушка делает нечто сама по себе — она лишь имитирует (или предвосхищает) культурный вариант того же самого; когда член общества принимает на себя ответственность за участок общего фронта работ — он действует не сам по себе, а как полномочный представитель коллективного субъекта (вплоть до болезненного ущемления зверушачей индивидуальности). Такая надындивидуальная реальность может также расслаиваться на природные и культурные компоненты: изначально работает объективная необходимость, потом эту необходимость люди осознают и корректируют.

Всякая наука начинает с банального собирательства, иногда сваливая в одну кучу факты и иллюзии. Теория — пытается упорядочить этот бедлам, называя что-то зернами, а остальное — как-то еще. Но в этой деятельности (как и во всякой другой) можно по-разному расставлять акценты. Тут на выручку приходит философия и подсказывает три универсальных способа. Прежде всего, есть вариант прослеживания следов: мы честно описываем, как одно сталкивается с другим, и что из этого получается. Все по естественному порядку. Противоположность этому генетическому (или хронологическому) подходу — поиск (а иногда и конструирование) общих принципов, с последующим просеиванием эмпирического мусора в надежде обнаружить подтверждение принципиальной возможности; этим занимается формально-логическая наука. Легко видеть, что при нетактичном использовании оба варианта чреваты антинаучностью: генетический подход грешит произволом отбора (кто сказал, что интересоваться надо именно этим?) — логический подход легко превращается в подгонку действительности под желаемое (когда в ход идут уже не факты, а авторитетные мнения). Выставить рамки и снять произвол призван исторический подход, когда и хронология, и логика подчинены движению вперед, насущным задачам общественного прогресса: с одной стороны, развитие объективно, и потому логика выбирает из генетически обусловленного; в свою очередь, хронология уже не сама по себе, а по отношению к логически выверенной цели. Но и здесь важно не оторваться от корней: не может быть синтеза генезиса и логики там, где или генезис пропал, или логика слабовата — или хромаем на обе ноги…

Это длинное введение подводит нас к простой мысли: хронология развития языков заведомо отличается от логики этого развития — а исторически на первый план выходит то одно, то другое, — в зависимости от обстоятельств экономического или культурно-исторического плана, — но никогда не бывает ни чисто стихийного движения, ни последовательного выстраивания лингвистической нормативности. Если кто-то покажет вам симпатичную теоретическую конструкцию и скажет: так устроены языки! — он врет. Ибо так они устроены не вообще, а только в одной из веток исторического развития. Наоборот, когда мордой ткнут в якобы совершенно точно задокументированные (или круче: реконструированные!) структуры и трансформации, — не верьте ни единому слову! — поскольку слова насквозь пропитаны подразумеваемой логикой, определенностью исторических ориентиров. Но списывать в утиль итоги чужого труда только потому, что лично у нас другие планы на будущее, — было бы совсем бессовестно. Люди таки старались — и польза от этого не преминет обнаружиться, если осознать, чем их устремления отличны от наших, и откуда это размежевание произросло.

Насколько я могу судить, начало XXI века (по европейскому календарю) целиком во власти сугубо логического языкопознания. Начиналось с попсовой эмпирии: все языки чем-то

похожи, и можно придумать правила, под которые подводится любой естественный язык — иногда через десяток промежуточных ступеней. Отсюда абсурдное умозаключение: такова и была языковая история, и надо срочно придумывать миф о лингвистически продвинутых индоевропейцах, а потом и кого-то еще абстрактнее.

Но вспомним: последовательность наблюдаемых событий отлична от ее внутренней логики; более того, логика чаще всего представляет действительность в «перевернутом» виде, подобно прочим зеркалам. То есть, не индивидуальные черты живых языков вырастали из формальной общности, а наоборот, общность возникает исторически, как следствие унификации экономических процессов и культурных связей, стандартизации деятельностей, их «притирки» друг к другу. Сложившееся общество — устойчивая система материального и духовного производства — внешним образом проявляет себя и как единство языка. Взаимодействие языков на этом этапе ограничено собственным строем каждого — поскольку экономика (и военная сила) стоит на страже границ. Но в смутные времена различия отходят на второй план, и возможности переплетения структур гораздо шире. А в самой глубокой древности, когда и границ-то почти не было, одно свободно становилось другим — и все было всем. Это называется: первобытный синкретизм.

Конечно, первобытность тут — весьма условна. Любая новизна изначально прорастает в недрах уже существующего, неразрывно связана с чем-то другим, — и только потом становится и осознается отдельностью. Так оно было и в ранней античности — так бывает и в наши дни. Однако заметить это возможно лишь в контексте особой исследовательской установки, когда работает исторический подход. И тут бытует другая крайность: практические нужды заставляют прятать логику под ковер и ограничиваться удобными в нынешней жизни схемами — что автоматически прогибает прошлое под потребности совсем другой эпохи. В частности, на этом стоит любой учебный процесс: его организация не от природы, не от предмета, — а от практики усвоения и употребления. Хорошо знакомый пример — традиционная китайская фонология, когда и представления о единицах речи, и практическая транскрипция (в частности, pīnyīn) заточены под технологии обучения, синкретизм нынешней повседневности. В результате, лингвистике остро не хватает собственно хронологического подхода, добросовестного отчета о происходящем в терминах самого этого происходящего. Привязки к времени — физическому или историческому.

Язык начинается с синкретизма — но не в привычном смысле уже вербализованного быта, а в плане отсутствия самой идеи вербализации: деятельность целиком, без отделения материи от рефлексии. На следующем этапе — синкретизм протоязыка, — того, что еще не стало языком как таковым и представляется хаотическим смешением поступка, жеста и звука. Жест как незаконченное действие — выражение намерения (желания, возможности). Звук как след, продолжение жеста — и его предвосхищение. И только потом — расслоение жестов и звуков, различение интонаций и фонем.

Можно ли изучать эту дописьменную, совсем не цивилизованную историю? Можно. Если искать следы не в языке, а в характере деятельности, — не в системности, а в особенностях ее разговорного разрушения. Здесь, как в искусстве, важны не краски, а оттенки. Когда логический позитивист фиксирует формы вымирающего туземного наречия в терминах предполагаемого индоевропейского или ностратического единства — он убивает самую суть явления, подменяет вещь своими фантазиями. Но точно так же вредительствует и поборник «аутентичности», из самых благих побуждений пытающийся законсервировать язык «как есть», на данный момент, без учета прошлого и будущего, как мертвую норму.

С точки зрения формальной лингвистики, языковой синкретизм выглядит как полное безразличие к структурности: вместо соединения знаков по определенным правилам — подбираем первое попавшееся и используем в качестве сигнала. Но эту реальность каждый из нас знает с младенчества (ибо таковы первые словофразы грудничков) — и по ежедневному взрослому опыту (насыщенному альтернативной лексикой). Только в контексте формальных взаимоотношений в обществе (и прежде всего на производстве) появляются относительно устойчивые комбинации — и можно приписать им специализированную семантику. Формы выражения превращаются в формы языка. Со временем деятельности, породившие структуры

членораздельной речи, утрачивают экономическую целесообразность — и строение языка снова отделено от семантики, превращено в ритуал, в условность. Мы так говорим потому что мы говорим. Точка. С этого «вторичного» синкретизма и начинается собственно языкознание — наука получает свой предмет.

Забавное совпадение: навороченные физики возводят мир к некоему симметричному (бесструктурному) состоянию, и возникновение наблюдаемых структур связывают со спонтанным нарушением симметрии при «остывании» Вселенной. Собственно, температура тут и выступает мерой организованности: чем она выше, тем все хаотичнее, ибо никакой связи долго не продержаться в пекле перемен. В конце концов каждая вещь получает свою энергетическую нишу, оказывается на одном из уровней иерархии; внутри своего уровня относительно слабые изменения позволяют управлять статистическими свойствами материи — чем люди интенсивно пользуются последние несколько тысяч лет (по космологическим стандартам — ничтожнейшее мгновение).

Легко догадаться, что движение от хаоса к регулярности — всеобщий закон, одинаково приложимый к живому и неживому, и даже к истории разума — в рамках которой мы и говорим про первобытный синкретизм. Тем не менее, каждой науке с общими принципами приходится разбираться по-своему, и тупого копирования формул нет, и не должно быть. Что касается лингвистики, возникновение структур логично связать с нарушением общественной симметрии, распадом первобытности как таковой, когда одни члены общества становятся очень даже не равны другим. Другими словами, в качестве особого предмета язык складывается лишь на заре цивилизации, с переходом к новому, классовому способу производства.

Громогласный протестующий хор: мы же знаем о полудиких племенах — и они как-то внутри себя разговаривают, и ради изучения реликтовых языков мы регулярно торчим у черта на куличках, занимаемся тяжкой полевой работой… Вопрос на засыпку: к питекантропам кто ездил? А у них, между прочим, уже обнаруживаются представления о различии общественных ролей, и даже о собственности. Некоторые захоронения разительно отличаются от других — подобно тому, как несколько сотен лет назад европейских аристократов укладывали в семейные усыпальницы — а какого-нибудь Моцарта можно и в братскую могилу… Современные «дикари» по сравнению с по-настоящему первобытными — безнадежно испорченные торгаши. Когда же цивилизованные лингвисты начинают наивно спрашивать, как выразить не диком языке нечто цивилизованное, — товарищи, конечно, выразят! — но их лингвистической наивности тут же придет конец. В квантовой физике это называется разрушающим воздействием, коллапсом.

Буржуазная антропология обсуждение вопросов классового неравенства считает дурным тоном. Уровень развития измеряют рынком: есть биржа — продвинутый, нет биржи — тундра… Академическая лингвистика просто не может иначе: это встроено в профессиональный жаргон. При всем при том, любимая тема — посмаковать религиозную обрядность и подвязать ее к якобы мистическим коннотациям обыденной речи. Кто читал Карла Маркса — определенно знает, что любая религия — надстройка над классовой экономикой; следовательно, всякую мистику надо трактовать как признак далеко зашедшего общественного расслоения — и не делать поспешных выводов о древности наблюдаемых у всех без исключения «дикарей» языковых абстракций. Наличие полновесного языка и здесь связано с экономическим прогрессом, зарождением элементов цивилизации — иногда в недрах первобытности, но чаще на почве уже развитого общественного расслоения. Есть веские основания полагать, что современные обитатели джунглей — вовсе не аборигены, постепенно дозревавшие до нынешнего статуса на протяжении сотен веков. Их культуре свойственна хорошо заметная вторичность, за примитивными на первый взгляд технологиями стоит железная производственная логика, ожидать которой от бредущих по воле стихий никак не приходится. Отсюда рабочая гипотеза: мы имеем дело с остатками былого величия, осколками относительно развитых культур, вытесненными по каким-то причинам на периферию прогресса, изгнанными с обжитых мест, — и в свою очередь задвинувшими в тень исконных обитателей захваченного ареала, которые никак не могли конкурировать с пришельцами, поскольку сама идея конкуренции у них еще толком не родилась. Может такое случиться в природе? Запросто. Киты и дельфины — млекопитающие! — вернулись в море, и обратно на сушу совсем не рвутся. Одичание оторванных от остального человечества

одиночек и небольших групп — документированный факт. Даже банальное оскотинивание людей в окопах или лагерях (как у Маршака: *посидишь в кутузке — научишься по-русски!*) — явление того же порядка. Есть богатый эмпирический материал, есть методы обработки данных; только здравомыслящей (то есть, нерыночной) теории маловато.

Очень может быть, что в языках каких-то племен сохранились реликты истинной древности — поскольку пришлецы так или иначе заимствуют опыт аборигенов, встраивают его в уже существующие представления. Но выяснить это при синкретическом отношении лингвиста к туземному языку как непосредственной данности, готовому продукту, — совершенно нереально. Тем более, если описывать наблюдения монстрами МФА или порождающими грамматиками. Особенно если при этом не заботиться об изучении экономической истории этноса, а ограничиваться исключительно его суевериями.

Но вернемся к переплетению хронологии с логикой. Мы уже видели, что язык склонен исторически запаздывать с внедрением устойчивых форм: сначала он дожидается зрелости какой-либо культурной ниши — и только тогда делает ее образцом для подражания. Когда общество успевает порядком подзабыть об изначальной пользе — и переходит к совсем другим делам, которые, вроде бы, следует по-другому проговаривать — а мы все на старинный манер… Тут начинается самое забавное: правила языка устанавливают явочным порядком, никоим образом не исходя из действительных потребностей, а только потому, что все так говорят. Думаете, это обыкновенное подражание? Как бы не так! Цивилизация продолжает развиваться бурными темпами — и теперь у истории есть мощный инструмент: вот эти говорят правильно — и заслуживают избранности; которые с акцентом или кривыми конструкциями — по природе рабы, и нечего с ними церемониться. Кончается история языка как средства общения — теперь это средство размежевания и (этнического, а затем и) классового господства.

Как только строить языковые отношения мы начинаем по правилам — это уже логика. Разумеется, она тоже не сразу валится с небес: сначала синкретический принцип (у нас так принято!) — потом формальное установление (этикет и система письма); а поверх всего практика искусства и собственно лингвистические теории, школа. Поскольку же способность к языковой рефлексии — отнюдь не врожденное качество, новорожденная норма становится конгломератом иллюзий, поверхностный впечатлений и некритических заимствований. В конечном итоге логика языка — скрыта от его носителей, а пришлых уверяют, что они не настолько в теме, чтобы грамотно об этом судить. Начинается обычное бодание: если гости недостаточно вооружены, приходится принять превосходство коренных; когда наезжает кое-кто покрепче — местным преподают по истинной методе, и те оперативно задвигают собственные изыскания в тень.

Исторический подход незамедлительно уведомляет нас, что здесь не просто смена мод и комедия ошибок. В условиях этнического и классового размежевания, реальность языка умело подстраивается под теоретические представления — и даже безнадежные парии в конце концов начинают говорить по-господски, в надежде снять свою порцию сливок где-нибудь в будущей жизни (в тридесятом поколении). Пифагорейцы учили мир математическому жаргону; индийских феодалов загоняли в дебри санскрита; короли франков спешили примазаться к романскому наследию. Комедийная версия того же самого — языковой догматизм современных субкультур, когда с распадом эфемерных групп остатки их языкотворчества превращаются в пошлую пародию, стилизацию с оттенком ностальгии. Но если границы прочерчивает экономика (и ее младшая сестренка политика) — лингвистические монстры успевают приобрести статус самостийных языков, когда именно монструозность образует ядро языковой логики. Так было в древнем Китае; это же происходит на бывших просторах бывшего СССР.

Язык рождается из хаоса случайностей — и далеко не всегда это очередная Афродита. Однако на то и наука, чтобы не злобствовать на объективно данное, а принять его за отправной пункт — и выстроить вероятные сценарии. Когда нынешние академики-духовидцы заявляют, что при всей пестроте внешних влияний и тысячелетних следов, у каждого языка есть слой неискоренимой исконности, и возможно реконструировать эволюцию этого единства вплоть до неразличимости с чем-то близко (а потом и отдаленно) родственным, — это, извините, шаманизм, терминологическое камлание в попытке довести себя и доверчивую часть публики до физиологического изнеможения, посредством которого, якобы, можно призвать помощь добрых

демонов и посрамить злых. И тут я, как самый злой из демонов, категорически возражаю: картина спонтанного нарушения первобытной симметрии первозданно совершенного (божественного) языка — с отпочкованием языковых семей и отдельных языков, — идеологически подпитанная фантазия, заблуждение и ложь. Первобытный синкретизм состоит в невозможности абстрактных структур, в хаотичности проторечений и путанице протоязыков. Лингвистическую науку пора, наконец, поставить с ушей на ноги — на твердую материалистическую основу. Язык — это вовсе не умозрительная твердая сердцевина; наоборот, главное в языке — его многообразие, многослойность, иерархичность. Мешанина всего и вся, которую практика общественного производства выстраивает под себя в каждый исторический момент — и отсюда ощущение внутреннего единства. История языков тем самым вовсе не выводит их из чего-то единого; наоборот, единство возникает в столкновении разнородных элементов, в борьбе экономических влияний. Соответственно, нет никакого «языка вообще» — его строение различно в разных масштабах, по отношению к разным культурным контекстам. Языковая химия имеет такое же право на стипендию, как и языковая физика или биология языковой ткани, как фундаментальная космология языка — или психология языковых сообществ.

Виртуальное лингвистическое единство — это абстракция, преодоление синкретизма. Отнюдь не устранение или распад — скорее, это временное отстранение от хаоса, рождение чего-то, чему суждено в свой час умереть. Синкретизм не исчезает, он только *снимается,* — становится почвой, питательной средой, материалом логических идей. Глупо полагать, что однажды выработанное правило применимо везде и всегда. Более того, наши правила вовсе не напрямую соотносятся с действительной логикой языка: как и в механике, действующая на тело силу не запрещает ему двигаться в любых направлениях; как в психологии, мотив деятельности, как правило, отсутствует в последовательности целей (мотивировок); однако материальное движение и суть деятельности — именно в этих, якобы ничего не значащих перемещениях и поступках. Логика вещи — не вещь того же порядка, а коллективный эффект.

Генеалогические древеса в языкознании возможны — но лишь в очень ограниченной мере, при условии доминирования органического развития на каком-то этапе. Стоит уплотнить масштаб — и картина совсем другая: язык не рождается из другого языка — он лишь обогащается отдельными элементами самого разного происхождения, вплоть до качественного видоизменения, превращения в нечто иное. Такие исторические скачки («фазовые переходы») могут происходить сравнительно быстро (если ограничиться лишь поверхностным впечатлением и забыть о долгом вызревании культурных условий). Однако в любом случае сопоставление идет не по линии наследования — а путем синтеза новых структур из сопоставимых элементов нескольких взаимодействующих языков. От какого из них мы будем производить результат — вопрос исторического контекста, и никаких оснований полагать, что эта оценка не изменится через пару веков — или за океаном.

Разумеется, быстрота превращения — вопрос выбранной шкалы. Развернем иерархию — и будем смаковать подробности умирания и рождения. Тогда в тени останется что-то другое. При каждом выборе по-своему приходится решать вопрос: или это диалект того же языка, или уже другой язык, или вариант чего-то третьего. Поскольку же приходится иметь дело с классовой организацией общественной жизни, перерастание старого в новое происходит неравномерно, существенно зависит от разделения и степени обособления культурных ниш. Запросто может оказаться, что на разных этажах классовой иерархии язык развивается в разных направлениях; когда на это накладывается дележ имущества, каждый из «наследников» самостоятельно расставляет языковые формы по речевым контекстам. Выглядит это как разветвление древа; однако по сути — здесь развал целого под действием противоположно направленных внешних воздействий, проекция наличного противостояния тяготеющих центров; бывает, что такие обломки исторически значительное время витают в своем «поясе астероидов», — но чаще они вовлекаются в движение массивных «партнеров» и становятся их спутниками (диалектами), а то и вовсе разрушаются за счет приливных сил (наподобие колец у планет-гигантов). В качестве достаточно свежего примера — три ветви языка норманнов (английская, французская и собственно скандинавская); совсем свежатина — эволюция тюркских языков на просторах бывшего СССР.

Заметим, что экономическое обособление не всегда связано с территориальным размежеванием: классовое общество расколото изнутри, в нем все время возникают и распадаются относительно изолированные субкультуры, каждая со своим «языком». Но, как и в глубокой древности, этнические мотивы дают формальный повод разделить то, что уже разделено экономически. Мигранты заведомо поражены в правах — и плавают в чуждой им социально-лингвистической среде плотной массой; эта капля может в конце концов раствориться в доминирующем языке (как американские негры, которых глупо называть афроамериканцами, поскольку к Африке они уже не имеют ни малейшего отношения) — но может понемногу разрастаться за счет слияния с другими диаспорами, вплоть до образования устойчивых многоязычных сред (подобно эмансипации испанского языка в США и Канаде).

Особый случай — религиозно-этническая сегрегация. Классический пример — отношение к евреям в средневековой Европе, искусственно поддерживаемый социальный сепаратизм, выгодный экономической верхушке как господствующего этноса, так и еврейской диаспоры. Здесь как на ладони механизмы эволюции: значительная часть евреев сливается с основной популяцией и вспоминает о своих предках лишь задним числом; в особую ветвь выделяются европеизированные евреи, со своим гибридным языком (идиш); наконец, есть и семитское ядро, тысячи лет хранившее элементы древнего языка, после серии модернизаций превращенного в современный иврит.

Мы снова перед лицом активного вмешательства в историю языка. Сохранение «малых» языков за счет искусственной консервации архаических черт естественно сочетается с культивированием исконных «промыслов» — но не в силу собственно культурной целесообразности, а исключительно в пику тем, кто навязывается в «старшие братья». Они решают — а мы умеем! Нас загоняют в гетто — а мы сами себя упрячем в резервации, куда гоям ходу нет, и откуда нашим людям вылезать не положено. Евреи, китайцы, русские староверы… Какая разница! Лингвистический итог — полная противоположность разуму, когда не создавать миры — а замкнуться в первобытности, искать не свободы, а родства, где вместо творчества — накопление и сбережение. На собственной ущербности можно делать бизнес, и кое у кого это неплохо получается. А при деньгах и урод — кум королю.

Может показаться, что лингвистический изоляционизм иногда навязан строем языка: трудно европейские слова втиснуть в морфологию арабов, а китайцу приходится подрезать и тех, и других. Но эту идею сразу же хоронят (успешные) поиски единства крупных языковых семей. Скрещивать разные языки можно и нужно. Другое дело, что механизмы такого слияния рождаются не сразу, — тем более в условиях экономически разобщенного мира, когда глобальное начальство изо всех сил жмет на тормоза: не нужны им удобные инструменты холопьего общения — а меж собой они по любому договорятся, чтобы остальных разделять и властвовать. Но я тут философствую наоборот: взаимодействие экономик на каждом шагу рождает языковое единство, и если не отбрыкиваться от него всеми конечностями — в этом процессе возможно усмотреть логику, и подтолкнуть прогресс в объективно неизбежном и субъективно истинном направлении. Которое никак не предполагает обожествления и консервации традиционно-рыночных теорий языка.

Кто начал чтение чуть ближе к началу — может занедоумевать: Как же так? — Вы же вовсю революционерствуете насчет возникновения языка по мере классового размежевания… Но тогда не только лингвистика обязана проникнуться духом цивилизации — но и человечеству в целом некуда выпрыгнуть из языковой обыденности: куда же мы без базара?

Собственно, сюда я и веду. Да, язык — инструмент классовой культуры. Но общество (предположительно) развивается, и тянет за собой устройство языков. Поэтому даже в границах цивилизованного мира сопоставление исторически различных языковых явлений — дело нетривиальное, нужна добросовестная аккуратность. Допуская устранение в будущем всякой возможности кого-то поэксплуатировать — мы автоматически утверждаем, что и общение когда-нибудь перерастает возможности языка. Что дальше? Если языку в современном понимании предшествовало нечто синкретичное, не выразимое в сложившейся на данный момент лингвистической терминологии, — следует ожидать снятия вездесущей аналитичности в чем-то другом, догадки о чем потребуют решительного языкотворчества. Новый, непредставимый пока

способ производства будет неотделим от общения иного уровня, когда, возможно, сама идея языка останется лишь отдаленным воспоминанием. И тем более — мысль о тысячах разных языков, обслуживающих выдранные из целого кусочки экономики. Внутренняя структурность языка — другая сторона этого внешнего противопоставления культур, общественных групп и отчужденных от самих себя индивидов. Капитализм — эпоха всеобщего разделения труда. Там же, где изначально никто ни от кого не отделен, не требуется склеивать разбитый горшок — разумные существа непосредственно чувствуют свое единство, без лишнего трепа. И поступают разумно — а не только рационально, как предписывают собственнические языковые модели. Члены такого общества не нуждаются в непосредственном физическом контакте: время и пространство им не в тягость — это общее достояние, которое каждый вправе использовать по своему (а значит, и общественному) усмотрению. Возникновение письменности изменило представления о языке; становление универсального участия субъектов любого уровня в совместной деятельности — требует такой же универсальности материального носителя этой всеобщей связи.

Разумеется, не все сразу. Будет длительный период постцивилизация, переходная эпоха, сохраняющая достижения прошлого — чтобы новое успело снять, впитать их в себя, а не просто отбросить. С другой стороны, человечество уже теперь беременно чем-то из будущего — хотя трудно сказать, что из этого потом вырастет. Ясно одно: языковой пласт останется с нами навсегда — но уже не как неизбежное зло, а одна из возможностей, способность оперативно сотворить невиданный доселе язык, дать ему отработать свое в положенных пределах — и убрать в архив. Разум не просто часть мира — он создает миры. Чтобы их осмыслить, и воссоздать единственный мир как единство.

Лингвистическое моделирование

У всякой (даже очень предварительной) науки есть предмет, есть понятийный аппарат, и есть круг принципиально возможных приложений. Эта внешняя определенность внутри науки представлена ее эмпирическим, теоретическим и методологическим уровнями. Насколько они развиты, и что когда преобладает, — интересный вопрос, но заниматься им будет уже другая наука. Ясно, что все это очень подвижно — и прежде всего, в силу развития предметной области и человеческих потребностей. В определенных экономических условиях, внутреннее строение науки превращается во внешнее противостояние разных наук, расставленных по уровням академической иерархии. И тогда рыночная конкуренция заставляет искать не соответствия предмету, а весомой аргументации в пользу собственной исключительности; поскольку же такая деятельность заведомо выходит за рамки науки, любые аргументы становятся преимущественно формальными. То есть, вместо того, чтобы присмотреться к сути дела, мы начинаем обращать внимание на то, как о ней говорят, — и дороже ценим тех, у кого хорошо подвешен язык. А значит, попадаем в сферу интересов науки лингвистики.

Тут нам предлагают фейерверк возможностей. На эмпирическом уровне складывается особый способ фиксировать факты: не абы как, а определенным, хорошо воспроизводимым порядком. Строение такого языка определено в основном строением предмета — но языковые структуры выделяют существенное в нем, берут вещь в определенных отношениях, — и здесь важно не увлечься абстракциями, не приписывать вещам того, с чем они знаться не хотят.

Противоположный, методологический полюс — как раз и нужен, чтобы регулировать разумность предписаний. Мы вырабатываем правила формулировки гипотез и постановки проблем. Те самые, абстракции, которые позволяют превратить первородный эмпирический хаос в фактуальное знание. Все как в психологии: восприятие структурирует ощущения, подводит их под заранее приготовленные образцы (перцептивные установки). Языки методологического уровня полностью конвенциональны; по сравнению с «естественными» речениями эмпирии — это «искусственные» языки. Однако возникают они под мощным давлением практических потребностей, и никогда не становятся вполне определенными, сохраняют достаточную гибкость, чтобы быстро адаптировать поведение к новым обстоятельствам.

В качестве перехода от одного уровня к другому — научная теория, в которой от фактов и методов остается, соответственно, терминология и идиоматика. Поверх этого надстраивается сущность другого типа — формальный язык, технология порождения «правильных» комбинаций каких угодно «термов». Сами по себе такие «формулы языка» совершенно бессмысленны; чтобы этот сюр приобрел общественное звучание, надо хотя бы смутно представлять себе, что мы собираемся делать дальше, — и просеивать горы нарочитых нелепостей в поисках намеков на возможные способы действия.

Начало XX века — расцвет неопозитивизма, с его многочисленными разновидностями: логический, семантический, конструктивный… Сюда же примыкают структурный и системный подход, теория информации. Общее ядро этого букета — сведение теории к ее языку, который при таком раскладе не может не быть формальным. Появляется формалистический критерий «главенства» наук: чем абстрактнее — тем благородней! На первое место, само собой, претендует математика, которую, в духе времени, стремятся отождествить с математической логикой — а эту последнюю трактуют как всего лишь теорию формальных языков, и даже этот огрызок подменяют каким-нибудь символьным исчислением. Понятно, что под столь урезанную модель невозможно подогнать вообще ничего; хитроумные рассуждения формализаторов поголовно сводятся к одному: заметание мусора под ковер. Ловкие фокусы с подменой одних терминов другими, смешение принципиально разных уровней рассмотрения, циркулярность… В общем, полный комплект логических ошибок и софистических технологий, призванных морально подавить собеседника, выставить его полным идиотом и вынудить (за неимением лучшего) принять на веру аргументацию напористого пропагандиста. Сейчас это называется нейролингвистическим программированием.

Допустим, что нейронов нам и своих хватает; поэтому поинтересуемся собственно лингвистической частью. Теория для нас не царственная особа, а нищая служанка: ей говорят, что доказывать, — и она это доказывает. Как? Путем такого определения правильности, при котором заведомо получится желаемый результат. Кто командует — умолчим для ясности. Однако сама по себе подтасовка формализма под внешние обстоятельства — вовсе не криминал; это нормальный ход научной мысли, которая таким способом выявляет в реальной жизни объективно присутствующие формальные компоненты. Вредительство начинается там, где часть выдают за целое — и формально запрещают интересоваться другими возможностями. Свободный (то есть, разумный) человек вполне может допустить тождество научной теории и формального языка — но с оговоркой, что предполагается выбор определенного уровня в определенным образом развернутой иерархии науки. Грубо говоря, всякое измерение — это прежде всего выбор шкалы; в другом масштабе наблюдаемая картина может существенно измениться.

Таким образом, допустимо представлять какие-то аспекты предметной области формулами абстрактного языка, которые, в свою очередь, представляются компонентами языка более высокого (по степени удаленности от предмета) уровня. Разумеется, предмет при этом никуда не исчезает, а прячется в глубине — и при необходимости поправляет кривые построения зарвавшихся теоретиков. Но на поверхности все выглядит полнейшим произволом: третируем терминологию как заблагорассудится, пока не сложится понятный лишь посвященным профессиональный жаргон; идиомы этого блатного языка теоретик и предлагает в качестве рабочих гипотез, и начинается по-настоящему творческая работа: перевести формулы в методологические предложения и попытаться обнаружить в предметной области похожие факты. В сильно формализованных науках может потребоваться цепочка переходов с уровня на уровень — и где-то в конечном итоге мы таки упремся в предмет.

Но что получится, если в качестве предмета взять не осязаемую вещь, не реалии материального и духовного производства, а надстроечное образование — язык? Нет, эмпирия и методология остаются как были — тут никаких странностей. Но в теоретическом плане оказывается, что формальной моделью языка становится другой язык! То есть, лингвистическая теория, по сути, занимается конструированием языков, в какой-то мере (хотя бы метафорически) напоминающих реально существующие; поскольку же язык любой теории представлен каким-то уровнем одного из естественных (то есть, используемых в живом общении) языков, —

оказывается, что язык становится знанием о самом себе. Никакой мистики: в каждом конкретном случае дело ограничивается одной из возможных иерархических структур, а единство этих частных моделей устанавливается вне науки. Здесь нам важен универсальный результат: теоретическая лингвистика — порождение формальных языков как теоретических моделей живого общения. Яркий пример такого рода теории — знаменитый трактат Панини. Труды европейских грамматистов также дают не сводку конкретных рекомендаций (для этого существуют учебники и словари), а схемы формальных языков, по возможности приближенные к соответствующему предмету.

Вовсе не обязательно моделировать язык в целом: любые языковые компоненты возможно познавать в форме абстрактного языка — наглядно и занимательно! Конечно, говорить о них по отдельности возможно лишь в каком-то приближении — но, ведь, любая теория осмысленна только в своем контексте, и специальные знания всегда подразумевают разумную область применимости. Фонология, морфология, семантика, стилистика устной и письменной речи, диалектология и теоретическая поэтика, — все это требует языкотворчества, и зачастую простой мысленный эксперимент полезнее тысячи страниц нелепого наукообразия.

Тут надо бы предъявить хотя бы махонькую иллюстрацию. Показать передовым примером. Но тогда от философии придется уходить в науку — а это явления разного порядка, и сочетать их в рамках одного (кон)текста надо с осторожностью. Чтобы не перепутать — и без эклектики, по существу. Поэтому попробую ограничиться чисто философским намеком.

В качестве подопытного выберем китайский язык. Для европейца — прямо-таки символ зарегламентированности, слепок со странной культуры, где тысячи лет пытаются жить по правилам. Про обманчивость этого предрассудка распространяться не буду. Но внешность тоже о чем-то говорит. Пристрастие китайцев к формальным классификациям, которые плавно перетекают в вековую традицию, а затем и норму, — прямо-таки на каждом шагу. Царство нумерологии, так и не ставшей собственно математикой. Возможно, я малость пережимаю, на европейский манер, — но это исключительно для выпуклости образа. Потому что речь пойдет о различиях эмпирической, логической и конвенциональной фонологии.

Казалось бы, тема давно исчерпана: написаны тонны книг, собственная традиция обогащается мировым (европейским) опытом, есть выверенная система обучения для своих и чужаков… Все это хорошо документировано и реально работает. Практика так и прет в критерии.

Но если я не профессор-синолог, а наивный студент или впечатлительный обыватель, количеством меня не убедить — ибо с источниками я мало знаком и предпочитаю судить по общему впечатлению. Память у меня не резиновая, и не нужны ей беспорядочные детали. Предпочтительнее четкий принцип — поверх которого и подробности лягут, если пошарить по справочникам. И тут выясняется, что европейский и китайский подходы — диаметрально противоположны, а сходятся они на полнейшем презрении к логике. Европеец в плену позитивизма: ему приятно тупо фиксировать факты — не заморачиваясь обоснованием принятого способа. У прагматичного китайца во главе угла технологии: зачем усматривать невиданное, когда можно следовать правильным образцам? Одни упирают на стихийную данность в опыте; другие — трактуют данность как предписание. При любом выборе от науки остается лишь изучение и освоение. А за общими принципами — проследуйте в другое место…

Хорошо, проследуем. Но сначала посмотрим, что дают эмпирия и школа. Они же не от фонаря — а на общем основании. Вот пусть и поработают точками опоры.

Традиция постановила: базовой единицей китайской речи считать слог. Который по этому поводу всегда обозначается особым знаком — а не как у некоторых, где графика может ссылаться на нечто вообще непроизносимое, и звучать начинают только комбинации абстрактных знаков (букв). Подпадавшие когда-либо под китайскую власть соседи (корейцы, японцы) завели у себя аналогичные правила; в фонологии самостийных соседей (индусов, семитов, тюрков, айнов) примат слога почему-то не приживается. По логике, тут бы хорошенько покопаться в истории, да выяснить: с чего это китайцам в голову блажь взбрела? Нашему наивному студенту упорно лезет в голову подозрение, что здесь налицо административная искусственность: в какой-то момент местной языковедческой рефлексии просто запретили углубляться в предмет — и на место внутренней логики волевым решением поставили промежуточный результат анализа,

застывшую классификацию. Вроде средневекового сословного деления. Разумеется, на то есть экономические основания, условия становления и развития древнекитайской цивилизации. Но это отдельная тема — а для наших целей достаточно простой идеи: возможно, табличная фонология китайского языка — лишь иллюзия, формальность, а по факту китаец говорит как и все остальные, и можно вытащить на свет те же структуры (или наоборот: усмотреть китайца в языке любой нации).

— Правильно! — восклицает ушлый европеец. — Мы всегда говорили, что фонология на всех одна, и разделить любой слог на фонемы — это нам как…

Так — да не так. Да, современные китайцы достаточно прониклись фонологическими абстракциями (и конкретно-экономической необходимостью), чтобы возвести мощную систему транслитерации в ранг государственной политики. Теоретически, про иероглифы можно вообще забыть: набирать текст тупой латиницей, а правильные завитушки умный телефон подскажет. Хотя можно и неправильные: в старинных текстах писцы частенько допускали ляпы, вставляя вместо нужного знака сходный по озвучке, — и ничего, разбираемся. С другой стороны, и в европах буквами никто не разговаривает, а только буквосочетаниями; правила чтения далеко не всегда сводятся к простому перекодированию — и слово-иероглиф тут дело обыкновенное. Придуманные европейскими лингвистами артикуляции в жизни никто еще не наблюдал: ни у других — ни, тем более, у себя. Нет у нас в глазах рентгеновского аппарата. А если звуки слушать в наушниках через компьютер — ему вообще без разницы, где у кого кончик языка…

То есть, недостаточно научиться делить — надо еще и правильно складывать. Как минимум, объяснить, по какой причине одно звучание воспринимается целиком — а другое представляется последовательностью более дробных единиц. Чистой эмпирией тут не обойтись, и нет сейчас намерения вдаваться в подробности. Просто отметим на полях, что и в китайском языке далеко не всякая целостность представляется отдельным знаком, что иероглифы склонны склеиваться в устойчивые комбинации, произносимые как целое; в таких конструкциях легко проследить совершенно такие же роли, как и у европейских морфем или связок. Будем мы называть это словами, или еще как-то, — не суть важно. В любом языке выделение структурных единиц неоднозначно, и многое зависит от речевой ситуации и теоретического контекста.

Впечатлительный обыватель тут же смекнет: почему бы тогда и китайские слоги не объявить составными? Причем не тупо, по буквам транскрипции, — а по смыслу, по логике.

Мысль здравая. Сами китайцы тысячи лет этим занимаются. Задолго до знакомства с другими системами письма. Чтение знака в словарях указывают парой других знаков, один из которых в речи так же начинается, а другой на то же звучание закачивается. По-китайски это называется звук (声 shēng) и созвучие (韵 yùn) — в ученой литературе говорят про инициаль и финаль (последняя в китайской традиции ассоциируется с рифмой). Чуть позже (но тоже давно, примерно с VIII века) появляется представление о четырех способах соединения начала с концом (по науке: медиаль) — и возникает та самая таблица, которую всякий студент знает по учебникам вводного уровня. Европейцы, конечно бьют себя в грудь и разглагольствуют о всеобщем законе, о строении слога в космическом масштабе… Однако ничего кроме голой эмпирии за этим не стоит; и даже разделение согласных и гласных в европейской науке выглядит мутновато — на фоне, скажем, строгой фонетики арабского языка. Поэтому китайскую таблицу перенимают некритически — добавляя от себя про неполную и полную редукцию гласных, про слияние концевых призвуков…

Голове от этого не легче. Потому что привычка делить на гласные, согласные и не совсем согласные (полугласные) оставляет открытым принципиальный вопрос: китайскому слогу исконно китайская традиция приписывает еще и одну из возможных интонаций, набор которых различен в разных диалектах (и у азиатских соседей); пекинский стандарт (вместе с европейской транскрипцией) навязывает всем четыре основных варианта, плюс «нейтральный тон». Высокая европейская наука говорить об интонациях не желает: это, по их воззрениям, вне лингвистики — ближе к филологии… Никакой особой артикуляции приписать китайским тонам не удается; опять же, воткнуть их в определенное место слога трудно — из-за какой-то неакадемической размазанности… Но привычка ставить начальством гласные возобладала: под влиянием Европы новокитайская транскрипция призывает рисовать значки тонов только над гласными, или хотя

бы над полугласными, — там, где гласная на письме вообще пропадает. Что есть полная противоположность традиционной интуиции, которая тоны называет уже знакомым термином 声 shēng, а гласные — словом 韵 yùn. Как будто интонацию определяет начало слога — но подхватывает рифма (кстати, китайские стихи обычно рифмуют без учета тонов). Или, иначе, интонирование слога есть отношение зачина к финали — характеристика медиали.

Каким бы наивным ни казалось это представление ученому лингвисту, в нем брезжит сермяжная истина. Однако совсем иного свойства: эмпирический и нормативный подходы в китайской фонологии следует дополнить теорией, выделить из исторических случайностей нечто недоступное непосредственному восприятию — и достаточно абстрактное, чтобы охватить широкий спектр частных фонологий (по фене: в синхроническом и диахроническом разрезе), а с другой стороны, предложить единый принцип конструирования фонологических норм. Такая формальная модель может быть совершенно не похожа на поверхностные наблюдения — но на то и формальность, чтобы разговаривать абстракциями.

Давайте придумаем язык, в котором все речения построены из слогов стандартной структуры: CVR — где каждая из компонент выбирается из своего набора фонем. Открывается слог некоторым переходным процессом (от тишины к звучанию); такие фонемы европейская наука традиционно называет согласными. Собственно звучание (опять же, по-европейски) мы именуем гласной. Наконец у слога общего вида есть «резонанс» (финаль) — особое звучание, функция которого состоит в озвучивании конца слога. Финаль, очевидно, не может быть согласной — поскольку это означало бы начало следующего слога. С другой стороны, это и не полноценная гласная — и петь ее нельзя: это означало бы введение особой согласной (шва) между V и R, — а структура слога в нашей модели этого никак не допускает. В запасе у нас есть еще одна фонологическая категория: полугласные. С некоторой степенью условности, будем считать R такой, промежуточной между гласными и согласными фонемой, так что конструкция VR образует что? — правильно, дифтонг. Причем активной в нем всегда будет гласная, а резонанс лишь подхватывает и уточняет интонацию.

Теперь допустим, что гласные и полугласные существуют в двух качественно различных вариантах (тонах): верхнем и нижнем. Где мы такое видели? Например, у соседей, в японском языке. Будем обозначать нижний тон строчной буквой, а верхний — прописной. Тогда комбинации VR, vR, vr и Vr дают четыре возможных интонации каждого слога — в полном соответствии с китайской традицией. Если бы у древних китайцев были компьютеры, они бы обозначили верхнее (более напряженное) звучание цифрой 1, а нижнее (более пустое) цифрой 0; тогда номера тонов (в двоичной системе) выглядели бы как 11, 01, 00, 10, — и порядок перечисления следовало бы перевернуть…

В нашей теории обозначение тонов оказывается предельно наглядным и не требует введения диакритики или приписывания цифирок: вместо *mā, má, mǎ, mà* — или ma^1, ma^2, ma^3, ma^4, — простые и понятные указания: *mAA, maA, maa, mAa* (предполагая, что гласные и полугласные могут быть обозначены одинаковыми символами — а в теории они все равно ссылаются на разные фонологические классы). Наивный студент и впечатлительный обыватель просто читают как написано — и не заморачиваются высокой наукой. И не надо им про пять звуковысотных уровней: все это от лукавого, и сильно зависит от речевого контекста, — тогда как различие верха и низа никуда не денется и четко уловимо на слух, даже с жутким акцентом.

Теперь давайте начистоту: будут гласные наверху звучать так же, как внизу? Не будут! Переключение регистров связано с перенастройкой всего голосового аппарата, и оказывается, что нижние позиции требуют, вообще говоря, большей открытости, а верхние — эффективно закрывают звучание. При традиционной записи тонов приходится доходить до таких различий сугубо эмпирически; в аналитической методике — все получается естественным путем, думать не о чем. Ряды «парных» гласных широко распространены; в русском языке соответствующие фонемы даже обозначаются разными буквами. Это ничем принципиально не отличается от других фонологических параллелей (звонкие и глухие согласные, наличие или отсутствие придыхания, краткость и долгота и т. д.). Достаточно отразить такие различия в каждом их фонологических классов (C, V, R); а если еще и подчеркнуть парность формальными (типографическими) средствами — простые смертные только спасибо скажут.

При таком раскладе, трудный вопрос о фонологии китайских тонов решается сам собой, и ничего не нужно специально изобретать: достаточно осознать качественные различия гласных и полугласных. Китайские тоны действительно оказываются фонологическим явлением, и это легко отобразить как в практической транскрипции, так и в ученых трудах.

Для полноты картины, следует также вспомнить о пресловутом «нейтральном» тоне и «редуцированных» слогах (типа *zhi* или *shi*). Такие слоги заведомо безударны — и мы тут же вспоминаем о классе полугласных: в нашей модели редукция означает выпадение гласной и переход к слогу вида CR — опять же, очень наглядно, и в буквальном понимании терминов. Более того, мы можем обсуждать разные типы редукции, в зависимости от качества финали и высотного положения «пропавшей» гласной. Потому что на самом деле никуда она не пропадает, а только перераспределяется между согласной и финалью — становится способом их склейки, медиалью. Можно было бы формально «восстановить» редуцированные гласные, рассматривая слоги типа CSR, где S ссылается на подмножество класса полугласных (варианты шва).

Чтобы теория стала предметной, остается привязать ее к имеющимся эмпирическим сведениям — предложить варианты строения абстрактных фонологических классов. Разумеется, тут не может быть простого и однозначного соответствия — хотя бы потому, что китайский язык по-разному звучит у разных носителей. Поскольку здесь меня больше интересуют основополагающие принципы — ограничимся очень приблизительными указаниями, а собственно научную модель следует развивать в подобающем контексте, на основе тщательных специальных исследований.

Формальная модель ничего не говорит о том, что традиционно считают китайскими медиалями — модификаторами соединения согласной и последующей гласной. Теоретически, ничто не мешает явным образом ввести медиаль в базовую структуру слога: CMVF. Тут свои плюсы и минусы. Но вспомним, что способ склейки существенно связан с изменением качества соединяемых фонем — и разные языки по-своему оценивают существенность таких модификаций. Например, мягкое соединение в русском языке предполагает одновременно и смягчение согласной, и более закрытое звучание гласной, — слитное звучание слога как целого (своего рода дифтонг — из согласной и гласной); а на письме это отражается лишь заменой «твердой» гласной на «мягкую». То есть, менталитет русскоговорящего — это ведущая роль гласных, голоса, — а согласные к ним прикладываются по обстоятельствам; из той же колоды — озвончение или оглушение согласных как свидетельство их «подвижности», или «вторичности». Напротив, во многих европейских языках качество согласных играет ведущую роль, а гласные либо вообще не меняются, либо зависят от позиции регулярным образом.

Первое (возможно, неполноценное) впечатление от китайского языка — доминирование согласных и зависимость качества гласной от предшествующей согласной и способа склейки. Тогда китайскую медиаль можно считать особым качеством согласной: есть «базовое», нейтральное звучание — и есть два фонологических варианта, твердое (медиаль *u*) и мягкое (медиаль *i*) чтение. В учебниках китайского языка это обстоятельство особо подчеркивают, указывая, что *mian* следует читать как (*mi*)*an*, а в русской транскрипции *guo* передают как *го* (подразумевая более напряженное звучание *г*). То же решение подсказывает и традиционная трактовка *j q x* как «смягченных» *zh c s*. Наконец, в класс согласных мы включаем также всевозможные варианты нетонических шва: твердый приступ (’), *y*, *w*, *h*. В итоге получаем компактную сводку согласных (инициалей) «мандариновой» фонологии:

zu	z	zi
cu	c	ci
su	s	si

ju	j	ji
qu	q	qi
xu	x	xi

zhu	zh	–
chu	c	–
shu	sh	–

gu	g	–
ku	k	–
hu	h	–

lu	l	li
nu	n	ni

lü	ly	–
nü	ny	–

du	d	di
tu	t	ti

–	b	bi
–	p	pi
–	f	–

w	'	'i

yu	y	yi

ru	r	–

–	m	mi

На практике *zi* очень похоже на *j*; аналогично, *ci ~ q, si ~ x,* — и дальше по второй и третьей колонкам. Однако в теории это разные фонемы — хотя бы функционально: одно дело, когда фонема сливается с последующей гласной (нулевая медиаль), а другое — когда она предпочитает держаться особняком. Разумеется, не все у современного китайца сочетается со всяким продолжением, а какие-то из прочерков в реальной жизни могут заполняться: например, возможны имитации инициалей *bu pu fu mu* в иностранных словах с пассивными дифтонгами. То есть, наша «периодическая система» (по обыкновению прочих теорий) выходит за рамки обыденности и предсказывает какие-то явления, которые могли бы наблюдаться при каких-то условиях. Понятно, что фонология согласных зависит от места и времени — и в других диалектах надо рисовать что-то еще. Но в качестве ориентировочной иллюстрации сгодится.

Классификация гласных сложнее. Здесь политика и вековые традиции совместными усилиями запутывают картину — и надо хорошо постараться, чтобы выявить формальное ядро. На студенческо-обывательском уровне, вероятно, хватило бы классической европейской (или японской) пятерки [a] [i] [u] [e] [o], с минимальным учетом специфики произношения. Добавляем тоновые варианты каждой фонемы — и можно разговаривать. Правда, в этой картине остается непонятной высокая избирательность соединения согласных с гласными, изобилие «дырок» в таблице слогов. Два направления мысли: с прицелом на универсалии будущего — и с учетом фонологической истории. Может китайская фонология развиваться и осваивать новые звучания? Безусловно. Однако развитие любых шкал идет от первобытного синкретизма к развитым структурам — и перескакивать через ступеньку общество может только под настойчивым внешним давлением; древность китайской нумерологии говорит в пользу самостоятельного освоения базовых структур в пределах пентатоники — и следует ожидать остаточных явлений, следов первичной фонологической дифференциации. Тут у нас как на ладони примеры арабского и персидского языков, с их триадами гласных, каждая из которых существует в «долгом» и «кратком» вариантах — которые, конечно же, никак не связаны с количественной оценкой: это другое качество (аналог абляута). Точно так же и в китайском языке возможно выделить три фонологических кластера (или, если угодно, «суперфонемы») *A*/*a*, *I*/*i*, *U*/*u*, где первые два достаточно компактны: кластер *A* охватывает звучания вроде русских [а] [э], английского [æ], немецкого [ä]; кластер *I* близок к турецкому *ı* — но захватывает и аналоги русских [и] [э]. Последний кластер — весьма широк, и здесь сильнее всего чувствуется зависимость от предшествующей согласной и типа резонанса. При нейтральной склейке, в зависимости от характера финали, получается либо нечто вроде французского [ə] (или чуть огубленное [ɔ]), либо достаточно определенное [э]; после твердых согласных появляется вариант [o]; мягкие согласные вытаскивают звучание [e]. Такая шкала возникает на ранних этапах в европейской музыке;[71] ее хорошо известные свойства подсказывают, что кластер *I* должен быть во многом похож на кластер *A* — и воспринимается как его «октавное удвоение»; именно эта картина наблюдается в китайском языке. Разумеется, здесь мы иллюстрируем теорию лишь в самых общих чертах, временно «забывая» практически важные фонологические тонкости.

Класс резонансов предположительно представлен густым и тонким придыханиями (*H* и *Y*), губным призвуком *W*, и двумя носовым призвуками: передним *N* и задним *NG*; все эти финали также существуют в верхнем и нижнем вариантах. Трактовка *NG* и *N* как полугласных — совершенно естественна: все типичные черты налицо. В некоторых диалектах аналог *NG* имеется и среди согласных, наряду с аналогом *N*. Губной резонанс *W* и «мягкое» придыхание *Y* в китайском языке вполне подобны таким же полугласным других языков ([ў] [й]) — только после гласной *A* звучание *W* сдвигается к [o], а звучание *Y* иногда ближе к [ə]. Густое придыхание выглядит как «удлинение» предшествующей гласной — подобно произношению турецкого *ğ*. Поэтому в практической транскрипции допустимо отображать это эффективное «удвоение» как *AA, EE,* и т. д. — вместо *AH, EH,*… Впрочем, это последнее написание вполне согласуется с европейской системой транслитерации для арабского и персидского языков — и не вызывает внутреннего протеста. Возможно, какие-то эффекты (типа «столичной» эризации) я пока замалчиваю — но для иллюстративных целей перечисленного достаточно.

[71] Л. Авдеев, Ю. Варивода, В. Дубовик, П. Иванов, *Рождение звукоряда*. — СПб, 2006

Польза от хорошей теории в том, что она даже в грубо формальном произношении дает нечто вполне узнаваемое носителями языка. Если, конечно, потрудиться переписать обычную транскрипцию в формальном ключе, разделяя согласные, гласные и резонансы. Некоторое усилие потребуется, чтобы составить интуитивное представление о кластерах гласных и финалей, — но этап привыкания к странным звучаниям присутствует в курсах любого языка, — а для китайского он еще и увязан с необходимостью усвоить семантику иероглифов (которую не передают никакие переводы), выработать языковое чутье. Разумеется, общепринятые правила никто переписывать в угоду теоретикам не будет. Однако в разговорах меж собой, исследуя диалекты и историю языка, мы уже способны отойти от голой эмпирии и наглого произвола — и чуточку облагородить лингвистическую науку даже в академически-рыночном понимании.

Естественный пример — история китайской поэзии. Там, где стихи предназначены только для глаз, — фонология иногда отходит на второй план. Но в тысячелетней китайской традиции красной нитью — связь стихов и музыки. И здесь чувство внутреннего строения слога оказывается весьма существенным — если не определяющим. Слушая новые песни, мы обращаем внимание на лингвистику слога целиком, без внутренних подразделений, — так что присущие нормативной речи тоновые различия в значительной мере смазываются, подчинены собственно музыкальному развитию. Иной раз иностранцу поначалу и в голову не приходит, что это по-китайски: вполне европейское звучание, сплошная глобализация… Собственно китайскую музыку — ни с чем не спутаешь, и произношение там иное. Логично предположить, что в глубокой древности поэты чувствовали внутреннее движение каждого слога, и подчеркивали его организацией прочих аспектов стиха. Слог еще не был нерасчленимой интонационной единицей, и его интонацию не просто воспроизводили в речи, но еще и опевали, встраивали в музыкальную ткань. Чем дальше мы продвигаемся в глубь веков, тем больше поэтических свидетельств внутренней динамики слога. Разумеется, включение стихосложения в образовательный минимум средневекового китайского чиновника не способствовало развитию поэтического чутья и внимательности к тонким фонологическим эффектам. Но поэзия по своей сути довольно архаична: в ней сохраняется то, что уже давно ушло из разговорного языка. Поэтому реконструкция фонологической основы древнекитайской поэзии позволяет делать выводы о языках дописьменной эпохи, о корнях языка как такового.

В качестве практического остатка — принципы перевода китайских стихов на другие (прежде всего европейские) языки. В Европе развитие фонологии пошло по пути освоения артикуляционных, а не интонационных градаций, — и здесь архаика внутреннего движения рано сменяется внешней комбинаторикой. Это одно из фундаментальнейших различий китайского и европейского менталитета. При переводе китайского стиха (особенно из ранних эпох) мы обязаны учитывать это обстоятельство — и передавать структуру китайского слога сочетанием слогов целевого языка: не слогом, а стопой. Только так мы сможем правильно воспроизвести характер восприятия, — не ограничиваясь голой сюжетностью или образным строем.

Свобода и вольности

Как известно, науке положено устанавливать общее. Размениваться на мелочи ей ни к чему. На то есть исполнительная власть — всякая там инженерия… А до нее — другая власть, которая что угодно превращается в закон. В том числе научные достижения. Для комплекта — органы правопорядка, где по суду отделяют мух от котлет, а дилетантов от науки.

Однако общее рождается не из мистических видений, и не указом свыше. Тут надо повариться в бульоне житейских историй, много разного попробовать на собственной шкуре, — и общность усматривать не вообще, а именно в этом, реально существующем в качестве исторического опыта. Это называется предметностью науки. Другое дело, что всегда есть повод сжульничать — и вместо собственных потрясений использовать полуфабрикаты, хорошо проваренные останки кого-то другого. Например, устоявшуюся (в узком кругу) терминологию, или (кем-то) принятую таксономию. Это называется научной школой; поскольку адепты не заостряют вопрос об условности подхода и подают школьные догмы как разумеющееся само

собой — не очень осведомленная публика часто путает школу с наукой как таковой, тем более когда вступает в игру административный ресурс (должности, звания, премии, и так далее — вплоть до библиотечного классификатора).

Приятное своеобразие науки лингвистики — принципиальная невозможность уничтожить свободу слова. Потому что слова изначально принадлежат всем — и каждый вправе лично проконтролировать добросовестность ученых мужей (или жен, или бесполых деятелей, вроде дрессированных роботов). Как бы ни пытались авторы свода правил, словаря или монографии убедить нас в их авторитетной проницательности, мы сразу замечаем, если словарная статья грешит против живого словоупотребления, а якобы общепринятая таксономия не вяжется с чисто житейским видением сходств и различий. Если ваша теория считает гвоздь строительным крепежом, а для меня это орудие разрушения (загвоздка), — будьте добры исправить теорию, чтобы ваши гвозди не в чем не противоречили моим. Я могу понять, когда вместо настоящего языка изучают узко профессиональный жаргон: в упрощенной модели легче вылавливать существенные связи, строить гипотезы. Но чтобы подавать это как фундаментальный принцип, извольте честно обозначить предполагаемые границы фундаментальности и предупредить собеседника о потенциальных ямах. Свобода истины — обратная сторона свободы заблуждения.

Когда мы формально связываем одно с другим — это наука. Подгонять факт под закон — нечто иное, из области юриспруденции. От научной формальности нет вреда — пока мы сознаем собственную ограниченность и всего лишь следуем (нами же установленным) правилам игры. Но как только решать начинает кто-то за нас (и против нас) — наука кончается, и воцаряется стихия классовых битв. Настоящая наука открывает нам новые возможности — но никоим образом не закрывает старых, или еще не придуманных. Любые барьеры — посягательство на свободу, а без свободы какие же мы разумные существа? Духовное производство — это производство свободы. Остальное — бездуховность.

Нам интересно знакомиться с трудами выдающихся ученых — потому что они, по большей части, прекрасно понимают подвижность любой формы и не собираются становиться никакими инстанциями. Но воспринимать эти труды бывает трудно: творческое начало вязнет в дешевой формальности, когда внешний вид важнее сути. Исторически сложившиеся стандарты презентации противоречат духу научности — но их навязывают новым поколениям далекими от науки (рыночными) методами. Сами по себе эти правила недурны — но от их избытка может иной раз подташнивать. Для сравнения: какая-нибудь *Джоконда* — вещица великая; однако стоит ли малевать ее поверх всех последующих художеств? — они и сами себе хороши…

Если кому-то почудилось, будто я здесь развлекаюсь рассуждениями вообще, — спешу развеять заблуждение. Разговор по совершенно конкретному поводу — коротенькие замечания на полях толстенной книжищи: *Динамические модели в семантике лексики* (2004). Представила ее мадам Падучева, из той же (уже международной) когорты, что и академик Апресян, с его механистической (пардон, электронно-вычислительной) трактовкой синонимии, — который выписывал формулы для слов и мечтал о замене человека компьютером. Но у Апресяна дальше семантических кварков воображение не достреливает (а его американский коллега Мельчук остановился на столь же статичной таксономии текстовых ролей); напротив, Падучева самим названием опуса выглядит куда привлекательнее: наконец-то в лингвистических теориях что-то сдвинулось — а где есть движение, возможна и жизнь…

Понятно, что для престарелой мадам это своего рода подведение итогов, сборник статей разных лет, волевым усилием причесанный под монографию. Тем не менее, сам факт наличия творческой воли вызывает уважение — а если кому-то кажется, что гипертрофировать и омертвлять концептуальное единство не всегда хорошо, — это их личные проблемы, на высоту оценки не влияющие.

Взгляд с орбиты: биография безусловно удалась. Тот случай, когда не жалко формальных знаков отличия, зарплат и степеней: ладно, пусть играются, коли так у них положено. Сказано много, и где-то по существу, и есть в этом немалая общественная польза — и маленький пользеночек лично для меня, моральное удовлетворение при виде официального признания принципов, за которые приходилось воевать не один десяток лет: таки и я не совсем дурак… Либо все вместе с ума сходим — не обидно.

Спускаемся чуть ниже — и переключаем зрение в режим мелкоскопа (как у орла). На этом этапе нормального человека (поскольку групповое сумасшествие осталось уровнем выше) начинает серьезно клинить, в мозгах искрит: с одной стороны, достаточно очевидные истины, — но подкрепляются они, мягко выражаясь, с точностью до наоборот. Юриспруденция фактов.

Нет, конечно, всякий волен толковать языковые явления в меру своей испорченности — вплоть до полной мистики. Но когда вольности зашкаливают — измерительный прибор может ненароком упасть и разбиться. А осколки по полу — это непорядок.

Спешу оговориться: ничего личного. Разговор не за кого-то конкретно, а за жизнь. Практически ту же коллекцию дурных примеров обнаруживаем в любой книжке по семантике. Кто-то, возможно, сделал бы вывод: занятия семантикой вредно влияют на способность адекватно воспринимать человеческую речь. Но есть и другая гипотеза — о ней ближе к концу.

Итак, случайно выдранные иллюстрации чего-то не совсем случайного.

Для ясности: речь в книжке не о лексике вообще, а преимущественно о глаголах. Это нормально, ибо в русском языке (с позиций русского языкознания) всякая идея может быть представлена некоторой деятельностью, синтаксическим выражением которой служит именно глагол. Другие языки могут сколько угодно запихивать нашу субъектность в имена или междометия — это мы тоже умеем, но в культурном общении не злоупотребляем.

Так вот, у глагола (как лексической единицы) есть много разных (вы)разительных черт, каждая из которых подобна химической валентности: одни слова к глаголу приклеиваются — другие нет. Грандиозная идея состоит в том, что валентности глагола происходят не только от его внутреннего устройства (как воображали Апресян и Мельчук), а еще и от весьма широкого контекста, от речевого намерения, — которое способно полностью изменить собственно лексическое значение, так что запись теми же буквами вовсе не означает, что имеется в виду одно и то же, и с каждым графическим (или фонологическим) представлением надо разбираться отдельно. Даже в эпоху самообучающихся нейронных сетей и динамический типизации в программировании — совершеннейшая ересь! Любой математический логик вам ткнет в морду первый попавшийся учебник, где открытым текстом сказано:

> …записав все исходные допущения на языке специальных знаков, похожих на математические, можно заменять рассуждение вычислением. Точно же сформулированные правила таких логических вычислений можно перевести на язык вычислительной машины, которая тогда будет способна автоматически выдавать интересующие нас следствия из введенных в нее исходных допущений.

И напомнит про пять (немецких) букв, обозначающих несовершенство всякой истины и обманчивость любого совершенства.

Совершенно в скобках: кто определяет степень похожести? Арабские буквы далеки от европейской математики — но именно от арабов в Европе алгебраический метод, и наследие Аристотеля сохранили именно они. «Специальные знаки» древних индусов не пахнут никакой латиницей — но одну из первых собственно лингвистических теорий связывают с именем Панини. Я уже не говорю про «вычисления» каких-нибудь китайцев, ацтеков и майя, или допотопных египтян. От Шумера с Вавилонией, как говорят, и латиница произошла… Так что, будем продолжать сегрегацию семантем по принципам кодирования?

Еретические воззрения Падучевой о всеобщей трансмутантности смогли выжить и превратиться в «особое направление российской лингвистики» во многом благодаря виртуозной мимикрии, внешней неотличимости от формалистических построений прочих деятелей московской семантической школы. Именно эту уродскую формальность (а не стоящую за ней идею) я и собираюсь пощипать в последующих абзацах: тонны языковой грязи не просто мешают кристальности перспектив, они завалили науку до такой степени, что не разглядеть ни леса, ни даже деревьев. Допускаю, что речь вовсе не о сознательной маскировке, а об искренней убежденности; но человек далеко не всегда отдает себе отчет в собственной гениальности.

До сползания в критику, не могу не отметить еще одной фундаментальной идеи, которая, к сожалению, пока лишь намечена — и вряд ли может полноценно развиваться в рамках формальной семантики: склонность людей одинаково обозначать очень разные явления их общественного бытия — вовсе не произвол; за этим стоят какие-то принципы организации

человеческой деятельности, которые подталкивают язык к одной из возможностей, отвергая прочие, на вид столь же привлекательные решения. Даже математик индексирует какие-нибудь абстракции латинскими или греческими буквами не наобум, а соответственно их (абстракций) предполагаемой природе. Что уж говорить о конкретном обывателе! — у него самая нахальная блажь становится выражением исторической необходимости. Существование семантически различных вариантов одной и той же лексемы (в частности, глагола) объясняется глубинным родством соответствующих деятельностей — что в буржуазной науке принимает извращенную форму правил трансформации. Такие правила Падучева пытается собирать и классифицировать, всецело оставаясь в рамках формалистической эмпирии (оно и понятно: место работы — ВИНИТИ). Поэтому ссылки на динамику не следует понимать слишком этимологически, как указание действующих сил (вроде физических взаимодействий); скорее, речь о наблюдаемом спектре возможностей, направленности и особенностях протекания «химических» реакций. Известно, что лишь выход за рамки собственно химических соображений, с привлечением знаний о физике атомов и молекул, открыл химикам глаза на логику их ремесла и привел к взрывному развитию химических технологий; точно так же, лингвистическая семантика обретет второе дыхание после увязки речи со строением деятельности вообще, включая все уровни психологии наряду с общекультурными влияниями.

А теперь — пожалуйте в зоосад.

С самого начала поражает уверенность и авторитетность тона, способность подавать чисто фонарные построения за достижения строгой науки:

> Имеются четыре параметра, по которым значения глагола — его лексемы — могут отличаться друг от друга: 1) таксономическая категория; 2) тематический класс глагола; 3) диатеза; 4) семантическая характеристика участников обозначаемой глаголом ситуации

А если мне захочется придумать (лично для себя) еще какой-нибудь параметр? Ну, скажем, продуктивность, или уровень метафоричности. Кто мне запретит? Публикации подшивать мне без нужды, в мэтры ломиться незачем, — да я, может быть, своими догадками и не поделюсь ни с кем! От этого их научность ничуть не пострадает — а свой личный словарь каждый вправе строить по собственным принципам. В науке всякий выбор надо обосновывать. Без лишних формальностей: просто пояснить, из каких соображений именно так. Это элементарная порядочность, уважение к тем, кто ищет другой истины другими путями. Если особых аргументов не водится — хотя бы указать тот фонарь, от которого все пошло. Дескать, мы тут с коллегами посовещались — и решили (почему бы и нет?) поиграть в эту игру: наугад закинуть удочку — и посмотреть, что клюнет.

Я уже не говорю о том, что глагол — это категория грамматическая, и он вовсе не обязан соотноситься с какой-нибудь (и тем более единственной) лексемой; и наоборот, та же лексема запросто превращается в живой (выразительной) речи в самые разные грамматические части. Некоторые языки даже делают это нормативным образом, придумывают специальные технологии. И тамошние словарные статьи распадаются на несколько секций, по характеру грамматикализации. Но и в русской литературе примеров хоть отбавляй (приводить не буду — пусть остается в качестве домашнего упражнения).

Каждый параметр из привилегированной четверки столь же авторитарным образом связан с набором возможных значений, о происхождении которых ничего не сообщается — дабы усилить впечатление априорной незыблемости. Например, двенадцать вариантов «Т-категории» для глаголов действия: обычное, с акцентом не результате, моментальное, с количественным результатом, и так далее. С тем же успехом можно было бы ограничиться меньшим числом, или добавить десяток других. Никакой большой идеи за этим не стоит. Тем более, что по практике все они плотно перемешиваются.

Тематический класс — вообще мрак. Это, видите ли, «формальный аналог семантического поля». И расходятся по классам бытийные глаголы, восприятие, чувства, каузации, принятие положения — и много чего еще. А в каждом классе — еще и сословное деление («строевые компоненты»). Простор для фантазии — совершенно неограниченный. Закономерный вопрос: может быть, тогда и не нужна такая таксономия? Никакой науки за ней не стоит, исключительно дань лексикографической традиции (составление тематических словарей), легализация ходячих

предрассудков. А если у меня другое видение мира? Перечисление всех возможных «тем» очевидно соотносится с полным перечнем человеческих деятельностей; объективно, в каждой конкретной культуре (у каждого народа и каждую историческую эпоху), они выстраиваются в какие-то иерархические структуры — и все вместе это (в духе исторического материализма) обозначается категорией *способ производства*. Исследовать строение способа производства средствами науки вполне возможно, и нужно; но это никак не составление потолочных перечней, а выделение объективно представленных в культуре компонент и описание их исторической динамики. Ничего такого в лингвистической семантике (а тем более в лексикографии) отродясь не было — и пока не предвидится.

Про диатезу речь впереди — а пока перепрыгнем к лингвистическому неофрейдизму, представленному в системе «Лексикограф» разделом «актантная структура» (позже Падучева замечает, что неплохо было бы добавить и «сирконстантную»). В схематике московской школы широко используется метафорический язык: толкование слова выглядит бытовой зарисовкой, маленькой сценкой, сталкивающей формальных «участников» со странными именами: *Агенс*, *Пациенс*, *Начало*, *Фаза*, *Адресат*, *Цель*, *Причина*, *Конечная точка* и др. По расположению на сцене эти персонажи приобретают какие-то из возможных «рангов» («объект», «субъект», «периферия», «за кадром» *etc*.). Бросается в глаза поразительное сходство с юнгианскими архетипами: те же претензии на всеобщность, и тот же фактический произвол. Когда граждане затевают межсобойчик по поводу тонкостей толкования — со стороны это вроде конкурса сказочников, или состязания пастушков в эллинистической поэзии.

На самом деле, за анекдотической формой стоит сермяжная правда: чтобы говорить о семантике, надо не только разговаривать, но и что-то делать. Смысл слова не в нем самом, не в его форме (графика и звук), не в грамматике (части речи и морфология), и не в возможных частных реализациях (собственно, значение), — смысл говорит о том, *зачем* мы слово вставили в текст; то есть, что мы такое делаем, о чем говорить надо именно так. Вот это отношение текста (в частности, слова) к деятельному контексту (включая уровни подтекста и зоны ближайшего развития) и призвана изучать лингвистическая (в отличие от всех прочих) семантика.

Пока лингвист далек от насущных потребностей эпохи, пока ему не приходится работать не только языком, но и руками, — у него нет той самой основы, из которой только и может вырасти семантическая теория. Лингвистика варится в себе — и выводит на сцену разные способы этой интроспекции, для наглядности навешивая на них имена — и все собственные… Куртуазная литература была необходимым этапом в становлении европейской литературности как таковой, и мы с удовольствием перечитываем фрагменты старых романов; однако (как бы ни старались нас убедить в обратном проповедники филологического идеализма, вроде Бахтина) писатели Нового времени (классицисты, романтики, реалисты и сюрреалисты…) безмерно обогатили европейское искусство, развернув его лицом к живому человеку, во всем его несовершенстве — и во всей его бесконечности. Точно так же, от полезных на первых порах метафор пора бы переходить к формированию собственно научных понятий, говорящих не о мифологических персонажах (архетипах, стереотипах или — как сейчас модно выражаться — «мемах»), а о реальных участниках реальной деятельности, к производительным силам и производственным отношениям (включая, разумеется, и духовное производство).

Формальное применение формалистических конструктов к российской лексике порождает форменное безобразие, изнасилование интерпретаций. Например, некоторые глаголы якобы подвержены влиянию речевой ситуации и в каких-то контекстах не допускают пассивных конструкций:

Он обнаружил признаки жизни.
*Им обнаружены признаки жизни.

В отличие от:

Химическое исследование обнаружило признаки яда.
Химическим исследованием обнаружены признаки яда.

Тут полная чушь, путаница и неразбериха! Вопрос именно о семантике, то есть, о соотнесении высказывания (а не просто текста) с его смыслом, с мотивом представленной высказыванием деятельности. Фраза: *Он обнаружил признаки жизни* — может быть понята двояко: либо он где-

то их обнаружил (и тогда пассив вполне возможен) — либо кто-другой их обнаружил в нем, и тогда пассив надо строить совершенно иначе: *В нем обнаружены признаки жизни*. Точно так же про химическое исследование: если речь идет о его (исследования) ядовитости (в каком угодно смысле) — возникает «невозможный» (точнее: иносказательный) пассив… Ошибка совершенно непростительная для знатока мельчуковской (или апресяновской) схематики, с ее (независимым от синтаксиса) разделением *Агенса* и *Пациенса*.

Аналогично по-французски: *sortir un couteau* — вовсе не то же самое, что *sortir un moment*. Даже грамматика разная.

Вместо поверхностной эмпирии полезно бы задуматься о фундаментальной семантической противоположности (не слов, а) семантем *быть* и *иметь* (по-испански этимология: *держать*). Одно дело быть правым — другое иметь право. Последнее еще и в особом идиоматическим смысле: как демонстративное пренебрежение всяческими правами. Из той же серии: *я имею вам сказать*. Поставьте в середине тире — и смысл коренным образом изменится.

В русском языке «обнаруживать признаки жизни» может бытовать не конструктивно, не фразой, а в качестве нерасчленимой конструкции, идиомы для простого: *жив*. Это *одна* лексема, а не комбинация лексем. Прилагательное, а не глагол. И тогда все очевидно: строить пассив от прилагательного — не по-нашему (хотя в каких-то языках и это прокатило бы).

Тут выход на обширнейший пласт семантики синтаксиса: различие предикативных и эргативных (а также, возможно, и виртуальных, и процессуальных, и еще каких-нибудь) сказуемых. Плюс возможные превращения одного в другое. Это мощный инструмент для изучения национального менталитета — и ключ к реконструкции внутреннего мира наших далеких предков.

Мораль: слова ничего не значат сами по себе, как словарные гнезда; более того, они бессмысленны даже как элементы текста! Чтобы говорить о семантике, надо иметь (или предположить) речевой контекст, нарисовать живую картинку — и тогда мертвые схемы оживут, и можно отличить идею от ее внешней формы — а значит, обсуждать вопрос о логике выбора именно этого оформления. Другими словами: конструкции *языка* (как общественного явления) не соотносятся напрямую со строением текста, и одинаковую (на каком-то уровне) семантику можно представить разными речевыми оборотами. Это ближе духу ленинградской школы — а для москвичей (занятых преимущественно исследованием текстов) внутреннее единство высказывания представляется возможностью внешней трансформации по невесть откуда взявшимся правилам.

Семантически, есть две очень разные схемы: некто (или нечто) *делает* что-либо в отношении чего-то (или кого-то) другого — и некто *проявляет* себя (является) некоторым образом. Во втором варианте — возвратная конструкция, которая даже по грамматике пассивна, и тогда усилить эту страдательность можно лишь какими-то дополнительными средствами; подлинное подлежащее просто опущено (по-московски: участник *Наблюдатель* остается «за кадром») — но оно подразумевается по контексту (если этот контекст реально восстановить).

Конечно, живой язык способен и на большее: он может запросто образовать пассив от пассива — или превратить пассив в актив (или наоборот). Вот где развернуть бы собственно динамическую семантику!

Но продолжим скучные чтения:

> …от *наблюдать* образуется два отглагольных имени — *наблюдение* 1, процесс, и *наблюдение* 2, результат, а от *заметить* — только *замечание*
>
> …существительное *звон*, образованное от *звонить*, процесс, обозначает не процесс, а звук.

Сразу упираемся в пышнейший букет формалистических недоразумений. Всем ясно, что *замечание* как процесс (ср. арабские масдары) никак не противоречит нормам русского языка и может свободно употребляться носителями, особенно в письменной речи (включая научную и художественную), — наряду с отрицанием: *незамечание* (которое отсутствует в официальных словарях — ну, и кого это волнует?). Процессуальный дериват запросто возникает и во множественном числе: *спонтанность замечаний, намеренность незамечаний*. Далее, в «результативном» словообразовании — слово расщепляется на разные лексемы, «омонимы»:

либо это наличный факт (кто-то что-то заметил), — либо дополнительная информация (в тему или около), — либо публичная негативная оценка. Разумеется, возможны и другие варианты.

По поводу процесса *звонить* — сплошная нетривиальность. Даже глагол пестрит коннотациями (извлекать звуки, издавать звуки, телефонировать, подавать сигнал, бессовестно врать, трепаться, широко разглашать…) — вокруг хорошо ощутимого семантического ядра. Вероятно, есть языки, где такие вещи словарно или грамматически разведены; а по-русски сложилось так — и никуда не денешься! Но, пардон, лихо производить от глагола звонкое существительное — это уже явный перебор… По всей логике — как раз наоборот: первичен (звукоподражательный) *звон* — а глагол образован от него (после того, как у первобытных говорунов появились для этого формальные средства). Для особой надобности, мы можем формировать вторичные (действительно отглагольные) имена: *звонарь, звонилка, звонящий, названивание* — а слово *звать* нагло трактовать как производное действие («звон по поводу»), и дело тут не в мифических индоевропейских предках, а во вполне реальной, синкретической семантике, вытекающей из особенностей способа производства.

Еще о вольностях интерпретации:

> У глаголов *дотронуться* и *коснуться* парный НСВ имеет разные категории: *дотрагивается* — действие, а *касается* — состояние.

Почему, собственно? Начальство приказало? Касаться чего-то можно и единожды:

> он как бы случайно касается ее руки — и тут же отпрянет, испугавшись собственной дерзости

А дотрагиваться не возбраняется и статически:

> дотронулся бы — да как-то не дотрагивается…

Точно так же, выступающий подбородок («состояние») вполне способен выступить сценически (например, если речь идет о порядке восприятия). Спрашивается: что же это за семантическая наука, которая зиждется на авторских симпатиях, случайных интерпретациях, далеких от существенностей языковой практики?

Идем дальше — и далеко ходить не приходится:

> Каждый компонент является значением какого-то признака, например: экспозиция, способ (деятельности), каузация, результат. Еще один признак — цель. Так, два значения глагола *укрыться* — *укрыться* чем? и *укрыться* куда? — различаются компонентом «цель»…

Произвол на произволе. Во-первых, (как у Мельчука) полный хаос с выделением признаков. Написать можно что угодно. А почему именно так, а не как-то иначе? Чьим волевым решением? Пока нет принципа развертывания иерархии признаков — они совершенно бессмысленны. Далее, значений у слова *укрыться* куда больше двух — и сама же авторша указывает третье, не имеющее к целям никакого отношения. Но не надо быть большим лингвистом, чтобы заметить кучу других вариантов: *укрыться* как? от чего? почему? для чего? — наконец, *укрыться* в каком смысле? И так с любым словом. всякое можно поместить в любой контекст — и задавать осмысленные в этом контексте вопросы. А нет контекста — и спрашивать не о чем.

Можно предварительно принять гипотезу о семантических ядрах — но не только (и не главным образом) лексем, но и фразовых схем, типовых оборотов устной или письменной речи. Однако с какого потолка взяты «лексикографические формулы» в данном случае:

> …у глагола *резать* семантическое ядро — ‘давить твердым предметом, имеющим острый край’.

А если мы желаем резать правду-матку? Язык твердым предметом не назовешь, а острота у него в очень переносном смысле… Если же врезать в морду — тут лучше тупым предметом. Подрезать кого-то — допускается вообще непредметным образом, а образом действия. Урезают тоже не ножницами, а указами. И так далее, и конца нет разнообразию.

В русском языке есть семантема {резать} — не обязательно выразимая с привлечением одноименного слова. Она предполагает (среди прочего, не всегда словесно обозначенного) нарушение целостности, связанное с проникновением чего-то постороннего внутрь. Ясно, что проникновение внутрь не всегда ведет к нарушению целостности: например, семантема {колоть} (в смысле точечного проникновения) больше говорит о болезненном, но не разрушающем

воздействии. С другой стороны, семантема {крушить} (по-английски: *smash*) — имеет в виду уничтожение внешним образом, неизбирательным воздействием. В лингвистической литературе было бы полезно разделять лексические конструкции (скажем, набранные особым стилем), их звучание (например, в квадратных скобках), и семантику (как здесь — в фигурных скобках). Чтобы не было соблазна приписывать смысл изолированным словесам. С другой стороны, особое обозначение семантических ядер — подчеркивает их независимость от конкретного языка, делает общеязыковым (или даже общекультурным) явлением. Одно и то же ядро по-разному выражает себя в лексике разных языков — но перевод таки возможен! Для чего были бы полезны (иерархически упорядоченные) собрания семантем, с примерами реализации.

Базы данных и словари нужны. Иначе просто невозможно судить о их несовершенстве. Падучева извиняется за схематизм и говорит, что ее толкования не претендуют на полноту. Но никакие вообще толкования претендовать на полноту не могут — поскольку они возможны лишь в данном контексте, в ограниченной области бытия, и потому заведомо неполны. Поэтому само понятие полноты к работе лексикографа неприменимо, неуместно. Тут надо искать совершенно другие критерии оценки — а лучше вообще ничего не оценивать, а просто делиться (всегда промежуточными) итогами творческих исканий.

Проблема профессионального лексикографа в привычке все видеть сквозь лексические очки. До каких-то пор это безобидно. Однако семантика по самой сути своей есть выход за грань лексического оформления и синтаксиса — речевой исток и того, и другого. Люди лишь вторичным образом разговаривают — в первую очередь они действуют, как на окружающий мир, так и друг на друга. И только потом выводят из этих действий идею внутреннего мира — и ее вещное представление, язык. Но Падучева сводит восприятие мира к восприятию речи:

> Чаще всего окружающие узнают о психическом состоянии человека по тому, что он сказал.

Точно так же воздействие на мир — только словом:

> Так, *оскорблять* — это прежде всего говорить оскорбительные вещи.

На самом же деле — о «психическом» судят по публичному поведению (включая речевое, и не только в коммуникативном аспекте), а слова становятся оскорбительными только в контексте оскорбляющей деятельности (яркий пример — эротические игры, когда самые грязные имена могут звучать нежной лаской). Вывернутость падучевской теории наизнанку получает сугубо формальное выражение:

> Структура толкования глагола речи в системе «Лексикограф» отлична от той, которая принята в Wierzbicka 1987, где мотивировка речевого действия отнесена в конец толкования. Дело в том, что мотивировка хронологически предшествует действию, так что ее законное место — начальное.

Но вспомним А. Н. Леонтьева, классика советской психологии: мотивировки далеко не всегда соотносимы с реальными мотивами деятельности — их придумывают задним числом, в ходе особой деятельности (которая так и называется: мотивировка); это особый уровень рефлексии. Мотив деятельности — вообще не имеет отношения к времени: это ее движущая сила, выражение общественной необходимости. С другой стороны, для совершенно статичной словарной статьи совершенно без разницы, в каком именно порядке мы будем перечислять признаки; выстраивать их в определенном порядке имеет смысл лишь в контексте анализа динамики речепорождения или восприятия речи.

Тут мы естественно переходим к одному из фундаментальнейших разделов падучевской лингвистики — теории времени. Нам предлагают красивую картинку: три разных модальности (способа говорить о) времени. Модель текущего времени — «процесс, выходящий за пределы трехмерного пространства, т. е. метафизический». Что-то непонятное течет неизвестно где и зачем. Модель скалярного времени вводит абстрактную шкалу, «по которой, трансцендентным образом, движется время». Это «бесконечный календарь-часы» — и дальше примазываемся к Эйнштейну, с его кривой геометрией. Наконец, модель встречного движения представляет время как поток наваливающихся на замученного обывателя событий, которыми его, якобы, бомбардирует будущее, — только увертываться успевай.

Почему, собственно, из бесконечности возможных моделей выбраны именно эти — сказать сложно; предположительно — потому что они где-то уже обсуждались в литературе, относительно знакомы читателю — и успели (явочным порядком) приобрести статус весьма правдоподобных. На вскидку можно предложить десяток других. Например, время воспринимается как наличие опоры (прошлое), стоя на которой мы дотягиваемся до чего-то вверху (будущее), уцепляемся за него и подтягиваемся на новый уровень. Модель сразу объясняет разного рода ретроградное движение (не дотянулся и упал) и продолжительность настоящего (причем у каждого в меру его роста). Тогда как в моделях Падучевой «время 2» (отрезок времени) возникает в лучшем случае «метонимически».

Абстрактные игры — занятие увлекательное, и хороший отдых (потому что не обязывает ни к чему). Но тут нам указывают на странности древнерусского языка, который, будто бы, со временем не в ладах. Падучева приводит табличку, согласно которой такие слова как *передний* и *задний* могут обозначать то прошлое, то будущее. Утверждается, что эта сортировка объясняет трудные места древних текстов. Два таких места чуть раньше приводятся со всей научной добросовестностью. Так, в *Слове о полку Игореве* читаем:

Преднюю славу сами похытимъ, а заднюю сѧ сами подѣлимъ.

Плюс фрагмент *Ипатьевской летописи*:

Хронографу же нужда есть писати все и всѧ бывшаѧ, ѡвогда же писати в переднѧѧ, ѡвогда же вступати в заднѧѧ

Чтобы показать, каким образом три падуч(евск)ие модели способствуют пониманию этих кусков, добросовестности уже не хватило: дескать, дали вам конструкт — так чего еще? — выводы сами делайте…

Хорошо. Сделаем. Вывод первый: *перед* и *зад* в русском языке вообще не про время. Поэтому всю мадамскую науку чистой палочкой в помойное ведро. Речь идет о позициях чего-то внешнего (вещей, дел, событий) по отношению в говорящему (или тому, о чем говорится). Это типично дейктическая модальность, и потому слова ссылаются на разные вещи в разных контекстах. То есть, *передний = пред нами*, *задний = за тем*. Будет речь о времени, или еще о чем-нибудь — дело десятое. Например, в приведенном у Падучевой фрагменте новгородской берестяной грамоты слово *зад* совершенно логично означает последствия рискованного дела (безотносительно к времени). Оказывается, что перевести на (литературный) русский язык вышеозначенные «трудности» не представляет никакого труда:

> Сначала добудем себе славу — а потом уже будем делить ее.
>
> Историку подобает писать обо всех и обо всем, что было, а иногда и о том, что предстоит, и что от того ожидается.

Просто надо слушать, что люди говорят, а не приписывать им свое. Но по логике авторши:

> Примеры показывают, с каким трудом язык справляется с идеей времени.

С языком-то все в порядке. Проблемы у тех, кто пытается навязать ему то, чего в нем нет. Или искорежить само собой очевидное в угоде ничем не обоснованной формальности. Вот, предлагают посмотреть на два примера:

(1) он *строит* дом, *печет* пирог, *вышивает* розочку и т. д.

(2) заплетать *косу*; зажигать *огонь*;
косить *сено*; рубить *дрова*;
сушить *изюм*; завязывать *узел*.

Для русского человека — дело обыкновенное: и в том, и в другом случае мы говорим о цели некоего действия и о том, что мы для ее достижения делаем. Синтаксически это оформлено как прямое дополнение переходного глагола — однако семантика прямо копирует универсальную схеме деятельности:

объект → *субъект* → *продукт*

что в данном случае превращается в триаду речевого контекста:

ситуация → *поведение* → *намерение*

Мы-то знаем, что про одно и то же можно говорить разными словами и конструкциями. Конкретно, здесь основное внимание на продукте, поверхностно указан способ производства, — а ситуация (обстановка, наличные ресурсы и т. д.) предполагается по умолчанию; для ее уточнения необходимо расширить текст, что иногда может привести к переосмыслению фразы:

Он строит дом из спичек.
Она вышивает розочку нежными губками.

Разумеется, акценты всегда возможно «диатетически сдвинуть». И слова станут означать не совсем то, что раньше. Но примеры (1) и (2) для нас *ничем* не различаются. Тогда как Падучева прямо-таки впадает в экстаз:

> В своем буквальном значении сочетания из (2) просто аномальны: огонь нельзя зажечь — он уже горит; заплетают не косу, а волосы; и уж косят, конечно, не сено, а траву. Между тем такие сочетания с успехом используются в речи, и глагол НСВ имеет в них актуальное значение. Как же преодолевается их аномальность?

Да нет никакой аномальности — и преодолевать нечего! Потому синтаксические конструкции в данном случае семантически нейтральны, а семантическая схема {}{строительство}{дом} ровно ничем не отличается от схемы {}{разжигание}{огонь}. Обстоятельства по умолчанию я на всякий случай явно представил пустой скобочной группой. Если уж наводить строгость, следовало бы указать, что строим мы не дом — а выстраиваем в нужном порядке строительные материалы; и печем не пирог, а заготовку для пирога. Таким глупостями пусть занимаются математики. А про живой язык надо живо. Предложение «рубкой изготавливать» вместо простого «рубить» — пошлый трюизм, тавтология, ничего к пониманию дела не добавляющая. Не верю я, что

> Осмысление сочетаний типа строить дом, печь пирог достигается за счет расширения круга потенциальных референтов именной группы. Мы способны воспринимать недостроенный дом как дом; неиспеченный пирог — уже как пирог и т. д.

Вздор! Мы (поскольку мы действуем сознательно и этим отличаемся от животных) *всегда* видим перед собой продукт — и говорим прежде всего о нем; как этот продукт представлен лексико-грамматически — совершенно неважно, а важно, что все остальное в предложении подчинено этому главному (не взирая на синтаксис, акцентуацию и тому подобное). Прежде всего мы сообщаем собеседнику *что* мы делаем — и уже потом объясняем как. Поэтому природный объект для нас — не сам по себе, а как условие деятельности: нескошенная трава — это уже сено; (даже не вызревший) виноград на лозе — уже вино или изюм.

Заметим, что относится это не только к «глаголам создания материального объекта» — но к любым глаголам вообще. Например, в предложении: *студент лежит на пляже* — точно так же, как и для «глаголов создания»,

Несов. вид представляет ситуацию статически в некий «средний» момент ее развития.

В каком смысле он там лежит (накладывает загар, в качестве трупа, или в плане массового залегания) — без контекста не поймешь. Но это мы уточним при необходимости. По жизни, язык предельно эффективен, он стремится к минимальности (даже если это минимально необходимое краснобайство). Мы же не в вакууме разговариваем, а в рамках совместной деятельности.

Закладываться под несовершенный вид — лично я бы не стал. Тексты бывают разные, и где-то совершенное становится несовершенным, и наоборот. Речь, опять же, не про время, а про деятельность. Непонятное Падучевой «она вышивает розу» достаточно переписать как

она вышивает розу каждое утро по полчаса

чтобы несовершенный вид начисто утратил свою «среднемоментность» и приобрел все черты завершенного действия; деятельность при этом переберется на более высокий уровень, захватывая другой контекст. Это типичный «сдвиг мотива на цель» (А. Н. Леонтьев). Можно свернуть вообще в точку, в операцию:

следуя рисунку, она вышивает розу через каждые две лиственные виньетки

Но можно двинуться и в другую сторону: превратить «вышивание» из сиюминутного занятия в обыкновение, внутреннюю потребность и душевное состояние. Как в известной песне:

μα εγώ δεν απαντώ
την καρδιά μου τη σφραγίζω
και την πίκρα μου κεντώ

Все эти «дериваты» — частный случай обращения иерархий, без которого не обходится никакая иерархичность. И прежде всего, иерархичность деятельности. Как известно, идея времени возникает в леонтьевской схеме (операция → действие → деятельность) только на уровне действия. В том числе известно Падучевой:

> Речевые акты — это именно речевые действия, а не деятельности: действия имеют цель и заканчиваются, когда цель достигнута.

Деятельность — воплощение бесконечности (того, что не имеет ни начала, ни конца). Здесь, а вовсе не в каких-то «метафизических» процессах, исток представлений о течении времени — тогда как развертывание деятельности в иерархию действий задает набор временных шкал (связанных с продолжительностью действий). Наконец, операция — вмещается в одно мгновение; на уровне операции мы опять-таки не знаем ничего о начале и конце, и остается лишь поток мгновений, по видимости совершенно бессмысленный (связь с деятельностью только через действие), но подчиненный «трансцендентной» логике (которая в психологии известна как *установка*, косвенная связь операций с деятельностью). Вот вам и третья падучевская модель без намордника.

К чему это я? Да все к тому же: невозможно оставаться научным в рамках науки — только выход в большой мир позволяет превратить хаос абстракций в сколько-нибудь приличную целостность. Составление словарей — не та деятельность, где возможны семантические теории; самое большее, словари готовят эмпирический материал. Попытки интерпретировать его на основании потолочных классификаций неизменно приводят к тому, что палец пробивает потолок и тычет в небо. Так не проще ли начать с чего-то небесного и не громоздить на конфузе конфуз? Вроде этого (про слова типа *построен* или *открыт*):

> Удивительная семантическая особенность регулярно образованного причастия на н/т состоит в том, что оно имеет два значения — событийное и статальное, — которые соотнесены как бы метонимически. В самом деле, на денотативном уровне ситуация, описываемая пассивно-причастным оборотом, при обоих значениях одна и та же. В ней два компонента — событие (в частности, действие), которое приводит к возникновению нового состояния (1-й компонент), и само это состояние (2-й компонент).

Со школьной скамьи нам известно, что (дее)причастия как грамматическая категория как раз и характеризуются совмещением свойств глагола и имени — для этого они языку и нужны. Касается это вообще всех причастий, а не только тех, который как-то кончаются. Разумеется, если есть иерархия, можно говорить о ее обращениях; если трактовать их как сдвиг центра внимания — получится метонимия. Грамматические показатели причастие заимствует как у глагола, так и у имени — и в зависимости от этого возникает обширный арсенал выразительных двузначностей, без которых нам было бы совсем скучно жить. Заметим, что эта двойственность носит совершенно универсальный характер и встречается почти во всех языках. Следовательно, опирается на неязыковые механизмы — закономерное взаимодействие смыслов. На данный момент, это чуть ли не единственный пример собственно семантического явления, заслуживающего пристальнейшего изучения с перспективой открытия столь же мощных семантик на других уровнях языка.

Русскоязычному ясно, что несовершенный вид столь же продуктивен: *строивший*(*ся*), *открывавший*(*ся*) — это и процесс, и состояние, а тоже их всевозможные сочетания (и взаимные превращения). Причастие настоящего времени ничем не хуже: *любим*(*ый*), *любящий*, — или из русской поэзии:

и голос его звенящ, и очи его — пламя

Резкой границы между словообразованием и морфологией никогда не было — и здесь еще один полигон для теоретической семантики: динамика перехода от словоформы к слову, от окказионализма к идиоме. Одна из сторон процесса порождения абстракций: от внешнего движения к понятию. Разные пути — разные лексические формы.

> Из абстрактности можно вывести такое сочетаемостное свойство глагола, как отсутствие характерного инструмента. Ср. глаголы *нарисовать* и *изобразить*; первый — глагол способа, второй — абстрактный; отсюда *рисует карандашом*, но **изображает карандашом*.

Верх произвола. На каком основании? От фонаря. Рисовать можно не только карандашом — но и жестами, и словами, и даже компьютерным кодом. С другой стороны, ничто не мешает нам изобразить что-то жестами (или мимикой), или легкими штрихами (тоже абстракцией); все это применимо и к рисованию, которое может в итоге стать совсем абстрактным (мороз рисует узоры на окне, статистика рисует печальную картину). Но изображать можно и другими «инструментами»: например всем телом — или только задним проходом… Получается, что нет никакой семантики у слова самого по себе, а есть разные оттенки смысла (различные жизненные ситуации), которые иногда предполагают инструмент — а в другой раз обходятся без него.

> (1) а. Разбойники убили крестьянина.
> б. Крестьянин был убит разбойниками.
>
> Трансформационная грамматика 70-х годов игнорировала тот факт, что мена залога связана с изменением смысла; например, замена активной конструкции на пассивную считалась синонимическим преобразованием. Сейчас это упрощение представляется неоправданным: всякий диатетический сдвиг, т. е. изменение синтаксических ролей участников с заданными ролями, влечет вполне ощутимые различия прагматического порядка, которые можно представить как изменение коммуникативного (или синтаксического) *ранга* участников: предложение (1б) говорит о крестьянине, его тема — крестьянин; а (1а) — о разбойниках.

Мысль здоровая. Изменение формы высказывания как обращение иерархии: на первый план выходит другое. На этом стоит так называемая диатетическая логика (в дополнение к логике классической и логике диалектической; латинская калька: диспозиция; или чисто по-русски: расположение). Однако по логике — перестройка возможна лишь в рамках категориальной схемы, то есть, в данном случае, при сохранении семантики, целостности ситуации. Значения слов (или иных единиц высказывания) чаще всего зависят от порядка развертывания иерархии; в лингвистике это называют дейктической модальностью: видение с позиций одного из участников (не формальных, а всамделишных). Разумеется, в живой речи реорганизация захватывает не только лексику и синтаксис, но и все остальные аспекты речи (письменной или устной). Но даже частичное осознание этого факта практикующими лингвистами — серьезный шаг вперед. Давайте поаплодируем.

Портит впечатление лишь концовка за упокой: например, предложение (1а) можно прочесть с другой интонацией, и тогда речь будет именно о крестьянине (предполагая расширение: *а не барина или купца*). Сама же Падучева несколькими страницами выше включает интонационный фактор в список необходимых семантических показателей. Точно так же, в (1б) крестьянин мог быть убит горем, и (или) совсем в другом смысле… Мы снова приходим к невозможности корректно рассуждать о семантике вне достаточно широкого речевого контекста.

Продолжая диатетическую тему, посмотрим на два падучевских примера:

Мой сын пошел в школу.
У меня сын пошел в школу.

И точно так же:

Твои жалобы надоели.
Ты надоела своими жалобами.

Это ругательно обзывается «расчленением ~~генитальной~~ генитивной группы» и подается как разновидность «диатетического сдвига». Но козе понятно, что в обоих примерах первый и второй варианты говорят о совсем разных вещах, и те же слова ссылаются на разное. Первое (при «нейтральной» интонации) — сообщает факт; второе — отношение к факту. Когда «жалобы надоели» — это одно, а «ты надоела» — совсем другое! «Кто-то пошел» — не то же самое, что «у меня произошло событие». Формально, содержание высказывания не меняется. Меняется речевой контекст: разговор или об объекте — либо о субъекте. Соответственно, разные задачи: сообщение — или самовыражение. Есть еще и третий вариант: указание на культурную нишу, стремление застолбить место под солнцем. Плюс всевозможные комбинации.

В другой статье (из того же сборника) Падучева обращает на это внимание — и даже спорит с «самым авторитетным источником» (то бишь, с Апресяном), предлагая совершенно новый термин: *тематическое выделение* (в отличие от банальной смены ремы):

> …разница в выборе темы, т. е. в тематическом выделении, а не в рематическом акценте.

Вот за что мы ее уважаем — при том, что Апресян для нас вовсе не авторитет. Остается только предложить реально динамическую модель, указывающую на механизм развертывания семантики — и динамику смены темы *в пределах дискурса*. Действительно, предложения в каждой паре примеров разделены в деятельности: это варианты выбора, а в живой речи реализуются не оба сразу. У каждого свой контекст. Но мы прекрасно знакомы с тем, как у одного автора в одном тексте мысль нередко перескакивает с одного на другое — и даже если он не начинает явно заговариваться, внутренняя противоречивость *текста* бросается в глаза. Непосредственно перед нами — книга Падучевой. Но под статью подпадают не только гуманитарии. Ярчайший пример — тот самый, из пяти букв. Якобы строгая математическая теорема о полноте и непротиворечивости формальной теории — а доказательство сводится к кодированию положений теории целыми числами, то есть, по сути, разговор о теории незаметно соскальзывает на разговор об одном из ее представлений (формальный язык), и в итоге доказана лишь некорректность отождествления теории с языком, что очевидно и без всяких доказательств. Заметим, что это не единичный случай, а, скорее, типичная особенность математических доказательств, порок схоластического метода, утвержденного на роль всеобщего принципа всякого мышления указом правящей верхушки цивилизованного (то есть, классового) общества. При некотором навыке, причины и технику семантических сдвигов (логику манипуляции) можно вытащить на белый свет; как минимум, это полезно в плане борьбы с промыванием мозгов (предполагая, что бороться с ним кому-то полезно).

Однако область применимости представлений о тематической динамике гораздо шире. Соединение нескольких тем в одном тексте — далеко не всегда аномалия и алогизм. Иногда оно совершенно необходимо для верного изображения характера самого предмета — его движения и развития. Этим занимается диалектическая логика — и любая рефлексия, поскольку есть потребность сопоставить разные исторические формы одного и того же, или говорить о многоуровневых структурах. В частности, об уровнях языка.

Пример совершенно сознательного переплетения тем — искусство. Про фуги и прочую полифонию все наслышаны. Сочетание тем разного масштаба в средневековой архитектуре — поражает нас до сих пор; к сожалению, современные архитекторы (под влиянием рыночной унификации) сложно мыслить почти разучились (или прячутся). Образец иерархичности — поэзия (в отличие от индустриального виршеплетства). От нее один шаг до лингвистической научности — а для лингвистики поэзия была и остается крепким орешком и испытательным полигоном, пробным камнем любых теорий: если поэтическая практика не подтверждает наших красивых гипотез — они, скорее всего, неверны.

Но вернемся к меткости пальцеуказания. Еще парный пример:

> Женщина есть женщина.
> В то время женщины — это были женщины.

Утверждается, что первое — главным образом отрицательная оценка, а вторая конструкция какую-то предполагает положительность. Словечко *это*, дескать, радикально меняет дело. Замечание глупое, поскольку сам факт выбора лексики и синтаксиса связан с необходимостью выражения чего-то вне языка, и разные ситуации потребуют и различного оформления. Но если я скажу: *женщины тогда были женщинами!* — никакого специального словечка не требуется, при той же (предположительно) положительной оценке. Еще одна синтаксическая схема. Она отличается от обсуждаемой здесь схемы «*X* есть *X*» — но не принципиально; а народ уперся в голую форму — чтобы буквально! Детский сад, ясельная группа. А потом:

> …мы вправе заключить, что конструкция «X есть X» не может быть описана на чисто семантическом уровне: ее толкование обращено не к смыслу слова X, а к связанной с ним импликатуре, которая целиком на совести говорящего и, в принципе, может быть своей для каждого употребления высказывания этой формы.

То же самое можно сказать о всякой вообще синтаксической конструкции: описывать ее «на семантическом уровне» — надо уметь; а кто не умеет — пытаются толковать через составные элементы, и попадают пальцем в небо, потому что не учитывают главного — личности составителя. Синтаксис не случаен — но его семантика никак не связана с лексикой, она восходит к древнейшим пластам человеческой культуры, к истории зарождения сознания вообще и классовых его форм в частности. С другой стороны, выставлять чью-то совесть в качестве критерия осмысленности — совсем не по существу. Достаточно покончить с попытками толкования изолированных фраз, вернуть их в контекст, — и тогда никакого субъективизма, все определяется речевой ситуацией. Разумеется, для каждой схемы (речевого оборота) есть свой минимум расширения контекста; для некоторых идиом все и в словарной презентации почти однозначно (например, до смерти избитая хохма: *в* ⟨некотором⟩ *X есть доля X*). Делать же далеко идущие выводы из притянутых за уши сопоставлений…

Маразм есть маразм.
Маразм — это маразм.

Как ни скажи — суть одна…

Такие же перлы глубокомыслия и в теории перевода.

Ясунари Кавабата, *Снежная страна*:

Пройдя через длинный тоннель на границе, была снежная страна.

Это подстрочник. И его Падучевой хватает, чтобы учить корешей жить:

> Перевод этой фразы на европейские языки требует, как минимум, указания субъекта: кто прошел через тоннель? В дальнейшем описании фигурирует поезд; однако поезд не находится в фокусе внимания, и японский синтаксис не требует его включения в концепт ситуации — при том, что для английского или русского языка это обязательно.

Небу, наверно, уже больно. Ребята, давайте таки думать правильным местом! Плохой перевод (то есть, по сути, его отсутствие) — не аргумент. Ну кто же переводит произведение искусства по словарю? Апресяновские роботы. Художественный перевод не только предполагает, но и *требует* перестройки формы текста в соответствии с культурными нормами языка-цели. Переводить не буквально, не лексически и не синтаксически — а по существу:

Путь сквозь длинный тоннель на границе; а за ним — снежная страна.

Это красиво, это точно передает настроение оригинала — но никак не японскую грамматику. Заметим, что даже грамматика подстрочника имеет место быть в русской литературе:

Подъезжая к станции, у меня слетела шляпа.

Но переводчик на то и разумное существо, чтобы относиться в делу творчески, и не лепить чернуху, а духовно обогащать как русского читателя, так и японский оригинал.

Масса веселостей по поводу лингвистических импликаций. Прямо-таки сборник анекдотов. Типичный образец:

> …большое число глаголов предполагает существование своего объекта в качестве тривиального следствия: Соловьи поют. ⇒ Соловьи существуют.

Ну да, конечно: *ангелы поют* ⇒ *ангелы существуют*. В этом смысле существует вообще все что угодно. Но когда финансы поют романсы — это, скорее, об их несуществовании…

Еще пример:

Человек, который видит, смотрит: видеть ⇒ ‘смотреть’ (Обратное неверно)

Неверно и прямое: можно видеть внутренним взором, или подсознательно воспринимать навязчивую рекламу, или еще как-нибудь. Вариантов вагон. Особенно если смотреть в переносных смыслах.

Напоследок позволю себе тоже улыбнуться…

> …показатель кратности отменяет значение единичности, которое по умолчанию имеет совершенный вид:
> (9) а. Он *поцеловал* ее на прощанье. = `один раз’
> б. Он *поцеловал* ее *трижды*.

Как насчет художественной литературы?

Он поцеловал ее на прощанье. Трижды. И решил остаться.

Вот вам типичный образчик семантической динамики, для которой у Падучевой моделей не нашлось. Развитие ситуации размывает лексическую определенность, меняет смысл уже сказанного — но не отменяет его, а переводит на новый уровень, собственно динамический. Две очевидные возможности: от объекта и от субъекта. В первом случае акценты расставляет сама жизнь, во втором — порядок нашего с ней знакомства (что, впрочем, тоже часть жизни, которая, в свою очередь, становится нашей жизнью только в процессе переживания).

Много многоточий.

Улавливаете общую идею? Какие-бы примеры языковой специфичности нам ни приводили, мы тут же начинаем искать контрпримеры — и обязательно их находим! Почему? Да потому что любое ограничение заведомо предполагает наличие границы — а значит, и того что за ней. Нельзя запереть разум ни в каких рамках: его главное определение — универсальность, всеохватность. Поэтому речь не о том, чтобы приписать каждому слову какую-то структуру значений — наоборот, надо показать, что *каждое* слово способно передать *любую* семантику — задача науки в том, чтобы обнаружить фундаментальные механизмы *этого* движения, дать принцип увязывания интерпретации не только с набором типовых контекстов (и уж тем более не с текстом!), но и с развитием деятельности, включая как материальные тела, так и общение по их поводу. Вот это и будет по-настоящему динамической моделью.

Книга Падучевой — эмпирическое подтверждение самого факта ничем не ограниченной лексической подвижности. Попытка создания словаря формальных толкований на основе априорной таксономической схемы — своего рода мысленный эксперимент, доведение структурной логики до абсурда, когда ограниченность подхода становится совершенно очевидной. Но, как говорится, не попробуешь — не узнаешь.

Однако из опыта надо делать выводы. Например, методологические. И первая очевидность в том, что не дело валить в одну кучу разные языковые явления, да еще и сваливать туда же совсем (или почти) не относящееся к языку. А тут встает на дыбы корпоративная гордыня и объявляет полный провал невероятным успехом, букет ошибок — единственно верным решением. Что же мы — семьдесят лет ерундой занимались?

Не ерундой. А серьезным научным поиском. Только, вот, сообразить, что именно мы нашли, — одного шага не хватило, самой малости. Того самого языка, которым только и возможно говорить о внутренне подвижных и внешне изменчивых вещах. Выяснилось, что у слов самих по себе (равно как и «других языковых единиц») практически нет никакой специфики, и ни одно из них не заслуживает полновесной словарной статьи:

> Инвариант как общая часть (теоретико-множественное *пересечение*) разных значений слова обычно исчезающе мал и бессодержателен. Между тем инвариант можно попытаться представить как теоретико-множественную *сумму* всех значений слова, из которой в каждом употреблении ничто не утрачивается, а наоборот, может в любой момент попасть в резонанс и стать актуальным.

Почти формула открытия. Почти призыв освободиться от (принципиально структурного) математического жаргона и признать, что есть парадигма нового типа, несводимая ни к структуре, ни к системе, — что само различие структур и систем существует лишь в их отношении к чему-то третьему, для чего наш язык пока не изобрел подходящего термина. Давайте пока (за неимением лучшего) называть это иерархичностью, способностью одного и того же проявлять себя разными способами — когда на первый план выходит что-то одно, а все остальное присутствует на нижних уровнях. Вершина иерархии представляет ее целиком — но можно развертывать иерархическую структуру и говорить структурности разных уровней; это автоматически означает, что, при сохранении чего-то на высших уровнях («инвариант»), структуры низшего уровня оказываются «взаимозаменяемыми» — и возможно перевести одну в другую стандартными методами, которые также иерархически упорядочены. Так иерархические структуры становятся иерархическими системами. Если по жизни во главу угла встает другой

элемент иерархии — придется аккуратно (чтобы не порвать сложившиеся связи) свернуть прежнюю иерархическую структуру — и постепенно (вытаскивая на свет одно за другим следуя объективной связи) развернуть новую, с ее собственными внутриуровневыми и межуровневыми отношениями. Это называется обращением иерархии.

Работа Падучевой убедительно демонстрирует обращаемость семантических иерархий. Иногда вопреки ее собственным намерениям. Когда таксономия (иерархическая структура) выдается за системность, а значения лексем принимаются за их смысл, — это тяжкое наследие прошлого, от которого одним рывком не сбежать. Среди статей сборника некоторые ближе к идее иерархичности, некоторые совсем далеки. Наша задача — признать несомненную пользу, но сосредоточиться, главным образом, на теоретических и идеологических ляпах, чтобы последующие поколения не наступали лишний раз на те же грабли. Первым делом хочется развести уровни иерархии, хотя бы как-то предварительно и в общих чертах. В диатетической логике это обыкновенно делается расположением интересующей нас категории X между двумя другими (в каком-то смысле противоположными) категориями A и B — в результате чего исходная категория расщепляется (в этом конкретном контексте) на два уровня $A(X)$ и $B(X)$, характеризующих ее отношение к внешней противоположности (которая, здесь играет роль *шкалы*); в иерархическом подходе это соответствует развертыванию иерархии X разными способами, выделению разных иерархических структур. Поскольку же речь идет об уровнях (разных сторонах, структурах) одного и того же, эта (системная) связь должна быть как-то практически реализована, что логически представляется особой категорией («внутренним строением», «структурой системы»), промежуточным уровнем, который в свою очередь допускает развертывание по той же схеме:

$$A \Rightarrow B$$
$$A \to X \to B$$
$$A \to (A(X) \Rightarrow B(X)) \to B$$
$$A \to (A(X) \to X \to B(X)) \to B$$

Понятно, что разные шкалы выявляют разные иерархические структуры — и нет никакого единственно правильного описания. Поэтому идея составления сколько-нибудь «полного» словаря (тезауруса, базы данных, базы знаний) — чистейшей воды утопия. Точно так же, как и задача полного описания одного-единственного слова:

> Семантика словаря неисчерпаема. Даже в отношении одного отдельного слова не всегда можно быть уверенным, что, описав его, мы исчерпали его смысл. А что уж говорить обо всем словарном составе языка.

Но что такое — это ваше «описание»?

> Как и ранее, мы описываем значения слов схематическими толкованиями — своего рода семантическими формулами…
>
> Ср. понятие структурной формулы в химии. Структурная формула отражает способность вещества вступать в те или иные соединения; возможная связь между фрагментом формулы и «физическим» свойством вещества и т. д.; то же верно, mutatis mutandis, для семантической формулы слова.

Легким движением руки смыслы превращаются в значения — а это вещи не только разные, но даже противоположные: смысл любого действия — указание на ту деятельность, которую оно призвано реализовать, тогда как значение того же действия — указание операций, в которых это действие может быть осуществлено. В общем случае — отношение к вышележащему и к нижележащему уровням иерархии соответственно.

Падучевские формулы — один из способов формального представления *значений*. В плане науки о языке, это не семантика, а *прагматика* — перечисление возможных употреблений. Откуда берутся эти значения — на операциональном уровне объяснить невозможно: одно ничем не хуже другого. Говорить о *смысле* изолированного слова — полная бессмыслица! Смысл появляется лишь в конкретном употреблении; когда речь подчинена речевому намерению. Это и есть собственно семантическая характеристика. При осмысленном употреблении, на вершину

иерархии выходит одно из возможных значений (одна из «валентностей», активных компонент). Однако смысл лишь *представлен* этим значением, а вовсе не сводится к нему. Происхождение операций — свертывание деятельности. Точно так же, значения суть «редуцированные» смыслы. Это позволяет в каких-то случаях по заданному значению «восстановить» полноценную деятельность, осмыслить текст. Разумеется, такое развертывание неоднозначно: оно целиком зависит от речевой ситуации. В искусстве это образное богатство; в науке то же самое может стать источником заблуждений и ошибок.

Разумеется, лексические единицы — не только слова. Существуют устойчивые речевые обороты, которые в норме никто не разделяет на компоненты (стертые идиомы, аналогичные китайским чэнъюй). В некоторых случаях значение и смысл могут приобретать и части слов (например, при сознательном обыгрывании морфем, или в народной этимологии). Точно так же, нерасчленимой целостностью могут становиться развернутые тексты (например, стихи). Все зависит от того, что у нас станет собственно высказыванием, речевым актом, действием. В соответствии с приведенными выше логическими схемами, переход от значения к смыслу (и наоборот) опосредован особым уровнем языка — который легко идентифицируется с формальной организацией речи, грамматикой, — и в этом контексте, развертывается в триаду

словообразование → *морфология* → *синтаксис*

Таким образом, в шкале *ситуация* ⇒ *намерение* (*объект* ⇒ *продукт*) всякий *текст* (в частности, слово или фраза) выступает в определенном значении и приобретает смысл, что определяет форму текста, его языковую организацию. Но существуют и другие шкалы. Например, одно из обращений иерархии деятельности, шкала *продукт* ⇒ *субъект*, в лингвистике превращается в шкалу *речение* ⇒ *идея*; всякое языковое явление (текст) при этом характеризуется не значением и смыслом, а *формой* и *содержанием* (которые воплощаются в разном *материале*). Точно так же, шкала *субъект* ⇒ *объект* порождает лингвистическую шкалу *расположение* ⇒ *выражение,* выявляющую в тексте тему и рему, а в качестве связи — всевозможные сценарии (взаимодействие абстрактных «участников», предполагаемые роли), включая всевозможные ранговые отношения, акцентуацию и диатетические сдвиги. Именно в этой шкале возникает впечатление, что

> …языковые выражения не *обозначают* объекты и ситуации реального мира,
> а, в определенном смысле, их *создают*.

Можно рассматривать и другие шкалы, обращения других категориальных схем. Важно отдавать себе отчет, что это не однопорядковые структуры, а разные проявления целого, разглядывание с разных сторон. Такие описания нельзя сопоставлять напрямую, и всякое свойство языка, сформулированное в одной шкале, предполагает сразу все уровни других шкал. Более того, выделение элементарных речений, вообще говоря, зависит от используемой шкалы. В частности, есть шкалы (например, фонологические или интонационные), где говорить о словах вообще не приходится, — и бесполезны словари.

Лингвистический структурализм — не абсолютное зло; изобретение всевозможных таксономий остается одним из ходовых приемов предварительной обработки огромных массивов данных, собственная иерархичность которых пока не очевидна. Когда нам заявляют:

> удалось выявить целый ряд важных параметров лексического значения, т. е. признаков, по которым слова объединяются в большие классы…

это надо воспринимать с юмором, поскольку речь не о «выделении», а о теоретическом диктате, приписывании свойств волевым решением, от фонаря; когда потом под эту схему причесаны тонны фактов, создается впечатление ее теоретической обоснованности — но это иллюзия, ибо произвол — таки произвол. И потом оказывается, что

> во многих своих аспектах — на многих, и причем обширных, участках — лексика представляет собой систему, которая устроена просто.

Да, она будет устроена просто, если ее соответственно упростить, выбрать очень грубый масштаб. Это не криминал: иногда нам по жизни нужен именно такой, упрощенный продукт. Только не надо возводить частные методики в абсолют, и школьный глобус полезно дополнить

большим атласом мира, а тот развернуть в топографические карты каждой деревушки, где любая кочка — монумент.

Способ описания зависит от того, кто описывает, и зачем оно ему нужно. Всякий объект определен только через противостоящего ему субъекта, в контексте вполне определенного производства. Для лингвистики это особенно актуально. Пожалуйста, придумывайте абстракции и стройте из них формулы строения лексики — если это соотносится с каким-то практически полезным способом эту лексику употреблять. Например, в арабской или индийской каллиграфии слова можно классифицировать по признаку «лигатурности»; другой известный пример — всевозможные критерии нормативности (включая специальные словари для работников прессы, радио и телевидения). Решили вы ограничиться набором из десятка признаков — ваше право; но всегда полезно очертить область потенциальных применений и указать пределы применимости.

Существуют ли универсальные идеи? Каждая универсальна! Но класс возможных реализаций — вопрос чисто практический, а вне практики идеи просто не существуют. Пока мы не выросли до размеров Вселенной, приходится иметь дело с ее проекциями, локальными моделями. И слова наших языков — всего лишь проекции деятельности, бессмысленные сами по себе. Это не семантический анархизм, не отсутствие каких бы то ни было определенностей. Скорее — принцип исторической относительности: любые семантические структуры — от деятельности, от строения культуры на одном из ее уровней. Лингвистическая семантика имеет место быть — хотя и меняется от одной эпохи к другой, от одного социального слоя к другому. Лексема совместима с разными семантиками, а семантемы выразимы разнообразнейшими формальными средствами (не обязательно лексическими).

Можно согласиться, что

> Для описания динамики лексического значения, т. е. перехода одних значений в другие, нужно иметь так или иначе формализованное представление смысла слова.

С той поправкой, что формализовать надо именно значения, а не смыслы, — а иначе речь будет о динамике смыслов, выходящей далеко за рамки лингвистики. Однако накладываемые на лексику формальные классификации — ничего не говорят сами по себе: все зависит от того, для чего мы их используем, как употребляем. Это всего лишь система координат. Если говорить о фиксированных значениях — это выделение классов лексем («подпространств»). Если говорить о кинематике — ее естественно представлять изменениями координат. От одного комплекта параметров допускается переходить к другим — что никак не затрагивает изучаемые явления: например, слово остается тем же самым, какими параметрами его ни описать. В некоторых случаях изменения параметризации можно формализовать: если параметры в каком-то смысле однокачественны — получатся обычные координатные преобразования; если речь о фазовых пространствах — выйдет нечто вроде термодиниамики. Взаимоотношения прагматики и семантики можно понять и в духе квантовой теории: лексические параметры задают наблюдаемые величины — а параметры значений становятся внутренними, так что имеют смысл только распределения; переход от значений слов к их смыслу тогда замечательно представим интерференцией квантовых амплитуд.

Однако все это богатство возможностей проходит мимо лексикографа, который наивно полагает, будто

> описание смысла текста состоит из двух частей: словарь и грамматика.

Нет в этом никакого смысла. Пустая комбинаторика. Слова сами по себе не предполагают никакой грамматики, а грамматика практически безразлична к выбору лексики. Соединить то и другое возможно лишь исходя из чего-то вне языка. А нам заявляют:

> Говоря о семантике предложения или текста, мы будем ориентироваться на понимание уже сделанного высказывания слушающим, а не на порождение текста говорящим: речь идет о законах интерпретации, а не о порождении текста. Дело в том, что реально существует только такой смысл, который выражен каким-то текстом.

Смысл может быть *выражен* текстом — когда смысл *уже есть*. То есть, когда порождение текста (речение) становится частью какой-то деятельности, вовсе не обязательно языковой. И текст становится *осмысленным* (в отличие от большинства падучевских примеров). Целиком, а не по

частям. Выбор и способ соединения частей — выражение определенного намерения (не всегда языкового), поэтому здесь (как и везде) все определяет способ производства. Автор не просто так разговорился — у него вполне практические задачи. Предполагается, что восприятие будет в какой-то мере следовать заложенным в текст идеям и подвигнет публику на адекватные реакции. Но восприятие не пассивно — это тоже деятельность, и у нее свой продукт. Я как читатель далеко не всегда (практически никогда не) ограничиваюсь поверхностным ознакомлением: мне важно отыскать новые направления для самостоятельного творчества, и текст — лишь один из поводов, инструментов, или сырье для переработки. Поэтому я способен интерпретировать любой текст, сколь угодно бессмысленный. Например изолированное слово, шапку словарной статьи. Но эта интерпретация не встроена в слово — это часть меня. А поскольку я веду себя как разумное существо — я равен миру в целом, бесконечен, — и ни в какой словарь меня не вместить.

Как и большинство оторванных от жизни лингвистов, Падучева исходит их принципа композиционности: «смысл целого строится из смыслов частей». Положение в корне дурное. Точно так же можно было бы сказать, что смысл дома строится из смыслов отделочных материалов, а смысл пирога из смысла яйца, дрожжей, соли, воды и муки, плюс смысл начинки. Полная чушь! Смысл дома — чтобы в нем жить. Смысл пирога — чтобы его есть. Мы не будем жить в отдельно взятом кирпиче, а есть некоторые кулинарные ингредиенты можно лишь очень условно (например, условно съедобные грибы). Даже когда части сами по себе могут (в каких-то контекстах) иметь смысл, смысл составленного из них текста совсем другой: вопрос не о том, чтобы вывести его из лексики и синтаксиса, — а чтобы, наоборот, объяснить выбор именно такой лексики, и такого синтаксиса. Ни в одном языке предложения не складываются сами по себе, как природные явления: их делают люди, у которых есть сознательная цель.

Лексикографический мираж сопровождает нас из глубины столетий. В XI веке арабский филолог Абд ал-Кахир ал-Джурджани (старший современник Омара Хайяма) выдвинул идею, что слова классического арабского языка несут самостоятельные значения (*ма'на*), и значение любого грамматически правильного высказывания определено этими «атомарными» значениями. Любое изменение набора слов или способа их сочетания ведет к изменению высказывания — и ни одно изменение не может считаться незначительным. Поэтому, в частности, поэзия может следовать классическим образцам — но обогащать их, показывать новые грани.

Для арабского языка ход мысли совершенно естественный. Там стандартные приемы позволяют из единой основы (три согласных) построить огромное количество слов, включая как словообразование, так и грамматические вариации. При этом семантика основы неизменно сохраняется — и возникает обширное словарное гнездо. Взаимодействие таких, семантически насыщенных полей в поэзии позволяет передать тончайшие оттенки смысла.

Развитие индоевропейских языков шло другим путем — и здесь идиоматика выше грамматики: высказывания зачастую заимствовались целиком из разных диалектов, вместе со своим значением, — и спорадически возникающие стандарты никогда не охватывают всего и вынуждены как-то сосуществовать (в арабском языке аналогично складывались, например, шаблоны образования множественного числа имен). Примат идиоматики в европейских языках сохранился до сих пор — и это во многих случаях не позволяет говорить о значении слова самого по себе: оно определено только в контексте, в целостной фразе (иногда лишь тонким намеком на идиому). Точно так же, тропы в европейской поэзии возникают во взаимодействии контекстов, а не в тексте как таковом.

Но даже если подозревать у Падучевой арабские корни, придется ее разочаровать: арабские поэты, конечно, придерживаются определенных правил (особенно в классическую эпоху) — но сочиняют они вовсе не про породы глагола или масдары, и даже не про разбитое множественное число, — они пишут за жизнь, и обогащают семантику корней неожиданными связями с тем, что у всех на слуху и на виду, на хорошей закваске личных переживаний. Поэтому один и тот же глагол в той же синтаксической конструкции приобретает у разных поэтов разный смысл. Для русской поэзии — это тем более так. Если не учитывать практики — единственного источника смыслов, — то в любой науке окажется, что

Знание — это трансцендентно возникающее состояние субъекта…

И тогда, конечно, разрешается говорить что угодно… — да и наука, в общем-то не нужна. При том что в языке — тысячи конструкций для передачи оттенков знания, и способов его обретения, и возможностей с кем-то поделиться. Знанием, как и красотой, как и любовью, — нельзя командовать. К ним можно лишь стремиться, и удивляться при каждой встрече. Некоторых это не устраивает:

> Есть, однако, надежда, что лингвистика в целом […], сохранив унаследованную от структурализма установку на формальные модели, будет и впредь отторгать такие построения, которые нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть.

Нет уж, давайте без черно-белой лингвистики, апофеоза воинствующего апресянизма! Нам просто неинтересно с кем-то спорить — нам важно строить жизнь и жить, а не доказывать или опровергать.

В качестве эпилога, хотелось бы вернуться к вышиванию розочек. В русском языке (как и в любом другом) бывают парадоксальные (но вовсе не аномальные!) высказывания. Например:

Поворот налево — прямая дорога в ад.

Здесь вовсе не обязательно имеются в виду механические перемещения — речь может идти и о политических убеждениях. В том же смысле кому-то скажут:

Вам прямая дорога налево.

Оказывается, чтобы пойти прямо — надо свернуть! Такие трюки используют остряки всех мастей — и есть культуры, где игра слов стала частью менталитета (как у французов). Всякому здравомыслящему ясно, что никакого противоречия тут нет, поскольку значения и смыслы как текста в целом, так и его составляющих (элементы и структуры, лексика и грамматика), не существуют сами по себе, а возникают в контексте некоторой деятельности. В данном случае можно предположить, что *налево* соотносится с (условно) горизонтальным расположением предметов в поле зрения (возможно, внутреннего), — тогда как *прямая дорога* никак не связана с пространственными направлениями: это целостная конструкция, идиоматический оборот, (вполне аналогичный, например, английскому *direct*/*straight road*/*route*), — и характеризует он не перемещение, а способ действия. В составе предложения — это *одна* лексема; однако мы можем развернуть ее собственную иерархию и поинтересоваться, как в этом контексте связываются и (пере)осмысливаются ее слова. При этом обнаруживается, что «прямизна» вполне соотносится с современной дифференциальной геометрией, где вместо прямых линий говорят о геодезических, кратчайших путях из одной точки в другую. Разумеется, «человек с улицы» вряд ли задумывается о высшей математике; скорее, наоборот: математика развивается исходя из обыденных представлений, постепенно осваивая их иерархичность. В составе идиомы — дорога утраивает значение пространственной связи и употребляется в переносном значении, как способ действия (английское *way*, китайское 道). Но почему все-таки *дорога*, а не *путь*? Потому что речь о действии — а не деятельности или операции; на этом уровне важно сохранить ощущение движения — но движения к чему-то законченному. Это еще один уровень развернутой иерархии.

Интуитивно, фразы такого типа чем-то отличаются от предложений вроде

Она вышивает розу.

Традиционная лингвистика, не замечающая ничего кроме формы, просто подшивает факт к делу, разводя «предикативные» и «активные» конструкции, грамматику бытия и грамматику действия. С точки зрения семантики (то есть, в отношении к деятельности), речь идет об обращения иерархии деятельности: вышивание розы соответствует «основному» обращению иерархии, семантической схеме

{объект}{субъект}{продукт}

тогда как дорога в ад представляется схемой

{субъект}{продукт}{объект}.

В обоих случаях фокус (вершина иерархии) на последнем звене, а первое звено (низший уровень) чаще всего никак не представлено в тексте и восстанавливается либо по контексту (в том числе общекультурному — как типовая ситуация), либо расширением текста, явным указанием

обстоятельств дела. Семантика обращения соответствует идее превращения продукта какой-то деятельности в объект как предпосылку новой деятельности (или продолжение прежней). Точно так же, еще одно обращение иерархии порождает семантику

{продукт}{объект}{субъект},

охватывая разнообразнейшие высказывания о восприятии, знании, принятии решений и т. д. Однако и это еще не все. До сих пор мы говорили так называемом «материальном» цикле в строении деятельности

Но есть еще и цикл рефлексии, который в семантическом плане описывает не деятельность как таковую, а субъективное отношение к деятельности:

Понятно, что выбор лексики и построение фразы во многом зависят еще и от этого внутреннего настроя, и здесь можно долго исследовать как порожденные этим циклом рефлективные семантические схемы, так и взаимодействие их с «коммуникативным» уровнем. Ограничимся лишь указание на (возможную) двуплановость примеров с поворотами: с одной стороны, это собственно сообщение — а с другой, намеренная игра слов; только с учетом обеих сторон выбор выразительных средств (строение речи) становится оправданным (семантически определенным).

Универсальность семантических схем позволяет единообразно описывать порождения смыслов и значений в самых разных языках. Прямая аналогия из британского юмора:

When you keep left you keep right, and if you keep right you keep wrong.

Разумеется, существуют и другие речевые намерения, которые существенно меняют интонации, расстановку акцентов и т. д. — то есть, в конечном итоге, семантику. Вышеприведенный британский образчик в контексте этой статьи употреблен вовсе не для смеха — и в семантической иерархии появляются дополнительные уровни, соответственно строению моего писательства. Для многоуровневой рефлексии существуют особые схемы.

В зависимости от неречевого контекста и речевого намерения одни и те же слова могут обозначать все что угодно. Продолжая поворотную тему, возьмем простейшую фразу, которая вполне может возникнуть в живой речи (устной или письменной) именно в такой форме:

Второй поворот налево.

Что это значит? Из словарного состава и грамматики не следует совершенно ничего. Если интонацией выделено последнее слово — напрашивается «информационная» трактовка, вроде инструкции ли ответа на вопрос. Но даже если принять такое уточнение, мы не можем сказать, то ли это подсказка, то ли предупреждение, то ли запрет… И совершенно неясно, что там, за поворотом: продолжение пути, тупик, возврат к началу, желанный или страшный конец… Опять же, возникающая в итоге ситуация может быть случайностью — или искомым решением; при том что целью по жизни становится и достижение, и его отсутствие, — и даже бесцельность.

Но переставьте акцент на первое слово — и возникает новый веер ассоциаций: просто отсчет — или подозрение, раздражение, — или приказ. Наконец, можно поиграть знаками препинания: закончить вопросительным или восклицательным знаком, вставить тире, или запятую… Вся эта неоднозначность иногда становится осознанным намерением — например, в поэзии, или в практике психологической манипуляции (НЛП).

Толкование текста (включая изолированные слова или идиомы) возможно лишь в рамках единичного действия, подчиненного соответствующим образом мотивированной деятельности. Всякий выбор — огромная ответственность, предложение перестроить всю иерархию культуры одним из возможных способов; и не факт, что собеседники (или читатели) с таким подходом согласятся. Поэтому эмпирические «подтверждения» употребительны в лингвистической

семантике лишь в качестве иллюстраций, когда идея целого уже ясна, и надо лишь развернуть его иерархию определенным образом, поиграть на предполагаемую публику. А это уже из области рыночных категорий. Как только продукт выходит на рынок — интерпретации застывают, и научное исследование превращается в навешивание ярлыков. В этом главный порок профессиональной лингвистики: положение обязывает. Вот и получается, что солидные дяди и тети разменивают идею на совсем не солидные формалистические вольности и вместо того, чтобы учиться у тех, кто различными языками разговаривает, — начинают их поучать. Жизнь найдет способ обойти предписания и обойтись без навязанных извне норм. Да, мы учимся быть понятными и выразительными, и в каждом общении подбирать нужные слова. Но в конечном итоге нам предстоит общаться без прикрас, легко и непринужденно. Потому что свобода — это когда не надо выбирать.

СОДЕРЖАНИЕ

О транслитерации греческого алфавита латиницей....1
Идея фонологии....3
Письменность без иллюзий....7
О природе языка....13
Формальные языки *vs.* интерлингвистика....18
История с «и»....20
Уровни постижения....24
О предках и тенях....26
Универсальный язык....29
Фонологические пространства и фонодинамика....32
Строение внутренней речи....37
Неправильные правила....46
Точнее сказать…....49
Платон и Коперник. Что познается в сравнении?....52
Звуковой строй языка....65
О темпе речи....75
Полная шва....78
Идиоматический смысл....82
Язык как образ деятельности....87
Пространство и время языка....94
Слово и смысл....103
Вслушиваясь в отзвуки....112
И — тишина…....122
Корпус и анима....128
Языковая премудрость....132
Слово о семантике....135
Язык и мир....142
Что есть кто....146
Филькина грамотность....151
Речь по нотам....154
Текст....162
Глоттологика....172
Тайна русской фонологии....181
Звук и звучание....188
Перевод без проблем....194
О языковом братстве....200
Об издавании и препоучении....215
Язык и развитие....222
Мы, они и все-все-все....229
Язык до и после....238
Лингвистическое моделирование....246
Свобода и вольности....253